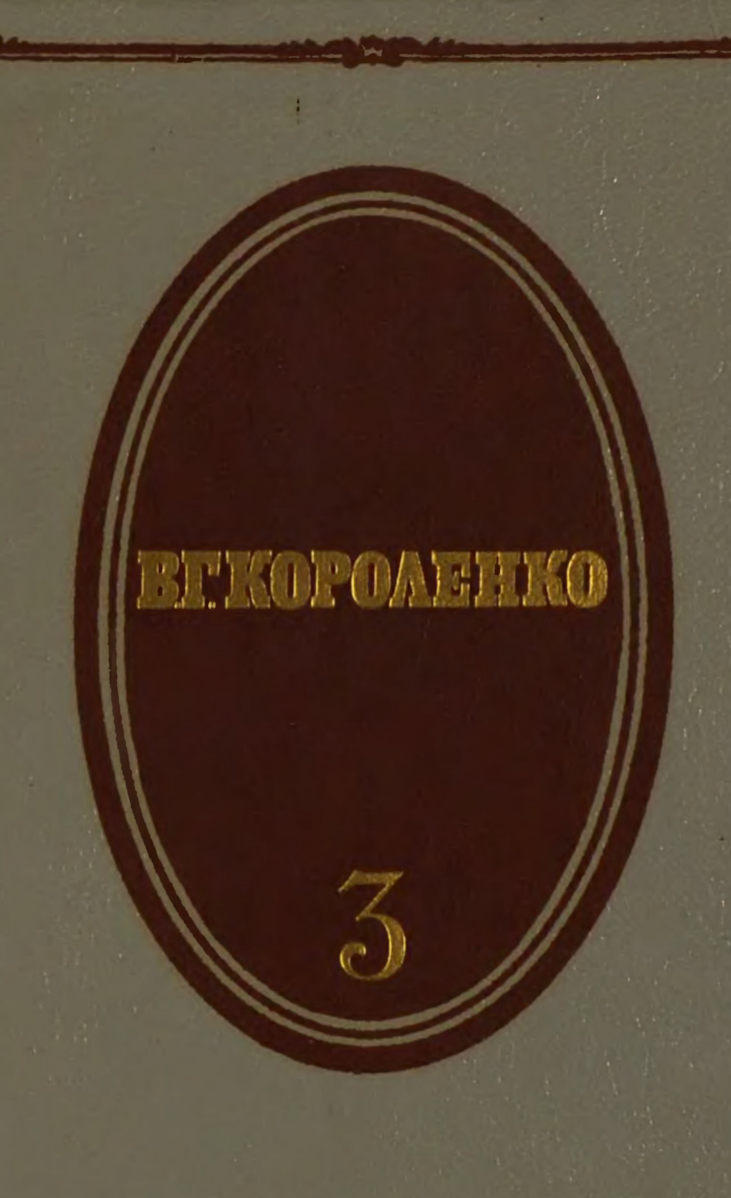
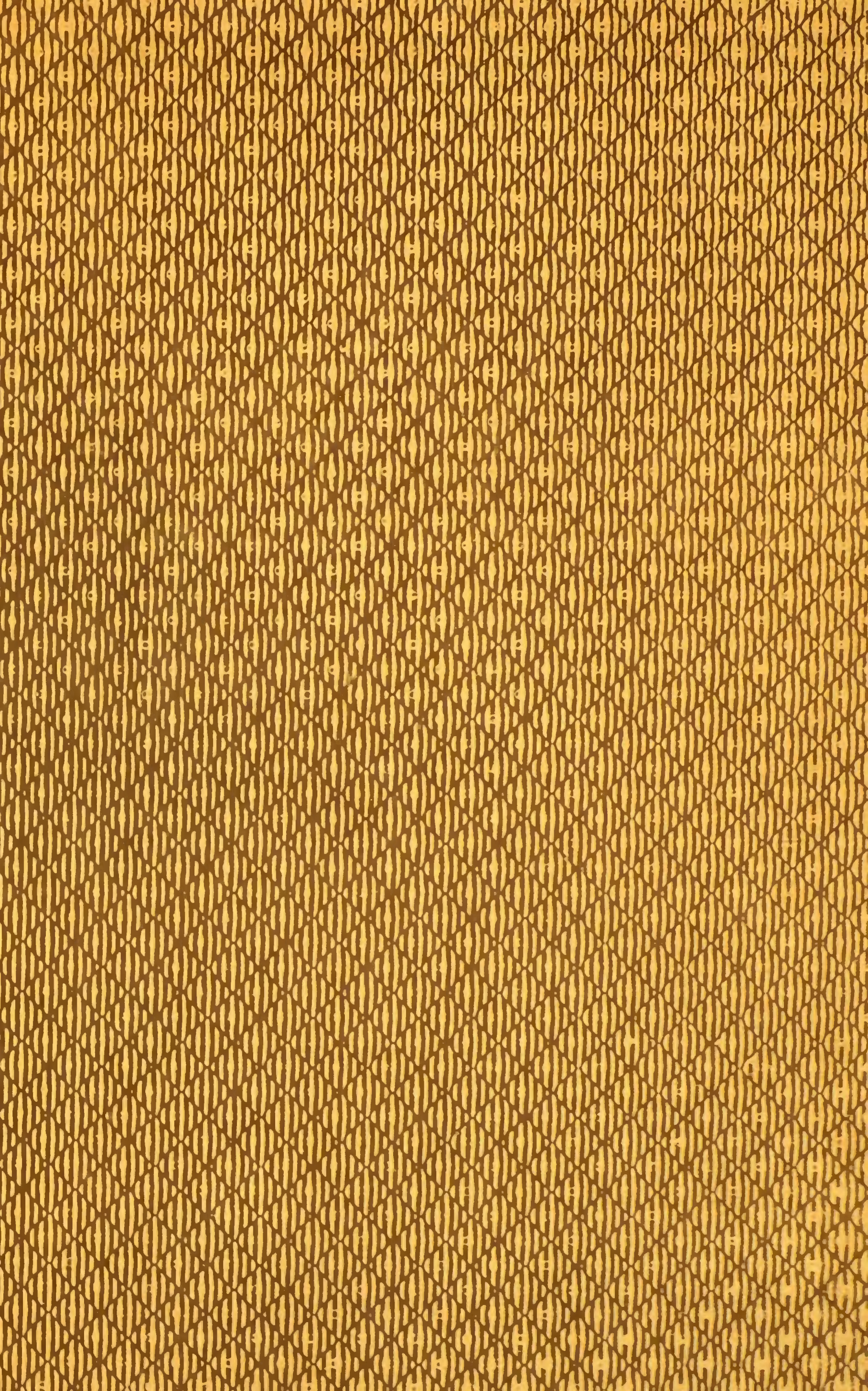

В.Г. КОРОЛЕНКО
3



В. Г. КОРОЛЕНКО

В.Г. КОРОЛЕНКО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Редакционная коллегия:

Г. А. БЯЛЫЙ

Г. В. ИВАНОВ

В. А. ТУНИМАНОВ



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1990

В.Г. КОРОЛЕНКО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ
ТРЕТИЙ



РАССКАЗЫ
1903-1915
ПУБЛИЦИСТИКА
СТАТЬИ
ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЯХ



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1990

ББК 84.Р1
К 68

Составление и подготовка текста

Б. Аверина

Примечания

Б. Аверина, Е. Павловой

Редактор

Т. Степашова

Оформление художника

И. Кулика

Иллюстрации художника

А. Слепкова

К $\frac{4702010106\text{-}057}{028(01)\text{-}90}$ подписное

ISBN 5-280-00946-6 (Т. 3)
ISBN 5-280-00850-8

РАССКАЗЫ
1903-1915

С ДВУХ СТОРОН

Рассказ моего знакомого

Часть первая

I

Мне шел двадцатый год. Я был студентом Петровской академии и чувствовал себя необыкновенно счастливым.

Все из того времени вспоминается мне каким-то сверкающим и свежим. Здание академии среди парков и цветников, аудитории и музеи, старые «Ололыкинские номера» на Выселках, деревянные дачи в сосновых рощах, таинственные сходки на этих дачках или в Москве, молодой романтизм и пробуждение мысли...

Казалось — нам предстоит что-то необыкновенное... Что именно, в точности неизвестно, но от этого все станут окончательно счастливы...

Была также и «она».

О любви не было еще речи. Было несколько сходок, на которых она тоже присутствовала, молчаливая, в дальнем уголке. Я заметил ее лицо с гладкой прической и прямым пробором, и мне было приятно, что ее глаза порой останавливались на мне. Однажды, когда разбиралось какое-то столкновение между товарищами по кружку и я заговорил по этому поводу, я прочитал в ее глазах согласие и сочувствие. В следующий раз, когда я пришел на сходку где-то на Плющихе, она подошла ко мне первая и просто протянула руку.

— Здравствуйте...— И она назвала меня просто по фамилии. До этих пор я знал только ее лицо, выступавшее из-за других в дальнем углу. Теперь увидел ее фигуру. Она была высокая, с спокойными движеньями.

У нее была пепельно-русая коса и темно-коричневое платье. Я был очень застенчив и робел перед женщинами. Сам я казался себе неинтересным и несуразным. Но на этот раз я почувствовал какую-то особенную простоту этого привета и тоже тепло и просто ответил на пожатье.

Никто нас не знакомил. Но мы уже бывали вместе после собраний в тесном дружеском кружке, и я видел, что между нами устанавливается какая-то внутренняя близость. Вскоре после этого она уехала на Волгу, где получила место кассирши на пароходе.

Кассиров на свете много, и никогда эта профессия не казалась мне особенно интересной. Просто выдает билеты и получает деньги. Но теперь, когда я представлял себе в этой роли высокую девушку в темном платье с спокойным вдумчивым взглядом, с длинной косой и кружевным воротничком вокруг шеи, то эта прозаическая профессия представлялась мне в особом свете. Быть может, думал я, в это самое время пароход несется по Волге, и она сидит на палубе с книгой на коленях. А мимо мелькают волжские горы.

Волги я еще ни разу не видел, но был влюблен в нее с юности за бурлаков Некрасова и за Стеньку Разина. И то обстоятельство, что она была именно на Волге, казалось мне особенно красивым и значительным.

Поздней осенью она опять вернется и опять будет стоять в уголку, в накуренной комнате, и ее лицо с пепельными волосами, закрывающими часть лба и маленькие уши (я это успел заметить), будет светить мне сквозь табачный дым и шумные споры. И я представлял себе, как она опять протянет мне руку, скажет «здравствуйте» и назовет мою фамилию. И я непременно при случае спрошу у нее, что она видела на Волге...

Но в данное время ее не было в Москве, и это не мешало мне быть счастливым. Мы только что окончили практические работы по съемке, отдыхали до начала лекций, ходили пешком в Москву, читали и спорили.

II

Вспоминаю тогдашнее особенное настроение... Аромат юности.

Каждый возраст обладает своим собственным ароматом, который носится кругом, насыщает и перепол-

няет для нас весь мир. В настоящем мы его обыкновенно не замечаем, именно потому, что он составляет постоянную атмосферу нашей души. Но стоит настоящему отодвинуться в прошлое, стоит нам войти в другую полосу жизни, и в памяти отлетевший жизненный колорит выступает так ощутительно, что мы удивляемся, как это мы не замечали тогда этой особенной атмосферы, не наслаждались ею в свое время сознательно и полно. А потом и новая полоса станет прошлым, и окажется, что в ней тоже было свое очарование.

Пока живо это «чувство прошлого» с его радостной печалью воспоминания — это значит, что душа жива и жизнь не потеряла своего аромата...

В то время каждое новое впечатление и каждая новая мысль приобретали свою особенную неповторявшуюся окраску.

Читал я много и усваивал восприимчиво. Может быть, несколько односторонне... Перечитывая впоследствии тех же авторов, я находил много такого, что ранее проглядел; зато многое, что тогда светилось ярко, впоследствии потускнело. В каждой книге я быстро намечал выдающиеся пункты, своего рода вехи, на которых группировались воспоминания о прочитанном. Ирландцы, говорит Бокль, несвободны потому, что питаются картофелем. Их завоеватели питаются мясом. Мысль, что, быть может, тут зависимость и обратная — ирландцы не имеют возможности есть мясо, потому что несвободны,— не приходила мне в голову. Выводы из афоризма Бокля были так наивно просты и так утешительны: накормите рабов, и они освободятся...

Другой любимый мой писатель был Фохт. Это был настоящий поэт материализма. В его «Зоологических очерках» природа жила такой яркой красивой жизнью, и, кроме того... он сменял микроскоп на ружье республиканского милиционера. Перевод этой книги, вышедшей в 60-х годах, был снабжен портретом автора, и под ним стоял девиз: «Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens» [1]. Я срисовал портрет и повесил у себя над кроватью. К девизу я прибавил цитату: «Наше время ниспровергло противоположность между вещественным и нравственным и не признает более такого деления...» Точность и ясность материалистической мысли производила на меня впечатление прямо эстетическое.

---

[1] «Против глупости даже боги напрасно борются» *(нем.)*.— *Ред.*

«Боги напрасно боролись с глупостью...» Но мне казалось, что это только потому, что у богов не было микроскопа. Фохты, вооруженные микроскопами, борются с глупостью не напрасно. Я тогда не знал, что и Фохта тогда уже обвиняли в метафизике. «Мысль есть выделение мозга, как желчь выделение печени». Ну конечно... Тогда это мне казалось самоочевидным и окончательным. И главное, это меня необыкновенно радовало, хотя в то же время я страстно преклонялся перед мыслью.

Особенно усердным студентом я не был, но с увлечением слушал некоторых профессоров, особенно по физиологии растений и по зоологии. Меня не столько интересовали при этом «вредители растений» и средства борьбы с ними, сколько ощущения растений и загадочный мир низших животных. Постепенно упрощаясь, животный мир опускался в область мира растительного, растительный роднился с кристаллами. Тогда еще не был разрушен миф о первичной органической материи Геккеля. Где-то, на недоступных глубинах океана, залегает эта первобытная слизь, в которой среди глубокой тьмы и дремотного покоя творится тайна самозарождения жизни. Меня радовало, что элементарные материальные процессы, суммируясь, проникают в область моего чувства и мысли. В этом я видел освобождение от всяких мифологий...

Впоследствии мне было гораздо приятнее мое сознание переносить на всю первобытную природу...

III

Каникулы приходили к концу, скоро должны были начаться лекции. В воздухе чувствовались первые веяния осени. Вода в прудах потемнела, отяжелела. На клумбах садовники заменяли ранние цветы более поздними. С деревьев кое-где срывались рано пожелтевшие листья и падали на землю, мелькая, как червонное золото, на фоне темных аллей. Поля тоже пожелтели кругом, и поезда железной дороги, пролегающей в полутора верстах от академии, виднелись гораздо яснее и, казалось, проходили гораздо ближе, нежели летом.

Я занимал крайний номер в верхнем этаже казенного здания. Из моего окна была видна часть дороги. По-

езд выходил из-за холмов, потом опять скрывался, и только белый султан пара несся над горизонтом. Затем он опять появлялся весь. Маленькие вагоны, точно игрушки, тянулись по профилю дороги. Мне видны были колеса, катившиеся по рельсам, и окна пассажирских вагонов сверкали на солнце. Потом белая лента пара вдруг разрывалась. Поезд нырял под мостик, втягивался в углубление и исчезал. Шум его стихал постепенно в направлении к Москве.

Мы с моим сожителем Титом отходили от окна и в ожидании, пока вскипит казенный куб для чая, ложились на постели и говорили в сумерках бог знает о чем, между тем как в наше окно лилась с полей вечерняя прохлада.

Или порой, перед вечером, мы отправлялись к платформе железной дороги, находившейся в конце прямой лиственничной аллейки, встречать следующий поезд. Курьерские поезда проносились мимо без остановки, пассажирские иной раз останавливались, и из них выходили служащие, жены профессоров, дачники или дачницы. И мне всегда казалось, что вдруг выйдет кто-нибудь интересный и необыкновенный. Может быть... она? Этого никак не могло случиться, но это не мешало неопределенному и радостному ожиданию... Редкие пассажиры уходили по аллее, а мы еще оставались. В будке сторожа вспыхивал огонек. Она была тесна, грязна и неудобна, и в ней ютилась целая семья. Я с негодованием думал о тех, кто «заставляет людей жить в таких ужасных условиях». Но в этих мыслях не было как-то ничего угнетающего... «Мы это скоро изменим...»

И меня более радовала эта перспектива светлого будущего, ожидающего, между прочим, и этого сторожа с его семьей, чем печалило их темное настоящее.

Тит был практик и очень добрый малый. Он редко забывал, отправляясь к платформе, захватить кусок булки, несколько кусков сахару или яблоко для детей сторожа... Их было много, и предстояло еще прибавление...

Затем в темноте мы тихо возвращались в свой номер. И опять я говорил, а Тит слушал.

Говорилось так хорошо... И вообще жилось недурно.

IV

Из тогдашних моих товарищей по академии некоторые приобрели впоследствии почетную известность. И не в одной только специальности: их имена стали известны в разных областях.

Однако... если бы тогда кто-нибудь раскрыл передо мною, выражаясь метафорически, «завесу будущего» и показал бы мне их теми, каковы они теперь, я был бы разочарован. Лично я не был ни заносчив, ни тщеславен. Я не мечтал ни о богатстве, ни о карьере, ни о славе. Вообще, право, я был юноша довольно скромный. Если у меня были преувеличенные ожидания и гордость, то относились они к «моему поколению». Мне казалось, что во всех нас есть какие-то зачатки, какие-то завязи новой и полной жизни.

Был тогда в академии некто Урманов. Он шел выше меня тремя курсами, и особенной близости между нами не было. Несмотря на это, а может быть, именно потому, что не было близости, он служил для меня предметом особенного, отчасти романтического интереса. В то время среди студентов была целая группа архангельцев. Народ рослый, по большей части голубоглазый, флегматичный. Урманов был тоже «уроженец архангельских тундр». То есть собственно родился он в городе Архангельске, в семье незначительного «соляного чиновника», но не походил на других своих земляков; черноглазый, необыкновенно подвижной, он был экспансивен, как южанин. На сходках вспыхивал, как порох, и быстро предлагал самые крайние меры. И так же легко остывал. В лице его было что-то инородческое, но не северное. Считался он очень способным, работал при лаборатории одного из профессоров. Мечты его раздваивались. Одновременно он увлекался революцией и готовился к кафедре. Революционные увлечения проявлялись вспышками, научные были более прочны. Другие его земляки, поступившие позже его, привезли с собой из Архангельска необыкновенное уважение к Урманову: на него в гимназии смотрели как на будущую звезду.

В архангельском кружке был совсем юный поэт, приблизительно моего возраста или немного моложе. Он сочинил длинную поэму, героем которой был Урманов. Поэма несколько хромала относительно формы, но изобиловала картинами северной природы, «бытовым

колоритом» и чисто романтическим полетом. Тут было «низко нависшее небо», «саван снегов», «убогие чумы». Дымок печально вьется над задумавшейся тундрой, олени пощипывают мох, откуда-то несется горловая заунывная песня самоеда. Тундра спит, как заколдованное царство, и сквозь дремоту ждет чего-то... Урманов учится в академии. Вооруженный знаниями, «с пламенной любовью к свободе», он возвратится на свою печальную родину, отвернувшись от соблазнов богатства, славы, женской любви. И тогда в тундре загорится весна, песня зазвенит ярче, самоед проснется к борьбе «за попранные в его лице права человека». Урманов объезжает дальние стойбища, собирает вокруг себя молодежь, говорит о «славном прошлом отцов и дедов» (поэт предполагал, что было такое прошлое и у самоедов), говорит им о том, что в великой России народ уже просыпается для борьбы с рабством и угнетением... Заканчивалась поэма следующей эффектной картиной: северное сияние слабо играет над бесконечной равниной. Снежный саван вспыхивает кое-где огненными искрами. Скрипит полоз нарты, олени бегут, пригнув ветвистые рога к спинам. То гонец самоед с полным сознанием своей миссии везет пламенные воззвания Урманова «к великому самоедскому народу». Затем следовал апофеоз братства племен и свободы.

Поэма требовала еще значительной отделки, но уже и в этом виде производила впечатление и доставила известность в студенческих кружках поэту, а еще более его герою. Я чувствовал большие недочеты и большую наивность этой «Урманиады», но все же Урманов представлялся мне наиболее колоритной фигурой из всей студенческой массы, которая и вся-то казалась мне замечательной.

V

Каждый год с ранней весны на одной из дач поселялся отставной генерал, который в известный час в сопровождении лакея появлялся в академическом парке. Он старческой походкой прохаживался по главной аллее, часто присаживаясь на скамьях и греясь на солнце. Губы у него были широкие, несколько отвисшие и глаза чуть-чуть навыкате: в общем, мы усматривали некоторое сходство с большой лягушкой. Мне почему-то каза-

лось, что между этой фигурой и нами должен существовать инстинктивный антагонизм. В его взглядах, которыми он провожал мелькающие мимо фигуры студентов, мне чудилась раздражительная брюзгливость и досада. Как будто мы составляем лишь очень досадный придаток к хорошему дачному месту, ко всем этим аллеям и цветочным клумбам. Однажды, когда я с двумя товарищами проходил мимо него, не сразу заметив его присутствие, мне показалось, что он вдруг сделал какое-то резкое движение. Толстые губы зашевелились, и глаза выкатились, как будто старик хотел остановить нас... Зачем?.. Может быть, чтобы сделать строгий выговор за то, что мы молоды, что мы студенты, что мы, наверное, имеем «образ мыслей» и самым фактом своего существования выказываем неуважение к старым генералам. При этом высокий и тоже старый лакей с военной выправкой, стоявший сзади навытяжку, тоже, казалось, готов был двинуться за нами, исполняя какую-то генеральскую команду.

Но мы беззаботно прошли мимо. Эта полуразрушенная превосходительная фигура, в течение двух-трех последних лет аккуратно появлявшаяся в парке, пользовалась среди студентов значительною, хотя и не особенно лестною популярностью. Кто-то назвал его генералом Ферапонтьевым, и эта вымышленная фамилия так и осталась за ним. Хотя сама по себе она, по-видимому, не заключала ничего обидного, тем не менее употреблялась всегда с некоторым оттенком иронии. Это было выражение безмолвного и беспричинного антагонизма, установившегося между дряхлым генералом и легкомысленною средой академической молодежи.

И вот однажды разнеслась сенсационная новость: генерал гуляет в сопровождении молодой и очень хорошенькой женщины...

Как-то раз, когда мы с Титом шли по главной аллее, генерал действительно вышел из боковой аллеи и пошел навстречу, опираясь на руку спутницы. Лакея не было. Пятна солнца и теней мелькали на серой тужурке генерала и на небольшой женской фигуре. Когда мы поравнялись с ними, генерал, как мне показалось, опять выпучил глаза, сказал что-то своей спутнице и зашевелил губами. Молодая женщина вскинула пенсне и посмотрела прямо на наши приближающиеся фигуры. Нам обоим стало неловко под этим красиво-беззастенчивым и как будто изучающим взглядом. В нем было что-то

странное. Молодая женщина не просто смотрела. Казалось, она любопытно высматривала, изучала и оценивала нас с какой-то своей точки зрения. В первый еще раз я позавидовал Титу. Он всегда держал свой костюм в большом порядке, тогда как я был в этом отношении несколько беспечен. Скользнув по моей фигуре взглядом, в котором мне почудилась легкая усмешка, она несколько дольше остановила его на аккуратной фигуре Тита. Затем мы разминулись.

— Ну, брат... и дамочка!..— сказал Тит шепотом и почему-то ускоряя шаг...— Заметил ты?.. Как она смотрит?

И, отойдя незначительное расстояние, он вдруг прыснул своим звонким веселым смехом...

— А ты, брат, признайся, своей блузы и грязных сапогов сконфузился. Видишь преимущества приличной внешности?

Я, конечно, не признался, но Тит был прав. Пренебрежительный огонек, мелькнувший, как мне показалось, в глазах молодой женщины, был мне неприятен. Сама она оставила во мне странное впечатление: резкое, не совсем приятное, но вместе заманчиво-дразнящее...

Я не любил дам, одетых явно «по последней моде», а мода того времени внушала мне негодование. Мне кажется, мода явление не совсем случайное и каждая имеет свое выражение. Соответственно с этим меняется даже и выражение лиц. Лица открытые, с высокими лбами и прямым взглядом в то время все чаще стали сменяться низкими лбами, с завитыми челками, слегка подведенными глазами. Вместо прямого и открытого женского взгляда становились «модными» взгляды наивные, беспомощные, как бы молящие о пощаде. При этом низко вырезанные лифы и узкие платья, совершенно мешавшие движениям... В то же самое время модные мужчины придавали себе вид победительный и наглый. Низкие лбы, выпученные глаза; челки на лбу; вороты рубах вырезаны широко, декольтируя шею, а отвороченные углы воротников торчат из-за ушей. Пиджаки нараспашку, руки за жилетом, походка развязная и с развалкой. Общий вид наглеца, отбросившего предрассудки и не дающего пощады.

Девушка или дама, сопровождавшая «генерала Ферапонтьева», была тоже одета по этой ненавистной мне моде, с некоторой даже утрировкой. Светло-серое платье было очень стянуто, низкие вырезы на груди и спине

закрыты легким кружевом, длинный шлейф приходилось придерживать одной рукой. Она была маленького роста и казалась очень молодой, но серые глаза, представлявшиеся порой то темно-голубыми, то даже черными, глядели из-под очень широких полей так твердо и спокойно, что фигура не казалась незначительной. В этом взгляде было что-то холодное, сдержанное и как будто повелительное.

Через несколько дней я опять встретил ее. Мне приходилось принимать от Урманова студенческую кассу, и мы шли к нему на Выселки по главной аллее парка, когда генерал с молодой дамой опять вышли из боковой аллеи. Поравнявшись с ними, Урманов не совсем решительно приподнял шляпу. Генерал повернулся, как будто с недоуменьем. Чтобы пропустить их, мы с Урмановым разошлись так, что они прошли в середине... Дама не заметила поклона Урманова. Оба они повернулись ко мне, и опять от ее холодного пытливого взгляда мне стало неловко.

— Вы знакомы с этой дамой?— спросил я у Урманова, когда мы прошли дальше.

— Д-да...— сказал он нерешительно, и на его впечатлительном лице появился чуть заметный нервный румянец.— Я встретил ее в Москве, в доме профессора N. Там было много народу...

И, пройдя еще несколько шагов, он спросил:

— Нравится она вам?

Он с любопытством ждал моего ответа.

— Я не люблю таких лиц,— сказал я.

— Каких?

— Холодных, что ли...

— Нет... у нее лицо не холодное,— произнес Урманов задумчиво.

— И притом,— продолжал я,— я не люблю еще модниц.

— Она и не модница,— продолжал Урманов с тем же выражением.— У профессора N она была одета совсем просто...

— Но теперь не просто... Даже шляпа в каких-то висюльках... А вам она нравится?— спросил я в свою очередь.

— Нравится,— просто сказал Урманов.— Она оригинальная, не похожая на других... Я не люблю стриженых.



Девушка, уехавшая на Волгу, не была стриженая, но это замечание Урманова прозвучало для меня неприятно.

— Стриженые лучше щеголих,— возразил я.

Урманов все с тем же несколько задумчивым видом, глядя куда-то в сторону, ответил:

— Она не щеголиха и не нигилистка. Это модное платье... Это она для отца. Она — дочь старого генерала...

Это показалось мне почему-то неожиданным, но я тотчас же решил, что это так и должно быть...

— Генеральская дочка,— сказал я с иронией...— Оно и видно.

Урманов живо поднял голову.

— Нет, послушайте, Потапов. Вы ошибаетесь,— сказал он.— Она не просто генеральская дочка... Ее история — особенная... Только, пожалуйста, пусть это останется между нами. Я слышал все это от жены профессора N и не хотел бы, чтобы это распространилось среди студентов. Она действительно дочь Ферапонтьева... То есть, собственно, он не Ферапонтьев, а Салманов... Но она — американка...

— Как же это?— удивился я.

— Да... Это, конечно, оригинально. Она совершенно разошлась с отцом в убеждениях, сошлась с одним господином, тоже отказавшимся от аристократических предрассудков, и оба они уехали в Америку. Он основал какую-то контору в Бостоне... Что-то такое... какие-то изобретения... Но дело, собственно, не в конторе самой по себе... У них какие-то общие цели, какая-то идея, для которой прежде всего нужны средства... Вообще, подробностей я не знаю... Сначала дела шли хорошо, потом вышли неудачи. Дело полетит к черту, если не удастся достать денег...

— У отца?

— Да. Только уж это совсем между нами... Собственно, деньги у нее есть... Свои собственные, по завещанию матери. Но завещание как-то там обусловлено по настоянию генерала: деньги дочь получит по его личному распоряжению, или в случае его смерти... или наконец... свинья этакая!— по вступлении в законный брак в России.

— Что ж? Почему ей не выйти здесь за этого американца?

— Нельзя,— ответил Урманов, задумчиво ломая мимоходом зеленую ветку.— Он уже женат. Давайте присядем. С делом еще поспеем.

Мы были в конце аллеи и уселись в тени на скамейке. В другом конце дорожки генерал с дочерью повернули обратно, и опять пятна света мелькали на серой тужурке генерала и на светлой дамской фигуре... Они тихо приближались к нашему концу.

Я несколько пожалел, что мы остановились на их дороге... Я знал, что мне опять придется выдержать испытующий взгляд молодой женщины и укорять себя в малодушном стыде из-за своих запыленных сапог и блузы. Мне показалось, что Урманов, наоборот, остановился нарочно, в надежде на эту новую встречу с «оригинальной американкой». Он переменил тему разговора: заговорил вдруг довольно оживленно о кассе, о том, что он уже не считает себя студентом, что поэтому счел нужным отказаться от ведения кассы, но что товарищеские дела его все-таки интересуют. Я отвечал, но чувствовал при этом, что оба мы говорим не так, как говорили бы, если бы из зеленой мглы аллей не подвигалась эта пара: генерал и его дочь.

Расстояние между тем уменьшалось... И по мере того, как оно уменьшалось, мною овладевало странное ощущение. Я, не глядя на идущих, чувствовал их приближение, чувствовал пятна света и зеленых теней, пестревшие на светло-сером платье... Скоро ли они пройдут мимо? Кажется, я уже слышу шуршание шагов... Она опять будет рассматривать меня через свою лорнетку? Какие у нее глаза?.. Холодные, светло-серые? Или совсем глубокие, темные?.. Урманов тоже беспокоится... Что он говорит? Во всяком случае, он не думает о том, что говорит. Он думает о том, что она не заметила его поклона и... следует ли ему опять поклониться или не следует...

Шаги зашуршали совсем близко. И вдруг, не подымая глаз, я увидел, что белое дамское платье и серая тужурка генерала поворачиваются к нам. Я подумал, что они хотят сесть, и смущенно подвинулся. Урманов приподнялся и сделал два-три шага навстречу. Генерал остановился, дама, оставив его руку, шла дальше, прямо к нашей скамье. Кивнув Урманову головой, она прошла мимо него. Значит... ко мне?

Я поднял глаза. Небольшая фигурка вынырнула вся в освещенном месте и опять ступила в тень... Теперь она

была совсем близко, и я видел одно ее лицо, вернее, одни ее глаза. Под широкими полями шляпы колебались на шелковинках небольшие белые шарики, и из-за них глядели два совершенно темных женских глаза, живые и глубокие, устремленные прямо на меня. Я уже сказал, что был очень застенчив, и невольно потупился... Шелковое платье... лорнетка на шнурке... маленькая светлая туфля с высоким каблуком — все это остановилось совсем близко...

— Извините... господин студент,— услышал я ее голос и поднял глаза.

Моя застенчивость, очевидно, поставила ее в некоторое затруднение. На одно мгновение она казалась тоже смущенной, и это удивительно изменило ее лицо. Оно было мягче, женственнее и лучше... Но затем на нем опять проступила самоуверенность. Глаза посветлели; на губах пробежала усмешка.

— Извините, что мне приходится вывести вас из вашей задумчивости...— сказала она с веселой иронической ноткой в голосе.— Мой отец очень интересуется знать... Ваша фамилия не Федотов?

И она посмотрела мне прямо в лицо, ожидая ответа, который, очевидно, должен был интересовать только генерала, а не ее. Глаза ее были теперь совершенно серые, холодные, чуть-чуть насмешливые. И мне показалось, что в них я читаю фразу: «Какой ты еще зеленый».

— Нет,— ответил я на вопрос.— Моя фамилия Потапов. Но у меня есть дядя, брат моей матери... действительно... Федотов.

— Слышишь, папа?— обернулась она к отцу и, подойдя близко, крикнула ему в ухо:— У господина Потапова есть дядя Федотов...

Генерал сделал несколько шагов, и на лице его проступила та самая гримаса, которая показалась мне такой презрительной и неприятной. Но теперь она мне такой уже не казалась...

— Степан Ильич?.. Гусар?— спросил он быстро.

— Да, Степан Ильич Федотов и, кажется, гусар.

— Друг мой... Товарищ детства... Давно смотрю на вас... Весь в дядю... Позвольте пожать руку...

Я смущенно протянул руку, и генерал слабо пожал ее мягкой дряблой рукой...

— Это вот моя дочь... Валя, это племянник моего лучшего друга...

Дама тоже протянула руку, и ее взгляд повернулся к Урманову, который стоял рядом немым свидетелем этой сцены... Он слегка наклонился, и его вежливая сдержанность показалась мне очень изящной и красивой.

— Я имел удовольствие встречать вас у...— начал он...

В глазах молодой женщины мелькнул легкий испуг, потом они стали холодны и строги... Она сказала негромко, быстро и с таким выражением, как будто просто знакомилась с случайно встреченным человеком...

— При отце не надо упоминать фамилии профессора N и особенно его жены; на этот раз папа не расслышал. Не удивляйтесь, господа... У меня есть свои, очень уважительные причины...

— Я их знаю,— тихо сказал Урманов.

Лицо ее дрогнуло и побледнело. Она кинула быстрый взгляд снизу вверх, немного испуганный, спрашивающий, просящий. Он мелькнул, как темная зарница, и лицо ее при этом опять совершенно изменилось. В нем не было ни холодности, ни самоуверенности, и глаза были не светло-серые, а глубокие и темные.

Затем она быстро повернулась к отцу.

— Папа! Я тоже встретила неожиданно брата моей близкой подруги... Позволь представить тебе... Это м-сье...

Она быстро, вопросительно и нетерпеливо взглянула на Урманова и повторила за ним:

— М-сье Урманов... Урманов, папа... Я от твоего имени приглашаю господина Потапова и господина Урманова к нам.

— Да, да, да...— сказал генерал быстро.— Конечно, молодой человек, навестите старика... Как же, как же... Федотов... Однокашники...

— Папа! И господина Урманова ты ведь приглашаешь тоже?

— Да-да... И вы тоже... господин Урманов?.. Урманова у нас не было... Был Гурьянов... Но, конечно... да, да... Приходите и вы вместе с Федотовым...

— Потаповым, папа...

— Что? А? Он Потапов?.. Да, да! Федотов — это его дядя. И он весь в дядю... А Потапов?.. Постойте. Да ведь я знаю и Потапова. У него была дочка красавица... Что?.. Как?.. Это твоя мать?.. Ах, милый мой мальчик... Ну, постой. Я тебя поцелую... Дай посмотреть... Моло-

дец! Хоть в гвардию... Жаль, что не пошел по военной... Ну, ничего!

Он снисходительно потрепал меня по плечу и, видимо, был не прочь предаться дальнейшим воспоминаниям... Но дочь твердо прекратила его излияния. Она взяла отца под руку и сказала громко:

— Итак, господа, отец будет ждать вас запросто, в восемь часов вечера, в четверг... Дача такая-то... Это на шоссе. Слышишь, папа, эти господа будут у нас вечером в четверг.

И, кивнув нам головой, она повела старика вдоль аллеи по направлению к академии...

VI

Мы с Урмановым свернули по дорожке над прудом, направляясь по плотине. Урманов некоторое время шел молча, улыбаясь про себя. Он то брал меня под руку, то кидал ее. Вдруг, остановившись на дорожке, он спросил:

— Ну, что скажете теперь, Потапов? Какова американка? И теперь она вам не нравится?

Мои впечатления были довольно сильны, но не вполне определенны, и я ответил искренно:

— Не знаю... Я как-то не понимаю ее.

Он громко засмеялся.

— Молоды вы еще, Потапов, оттого и не понимаете. Уди-ви-тельная, прямо удивительная женщина. Как она ведет свою линию! Замечательно! Умна, как бесенок, тверда, как Наполеон... Хороша, как... Заметили вы ее взгляд?

— Холодный и... властный...

— Нет... Впрочем, да! Один холодный и властный. Это правда. А другой? Глубокий, женственный, просящий. Черт возьми! Понимаете ли вы, Потапов, что за такой взгляд можно отдать жизнь... Или вы и этого еще не понимаете?.. Ха-ха-ха...

Я был очень молод и во многих отношениях чувствовал себя еще почти мальчиком. Мне было лестно, что у меня с Урмановым идет такой разговор, но вместе с тем у меня были «твердые взгляды»... И я ответил:

— Есть много задач, которым можно посвятить жизнь гораздо более производительно...

— Да, да, конечно, конечно...— ответил Урманов рассеянно и затем прибавил: — И что это, черт возьми, за американец такой, хотел бы я знать.

Через полчаса, покончив несложное дело с студенческой кассой, я опять возвращался парком. Я был необыкновенно доволен своим настоящим вообще и нынешним днем в частности. Все было интересно и прекрасно. Так еще недавно я был школьник в захолустном городе. Иногда мне казалось, что я совсем взрослый, что я стал взрослым еще в гимназии, когда стал читать умные книги и «вырабатывать убеждения». В другие минуты, наоборот, я все еще чувствовал себя мальчиком. Это были как бы рецидивы детства, и они меня очень огорчали. Сегодня я был решительно взрослый, серьезный молодой человек. Со мной познакомилась «американка». Я знаю ее интересную тайну, которая касается «фиктивного брака». Урманов говорил со мной почти как с сверстником... Открыл передо мной уголок своей души... Правда, воспоминание о той минуте, когда ко мне подошла «американка», не доставляло мне ни малейшего удовольствия. Я вел себя как самый зеленый гимназист... Мне надо было подняться навстречу неторопливо и свободно, с той изящной сдержанностью, как Урманов... На вопрос ответить так-то... Генералу теперь я бы сказал...

Одним словом, я прошел всю аллею и вел в воображении интереснейший разговор, как вдруг уже у самой академии услышал нервный стук шагов по камню и над балюстрадой, отделявшей академическую площадку от парка, увидел голову американки. После прогулок с отцом, которые имели характер каких-то парадных выходов, она по временам выходила одна, чтобы подышать на свободе. Она вышла из-за балюстрады и стала спускаться по широкой каменной лестнице. Молодая женщина была одета просто, в темное платье, и ее каблуки твердо и быстро стучали по камню...

Все мои умные разговоры сразу вспорхнули, как стая испуганных воробьев, и я опять почувствовал себя совершенно беспомощным, если бы она захотела подойти ко мне. Поэтому я свернул в сторону и сел на скамейку под нависшими ветвями. Она меня не заметила и, обойдя клумбу другой стороной, тоже села на скамью. Вынув из красивой сумочки письмо в очень большом конверте, она нетерпеливо разорвала его и стала читать при наступающем легком сумраке.

Дочитав, она нервно смяла конверт и спрятала в сумочку. Некоторое время она смотрела прямо перед собой, и брови ее были сжаты. Лицо казалось мне сухим, энергичным и опечаленным. Вдруг, резко поднявшись, она пошла по главной аллее... Через минуту, поднявшись в свою очередь, я увидел ее уже далеко... Мне инстинктивно захотелось пойти за ней... Это было невольное участие и любопытство. Но я, конечно, не пошел... Долго вечером в моем воображении стояла одинокая фигура опечаленной американки в темнеющих аллеях. «Должно быть, дурные вести из Америки»,— подумал я...

Через два дня, заглянув в вестибюль академии, где обыкновенно выставлялись письма, получаемые на имя студентов, я увидел небольшой конверт с моим адресом. В нем было написанное твердым круглым почерком приглашение:

«Генерал Григорий Николаевич Салманов, свидетельствуя свое почтение Гавриилу Петровичу Потапову, напоминает об его обещании посетить его в четверг такого-то числа, дача такая-то. Валентина С.» И внизу более торопливым почерком было прибавлено: «Ждем запросто к чаю. Валентина Салманова».

Я взглянул на витрину. Точь-в-точь такой же конверт был адресован Урманову.

С помощью Тита, который отнесся с несколько ироническим интересом к моему новому знакомству, мне удалось придать себе довольно приличный вид, и ровно в восемь часов я встретился с Урмановым у генеральской калитки. Тит, последовавший за мной на некотором расстоянии, прошел мимо и скроил уморительную гримасу, отчего мне стало неловко и смешно. Я готов был ретироваться, но было поздно: камердинер с военной выправкой уже почтительно открыл дверь, и мы вошли...

Когда я вернулся в двенадцатом часу в наш общий номер, Тит опять прыснул и стал расспрашивать: «Ну, что? Как сошел парадный визит? Как генерал? Чем угощали? О чем говорили?.. Отчего у тебя кислый вид?..» Я должен был признаться, что вечер прошел для меня довольно скучно. Старый генерал был приветлив, даже слишком. Он завладел мною целиком, много расспрашивал о дяде и отце, рассказывал военные анекдоты и в заключение усадил играть в шахматы.

— Пойдешь еще?— спросил Тит, смеясь.



— Старик взял с меня слово,— ответил я с кислым видом, снимая с себя парадный черный сюртук Тита.

Тит посмотрел на меня и, видимо, хотел что-то сказать. Я был очень дружен с Титом, и до сих пор у меня не было с ним никаких тайн. Но теперь мне пришлось бы умолчать о том, что Урманов весь вечер провел с американкой, что, кроме нас, был какой-то еще молодой человек аристократической наружности, друг детства Валентины Григорьевны, и что, пока я играл с генералом в шахматы, они втроем вели в другой комнате какой-то очень оживленный конспиративный разговор. Генерал был глуховат... Мне казалось, что я в этот вечер играл роль ширмы, не очень лестную для моего самолюбия.

Вообще разговаривать с Титом мне этот раз не хотелось...

VII

Через несколько дней, после нескольких еще более или менее случайных встреч в парке, вышло как-то так, что я стал на генеральской даче почти своим человеком. Старик приглашал так радушно и настойчиво, что было неловко отказываться. При этом Валентина Григорьевна смотрела на меня своими «темными» просящими глазами, и я готов был согласиться с Урмановым, что против *этого* ее взгляда устоять довольно трудно. Впрочем, я в сущности ничего не имел против того, чтобы слегка участвовать, хотя бы и косвенно, в «американских делах» и устройстве «фиктивного брака»... Со мной приходил и Урманов.

Свободного времени у меня было много. Лекции еще не начинались. Физическая усталость от летних практических работ прошла, и я не знал порой, куда мне деваться от этой прекрасной осени, от своего досуга и от того смутного, приятного и вместе томительного ощущения, которое искало формы, тревожило и гнало куда-то, к неведомым опытам и приключениям.

В таком настроении целыми часами я бродил по закоулкам парка, вглядываясь в затянутые легкой дымкой чащи, просиживал с книгой у грота Иванова, стараясь разгадать мрачную драму нечаевского дела, или шел к железной дороге встречать перед вечером пассажирский поезд...

К платформе вела аллейка, прямая, как стрела, обсаженная в два ряда лиственницами, окаймлявшими боковые дорожки. Издали вся дорога казалась сплошным зеленым валом. Стоило пройти по ней несколько саженей, и тотчас же зелень скрывала академию, казенные здания, ферму. Спереди и сзади виднелся только зеленый коридор, усыпанный щебнем и начинавшею опадать лиственничной хвоей. Лучи солнца играли переливами на щебне, на зелени, на стволах. Мягко и сочно шелестели мохнатые ветки, сильно уже тронутые, точно золотом, краснотой осени. Здесь я чувствовал себя совершенно уединенным и охотно давал волю смутным ощущениям, которые распускались в душе без помехи. Все, о чем так хорошо думалось и мечталось в другие минуты, тут, казалось, сливается в один стройный хор ощущений... молодость, ожидание, сила!.. А лучи сквозят и шевелятся и вблизи, и вдали, по аллее, так бесшумно, точно это тоже мечта. И чудится, будто что-то или кто-то мелькает в далекой перспективе, среди этой подвижной светотени...

Подойдя однажды к платформе, я увидел на ней Урманова. Он стоял на краю и смотрел по направлению к Москве. Полотно дороги лежало между откосами насыпи, пустынное, с двумя парами рельсов и линией телеграфных столбов. Взгляд убегал далеко вперед, за этими суживающимися полосками, которые терялись вдали, и над ними вился тот дымок или туман, по которому узнается присутствие невидного большого и шумного города.

— Что, виден поезд?— спросил у меня Урманов.— У вас глаза хорошие.

— Нет, не видать.

— А что это там... как будто?..

Эта узкая даль с дымкой на горизонте обманчива: если в нее вглядываться с ожиданием, она начинает шевелиться и из нее развертываются какие-то очертания, пятна, предметы. Но я никого не ждал и потому ответил равнодушно:

— Это дым и туманы Москвы. А вы, видно, ждете кого-нибудь...

— Нет, я так... То есть, собственно говоря... Да, жду.

Он неловко замялся и заговорил о другом.

Разговор у нас не клеился. Урманов нетерпеливо шагал по платформе и то и дело взглядывал на дорогу. Наконец поезд появился темной точкой в колеблющейся

дымке; точка эта исчезла, опять возникла и стала расти. Когда поезд был близко, сбоку появилась рука кондуктора с флагом, которым он махал машинисту. Значит, предстояла остановка у платформы... Надвинулся локомотив, стуча и громыхая, прошел тендер, багажный вагон, еще два-три вагона. Потом вся эта громада, завладевшая тихою за минуту дорогою, остановилась, качнулась назад, заскрежетала, и из нее легко выпрыгнула Валентина Григорьевна Салманова. В течение нескольких дней ее не было видно; генерал гулял по парку в сопровождении лакея с военной выправкой.

Она остановилась и посмотрела на нас обоих.

Потом быстро подошла ко мне, протягивая руку... Глаза ее были совсем темные.

— Так, значит...— начала она,— господин Урманов уже сказал вам?..

Но в это время Урманов торопливо подошел к нам... Мне показалось, что он несколько смущен.

— Нет, я еще ничего не говорил Потапову... В этом не было надобности, так как... Есть некоторые неудобства, которые...

Она посмотрела на него задумчиво и сказала серьезно и несколько холодно:

— Но вы знаете... есть неудобства и с другой стороны... Вы это обдумали?

— Да,— ответил Урманов и затем прибавил как-то значительно: — Да, Валентина Григорьевна, я все решительно обдумал.

«Все решительно» он сказал с натиском.

Мне показалось, что в голосе его слышится странное волнение. Молодая женщина кинула на него быстрый взгляд, брови ее сдвинулись, и несколько секунд она обдумывала что-то, чертя концом зонтика по платформе... Потом она подняла голову, посмотрела мне прямо в лицо и сказала:

— Послушайте, Потапов... Господин Урманов должен был переговорить с вами... Он обещал мне это, но... не исполнил обещания. Поэтому я должна теперь говорить с вами без приготовлений... Вы знаете, что такое фиктивный брак? Знаете? Хорошо. У меня мало времени... Пойдем дальше. Вам уже исполнился двадцать один год? Нет? Это досадно, ну... Это можно уладить... Жениться вы, наверное, еще не собираетесь? Не думаете совсем? Ну, за это поручиться нельзя, но во всяком случае едва ли раньше, скажем... пяти лет. Так?.. Не прав-

да ли?.. Теперь самое существенное. Слушайте, очень важные причины заставляют меня прибегнуть к фиктивному браку... Мне нельзя ждать и двух недель, может быть, нельзя даже и этого.

По лицу ее прошла гримаса нетерпения и боли, но она тотчас же подавила ее и посмотрела на меня снизу вверх с улыбкой. Глаза ее мерцали темными огоньками...

— Что, если бы... Если бы вы согласились в эту неделю влюбиться в меня, а на следующей неделе попросили у генерала моей руки?.. Постойте... Он почти наверное согласится. Он только и говорит о том, как вы напоминаете его друга... И... и... одним словом — вы его слабость...

Она говорила быстро, сдерживая волнение, и потом опять посмотрела на меня тем темным мерцающим взглядом, который я заметил еще в первую нашу встречу в парке.

Только там это была беспредметная боязнь, беспомощность, искание опоры, ни к кому не обращенная просьба... Теперь этим взглядом она смотрела прямо на меня...

Это было так неожиданно, что я совершенно смутился. Я должен жениться?.. Сейчас?.. Через две недели?.. Что скажут родители?.. Придется, конечно, без спросу... Потом я объясню матери... Отец, может быть, будет даже рад, но... ведь это только фиктивно... Придется объяснять и это... Не поймет... рассердится... Ну... я не мальчик и имею право располагать собой... Осенью приедет девушка с Волги... Узнает новость... «Потапов женился»... Ей тоже можно будет объяснить... Ну да, конечно...

Все это вихрем пронеслось в моей голове, и мне кажется, я готов был согласиться, но... пока я молчал — вероятно, у меня был очень смешной и жалкий вид. Ее глаза, смотревшие с жгучим ожиданием, вдруг изменили свое выражение, и Валентина Григорьевна засмеялась... Смех был веселый, громкий и беззаботный.

— Бедный Потапов... Как он испугался,— сказала она как-то особенно ласково...— Не бойтесь, не бойтесь, мы вас не женим так вдруг... и без вашего желания... Я только хочу сказать вам...

Лицо ее опять стало серьезно и холодно...

— Что жертва, которую я хотела просить у вас... Конечно, она велика, но не так, как кажется с первого

взгляда. По нашим законам продолжительная безвестная отлучка одного из супругов снимает с другого всякие обязательства. А я месяца через два уеду в Америку, и там у меня другая фамилия. Ну, да это дело конченое...

Она повернулась к Урманову и взяла его под руку.

— Простите,— сказала она мягко,— вы совершенно правы... Это нельзя... Значит?

Она вздохнула и несколько секунд опять, сдвинув брови, чертила что-то концом зонтика. Мы все трое стояли эти несколько секунд неподвижно на пустой темнеющей платформе. Потом она подняла голову и сказала:

— Мне остается только одно... Вам, Урманов, известно все?.. Все предусмотрено?.. Вы все взвесили?.. Вы не мальчик, а мужчина... Итак?..

— Да,— сказал Урманов кратко. И они двинулись по тропинке.

Может быть, это опять предчувствие задним числом... Может быть, мне просто хотелось разыграть самому интересную роль участника в фиктивном браке, только что-то будто толкнуло меня, и я сказал:

— Валентина Григорьевна... Все это так неожиданно... застигло меня врасплох... Теперь я обдумал и согласен.

Она оглянулась на меня и ласково кивнула головой:

— Я знаю, знаю... Но... это дело конченое... Пожалуйста... приходите к нам почаще. Это мне важно.

И они быстро поднялись на холмик и вошли в лиственничную аллейку. Урманов шел радостный, прямой и стройный. Она почти повисла у него на руке, маленькая, живая и гибкая, как змейка...

Я еще некоторое время оставался на платформе.

Спускались сумерки. По линии, в направлении к Москве, виднелись огоньки. Целое созвездие огоньков мерцало неопределенно и смутно. Один передвигался — это шел товарный поезд. Беременная сторожиха выползла из будки. Больной ребенок был у нее на одной руке, сигнальный фонарь в другой... Заговорили рельсы, тихо, тонко, чуть слышно, как будто что-то переливалось под землей. Потом это перешло в клокотание, и через две минуты тяжелый поезд прогромыхал мимо платформы.

Баба ушла в будку. Тусклым светляком приполз сторож, возвращавшийся с линии. Он поставил фонарик на скамейку огнем к стенке и тоже скрылся в избушке.

Огонь погас. На линии все стихло. Только огоньки по направлению к Москве тихо мерцали, смешиваясь и переливаясь.

На душе у меня были такие же синие сумерки, пронизанные живыми огоньками.

VIII

Я исполнил просьбу Валентины Григорьевны и вскоре пришел к генералу. По обыкновению, мы сели за шахматы, но генерал играл довольно рассеянно. На веранду из сада поднялись Урманов и Валентина Григорьевна и прошли через столовую во внутренние комнаты. Оттуда послышались звуки рояля... Генерал собрался сделать ход, поднял одну фигуру и задержал ее в воздухе. При этом он пытливо посмотрел на меня и сказал:

— Вот что... того... Вы сын моего друга... почти родственник... Скажите... вы товарищ этого... господина Урманова?

— Он уже почти кончил курс,— ответил я,— а я только перешел на второй...

— Да, да... конечно... Ну, все же вы знаете... Что он?.. Кажется, человек того... порядочный... На хорошей дороге... что?

— Его оставят при академии...

— Это что же значит?

— Он готовится к профессуре.

Генерал одобрительно мотнул головой. Звуки рояля стихли. Валентина Григорьевна заглянула в комнату и сказала:

— Папа, чай на столе...

— Хорошо, мы сейчас кончим.

Он спустил фигуру, которую держал в руке, и сказал:

— Шах королю...

— Я возьму королеву...

Генерал вдруг пришел в раздражение.

— А, черт... Я сдаюсь... Я сегодня не могу совсем играть... Не до игры... Так вы говорите?.. того... Мне ведь не с кем посоветоваться... жена умерла... Если бы у меня был сын, тогда того... было бы просто: определил в полк, и кончено. А тут... дочь... Родных никого... Ну, что толковать! Пойдем пить чай...

Он поднялся все с тем же брюзгливым видом, и мы перешли в столовую. Валентина Григорьевна сидела за самоваром, Урманов около нее. Войдя в комнату, генерал остановился, как будто собрался сказать что-то... даже лицо его настроилось на торжественный лад, но затем он нахмурился, сел к столу и сказал:

— Ну, я того... согласен...

Всем стало вдруг отчего-то неловко... Урманов поднялся с места и поклонился генералу.

— Поверьте, Григорий Николаевич,— сказал он,— что я высоко ценю честь, которую...

Генерал, по-видимому, готов был выслушать со вниманием то, что он хотел сказать, но Валентина Григорьевна протянула полный стакан и сказала Урманову:

— Передайте, пожалуйста, отцу...

И потом прибавила:

— Спасибо, папа... Ты знаешь, я не люблю формальностей и чувствительностей.

Генерал рассердился... Ложечка в его руке задребезжала о края стакана.

— У нас все не по-людски... Того... сегодня я позвал Федотовых... Надо объявить... Не окруткой, того... выдаю дочь... Не круг ракитова куста... Прохор... приготовить шампанского...

Генерал сердился и был печален.

— Хорошо, папа, хорошо,— сказала Валентина Григорьевна...— Если хочешь, объявим...

Вскоре приехали Федотовы из Москвы и с ними какой-то приличный молодой человек с пробором посередине головы, троюродный племянник генерала.

Генерал торжественно с бокалом в руке объявил о помолвке. Все поздравляли... Валентина Григорьевна принимала поздравления очень спокойно.

Приличный молодой человек поцеловал у нее руку и сказал что-то тихо, с почтительным и отчасти шутливым видом. По-видимому, он знал все. Урманов покраснел и насупился...

Весть о помолвке Урманова быстро распространилась в академической среде. Однажды Тит, который быстро узнавал все новости, спросил меня:

— Слушай, Потапыч, правда, что Урманов женится фиктивным браком?

Я замялся.

— Пустяки,— ответил я с неудовольствием.— И притом эта болтовня может повредить людям.

— Рассказывай,— упрямо сказал Тит...— У нее муж в Америке...

Однако если слухи и были, то неопределенные и смутные. Урманов держал себя настоящим женихом, и теперь генерал ходил по парку втроем. А когда он уходил домой, то «жених с невестой» выходили еще, и их фигуры до поздних сумерек мелькали по аллеям и глухим тропинкам парка.

IX

Венчание происходило в нашей церкви. Народу было немного. Несколько академических дам, жен профессоров и служащих, несколько баб, кучка студентов в высоких сапогах и блузах и затем свидетели со стороны жениха и невесты. Шаферами со стороны Урманова были два студента старших курсов, со стороны невесты — высокий приличный кузен, во фраке. Он приехал в сопровождении двух молодых девушек, подружек невесты. Это были, видимо, люди ее прежнего круга, и приглашение их было уступкой генералу. Они держались с приличной степенью радушья, и во взглядах, какие порой молодые девушки кидали на жениха и шаферов, сквозило любопытство. Вторым шафером невесты был я, но мне не пришлось играть никакой роли. Приличный молодой человек держал венец, а я стоял с Титом поодаль...

Венчал академический священник, профессор богословия, человек умный и красноречивый. На своих лекциях он любил упоминать Конта и Дарвина, и его проповеди славились в Москве. Человек опытный и тактичный, он чувствовал, что не нужно излишней торжественности, и служил кратко. Обращаясь к жениху и невесте с несколькими словами, он все же сказал их с некоторой теплотой и в меру эффектно. В одном месте голос его даже слегка дрогнул (мы знали эту ноту по патетическим заключениям лекций). Урманов показался мне при этом взволнованным. Лицо Валентины Григорьевны было спокойно и холодно. Когда их водили вокруг аналоя, один из шаферов, студент, наступил ей на шлейф. Она слегка повернулась и стала ждать. Но тот не заметил.

— Вы мне оборвете платье,— сказала она, спокойно улыбаясь.

Когда все кончилось и мы выходили из церкви, я услышал фразу, тихо произнесенную одним из студентов товарищу:

— Бедняга Урманов по уши влюблен в свою жену...

— Почему же бедняга?— спросил другой.— Дай бог всякому.

— Но... если это... фикция?..

— Ну, это пустое.

И уже на паперти студент наклонился к товарищу и докончил:

— Случилось мне невзначай натолкнуться на них в парке... Нет, батюшка, едва ли это фикция... А если и начиналось фикцией, то, кажется, у Урманова есть большие шансы.

После венчания в генеральской квартире приличный кузен сказал несколько слов, которые очень понравились генералу. Это было умно, и в словах слышался тонкий намек дружеской иронии, понятной только посвященным. Когда Валентина Григорьевна вышла, переодетая, из своей комнаты, он подошел к ней с бокалом и опять сказал ей тихонько что-то шутливо-интимное. Валентина Григорьевна так же шутливо ударила его лорнеткой по руке... Урманов, разговаривавший в это время с товарищем, смотрел искоса и слегка тревожно в их сторону...

Через полчаса молодые попрощались и уехали на несколько дней в «свадебную поездку». После них уехали и московские гости. Проводив их, генерал несколько минут еще стоял у калитки. За ним вытянулся старый слуга с военной выправкой, бывший много лет его денщиком.

— Ну вот, брат,— сказал генерал...— И того... И окрутили.

Старик еще более выпрямился и ответил:

— Так точно, ваше превосходительство!

— Д-да! В наше, брат, время,— продолжал генерал, обращаясь сразу к старику и ко мне,— все это делалось по-иному... Что?.. А?.. После церкви — на колени перед родителями... Потом — дым коромыслом... Поздравления, звон бокалов... Молодежь... веселье.

Он замолчал, как бы вглядываясь во что-то далекое, и затем, вздохнув, прибавил:

— Что поделаешь, брат... Мир, того... год от году меняется...

И старый слуга, держа руки по швам, ответил:

— Так точно, ваше превосходительство...

Этот краткий диалог показался мне довольно комичным. Я был неспособен в то время понять трагедию «старого мира». «Новый мир» поглощал все мое внимание.

Урмановы вернулись в конце недели, и опять их можно было видеть в парке то с генералом, то одних. Урманов имел вид необыкновенно счастливый, и все аллеи и уголки парка, казалось, переполнены мельканием его счастья.

— Так и кажется,— шутил один из товарищей Урманова,— что в парке осенью вдруг защелкали соловьи.

Урмановы поселились на отдельной дачке в лесу...

Однажды мне случилось ехать в Москву в академической линейке-омнибусе. Я был один, но на дороге линейка вдруг остановилась. На шоссе по тропинке от лесных дач вышли Урмановы. Она радушно поздоровалась со мной и осталась стоять у дороги, а Урманов сел в линейку. И пока старое сооружение двигалось по шоссе, Валентина Григорьевна стояла белым пятном у леса и махала зонтиком. Урманов радостно отвечал. Когда дорожка скрылась за поворотом, он озабоченно пошарил в кармане и вынул большой пакет, заадресованный круглым почерком Валентины Григорьевны. Глаза у меня были хорошие, и я невольно прочел на адресе: «Америка». Урманов спрятал его и достал другой, поменьше. Лицо его стало озабоченно. На этом конверте тоже стояло слово «Америка», но почерк был Урманова...

«Цель фиктивного брака достигнута»,— подумал я.

Радость Урманова казалась мне великодушной и прекрасной... В тот же день под вечер я догнал их обоих в лиственничной аллее, вернувшись из Москвы по железной дороге. Они шли под руку. Он говорил ей что-то, наклоняясь, а она слушала с радостным и озаренным лицом. Она взглянула на меня приветливо, но не удерживала, когда я, раскланявшись, обогнал их. Мне показалось, что я прошел через какое-то светлое облако, и долго еще чувствовал легкое волнение от чужого, не совсем понятного мне счастья.

Вечером я долго разговаривал с Титом, но этого мне показалось мало. Я сел за письмо к товарищу, жившему в Киевской губернии. Так как он не знал никого из действующих лиц, то я свободно рассказал всю историю, как она мне представлялась. А рисовалась она мне вся

в светлом облаке. Урманов — замечательный человек, американка — необыкновенная женщина. Он влюблен в нее — это несомненно. От этого фиктивный брак казался мне еще интереснее. Вообще все мне казалось красиво, интересно, возвышенно и превосходно. Даже старый генерал... Я почти любил его за то, что он доставил в этой картине необходимую черту: старого деспота, без которого картина была бы неполна...

Кончив письмо, я еще долго стоял у окна, глядя в безлунную звездную ночь... По полотну бежал поезд, но ночной ветер относил звуки в другую сторону, и шума было не слышно. Только туманный отсвет от локомотива передвигался, то теряясь за насыпями, то выплывая фосфорическим пятном и по временам освещаясь огнями...

Ночной холод проник в наш номер и разбудил Тита. Он сердито поднялся на постели и сказал:

— Запри окно! Что ты, с ума сошел, что ли?..

Я запер окно, но, подойдя к Титу, сказал:

— Тит, несчастный! Ты боишься простудиться в такую ночь...

— Поди поцелуй бабушку сторожа Кузьмича, если ты в таком восторге...— отвечал Тит.— А мне не мешай спать...

И оба мы захохотали...

X

Время шло. Студенты съезжались с каникул, дачи пустели, публика поредела. Генерал захворал и не показывался в парке. Я заходил к нему, но он не принимал.

Урмановы вели довольно общительный образ жизни, принимали у себя студентов, катались в лодке, по вечерам на прудах долго раздавалось пение. Она очень радушно играла роль хозяйки, и казалось, что инициатива этой общительности исходила от нее. Она звала меня, но я немного стеснялся. Их общество составляли «старые студенты»; я чувствовал себя несколько чужим и на время почти потерял их из виду...

Однажды под вечер я опять увидел их в парке на пристани у пруда. Валентина Григорьевна стояла, Урманов сидел на скамье. По-видимому, она приглашала его идти, он упрямился. Вид его показался мне стран-

ным: шляпа сдвинулась несколько на затылок, голова была закинута, на лице виднелось несвойственное ему выражение, делавшее его неприятным. Такое выражение я видел прежде один только раз, во время жаркого спора на сходке. Спорил с Урмановым человек несимпатичный, но умный и замечательно выдержанный. Урманов разгорячился. Видно было, что он переносит свою вражду к человеку на его аргументы. На этот раз противник был прав, и ему было легко опровергать доводы Урманова. Но, вместе с тем, было заметно, что он задевал в Урманове самолюбие, и это доставляло ему удовольствие. Несколько колкостей еще более раздражили Урманова. Казалось, в нем проснулся какой-то мелкий и злобный бесенок, дремавший в глубине симпатичной и пылкой натуры. Он не мог остановиться, отрицал очевидности, сознавал, что не прав, что все это сознают также, и от этого горячился еще больше. Аудитория, обыкновенно увлекавшаяся его пылом, теперь была против него, по ней то и дело перекатывался иронический смех, а в Урманове все больше освобождалось что-то злое, доводившее его до бессилия.

Несколько дней после этого он стыдился своей вспышки и казался подавленным.

Теперь на его лице было то же выражение. Когда я приблизился, он смолк и посмотрел на меня в упор, но как будто не узнал и только выжидал, скоро ли я пройду мимо.

Мне стало неловко, и я ускорил шаги, слегка поклонившись. Урманов продолжал сидеть с руками в карманах. Валентина Григорьевна сдвинула брови, посмотрела на него внимательно и повернулась ко мне.

— Здравствуйте, Потапов,— сказала она, подавая мне руку...— Куда вы это?

— Так, никуда определенно...

— Ну, так проводите меня... И, может, зайдем к моему старику... Василий Парменович, вы пойдете?

Она спросила вполоборота, но ждала ответа внимательно.

— Нет, я останусь.

Она пошла вперед, и опять ее каблуки твердо и чеканно застучали по камням пристани.

Через день или два я шел с удочками на пруд. На пруду был небольшой островок и на нем две скамеечки для рыбной ловли. Пробираться туда надо было узкой

тропочкой, кое-где через кочки. Поэтому ходили туда только рыболовы. Публика заходила редко.

Я уже подошел к тропинке и хотел свернуть на остров, как по дорожке появились Урмановы. Они горячо говорили о чем-то, и оба были взволнованы. Увидев меня, она как будто обрадовалась.

— Потапов, Потапов, постойте...

Я остановился.

— Куда вы это? С удочками? Возьмите нас... Где это?.. Здесь?.. И у вас две удочки? Вот как хорошо!.. Пойдем.

Мне показалось, что она с легким усилием выдернула свою руку из-под руки Урманова и пошла со мной по тропинке, ловко перепрыгивая с кочки на кочку. Подобрав юбки, она ловко и твердо прошла по дощечке, уселась на скамейку, размотала удочку и быстро закинула лесу.

— Постойте, Валентина Григорьевна... Надо червяка...

Она протянула мне свою удочку. Я надел червяка и тоже закинул удочку.

Потянулись минуты. Пруд стоял гладкий, уже в тени. По временам что-то тихо всхлипывало между татарником... Бегали большие плавуны. Я следил не особенно внимательно, сознавая, что все это вышло как-то нарочито и искусственно. За своей спиной я чувствовал Урманова. И мне казалось, что он большой и темный.

— Берите, берите... Вы зеваете... У вас клюнула,— сказала вдруг тихо Валентина Григорьевна...— Ах, какой вы неловкий...

Казалось, она действительно увлечена ловлей. Я подсек слишком резко. Большая рыба мелькнула над водой, но сорвалась с крючка и упала обратно.

— Какая досада... вы плохой рыбак,— говорила она тихо и твердо.— Вот смотрите, как надо!..

Она тоже выдернула удочку, и небольшой карасик, описав в воздухе дугу, упал на берег.

— Снимите, пожалуйста,— сказала она Урманову.

— Скоро это кончится?— услышал я голос сзади...

— Вы снимете?

— Снял. Что с ним делать?

— Бросьте в воду...

Она опять закинула, и опять потянулось время. Мне был виден конец ее удочки, отражение в пруде и поплавок, окруженный кольцом точно расплавленного сереб-



ра на фоне темной глубины. Мой поплавок вздрагивал, колебался, исчезал из глаз, опять появлялся и опять уплывал куда-то далеко. Я испытывал странное напряженное состояние и сознавал, что оно происходит оттого, что рядом со мной сидит Валентина Григорьевна, а на берегу, у меня за спиной — Урманов. И что это между ними стоит то тяжелое и напряженное, что передается мне.

— Скоро это кончится?— спросил опять Урманов, угрюмо и жестко.

— Не знаю...— ответила холодно Валентина Григорьевна.— Когда вы захотите...

— Я хочу... сейчас...

— Нет, вы сейчас еще не хотите,— ответила молодая женщина твердо.— Когда захотите, вы мне скажете.

— Странно,— пробормотал Урманов...

Опять шли минуты... Солнце совсем село, потянуло сыростью и прохладой, спускались сумерки...

— Валентина Григорьевна!..— Голос Урманова звучал мягкою печалью... Валентина Григорьевна прислушалась.

— Становится темно,— произнес я довольно жалобным тоном.

— Да?— переспросила Валентина Григорьевна...— Вам, бедненькому, надоело? Ну,— она вздохнула,— хорошо, пойдем!

Когда мы вышли из кустов на дорожку, она сказала:

— Дайте вашу руку. Не так. Вот как надо.

Над прудом кое-где стлался туман, и, когда мы вышли на большую дорожку, я удивился, как это еще за минуту мы могли видеть поплавки... Теперь у рыболовных скамеек было совсем темно. Какая-то водяная птица кричала на островке, где мы сидели за минуту, как будто спрашивая о чем-то из тьмы. Молодой серп луны поднимался, не светя, над лугами за плотиной.

Я чуть ли не в первый раз шел под руку с дамой. Сначала мне было неловко, и я не мог приноровить свою походку; но она шутливо и твердо помогла мне и, идя по аллее, я чувствовал себя уже гораздо свободнее. Наши шаги звучали согласно, отдаваясь под темным сводом лип. Она плотно прижалась к моему плечу, как будто ища защиты. Я чувствовал теплоту ее руки, прикосновение ее плеча, слышал ее дыхание.

В темной аллее ее лица совсем не было видно... Я вспоминал свое первое впечатление: холодный взгляд, повелительный и пытливый, выражение лица неприятное, властное и сухое... Потом мелькнуло другое выражение: женственное и трогательное, потом все спуталось в общем безличном обаянии женской близости — близости любви и драмы... Я уже не различал, моя это драма или чужая... Мне начало казаться, что со мной идет другая, та, что на Волге...

Воображение стало работать быстро. *Ей* тоже понадобился фиктивный брак... С какой радостью стою я с ней перед аналоем... Теперь это она идет об руку со мною... Это у нас с ней была какая-то бурная сцена три дня назад на пристани. Теперь я овладел собой. Я говорю ей, что более она не услышит от меня ни одного слова, не увидит ни одного взгляда, который выдаст мои чувства. Я заставлю замолчать мое сердце, хотя бы оно разорвалось от боли... Она прижмется ко мне вот так... Она ценит мое великодушие... Голос ее дрожит и...

— Что вы молчите все?— сказала вдруг Валентина Григорьевна.— Здесь так темно и жутко. Потапов!.. Расскажите мне что-нибудь о себе... У вас есть мать?.. Кто этот долговязый молодой человек, с которым вы так часто гуляете? Как его зовут? Тит? Смешное имя. Он ваш приятель?.. хороший? Даже очень?.. Да у вас, должно быть, все хорошие? Весь мир... Он вас, кажется, зовет Потапычем? Потапыч! Мне это нравится. И вы мне нравитесь. И мне хочется знать о вас все... Вы мне расскажете? Да?.. Ах, милый Потапыч,— сказала она вдруг с шутливой ноткой в голосе, прижимаясь ко мне.— Зачем вы не захотели тогда жениться на мне... Вы были бы такой славный и, наверное, такой удобный муж.

И в аллее рассыпался ее звонкий смех...

— Ну, что же вы все-таки молчите?— сказала она опять через минуту и затормошила мою руку.— Отчего не отвечаете? Правду я говорю?.. Да?

— Что же мне говорить?— сказал я беспомощно.

— Да ведь я вас спрашиваю: вы были бы удобный муж? Ах, милый Потапыч, когда-нибудь... вы, конечно, тоже женитесь... Это очень трудная вещь, милый Потапыч, жениться. И главное, не считайте, что все дело в том, чтобы вас обвели вокруг аналоя... Да, да... Конечно, вы это знаете?.. И не придаете никакого значения пустому обряду?.. Ничего вы не знаете, милый Пота-

пыч... Людям часто кажется, что они знают то, чего они совсем не знают... Ни себя, ни других, ни значения того или другого обряда...

— Зачем вы все это говорите?— сказал Урманов.— Потапов знает без вас, что дело совсем не в обряде...

— А в чем?— сухо спросила она.

— В чем?— Он помолчал и сказал глухо:— В десятом августа.

Я почувствовал вдруг, как рука ее дрогнула и прижалась к моей. Через минуту она опять заговорила, обращаясь ко мне. Но голос ее стал жестче.

— Милый Потапыч... Когда наступит ваше время... остерегайтесь всяких обязательств... Это тоже цепи... Помните одно: любовь свободна... И всего лучше разумная любовь по расчету... Да, да... Когда людей связывает общность мыслей, стремлений, целей...

— Любовь прохладная,— вставил Урманов.

— Да, при ней больше свободы и самоуважения... А если... если это будет «знойный ураган», в силу которого я, впрочем, не верю, то помните, милый Потапыч, урагану нельзя ставить обязательств...

В голосе зазвучали твердые ноты...

— Да, ни в чем! Ни в обряде, ни в обещании, ни в том, что вам подали повод надеяться... Раз вы заявите женщине ваше формальное право, это конец... Вместо любви... является...

— Что же?— сказал Урманов.— Договаривайте: Потапову это будет очень поучительно.

— Он догадается сам,— сказала Валентина Григорьевна сурово и жестко, и потом, как бы желая смягчить этот тон, она прижалась ко мне и сказала:— Вы такой хороший, Потапыч... Оставайтесь всегда таким... Я буду часто вспоминать вас таким, как вы теперь... Люди так меняются... С каждой минутой в человеке что-нибудь умирает и что-нибудь рождается.

Когда мы подошли к генеральской даче, дверь нам открыл камердинер с военной выправкой. Он снял с Валентины Григорьевны накидку, повесил ее на вешалку и затем сказал тоном доклада:

— Его превосходительство больны...

— Что такое?— живо спросила молодая женщина.

— Не могу знать, а только нездоровы сильно...

— Есть кто-нибудь?

— Марья Егоровна тут-с.

— Погодите, пожалуйста, может, что-нибудь понадобится,— сказала она нам и ушла в спальную генерала. В голосе ее слышалось беспокойство.

Через минуту она вышла и, развязывая ленты у шляпы, сказала:

— Ничего особенного, кажется легкая простуда... Доктор уже был и не нашел ничего опасного...

— Значит, мы вернемся?— сказал Урманов.

— Нет,— ответила Валентина Григорьевна, снимая шляпку.— Я все-таки останусь еще здесь... Нужен уход...

— Валентина Григорьевна... Мне нужно так много сказать вам...

Она посмотрела в сторону усталым и скучающим взглядом.

— В другой раз,— сказала она кратко.

XI

Дня через два мне сказали, что в приемной наших студенческих номеров меня ждет дама. Я догадался, что это, вероятно, Валентина Григорьевна, и скоро сбежал с лестницы. Она встала мне навстречу.

— Я хотела пройти к вам в номер, но меня не пустили. Простите, пожалуйста... вы мне очень нужны...

— Что-нибудь с генералом?

— Нет... Старик, правда, был плох... Но дело не в этом... Теперь ничего.

Она сдвинула брови, как когда-то на платформе, и сказала:

— Судьба уже впутала вас в эту историю... О господи, как все это тяжело... Кажется, самая простая вещь... И...

Она осилила волнение, и лицо ее стало опять энергично.

— Вот что, голубчик Потапов. Сходите, пожалуйста, на нашу дачу... где Урманов, и передайте ему записку. Потом придете к нам. Звонить не надо. Дверь из садика будет открыта.

— Принести ответ?

— Ответ?.. Ну, одним словом, оттуда зайдите ко мне.

Она опустила вуаль и вышла. Лицо ее, несколько взволнованное и расстроенное в первые минуты, было под конец спокойно...

Дача Урманова была недалеко в лесу. Подходя к ней, я увидел в незавешенное венецианское окно Урманова. Он сидел за столом и писал что-то на больших листах. Он работал над диссертацией, о которой говорили в академии как о значительном ученом труде. Лицо, освещенное лампой, было красиво и спокойно. Я невольно залюбовался на него. Я чувствовал, что люблю этого человека. За что? За все. За то, что он такой умный, горячий и красивый... Что он женился фиктивным браком на американке, что он ее любит, что он страдает, что борется со своим чувством и что я до известной степени причастен к этой красивой и интересной драме.

Подойдя к окну, я постучал в стекло. Урманов вздрогнул, вгляделся в темноту и распахнул окно.

— Что такое?— спросил он.— Это вы, Потапов? От Валентины Григорьевны? Войдите.

Я пошел кругом дачки. Он встретил меня в передней.

— Старик плох?— спросил он и стал снимать с вешалки пальто.— Зовут?.. Надо к доктору? В аптеку?.. Еще за чем-нибудь?..

Только теперь я увидел, как сильно изменилось лицо Урманова. Черты обострились, глаза ввалились и сверкали сухим блеском. Я подал письмо. Он быстро разорвал конверт, прочел и сказал мне:

— Хорошо... Скажите, что вы передали.

Тон его показался мне странным. Уходя, я услышал, что он бормочет что-то, тоже незнакомым, странным голосом. Между прочим я расслышал слова: «удобный муж».

Все это было так необычно и не похоже на Урманова, которого я знал, что я шел по темной дорожке в полном недоумении. Вдруг сзади послышались быстрые шаги, и из темноты на меня налетел Урманов. Я вздрогнул... Мне вдруг показалось, что он бросился на меня. Но он только схватил меня за руку, выше локтя, и заговорил быстро, волнуясь и торопясь.

— Потапов, голубчик... Простите меня... Я оскорбил вас... И тогда тоже... Я не знаю, что со мной делается. Постойте, постойте...

Он глубоко перевел дух и сказал уже совершенно своим обычным голосом:

— Вас будут спрашивать. Скажите... что меня видели... Передали письмо.

Он опять глубоко вздохнул.

— Все будет так, как она пожелает... А того, что... Ну, вы понимаете... Этого говорить не надо. Вы мне обещаете?

— Напишите несколько слов... Я передам.

— Да, это будет всего лучше. Я сейчас... Вы тут пройдитесь немного.

Он быстро вбежал к себе, наскоро лихорадочно набросал письмо и отдал мне.

— Постойте, я пройдусь с вами,— сказал он.

Он взял меня под руку. Я не заметил сразу, что мы пошли по темным дорожкам не в ту сторону и через несколько минут очутились в парке. Вечер был темный и прохладный, но спокойный. Деревья сливались в одну сплошную массу, по которой перебегали тихие шепоты. У берегов тонули темные очертания, на глади пруда виднелось скользящее пятно. Это была лодка. В ней чуть-чуть виднелись два силуэта. По-видимому, пловцам было хорошо в этой синей тьме с подымавшимся серпом луны и дремотой темных деревьев, тихо, невидимо ронявших свои листья...

Глубокий мужской голос запел песню... Кто был в лодке? Может быть, два студента, но мне казалось, что одна была женщина, что он поет только для нее и скупится посылать дальше задушевные ноты... Я не расслышал слов, не запомнил мотива и не знаю теперь, какая это была песня. Это была просто песня того вечера моей жизни, который не повторился более. Тут была печаль, и любовь, и трепетавшая где-то глубоко внутри радость от этой любви и печали... Я забылся в этом странном ощущении... Мне вдруг показалось, что в лодке Урмановы, как это бывало еще недавно... Должно быть, что-нибудь в этом роде показалось и Урманову. Он вдруг покинул мою руку и, не говоря ни слова, исчез в темноте...

Я остался один... От островка неслось чиликание ночной птицы, быть может той самой, которая спрашивала тогда о чем-то из темноты. Сердце мое было переполнено сознанием радости, глупой, как крик этой птицы. Я радовался этой сумрачной печали, и, если бы мне предложили сейчас поменяться с Урмановым, я бы охотно согласился...

— Как вы долго,— встретила меня Валентина Григорьевна у калитки своей дачи. Я отдал письмо, попрощался, избегая ее расспросов, и вернулся к себе. Тит спал, одетый, на кровати. В его руках были записки по химии, а на столе горела лампа. Очевидно, он ждал меня, но я тихонько прошел через комнату, посмотрел минуту на милое утомленное лицо Тита и, раскрыв свое окно, сел у стола писать письмо. К храпу Тита примешался тотчас же шелест кустов и мечтательный лай собаки где-то далеко на Выселках. Письмо было опять к тому же товарищу в Киевскую губернию... Он не имел средств, чтобы ехать в столицу, и взял на год урок в маленьком местечке... Впоследствии он говорил мне, что, читая эти мои письма, плакал от зависти в своей мурье и наговорил дерзостей своему принципалу, так что едва не лишился места. Помню, что на этот раз письмо мне сначала не давалось. Впечатления этого вечера врывались диссонансом в тот образ, который я себе составил об Урманове. Но потом все опять полилось стройно и великолепно...

Когда я кончал, ветер, ворвавшийся в окно, раскидал листки по полу. Тит проснулся и сел на постели. Лицо у него было сонное и кислое...

— Что? Поздно?— спросил он.

— Поздно...

— Какого же черта ты меня не разбудил?.. А ты все писал?

— Писал.

— Ковальскому? И все об американке?..

— Ты почему знаешь?

— Я, брат, прочитал первое твое послание...— сказал он бесцеремонно.— Философия, Потапыч, и сантименты... И ты чуть не попался этой американке?.. Дураки вы все... Предложили бы мне... Я бы все это сделал просто... Только потребовал бы черную пару на свадьбу...

И опять мы оба засмеялись...

XII

Осень в этом году была поздняя. Листья совсем обвалились, а земля все еще дышала теплой сыростью. Последние, самые упорные дачники давно разъехались, оставив за собой все еще довольно теплые дни. Парк

опустел, поредел и посветлел. Вся его листва лежала теперь красноватым ковром на земле, а между стволами носился сизоватый пар, пресыщенный пряным запахом прелых листьев и земли. С ветвей капли росы падали на землю, как слезы.

Лекции шли правильно. Знакомство с новыми профессорами, новыми предметами, вообще начало курса имело для меня еще почти школьническую прелесть. Кроме того, в студенчестве начиналось новое движение, и мне казалось, что неопределенные надежды принимали осязательные формы. Несколько арестов в студенческой среде занимали всех и вызывали волнение.

Все это отодвинуло для меня драму Урманова. Генерал уехал, американка исчезла, и я ничего не знал о ней. Урманова тоже не было видно.

Выпал первый снег. Он шел всю ночь, и наутро армия сторожей и рабочих разгребала лопатами проходы к академическим зданиям. В парке снег лежал ровным пологом, прикрывая клумбы, каменные ступени лестниц, дорожки. Кое-где торчали стебли поздних осенних цветов, комья снега, точно хлопья ваты, покрывали головки иззябших астр.

Но туманное небо, неожиданно вытряхнув эту массу снега, продолжало дышать на землю теплом. Снег быстро сседался и таял. Капало с деревьев, слышалось тихое журчание. Казалось, начинается снова весна.

В этот день я смотрел из окна чертежной на белый пустой парк, и вдруг мне показалось, что в глубине аллеи я вижу Урманова. Он шел по цельному снегу и остановился у одной скамейки. Я быстро схватил в вестибюле шляпу и выбежал. Пробежав до половины аллеи, я увидел глубокий след, уходивший в сторону ивановского грота. Никого не было видно, кругом лежал снег, чистый, нетронутый. Лишь кое-где виднелись оттиски вороньих лапок, да обломавшиеся от снега черные веточки пестрили белую поверхность темными черточками.

Было светло, молчаливо и пусто.

К следующему дню снег наполовину стаял. Кое-где проглянула черная земля, а к вечеру прихватило чуть-чуть изморозью. Воздух стал прозрачнее для света и звуков. Шум поездов несся так отчетливо и ясно, что, казалось, можно различить каждый удар поршней локомотива, а когда поезд выходил из лощины, то было видно мелькание колес. Он тянулся черной змеей над

пестрыми полями, и под ним что-то бурлило, варилось и клокотало...

Стемнело, потом поля с пятнами снега покрыла ночь. Тит, по обыкновению долго засидевшийся за записками, прислушался и сказал:

— Потапыч... Слышишь, какой долгий свисток.

Он подошел к окну и открыл его. В комнату хлынул странный шум. Что-то скрежетало и визжало, как будто под самыми нашими окнами... Потом послышался ряд толчков, шипение пара, который светился и пламенел в темноте.

— Поезд сошел с рельсов,— проговорил Тит равнодушно.— Как раз то же было прошлой осенью...

И он отошел от окна. Я еще некоторое время оставался. Поезд несколько раз, часто и гулко пыхнул паром, точно затрепыхалась чудовищная металлическая птица, тронулся опять и побежал в темноту, отбивая по рельсам свою железную дробь. Влажный ветер стукнул нашею рамой, шевельнул голыми ветками кустов и понесся тоже в темноту...

Засыпая, я чувствовал легкое беспокойство. Мне казалось или кажется теперь, что воспоминание о скрежете железа пронизывало меня каким-то внутренним ознобом.

Но скоро я крепко заснул, не подозревая, что это был последний вечер моего восторженного юношеского настроения.

XIII

На следующее утро меня разбудил стук запираемой двери.

В комнате было темно, в окна глядела серая зимняя заря, а сквозь матовое стекло нашей двери просвечивал огонек свечки. Мне теперь кажется, что свечка заглядывала в комнату как-то значительно и осмысленно.

Огонек исчез. В коридоре послышались знакомые шаги коридорного Маркелыча. Из угла, где стояла кровать Тита, слышалась возня и вздохи. Тит одевался.

Я понял, что Маркелыч сообщил Титу какую-то новость. Все новости, случавшиеся вечером или за ночь, Тит всегда узнавал ранее всех, благодаря особому расположению Маркелыча, который уважал моего друга за его «простоту» и аккуратность. Я очень любил, про-

снувшись рано утром, слушать их простодушные беседы, в которых Тит с милой наивностью становился на уровень Маркелыча, выслушивая его новости и суждения и делясь с ним, в свою очередь, собственными соображениями, пускаясь порой и в научные толкования. Иной раз я не выдерживал и, «по младости», как говорил Маркелыч, начинал хохотать. К моему смеху добродушно присоединялся Тит, а Маркелыч сердито ворчал:

— Спроси, чему смеется... Сам не знает...

На этот раз, по вздохам и возне Тита, я понял, что он сильно озабочен. Я не видел его лица, и только его тощая, длинная фигура выделялась белесоватым пятном. Натянув сапоги, он вздохнул и с минуту сидел неподвижно. Потом опять вздохнул и закурил папиросу. Казалось, самый огонек, вспыхивавший в темноте, когда Тит затягивался, выражал тревогу и растерянность.

— Сегодня Маркелыч принес Тит Иванычу печальную новость,— сказал я шутливо.

— А? Ты слыхал?

— Нет, не слыхал, но ты вздыхаешь, точно перед экзаменом по геодезии.

Тит затянулся окурком папиросы так, что в мундштуке затрещало, и через минуту сказал:

— Это вчера кто-то бросился под поезд.

Я был настроен шутливо и глупо.

— Голубчик, Тит... Каждый день кто-нибудь умирает тем или другим способом... Закон природы... В сущности, Титушка, что такое смерть?.. Порча очень сложной машины... Просто и не страшно...

— Очень близко...— пояснил Тит уныло.

— Это не меняет дела.

— Сам бросился.

Я тоже закурил папиросу, потянулся и продолжал донимать Тита рационализмом.

— Что ж, значит, это акт добровольный. Знаешь, Тит... Если жизнь человеку стала неприятна, он всегда вправе избавиться от этой неприятности. Кто-то, кажется Тацит, рассказывает о древних скифах, живших, если не вру, у какого-то гиперборейского моря. Так вот, брат, когда эти гипербореи достигали преклонного возраста и уже не могли быть полезны обществу — они просто входили в океан и умирали. Попросту сказать, топились. Это рационально... Когда я состарюсь и увижу, что беру у жизни больше, чем даю... то и я...

— Не говори глупостей,— сказал Тит сердито... У него была старуха мать, которую он страстно любил.

Я засмеялся. Тит был мнителен и боялся мертвецов. Я «по младости» не имел еще настоящего понятия о смерти... Я знал, что это закон природы, но внутренно, по чувству считал себя еще бессмертным. Кроме того, мой «трезвый образ мыслей» ставил меня выше суеверного страха. Я быстро бросил окурок папиросы, зажег свечку и стал одеваться.

— Тит, пойдем туда.

— Куда?

— К платформе...

— Какого черта ты там не видел?..

— Брось свои суеверия... Человек должен закалять свою душу против всяких резких впечатлений...

— Ну, иди закаляй. А меня оставь в покое.

— Глупо, Титушка. Это не аргумент...

— Ну, я останусь дома без аргументов...

Я оделся и вышел...

На дворе меня охватил сырой холодок. Солнце еще только собиралось подняться где-то за облаками. Был тот неопределенный промежуток между ночью и зарей, когда свет смешан с тьмою и сон с пробуждением... И все кажется иным, необычным и странным.

Небо было сплошь затянуто облаками, но на выпуклых окнах академии играли синеватые отсветы зари. А в подвалах горели огоньки, такие же красные и маслянистые, как огни фонарей, которых еще не потушили. У церкви стоял городовой в тулупе и огромных калошах, зевал и ожидал смены. Сонный извозчик проехал мимо. Он, вероятно, привез загулявших в Москве студентов и теперь крепко спал в пролетке, между тем как лошадь тихонько бежала по знакомой дороге. Откуда-то выбежала собака, пробежала через площадку, что-то разыскивая деловито и боязливо, и затем побежала к темным аллеям парка... Вид у нее был сосредоточенный и странный, и мне невольно вспомнились деревенские рассказы об оборотнях... «Переживания прошлых веков»,— мелькнуло у меня в голове...

Холодноватая сырость проникала под легкое пальто... «Не вернуться ли?..» Но я представил себе насмешливое лицо Тита и углубился в лиственничную аллею.

Утренний ветер шуршал обнаженными и обмерзшими ветвями. Я невольно вспомнил ее такой, какой она была летом, с пятнами света и тени, с фигурами Урма-

нова и американки в перспективе... Мне казалось, что это так давно... Надо будет разыскать Урманова... Положительно, это его я видел в парке. Неужели он живет все на лесной дачке?.. Мне вспомнилось освещенное окно, свет лампы, склоненная над столом голова Урманова и красивая, буйная прядь черных волос, свесившаяся над его лбом...

На дорожке аллейки я увидел белый квадрат и, наклонившись, поднял оброненное кем-то письмо. Конверт был довольно большой и как будто знакомый. В углу виднелась продолговатая нерусская марка... Он был разорван, и из него выпало письмо. Совершенно безотчетно я наклонился опять и поднял листок... В аллейке, больше для порядка, чем для освещения, стояли три или четыре фонаря, светившие желтым пламенем. Подойдя к одному из них, я бросил взгляд на листок, и сразу меня поразило то обстоятельство, что в первой же строке я встретил свою фамилию:

«...— Потаповым... Это было бы гораздо лучше... Признайтесь: вы не вправе были это делать. Таким образом вы брали себе шанс, которого вам не имели в виду предоставить.

...Вы пишете, что борьба за любовь есть закон природы, и предлагаете мне своего рода поединок... Вы приедете в Америку и привезете свою бурную страсть против моей прохладной, как вы называете, любви... Думаю, что это лишнее. Борьба за любовь... Да почему вы думаете, что я в свое время не боролся?.. Если же вам представляется, что каждый муж обязан отказываться от своего права, как только он будет вызван на поединок новым претендентом, то это — простите — закон прерии, где пасутся стада буйволов, а не человеческое общежитие. Наконец, высший закон общежития — свобода. И с вашим предложением вы должны обратиться не ко мне, а к Валентине Григорьевне... Но...»

На этом кончалась страница, и только тут я спохватился, что читаю письмо, адресованное не мне. Поэтому я спрятал его в карман, решив сегодня же разыскать Урманова и передать ему конверт... Интерес к его драме ожил во мне с новой силой... Так вот что он предлагал!.. Имел ли он на это право или нет?.. Мне казалось, что имел... Крупный, отчетливый и прямой почерк его противника мне не нравился.

Охваченный течением этих мыслей, я чуть было не повернул обратно, к академии. Но платформа была

близко: последние лиственницы аллейки уже махали по ветру своими ветками, и над обрезом холмика виднелась деревянная крыша беседки. Солнце всходило, но еще не вышло из-за туч, виднелось полотно дороги, на котором черная земля проглядывала сквозь талый снег, и две пары рельсов тянулись вдаль светлыми полосками... В беседке, закрытые от меня стеной, сидели два человека, и один говорил о чем-то негромко, ровно, бесстрастно. Другой слушал, подавая короткие реплики... Мне до сих пор чудится по временам этот бесстрастный голос... Третий мужик шел по рельсам, держа в руке какой-то черепок, и, по временам нагибаясь, подымал что-то, раскиданное по шпалам.

Я обошел беседку и подошел к разговаривавшим.

На полу беседки под навесом лежало что-то прикрытое рогожей. И еще что-то, тоже прикрытое, лежало на листе синей сахарной бумаги, на скамейке, на которой в летние дни садилась публика, ожидавшая поезда. Однажды я видел здесь Урмановых. Они сидели рядом. Оба были веселы и красивы. Он, сняв шляпу, проводил рукой по своим непокорным волосам, она что-то оживленно говорила ему.

Мужик подошел к скамейке и отдернул рогожу. Я не сразу понял, что он делает, и только смотрел, как он ссунул щепкой из черепка, который нес в руках, что-то сероватое, с красными прожилками... Оно шлепнулось, как будто в чашку... Потом так же тщательно и равнодушно он сдвинул той же щепкой осколки костей и потом... еще кусок чего-то с прядью черных волос...

Я внезапно вздрогнул и — не помню, как это случилось,— быстро подошел к другой рогоже, лежавшей на полу, и сдернул ее...

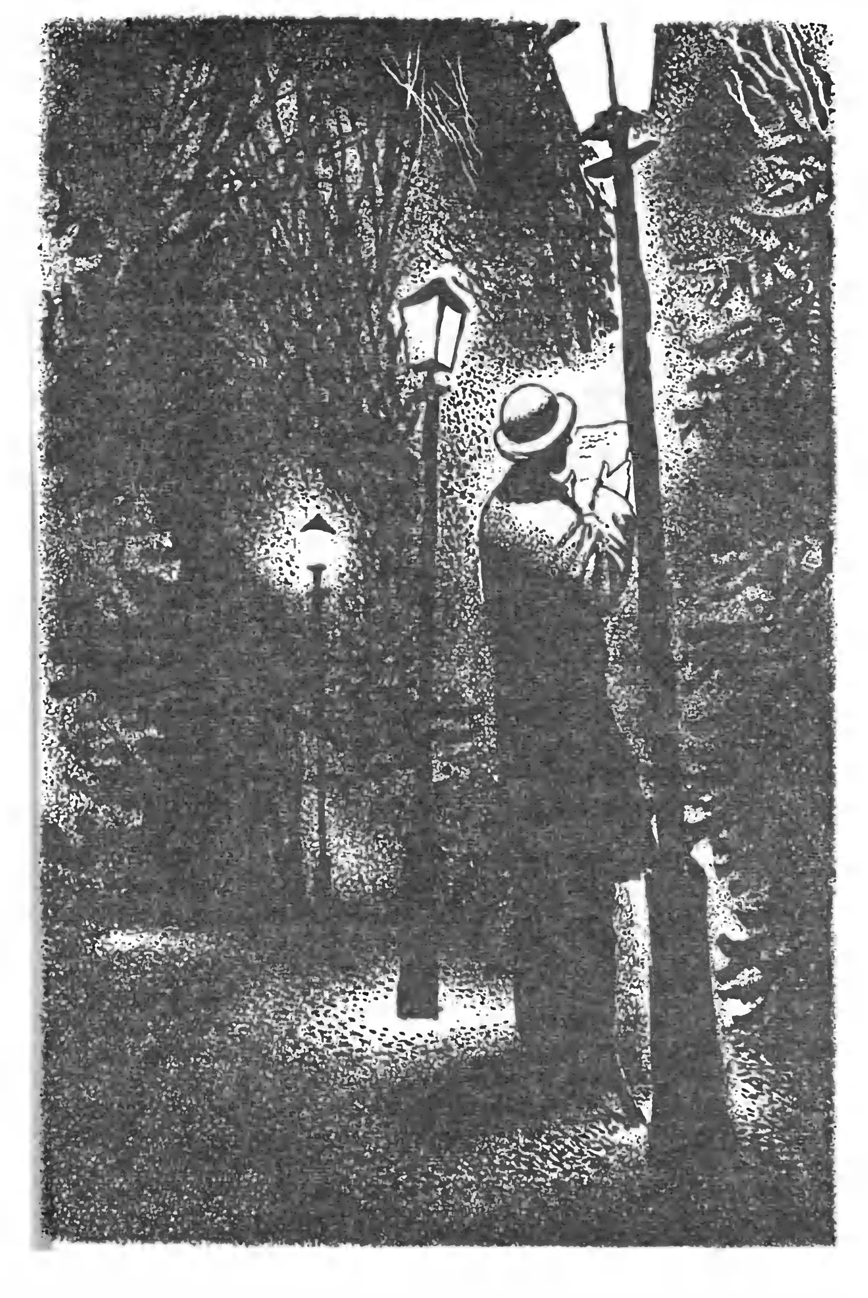
. . . .

Следующих за этим секунд я совсем не помню. Были ли это секунды, или минуты, или часы, я не мог бы дать в этом отчета. Знаю только, что в это время что-то быстро повернулось во мне... Я вдруг вспомнил скрежет железа и чудовищные, как выстрелы, вздохи локомотива... Мне показалось, что я их слышу в эту минуту, и я невольно, предостерегающе громко крикнул:

— Урманов, Урманов!

Кто-то грубо схватил меня за плечо и оттолкнул назад.

— Не балуй, барчук,— гневно сказал мужик и опять покрыл «это» рогожей. Другой, с знакомым ли-



цом дорожного сторожа, повернул меня и вывел из беседки... Я очнулся на платформе, посмотрел кругом и... засмеялся... Мне казалось, будто все, что я только что видел, было глупым и «стыдным» сном, будто я только что рассказал этот сон мужикам, и от этого мне было очень совестно...

— Смеется,— сказал один из мужиков, заглядывая мне прямо в глаза...

— Ну... видишь, повело его как... товарищ, видно,— сказал другой.— Ступай, барин, отседа... Делать тебе тут нечего. Иван, ты бы проводил, мне, вишь, некогда. Сейчас пройдет четвертый номер.

— Проводить, что ли?..— сказал рыжий в раздумье.

Но я отмахнулся и пошел по платформе. Из мглы выступали очертания поезда, и в рельсах начинало переливаться что-то тоненьким металлическим клокотанием... Я почти выбежал на холмик и вошел в аллею. Поезд прошумел и затих... Вскоре послышался его свисток с ближайшего полустанка. В это время я сидел на мокром откосе придорожной канавы и не помнил, как я сел, и сколько времени сидел, и как поднялся. Зубы мои стучали. Мне казалось, что внутри у меня холодно от вчерашнего железного скрежета.

— Что это с тобой, Потапыч?— спросил с беспокойством Тит, когда я вошел в номер.— На тебе нет лица... И ты весь дрожишь... Ах, Потапыч, Потапыч, напрасно, видно, храбрился... На вот, выпей чаю... Или, постой, я заварю лучше липового цвету... Вот, пей... Теперь раздевайся, сними сапоги, ляг в постель... Да что это тебя так расстроило?

Я сжал зубы и ответил одним словом:

— Урманов...

По лицу Тита пробежала судорога... Черты его странно передернулись, но дальше я ничего не видел и не слышал. Я повалился на кровать и тотчас заснул странным, тяжелым, глубоким сном...

Впрочем, в моей памяти осталась, точно донесшаяся откуда-то издалека, фраза Тита:

— Ах, Гаврик, Гаврик. Вот до чего доводят все эти фиктивные браки, Америки и вообще философия...

Часть вторая

I

Помню один день из моей детской жизни. Я был очень огорчен чем-то и лег днем на свою постель. Было около полудня, на дворе светило солнце, и надвигалась туча. Я как-то незаметно в огорчении заснул, сквозь сон слышал раскаты грома и проснулся, когда гроза и ливень прошли. Все было опять так же, как за полчаса перед тем, но я не узнавал того же самого дня. Мне казалось, что в моем времени произошел какой-то перерыв или, наоборот, оно прокатилось слишком быстро, как развернувшаяся пружина. Тот ли это день, та ли комната? Где я и кто я? Неужели я спал только полчаса?.. Или прошла ночь, настало утро и оно застает меня в каком-то новом месте? Петух кричит на дворе, и голос у него басистый и мокрый. Лает собака, и лай напоминает что-то знакомое, бывшее давно... И детские голоса несутся откуда-то издалека, точно воспоминание о голосах, звучавших когда-то... И тот маленький человечек, который еще недавно ложился в мою постель,— я ли это или кто-то другой, о котором я только помню?..

С таким же ощущением я проснулся теперь через несколько часов, и, должно быть, в моем взгляде было что-то необычное, потому что Тит, сидевший с записками за столом, встал и наклонился ко мне с беспокойством:

— Что с тобой?

— Решительно ничего,— ответил я,— но... мне не хочется говорить.

— Поспишь еще?

— Да.

Тит опять погрузился в записки и по своей еще школьной привычке закрыл уши. Его профиль рисовался на светлом фоне окна, а я смотрел на него и с удивлением спрашивал: кто это?

Я знал, что это Тит, знал внешнюю историю его жизни, знал, что он мой товарищ и друг, но все это мне известное все-таки не отвечало на вопрос. Я смотрел на него во все глаза и будто видел его впервые...

Профиль, резко выступавший в квадрате окна, стал расплываться. Что-то сделалось с моими глазами, и Тит вдруг стал близким и огромным. Потом явилось два Тита и два профиля в окне. Голова у меня кружилась...

Я сделал усилие, и обычная фигура Тита оказалась одна и на месте. Но это меня не успокоило. Мгновение, и начались опять те же превращения...

«Что же правда?— думал я.— Может, это мне только кажется, что этот вот один Тит есть правда... Может, их всегда два, и только в обычное время я этого не замечаю... Потому что мне удобнее, чтобы Тит был один. При двух Титах неприятно кружится голова...»

«Галлюцинация»,— подумал я вдруг, и это слово меня успокоило. Я сделал усилие, водворил образ Тита на место и закрыл глаза... Раскрыл... Тит был один, голова кружилась меньше... Хорошо? Нет, я все-таки не знаю, кто это.

Я очень любил Тита, и еще недавно он казался мне понятным. В начале гимназического курса я привык смотреть на Тита с почтением: он был много старше меня и шел тремя или четырьмя классами выше. Но бедняга был очень туп, и год за годом я нагнал его в последних классах. Мне было странно, что мы стали равные и подружились. Тита все считали тупицей, но все его уважали. Учился он плохо, но был лучшим репетитором для малышей. Ему приходилось порой бегать к товарищам за разрешением простой задачи, и он с трудом усваивал решение. Но на следующий день его ученики отвечали превосходно. Он умел работать и умел заставить работать других.

Тит одолевал курс с величайшим трудом, и вся гимназия следила за этой драмой. Когда кончался какой-нибудь экзамен, все спрашивали: «А как Тит?» — и радовались, если дело шло благополучно. Все знали, что Тит «не способен к наукам», но когда нужно было «поправить отметки» отстающего малыша, то директор советовал родителям отдать его Титу. Иногда он затруднялся вопросами мальчишек по тому или другому предмету, но родители очень часто прибегали к его советам в важных житейских делах. И он разрешал самые запутанные случаи просто и очень умно. Однажды, на уроке геометрии, сбитый с толку тем, что учитель повернул на чертеже треугольник острым углом книзу, тогда как в учебнике острый угол был кверху, Тит поднялся на носки и, вывернув голову, стал смотреть сверху вниз. Его долговязая фигура и странная попытка были так комичны, что все хохотали: ученики, учитель и сам Тит... Он был весел по природе, и сам умно и искренно смеялся над своей тупостью... И в то же вре-

мя все чувствовали, что Тит один среди нас — серьезный человек. И это потому, что у него была задача в жизни. У него была мать, которую он страстно любил, и сестра, которую надо было вывести в люди. И он с ранних лет делал это дело с великими усилиями. Это было драматично. И это все уважали.

Я тоже уважал Тита и нежно любил его. Я часто помогал ему в сочинениях, и его зубрежка подавала повод к моим шуткам. Но я ничего не скрывал от Тита и слушал его советы в житейских делах. Я уже говорил о том, как я собирался облагодетельствовать семью дорожного сторожа в будущем... Меня глубоко трогало то, что Тит, не вдаваясь в философию, часто носил им сахар и булки, о чем я как-то забывал...

Поэтому всегда с личностью Тита у меня связывалось особенное чувство: в нем было и представление о его смешной тупости, и преклонение перед его практическим умом и узкой, но деятельной добротой. Тут была улыбка и нежность, юмор и уважение...

Теперь я смотрел на Тита и испытывал только сухой остов этих ощущений. Он сидел, наклонясь, и, закрыв уши, тихо зубрил про себя. Шея у него была длинная и сухая. По мере того как он зубрил, тихонько произнося слова, одно из сухожилий двигалось, как будто принимало участие в учении... И ничего больше не было. Я не «ощущал» Тита, того Тита, каким он был для меня вчера...

Вот он сидит и работает... Запечатлевает в своем мозгу черточки и знаки... И мне невольно вспомнилось, что я так же над столом видел Урманова... Он был, наоборот, очень способен... О его работе, если она осталась, будут говорить... Тит зубрит. Урманов творил... И это оттого, что у Тита в мозгу недостает чего-то... Чего-то, что вчера лежало разбрызганное на рельсах и что мужик собирал мокрой щепочкой в грязный черепок... Каково оно, то, что создает мысли: белое или красноватое?.. Склизкое... Там было разбрызгано все... И восторженность, и экспансивность, и «идеи», которые воспевал наивный поэт, и любовь, которой я так любовался... Все, все... «Мысль — выделение мозга...» Я посмотрел на эти слова под портретом Фохта, и, вместо восторга, от них по мне прошла дрожь... Бедный Тит... Его мозг «выделяет плохо». Я представил себе, как вяло перебегают мысли Тита в том беловатом студенистом веществе, которое находится под его узким черепом. И вздрог-

нул от отвращения... Потом представил себе, как быстро и отчетливо перебегали они под черепом Урманова, и опять вздрогнул... Черная прядь волос, освещенная светом лампы... Это красота... Та же прядь, там на рельсах... Да, там лежало все это: и любовь, и ревность, и восторг, и отчаяние... Котел разбит, содержимое перемешано в некотором беспорядке, рычаги и шестерни раскиданы врозь... Это и значит, что Урманов умер... И вот смерть... И вот жизнь... Что-то движется, ползает, просачивается по физическим законам. Это жизнь... Навешивайте на нее какие угодно украшения... Остановите движение — смерть! Одевайте ее красивым трауром, мистическими и грандиозными вымыслами... Что касается меня, то для меня не было теперь ни красоты, ни траура... Я вижу обе стороны медали, сведенными в одно... Просто, ясно и отвратительно...

II

Тит перестал писать, взглянул на часы и принялся укладывать тетради.

— Который час? — спросил я.

Тит вздрогнул от неожиданности и обернулся.

— А! Ты не спишь? Два часа, сейчас пятая лекция. Пойдешь?

— Пожалуй.

Я поднялся вяло: не хотелось идти и не хотелось оставаться.

— Что там такое сегодня? — спросил я.

— Лекция братýшки.

— А!

— Как ты думаешь: будут ему свистать или нет?

Я посмотрел на Тита с удивлением. Его вопрос напомнил мне о чем-то, происходившем тоже будто давно, перед грозой или во сне. Действительно, кто-то рассказывал о профессоре Белúчке предосудительные вещи, и вчера еще я сам горячился по этому поводу. Но теперь я равнодушно зевнул.

— А черт его знает...

Тит удивился и пытливо посмотрел на меня.

— Ты здоров?

— Что мне делается?..

— А ты бы посмотрел на себя утром... Желтый, глаза, как у сумасшедшего... Да и сейчас еще смотришь нехорошо. Останься дома...

— Пойду...

Я действительно чувствовал себя нехорошо. На душе было тошно, хотелось что-то выкинуть, от чего-то избавиться... «Что это?» — задал я себе вопрос, остановившись посередине комнаты под беспокойным взглядом Тита... Да я знаю: это скрежет железа и *то*, что было там, на платформе. Но мне уже от этого не освободиться. Этот знобящий скрежет проник мне глубоко в душу и раздавил в ней что-то.

Мне рассказывали незадолго перед тем, что горничная у моих знакомых, обтирая окна снаружи, упала с третьего этажа. По странной случайности, она стала прямо на ноги и даже пошла сама в дом. На вопрос, что с ней, она спокойно отвечала: «Ничего решительно». Но к вечеру она умерла: оказалось, что-то оборвалось у нее внутри.

Мне вспомнился этот случай. Со мной тоже «ничего», и тоже оборвалось что-то важное, без чего как будто нельзя жить...

Тит по-своему объяснил мою внезапную задумчивость и сказал:

— Да, брат... Бедный Урманов... Вот чем кончилось!..

Я удивился. «Бедный»? Почему?

Тит удивился в свою очередь:

— Да ведь это же Урманов... там... Уже все знают.

— Ну, так что же? Кто ж теперь бедный? Ведь Урманова нет... Ты, значит, жалеешь то, чего нет.

— Но еще вчера был... живой.

— Кто был?..

— Урманов...

— Ах да... Ты вот о чем... Ну да, конечно, был живой.

Я все-таки не чувствовал жалости. Когда я старался представить себе живого Урманова, то восстановлял его образ из того, что видел у рельсов. Живое оно теперь было для меня так же противно... Ну да... Допустим, что кто-то опять починил машину, шестерни ходят в порядке. Что из этого?..

— Знаешь, Тит,— сказал я серьезно.— Это я выдумал Урманова. Урманова не было... Понимаешь: не было вовсе...

— Ну да, брат,— ответил Тит также серьезно,— я всегда говорил тебе: ты идеализируешь людей...

Я пожал плечами. Ах, это все не то. Тит хочет сказать, что я приписал Урманову свойства, которых у него лично не было, но которые могли быть у других. А я чувствовал, что их вообще нет. Нет чувства, нет красоты, нет любви, нет самоотвержения... все это выдумки. Что же есть?.. Есть железный скрежет мертвой природы, наполняющий вселенную, от которого идет этот мертвящий душевный холод. А под ним — *это*... До сих пор я спал и видел во сне свой выдуманный мир. Так иногда мы слушаем во сне чудные стихи, от которых душа пламенеет восторгом, но стоит проснуться, и в памяти остаются только обрывки, без склада и смысла... Вот и я теперь проснулся и вижу, что сочиненная мною поэма была глупее Урманиады наивного поэтика...

— Ну, пойдем на лекцию!

III

У церкви стоял, как и утром, городовой в тулупе и огромных валенках. Все: и площадка, и здание, и небо — было точь-в-точь как и утром, и это возбуждало досаду. Все как будто нарочно лезло в глаза, чтобы напомнить, что с того утреннего часа не прошло и суток. Между тем я знал про себя, что с тех пор прошла целая вечность...

— Вам письмо...

Академический швейцар подал мне письмо, которое я тотчас же наскоро вскрыл... Это был ответ товарища, которому я писал о своих впечатлениях... Что такое я там писал?.. Да!.. Как глупо!.. Он сгорает от зависти, что ему приходится жить в темной трущобе, тогда как на свете есть такие райские места, такие интересные ситуации, такие замечательные люди...

Дурак отвечает идиоту...

Я сунул смятое письмо в карман, и, должно быть, последнюю фразу я произнес громко. Швейцар посмотрел на меня с удивлением, а с верхней площадки лестницы наклонился субинспектор.

— Тсс!..— прошептал он.

Маленький толстый старичок, с бритым и смешным лицом, казался встревоженным. Из ближайшей аудитории слышался ровный голос лектора, а из дальнего конца коридора несся смешанный гул; субинспектор с тревогой наставлял привычное ухо, прислушиваясь

к этому шуму; опытный человек уловил в нем особый оттенок: если каждый из сотни молодых голосов повысится против обычного на терцию, общий говор аудитории напоминает растревоженный улей.

Старик подошел ко мне и взял меня под руку, все наставляя ухо и тревожно оборачиваясь в сторону первой аудитории. Он знал когда-то моего отца и был ко мне расположен, как земляк к земляку. Мы не раз с ним беседовали. Старик почему-то любил именно при мне вспоминать свои молодые годы. Он учился когда-то в горы-горецком земледельческом институте и уже оканчивал курс, когда случилась какая-то история. Он был депутатом от студентов, и его («времена были строгие») отдали в солдаты. Потом он служил писцом в какой-то канцелярии, женился, бедствовал... «Молодые увлечения» давно забылись. Теперь директор академии, его старый товарищ, доставил ему место субинспектора... Старик страшно трусил, чтобы не потерять его, либеральничал перед студентами и... чутко наставлял уши... Я с большим интересом относился к его рассказам и прежде «чувствовал» его личную драму, как чувствовал драму моего Тита. Судьба матери, жены, детей — вот что заставляло старика тревожиться и тащить тяжелую лямку. «Ах, трудно ладить с молодежью, скажу вам одному откровенно...— говаривал он, вздыхая.— Вы думаете, я не понимаю?.. Все понимаю... Молодые стремленья. Сам пострадал когда-то...»

Теперь он имел вид озабоченный и официальный.

— Здравствуйте, господин Потапов,— сказал он.— Что там у вас такое?

— Ничего особенного,— ответил я.— Впрочем... Урманов бросился под поезд...

Он сделал огорченное лицо...

— Да, да... Конечно. Я знаю... Огромное несчастье... Надежда академии... И такая ужасная смерть. Но... послушайте...

Он взял меня под руку и, наклоняя коротко обстриженную голову на толстой негнущейся шее, спросил:

— Неужели же и в этом виноваты профессора или администрация?

— Конечно, нет.

— А между тем...

Он опять беспокойно наставил уши.

— Слышите?.. Слышите, какой шум?

Аудитория гудела... Из общего шума выносились отдельные звонкие голоса.

— Да, шумят,— сказал я равнодушно.

— Послушайте, Потапов...— Голос старика стал задушевным и вкрадчиво мягким.— Мы с вами земляки... Я знал ваших родителей. Превосходные люди... Будьте со мной откровенны. Скажите, что вы там затеваете? Из-за чего это волнение?

Я усмехнулся. Наивный старик во имя знакомства с моими родителями предлагал мне, в сущности, стать доносчиком. Теперь я понял некоторые его намеки и наивные подходы, с которыми он обращался уже несколько дней... Если бы самая мысль об этом пришла мне вчера, она вызвала бы во мне сильнейшее негодование, и могла бы вспыхнуть история, очень неприятная и для него, и для меня. Но теперь никакого негодования не было. Вошло что-то, сравнявшее для меня шумящих молодых людей с этим старым наивным сыщиком. Я только пожал плечами.

— Какое мне дело до всего этого?..— сказал я просто.— Впрочем, вы можете не беспокоиться. Все-таки они волнуются больше оттого, что с одним из них вышла эта неприятная случайность.

Он бросил мою руку, и в его глазах мелькнул злой огонек.

— Что вы меня за дурака считаете, что ли?.. Неприятная случайность... Чеха вы собираетесь освистать, а не неприятная случайность... Вы не хотите быть со мной дружески откровенным...

— Знаете что,— сказал я вяло,— если бы я захотел быть с вами откровенным, я бы знал, что вам сказать на ваше предложение. Но мне лень... Впрочем... Я все-таки сказал вам правду... Вы были когда-нибудь на бойне?

Он вскинул на меня свои заплывшие глазки с тревожным недоумением...

— Мне случилось раз... И когда убьют одного быка, другие отчего-то беспокоятся и волнуются... Инстинкт... бессмысленный, но нужный в интересах борьбы за существование...

Старик отодвинулся от меня, и даже губы его, полные и немного смешные, тревожно вытянулись. В это время на площадке лестницы появилась лысая голова и полное упитанное лицо профессора Бели́чки. Субинспектор побежал ему навстречу и стал что-то тихо и очень дипломатически объяснять... Чех даже не оста-

новился, чтобы его выслушать, а продолжал идти все тем же ровным, почти размеренным шагом, пока субинспектор не забежал вперед, загородив ему дорогу. Я усмехнулся и вошел в аудиторию.

Здесь ко мне сейчас же бросилось несколько человек, закидавших меня беспорядочными нервными расспросами. Одни торопливо спрашивали, что я знаю об Урманове, другие перебивали и говорили о чехе... А я смотрел на всех и чувствовал на своем лице какую-то странную, точно чужую для меня, улыбку. Да... еще вчера они вправе были ожидать, что я внесу во все это кипение свою собственную долю. Но теперь я потерял способность понимать и чувствовать это знакомое возбуждение. Я видел только взмахивающие руки, раскрывающиеся рты, красные лица... И смеялся той же чуждой мне улыбкой.

К моему удовольствию, дверь аудитории раскрылась и на пороге появилась невозмутимая фигура Бели́чки. Мне бросилось как-то особенно резко в глаза его упитанное белое лицо с отчетливым густым, точно очерченным румянцем на пухлых щеках. «Обилие жировых отложений,— мелькнуло у меня в голове,— и... значительная пигментация...» За дверью на мгновение мелькнула тревожная круглая фигура в вицмундире, и дверь тотчас же закрылась. Бели́чка спокойным уверенным шагом поднялся на кафедру, переждал полминуты, пока студенты рассаживались по местам, потом сел, и сразу с кафедры полился его ровный, бесстрастный голос.

«Голос тоже масляный и жирный,— подумал я.— Как будто жировые отложения и в голосовых связках...»

— В прошлую лекцию, милостивые государи, мы остановились на taeniadae...

Чех был превосходный лектор, но теперь я не восхищался его искусством... Недавно про Бели́чку пошли темные слухи: говорили о каком-то совершенно мракобесном проекте, который не мог даже рассчитывать тогда на практическое применение и имел лишь целью заявить перед кем следует об усердии и благонамеренности его автора. Говорили еще кое-что, но все это были одни темные толки: достоверно никто из студентов не знал ничего, протоколы заседаний хранились в тайне, а профессора молчали. Слухи эти пошли от Урманова, который был уже довольно близок к профессорской

среде, но, по своей экспансивности, смотрел на многое глазами студентов. В последнее время слухи получили некоторое подтверждение. Говорили об осторожных доносах на некоторых любимых профессоров. Это возбуждало пылкое негодование, но и споры... Большинство допускало достоверность слухов. Другие стояли еще за чеха [1].

Но и к этому я относился теперь равнодушно. Я только наблюдал спокойствие и уверенность, с каким чех начал свою лекцию. Он знал о смерти Урманова. Знал о возбуждении против него лично, но он начал с того самого места, на котором остановился в прошлый раз, как будто ничего не случилось. «Наука идет старым путем» — это была его любимая фраза. И только раз, в самом начале лекции, он приподнял пушистые длинные ресницы, и из-под них блеснул осторожно-внимательный, быстро изучающий взгляд, как у спокойного крупного зверя, предвидящего опасность... Но тотчас же ресницы закрылись, взгляд настороженного зверя потух... И опять ровно лился его сочный баритон.

— ...Таким образом, пузырчатое животное описываемой разновидности представляется нам простым мешком, лишенным самых элементарных органов. Поселяясь в желудке высшего животного, оно является окруженным со всех сторон питательной средой...

— Питательной средой, господа,— задумчиво и както особенно вкусно повторил чех, приподнимая кверху глаза и как бы ища на потолке лучших и еще более вкусных слов.

— ...Существование, которое, с точки зрения животной экономии, должно быть признано идеальным. Ибо получать от природы возможно более при возможно меньшей затрате энергии — не в этом ли состоит основной принцип приспособления... А приспособление, господа,— закон жизни...

Лектор опять остановился, и его быстрый взгляд обежал аудиторию. По ней пронесся легкий шепот, выражавший возбуждение интереса. Подобные легкие экскурсии от сухого изложения в область общих идей всегда производят освежающее впечатление. «Тоже

---

[1] Так как и место действия, и время довольно определенны, то считаю нужным сделать категорическую оговорку, что личность, о которой идет речь, *совершенно вымышленная*. Чеха-профессора никогда, сколько мне известно, в академии не было. (Здесь и далее, где это не оговорено особо, примеч. В. Г. Короленко.— *Ред.*)

приспособляется к аудитории»,— мелькнула у меня мгновенная мысль.

Затем голос Белички полился еще ровнее, точно струя масла. Совершенно незаметно, постепенными взмахами закругленных периодов, он подымался все выше, оставляя к концу лекции частные факты и переходя к широким обобщениям. Он действительно, кажется, любил науку, много работал и теперь сам увлекся своим изложением. Глаза его уже не сходили с потолка, обороты стали еще плавнее, в голосе все чаще проглядывали эти особенные, вкусные ноты.

Со стен смотрели картины, изображающие раскрытые желудки, разрезы кишок и пузыри, «ведущие благополучные существования». Два скелета по обе стороны кафедры стояли, вытянув руки книзу, изнеможенно подогнув колени, свесив набок черепа и, казалось, слушали со вниманием, как в изложении профессора рушились одна за другой перегородки, отделяющие традиционные «царства», и простой всасывающий пузырь занимал подобающее место среди других благополучных существований...

Аудитория давно была увлечена. Я оглянулся назад и увидел ряды внимательных лиц и глаза с расширенными зрачками... Очевидно, меж двух увлечений — научной мыслью и пылким негодованием — настроение молодежи влилось в первое русло; чех овладевал не только вниманием, но и сердцами аудитории.

Я чувствовал себя вне обоих увлечений. Мое настроение шло своим особенным путем, оторванным и чуждым настроениям молодой толпы товарищей. Меня почти гипнотизировал жирный баритон профессора. Он удивительно гармонировал, как мне казалось, с содержанием лекции, вернее, с теми клочками ее, которые ярко западали в мой мозг. Я смотрел на Беличку, не сводя глаз. Да, да, да... Именно этим убедительно сочным голосом следует говорить об «идеально благополучных» пузырях. И именно такой голос должен быть у человека, знающего эти истины... Да, это истина... Вот формула жизни ясная, простая, убедительная до очевидности. Только... Чем он так доволен? Чему он так очевидно радуется и отчего сверкают глаза у этих молодых людей?.. Что тут может радовать? Против чего тут негодовать?..

И опять с моими глазами сделалось что-то, как утром, когда я смотрел на Тита. Фигура Белички то при-

ближалась, то удалялась, странно расплываясь и меняя очертания... Довольное, упитанное лицо, с «жировыми отложениями и пигментацией...». Одно только это лицо, плавающее в сочных звуках собственного голоса... Еще минута, и вместо лица — благополучный пузырь, ведущий «идеальное» существование... И вдруг это созерцание прервалось железным скрежетом, холодящим душу и вызывающим содрогание.

Я встал, не дождавшись конца лекции, и вышел. И почти тотчас же раздался оглушительный дружный гром аплодисментов. Он встревожил старика субинспектора, который семенил с вытянутым лицом к первой аудитории. Но, разобрав, в чем дело, он перевел дух и сказал с облегчением:

— Ну вот, ну вот, слава богу. Немного поаплодировать — это все-таки лучше...

А я остановился с чувством тупого удивления; все теперь точно застигало меня врасплох... Ну да... конечно. Это они аплодируют Бели́чке. Еще вчера я бы аплодировал так же... Или, быть может, страстно противился бы аплодисментам... Теперь я был в стороне... Я не восторгался и не негодовал. Я прислушивался к тому, что происходило в моей душе...

У крыльца стояла линейка, ожидавшая трех часов и конца лекций, чтобы отправиться в Москву. Я сошел со ступенек и сел в линейку. Только отъехав на некоторое расстояние, я вдруг вспомнил, что мне совсем не надо в Москву. Тогда я соскочил на ходу. На меня посмотрели с удивлением, но мне было безразлично. Я оказался как раз у дорожки, где когда-то видел Урмановых вместе... Куда же мне идти? Да, я вышел с последней лекции...

Значит, нужно идти в столовую...

IV

За буфетом, у входа в столовую, как всегда, стояла молоденькая немочка. Она дружески улыбнулась, кивнув хорошенькою, почти еще детскою головкой, и протянула мне обеденный билет. Я ответил на поклон и даже, кажется, повторил на лице веселую улыбку, которой ежедневно обменивался с нею. Но вдруг мне пришло в голову, что цвет ее лица совершенно такой же, как у профессора Бели́чки: слишком белый и слишком

розовый. Я взглянул пристально. Фрейлейн сразу както потупилась под моим взглядом, и все лицо ее, даже тонкие, немного оттопыренные ушки зарделись пунцовым румянцем. Из кухни несся густой запах капусты и котлет.

«Ресторанная красота, расцветающая среди питательных запахов. Тоже вполне благополучное существование...» — подумал я и с этой мыслью вошел в столовую.

Господин Шмит, отец девушки, толстый немец, с головой, суживающейся кверху, и с оттопыренными ушами, как у дочери, наливал какому-то студенту суп с таким снисходительно-величавым видом, как будто оказывал этим благодеяние на всю жизнь.

Все мы, конечно, были знакомы господину Шмиту. Он был истинный артист своего дела и знал студентов не только по фамилиям, но и по степени их аппетита и по их вкусам. Меня всегда забавляло странное сходство толстого и некрасивого немца с его субтильной и хорошенькой дочкой. Когда он смеялся, широкий рот раскрывался до ушей, и он становился похож на толстую лягушку... Девушка казалась мне теперь маленьким головастиком...

— Добрый день, господин Потапов... Теперь мы сам будем обедайт с большой аппетит,— сказал господин Шмит, кланяясь мне и улыбаясь самым благосклонным образом. Эту фразу он произносил под конец обеда почти ежедневно, желая, вероятно, примером своего аппетита и видом своей сытой фигуры внушить хорошую идею о доброкачественности продуктов.

— Егор! поставь мой прибор рядом с господин Потапов.

Егор поставил тарелки, подал суп и откупоренную бутылку пива. Господин Шмит принялся за обед с видом необыкновенного довольства. Через несколько минут в тарелке ничего не было; господин Шмит отломил кусок булки, обтер им засаленные губы и тотчас же отправил в рот. Затем он посмотрел на меня, прищурив один глаз, улыбнулся с лукавым торжеством и отпил сразу полкружки пива. Господин Шмит щеголял своеобразной гастрономической эстетикой, внушавшей зрителю невольный аппетит.

— Что вы делаете, господин Потапов?— сказал он вдруг довольно строго.— Вы смотрите на другой человек, как другой человек кушает, а ваш суп стынет.

И, точно учитель, желающий смягчить выговор шуткой, он прибавил мягче:

— Машин надо смазывайт... не правда ли, это так?..

— Да, господин Шмит, именно так: машину надо смазывать,— подтвердил я, принимаясь за ложку.

— Студент должен это делать особенно,— глубокомысленно сказал господин Шмит.— Не правда ли? это так?

— Почему же, господин Шмит, студент особенно?

— Живот пустой — голова не работает... Голова не работает, кушать нечего...

Господин Шмит залился веселым смехом, допил залпом свою кружку и обтер пену.

Я слушал эти афоризмы и смотрел на артистические приемы господина Шмита так, как будто все это были для меня новые откровения... Но когда я сам поднес ложку к губам — жир, плававший на поверхности полной тарелки, вызвал во мне какое-то содрогание. Я беспомощно положил ложку.

— Ну?— спросил с беспокойным участием господин Шмит...— Мой суп — плохой суп?..

— Нет, господин Шмит,— ответил я,— но я что-то... не могу.

— Не могу кушать? Что значит не могу?.. Это значит, вы нездоровы. Минна, господин Потапов нездоров. Дай сейчас одну рюмку водки и одну щепотку перец. Мы сейчас будем репарировать машин господин Потапова.

Я наскоро и с легким содроганием поблагодарил господина Шмита и его дочку, собиравшихся не на шутку заняться починкой моей машины собственными средствами, и вышел из столовой.

Кучка студентов, вероятно засидевшихся в аудитории за продолжением споров о Беличке, спешно торопилась в столовую, все еще громко разговаривая. Я знал, что они сейчас накинутся на меня, и нарочно свернул в сторону к парку.

В парке было тихо и пусто. Деревья стояли безлистые, сонные. Кое-где из-под талого снега проглядывали гниющие листья... Это зрелище тихого умирания природы меня успокаивало. В разложении павшего листа, в грустно поникшей желтой траве, в легком прелом запахе, который стоял в воздухе, не было ничего оскорбляющего и бередящего мои теперешние ощущения. Я ходил до утомления, до темноты, вслушиваясь,

как где-то каплют слезы с деревьев, как шуршат, расправляясь, отсыревшие на земле ветки, вглядываясь, как сумерки закутывают все кругом, как ночь покрывает всю эту печаль умирающей или дремлющей природы своей целомудренной темнотой.

В номера я вернулся поздно. Тит спал, не погасив лампу, нарочно для меня. В лампе, вероятно, испортилась горелка: газ просачивался в какое-то отверстие, и от этого в тишине нашего номера слышалось тоненькое, тягучее шипение, которому Тит вторил мерным носовым свистом. Большой шкаф и полки с книгами, казалось мне, прислушиваются в каком-то насмешливо-сдержанном молчании к этому нелепому и ненужному свисту. Ноющий и жалкий писк лампочки раздражал меня гораздо менее, чем звуки, исходившие от моего приятеля. Я лег и, закрывшись, стал дремать.

Но вдруг я вскочил в ужасе. Мне отчетливо послышался скрежет машины, частые толчки, как будто на гигантском катке катали белье... Казалось, я должен опять крикнуть что-то Урманову... Поэтому я быстро подбежал к окну и распахнул его... Ночь была тихая. Все кругом спало в серой тьме, и только по железной дороге ровно катился поезд, то скрываясь за откосами, то смутно светясь клочками пара. Рокочущий шум то прерывался, то опять усиливался и наконец совершенно стих...

Когда я закрыл окно, мне стало страшно. Кругом — только машины. Разбуженный моими шагами и стуком окна, Тит сел на постели, обвел комнату бессмысленным взглядом, опять упал на спину и стал всхрапывать... И опять раздался тонкий писк лампы. Сопение Тита казалось мне бессмысленным и мертвым... В тягучем пении лампы слышалось, наоборот, загадочное выражение...

Когда-то в детстве мир был для меня населен таинственными духами, и по ночам я дрожал от суеверного ужаса. Теперь мой ужас был глубже и холоднее. Нет ничего, ничего!.. Ночь, шкафы, темные углы и серые стены... Темные окна и ветер в трубе... Машина, называемая лампой, пищит о чем-то, точно комар над ухом, так жалобно, что мне хочется плакать. Машина, называемая Титом, всхрапывает и свистит ноздрями так бессмысленно, что ее хочется разбить... А машина, которую я называю *я*, лежит без движения, без мысли, чувствуя только что-то холодное, склизкое, ужасное и от-

вратительное, что запало в душу утром, стало мною самим, центром моих ощущений. И все, что я ни ощущаю в себе, все только *оно*, и нет во мне ничего больше...

Холодно, пусто, мертво...

Так кончился этот первый день моего нового настроения. А наутро я опять проснулся как будто успокоившимся, но все же с сознанием, что это настроение заняло еще некоторое пространство в душе.

Следующие дни мне вспоминаются в тумане, без света и теней, точно осенние сумерки...

V

— Не пойдем ли сегодня на сходку?— спросил у меня Тит, как-то отвернувшись в сторону.

— Зачем?— спросил я.

— Да ведь ты же ходил прежде... А сегодня *вопрос* очень интересный.

Слово «вопрос» Тит произнес с какой-то неловкостью, как человек, сознающий, что в его устах он звучит натянуто и странно.

— Да, я прежде ходил, а теперь считаю лишним. А вот *ты* прежде мало интересовался «вопросами»... А теперь заинтересовался?

Тит посмотрел на меня, и наши взгляды встретились. Это был безмолвный диалог.

Тит спрашивал у меня: неужели я не понимаю, что он любит меня и пугается моего отчуждения от всего, что интересовало меня прежде; что в его упоминании о «вопросах» сказались именно эта любовь и эта боязнь, что, наконец, я отвечаю ему холодно и незаслуженно жестко?

Я понимал глубоко трогательное значение этого взгляда, но у меня не нашлось ответа. Где-то глубоко, откуда-то издалека шевельнулся неясный намек, но... я отвернулся.

Лицо Тита потемнело...

— Послушай, Потапов,— сказал он сердитым голосом.— С *тех* пор ты стал все равно как цепная собака...

Я смотрел на его неприятно-злое лицо и думал:

«Вот он какой... Тот раз он двоился в моих глазах... Теперь двоится в моем представлении. Который Тит настоящий?»

И я все смотрел на Тита любопытно и пытливо. От этого взгляда лицо Тита все более темнело, становилось суше и неприятнее. Он нахлобучил на голову картуз, надел пальто, расшвырял на столе мои книги, взял из них сборник журнальных статей Варфоломея Зайцева, который недавно купил для меня же, и, сунув его под мышку, вышел, не оглядываясь, из номера.

Он имел вид человека, неожиданно для самого себя пустившегося в самое отчаянное предприятие.

В этот день в первый раз Тит ораторствовал на сходке. Ночью он пришел позже меня, лицо его было темнокрасное, и он производил впечатление выпившего, хотя никогда не пил ни капли водки. Подойдя к моей кровати, он постоял надо мной, как будто желая рассказать о чем-то, но потом быстро отвернулся и лег на свою постель. Ночью он спал беспокойно и как-то жалобно стонал... А на следующий день в академии много говорили о неожиданном ораторском выступлении Тита и много смеялись над его цитатами из Зайцева...

В молчаливом взгляде Тита я прочитал укоризну... Я понял, что чем-то оттолкнул моего друга, но у меня не нашлось нужного движения души, чтобы заровнять образующуюся трещину.

Мой внутренний взгляд в эти дни был прикован к тому серому пятну, которое стало центром моих настроений. Беспрестанно, даже в то время, когда, казалось, я ни о чем не думал, оно разрасталось в душе, занимая все больше места. Все жизненные явления я относил к этому основному впечатлению. Теперь я с чрезвычайной легкостью различал худшие проявления человеческой природы. В поступках и словах — пошлость и своекорыстие, в побуждениях — самое несложное, простое, животное. И я умел подчеркнуть это какой-нибудь одной, вскользь брошенной фразой, иногда одним словом, иной раз даже взглядом. Представление мое о людях становилось глубоко циничным. Женщины, встречая мой пристальный взгляд, смущались и краснели. Ничего специфически грязного я при этом не думал; я только видел то склизко-серое, которое одно определяло для меня человеческую природу.

От этого вокруг меня образовалась пустота. Товарищеская среда недоумевала. Ранее она меня знала и любила. Я горячо откликался на все ее волнения, и меня привыкли «чувствовать» именно таким: волнующимся, отзывчивым на всякое дело, которое я считал справед-

ливым. У меня были союзники и противники. И я был в союзе или в борьбе среди того маленького мирка, который учился, думал, волновался и спорил вокруг академии.

Теперь эта связь резко разорвалась. Вскоре после лекции Белúчки меня встретил студент Крестовоздвиженский, бывший семинарист, говоривший на «о», смотревший на все очень определенно — прямолинейно и просто.

— Слушайте, Потапов,— сказал он,— что вы скажете про Белúчку? До сих пор мне не удалось еще слышать вашего мнения. Эта овация, на мой взгляд, совершенный позор...

Я посмотрел на него рассеянным взглядом и сказал:

— По-моему, Белúчка совершенно прав.

— То есть... как это прав? Вы считаете, что все, что говорил про него покойный Урманов,— выдумка?.. А я считаю, что все это совершенная правда... Конечно, я понимаю: все-таки нужны конкретные факты... ну и тому подобное... Вы тоже скажете, что еще нельзя выражать порицание...

Он пытливо посмотрел на меня. Еще недавно мы были с ним если не друзьями, то все же близки...

— Да... Вот многие говорят, что надо подождать ясных доказательств... Ну, а аплодировать можно и без доказательств?.. Свидетельство умершего товарища... этот, в известном смысле, голос из-за могилы...

Он волновался, и его громкий, грубоватый голос дрожал.

— Между тем... разве вы не понимаете? Этой овацией вперед решен вопрос в пользу Белúчки.

— Позвольте...— сказал я. Я хотел ответить, что прежде всего я вовсе не аплодировал Белúчке, но Крестовоздвиженский уже не слушал. Он продолжал возбужденно говорить о том, что видит в этом эпизоде своего рода тяжбу между памятью Урманова и подлецом, который...

Вокруг нас собиралась кучка студентов, внимательно слушавших этот односторонний диалог. Здесь были противники Белúчки, как и Крестовоздвиженский, которые считали, что я должен быть на их стороне, и удивлялись, что я как будто возражаю. Были и другие, которые теперь считали меня своим неожиданным союзником, и тоже не понимали, почему это случилось?..

Я сознавал, что это общее недоразумение... Когда я говорил, что Белúчка прав, я разумел совсем не то, что они. Моя мысль шла непонятными для них, как бы подземными ходами, и я чувствовал, что, если я ее выскажу,— это объединит против меня и тех, и других... Я представил себе неожиданность, растерянность, недоумение. Может быть, негодование, может быть, споры, а может быть, простое пренебрежение к непонятной точке зрения... Поэтому я сказал только:

— Вы, Крестовоздвиженский, теряете слова попустому. Я не аплодировал Белúчке... Но...

— Но?— переспросил Крестовоздвиженский, вглядываясь с ожиданием в мое лицо...

— Но голосов из-за могилы не бывает ни в каком смысле... И я не понимаю, о какой тяжбе вы говорите?

Широкое лицо Крестовоздвиженского внезапно покраснело, а небольшие глаза сверкнули гневом... «Как у быка, которого подразнили красной суконкой»,— мелькнуло у меня в голове. Я смотрел на него, и он смотрел на меня, а кругом стояло несколько товарищей, которые не могли дать себе отчета, о чем мы, собственно, спорим. Крестовоздвиженский, несколько озадаченный моим ответом, сначала повернулся, чтобы уйти, но вдруг остановился и сказал с натиском и с большой выразительностью:

— Хорошо... Пусть так... Но, может быть, вы вспомните, что говорит Писарев: скептицизм, доведенный дальше известного предела, становится подлостью...

Кучка студентов замерла при этом резком оскорблении. Но меня оно не задело. Я только пожал плечами и повернулся спиной...

Трещина между мною и моими товарищами залегала все глубже. Прежде я ценил в Крестовоздвиженском его прямоту, грубую непосредственность и какое-то непосредственное чутье правды. Мне казалось, что он чаще других и скорее меня находит направление, в котором лежит истина, не умея доказать ее. Поэтому его последняя фраза, сказанная с грубой и взволнованной экспрессией, залегла все-таки у меня в душе... Скептицизм?.. Разве то, что теперь во мне, скептицизм? Но я не сомневаюсь, я так *ощущаю*.

Войдя в свой номер, я взглянул на портрет Фохта... «Наше время ниспровергло разницу между вещественным и нравственным и не признает более такого деления...» Ну вот. И они не признают такого деления...

Только они этому радуются... Они не видели того «вещественного», что так неожиданно явилось мне там, на рельсах. Ну да. Разделения нет! И вещественное, и нравственное лежало там в грязном черепке... Они этого не чувствуют, а я чувствую в себе, в них, во всей жизни...

Возрастающее отчуждение мне было больно. Я жалел о том времени, когда я мог жить с товарищами общей жизнью. Но истина, говорил я себе, есть истина, то есть нечто объективное, от чего можно отвернуться лишь на время. Все равно она напомнит о себе этим душевным холодом и скрежетом. От нее не уйдешь, и отворачиваться от нее нечестно.

С этими мыслями я шел по аллее парка без цели и не давая себе отчета, куда иду. Я очнулся около пруда и вдруг остановился, пораженный ясной, как мне казалось, мыслью...

Солнце садилось в синюю тучу, тронув ее края косыми лучами. Мне вспомнилось вдруг, что однажды тут вот, на скамье, сидели Урмановы и оба смотрели на закат, который тогда был горячее и ярче. Края облаков горели пурпуром и золотом, остальная масса синела той смутною синевой, в которой только угадываются, то развертываясь, то утопая, какие-то формы... Облака это, или леса, или странные животные?.. Я тогда унес в душе два человеческих лица, озаренные и мечтательные, как это облако. И я шел навстречу ему, с его золотыми краями и смутной глубиной... Роман Урмановых казался мне таким же золотым и таким же смутным... Что это будет? Спустится ночь, и туча, быть может, раскинется широко по всему небу, и в темноте засверкают зарницы, и гром раскатится над темными полями... Или облако унесется далее, вслед за убегающим днем, и будет так же сверкать на чужом дальнем горизонте, и на него будут смотреть другие глаза, и в чьей-то душе зародятся такие же мечты... А здесь будет молчаливая, полная грусти ночь?.. Но что бы то ни было — оно мне казалось тогда прекрасно, как эти золотые края и как эта синяя глубина...

Теперь я стоял на этой же дорожке, около памятной скамейки, пораженный внезапною мыслью... «Как это ясно,— думал я,— как поразительно ясно!»

Ничего этого нет! Ни золота, ни отблесков, ни глубокой мечтательной синевы, порождающей обманчивые образы и грезы. Стоит приблизиться к этому облаку,

войти в него, и тотчас же исчезнет вся эта мишура... Останется то, что есть на самом деле: бесчисленное множество водяных пузырьков, холодная, пронизывающая, слякотная сырость, покрывающая огромные пространства, мертвая, невыразительная, бесцветная. И от времени до времени ее прорезывает бессмысленный, страшный и такой же холодный скрежет...

Этот образ на время совершенно завладел моим воображением.

Еще недавно я так же смотрел на жизнь, как на это облако, из обманчивого далека. Жизнь сверкала для меня золотом и багрянцами, как декорация фальшивой пьесы. Теперь часто где-нибудь в парке, еще полном воспоминаниями, или в лиственничной аллейке, или на платформе железной дороги я переживал все это по-иному, с изнанки... Валентине Григорьевне и ее американскому сожителю понадобились деньги. Старый генерал не давал. Он хотел выдать ее законным браком по своему выбору. Пришлось обмануть старого генерала. У американки сильный характер и два взгляда. Один холодный и жесткий. Другой влекущий, обещающий, манящий и трогательный. Это ее оружие в борьбе за существование. С его помощью она искала себе фиктивного мужа. Я тоже чувствовал на себе силу этого взгляда. Урманов отдался ему беззаветно... Если бы люди смотрели на все это проще... Если бы они знали, что правда только в физиологии,— все это обошлось бы много дешевле. Но люди опутали физиологию бутафорскими украшениями... И вот...

Шаг за шагом я обнажал таким образом всю жизнь, разлагая ее. После разложения я рассматривал остаток и, понятно, не находил того, что видел ранее... На посторонний взгляд могло показаться, что я совершенно здоров. Я вел обычный образ жизни, ходил на лекции, в столовую, в лабораторию... Ездил в Москву, и даже по-прежнему мы с Титом ходили к полустанку. Меня влекло туда, и Тит следовал за мной с безотчетной тревогой. Только прежних бесед не было. Я молчал, Тит шагал также в угрюмом молчании. Я не звал Тита и порой уходил один. Зачем? Только затем, чтобы посмотреть еще раз, как колеса вагонов плотно прижимаются к рельсам. А кругом скучно свистел в проволоке ветер, порой вьюга шипела в щелях беседки, телеграфные столбы стонали от внутреннего озноба, и с откоса глядел грустный огонек сторожевой избушки... И по-

прежнему оттуда выходил сторож, и его огонек, как светляк, ползал по шпалам. По-прежнему поезда встречала сторожиха, и ветер трепал одежду на ее большом животе, а за подол держались озябшие дети. Когда Тит бывал со мною, он подзывал детишек и наделял их скромными гостинцами, но я уже не мечтал о том, что мы скоро сделаем и эту семью счастливой. Что такое счастье?.. Пустое слово... Жизнь для самых якобы счастливых — только обман. Стоит ли думать о мелких деталях, когда вся картина фальшива и не стоит внимания...

Порой мне невольно вспоминался Лермонтов:

> А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,
> Такая пустая и глупая шутка!..

Нет, это еще слишком красиво. Лермонтов не мог чувствовать всей правды, и его «холодное внимание» было для меня слишком эффектно...

Порой я подолгу засиживался в беседке. Ноги у меня коченели, пальцы рук теряли способность сгибаться; ощущение холода пронизывало меня насквозь, смешиваясь с тем внутренним холодом, который лежал в глубине души. Зубы стучали, весь я дрожал, съеживался и казался себе таким маленьким, жалким и ничтожным, как последняя озябшая собачонка. И когда я в эти минуты вспоминал о прежних гордых мечтах, то в темной беседке я слышал свой собственный смех, такой странный и жалкий, что мне становилось жутко: казалось, кто-то другой смеется здесь надо мною...

Однажды, когда я забылся таким образом, в беседку вошел встревоженный Тит. Я понял: он боялся за меня. Он думал, что меня «тянет» к рельсам, и не решался высказать это прямо.

— Нет, брат, этого нет,— сказал я, вставая ему навстречу.

— Чего?

— Ну, ты знаешь... Конечно,— ничего удивительного не было бы. Жизнь, Титушка, «как посмотришь с холодным вниманьем...».

В это время подошел пассажирский поезд. Он на минуту остановился; темные фигуры вышли на другом конце платформы и пошли куда-то в темноту вдоль полотна. Поезд двинулся далее. Свет из окон полз по платформе полосами. Какие-то китайские тени мелькали в окнах, проносились и исчезали. Из вагонов третье-

го класса несся заглушенный шум, обрывки песен, гармония. За поездом осталась полоска отвратительного аммиачного запаха...

— Пахнет человеком,— сказал я Титу, когда поезд исчез. И потом, положив ему руку на плечо, я сказал: — Это, брат, своего рода прообраз. Жизнь... Можно ехать в духоте и вони дальше, или идти, как вон те фигуры, в темноту и холод... Или, как Урманов,— остаться на рельсах.

— Ах, Потапыч,— с тоской сказал Тит.

— Не беспокойся, Титушка. Я не делаю выбора. Помоему, все одинаково скверно. Смерть, брат,— вывод из жизни. Прежде она мне часто казалась прекрасна... Теперь... Ну, пойдем...

Тит глубоко вздохнул и опять сказал фразу, которую я уже раз слышал сквозь сон:

— Ах, Потапыч, Потапыч! Вот до чего доводит философия...

— То есть понимание, хочешь ты сказать,— возразил я.— Это, брат, штука непроизвольная... Попробуй, вот, нарочно, скажи себе мысленно «дважды два» и запрети мозгу ответить «четыре». Если бы тебе грозили смертью — все-таки не удержаться. Мозг сам скажет «четыре» с точностью машины... Помнишь Галилея? У него требовали, чтобы он отрекся от истины, которая для него была очевидна. И он согласился. Это, брат, пустяки говорят историки... самоотверженное служение истине и прочее. Старый трус пошел на все унижения и торжественно отрекся. А потом у него вырвалось непроизвольным рефлексом: e pur si muove...[1] То есть дважды два — четыре... И, конечно, это в нем говорила не «любовь к истине», а непроизвольный рефлекс мозговой машины, то есть в сущности, брат, простая физиология...

Я говорил больше для себя, не заботясь о том, как поймет меня слушатель. Но на этот раз Тит сказал очень решительно:

— Дважды два, Потапыч, действительно четыре... А ты городишь какую-то чепуху...

— Нет, Титушка, к сожалению, это не чепуха. Помнишь Пятницкого?

Пятницкий был наш учитель. Он был немного смешон, и жена изменила ему с офицером. Он покушался

---

[1] А все-таки вертится *(ит.)*.— *Ред.*

на самоубийство и потом объяснял товарищам, что стрелялся, собственно, не оттого, что изменила именно его Параша, а оттого, что «все, все они одинаковы»...

— Ну, помню... Так что же?— сказал Тит.

— А то, Титушка. Нам мало знать, что около нас благополучно... Понимаешь... хочется верить, что и все хорошо, близко, далеко... в бесконечности... времени и пространства.

— Это пустяки,— сказал Тит.— Это опять философия.

— Погоди... Я постараюсь тебе объяснить. Приятно тебе было бы жить в доме, где все валится, гниет и плесневеет? Ты знаешь: тебя-то еще не придавит, но самое ощущение этого разрушения... это, брат, смертная тоска... Теперь представь себе, что кто-нибудь доказал ясно, как дважды два, что весь наш мир, как старая развалина, одряхлел, заболел, кряхтит и скоро свалится, ну, скажем, этак через двести-триста лет... Правда, тебе стало бы очень скучно?.. А между тем что тебе за дело до того, что будет через триста лет? И все-таки руки опустились бы... Люди стали бы сходить с ума... Понимаешь, Титушка, что я говорю... Хочется жить и умирать в хорошем, светлом и прочном доме... В хорошем мире, в хорошей вселенной, где все осмысленно, где дышит разум и правда... Тогда стоит достигать чего-нибудь... Я думаю: вот это справедливо. И я хочу, понимаешь ты, хочу страстно, неудержимо, чтобы то, что я считаю справедливым, *было*... чтобы где-то рядом, близко, далеко, в самой бесконечности двигалось с бесконечною силой то, что движется во мне, как слабая искорка... Правда, красота, добро, любовь... Как бы их ни называть... Ну, одним словом, то, что светит в душе, от чего сильнее бьется сердце... Понимаешь ты меня?..

— Ну-у...— сказал Тит, и я почувствовал в темноте, что Тит смотрит на меня с глубоким вниманием...

— Ну, этого всего... нет... все бутафория, декорация... Это облако, позолоченное солнцем... А внутри...

И я развил перед ним овладевший мной образ. И пока мы медленно шли по темной дорожке и я говорил — Тит шагал с молчаливым вниманием. Когда мы были уже у ворот и нам вблизи засветили окна «казенных» номеров, Тит замедлил шаги и сказал:

— Не хочется просто возвращаться к себе... Ах, Гаврик, прежняя твоя философия была гораздо приятнее...

— Что делать, Титушка... Ты же смеялся над моим «идеализмом». То было дважды два пять или много больше... А это — как раз дважды два четыре...

В первый раз с того времени я говорил с Титом откровенно. Он был этому рад, но радость была скучная. А мне стало как будто легче.

VI

Были несколько лиц, которых я не решался еще затронуть своим циническим анализом.

Одним из них был профессор Изборский.

Однажды я вошел в музей, где он занимался со студентами по физиологии растений. Стены были увешаны таблицами. В ряде рисунков был изображен гетевский метаморфоз. Изображения клеточек, разрезы стеблей, формы листьев... Все это было отчетливо, красиво и както чисто. Меня не оскорбляла и не наводила на обычные мысли идея живого растения... Только остатки насекомого в чашечке мухоловки издали напомнили ряд неприятных ощущений. В общем я все-таки относился снисходительно к попыткам растений приобщиться к процессу жизни...

Профессор Изборский был очень худощав, с тонким, выразительным лицом и прекрасными, большими серыми глазами. Они постоянно лучились каким-то особенным, подвижным, перебегающим блеском. И в них рядом с мыслью светилась привлекательная, почти детская наивность.

Когда я вошел в музей, профессора Изборского окружала кучка студентов. Изборский был высок, и его глаза то и дело сверкали над головами молодежи. Рядом с ним стоял Крестовоздвиженский, и они о чем-то спорили. Студент нападал. Профессор защищался. Студенты, по крайней мере те, кто вмешивался изредка в спор, были на стороне Крестовоздвиженского. Я не сразу вслушался, что говорил Крестовоздвиженский, и стал рассматривать таблицы в ожидании предстоявшей лекции.

— Да... профессор, мы тоже ценим науку,— говорил Крестовоздвиженский своим грубовато-искренним голосом,— но мы не забываем, что в то время, как интеллигенция красуется на солнце, там, где-нибудь в глубине шахт, роются люди... Вот именно, как говорит Не-

красов: предоставив почтительно нам погружаться в искусства, в науки...

Изборский сделал порывистое движение, как будто хотел возразить, но вдруг спохватился, взглянул на часы и сказал:

— Господа... Пора начинать лекцию...

Действительно, небольшая аудитория в музее уже была полна. Изборский с внешней стороны не был хорошим лектором. Порой он заикался, подыскивал слова. Но даже в эти минуты его наивные глаза сверкали таким внутренним интересом к предмету, что внимание аудитории не ослабевало. Когда же Изборский касался предметов, ему особенно интересных, его речь становилась красивой и даже плавной. Он находил обороты и образы, которые двумя-тремя чертами связывали специальный предмет с областью широких общих идей...

Главный предмет, которым Изборский занимался специально, была роль хлорофилла в жизни растения. И теперь на столе перед ним стоял небольшой прибор, с несколькими трубками, расположенными по радиусам. В центре этого прибора профессор поместил спрепарированную часть листа. Видны были органы дыхания, устьица и зерна хлорофилла — этой зеленой крови растений. Этот прибор и опыты, которые Изборскому удалось произвести с его помощью, доставили ему почетную известность в научном мире. В поле зрения, доступная вооруженному взгляду, раскрылась таинственная работа солнечной энергии в зеленом зернышке хлорофилла.

В этот день Изборский был особенно в ударе. Шаг за шагом, ясно, отчетливо, осязательно он изобразил все фазы мирового процесса, в котором совершается взаимодействие животного и растительного царств. И вдруг, без эффекта, естественно и просто он перешел к предмету недавнего спора со студентами... Зернышко хлорофилла совершает великую работу... Оно в листе. Лист красуется и трепещет на воздухе, залитый потоками света, в то время когда корни роются глубоко в темных глубинах земли. Но роль листа не украшение, не простая эстетика растения. В нем начало всей экономии живой природы. Это он ловит солнечную энергию, он распределяет ее от верхушечной почки до концов корневых мочек... И когда он красуется в лучах солнца, когда он трепещет под дыханием ветра, в это самое время он

работает в великой мастерской, где энергия солнечного луча как бы перековывается в первичную энергию жизни...

И, озаряя аудиторию своими одушевленными и наивными глазами,— он закончил сравнением Крылова в басне «Листья и корни». Да, люди науки могут без оговорки принять это ироническое сравнение. Если они листва народа, то мы видим, какова действительная роль этой листвы. Общественные формы эволюционируют. Просвещение перестанет когда-нибудь быть привилегией. Но — каковы бы ни были эти новые формы — знание, наука, искусство, основные задачи интеллигенции останутся всегда важнейшим из жизненных процессов отдельного человека и всей нации...

Когда он смолк, некоторое время в аудитории стояла глубокая тишина. И вдруг вся она задрожала от бурных рукоплесканий. Молодежь восторженно приветствовала своего оппонента...

Изборский уехал в Москву, где у него была лекция в университете. В музее долго еще обсуждалась его лекция, а я уходил с нее с смутными ощущениями. «Да,— думалось мне,— это очень интересно: и лекция, и профессор... Но... что это вносит в мой спор с жизнью?.. Он начинается как раз там, где предмет Изборского останавливается... Жизнь становится противна именно там, где начинается животное...»

Но все же передо мной в тяжелые минуты вставали глаза Изборского, глубокие, умные и детски наивные... Да, он много думал не над одними специальными вопросами. Глаза мудреца и ребенка... Но если они могут так ясно смотреть на мир, то это оттого, что он не «увидел» того, что я увидел. Увидеть — значит не только отразить в уме известный зрительный образ и найти для него название. Это значит пустить его так, как я его пустил в свою душу...

И много раз после этого я хотел подойти к Изборскому и сказать ему все то, что, мне казалось, я знаю... Но странно: каждый раз мне становилось отчего-то совестно и стыдно...

VII

Был и еще человек, которого я не решался затронуть своим анализом.

Это была девушка с Волги...

Я просто обходил ее в своих мыслях, но ее образ стоял в моей душе где-то в стороне, так что я чувствовал его присутствие. Я только боялся взглянуть на него ближе, хотя и знал, что когда-нибудь это придется сделать... И тогда, быть может, серое пятно расползется и займет уже всю мою душу без остатка.

— Тебе письмо,— сказал как-то Тит.— Но не в академии. Придется сходить в отделение...

Я не пошел... Одним вечером, когда я опять сидел в беседке платформы, пассажирский поезд, шедший из Москвы, стал замедлять ход. Опять замелькали освещенные окна, послышалось жужжание замкнутой вагонной жизни. Но когда поезд тронулся, на платформе осталась одинокая женская фигура...

Во мне что-то дрогнуло. Если это она, то ее появление застает меня врасплох... На нее упала полоса света из окна последнего вагона. Я узнал ее: да, это была девушка с Волги.

По-видимому, она ждала, что ее встретят, и оглядывалась по сторонам. Поезд таял в темноте, красная звездочка в конце его становилась все меньше. Кругом было пусто. А я сидел в глубине беседки, боясь пошевелиться.

Девушка положила небольшой чемодан на платформу и быстро прошла через полотно дороги на противоположный откос, к будке сторожа. Я на мгновение потерял ее из вида, и затем ее тонкая фигура показалась в приотворенной двери.

— Здравствуй, Григорьевна,— крикнула она в сторожку.— Жива, что ли?

— Ась?.. Кто там?— отозвалась сторожиха.

— Я это, знакомая... Не признала, что ль?

Дверь закрылась, но через минуту в ней опять появились две женские фигуры.

— И то, не признала,— говорила сторожиха приветливо.— Ишь, высока была, еще выросла будто... Что ты поздно, и одна-одинешенька?.. Ведь темно.

— Ничего, Григорьевна. Я думала, человек тут один выйдет. Писала я ему... Ну, что у вас нового? Ванюшка как? Жив?

— Чего ему делается? Хошь бы прибрал господь... А новости у нас плохие... Этто человек под поезд бросился... Неприятности... Стрелочник, мол, не доглядел. А как тут доглядишь... Вот тут и еще один все шатает-

ся... На грех мастера нет... Что с ним сделаешь? Не прогонишь...

— Да, да, я знаю! Мне писали... Ну, Григорьевна, прощай... Я пойду...

— Да как же ты это, милая?.. Чемодан еще с тобой... Да темень, да жуть...

— Да, жутковато,— сказала девушка, оглядываясь,— особенно после того, что ты напомнила...

— Ах, милая... Поверишь, и мне-то все чудится... А то обожди!.. Семеныч хоть бы до ворот провел, а там у тебя в академии дружков много... Доведут и до Выселок.

— Нет, ничего, пойду! Меня никто не обидит. Я удачливая, Григорьевна, меня никогда не обижают.

— Ну иди со Христом. И верно: за што тебя, экую, обидеть...

Эти знакомые мне слова («я удачливая»), сопровождаемые знакомым смехом, я услышал уже с вершины холмика. Девушка, быстро подняв небольшой чемоданчик, бодро прошла мимо беседки и пошла по дорожке. Я прижался в темный угол.

Зачем я сделал это — не знаю. Мне показалось, что бессознательное ожидание чего-то, которое я здесь смутно испытывал, было именно ожидание этой минуты. И еще мне казалось, что я знал, что она приедет сегодня. Письмо, которое я не потрудился взять из отделения... во всякое другое время я догадался бы, что это от нее... В нем, конечно, сообщалось об ее приезде, и теперь, оглядываясь на пустой платформе, она, может быть... ждала именно меня...

Но меня — того, которого она знала, который угадал бы ее приезд и пошел бы ей навстречу, не было. Живая связь невысказанного взаимного понимания между нами прекратилась, как прекратилась она с товарищеской средой. Правда, воспоминание о ней лежало где-то глубоко на дне души, вместе с другими все еще дорогими образами. Но я чувствовал, что это только до времени, что настанет минута, когда и эти представления станут на суд моего нового настроения...

Очень может быть, что я дрожал в своем углу от неясного сознания всего этого. Может быть, кроме того, мне не хотелось появиться перед ней, такой живой и бодрой, продрогшим, съежившимся, с самочувствием жалкой собачонки. Как бы то ни было, я дал ей уйти и только тогда пошел за нею.

Но тут мне стало досадно на себя. Отчего я сразу не подошел к ней? Зачем скрылся и теперь крадусь по следам, как вор, в темноте? Чего же мне стыдиться? Что я сделал дурного? Откуда этот стыд собственного существования? Если это боязнь показать то серое, грязное пятно, которое залегло у меня в душе... то почему же я стыжусь сознания истины?..

Нет — все равно... Я догоню ее и подойду к ней! И я быстро шел по знакомой дорожке. От движения мне стало теплее и легче. Мне казалось, что уже давно я не ходил так легко и бодро...

Но вдруг я вздрогнул от неожиданности и остановился как вкопанный. Я думал, что девушка ушла далеко. Оказалось, что чемодан был слишком тяжел для нее. Она поставила свою ношу в стороне от дорожки и села на чемодан отдохнуть. Таким образом я неожиданно очутился лицом к лицу с ней. Несколько секунд мы простояли молча...

— Здравствуйте, Федосья Степановна,— сказал я, протягивая ей руку...

— Ах, это вы! Голубчик, Гаврик...

Она не заметила, что я назвал ее по имени-отчеству. У нас в кружке все, даже не особенно близко знакомые, звали друг друга просто по фамилиям и даже уменьшительными именами. Ее звали уменьшительно Досей. До своего отъезда она звала меня просто Потапов... Теперь назвала Гавриком. Значит, у нее сближение продолжалось за время разлуки... Для меня оно прервалось.

— Голубчик, Гаврик, как вы меня испугали.

И, схватив мою руку обеими своими руками, она радостно затрясла ее.

— Ну вот, я ведь знала, что вы выйдете! Ведь вы получили мое письмо?.. Да, конечно! Я его нарочно послала заказным. Мне хотелось, чтобы встретили меня именно вы... Так много есть рассказать. Столько нового, какие интересные встречи... Как хорошо, как хорошо! Ну, а что у вас?.. Об Урманове я уже знаю... Бедный! Я его не знала. Кажется, такой красивый, брюнет?.. Но прежде всего — что у Соколовых?

Соколовы были гражданские супруги. Он — немолодой сравнительно, очень добродушный студент, товарищ Преображенского. Она — малообразованная женщина с круглым веснушчатым лицом и с прямыми, черными, подстриженными в скобку волосами. Дося

была с ними очень дружна и часто останавливалась у них.

Я замялся и не ответил на ее вопрос. В последнее время я совсем не видал Соколовых и не знал, что делается в кружке. Девушка вдруг перестала закидывать меня торопливыми вопросами и как будто вглядывалась в темноте. Я поднял ее чемодан, и мы пошли по дорожке.

— Знаете что,— сказала она вдруг, слегка дрогнувшим голосом.— Вы какой-то странный...

Я улыбнулся и подумал, что, к счастью, она не может видеть эту кривую улыбку...

— Нет, странный, странный,— подтвердила она.— Появились бог знает откуда... ничего не говорите, не отвечаете на вопросы.

— Ну, на вопросы-то вы мне сами не даете ответить.

— Нет, как-то... не то вы говорите,— грустно сказала девушка и потом опять оживилась.— Ну, да завтра я все узнаю. Я здесь проживу недели две.

— А после?

— После?.. Но разве вы не знаете?.. Я ведь вам писала... Разве... разве вы не получили письма?.. А я так много вам написала... И так хотелось, чтобы вы прочли это.

— Я не получил письма.

— Значит, потерялось на почте?..

— Нет... Оно, вероятно, лежит в отделении... Я не знал, что это от вас.

— Не знали? И не могли догадаться, что я напишу?.. И письмо лежит столько дней?.. А я думала... Я *так* это писала... что думала...

Она тряхнула головой и сказала:

— Ну... поговорим после... Теперь трудно...

— Отчего же трудно? Оттого... что я странный?..— спросил я с невольной горечью...

— Д-да... Оттого, что вы странный. И оттого, что письмо осталось на почте... Этот огонек в крайнем окне, это в вашем номере?

— Да,— ответил я и прибавил:— Я все-таки очень рад, что иду с вами.

— Все-таки? Что это вы говорите?

— Говорю, что рад, что иду с вами... Это действительно так...

— Разве... Разве это нужно говорить?.. Да еще както так... особенно...

Она смолкла и шла задумавшись... Я тоже молчал, чувствуя, что на душе у меня жутко. Сначала мне казалось, что среди этой темноты, как исключение, я возьму у минуты хоть иллюзию радостной встречи до завтрашнего дня, когда опять начнется моя «трезвая правда». Но я чувствовал, что и темнота не покрыла того, что́ я желал бы скрыть хоть на время. Мои кривые улыбки были не видны, но все же вот она почуяла во мне «странность». И правда: так ли бы мы встретились, то ли бы я говорил, если бы ничего не случилось?

— Ну хорошо. Пойдемте молча,— сказал я, опять чувствуя, что этого тоже лучше бы не говорить.

Мы прошли мимо академии, потом по плотине и пошли к небольшой дачке, стоявшей особняком среди молодого ельника. В комнатке топилась печка, горела лампа, и в окно виднелись три фигуры.

— Теперь до свидания,— сказал я, останавливаясь и передавая чемодан.

— Как... вы не зайдете?

— Нет, вы уж одни...

— Что-нибудь... вышло у вас с Соколовыми?

— Кажется, ничего особенного.

Она как-то печально помолчала и потом сказала:

— Они ведь очень хорошие люди...

— Я знаю...

Она остановилась, хотела сказать еще что-то, но потом взяла у меня чемодан и молча протянула руку.

Я не почувствовал ее пожатия. Я задержал ее руку на одну секунду в своей, и мне казалось, что она чуть-чуть вздрогнула, как будто ожидая, чтобы ответить крепко и тепло на мое крепкое пожатие. Но эта секунда прошла, ее рука выскользнула из моей, и она тихо сказала:

— Прощайте...

— Прощайте... Федосья Степановна...

Еще несколько мгновений, и в комнатке сквозь окно я увидел оживленное движение встречи. Соколов, сутулый, широкоплечий брюнет, размашисто поднялся со стула и обнял вошедшую. Из соседней комнаты выбежала его жена и, отряхивая назад свои жидкие волосы, повисла у нее на шее. Серяков, молодой студент из кружка, к которому прежде принадлежал и я, сначала немного нерешительно подал руку, но потом лицо его расцвело улыбкой, и он тоже поцеловался с девушкой.

Я невольно остановился у палисадника, чтобы взглянуть на нее при свете. Все та же... Те же пепельные густые волосы, закрывающие часть лба и маленькие уши, та же длинная коса, тот же спокойный, теперь засиявший радостью взгляд и та же простая уверенность движений... После оживления первых минут Дося, скидая шубку с серым воротником и дорожную сумку, очевидно, предложила какой-то вопрос, сразу вызвавший особенное настроение во всей компании. «Обо мне»,— догадался я. Соколов присел к открытой печурке и стал угрюмо мешать угли кочергой. Его жена заговорила что-то быстро и оживленно...

Я знал, что она рассказывает. Тит передал мне толки, которые ходили обо мне среди студентов. Американка околдовала меня и Урманова. Урманов стал ее фиктивным мужем, но она интересовалась мной. Урманов был готов к предвиденной разлуке, но не мог вынести моего соперничества и успеха. Теперь я не могу забыть все это: и американку, и урмановскую трагедию, происшедшую отчасти по моей вине... Я разошелся с Крестовоздвиженским, когда он упомянул об Урманове, и вообще я очень изменился. Соколова, пожалуй, прибавит еще, что я «изменил прежним убеждениям» и отвернулся от товарищей...

Соколова была человек простой, прямолинейный и не особенно тактичный... Однажды она прямо заговорила со мной о том, что я поступаю плохо, считаю себя выше других и смотрю на всех такими взглядами, что ее, например, это смущает. Каждое ее слово отзывалось во мне резко, точно кто водил ножом по стеклу.

— Надеюсь, вы не подозреваете во мне донжуанских намерений,— сказал я, не желая даже сказать дерзость. Соколова страшно обиделась.

Я с любопытством смотрел на лицо девушки при этих рассказах. Оно оставалось так же спокойно... Когда Соколова выбежала в переднюю к закипевшему самовару, Дося подошла к окну. Я вовремя отодвинулся в тень. Между окном и девушкой стоял столик и лампа, и мне была видна каждая черточка ее лица. Руками она бессознательно заплетала конец распустившейся косы и смотрела в темноту. И во всем лице, особенно в глазах, было выражение, которое запало мне глубоко в душу...

«Это она грустит обо мне,— подумал я,— о том, кто был и которого нет... Что такое печаль?.. Какое-то изменение в мозгу?..»

Соколова внесла самовар. Все уселись к столу. Девушка заговорила о чем-то весело и с большим одушевлением.

Я чувствовал особенное волнение и опять пытался объяснить его по-своему... Где его источник? У нее толстая пепельная коса... У первой девушки, в которую я был по-детски влюблен, была тоже пепельная коса... И она так красиво рисовалась на темном платье... И у нее тоже были серые глаза... Очевидно, я не могу равнодушно видеть пепельную косу в сочетании с серыми глазами...

Я отошел от окна и пошел вдоль улицы. Навстречу, шумно разговаривая, шла кучка студентов. Один голос я узнал сразу. Это был голос Чернова, моего товарища еще по гимназии. Он был баловень богатой семьи и бил горничных по щекам плохо вычищенными сапогами. К концу гимназического курса он круто изменился, увлекся новыми течениями, преувеличивал внешний демократизм и разделял самые крайние идеи. Я не мог забыть горничных и плохо верил искренности его увлечений. Многим эта искренность внушала тоже сомнение. Но Дося верила ему, и за это Чернов платил ей горячей привязанностью.

Студенты шли быстро, и внезапное мое появление их удивило.

— Это вы, Потапов?— спросил Чернов.— Откуда?

Я затруднился ответом.

— Откуда я — все равно... А вы, конечно, к Соколовым?.. Там приехала Федосья Степановна...

— Дося?— радостно вскрикнул Чернов...— А тут уже говорили... будто она арестована. Постойте! Да откуда же она явилась? Мы сейчас из Москвы. В дилижансе ее не было.

— С железной дороги...

— Ну, что она?.. Что же вы ничего не расскажете...

— Что́ она — не знаю, как и вообще не знаю, что такое тот или другой человек... А поздоровела очень. И коса выросла еще толще.

Мне показалось, что студенты переглянулись в темноте. Через минуту вся кучка ввалилась в дачку Соколовых, и я представлял себе, как они все целуются с Досей. Мне вспомнилось, что, кажется, в преданности Чернова была не одна благодарность, и с этой мыслью я пошел дальше...

И вдруг мне ясно, как в освещенной рамке, представилось лицо девушки, глядящее в темноту с таким невольно захватывающим выражением... И рядом с скрытой последовательностью грезы или сновидения — я увидел лучащийся взгляд Изборского... Я пожал плечами... Мне вспомнился Базаров.

— Проштудируй анатомию глаза,— говорит он Кирсанову...— Ты найдешь разные части органа зрения... Но где ты откроешь «божественное выражение»?..

Да, несколько более влаги придает глазам блеск или туманит их... Физическое сжатие мускулов или их дрожание под влиянием того или другого раздражения...

Но глаза все продолжали смотреть на меня из света в темноту, волнуя и напоминая о чем-то.

Я глубоко вздохнул... Я сильно устал и чувствовал боязнь перед своими мыслями. Однажды, еще ребенком, когда я безотчетно верил и молился, случилось мне проснуться с ощущением безотчетного страха такою же темною ночью, как и эта ночь. В комнате не было света, и я казался себе затерянным в беспредельной темноте, наполненной неведомыми призраками. Чтобы отогнать страх, мне захотелось прочитать молитву, но вдруг в середине ее замешалось постороннее слово, другое... Я начал опять с первого слова, но, дойдя до прежнего места, опять невольно сбился. Так повторилось несколько раз. Сначала это была простая бессмыслица, но понемногу я с ужасом заметил, что, вместо ничего не значащих посторонних слов, теперь идут на ум наивные, детские кощунства. Я «ругал» бога так, как мог ругать сверстника или младшего брата. Тогда я понял, что это бес мешает мне молиться, что он стал между богом и мною. Мне казалось, что я никогда не дождусь конца этой беспредельной ночи...

Теперь у меня не было уже и следов детского суеверия, но страх был сильнее. Я шел в темноте, по плотине. По сторонам стояли корявые ветлы, налево темнело болото с еле мерцающими пятнами снега... Где-то сочилась струйка воды, вдалеке глухо, чуть слышно шумел поезд... И я чувствовал, что так же тихо и угрюмо просачиваются в моей голове темные мысли... И я не мог отогнать их... Я шел быстро, убегая от серого пятна, которое носил в себе... Еще несколько минут, и я кощунственно посягну на чистые человеческие образы, хранящиеся в последних закоулках души. И если я разложу их так, как разлагал до сих пор все,— то серое пятно,

без формы и содержания, склизкое, с червеобразными движениями, загрязнит всю душу без остатка... И тогда будет только туманная, гадкая, бездушная мгла без формы и содержания... Как та, что стоит над этим болотом...

Меня это пугало... Сердце у меня стучало, как будто кто-то схватывал его невидимой рукой... Порой издалека глядели на меня человеческие глаза, полные грусти, одушевления, сочувствия и мысли, всего, что я считал в те минуты обманом...

Тит только что вернулся откуда-то, где опять вел горячие споры. Говорили о лекции Изборского. Одни доказывали, что преступно заниматься наукой, пока она является чужеядным растением на теле бедствующего народа... Другие отстаивали точку зрения Изборского. Тит вмешался горячо и внезапно. В его уме, конечно, при этом главное место занимала личная задача его жизни, которую он пытался обобщить. Поэтому его аргументация оказалась неожиданной даже для его союзников. На него наступали, требуя более ясного изложения. Когда же он увидел, что на него нападают те, кого он считал союзниками, то он пришел в исступление и на все отвечал одной фразой:

— Врете, врете!.. Все вы врете...

Он попытался рассказать мне содержание спора, но я слушал плохо.

Он перестал рассказывать и принялся кипятить на машинке липовый цвет.

— На вот, выпей... Будет философствовать. Спи!..

Позднею ночью я вдруг проснулся... Тит, раздетый, со свечой в руке, стоял над моей постелью и внимательно смотрел на меня. И в его глазах виднелась забота и нежность, от которых мне стало беспокойно и больно...

— Ложь, все глупости,— сказал я, отворачиваясь...

Я чувствовал, что со мною происходит что-то необычное. Я давно потерял прежний молодой сон. Голова работала быстро, ворочая все те же мысли вокруг основного ощущения, сердце принималось биться тревожно и часто... Мне все хотелось освободиться от чего-то, но это что-то навязчиво, почти стихийно овладевало мною, как пятно сырости на пропускной бумаге...

Теперь, с возвращением Доси, для меня наступили трудные дни. Я боялся себя, боялся дать волю кощунственному анализу, которым я уже не владел, а он овладевал мною. Чтобы заглушить свои мысли, я искал

усталости, изнеможения, физического забытья и шатался целые дни. Заметив, что мои посещения платформы возбуждают тревогу сторожа и сторожихи, я стал ходить по окрестностям, но все-таки меня бессознательно тянуло к железной дороге с лязгающими и громыхающими поездами. Ноги ломило, все тело было разбито, но голова горела, и физическая усталость не подавляла лихорадочно работавшей мысли.

VIII

Однажды, проходя по плотине, я услыхал за собою торопливые шаги и, оглянувшись, увидел Соколову. Она куда-то быстро бежала, с сбившимся платком и растрепанными волосами. Заметив, что, кроме меня, никого нет на плотине, я остановился с некоторым недоумением.

— Постойте,— запыхавшись, сказала она,— вот вам письмо.

Я взял из ее рук небольшую записку. Она была от Доси и состояла из нескольких слов, торопливо набросанных карандашом.

«Вы не показываетесь. Сейчас увидела вас из окна... Приходите завтра вечером на дачу Иванова. Будет интересно, и мне нужно увидеть вас. Дося».

Я прочел записку и почти машинально ответил:

— Хорошо.

Соколова, несколько отдышавшаяся и успевшая поправить платок, сделала мне реверанс, над которым в другое время я непременно бы расхохотался.

— Хорошо,— передразнила она...— Так, значит, и прикажете доложить? Хорошо?

— Так и доложите,— ответил я, как автомат.

Соколова посмотрела на меня внимательно своими маленькими глазками...

— Батюшки...— сказала она, качая головой.— Что-то уж слишком важно. Ваш папаша полковник или генарал?.. Вы уж не думаете ли, что я бежала, как дура, из сочувствия к вам?.. Мне наплевать... Я это из-за Доси...

— Благодарю вас, Катерина Филипповна,— сказал я просто и с внезапной искренностью.

Этот неожиданный тон удивил Соколову. Она опять посмотрела на меня своими некрасивыми честными глазами и сказала в раздумье:

— Черт вас разберет... То ли ты ломаешься, парень, то ли бесишься с жиру... Заставить бы тебя пахать землю, што ли, или бы молотить спозаранку до вечерней зари, небось, дурь-то эту вашу интеллигентскую живо бы вышибло... Так придешь, што ль?

— Куда?

— Да што ты это, очумел в самом-то деле?.. На дачу Иванова!..

— На дачу Иванова... приду.

— Ну и ладно.

Она пошла по плотине, а я провожал ее глазами, пока она не повернула... И повторял про себя: на дачу Иванова... Да, да, на дачу Иванова...

Дача, куда меня звала Дося, была в лесу, направо от московского шоссе, недалеко от бывшей дачки Урмановых. Дача была большая, но в ней зимой жили только два студента, занимавшие две комнаты. Она была в стороне и представляла то удобство, что в случае надобности жильцы открывали другие комнаты, и тогда помещалось сколько угодно народу. Там часто происходили наши тайные собрания.

Я давно уже не бывал на них. Еще до катастрофы в настроении студенчества происходила значительная перемена. Вопросы о народе, о долге интеллигенции перед трудящейся массой из области теории переходили в практику. Часть студентов бросали музеи и лекции и учились у слесарей или сапожников. Чисто студенческие интересы как будто стушевывались, споры становились более определенны. Казалось, молодой шум, оживление и энтузиазм вливаются в определенное русло...

Как-то, тоже еще до катастрофы, я шел по одной из московских улиц. Навстречу мне шли трое рабочих, с дорожными мешками и деревянными ящиками, какие носят с собой плотники. Из ящиков видны были ручки топоров и концы длинных рубанков. Невдалеке была церковь. Двое остановились и, сняв картузы, стали креститься, третий стоял в стороне и ждал, пока они кончат. В наружности этого третьего мне показалось что-то знакомое. Я вгляделся. Да, это не ошибка: в третьем плотнике я узнал студента политехника, которого встречал на наших собраниях. Он посмотрел мне прямо в лицо, делая вид, что совершенно не узнает меня. Затем все трое двинулись дальше, и, пока они не исчезли за

углом, я провожал их удивленным и восторженным взглядом.

Итак... начинается... Великий исход молодых сил из привилегированных классов навстречу народу, навстречу новой истории... И целый рой впечатлений и мыслей поднялся в моей голове над этим эпизодом, как рой золотых пчел в солнечном освещении... Когда, вернувшись, я рассказал о своей встрече ближайшим товарищам, это вызвало живые разговоры. Итак, N уже выбрал свою дорогу. Готов ли он? Готовы ли мы или не готовы? Что именно мы понесем народу?..

Теперь отголоски этих недавних разговоров доносились до меня, как и всё, точно издалека...

Всё это разные течения жизни. А для меня самая жизнь, в ее основной формуле, потеряла всякий интерес...

IX

На дачу Иванова вела лесная тропинка, которую сплошь занесло снегом. Из-за стволов и сугробов кое-где мерцали одинокие огоньки... Несколько минут назад мне пришлось пройти мимо бывшей генеральской дачи, теперь я подходил к бывшей дачке Урмановых. От обеих на меня повеяло холодом и тупой печалью. Я подошел к палисаднику и взглянул в окно, в котором видел Урманова. Черные стекла были обведены белой рамкой снега... Я стоял, вспоминал и думал...

Прошла группа студентов, другая... Я опомнился и пошел за ними к огоньку ивановской дачи... В щели ставень просачивался свет...

На крыльце несколько студентов топали, сбрасывая налипший снег, но говорили тихо и конспиративно. Не доходя до этого крыльца, я остановился в нерешительности и оглянулся... Идти ли? Ведь настоящая правда — там, у этого домика, занесенного снегом, к которому никто не проложил следа... Что, если мне пройти туда, войти в ту комнату, сесть к тому столу... И додумать все до конца. Все, что подскажет мне мертвое и холодное молчание и одиночество...

Но я подошел к крыльцу ивановской дачи в то самое время, как туда подходили три или четыре человека. Они посмотрели на меня, казалось, как-то особенно, и мы вошли вместе...

В сенях было натоптано снегом и навалены кучи платьев. Несколько студентов устроились на этих кучах и зашипели на нас, когда мы вошли. В большой гостиной рядом кто-то читал грубоватым семинарским голосом, влагая в это чтение много внимания и убедительности. Гостиная была полна: из Москвы приехали студенты университета, политехники, курсистки. Было накурено, душно, одна лампа давала мало свету...

— Здравствуйте, Потапов.

От одного из косяков отделилась высокая фигура девушки. Да, это так... Все как прежде... И даже прежнее чувство шевельнулось в душе.

— Пойдем в комнату хозяев... Там все хорошо слышно.

Она взяла меня за руку и повела за собой через узенький коридор в спальню хозяев. Здесь были Соколов, Соколова и Чернов. Соколов сидел на кровати, сложив руки ладонями и повернув к открытым дверям свое грубоватое серьезное лицо. Соколова кинула на Досю вопросительный и беспокойный взгляд, Чернов сидел на подоконнике, рядом с молоденьким студентом Кучиным.

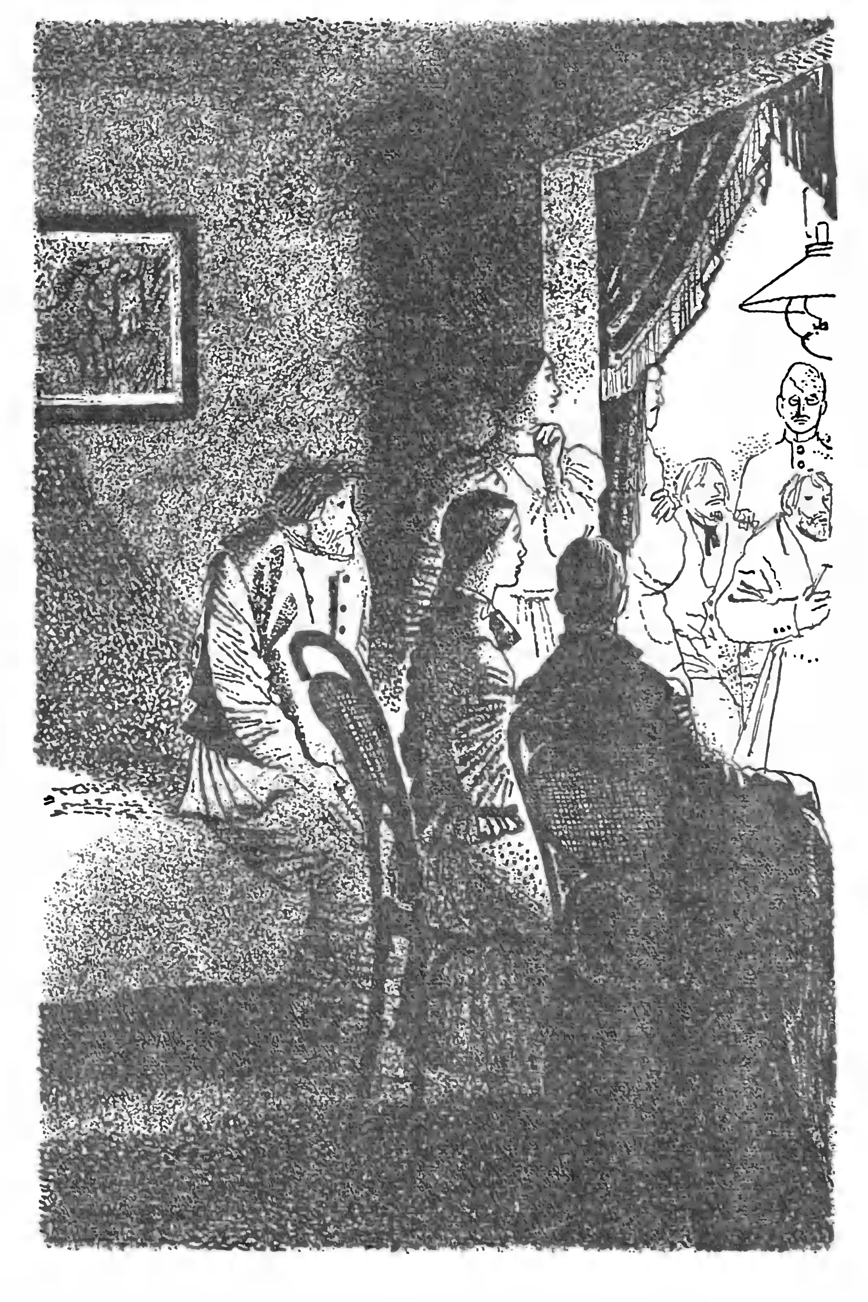
— Сядем вот тут,— сказала Дося.— Вы сильно опоздали... Отчего?.. Впрочем, лучше теперь молчите.

И она стала слушать чтение. Лицо ее выразило глубокое, сосредоточенное и углубленное внимание. Так слушают в церкви. Глядя на ее внимательное лицо, на полураскрывшиеся губы, я понял, что для нее тут не простое любопытство, что это дело ее определяющейся веры. В чем же эта вера? Что ее так захватывает? Я делал усилие вслушаться, но не мог: чтение было для меня только звуками, монотонными и разрозненными, и мое внимание отмечало семинарскую интонацию чтеца. Я мог еще чувствовать близость Доси, но все остальное казалось мне заглушенным и далеким.

Чтение смолкло. В комнате послышалось легкое движение, потом настала тишина. Ждали, что заговорит кто-нибудь из тех, кого привыкли слушать, но никто не начинал... Дося вопросительно смотрела на меня.

И вдруг раздался голос Тита. Он начал с какой-то цитаты из Зайцева, которая, по-видимому, не имела никакой связи с тем, что читалось. Среди слушателей водворялось недоумение.

— Что такое? К чему это он?— спрашивали приехавшие из Москвы.



— Тит! Довольно!— закричал кто-то из петровцев.

— Исчезни, Тит,— крикнул своим резким голосом Чернов.

— Постойте, дайте ему сказать... Может, и в дело,— поддержал москвич, читавший статью.

Тит заговорил опять, и опять это вызвало только недоумение. Я один понимал ход его мыслей. Он, как и я, почти не слыхал того, что читалось. Он стал ходить на собрания из-за меня и боролся с тем, что, по его мнению, меня губило. Поэтому он говорил о необходимости науки, под которой разумел науку академическую, и когда говорил о долге, то опять разумел «свой долг», свою задачу жизни, связанную с дипломом... Неожиданно для меня он говорил очень бойко и с воодушевлением. Но он совершенно не представлял себе слушателей, и слушатели не понимали его исходных пунктов... Поэтому между ним и аудиторией не было никакого соприкосновения. Не с чем было ни соглашаться, ни спорить.

— Ну, будет, Тит,— сказал Соколов с серьезным спокойствием.— Сказал уже. Дай другим.

Но Тит чувствовал, что он не убедил никого, значит, нужно, чтобы ему дали продолжать... Он апеллировал к свободе слова. Подымался шум.

— Не надо! Не надо!

— Отзвонил... Долой с колокольни...

— Тит! Умри!..— еще раз прорезался басок Чернова.

Тит что-то кричал, шум усиливался, слышался смех и школьнические выходки. Собрание очевидно расстраивалось. Москвичи и кое-кто из местных стали расходиться. Несколько человек из кружка прошли в ту комнату, где мы сидели...

— Собрание сорвано,— сказал с досадой Крестовоздвиженский, входя в комнату.

— Каждый раз такая история,— сказал кто-то другой.— Этот Тит точно с цепи сорвался...

— И черт его знает, что с ним сделалось. Парень был простяк... хороший парень, а тут на тебе вот. Какая-то систематическая обструкция.

— Э, господа! Тит это не от себя,— отозвался вдруг сидевший на подоконнике рядом с Черновым Кучин.

Кучин был глуповатый и наивный, но очень искренний и пылкий юноша. Он был проникнут каким-то фанатическим благоговением ко всему, что открывалось

перед его младенческим взором, и ему казалось, что все «темные силы» ополчаются в эту минуту со всех сторон на затерявшуюся в сугробах дачку, чтобы задавить зародыш нового мира...

— Что такое? Кто мешает? Что за ерунда!— послышались вопросы. Петровцы один за другим входили в небольшую комнату...

— Нет, верно. И я знаю, кто это... Это все Потапов!.. Изменник честным убеждениям...

Мое имя раздалось так неожиданно, что на мгновение в комнате все стихло. Соколов, продолжавший сидеть все в той же позе, с руками, сложенными на коленях, угрюмо и серьезно потупился; Крестовоздвиженский смотрел на Кучина с удивлением и ожиданием. Мы с ним не были особенно близки, но между нами рождалась прежде некоторая симпатия. Теперь он смотрел на меня с холодным недоумением. Лица Доси я не видел, но чувствовал, что оно побледнело и что ее глаза обращены ко мне. Но меня охватило какое-то усталое равнодушие к происходящему, как будто все это касалось не меня, а кого-то другого.

— Верно!— резко выкрикнул вдруг Чернов и порывисто вскочил с места...— Да, да. Потапов способен на все... даже... даже подглядывать в окна...

— Чернов... Не сметь!— почти задыхаясь, крикнула около меня Дося. Чернов обернулся с злым лицом и хотел сказать еще что-то. Но Соколова торопливо подошла к нему и насильно отбросила его на прежнее место.

— Сид-ди, тебе говорят!.. Экой какой, право...

Чернов проворчал что-то и смолк. Дося встала против меня и глухо, страдающим голосом, сказала:

— Потапов... Господи! Да что же вы молчите. Ведь вы... ведь я вас знаю, господи! Знаю, знаю...

Я посмотрел на нее, стараясь понять, что она требует. Да... Она говорит, что знает меня, и хочет, чтобы я говорил... Говорить так трудно. Но... Она требует... И, с усилием, без одушевления, глядя на нее, я заговорил:

— Чернов не прав. Он в вас влюблен и ревнует. Вы это знаете? Да? На него, как и на меня, действует пепельная коса и серые глаза... Если бы волосы у вас были прямые и остриженные, как у Катерины Филипповны... Что вы так смотрите на меня?.. Кучин дурачок. И это вы знаете... Это все знают, товарищи... Но у него есть смутное сознание правды... Потому что он искренний.

Он говорил, что это я виноват в выступлениях Тита... Будто я научаю его срывать собрания?.. Это пустяки... Я не научаю... Но все-таки в словах Кучина есть правда. Тит тупица, но он умный. У него своя линия... У вас своя... И вы друг друга не понимаете, потому что ходите в потемках. Я... я один вижу и понимаю все...

Я вдруг поднялся с места... Мне показалось, что в мозгу у меня загорелась какая-то лампочка, которая осветила самые дальние его закоулки. Мне стало легко и больно... Боль стояла где-то сзади, а легкость заставляла меня говорить. И я говорил неторопливо, отчетливо и ясно. Говорил все, что передумал за последние дни, что проходило у меня в голове в сумерках у платформы и на темных дорожках парка, что шепнуло мне урмановское слепое окно за час перед тем. Я говорил, и мысли одни за другими выплывали из глубины мозга, входили в освещенное пространство и вспыхивали новым светом. Все, что я читал прежде, все, что узнавал с такой наивной радостью, все свои и чужие материалистические мысли о мире, о людях, о себе самом, все это проходило через освещенную полосу, и по мере того, как мысли и образы приходили, вспыхивали и уступали место другим,— я чувствовал, что из-за них подымается все яснее, выступает все ближе то серое, ужасно безжизненное или ужасно живое, что лежало в глубине всех моих представлений и чего я так боялся. Вот я стою здесь перед нею... Еще минута — и этот поток мыслей, несущий меня с собою, принесет меня и всех туда, к этому мертвому ужасу... Мне слышалось тихое зловещее клокотание, точно что переливается под землей... И вместе с этим клокотанием усиливалась боль... В голове что-то ворочалось тяжело, катилось и грохотало. И вместе с этим рос ужас. Еще немного — и страшный, холодящий мертвый скрежет прорежет воздух. Но поток несет меня, и я еще успею сказать...

В глазах у меня стало темнеть, но слова все еще шли с языка, и мысли летели вперед, вспыхивая и угасая, так что я более не поспевал за ними и остановился.

У самого моего лица мелькнуло лицо девушки с глубоко тоскующим взглядом.

— Будет, довольно... Бога ради... Все это неправда, все это не вы, не вы... Я знаю, знаю!..

Все потемнело... В сознании остался еще на время глубокий, милый печальный взгляд... Рядом засветились прекрасные наивные глаза Изборского. Потом ли-

цо Тита... И все погасло среди оглушающего грохота... Я упал, потеряв сознание.

Заключение

— Да... все это... было...

Это были первые слова, которые я произнес после болезни.

Я очнулся ранним и свежим зимним утром. Тит сидел у стола и что-то читал. Я долго смотрел на него, на его лицо, склоненное на руки, внимательное, доброе и умное. С таким выражением Тит никогда не читал записки. Так он читал только письма сестры и матери. Все лицо его светилось тогда каким-то внутренним светом. Потом он поднял глаза на меня. В них был тот же свет.

В ту минуту мне казалось, что я весь занят этими ощущениями. За окном на ветках виднелись хлопья снега, освещенные желтыми лучами солнца. Золотисто-желтая полоса ярко била в окна и играла на чайнике, который (я знал это) только что принес Маркелыч. Маркелыча сейчас не было, но я чувствовал его недавнее присутствие и разговор с Титом.

Дверь открылась. Вошел Соколов, стараясь ступать осторожно, а за ним фельдшер. Они пошептались о чем-то с Титом. Соколов ушел, фельдшер остался. Я смотрел на все это прищуренными глазами и, казалось, ни о чем не думал, ощущая только желтую полосу света из окна, блики на чайнике и светящееся лицо Тита.

Шагая на цыпочках, Тит подошел ко мне. На ногах у него были блестящие туфли. «Тит разорился на туфли»,— мелькнуло у меня в голове, но, когда Тит склонился к изголовью, заглядывая в мои полузакрытые глаза, я сказал неожиданно для себя:

— Да... все, все это было.

— Что было?— спросил Тит...

«Он считает, что я в бреду»,— догадался я по лицу Тита и пояснил:

— Урманов и... и... еще что-то... Изборский?..

— Не думай об этом.

— Я не думаю. Оно как-то... думается само. Все время... Потому что было... И *то*... тоже было?

— Что ты хочешь сказать?

Я сделал усилие, но почувствовал боль головы и слабость. Мне стало обидно, что я не могу чего-то объяснить Титу. Боль усилилась. Я забылся.

Когда я очнулся опять, у моей постели сидела Соколова. Тит только что вошел со двора и принес с собою холодок и запах снега. Я подозвал его и опять прошептал:

— Я хотел бы знать...

Но Соколова остановила меня решительно и резко:

— Нечего тут знать... Молчите... Лежи, паренек, смирно.

Впрочем, я все равно не мог бы еще объяснить, что мне нужно. В голове моей ворочался хаос образов и мыслей. То, что было с Урмановым, я помнил. Но мне казалось, что еще до моего забытья или уже во время болезни я узнал еще что-то, имеющее отношение к тому же предмету. Мне только надо вспомнить... Может, после этого не будет того, что было... Так мне одно время казалось в бреду... Нет, это было и останется навсегда... Но было еще что-то важное и нужное... Когда я старался вспомнить, в воображении почему-то вставали глаза Изборского, лицо Доси и что-то еще на заднем фоне сознания... Когда я смотрел, как Тит читал письмо матери, мне казалось, что и это имеет отношение к тому, что надо вспомнить. Случайные мысли, неясные впечатления бежали чередой. Голова кружилась. Я забывался...

Позднею ночью я опять проснулся. На кровати Тита спал кто-то другой, а Тит без сюртука, в очках сидел у стола и писал. «Отвечает матери»,— решил я сразу. Не было ни ясного дня, ни освещенных хлопьев снега за окном. Тит сидел под абажуром тусклой лампы, но лицо его опять светилось, и опять он умиленно улыбался. После катастрофы у меня явилась какая-то особенная наивность. Все привычное, о чем никогда не думалось, подавало повод к неожиданным ощущеньям и мыслям, даже процесс еды в демонстрации господина Шмита. Это продолжалось и теперь. Я смотрел на пишущего Тита и удивлялся.

...Странно... Вот Тит получил листок бумаги и на нем ряды черных строчек... Где-то далеко, в захолустном городке Воронежской губернии, их выводила старушка, в старомодном чепце, портрет которой висит над кроватью Тита. Она запечатала письмо и послала на почту. За тысячу верст оттуда наш верзила почтальон доставляет его Титу... И на листке сохранилась улыбка старушки. Тит раскрывает листок, и лицо его светится ответной улыбкой.

Эта мысль показалась мне очень важной и растрогала меня до слез... Это оттого, что письмо имеет для Тита выражение... В нем отразился образ человека, которого он знает и любит...

— Я вас знаю... знаю...— Кто это говорил мне и когда?.. И что это значит?.. И какое отношение это имеет к письму Тита?

— Тит,— позвал я тихо.

Тит подошел и наклонился надо мной.

— Повернись к лампе, чтобы были видны твои глаза.

Тит беспокойно взглянул на меня, но повернулся к свету и снял очки. Глаза у него были близорукие и теперь глядели с недоумением.

— Нет, у тебя глаза лучше, когда ты пишешь письмо матери...

Тит обрадовался.

— Ты, значит, не бредишь... А я думал, что ты опять...

— Нет, Титушка, только мне нужно вспомнить... Садись, пожалуйста... Пиши опять.

— Не вспоминай, Потапыч... Спи... Может, тебе мешает лампа?

— Нет, Титушка... Пожалуйста, пожалуйста, пиши.

Тит уселся, обмакнул перо и опять наклонился к листку. И тотчас же в лице его произошла перемена. Все черты стали другими, морщинки на лбу разгладились, а в углах глаз, наоборот, обозначились яснее. Что-то неуловимое засмеялось под белокурыми усами, близорукие глаза светились и улыбались из-за очков... «Как будто кто-то сидящий внутри Тита дернул какие-то веревочки»,— подумал я... Вот теперь я опять чувствую моего прежнего Тита... Вот он — под лампой, мой прежний Тит, тупой к наукам, умный в жизни, добрый, заботливый, деятельно нежный...

...Ну, а тот Тит, что бесновался на собраниях? Он мне приснился? Нет, кажется, он был тоже... Только это был не совсем Тит... Теперь он стал самим собою?.. Что же это значит: стать самим собой? Значит, найти вот это, что внутри и что управляет выражением... Кучин сказал, что это я сделал Тита другим, не настоящим... Или он не говорил этого?.. Впрочем, это ведь правда... Как же это вышло?..

...Началось там... на рельсах... Урманов...

Я заметался. Тит опять бросился ко мне.

— Нет, ничего, ничего,— успокоил я его,— только кружится голова, и я не могу вспомнить... Погоди... Скажи мне: когда я был болен, сюда приходила Дося?

— Да, приходила.

— И говорила мне: «Я вас знаю, знаю...»

— Нет, этого, кажется, не говорила.

— Нет, говорила... Ты, верно, не помнишь... Да? Ты мог забыть?

— Конечно, мог.

— Соколов тоже приходил?.. И сидел, сложа руки на коленях... И потом мешал в печке... И видно было, что он меня осуждает... И... это ему грустно...

— Что ты это, Потапыч?

— Нет. Я знаю — это было. А Крестовоздвиженский?

Тит замялся.

— Он, видишь ли... уехал.

— А Изборский?

— Вот Изборский заходил два раза...

— И много говорил?.. И спорил со мною... И тоже меня осуждал...

— Да что ты фантазируешь? Он просто приходил справиться о здоровье.

— Значит... Я это видел во сне. И лицо Доси в окне... И лампа...

Я схватил его за руку и сказал:

— Ты слышишь: ведь это шумит поезд... Правда?

— Да, правда.

— Видишь: я, значит, не в бреду. И то, о чем я говорю, было... И лицо Доси в окне... И то, что говорил Изборский. Видишь ли, Урманов — это навсегда... Этого нельзя изменить... Это бессмысленно, и нельзя узнать, зачем это... это было, и это была смерть... И я там, на рельсах, заразился смертью. А смерть — разложение, и я стал разлагать все: тебя, Беличку, Шмита, себя... Досю... Нет, ее не смел, и Изборского тоже... А жизнь в ощущении и в сознании, то есть в целом. И оно тоже есть... Я его сейчас видел... в тебе... Есть и любовь, и стремленье к правде... Откуда они?.. Это тоже неизвестно... Они в целом... Они также слагаются и разлагаются... Но тогда... все в мире... понимаешь, Титушка, все трепещет возможностями сознания и чувства... Разлагаясь, они растворяются в природе... Слагаясь, дают целый мир чувства и мысли... Постой, ради бога, не перебивай... Я сейчас кончу... И если наш вещественный

мир — пылинка перед бесконечностью других миров, то и мир нашего сознания такая же пылинка перед возможными формами мирового сознания... Понимаешь, Титушка, какая это радость... Какая огромная радость!.. Мы живем в водовороте бесконечного чувства и мысли...

— Потапыч, голубчик... Опять эта проклятая философия!..

И опять это восклицание Тита донеслось до меня будто издалека. Мой бедный больной мозг не вынес прилива охватившей меня бурной радости, и я впал в рецидив горячки.

Но натура у меня была крепкая, и это было уже ненадолго. Дня через три я опять пришел в сознание и уже был спокоен. Тит так отчаянно махал руками всякий раз, когда я пытался заговорить с ним, что я целые часы лежал молча, и мои мысли приняли теперь менее отвлеченное направление.

На третий день я подозвал Тита и попросил его принести из почтового отделения лежащее там письмо на мое имя. Он сходил, но, вернувшись, сказал, что письма ему не выдали, так как нужна доверенность. Еще через день после короткого разговора, не имевшего никакого отношения к «философии», я сказал:

— Ну, Тит, давай письмо.

— Какое письмо? Я же говорил тебе...

— Не ври, Тит. Письмо у тебя в столе...

Тит, конечно, почесался и отдал письмо. Я знал: оно было с Волги.

Содержание его было радостно и наивно. Девушка делилась своими впечатлениями. Это было время, когда в Саратовской губернии расселилась по большим селам и глухим деревням группа интеллигентной молодежи в качестве учителей, писарей, кузнецов... Были сочувствующие из земства и даже священники. Девушка встретилась с некоторыми членами кружка в Саратове, и ей казалось, что на Волге зарождается новая жизнь...

Несколько небольших грамматических ошибок наивно глядели с этих строк, написанных твердым, хотя не вполне установившимся почерком. Но под конец письмо, сохраняя свою наивность, становилось выразительным и поэтичным. Девушка писала его ночью у раскрытого окна каюты, и, когда она отрывала глаза от листка, перед ней в светлом тумане проплывали волжские горы и буераки, на которые молодежь нашего

поколения смотрела сквозь такую же мечтательно романтическую дымку... Там, за этими горами раскинулась неведомая нам жизнь огромного загадочного народа... О чем вздыхает раскольник в глухом скиту?.. Из-за чего волнуются по деревням крестьяне?.. К какой старой воле стремятся казаки на бывшем Яике?.. И нам казалось, что эти стремления совпадают с нашими мечтами о свободе...

Дочитав до конца, я глубоко задумался. Письмо лежало так долго... Что, если оно было вскрыто?.. И что это? Новое облако с раззолоченными краями? Далекая обманчивая иллюзия, которая вблизи раскинется холодною мглой или грозовой тучей?..

Все равно! Это — жизнь. Из облаков идут дожди, которые поят землю, а грозы очищают воздух...

Я вскочил на ноги, испугав Тита...

Жить, жить...

1888—1914

ФЕОДАЛЫ

I

Уже несколько дней мы ехали «разнопряжкой». Это значило, что на каждого человека (нас было трое) давали лошадь и узенькие дровнишки. Ямщик, иногда два ехали на таких же дровнях, отдельно. Составлялся караван, который, порой стуча и визжа полозьями по острым камням, медленно тянулся по берегу реки под скалами.

Кажется, только при таком путешествии чувствуешь настоящим образом, что такое огромный божий свет и сколько в нем еще могучей и гордой пустыни. Однажды мне случилось отстать, поправляя упряжь. Когда затем я взглянул вперед, наш караван как будто исчез. Только с некоторым усилием под темными скалами, присыпанными сверху каймами белого снега, я мог разглядеть четыре темные точки. Точно четыре муравья медленно ползли меж камнями.

Река начинала «становиться», и сообщение между двумя берегами было уже прервано. В одном месте мы увидали на той стороне угловатые крыши станка, и над

снегами вилась синяя струйка дыма. Серединой реки шел уже густой лед, и очередные ямщики с лошадьми и санями заблаговременно перебрались на левый берег, чтобы поддерживать почтовое сообщение без переправы. Здесь у них не было никаких строений. Под огромной скалой мы увидели широкую яму, в которой ютились и люди, и лошади. В середине горел костер из целых стволов лиственницы, и дым подымался кверху, смешиваясь с падавшим из темноты снегом...

Ледоход затягивался, и люди жили таким образом вторую неделю. Огонь освещал угрюмые, истомленные лица ямщиков. Лошади фыркали под каменными стенами огромной землянки. Порой, когда костер вспыхивал ярче, вверху появлялись то кусок нависшей скалы, то группа лиственниц... Появлялись, стояли мгновение в вышине, как будто готовые обрушиться, и опять исчезали...

Я вспомнил старинное слово «ямы», и мне показалось, что я понял происхождение этого термина. Не в таких ли «ямах» начиналась в старину «ямская государева служба», не отсюда ли самое слово «ямщик»... Картина была фантастическая и мрачная, точно выхваченная из XVI столетия.

Через час наш караван выехал опять, звеня бубенцами, и скоро мутные отсветы подземного костра в пелене падавшего снега скрылись за поворотом...

II

Молодой сон был нашим спасеньем в этом долгом пути. Убаюкиваемые неровной дорогой, ленивой трусцой лошадей, позваниваньем бубенцов и однообразием картин, мы проводили большую часть времени в полузабытьи. Засыпая иной раз при свете тусклой вечерней зари и просыпаясь темною ночью под шипенье легкой метели, я часто терял границу между сном и действительностью. Сны порой бывали теплые и яркие, как действительность, холодная действительность походила на кошмарный сон.

В таком неопределенном настроении проснулся я и в тот вечер, с которого начинается мой рассказ. Меня разбудила неожиданная остановка, и я открыл глаза...

Кругом было темно. Береговые скалы отодвинулись. Нас окружали какие-то громадные массивные построй-

ки, которые оказались барками. Целый караван барок, охваченных льдом... Впереди на довольно крутом подъеме рисовалась силуэтом фантастическая фигура гигантского всадника. Я смотрел на него снизу. Его голова, казалось, уходила в облака, плечи высились над отдаленными горами. Рядом вприпрыжку бежал пеший человек в остроконечном шлыке.

Вдруг огромная рука всадника поднялась в мглистом небе и опустилась. Пеший человек закрыл голову рукой, и острый свист нагайки прорезал воздух...

— Ты куда это завел, чтоб те язвило?— сказал гигант скрипучим и вместе гнусавым голосом.— Давно надо быть в резиденции... А мы все еще на берегу?!.

— Да я,— смиренно послышался голос пешего,— я, Кондратий Ермолаич, за имя́ вот подался...

— «За имя́»,— передразнил всадник...— Не могешь сам рентироваться, каналья... Гляделки у тебя ржа, что ли, выела, мразь ничтожная!.. червь ползучий, лярва... А я тут зябни!

Последние слова были сказаны гнусавым, почти плачущим голосом, и всадник опять поднял руку с нагайкой. Лошадь под ним испуганно затопталась. Пеший спутник уклонился от удара. Наши ямщики сошли с санок и приняли участие в обсуждении положения. Оказалось, что мы все заснули, лошади свернули к берегу. За нами потянулись случайные спутники, причем даже пеший проводник крупного незнакомца, очевидно, тоже заснул на ходу...

— Чего будем делать?— проскрипел опять тот же голос...— Оз-зя-яб ведь я! Смерть...

— Ви́ска это,— сказал, выступая из темноты, один из наших ямщиков.— Эк-ка беды́! Куда в сам деле заехали!.. Вишь, это барки. Караван приисковой зимует...

— Ну, с богом,— сказал другой ямщик.— Ступай и ты, ваше степенство, за нами. Придерживай левей, ребята, левей... Берегись... Не спи... Левей, левей... Не задень, мотри... Камень тут... Ну, так и есть... Э-эх!.. Ну, слава те господи...

Резкий толчок саней о камень... Потом ровное поскрипывание полоза, и я опять сладко заснул. Только сначала еще сквозь дремоту, открывая порой глаза, я видел, что мы едем гуськом по широкой пустынной луговине, и ветер сыплет в лицо крупными хлопьями снега...



Но вдруг опять... Сон это или действительность? Копыта наших лошадей гулко стучат по деревянной настилке моста... По обеим сторонам не камни, не река, не скалы с шумящими вверху деревьями, а перила моста и... фонари! Впереди какое-то двухэтажное здание с светящимися окнами, и яркие цепочки фонарных огоньков уходят в перспективу улицы...

Я протер глаза, но видение не исчезло... Лошади, перестав стучать по мосту, бежали по ровной дороге... Освещенный двухэтажный дом надвинулся ближе. На занавесках окон мелькали, точно китайские тени, силуэты танцующих... Слышались заглушенные звуки оркестра... А назади — холодная спутанная тьма, в которой угадываются горные склоны, темные ущелья, глубокое ложе замерзающей реки, холод, метель и пустыня...

Только тот, кто несколько долгих лет провел вдали от всякой культуры, может понять, каким изумительным красавцем кажется порой после этого простой фонарный столб с керосиновой лампой, светящей на улицу... И как волшебно звучит самый незатейливый оркестр за освещенными окнами...

Поравнявшись с подъездом двухэтажного дома, наш караван остановился, и тотчас же рядом со мной выросла фигура мужика. Он был в большом полушубке, с головой, закутанной в башлык. Из-под башлыка торчал конец носа, заиндевевшие брови и белые усы. В одной руке у него была большая дубина, в другой — трещотка, из чего мы заключили, что это ночной караульщик.

— Что за народы?— спросил он.— Гости еще, что ли?

— Го-о-сти,— насмешливо сказал один из ямщиков.— Чай, видишь: этапные!

— Ну, так пошто ж вы сюда-то их приперли? Волоки на въезжу...

— Так,— сказал опять ямщик в раздумье...— Это мы знаем. А на каку́ въезжу?

Мужик стал осматривать наши фигуры...

— Что тут у вас такое?— спросил я у него, указывая на освещенные окна.

— Это?— переспросил он.— Это у нас разведенция... Господа тут теперь гуляют. Вы Михаил Никитича знаете, что ль?

— Не знаем...

— Не знаете... та-а́к... Дочку он просватал, так вот и гуляют на сговоре... Куда ж вас в сам-то деле?.. На черну, что ли? Или на господску? Бумага, что ль, с вами какая?

— Есть.

— Давай сюда. Схожу к заседателю, поспрошаю... Здесь он, тоже гуляет с прочими господами, в компании...

Я дал ему нашу бумагу, и он нырнул в калитку рядом с каменным домом.

Музыка смолкла. Мерное движение китайских теней приостановилось... Прошло несколько минут, в течение которых заседатель, может быть с участием веселых гостей, обсуждал наше положение...

Через несколько минут караульщик появился опять и сказал:

— Вались, слышь, на господску... Барин приказал... Дворяна, видно,— прибавил он в раздумье и вдруг отчаянно заколотил трещоткой, как бы желая показать освещенному дому, что он охраняет его беспечное веселье по соседству с насторожившейся холодной пустыней. Стук его трещотки наполнил улицу и полетел вдаль, в спутанную мглу реки и гор. Когда же трещотка смолкла, то на улицу опять порхнули звуки оркестра, и тени на занавесках опять двигались, подпрыгивали, встречались, отвешивали поклоны и расходились...

Еще один мостик с фонарями, еще пустырь — и мы въехали в улицу сибирской слободки, погруженной в глубокий сон. У одного дома мы увидели оседланную лошадь. Знакомая фигура в шлыке хлопотала около нее, снимая переметы... В замерзшие окна виднелся свет, тоже, как и в резиденции, мелькали тени и слышались нестройные пьяные песни...

— Въезжа эта... черная,— пояснил один из ямщиков.— Этапные, видно, загуляли...

Мы проехали мимо. Мне казалось, что все эти впечатления сейчас исчезнут и что я проснусь опять на угрюмой бесконечной дороге или у дымного «яма». Но когда наш караван остановился у небольшого чистенького домика — волшебный сон продолжался... Теплая комната, чистые и мягкие постели... На полу — ковры, в простенках — высокие зеркала... Один из моих спутников стоял против такого зеркала и хохотал, глядя на отражение в ровном стекле своей полудикой фигуры...

Это была «господская въезжая» приисковой резиденции...

Резиденциями называют в Сибири такие пункты около больших рек или иных путей сообщения, которые служат посредниками между глубиной золотоносной тайги и остальным миром. В резиденциях происходит окончательная наемка рабочих и заключение с ними контрактов. Отсюда их уже разводят по тайге на места работ, и поэтому народ зовет их «разведенциями». Тут же рабочие получают окончательный расчет, отсюда на прииски доставляются припасы, здесь живет заседатель, а иногда и горный исправник с командой для поддержания во всем приисковом районе порядка и для борьбы с спиртоносами и хищниками золота. Одним словом, резиденция — это настоящая столица приискового царства. Рабочие и служащие отводят здесь душу после томительного однообразия таежной жизни... Ходят самые фантастические рассказы о разгуле, который врывается в эти места, когда хлынут сюда из тайги партии рабочих для расчета... Небольшие пароходики, пробирающиеся из резиденции в тайгу, нередко везут приисковым господам и их дамам последние новинки парижских мод.

В одну из таких резиденций приехали мы в этот мглистый вечер, начавшийся для нас в освещенной костром «яме» временного станка... Мы то и дело смеялись, беспричинно и бессмысленно, сидя за покрытым чистою скатертью столом, на котором кипел блестящий самовар.

Через полчаса все мы крепко спали в мягких постелях... Сквозь сон я слышал какую-то суету. Кто-то как будто называл мою фамилию, кто-то пытался осторожно разбудить меня... Затем меня оставили в покое.

III

На следующее утро, едва я успел проснуться, как в спальню вошел молодой казак и почтительно остановился у двери. Он кинул быстрый и, как мне показалось, слегка насмешливый взгляд на наши переметные сумы, в беспорядке лежавшие на ковре, на принадлежности нашего далеко не щегольского дорожного костюма и затем сообщил, что он прислан «барином» для услуг. «Барин» присылали вчера звать меня на «вечóр-

ку», но меня нельзя было добудиться. Теперь приказывают лично явиться к нему в канцелярию за бумагой.

— Кто же этот барин?— спросил я с недоумением.— Как его фамилия?

Барин оказался заседателем приискового участка, а фамилию его я только слышал ранее, но не связывал с нею никаких личных воспоминаний. Меня это заинтересовало, и, хотя особенной надобности в свидании не предстояло,— я был рад случаю повидать административного главу приисковой резиденции. Поэтому, одевшись, я отправился к заседателю.

Канцелярия помещалась в том самом поселке, который так поразил меня вчера ночью, в небольшом, но все-таки довольно просторном каменном доме. В первой комнате за столами помещалось два или три человека, усердно скрипевших перьями. На стене висел олеографический портрет государя и в черных рамках какие-то печатные листы и объявления. Пахло чернилами, носильным платьем и еще чем-то, составляющим специфическую принадлежность захолустных канцелярий, полицейских участков и духовных консисторий... Писцы имели вид людей, много испытавших в жизни. Вероятно, это были ссыльные; относились они к своему делу с угрюмою, озабоченною важностью и говорили друг с другом осторожным шепотом. Чувствовалось, что над канцелярией царит ощущение дисциплины, как будто просачивающееся из-за плотно закрытой двери, задернутой тяжелой коричневой драпировкой.

Когда я назвал свою фамилию и сказал, что явился по приглашению, один из писцов медленно положил перо на раскрытую ведомость, оглядел с ног до головы мою фигуру в полуякутском костюме и поднялся с своего места. Впрочем, подойдя к закрытой двери, он остановился и с оттенком нерешительности оглянулся на другого. Тот кивнул головой и сказал, склоняясь над бумагой:

— Доложи... чего тут...

И тотчас же деловито заскрипел пером.

Дверь тихо открылась и закрылась... В канцелярии опять водворилась робкая тишина, нарушаемая скрипом перьев.

Через полминуты писец вынырнул из-за портьеры.

— Пожалуйте,— сказал он, вежливо сторонясь и пропуская меня в кабинет.

Комната, куда я вошел, совсем не походила на канцелярию или деловой кабинет полицейского заседателя (должность, соответствующая становому приставу). Это был скорее будуар светской женщины. Прежде всего бросалась в глаза роскошная пестрота, в которой мягко терялись отдельные предметы. Нога ступала по толстому, лохматому ковру, под цвет тяжелых стенных обоев. Стены были увешаны картинами и зеркалами. В одном месте сверкала на темном фоне коллекция оружия; в углу лапчатые листья тропических растений простерлись над роскошной оттоманкой. Середина комнаты была занята большим столом, вокруг которого стояли мягкие кресла, как будто приготовленные для каких-то заседаний. В задней стене был широкий пролет с тяжелыми драпировками. За ним, в углублении, виднелась большая ниша, что-то вроде спальни. В полутьме чуть пестрели пятна тигровой шкуры над кроватью, и женский портрет в золоченой раме выступал из полумрака... Комната со столом освещалась большим венецианским окном, в которое, точно на картине, виднелось серое небо с тяжелыми желтоватыми облаками и дальний берег Лены.

— Покорнейше прошу вот сюда... Кажется, имею удовольствие говорить... с...

Только теперь я заметил среди пестроты этой комнаты фигуру хозяина. Он сидел в огромном кресле, вроде председательского, с очень высокой спинкой, и теперь сделал движение, как будто хотел подняться мне навстречу. Впрочем, движение это было скорее символическое: выходить из-за стола с близко придвинутым тяжелым креслом было неудобно. Я и принял это как величаво-снисходительную любезность, подошел сам и назвал свою фамилию.

— Оч-чень рад... Пожалуйста...

Благосклонным жестом он указал на ближайшее кресло и назвался в свою очередь:

— Степан Осипович Костров.

Степан Осипович Костров оказался человеком еще молодым и довольно красивым. Преждевременная лысина сильно увеличила его высокий лоб, и все лицо, как-то излишне выхоленное и нежное, выделялось ярко и значительно на темновато-пестром фоне. На нем была щегольская серая тужурка с форменными жгутами на плечах, застегнутая вверху на одну пуговицу. Из-под нее выступали ослепительный стоячий воротничок

и сверкающая белая жилетка с маленькими золотыми форменными пуговицами. Из рукавов тужурки выставлялись очень широкие крахмальные манжеты, и вся фигура давала прежде всего впечатление нескольких ослепительно белых пятен. Лицо тоже сразу напоминало о пудре и душистом мыле. Впрочем, серые глаза смотрели твердо, и в чертах лица проглядывала холодная самоуверенность. Мне показалось на одно мгновение, что моя невольная растерянность и инстинктивное ощущение дисгармонии, которую внес я своей полудикой фигурой в этот щегольской уголок, доставили хозяину некоторое удовольствие. По лицу его скользнуло что-то почти неуловимое, как будто оно стало еще мягче, свежее и душистее... Он подвинул ко мне ящик с сигарами и сказал:

— Да, я очень рад, что имел случай познакомиться. Слышал, что принимаете, так сказать, участие в литературе?.. Мы здесь это ценим...

Он придвинул еще коробку спичек и спросил очень любезно:

— Надеюсь, вы хорошо провели *у меня* эту ночь?

В тоне его мне почуялось легкое напоминание, что *у кого-нибудь другого* я мог бы провести эту ночь и гораздо хуже... на черной въезжей, например, а не на господской.

— Ночь мы с товарищами провели превосходно,— ответил я.— Я пришел, чтобы поблагодарить за гостеприимство и... взять свою бумагу.

Хозяин, по-видимому, не торопился закончить аудиенцию так скоро. Срезав конец сигары, он долго закуривал ее и затем, выпустив клубок дыма, сказал, откидываясь в кресле и протягивая ноги под столом:

— Мы позволили себе потревожить вас вчера, но вы уже спали... Маленькое семейное торжество... Кронид Иванович был тоже...

Заметив мой вопросительный взгляд, он пояснил:

— Кронид Иванович Шабельский. Ведь вы, кажется, знакомы?

— Нет, не знаю.

— Не знаете?.. Кронида Ивановича?.. Странно...

Он кинул на меня взгляд, в котором проскользнуло сомнение: то ли я лицо, по адресу которого он расточал свои любезности, и продолжал:

— Новый управляющий приисков... Я думал, что вы знакомы. Когда вчера принесли вашу бумагу, он сразу

обратил внимание на вашу фамилию... Может, припомните?

— Нет, не припоминаю.

— Достой-нейшая, просвещенная личность...

Лицо его при упоминании о просвещенной личности стало еще более матовым и разнеженным... Он опять с легким оттенком сомнения скользнул по моей фигуре, как бы сопоставляя ее с достойнейшим Кронидом Ивановичем, к большой, конечно, невыгоде для моей скромной особы, и сказал с озабоченным видом:

— Уехал утром, прямо с бала... Как-то удалось переправиться?..

Я сказал, что переправа, вероятно, очень трудна. На реке довольно крупное «сало». Ямщики на некоторых станках дежурят в «ямах». Людям приходится очень трудно. Он выслушал последнее замечание с небрежным видом и сказал:

— Народ привычный... Боюсь, что и мне скоро придется ехать в участок и притом довольно далеко...

— Ваш участок, вероятно, велик,— сказал я, чтобы поддержать разговор.

Он слегка улыбнулся как-то особенно, одними бровями и уголком губ, в которых была защемлена сигара, и сказал кратко:

— На европейский масштаб — целое государство!.. Да вот, не угодно ли взглянуть на эту карту... Синей чертой обведены границы моих владений...

И он с изящной небрежностью сделал округленный жест рукой по направлению к большой карте, висевшей над камином.

Я с любопытством взглянул на нее. Синяя черта, извиваясь между хребтов, горных речек и падей, уходила на северо-восток, захватывала значительную часть течения Лены и ее безымянных притоков, подходила к водоразделу Енисея на северо-западе, а на юго-востоке широким синим пятном к ней придвигался Байкал...

Этот клок разрисованной бумаги живо подействовал на мое воображение. Мне представились эти сотни и тысячи верст, оставшихся назади, которые мы одолевали так долго и с такими усилиями... Зеленые пятна, там и сям причудливыми массами разбросанные кистью чертежника,— это глухая, дремучая тайга, непроходимою, дикою чащею раскинувшаяся по горным уступам и ущельям. Черные точки — убогие станки, населенные несчастными, полуголодными и угрюмыми

ямщиками. Извилистые полоски — это горные речки, через которые мы переправлялись с такими приключениями... Все это живо представилось мне при взгляде на карту участка, который этот франтоватый господин в серой тужурке с такой великолепной небрежностью только что назвал «своими владениями».

«Да ведь это в самом деле владетельный князь»,— подумал я и с невольным любопытством еще раз взглянул на г-на Кострова.

По наружности сразу видно, что это не коренной сибиряк, а из «навозного элемента», как их иронически зовут в Сибири... Сильно воспользовался жизнью в России... разорился... Потом взялся за ум... Приехал в хвосте генерал-губернаторской свиты и, благодаря столичной протекции, получил теплое место на приисках. В то время эти «навозные» господа не пользовались особенным расположением сибиряков. Последние предпочитали своих аборигенов, с знакомым сибирским бытовым налетом. Они как-то лучше приходились ко двору. У навозных не было местного чутья. Они были высокомерны, заносчивы, и требования их часто превосходили всякие пределы...

Степан Осипович Костров имел руку в Иркутске... В последнее время, впрочем, толковали о перемене генерал-губернатора...

IV

В кабинете вдруг послышался какой-то сторонний звук...

Оглянувшись, я увидел, что мы с заседателем не одни. У двери, прижавшись между портьерой и пестрой стеной, как бы стараясь уничтожиться в этой роскошной обстановке, стоял человек, которого я при входе не заметил.

Это был субъект большого роста, одетый в длинный серый пиджак и светлые брюки крупной клеткой. Пиджак висел на сухощавой фигуре, как на вешалке, брюки были засунуты в лакированные голенища, слишком широкие и нелепо спустившиеся книзу. На светлой, но порядочно обмызганной жилетке болталась толстая металлическая цепочка с массивными брелоками. Лицо у незнакомца было смугло-оливковое с очень низким лбом, над которым торчали в разные стороны короткие

и густые черные волосы. Большие торчащие уши, толстая нижняя губа и широкие челюсти давали впечатление странной, несколько комической гримасы. Маленькие черные глаза сверкали по временам враждой и каким-то унылым упорством.

Наклонив голову и глядя искоса и исподлобья на заседателя, он сказал:

— Можно мне уже идти, Степан Осипович?

Заседатель повернулся в его сторону и, откинувшись назад, некоторое время смотрел на незнакомца строго и холодно...

— Нет-с, нельзя, Кондратий... забыл, как по батюшке,— сказал он сухо.— Мы с вами еще не кончили нашего разговора...

— До коих же пор... в сам-деле?— пробурчал незнакомец угрюмо.— Стою, стою...

— Я, быть может, вам помешал?— сказал я, делая движение, чтобы подняться.

— Нисколько... Пожалуйста!.. У нас с этим господином нет никаких секретов... Даже совершенно наоборот... Дело наше, можно сказать, получило широкую огласку...

Мне показалось, что в последних словах прозвучал оттенок некоторой злости, но затем заседатель небрежно протянул руку, взял номер лежавшей на столе газеты и подал его мне.

— Посмотрите вот здесь... отчеркнутое место. Как вам понравится?..

Газета была сибирская, но выходила в столице. Отчеркнутое место заключало в себе сообщение о циркуляре, который волостной писарь Шушминской волости N-ского округа разослал по деревням «в руководство на случай военного могущего произойти столкновения». За много лет до действительной китайской войны газеты заговорили как-то о недоразумениях на китайской границе. Недоразумения были улажены, но волостной писарь отдаленной волости, очевидно, большой дипломат, счел нужным и с своей стороны принять участие в инциденте. Он разослал по деревням циркуляр, в котором предлагал «подведомым старшинам, сотским, а равно прочей мелкой власти» внушать населению полное спокойствие. «Я же, со своей стороны,— так заканчивался этот циркуляр,— за благо признаваю, в силу облекаемой власти и политического равновесия, как равно и высшего соображения причин, клонящих намерение

к строжающему нейтралитету, то имеешь ты, старшина (имярек), с прочею низкою властию приложить всемерное старание под страхом в противном могущем быть случае наистрожайшего штрафования, не исключая личной прикосновенности по закону и свыше... Подлинный подписал писарь Кондратий Замятин».

Самому ли Кондратию Замятину пришла в голову эта горделивая идея, или ее внушил ему какой-нибудь юморист из ссыльных,— сказать трудно; но имя Кондратия Замятина на время всплыло в сибирской и столичной печати.

— Да-с! Вот не угодно ли?— сказал Степан Осипович, когда я с невольной улыбкой положил номер на стол.— Подлинный подписал Кондратий Замятин — это вот они-с... Не угодно ли полюбоваться... Бисмарк Шушминской волости... Объявляет войну и мир и поддерживает политическое равновесие.

Кондратий Замятин повернул голову так круто, что казалось, он свернет себе шею, и в его лице, в глазах, даже в позе виднелось выражение сконфуженности и вместе упрямства. Такой вид должны были иметь в доброе старое время великовозрастные богословы и философы, которым предстояло ложиться под «учительную» лозу отца ректора...

— Можно... уйти?..— процедил он опять, и губы его сложились в такую складку злости и обиды, что мне стало несколько жутко.

При этом что-то в его голосе показалось мне очень знакомым. В моей памяти встала вдруг вчерашняя темная ночь на льду затона, холодный ветер с изморозью, мое полупробуждение и огромный силуэт всадника, возвышавшийся над горами... Я невольно спрашивал себя, действительно ли этот человек, уничтожающийся теперь под взглядом заседателя,— тот самый, который явился мне вчера таким титаном?.. И я подумал, что Степан Осипович несколько неосторожно злоупотребляет преимуществом своего положения над этим верзилой, который может расплющить его одним движением своей жилистой лапы...

— То-ро́-опитесь? — сказал заседатель с уничтожающим сарказмом в голосе...— Сочинять министерские циркуляры?.. Или...

В глазах Кострова пробежало что-то быстрое и холодное, как змейка.

— Или с-строчить доносы вашему куму, исправнику?.. Нет-с, господин Замятин, на этот раз вы от меня дешево не отделаетесь. Я не посмотрю на ваших кумовей и на все ваши шашни... Сделайте одолжение... Сколько угодно! Пишите, выдумывайте, лгите... А пока...

Его лицо стало опять бледно и холодно. Он любезно повернулся ко мне и сказал:

— Извините, что делаю вас, так сказать, свидетелем... Но с этим народом и ангел потеряет терпение... Не угодно ли вот!.. Я ничего не знаю, а циркуляр уже попал в газеты. Пойдут теперь трепать... Того гляди, из самого Петербурга запрос: в чьем участке этот Талейран объявился?.. Сепаратизм еще приплетут... Ну-с, так вот, господин Кондратий Замятин, владетельный князь Шушминской волости... есть там у вас... в ваших «подведомых владениях» каталажка?..

— То есть... это в котором смысле?..— угрюмо спросил Кондратий Замятин.

— А вот, в том самом смысле... куда сажают бродяг, воров и пьяниц и куда вы изволили посадить самовольно противузаконно тунгусского князца... Это вот самое строение... стоит еще на месте? Не сгорело?

Замятин издал невнятное, но, по-видимому, утвердительное ворчание...

— Так вот-с... вы получите в моей канцелярии предписание, которое приказываю исполнить точнейшим образом. Прежде всего, не медля здесь ни минуты... слышите? ни одной секунды... вы отправляетесь к месту своей службы. По прибытии имеете предъявить старосте бумагу, которую тоже получите из моей канцелярии для объявления на сходе... И прошу добросовестно прочесть ее содержание,— прибавил Степан Осипович металлическим голосом.— Я проверю... И если вы... если ты, сс-укин... Ах, извините, я опять забылся,— спохватился заседатель, повернувшись ко мне.

Кондратий Замятин перестал жаться к стене и вытянул шею...

— В бумаге этой говорится,— холодно отчеканил заседатель дальше,— что писарь Шушминской волости Кондратий Замятин, из ссыльно-поселенцев, имеет отсидеть в сельской каталажке на хлебе и воде неделю... за составление бессмысленных циркуляров, выходящих за пределы его обязанностей и составляющих превышение власти... Можете идти...

Замятин, как будто все еще не вполне разобравший смысл сказанного, медленно, с медвежьей ухваткой повернулся к двери, потом остановился, мгновение постоял неподвижно и затем опять обратился вполоборота к заседателю.

— Степан Осипович,— сказал он сдавленным, глухим голосом...

— Что-с?

— Отмените...

— Я никогда не отменяю своих распоряжений...

Замятин еще постоял, опустив голову, и потом продолжал так же глухо:

— Отмените... Я говорю: какой же после этого посреди дикого народу... престиж?

— Что-ó-с,— вспыхнул заседатель...— Престиж? Престиж вам!.. Не угодно ли повернуться лицом, когда с вами говорит начальник... Что это за поза?.. Руки по швам!— крикнул Костров, выходя из себя.

Замятин неохотно и не до конца повернулся и опустил руки. Заседатель окинул всю его фигуру горящим взглядом.

— Тебе, Кондратий Замятин,— сказал он, отчеканивая каждое слово,— статья такая-то, о «состояниях», известна?.. Примечание такое-то об изъятых от телесных наказаний?.. Ступай и помни, что если ты выведешь меня из терпения, то я применю к тебе это примечание при первом случае... И никакие шашни, никакие доносы не помогут... Ступай...

Замятин издал что-то вроде глухого медвежьего ворчания, круто повернулся и исчез за занавеской. Вид у него был такой же зловеще-унылый и упрямый. Уходя, он даже непочтительно стукнул дверью... Степан Осипович проводил его враждебным и внимательным взглядом.

Когда портьера за писарем перестала колыхаться, Костров повернулся ко мне.

— Ну-с, вот вы изволили видеть сами... Так сказать, бытовая картина, которую бы можно озаглавить: положение сибирского администратора... Что скажете?

Я решительно не знал в ту минуту, что я могу сказать о положении сибирского администратора. Впрочем, Степан Осипович сам вывел меня из затруднения. Он подвинул мне коробку папирос, закурил сам и сказал тоном доверчивым, отчасти даже конфиденциальным:

— Вот вы человек просвещенный... Судите сами: на ответственности заседателя целое, так сказать, государство... Заседатель отвечает за благосостояние и спокойствие в некотором роде сибирской Швейцарии...

Он опять меланхолическим жестом указал на карту.

— А между тем заседатель связан по рукам и ногам... Власть его ограничена до смешного! Верите, я не имею возможности прогнать какого-нибудь ссыль...

Он спохватился и поправился:

— С одной стороны, какая-нибудь уголовная фигура, вот вроде сейчас вами виденной... С другой — исправник, из местных, непросвещенный, грубый, который, однако, имеет возможность на всяком шагу ставить препятствия...

Он сделал усилие и передвинул свое тяжелое кресло, так что нас разделял только угол стола.

— Послушайте,— заговорил он несколько пониженным голосом.— Вот я и говорю: вы человек просвещенный, обладаете талантом. Скоро будете в России... Еще скорее в Иркутске... Что, если бы вы изобразили... ну вот хотя бы то, что видели... «К положению просвещенного администратора в Сибири»... Я, с своей стороны, мог бы дать некоторые пояснения... Тема для статьи — богатейшая... Если я отвечаю, дайте мне власть... Это понятно. Если мне доверяют, я должен быть независим от какого-нибудь... там... исправника старого закала, который принимает доносы, роняя, так сказать, престиж... А? Что такое? Чтó вам нужно?..

Сердитое восклицание относилось к писцу, который в эту минуту тихо приподнял портьеру и просунул в кабинет свою лысую голову с выразительно суровым лицом.

— Ну, что там такое?— нетерпеливо спросил Костров.

Писарь переступил порог, тихо опустил портьеру и, бесшумно ступая в мягких валенках по ковру, подошел к столу. Здесь он остановился как бы в нерешительности, глядя то на заседателя, то на меня...

— Пришел...— сказал он.

— Кто пришел? Да говорите вы, черт вас возьми, по-человечески!

Лысый писец как-то съежился, но после нетерпеливого начальственного окрика сказал почти шепотом:

— Бурмакин-с...

Заседатель как будто удивился.

— Уже? — сказал он. — А... да, да... Ну, хорошо, хорошо...

Он отодвинул свой стул и с любезною, несколько сконфуженною торопливостью повернулся ко мне.

— Да-с... так мне очень приятно... как же, как же: слышал от Кронида Ивановича... Очень, оч-чень сожалею, что обязанности службы лишают меня в некотором роде удовольствия... В противном случае, поверьте... счел бы за честь... Карпов, выдашь вот им бумагу... Счастливого пути... В Россию! На милую родину... Завидую...

Он вышел из-за стола и, задержав мою руку в своей, продолжал:

— Может быть, по приезде в Россию или... еще лучше в Иркутск... вы вспомните о том, что я говорил. Очень, оч-чень жаль, что важные дела мешают мне в настоящую минуту дать некоторые материалы... Но, впрочем, под пером талантливого человека и то, что вы видели и слышали... Всего, всего хорошего...

Он говорил любезно, но в голосе слышалась сильная озабоченность... Было видно, что преждевременное появление того человека, о котором говорил писарь, спутывало какие-то планы господина Кострова...

V

В канцелярии, куда я вошел, было новое лицо и, пожалуй, новое настроение. У одного из столов стоял высокий человек, в приискательском кафтане из верблюжьей шерсти, с узорно расшитыми полами. Кафтан был перетянут красным кушаком, концы которого были старательно расправлены и кинуты бахромой на боку. Одна пола была приподнята и заправлена за пояс, открывая широкие плисовые шаровары, вдетые в голенища высоких сапог. В руках он держал дорогую соболью шапку, из-за голенища торчала чеканная ручка нагайки. Все в этой фигуре отзывалось рассчитанным приискательским щегольством, а красивое смуглое лицо, с неприятно полными и красными губами, дышало уверенностью и самодовольством. По-видимому, то, что он успел сказать здесь, в канцелярии, до моего прихода, доставило всему штату много развлечения и удовольствия. Писаря бросили писать, все улыбались, на всех лицах виднелось оживление.

Когда я вошел, новый пришелец двинулся навстречу и обменялся взглядом с шедшим за мною Карповым. Тот утвердительно кивнул головой, и Бурмакин уверенно направился к двери...

Этого человека я уже встречал...

Это было несколько дней назад, на дороге между двумя станками. Был серый, неприятный день, с холодным пасмурным небом и пронизывающим ветром, наметавшим кое-где сугробы сухого снега и свистевшим в обнаженных придорожных кустах и деревьях. Мы ехали с раннего утра и уже устали от холода, пустынного ветра и пестрого мелькания снежных пятен и обнаженных скал.

В одном месте нас обогнали широкие пошевни, запряженные парой лошадей с колокольчиком. Они вынырнули на дорогу с проселка, в конце которого виднелись верхушки крыш небольшого поселения, расположенного у самой реки. Ямщик был сильно пьян и гнал лошадей без толку, то нахлестывая их кнутом, то задергивая вожжами. Сани мотались по ухабам как будто тоже пьяные, а в них беспорядочно барахтались две фигуры. Один из седоков, молодой парень, откинув голову назад, тянул водку прямо из горлышка бутылки... Его кидало на ухабах, водка лилась мимо, и он глупо смеялся пьяным смехом. Другой, полулежа в широких пошевнях без всякой подстилки, то поощрял своего спутника, то толкал его под локоть; мне он показался значительно трезвее. В одном месте сани вдруг наклонились, и оба седока выкатились на дорогу.

Пока младший старался подняться, тыкаясь красными руками в холодный снег, другой встал на ноги и не совсем твердой походкой направился к нам.

— Здравствуйте, господа! Издалеча ли бог несет?..— спросил он, внимательно оглядывая нас.

Мы ответили.

— А я — Бурмакин!..— сказал он гордо.

Это имя было нам знакомо. Бурмакин был очень известный в тех местах глава спиртоносов, ежегодно снаряжавших в тайгу целую экспедицию хищников золота, устраивавших в глухих притонах свои становища и скупавших у приисковых рабочих подъемное золото за деньги или за спирт. Промысел чрезвычайно опасный, требующий большой выносливости, решительности и сноровки, но и очень прибыльный. И каждый год в то время, когда большинство местных поселенцев,

а иногда и крестьян, шло наниматься на прииски — меньшинство, состоявшее из наиболее отчаянных удальцов, отправлялось к Бурмакину. Он выбирал из них самых подходящих и «давал задатки», как глава какой-нибудь известной фирмы...

Я с интересом взглянул на эту знаменитость, стоявшую перед нами на дороге. Бурмакин был в широкой дохе, распахнувшиеся полы которой трепал ветер. Лицо его было неприятно красное, набухшее, как бы от продолжительного пьянства, но в глазах виднелась решительность и сила.

— Выпейте с Бурмакиным, ребята!— сказал он таким тоном, как будто был уверен, что мы сочтем это приглашение за великую честь. И, засунув руку в карман ватного кафтана, надетого под дохой, он вытащил оттуда непочатую бутылку...

Мы отказались...

— Ну и черт с вами,— сказал он грубо.— Наплевать! Видно, не знаете, кто вас угощает... Эй, Сенька, дьявол!.. Вставай! Обночлежился, что ли, тут в снегу?..

Он подошел к саням, у которых все еще барахтался пьяный товарищ, и, подняв его, бросил в пошевни, точно мешок с мукой. Я слышал, как голова Сеньки стукнулась об обочину саней... Бурмакин опять выругался, но вдруг повернулся еще раз к нам и сделал несколько шагов.

Я приготовился к какой-нибудь неприятной сцене. «Знаменитый Бурмакин» показался мне просто пьяным нахалом, вроде загулявшего бахвала фабричного. Но, взглянув на его лицо, я увидел, что теперь оно изменилось: черные глаза глядели серьезно и как будто печально.

— Извините, господа,— сказал он.— Выпивши я немного. Сколько время с этим народом каталажусь... Вы вот из Якутска едете... что-нибудь про моих «ребят» слыхали?

Мы слыхали, что в якутской тюрьме сидело еще с прошлого года человек пятнадцать спиртоносов и в том числе правая рука Бурмакина, черкес Измаил Юнусов. Говорили, что Бурмакин сыпал деньгами, чтобы выручить товарищей, но «выгодное» для начальства дело затягивалось. «Бурмакинские ребята» уже около года томились в якутской тюрьме — правда, благодаря бурмакинским деньгам им было довольно весело.

Мы рассказали Бурмакину, что знали о положении его товарищей. Он выслушал внимательно и серьезно и сказал:

— Ну, спасибо вам, господа... Э-эх! На всех бы наплевать — Измаила жалко... Поверите, братцы, за этого человека сейчас праву руку долой! Брат — даром что нехристь!..

В его словах мне послышалось искреннее чувство и печаль. Но тотчас же этот проблеск исчез, как слабый луч в холодных облаках, и на лице Бурмакина опять появилось выражение бахвальства.

— Ну, да ничего! Выручу!.. Бурмакин, да чтоб не выручил... Слыхали, чай, про меня! Кто по здешнему месту первый человек?.. Бурмакин! Вот где у Бурмакина все...

Он поднял кверху сжатый кулак и вдруг вернулся опять к прежнему:

— Наливки хотите? Может, хересу?.. У меня тут все есть... Ну, не хотите, как хотите... честь предложена... Эй ты, ямщик... желторотой... Чего стоишь... Пошел!

Сани уже тронулись, когда он грузно ввалился в них, рискуя задавить пьяного Сеньку, и вся группа бестолковым темным пятном опять понеслась вперед, вихляясь из стороны в сторону... Над широкой спинкой саней мелькали руки, спины, собольи шапки. Бурмакин с Сенькой возились, как два медведя, отымая друг у друга бутылку с водкой, которая весело мелькала на солнце... Неровно звенел колокольчик, и к нам доносились нелепые обрывки циничной приисковой песни.

Наш ямщик, молодой станочник, выросший по соседству с нелепой роскошью приисков, провожал удаляющуюся компанию завистливым взглядом.

— Фартовый народ! — сказал он, когда она исчезла за поворотом дороги.— Сани, что есть, и то пьяные — качаются.

И он принялся подробно рассказывать нам о Бурмакине, об его удальстве и удаче.

По его словам, Бурмакин снаряжает и на этот год в тайгу небывалую еще экспедицию, в несколько десятков самых отчаянных головорезов поселенцев и сорок вьючных оленей. Ямщик говорил, где именно собираются по частям отряды и где будет переправа...

Мне запомнился навсегда простодушно-эпический тон этого рассказа и наивно-бесстрастное выражение синих глаз сибирского юноши. В тоне не было слышно



ни одной ноты осуждения или хоть иронии, добрые глаза глядели ровно и с тем бесстрастным доброжелательством, с каким они смотрели на облака, на снежную дорогу, на сопки... Если бы развернуть это выражение в членораздельные звуки и связную речь, то оно значило бы, вероятно: есть на свете облака и солнце, и снег, и дорога, и камни. И есть маленькие холмики и огромные горы... И есть жалкие станочники и могущественные Бурмакины... И все это от века и навсегда...

— Теперь, не иначе, к заседателю поедет...— прибавил он с таким выражением, как будто это тоже написано в предвечных законах этого холодного, каменистого мира...

Молодой ямщик не ошибся. Бурмакин действительно появился в резиденции. Владыка тайги перед экспедицией вступал, по-видимому, в какие-то дипломатические переговоры с владыкой «сибирской Швейцарии»...

VI

Выйдя из канцелярии, я направился по улицам слободки к месту своего ночлега. В слободку, звеня колокольцами, въезжала почта на восьми тройках.

У черной въезжей стояла оседланная лошадь. Из ворот вышел Замятин и, остановив последнюю тройку, о чем-то пошептался с почталионом и сунул ему письмо. Когда почта проехала, он направился к своей лошади и встретился со мною. Сначала он отвернул свое выразительное лицо, как будто ему была неприятна встреча с свидетелем его недавнего унижения. Но затем посмотрел мне прямо в лицо своим тяжеловатым взглядом и улыбнулся. Его толстые несимметричные губы растянулись вкось самым удивительным образом. Вышла не улыбка, а какая-то зловещая гримаса.

— Ни-че-го!— сказал он фамильярно, как старому знакомому, кивнув мне головой.— Видали и не этаких коркодилов... Еще посмотрим!

Он довольно грузно взобрался на лошадь, оправил доху, уселся плотнее в высоком якутском седле и тронулся с места. Отдохнувший конек заиграл и быстро повернул в том направлении, откуда мы вчера приехали. Но Замятин хлестнул его нагайкой и повернул в противоположную сторону. Он лукаво кивнул мне

с таким видом, точно мы были два заговорщика, связанные какою-то общею тайной, и поехал вдоль улицы. Сначала тихо, потом шибче, а затем, доехав до конца улицы, к выезду из слободы,— вдруг нахлестал лошадь и пустился в карьер. Полы его дохи развевались, по бокам седла метались переметы, и мелкий снег тучей несся за копытами коня...

Сначала я ничего не понял ни в этой мимике, ни в сумасшедшей скачке Замятина, но затем сообразил: он нарушил строгое приказание заседателя и ехал совсем не в Шушминскую волость, где его ждало унизительное заключение в каталажке... При этом он увозил с собой дипломатические тайны вражеского стана...

Почта была на этот раз экстренно велика, и нам пришлось поневоле остаться в резиденции до позднего вечера.

Днем мы спали, а перед вечером я отправился пройтись по слободке. Начинало темнеть. Сумерки наваливались на бревенчатые избы, нахлобученные шапками снега, на резиденцию, на темные массы гор. В слободке зажигались огни... В одной избе стоял шум, слышались визгливые звуки гармоники, нестройный галдеж и песни...

Так как люди входили и выходили оттуда совершенно свободно, то вошел и я, привлеченный любопытством.

Никто не обратил на меня внимания в избе, тесно набитой народом. Воздух был пропитан запахом махорки, вина, овчины и оленьих мехов. За столом сидело несколько человек. Перед ними стояли початые бутылки и стаканы. На грязных тарелках лежали горой куски вареного мяса и рыбы. Какой-то парень томился, положив на руки кудрявую белокурую голову и пачкая рукава нового азяма в пролитом вине и застывшем сале. Двое других, обнявшись за шеи, качались из стороны в сторону и тянули дикими голосами приисковую песню, сбиваясь и не обращая внимания друг на друга... Невдалеке от них совершенно трезвый сибиряк играл на гармони и зорким, хищным взглядом искоса следил за певцами. Это не мешало ему добросовестно перебирать лады гармонии, резавшей ухо визгливой частушкой. Посередине просторной избы, среди тесной кучи зрителей, шел пляс. Танцующих не было видно, слышалось только ухание и частый тяжелый топот... По временам снаружи в избу входил кто-нибудь из местных жителей

и, протискавшись к столу, без церемонии наливал себе стакан водки...

— Пейте, челдоньё, лакайте, дьяволы, не жалей, собаки, чужого добра!..— выкрикивал один из певцов высоким тенором.

— Знай бурмакинску команду!— вторил могучим басом другой, и они опять принимались петь.

Вдруг сибиряк, игравший на гармонии, насторожился, и в его глазах мелькнула злая тревога. В соседней комнате, за запертой дверью, послышался шум. Музыкант поднялся и, не переставая играть, стал протискиваться через толпу. Когда он раздвинул ее, я увидел в центре зрителей пьяного танцора. Глаза его были бессмысленно выпучены, и он автоматически топал ногами с таким ожесточением, как будто навсегда потерял способность к движениям другого рода. Вокруг него «ходила» молодая девушка, почти ребенок, с налитым, красным лицом, выделывая нескромные колена безобразной пляски, которые зрители встречали поощрительным хохотом.

Вдруг гармония стихла. Музыкант, протолкавшись к запертой двери, рванул ее и раскрыл настежь... За ней мелькнуло возбужденное и пьяное лицо того самого Сеньки, которого я встретил на дороге с Бурмакиным. Против него стояла в воинственной позе старая женщина.

— Ты кого мне привела... Нет, ты кого привела!— кричал Сенька нелепым пьяным голосом.— Думаешь, пьян... не замечу... Я тебе приказывал: доставь Малашу, никаких денег не пожалею. А ты мне свою лахудру подсудобила... Это есть ам-ман!

— Молчи, подлец, молчи, каторжна душа!— визгливо отвечала женщина, видимо тоже пьяная.— Чем тебе наши девки плохи?.. Могешь ты моих дочек срамить?.. Жиган ничтожный, тля тюремная!..

— Ма-ма... Мама...— слезливо говорила молоденькая девушка и тянулась к матери.

— Не трог, Афрося, молчи, а ты... Я вот ему своим рукам...

Пляс приостановился. Толпа хлынула к открытым дверям, закрыв от моих глаз происходившую за ними сцену.

— Братцы, бурмакинские! Ам-ман... Аманывают наших,— кричал Сенька так отчаянно, точно его резали темною ночью на большой дороге. Певцы кинулись

к нему. Молодой человек с кудрявой головой, томившийся за столом, вдруг вскочил, посмотрел вокруг осоловевшими, почти безумными глазами и толкнул стол, отчего бутылки и стаканы со звоном полетели на пол... Все перемешалось и зашумело...

С отуманенной головой, не отдавая и не желая отдавать себе полного отчета во всем происходящем, я выбрался из этого ада и вышел опять на улицу слободки.

Начинало темнеть, надвигалась туча. На слободку сыпался снежок, еще редкий, но уже закрывавший неясной пеленой далекие горы другого берега. Невдалеке на небольшой возвышенности виднелись каменные здания резиденции, белые и чистенькие. В них уже спокойно светились большие окна. Огоньки фонарей вспыхивали один за другим вдоль улицы, чистенькие, холодные и веселые.

За мной, в только что оставленной избе, стоял неясный шум, топот и крики. И мне казалось, что из этого содома доносится еще полудетский испуганный крик:

— Мама... ма-ама...

VII

Снег шел неустанно и ровно всю ночь, и наутро мы выехали по пушистой, еще не укатанной дороге, на которой лежало лишь несколько глубоких свежих отпечатков полозьев и конских копыт...

У околицы, оглянувшись назад, я увидел только белые крыши резиденции, резко выступавшие на фоне густого и холодного сибирского мо́рока, состоявшего из синего тумана и едва угадываемых очертаний горных громад.

Потом и крыши исчезли...

Начинался опять долгий и утомительный путь с бесконечными днями и неудобными ночлегами. Но мне уже хотелось окунуться в его тяжелое, бесстрастное однообразие, чтобы покрыть слишком яркие впечатления вчерашнего дня...

Первый за резиденцией станок был хотя не в «яме», но тоже представлял временное помещение, наполовину бревенчатую избу, наполовину землянку. Ямщики встретили нас с угрюмою враждебностью, пока не разъяснилось, что мы совсем не приискатели, а люди, едущие издалека и далеко. Тогда отношение резко измени-

лось, и ямщики вступили с нами в откровенные, почти задушевные разговоры. Эти люди не имели уже ничего общего ни с резиденцией, ни с приисками и глубоко их ненавидели... Они жаловались на то, что их замучили постоянной ездой, нарочными, гоньбой этапов, отправлявших то и дело с приисков провинившихся или заболевших рабочих... Вот вчера, с вечера, проскакал, как сумасшедший, шушминский писарь, а сегодня, опять как сумасшедший, за ним промчался на паре гонец от заседателя... Гонец-казак ругается и говорит, что ему приказано «по касающему делу» непременно догнать писаря и воротить его под конвоем (из тех же ямщиков). Но писарь вчера тоже кричал, что едет по «касающему делу». Он требовал, именем исправника, лучших лошадей, грозя, что из-за него все они «изноют в тюрьме, как ничтожная тля»... А они уже выбились из сил и не знают, кто и по какому праву может с них «требовать» и кто не может...

— Эх, золото, золото!— сказал один из них, с горечью качая головой.— Кому золото, а нам слезы кипучие...

Через два дня трудного пути мы уже забыли о резиденции. Ее «господская въезжая», ковры, цветы и зеркала, ее фонари, большие освещенные окна и музыка, будуар-канцелярия заседателя, управляющего «целым государством»,— все это утонуло, затянутое однообразием новых впечатлений, как тонет дальний островок в туманном океане...

Опять только каменные горы, леса и река, по которой все так же лениво продвигаются белые пятна замедлившегося от снежных оттепелей ледохода...

Путь становился еще труднее. В одном месте река делает частые и крутые повороты в скалистых берегах. Кое-где эти скалы вступают прямо в воду. Жители называют их щеками. Летом под утесами есть все-таки узкая каменистая дорожка берегом. Весной и осенью приходится то подниматься на крутые вершины, то спускаться вниз.

Невидимое солнце начинало склоняться за туманными облаками, когда мы поднялись на первую гору. От лошадей валил пар. Люди холодными рукавами отирали крупные капли пота на раскрасневшихся лицах. Пока они отдыхали, я отошел в сторону и, остановившись на краю утеса, залюбовался суровым видом.

Река здесь делала излучину. Она лежала так глубоко, что белые пятна ледохода, казалось, стоят без движения на свинцово-синей полосе стрежня. Шел редкий снег. Все казалось задумчивым, угрюмым и необычайно пустынным...

— Гляди-ка, гляди, ребята! — вскрикнул вдруг молодой ямщик, подошедший к обрыву вслед за мною.— Ведь это бурмакинский караван!

Ямщики оставили уставших лошадей и кинулись к нам, с любопытством глядя вниз на далекую реку.

Сначала я не видел никакого каравана... Река, утесы, тихое, незаметное движение ледохода, сетка снега, великое безмолвие пустыни... Но ямщики читали в этом угрюмом пейзаже, как в открытой книге.

Благодаря их отрывистым пояснениям я тоже начал понемногу разбираться.

Большой мыс, белый от снега, вдавался с той стороны в темную полосу реки. На этом мысу чернели какие-то пятнышки, которые я сначала принял за разбросанные по берегу камни. Но теперь было заметно, что они шевелятся... На середине реки тоже осторожно пробирались между льдинами какие-то темные щепки. Это были два плота или парома. Зоркие глаза ямщиков различали людей и оленей.

Это Бурмакин, пользуясь последними днями перед полным ледоходом, переправлял свою экспедицию. Голова каравана была уже на той стороне и тянулась к горам, точно вереница черных мурашей по белой скатерти...

— Хитрый, варнак! — ухмыльнулся один из ямщиков.— Переправится теперь, а, глядишь, завтра-послезавтра лед пойдет ходом...

— Да еще станут заторы... Тут в трубе этой чего только будет... Гром пойдет.

— На неделю, а то и больше река-матушка ходу не даст...

— Лови его тогда... Хоть сам исправник...

Мы долго следили за опасной переправой. Она казалась отсюда, издали и сквозь сетку снега, какой-то далекой сказкой... Потом снег повалил гуще. Сквозь белую пелену помаячила еще река с белыми пятнами, мысок на том берегу... Каравана уже нельзя было разглядеть... Мы тронулись дальше...

На другую гору подниматься пришлось уже в сумерки... Это была почти отвесная скала, по уступам ко-

торой, как будто смелыми прыжками, взбиралась к вершине густая тайга. Мы шли кверху, опираясь на шесты, то и дело скользя и падая, а за нами отчаянно бились колокольцы поднимавшихся троек... Порой все стихало, и снизу доносилось только судорожное дыхание лошадей, отдыхавших на круче, пока ямщики сзади держали сани воткнутыми в снег шестами... Вершины деревьев, стоявших внизу, теперь виднелись далеко под нами. Откуда-то сбоку, от темной реки, слышался глухой далекий шум, всплески и сухой треск льдин, разбивавшихся о каменные бока утеса... Лошади опять отчаянно трогали вперед, срывались, храпели, в смертельном ужасе бились на месте... Ямщики на остановках крестились все вместе и произносили какие-то молитвы. Слова мне были незнакомы. По-видимому, своим происхождением они были обязаны ужасу этого места и этих опасных подъемов.

На вершине сделали продолжительную остановку. Было тихо. Звякали колокольцы, отфыркивались, мотая головами, смертельно усталые лошади. По верхушкам тайги шел тихий говор.

Ямщики вспоминали случаи, когда тройки срывались на крутых спусках и, несмотря на тормоза, без удержу мчались вниз, порой увлекая за собой и людей. Много ямщиков сложили здесь свои головы. Один раз лошади все убились, погиб и ямщик, а сани повисли на верхушке дерева. И никто не мог объяснить, как они туда попали...

А бывало и так: вдруг послышатся колокольцы, так что гром идет по ущельям.

Катят с горы тройки, как по ровному месту, гогот... звон... свист... Ямщики со станка выбегут навстречу, чают так, что губернатор... И нет никого... Звон, да крики, да свист пролетят с ветром мимо, только снег пылит... А никого, что есть — ни лошадей, ни человека,— не видно...

— Охо-хо-о... Владычице небесная, Никола милостивой...— закончил рассказчик.— Есть ли, господа рассейские, еще где такая сторона на белом свете... Ну, ин, видно, трогать... Спуск, помни, еще труднее, а ночьте темная.

И опять судорожно забились под дугами колокольчики, лошади всхрапывали, осаживаемые удилами... Среди темноты чувствовалось напряжение и опасность...

У конца трудного спуска произошла неожиданная остановка. По сторонам дорожки замелькали какие-то фигуры с винтовками за плечами, по-видимому, казаки. Ямщики едва удержали переднюю тройку. Задние лошади чуть не попали ногами в передние сани... храпели, бились, часто и тревожно звенели колокольцы и бубенчики...

— Стой!.. Стой!..— кричали казаки.

Но передняя тройка уже рванулась вперед, за ней задняя. Ямщики ругались... Опасная работа спуска не позволяла неуказанной остановки, и казаки сами поняли это. Они дали ямщикам проехать и даже не задержали нас, только заглянув в лица...

Внизу, когда дорога выровнялась, один из ямщиков тихо сказал другому:

— Гляди, не пофартит Бурмакину.

— Да, будет склёка,— ответил тот, набивая трубку.— Исправник тоже парень фáртовый... коса на камень.

— Нам-то што,— философски перебил третий.— Наше вот дело — знай трогай... Слава-те господи, живы остались... Садитесь, господа! Теперь ровно!

На станке, до которого нам пришлось проехать еще около пяти верст, мы увидели в разных местах оседланных лошадей, привязанных к коновязям. В широких сенях станции, с лавками по стенам и камином, сидело несколько сибирских казаков. Вид у них был мало воинственный; одеты они были в разнообразные меховые костюмы, с оленьими малахаями на головах, и в унты — местную якутскую обувь, за которую этих казаков зовут насмешливо «унтовым войском». Шашки были не у всех, только за плечами висели винтовки, а у пояса в ножнах небольшие ножи... Лица были большею частью молодые и очень добродушные.

В станционной комнате за столом сидел исправник, тот самый, о котором с таким презрением говорил Степан Осипович. Это был человек коренастый, приземистый, с очень густою растительностью на голове, но лишь с небольшими усами и бородкой. Вся фигура его напоминала среднего роста медведя, а манера держать голову на короткой шее и взгляд маленьких, но очень живых глаз еще усиливали это сходство. На нем была старая форменная тужурка, подбитая мехом, а на ногах большие теплые валенки.

Вообще в наружности предводителя было так же мало военного щегольства и удали, как и в унтовом войске. Зато в каждом его движении чувствовалось, что это человек, выросший среди этой суровой природы и ее людей...

Он велел позвать к себе наших ямщиков и быстро, глухим голосом, задал им несколько вопросов. Ямщики отвечали коротко и неохотно, но исправник и не требовал большего. Он понимал их положение среди воюющих сторон... Обменявшись с ними несколькими короткими фразами, он вдруг поднялся и отдал казачьему уряднику приказ садиться на лошадей и стал одеваться. В теплой шубе и дохе, которую казак повязал поясом и шарфом, он стал еще более похож на медведя и, переваливаясь в тяжелых валенках, вышел на крыльцо, у которого его уже ждали сани... Через четверть часа весь отряд в беспорядке выехал из станка и потянулся по дороге, которая, змеясь под светом выглянувшей луны, ползла к темневшим за равниною скалам.

На станке о предстоящих событиях говорили мало. Все понимали, что где-то там, в глубине этой ночи, должны столкнуться разные силы и, значит, готовятся происшествия, от которых кому-нибудь может «пофартить», а кому-нибудь прийтись очень плохо. Но до станка это не касалось... Это был гром где-то в далеких тучах, перебрасывающихся зарницами в недосягаемой вышине. Станок притаился внизу и ждал последствий.

Только станционный писарь, человек доступный высшим взглядам, сообщил нам, что генерал-губернатор действительно сменился, что с тем вместе менялись все местные отношения, и теперь Степану Осиповичу несдобровать.

— А господин какой... образованный,— прибавил он с почтением.— Ну, только неуживчив. Сам о себе слишком высоко понимал. Вот и нарвался... Умен, умен, а не все, видно, понимает.

Он прибавил, что, по его мнению, шушминский писаришка Замятин — большой дурак. Кто бы кого ни победил в этой войне — ему все равно придется плохо.

— Известно: доказчику первый кнут.

Это было единственное определенное мнение, какое мне пришлось услышать на станке по поводу знаменательных событий, готовившихся «во владениях» гостеприимного Степана Осиповича Кострова...

. . . .

Уже в Иркутске я узнал, что Бурмакин был настигнут в тайге, потерпел полное поражение и большая часть его отряда арестована. Решительная ставка смелого авантюриста была бита. Степану Осиповичу предстояла отставка. Вместо него уже намечен человек, представленный исправником.

Кто при этих новых порядках занял впоследствии «должность» Бурмакина — мне неизвестно, так как я все дальше уезжал из этих мест по направлению к России...

1904

В КРЫМУ

I

ЕМЕЛЬЯН

В начале девяностых годов я прожил месяца два в Крыму.

Поселился я в маленьком имении Карабахе. Небольшой домик стоит невысоко на мысу, омываемом морем. На востоке плавной излучиной берег уходит к туманным скалам Судака. На запад — вид Ялты закрыт Аюдагом, с его крутыми обрывами, на которых, по преданию, стоял храм, где была жрицей Ифигения. Отсюда некогда предусмотрительные аборигены кидали в море пришельцев, загнанных к ним бурей или иными случайностями, и еще теперь временами после сильной зыби волны выкидывают на берег куски мраморных колонн. Одна такая глыба, древняя капитель, сильно сглаженная прибоями и почти потерявшая форму, лежит на крылечке скромного карабахского дома...

Кругом усадьбы, по уступам гор зеленеют сады и виноградники. Снизу, даже в тихую погоду, доносится протяжный плеск и вздохи моря...

На склоне ясного дня чудесной крымской осени я бродил с одним из молодых хозяев по тропам, от сада к саду и от виноградника к винограднику. Было тихо и пусто, гроздья винограда рдели под ласковыми косыми лучами, и отовсюду была видна синяя громада моря, по которому, без ветра, тихо вставали и падали белые гребни.

Мы говорили о впечатлении, которое Крым производит на меня, приезжего человека... Основным его фоном было ощущение какой-то загадочной тоски, которая, как назойливая муха, преследовала меня среди всей этой захватывающей, ласкающей и манящей красоты и все жужжала мне в ухо что-то навязчивое и непонятное.

Мне казалось, что это было ощущение безлюдья. Даже в Ялте и даже в разгаре сезона вы чувствуете именно отсутствие человека. Народу, правда, много, но все это народ чужой этой стране и этой природе, не связанный с ними ничем органическим. Просмотрите картины русских художников, посвященные Крыму: волна, песок, мглистое, затуманенное или сверкающее море, Аюдаг, утопающий в золотисто-лиловых отсветах, Ай-Петри, угрюмо выступающий над туманами... А если к этому прибавлены где-нибудь человеческие фигуры — то это только дамское платье и зонтик над грядами волн или пара туалетов — мужской и дамский, подобранные в гармонии с основными тонами моря.

А местная жизнь? Татары?.. Их мы не видим и не понимаем. Кроме того, это было в разгар эпидемии татарского выселения из Крыма. В то самое время, когда мы вели этот разговор, в легкой мгле виднелся на море далекий парус. Какое-то судно держалось уже несколько часов в виду берега, и мой спутник высказывал предположение, что это турецкая фелюга из Анатолии. Быть может, в эту самую минуту на дальний парус из горных ущелий смотрели жадными глазами группы крымских татар, недовольных своей чудной родиной и готовых пуститься на опасные поиски новой родины и нового счастья... Безлунною ночью фелюга пристанет к условленному месту, где-нибудь под прикрытием скал, а рассвет встретит ее далеко в обманчивом море... Говорили, что хищные анатолийские шкипера вывозили таким образом целые партии людей, грабили их в открытом море и кидали за борт. А потом возвращались за новыми искателями счастья...

Незадолго перед тем большой веселой компанией мы отправились в экскурсию на вершину Чатырдага. Вершина эта, красивым маленьким шатром рисующаяся снизу, в действительности представляет настоящую каменную область, с дикими оскалинами, с лесами, хаосами камней и горными пастбищами. В ней есть две пещеры, уходящие на сотни сажен в глубину горы. Одна

из них носит название «Бим-баш-коба», что значит: «Пещера тысячи голов». Наклонясь под очень низким сводом, с пучками свеч в руках, мы пробрались в ее глубину. Свечи плохо разгоняли густой, почти осязаемый мрак этого подземелья. Вверху он висел непроницаемый и тяжелый, а внизу на каменном полу светилась перед нами фосфорической белизной груда человеческих черепов, в которых зияли черные впадины глаз. Говорят, в последние годы их осталось уже немного: человеческое любопытство не останавливается ни перед чем, и скоро беспечные туристы окончательно растащат эту печальную достопримечательность Чатырдага. Но в это время их было еще поразительно много... После яркого дня, после сверкающих переливов безграничного моря, после беспечных разговоров и смеха — это обилие молчаливой смерти в тёмном подземелье захватывало мрачным трагизмом тайны... Сколько их было и какой предсмертный ужас пережили эти люди, загнанные сюда неведомой грозой неведомой, темной старины?..

— Татар это!— с угрюмой уверенностью сказал кто-то за нами. Повернувшись в сторону говорившего, мы увидели загорелого, почти обугленного солнцем татарина пастуха. Он пас овец по соседству с пещерой и пробрался за нами.

— Нет, так это он... болтает,— сдержанно сказал один из проводников, но пастух посмотрел на него черными глазами, в которых сквозило что-то вроде спокойного презрения, и повторил:

— Татар это, татар... Урус пещера гонял... Ашай нету, вода нету... Все кончал...

— И давно это было?— спросил один из нашей компании, в надежде услышать народное предание, связанное с этой неведомой трагедией...

В глубоких глазах татарина, казалось, мелькнуло что-то, как смутная тень. Он постоял молча, уставившись на груду костей... Но затем лицо его вдруг сделалось апатичным.

— Э!— сказал он коротко, махнув с пренебрежением рукой, и отвернулся. Через несколько секунд высокая фигура в бараньем тулупе утонула в густом сумраке пещеры...

В этом коротком восклицании и в пренебрежительно-печальном жесте было что-то особенное, смутно выразительное, запавшее мне в память... Какая-то скрытая горечь непоправимой обиды, беспредметная и бес-

помощная жалоба нам, потомкам тех урусов, на жестокость наших предков, а может быть, и пренебрежение фаталиста и к нам, и к самой судьбе, которая сумела так ужасно распорядиться с этими безвестно погибшими людьми.

Когда мы вышли из пещеры и проезжали горной лужайкой, на которой овцы щипали сухую серую траву, этот пастух сидел на камне, сшивая куски овчины, и пел горловым голосом какую-то дикую, маловнятную песню... Наверное, это была песня о «тысяче голов», а в мотиве мне слышалась опять презрительная, безнадежная и унылая покорность...

Впоследствии, когда я спросил об этой коллекции пещерных черепов у знатока Крыма, профессора Головинского, он засмеялся и ответил:

— Если бы вы спросили у генуэзца сто лет спустя после татарского нашествия, то он, вероятно, сказал бы вам, что это черепа генуэзцев, которые спасались от татар. А еще ранее греки могли бы пожаловаться на генуэзцев или Митридатовы понтийцы на греков...

Не из этой ли пещеры, думалось мне, увязалась за мной та особенная крымская тоска, которая преследовала меня среди этих чудесных ущелий и виноградников, жужжа о чем-то загадочно-печальном и непонятном... Чудесный южный берег, находящийся ныне в счастливом обладании курсовиков, проводников, дачевладельцев и туристов,— представлялся мне чем-то вроде отмели, через которую, на расстоянии столетий, как волны перекатываются чередой людские поколения — тавры, скифы, греки, генуэзцы, татары, русские — в поисках счастья...

Здесь, под этим солнцем, вблизи этого моря, оно как будто ближе, чем где бы то ни было... Ласкает, обещает, манит... И волны перекатываются одна за другой, одна, прогоняя другую...

А счастье?..

Среди этого разговора о крымских впечатлениях и о пещере «тысячи голов» — мы шли узкой дорожкой меж двух виноградников.

— А вот, постойте,— сказал мне мой спутник,— я вам покажу, кстати, одного местного жителя... Эй, дед Емельян!

Никто не отозвался. Он открыл деревянную калитку, вделанную в ограду из дикого камня, и мы вошли в виноградник.

Навстречу нам раздался хриплый лай собаки... Собака, видимо, была очень старая. Она даже не лаяла, а как-то взвизгивала и хрипела, поднимая голову кверху и затрудняясь встать на ноги. Лежала она у плохонького сарая, кое-как сооруженного из камней, старых кривых бревен и ветвей и прикрытого сухими лозами. Дверь сарая была открыта, и в нее зияла густая прохладная тьма, какая бывает в знойные дни в помещениях с толстыми стенами и без окон... Кругом рядами расстилался виноградник с созревающими гроздями...

По-видимому, кроме собаки, здесь никого не было, по крайней мере никто не отозвался на оклик моего спутника. Однако когда мы подошли к широким дверям или, вернее, к входному отверстию сарая, то заметили, что там было живое существо: в темном углу робко притаилась молодая татарка.

Около нее стоял горшок, завязанный белым платком, несколько баклажан и несколько кочней кукурузы. По-видимому, девушка принесла деду ужин. В сарае было неприветливо и пусто. Пахло сыростью и дымом от холодного очага, сложенного из диких камней. На двух досках, служивших, очевидно, лежанкой, был кинут пучок соломы и какое-то тряпье в изголовье.

— А, это ты, Биби!— приветливо сказал мой спутник, разглядев в полутьме свою соседку из Биюк-Ламбата.— А где же дед?

— По воду пошла,— ответила девушка, все еще недоверчиво сверкая глазами в мою сторону. И потом, как будто успокоившись, прибавила, смеясь:— Долго ходит: один час ходит, один ведро несет...

Собака опять залаяла как-то особенно, с перерывами и хрипом, повернув голову к тропинке, горбом спускавшейся книзу. Над ее обрезом показалась голова и плечи старого человека, который тихо поднимался в гору. Голова у него была красивая, круглая, густые кудрявые волосы были не седые, а какие-то серые, и завитки кудрей были точно присыпаны пылью. Тот же оттенок какой-то тусклости лежал на сильно загорелом лице, на толстых бровях, даже на зрачках глаз, глядевших прямо, ровно и безучастно. Плечи были широкие, сложение очень крепкое. Но во всех движениях сквозило что-то

особенное. Не усталость, не болезненное старческое одряхление, а какая-то равнодушная медлительность. Казалось, этому человеку было совершенно безразлично, какое именно место в природе занимать в данное время. И теперь, поднявшись на ровную дорожку, он поставил ведро и совершенно равнодушно смотрел перед собой: на нас, на сарай, на виноградник, на белую тучу, тихо клубившуюся над обрезом горы, на свою собаку... Старый пес тявкнул ему навстречу с жалобным выражением, как будто спрашивая: «Видишь?» Старик посмотрел в его сторону, как бы отвечая: «Вижу... ну что ж из этого». И вновь поднял ведро.

Казалось опять — ему не было тяжело: ни старческого вздоха, ни кряхтения, ни напряженного усилия. Движения были свободны, только очень медленны. Мне вспомнились часы, завод которых кончается, но колеса все еще отбивают обычные секунды... Он вошел в сарай, поставив ведро у входа, и, подойдя к Биби, взял принесенные ею припасы.

— Здравствуй, дед Емельян,— сказал мой спутник. Мне показалось, что в тоне его чувствуется какая-то неловкость. Как будто подошедший сейчас человек, обративший на нас так мало внимания,— имеет право за что-то сердиться или, по крайней мере, может чувствовать за собою такое право, хотя его основания присутствующим неизвестны.

— Здравствуйте и вы,— ответил дед после некоторого молчания.

— Можно напиться?— спросил молодой человек.

— Вода — вот.

Мы напились холодной воды, и наступило опять неловкое молчание, которое почувствовала, по-видимому, даже Биби. Она стала собирать принесенную ранее посуду и как будто собиралась уходить. Но что-то ее всетаки удерживало. Она стояла в темном месте сарая, но несколько ярких лучей света, прорываясь в щели, испещрили светлыми пятнами ее фигуру, а одна полоса скользнула вкось по ее лицу. Мне было видно в этом лице выражение почти детского любопытства, яркого и непосредственного. Ей было лет семнадцать. Движения ее были эластичны и упруги, в каждом движении чувствовалась сдержанная юная сила, которая может вдруг неожиданно развернуться, как крепкая пружина... Она искоса кидала на деда и на нас пытливые взгляды, и мне казалось, что я понимаю их выражение:

она органически не могла понять этого тусклого старческого равнодушия, и то обстоятельство, что дед «один час ходит» за неполным ведром воды, интересовало ее как явление природы, которое она, быть может, видела много раз, но теперь хотела знать, что думаем об этом мы...

И она следила за каждым шагом старика глазами любопытного молодого зверька, готового юркнуть в свою норку...

Дед по-прежнему не обращал внимания ни на нее, ни на нас. Он сел против входа, на обрубке, в пространстве, освещенном солнцем, и, расставив ноги, повесил голову. Казалось, он будет сидеть так до ночи... Биби опять отметила это быстрым взглядом в направлении моего спутника.

— Что, дед, неможется тебе?— спросил тот.

— Э!

Дед махнул рукой, как будто признавая, что предмет, о котором заговорили, совершенно не стоит внимания.

— Что там!.. Неможется... Э!.. Ничего... Старость пришла, вот и неможется...

— А вам, должно быть, много лет?— спросил я, тоже чувствуя какую-то непонятную неловкость и в то же время стараясь поддержать разговор, готовый утихнуть.

Опять тот же отмахивающийся жест и то же пренебрежительное восклицание...

— Э! Много лет!.. Конечно, много лет. Старого графа хорошо помню... Конечно, лет много...

— Вы не здешний?

— Э-э! Не здешний? Конечно, не здешний. Черниговский.

-- Значит, с Украины.

– Не помню я ничего... Тут вырос.

— А сюда зачем попали?

— Э! Зачем?..

Он как будто усмехнулся. Одеревеневшие черты тронулись странной гримасой, точно от горечи.

— Зачем попал... Э! Когда взяли маленького от отца-матери и отправили у Крым... То и попал.

Он опять замолчал, опустив круглую голову с завитками седых кудрей... Но через некоторое время, точно какие-то колеса опять задвигались в старом механизме,

начал говорить все тем же тоном горького полунасмешливого пренебрежения.

— Набирали тогда... малых деток. Для климату... Потому что видите: лихорадка... Такая лихорадка была... крымськая... Дюже народ валила... Карла Людвигович был, управляющий... И говорит грахву: надо малых брать... Малые попривыкают, то и не будет валить...

— Так вы, значит, и попали сюда?

— А как же? Так и попал... Когда малого взяли и повезли... То и попал... Э!.. Возьмут и повезут, то и попадешь...

Подобие улыбки прошло опять по застывшему лицу — улыбки над моим непониманием простого закона, что если повезут, то и попадешь, или над самым фактом, что его взяли от отца и матери «для климату»...

— Малый был хлопчик... от такой...

Он показал рукой аршина полтора над землей, и улыбка проступила на лице деда яснее. Казалось, ему самому было странно вспомнить, что и он когда-то был маленьким хлопчиком «вот этакого роста». Еще более странным показалось это юной Биби, которая при этом удивительном сообщении вся как-то даже подалась вперед...

— Люди говорили: все плакал я... К матери просился, у Черниговщину... Там, у Черниговщине, место ровное, хорошее... А тут куда ни глянь — гора та море... Да, плакал все. Не с привычки... Э!

Старая голова опять наклонилась, и лучи солнца заиграли на седых кудрях; серебряные нити засветились, точно из-под серой золы...

— А потом?— спросил я, видя, что старик совсем замолк.

Дед как будто удивился моему настойчивому любопытству, но все же ответил:

— Э! Потом!.. Что ж потом... Известно — вырос. До дела приставили.

— И стал дед лучшим садовником у графа,— прибавил К., видимо желая подбодрить ленивого рассказчика лестью. Но дед все так же отмахнулся пренебрежительным жестом и сказал вяло:

— Э!.. Конечно, научился... таки и хорошо научился. Правда. Нарядчик приставит на виноградник... скажет: так и так делайте все. А я сделаю по-своему... Придет Карла Людвигович... Кто так сделал? Это, гово-

рят, Незамутывода Омелько так сделал... самовольно... Хорошо, говорит, пускай же так и мы будем делать поомелькиному. Э!..

— Это вас так звали: Незамутывода?..

— Э! Звали и Незамутывода... А потом стали звать Гайдамакою...

— Это почему?

— Э!

На этот раз его восклицание было особенно выразительно. Дед как будто начинал сердиться на что-то, нестоящее внимания, но назойливо встающее в памяти, под влиянием наших приставаний...

— Назовут, как захочут... Один назовет, а люди за ним... Так и пойдет... То был Незамутывода сроду... Род наш так прозывался в Черниговщине. А потом Карла Людвигович говорит: какой он Незамутывода, когда он разбойство делает... Его у Сибирь надо загнать. Э!.. Загоняй, куда хочешь...

— А все-таки не загнали?..

— Э!.. Хочь бы и загнали... Все одно... Все одно...— повторил он, опуская голову, и пробормотал совсем тихо, начиная дремать:— Все одно... Чи так, чи сяк... все одно...

— Дед не любит рассказывать об этом,— тихо сказал мой спутник,— а кажется, была какая-то история, чуть ли не несчастный роман... Сверстники его перемерли. Осталось только смутное воспоминание. Говорят, если бы граф не дорожил отличным садовником — быть бы Емельяну в Сибири... Ничего,— прибавил он на мой вопросительный взгляд,— дед глуховат, не все слышит.

Но дед услышал слово «Сибирь». Он опять поднял свои красивые серые глаза и сказал с признаками раздражения в голосе:

— Э! У Сибирь!.. А что такое у Сибирь? Не все одно?..

— От такая была,— неожиданно прибавил он, кивнув в сторону Биби, которая при этом как-то испуганно сжалась.— «Умру, говорит, зарежуся, а то со скели кинуся у море»... Э!.. Что там! Не утопилася, пошла себе за другого... Отдали, то и пошла... Когда насильно отдадут — всякая пойдет... И хорошо сделала. Детей вывела, унуки пошли... Один у Орианде в садовниках, другой пошту з Алушты гоняет... А мне в то время Карла Людвигович и говорит: что ты это, Емельян, здурился или как? Разве можно на вас тутошних невест

напасти. Тутошние девки потому што очень дорогие... тут от татар такой обычай узялся — калым за девок платить... А мы для вас, для молодых, своих девок повыписуем с Черниговщины. Этые будут дешевше, потому что свои, крепачки. Только за провоз... От выпишем, говорит, и тебе дружыну, потерпи...

Дед поднялся со своего обрубка и стал у дверей. Спокойный закат осветил его бронзовое лицо и серые кудри. Золотое огромное солнце, точно сверля туманную мглу, опускалось к морю. Зыбь томно шевелилась по всему морскому простору, точно основа гигантского станка со снующими золотыми нитями... Тончайшая золотистая пыль перекрыла ялтинские горы и уступы далекого Ай-Тодора.

Казалось, природа, довольная собственной красотой, светилась мягкою лаской и примиряющим покоем. Но глаза Емельяна были равнодушны и тусклы, как будто он не видел чарующей прелести заката или видел за этой золотистой мглой что-то другое: давно угасшие жизни, важного графа, управляющего Карла Людвиговича, его неисполненное обещание. Помолчав несколько секунд, он повернул ко мне свои выцветшие глаза и сказал с удивительным выражением, переходя к чистому малорусскому языку...

— Э!.. Так и доси выпысуе. Царство небесне. Вже сорок лит у могыли лежить...

И опять пренебрежительно махнул рукой...

Я чувствую, что черными значками на белой бумаге нет возможности передать всю выразительность и силу этого короткого восклицания и этого жеста, освещенных ослепительно-прекрасным священнодействием природы. Этот человек как будто знал что-то об этой обольстительной картине... Что-то такое, что, собственно, не стоило ни горячего негодования, ни ненависти, ни злобы, о чем не стоит, пожалуй, и разговаривать... Да, все это блестит, ласкает, обещает и манит. А он все-таки знает свое... И он знает также, что все это *могло бы* быть именно тем, чем кажется. И для этого нужно только еще что-то, не очень многое и не трудное. Стоило вовремя сказать какое-то слово, сделать какое-то движение... Вовремя выписать невесту... что ли... И стало бы светло, и ярко, и радостно, и правдиво, и значительно. Все было бы спокойствием и счастьем... Но это что-то не сказано, не сделано, не написано в свое время. И *никогда* это не делается, не говорится, не пишется вовремя. И графы,

и Карлы Людвиговичи умирают раньше, невесты остаются не выписанными. И не может быть, чтобы когда-нибудь выписывались вовремя... хотя и возможно, и нетрудно, и разумно...

Э!.. Он это знает решительно и бесповоротно...

Э!.. Тут не о чем и толковать, и он удивляется, что нам нужно от него в этот обманчиво красивый вечер и что нам за охота расспрашивать и толковать о том, что было, что должно было быть по-иному, но иначе быть все-таки не могло... Он отмахнулся и ушел в свою темную, сыроватую конуру и лег, заложив руку за голову, на низкий топчан, прикрытый соломой и негодною рухлядью. Он закрыл глаза и лежал не то усталый, не то просто равнодушный к нам, и к закату, и к режущим полосам света, все еще пробиравшимся в щели сарая... Не чувствовалось, чтобы он горевал или сердился, но он явно не видел оснований для продолжения разговора. Все уже было сказано этим пренебрежительным восклицанием и жестом, все — об этом вечере, и об остальных вечерах, и обо всей природе, и о нас, быть может еще ожидающих своих невест, и о Биби, которая напоминает такую же девушку, жившую полстолетия назад, и обо всех, кто интересуется всем этим, что должно быть иначе, но иначе не будет... Не будет, несмотря на то, что лишь какая-то тоненькая перегородка отделяет этот мир, заслуживающий только пренебрежения, от другого, яркого и сверкающего и действительно прекрасного и исполняющего свои обещания. Но никогда и никто не пробьет эту ничтожную перегородку. И толковать нечего, и незачем его дальше расспрашивать, потому что он все сказал, и больше ему сказать нечего... И если мы будем все-таки еще чем-то интересоваться и продолжать свои допросы, то он все равно не ответит и, может быть, вдобавок, если ему будет не лень,— нас обругает...

Хотя, конечно, и этого не стоит...

Э!.. В сарае уже не видно светлых полос... Сыровато и прохладно. Скоро ночь.

. . . .

Так мы оба поняли и короткое восклицание, и пренебрежительный жест старого деда и переглянулись с недоумевающим и отчасти растерянным видом. По-видимому, так же поняла его и семнадцатилетняя татарка с глазами, которые еще так недавно бессозна-

тельно светились солнцем и красотой этой природы. Теперь она их потупила и стала быстро завязывать платком посуду. Сделав это, она надвинула на лицо чадру и тихо, как кошка, прошмыгнула в дверь. Стройная фигурка, вся полная жизни и ее обещаний, замелькала меж рядами виноградных лоз, скрылась в калитке, зарисовалась на короткое время на высокой горной тропинке и исчезла за поворотом.

Мы тоже пошли из виноградника, не тревожа деда прощанием. Мой молодой спутник чувствовал себя, повидимому, как-то раздраженно и неспокойно. Подняв с дорожки кусок шиферного сланца, он швырнул его так сильно, что камень черною точкой долго летел над уходящими вниз уступами.

— Черт знает...— сказал он раздраженно, когда камень, еще не успев упасть, исчез в золотистых сумерках.— Черт знает что за глупая история... «Выпысуе и доси»... Шопенгауэр какой-то...

— Однако,— прибавил он, быстро пройдя некоторое расстояние и опять сердито останавливаясь.— Ведь пришла же потом воля... Мог бы, кажется, устроить жизнь по-своему.

— А сколько ему лет?— спросил я.

— Много что-то. Говорят, около девяноста.

— А воля в шестьдесят первом. Когда она пришла... жизни, пожалуй, уже не было...

Поздно вечером после ужина я вышел к морю.

Спать не хотелось. Какие-то смутные, но неотвязные мысли лезли в голову, незаконченные, неразрешимые, скучные. Месяца не было. Закат давно угас, звезды поглотила слепая, широкая мгла. Море стало невидимо и плескалось о берег неприветливо и сердито. Чудились в этом плеске какие-то невнятные речи, мелькали фантастические паруса, уплывающие в безвестную даль с искателями новой родины, слышался ропот, напоминания, требования, жалобы, домогательства, гнев и печаль... И потом все на время смолкало, и только короткий, отрывистый, апатичный доносился усталый вздох прибоя, странно напоминавший мне пренебрежительное восклицание Емельяна.

Это становилось невыносимо, и я пошел от моря. Горы высились передо мной сплошною бесформенною массой, в которой глаз не различал уже ни уступов, ни виноградников, ни деревьев. В одном только месте на неопределенной высоте горел огонек, как будто повис-

ший над темной пропастью. Порой он угасал и опять разгорался. Я угадывал, что это в шалаше у старика Емельяна...

Меня потянуло туда. Болтливый голос прибоя все еще лез в уши, приставая со своими невнятными и бессмысленными, хотя все-таки живыми речами, а там у этого огня я как будто оставил что-то неразрешенное и недосказанное, что нужно и легко было додумать и досказать. И тогда назойливая тоска этого вечера разрешится для нас обоих: для меня и для Емельяна...

Хриплая собака опять затянула свой жалобный прерывистый вой. Емельян не спал. Он медленно поднялся с лежанки, взял ружье и, неторопливо подойдя к выходу, вгляделся в темноту.

— Кто тут? Какой человек ходит?— спросил он своим ровным, старчески-бесстрастным голосом...

То, что мне нужно было сказать и что, казалось, так легко было найти,— не приходило. Чтобы выиграть время, я сказал, что запоздал в горах и пошел на его огонек.

Емельян не удивился. Он повесил ружье на гвоздь, вбитый в столб у лежанки, сел и подбросил несколько веток с сухими листьями.

— Так вы тут и живете?— спросил я, оглядываясь на задымленные стены, осветившиеся недолгим светом.

— Э! Так и живу,— ответил Емельян благодушно.— Как же ж иначе? Всякий человек живет, как ему бог дасть... Спасибо хоть татарину Алию: живи, каже, у меня, с собакою. Собака старая и дид старый, а все-таки выходит калавур. Добрый, дармá что татарин... Ну, и то еще сказать: лестно ему... Первый графский садовник у него за виноградником доглядуеть...

В голосе старика пробилась заметная нотка юмора, но тотчас он прибавил с обычным выражением:

— Э!..

То, что я хотел сказать, не приходило, но я все-таки начал говорить, чувствуя сразу, что ни слова, ни тон моего голоса не способны пробить ту тонкую пленку, за которой скрывалось наше взаимное человеческое понимание...

— Слушайте, Емельян,— сказал я.— Вот я человек приезжий. Через неделю уеду, и больше мы не увидимся...

— Ну? — сказал Емельян бесстрастно, и тон этого вопроса подчеркнул для меня неудачность и ненужность того, что я собирался сказать.

— Ну, одним словом... все равно, — продолжал я с досадой на себя, — я хотел спросить у вас: может, вам что-нибудь нужно или чего-нибудь хочется...

— Э!..

— И если бы я мог что-нибудь сделать для вас, то был бы рад сделать...

— Э!

Он равнодушно лег на лавку и заложил руку за голову.

— Чего мне хочется? — заговорил он бесстрастно. — Ничего не хочется. Живу, слава богу, хочь у татарина... Чего хочется? Заснул бы, так и сна что-то нема. Э!..

Сухие листья и тонкие ветки догорели. Тлели только кривые корни виноградных чубуков, плохо освещая темноту шалаша... И в этой тьме меня охватило странное, беспокойное ощущение. Я не мог вспомнить лица Емельяна, и мне показалось, что вместо него лежит на лежанке кто-то другой, мало знакомый, но памятный. Да, верно, это мне вспомнился вдруг татарин чабан у пещеры «тысячи голов»... Тот же характерный жест, и то же восклицание, и тот же тон: бесполезной и беспомощной, давно погребенной жалобы и покорного пренебрежения. И мне показалось, что надо мной сомкнулись темные своды подземной пещеры и вспышка огня должна осветить фосфорическую груду белых костей.

Ощущение было так сильно, что я даже удивился, когда опять раздался ровный голос Емельяна, как будто вспоминавшего что-то совершенно стороннее.

— Холодно... Оттого, верно, и сна нема. Кожух развалился, а нового Алий не справит. Бо-таки не за что! Ночи холодные другой раз. То оно и того... Оно бы, может, другой раз и заснул, а не заснешь... Вот и палю старые чубуки... Алий ничего не говорит, а оно-таки того... оно-таки татарину убыток...

Он замолчал, может быть даже задремал... Я больше не спрашивал. Это все-таки было похоже на желание, и с этим открытием я осторожно вышел из сарая. Было тихо, даже собака не сочла нужным тявкнуть при моем проходе.

Через неделю я уехал из Карабаха. Когда пароход вечером огибал гору Биюк-Ламбата, я взглянул квер-



ху, отыскивая место Алиева шалаша. Огня там не было.

Емельяну, кажется, к тому времени уже справили кожух, и чубуки татарина Алия оставались в сохранности.

II

РЫБАЛКА НЕЧИПОР

Перед заходом солнца наш пароход прошел через пролив и издали огибал керченские горы.

Керчь расположена у подножия высокого мыса, над которым господствует полукруглая большая гора. На самой ее верхушке виднеется еще холм, рисующийся в небе своеобразным, как будто искусственным силуэтом. Самое положение этого кургана порождает невольную идею о ком-то, стоящем на его вершине и обозревающем с наиболее возвышенного пункта плоский простор Азовского моря, Кубанские степи, пролив, перешеек и за ним — бесконечную даль Черноморья.

— Видите вы этот курган? — сказал мне один из спутников по пароходу.— Существует предание, будто на нем стоял когда-то золотой трон Митридата, царя понтийского, который обозревал отсюда свои владения...

— Нет, не трон,— вмешался другой.— Тут стояла золотая статуя самого Митридата...

— Верно,— подтвердил еще кто-то из пассажиров попроще.— Теперь эту самую статую ищут в горе. Всю гору изрыли эти... как их, археологи, что ли.

Так простодушная молва объясняла в то время, а может, объясняет еще и теперь знаменитые керченские раскопки.

Солнце сильно склонилось уже к Митридатовой горе, когда пароход, обогнув мол, подошел к пристани. Синие тени сползали с горы, укутывая бывшую столицу понтийского царства, и в этом освещении еще усиливалось странное, не вполне современное впечатление от этого скифско-греко-татарско-русского города.

Мне предстояло здесь ночевать, и, наскоро наняв плохонький номер в каком-то двухэтажном доме из серого камня с плоскою крышей, я поспешил окунуться в эту своеобразную атмосферу, насыщенную запахом

моря, известковою пылью и смутными историческими воспоминаниями.

Улицы местами круто всползали на бока Митридатовой горы, так что порой подошва одного дома стояла в уровень с крышей другого. В перспективе одной из таких улиц, прямо передо мной виднелась широкая лестница, раздваивающимися плавными уступами подымавшаяся на гору. Это было нечто в стиле афинских пропилеев, и я поспешил к бронзовой доске с надписью, водруженной в стене, ожидая встретить указание на какую-нибудь реставрированную понтийскую древность. Но меня ждало разочарование. На доске было написано, что сия лестница сооружена в 187... году «иждивением купеческого брата такого-то». Во всяком случае, лестница была очень удобна, а за ней, в полугоре меня манило какое-то здание в строго античном греческом стиле, с портиком и колоннадой. На темной крыше еще горел в одном углу последний луч уходящего за гору солнца. Прохладная синяя тень скрывала издали жалкую облупленность потрескавшихся старых стен.

Впоследствии я узнал, что и сие сооружение тоже новейшего происхождения, воздвигнутое в память севастопольской кампании иждивением российской казны, чем и объясняется, вероятно, его сравнительно быстрое разрушение. Но в час наступавших южных сумерек и особенно в том моем настроении эта новейшая древность имела, казалось, вид почтенной мечтательной старины, и я с жадностью праздного туриста поднялся по ее покосившимся каменным ступеням...

Вид отсюда еще расширился. Смягченный расстоянием, гул пристанской жизни долетал снизу как будто приглушенный, мечтательный, смутный. Нижние улицы задернулись тенью и пылью, современный город как будто уходил куда-то, уступая место сумеречным фантазиям. Мое «историческое» настроение охватывало меня все полнее, вызывая смутные тени прошлого. Не отдавая себе полного отчета в своих намерениях, я задумчиво отвернулся от города и пошел вдоль восточной стены храма, прислушиваясь к гулким отголоскам собственных шагов по камню...

Но через минуту мне пришлось остановиться. Обогнув еще один угол, я очутился позади храма, в пространстве, довольно тесно ограниченном уступами горы, и здесь иллюзия одиночества была разрушена самым

неожиданным образом — северный портик оказался населенным.

Прежде всего мне бросилась в глаза фигура старика, сидевшего под одной из колонн в пространстве, несколько лучше освещенном, и занятого делом: сняв рубаху, он что-то искал в ней с сосредоточенным видом... Несколько далее, под стеной группа грязно одетых людей расположилась, очевидно, на ночлег. Двое или трое уже спали, как будто торопясь выспаться до наступления ночи, другие лежали на каменном полу. Еще дальше несколько человек играли в карты. Тут были люди в фесках и люди в широкополых шляпах и в каких-то грязных повязках, напоминавших чалмы...

Мое появление, по-видимому, удивило их так же, как удивился я, так неожиданно выведенный из своего иллюзорного одиночества. Старик без рубахи прекратил свое занятие и уставился в меня наивными круглыми глазами... В группе спавших двое или трое приподнялись на локти. Один из играющих занес руку с картой, которая должна была энергично прихлопнуть карту партнера,— и остановился, слегка разинув рот от удивления. Другой вскочил на ноги и смотрел то на меня, то на угол, из-за которого я появился, как будто не веря, что я забрел сюда один, и ожидая появления более многочисленной компании...

Я тотчас, разумеется, сообразил все выгоды этого предположения для меня, одинокого фланера, так беспечно забредшего сюда с биноклем в руках и дорожной сумкой через плечо, в которой, вдобавок, были деньги. Поэтому, не прибавляя шагу, с видом заинтересованного, отчасти даже делового человека поглядывая на колонны, потолок и стены,— я прошел вдоль колоннады, свернул за угол и опять вышел на северный портал. Спустившись с несколько жутким ощущением по гулким каменным ступеням и отойдя на некоторое расстояние, я оглянулся назад... Старый храм стоял в прежнем почтенном безмолвии, ничем не обнаруживая присутствия своих обитателей или их дальнейших намерений по отношению к моей особе. Только впереди, над первой площадкой лестницы, сооруженной иждивением купеческого брата,— стояла одинокая фигура. Какой-то человек, по-видимому только что поднявшийся снизу, стоял в недоумелой позе и оглядывался, как будто разыскивая кого-то среди этих пустырей и обрывов.

Вид у незнакомца был несколько как бы потускневший, но совершенно приличный и далеко не напоминавший живописных лохмотьев только что покинутой мною почтенной компании. На нем был стеганный на груди кафтан, изрядно выцветший на плечах, но совершенно целый. На ногах виднелись грубые сапоги, какие бывают у рыбаков, слегка потрескавшиеся от морской воды или известковой пыли, широкие штаны в голенища и порыжелый суконный картуз. Судя по всему, и эта одежда, и ее хозяин видели когда-то, быть может еще недавно, лучшие дни... Когда я, сойдя с лестницы храма, подходил к нему по мягкой пыльной тропинке,— он стоял ко мне спиной и все продолжал разыскивать кого-то глазами. Заслышав мои шаги совсем близко, он вздрогнул и повернулся.

Лицо у него было еще не старое, загорелое и обветренное. Белокурые небольшие усы выделялись на этом загаре, точно присыпанные светлою пылью. В серых глазах на мгновение мелькнуло что-то вроде беспокойного испуга и тотчас же исчезло.

— А, это вы,— сказал он, с каким-то ленивым любопытством оглядывая мою фигуру.— А я уж думаю себе: куда девался?..

— Да вы разве меня видели раньше?— спросил я, удивленный догадкой, что, по-видимому, незнакомец именно меня искал глазами.

— Видел,— ответил он, кивая головой по направлению лестницы.— Идет человек у гору. Думаю: наверно, до Мытрыдата... До его?— спросил он, помолчав.

— Нет... Так, просто пошел на гору. Я приезжий.

— А сейчас где были?

— Вот там... Церковь это, что ли?..

— Кто его знает... Церква, верно, была. Теперь так стоит... пустка... А вы что же... и кругом ходили?

— Ходил и кругом...

Он быстро взглянул на меня, но тотчас опять отвел глаза...

— Что же там... никого не было?

— Нет, были какие-то люди... Что за народ?..

— Так... народ усякий... Которые по прыстаням... Ну больше тут шукают усё... на горе...

— Чего?..

— Э!

Он махнул рукой и ответил, немного помолчав и как-то неохотно:

— Вчерашнего дня шукают... известно... До Мытрыдата пойдете?.. Или назад, у город?..

Я вышел из гостиницы без определенного плана, но теперь перспектива подняться на вершину и взглянуть на широкие понтийские дали с того самого кургана, с которого, быть может, обозревал их давно умерший владыка давно исчезнувшего царства, показалась мне довольно заманчивой. Правда, становилось поздно. Тень от горы, укутавшая город, ползла все дальше по морю. Но вдали, за ее пределами море еще сверкало, и на его синеве светились три-четыре паруса. До вершины казалось недалеко. К тому же судьба, по-видимому, посылала мне спутника.

Я опять взглянул на незнакомца. Он показался мне человеком довольно приятным. Я люблю вообще задумчивые лица, а на грубоватом лице этого человека лежал отпечаток какой-то глубоко засевшей, затаенной заботы, мысли, быть может даже мечты. Серые глаза глядели тускловато, точно из-под завесы... Или будто вглядывались во что-то дальше того предмета, на который были направлены... К тому же по манере, с какой он оглядывал гору и спрашивал меня, мне показалось, что он как будто имеет к этим местам какое-то деловое отношение. Быть может, сторож?.. Или надсмотрщик над раскапываемыми могильниками, подумал я и сказал:

— Пожалуй, я бы пошел. А разве вам туда же?

— Не то что туда... А так..— ответил он с своим печально-ленивым спокойствием...— Отчего не пойтить. Пойтить можно...

— Не поздно?— усомнился я еще, оглядываясь на море, все дальше захватываемое тенью. Некоторые из стайки парусов, еще недавно сверкавшие над волнами, теперь погасли, слившись с холодными тонами воды, и только один еще убегал от тени на север, к дальней полоске земли... С юга, из пролива выбегал пароход.

— Рыбаки это, на Тузлу,— сказал незнакомец, следивший взглядом за парусом, и потом, как бы вспомнив о моем вопросе, он сказал: — Не... чего поздно?.. Не поздно. А то как себе хочете...

Мой пароход должен был уйти завтра на рассвете, и я приказал уже в гостинице разбудить меня в четыре часа. Значит, утром я не успею побывать на Митридатовом кургане... Поэтому я решительно двинулся по тропе кверху... Незнакомец еще постоял, глядя на море,

и затем последовал за мною своей неторопливой, развалистой и нерешительной походкой...

Тропинка вилась на гору, то пролегая по большим горизонтальным площадкам, то круто взбираясь на уступы или спускаясь в широкие углубления. В одном месте нам пришлось пройти через раскрытый и раскопанный могильник. По-видимому, он был расхищен уже давно: размытые дождями стены обвалились, но кое-где были свежие выемки... Местами виднелись темные круглые отверстия, точно стрижиные гнезда, очевидно проделанные щупами. Все указывало на продолжающиеся деятельные поиски в недрах исторической горы.

Выйдя из этого могильника, я остановился. Здесь опять было видно море, далеко сливавшееся с небом, на котором тихо клубились мглистые облака... Направо, точно на плане, виднелся анапский перешеек, а севернее тянулась еще полоска земли, неподвижная на зыблющемся морском просторе... Пароход, недавно выбежавший из⟨-за⟩ перешейка, торопливо поворачивал, оставляя за собой широкий круг и расстилая длинный хвост дыма...

Моего спутника рядом со мной не было, но, взглянув вниз, я увидел его под своими ногами в могильнике. Он стоял у одного из круглых отверстий, проделанных щупом в стене, и, засунув руку, шарил там медлительно и лениво, как человек, который не знает, умно или глупо то, что он делает, следует ли ему продолжать или бросить. Обшарив одно отверстие, он подошел к другому, к третьему, потом пропустил два или три, потом опять вернулся к ним, постоял, подумал и опять засунул руку...

Заметив, что я стою над ним на краю обрыва, он оборвал свое занятие, как будто стыдясь его, и стал неторопливо подниматься ко мне.

— Что вы там делали?— спросил я, заинтересованный его таинственными манипуляциями.

— Э! Так... ничего,— ответил он неохотно,— глупости усё...— И затем, видимо с целью переменить разговор, кивнул головой в направлении к морю.— Это вон самая Тузла синеет... Народу там много... рыбалки усё копошатся, рыбу ловлять. Лето и зиму, одним словом круглый год.

— Хорошо зарабатывают?

— Кто? Рыбалки?.. Черта лысого... Греки хорошо

зарабатывают, конечно, и из наших которые хозяева. Имеет, напримерно, свою снасть, то и зарабатывает... А рыбалки... Э!..

Однако безучастно-пренебрежительное выражение на мгновение сбежало с его лица...

— Бывает другому счастье, если которого человека рыба полюбит. Ну, тогда уже один такой попадется — уся артель разбогатеет... Что ни закинь — идеть и идеть... А другой, который бессчастный, на том же месте закинет — нет ему ничего...

Он говорил на том своеобразном наречии, в котором русский говор смешивается с малорусским в своеобразную новороссийскую смесь... Русские окончания он часто смягчал на украинский лад, и казалось, тон его речи становился от этого еще мягче и печальнее...

— Вы родом не из Украины?..— спросил я.

— Из Полтавщины... может, знаете?..

— Знаю. Хорошая сторона.

— Хорошая,— повторил он.— Лучше этой стороны нет на свете... Во сне приснится — день не свой ходишь... На свет здешний не глядел бы: гора да море, только и всего.

— Что же? Собираетесь домой?

Он опять посмотрел на меня тем же тусклым взглядом и сказал грубовато:

— На какого черта я пойду?.. Ни земли, ничего... Пашпорта не брал годов, может, десять... Вернешься — за все десять годов недоимку подавай...

— За что же? Если вы землей не пользовались!..

— Ну, не пользовался... То все-таки она моя?.. Или как?.. Если землю не отдадуть — чего я там не видел?.. А землю дадуть — чем за ее взяться. Э!..

Он опять посмотрел куда-то дальше Тузлы и дальше туманного горизонта — и потом сказал:

— Хлопцем я был, подростком... Батько взял с собою у Крым — счастья шукать... Нашел счастье: под Тузлою, у сыним мори... Я остался годов восемнадцати. Было б мне домой идти, так не захотел: думал, батько не нашел долю, а я таки найду, со дня моря достану, проклятую... Вернусь до дому с деньгами, хату новую построю, волов куплю, тогда буду жениться... Э!.. Ну, пойдем до Мытрыдата, а то поздно делается,— оборвал он вдруг каким-то новым, резким тоном.

До вершины оказалось дальше, чем я думал. Мы опять поднимались на крутизну, опять переходили че-

рез разрытые могильники, и опять мой спутник порой отставал и совал руки в круглые отверстия... Наконец мы взошли на гору и стояли у кургана, который мне показывали снизу. Только здесь, вблизи, трудно было охватить взглядом его очертания: он был разрезан и разметан. Кругом сохранились неровные следы глубокой канавы, и в центре — круглое возвышение, служившее, быть может, основанием башни...

Если легенда о Митридате не пустая сказка, то нужно признать, что древний царь обладал вкусом. Вид был широкий, необозримый и прекрасный. Внизу сквозь фиолетовую мглу прорезались кое-где огоньки города... Они мерцали также на мачтах судов, стоявших в бухте. Жизнь пристаней уже почти затихла. Порой еще громыхнет где-то якорная цепь и изнеможенно прошипит в вечерней мгле и пыли тяжелый домкрат, заканчивающий дневную работу. Пароход, описывая большой круг и оставляя фосфорический след, огибал мол, направляясь к пристани... Свисток его, смягченный расстоянием, звучал, как рожок или флейта... А дальше за гладью моря скорее угадывался, чем виднелся, простор засыпающих черноморских степей.

Солнце уже совсем село, но на вершине горы было светлее. Под нами, несколько в сторону, виднелась крыша старого храма, и мне показалось, что под портиком я вижу несколько снующих маленьких людских теней. Быть может, им тоже была видна моя фигура на вечернем небе, и они следили за странным туристом, раз уже нарушившим их вечерний покой.

Мой спутник опять отстал, и я увидел его во рву, окружавшем курган. Он шарил по-прежнему рукой в норе так ожесточенно, что, казалось, вывернет плечо. Через несколько минут он поднялся из темноватый ямы на свет и подошел ко мне. В руках у него был какой-то продолговатый, темный предмет. Он скоблил его коротким ножом, и на его лице виднелось выражение странной заинтересованности и любопытства.

— Это никуда не годный шлак,— сказал я, приглядевшись к его находке.— Смело можете бросить. Да что вы это тут ищете?

— Э!— ответил он, продолжая всматриваться в темныи предмет. Потом, подумав и пытливо взглянув на меня, бросил его вниз, но глаза его следили за падением шлака с выражением нерешительности и сомнения.

— Глупости, верно... А только так люди болтают, что будто тут, у горе где-то...

Он понизил голос, оглянулся и закончил:

— Будто золотой Мытрыдат лежыть закопанный. Правда?

— Пустяки! — ответил я, невольно улыбаясь.

— Пустяки? — переспросил он с оттенком неудовольствия. — Э!.. Да я ж и сам думаю так, что глупости. Ну, когда же опять ученые люди копают. Зачем? Неужели же дурно? Сколько, может, тысяч извели, усю как есть гору ископали.

— Ну, вот и судите сами: все же не нашли никакого Митридата.

— Ну, не нашли. Правда.

— А то, что им нужно, — находят.

Он поднял на меня тяжеловатый взгляд и сказал опять с признаками раздражения:

— Так... Вот вы говорите: что им нужно... Это, значит, плошечки да мисочки и тому подобное?.. Никогда не поверю! Глаза отводят... Ну, только опять и Мытрыдата им не найтить. Ни-икогда! Не дастся он им в руки...

— То есть, постойте, кто же это не дастся?

— *Он!* Говорю же я вам, Мытрыдат самый. Значит, сколько сот лет у горе этой лежит... все своего человека дожидается. Ученые, может, коло него сколько разов проходили... может, и руками трогали: земля и земля, или вот такой камень... А придет такой себе простой человек, что никакой и науке не учился. И может его узять голыми руками.

— Постойте, — остановил я, — ведь вы же говорите, — он, Митридат этот, золотой. Значит, все равно что чурбан, бревно, камень... Как же он может хотеть, не хотеть, даваться, не даваться?

— Золотой, верно... Ну, однако, все-таки: когда-то царь был...

Мне показалось, что лицо его побледнело, а серые глаза, пытливо всматривавшиеся в меня, стали темнее и глубже. Видя, что я опять улыбнулся, он махнул рукой и сказал, переходя к своему обычному тону задумчивой апатии и сомнения:

— Э!.. Вы вот, конечно, смеетесь. Не верите. Отец мой, царство небесное, тоже не верил. Никак. Бывало, на Тузле, на острове, с рыбалками у огня лежим, на гору эту смотрим... А как солнце сядет, то гору эту через

море дуже хорошо видать. Небо светлое, а гора темная... Вот, бывало, рыбалка какой-нибудь и скажет: «Э! работаем, работаем, море холодное вымочит, ветер холодный обсушит, а толку ничего нет. Только одну хворобу наживешь... Было бы другое счастье, пошел бы золотого Мытрыдата шукать... Навек можно от одного разу счастливым сделаться». То, бывало, батько ругается: «Дурные вы, дурные, чему верите!.. Это ж, говорит, грех. Усякий человек знай свое дело: кидай снасть у море, там себе лучшего Мытрыдата зловишь...» Черта зловил лысого! Бурею снасть раскидало... А снасть своя была: жалко. Поехал в ветер снасть у моря отнимать, оно его и самого зловило!.. Э!.. видно — чи так, чи сяк, усё одно: кому нету счастья, тот и будет несчастливый... Значит — такая его доля... Этые вон, что там у церквы ночуют, тоже самое — шукают усё...

В голосе его зазвучало враждебное пренебрежение.

— Бездельный народ, мошенники, лантрыги... Такой хош Мытрыдата бы нашел, что ему: неделю пьянствовать, больше ничего... Такому и доли не надо... А мой же ж отец,— продолжал он с внезапной вспышкой горького озлобления,— человек был... Какой человек! Настоящий!.. Работник. Всех раньше встанет, всех позже спать ляжет. Все доглядит — не то что за себя — и за других... А не имел себе счастья... И сыну, видно, свою долю покинул... От уже и я...

Он остановился... Слова у него вырывались глухо, с видимым усилием...

— От уже... вторую неделю с ними же, с лантрыгами этими, у церквы ночую... Э!..

Он замолчал и отвернулся. Какое-то невольное, почти жгучее участие к этому чужому, случайному для меня человеку проникло мне в душу... Хотелось сказать что-то нужное, но... вместо этого у меня только вырвался вопрос:

— А рыбалить вы бросили? Почему?

— Э! Рыбалить... Я уже после рыбалки на какой работе не был...

И, повернув ко мне еще более побледневшее лицо, с расширившимися глазами, он сказал каким-то новым голосом, жестким и злым:

— Я ж вам, кажется, объяснял... по-русски: нету счастья... Вы этого не понимаете?

Он остановился. Несколько времени мы оба молчали, и вдруг я почувствовал, что его глаза впились в меня

с каким-то особенным, как будто недоумевающим вниманием. Тяжелый взгляд незнакомца как будто прилип к моей фигуре, к моему приличному костюму, к моей дорожной сумке. Так прошло два-три жутких мгновения, в течение которых на старой Митридатовой горе между двумя равнодушными друг к другу, случайно встретившимися людьми, казалось, зарождается что-то новое, неожиданное, не совсем понятное для обоих... Быть может, под влиянием моего пристального, удивленного взгляда незнакомец отвернулся и махнул рукой.

— Э!— послышалось его восклицание, сразу напомнившее мне что-то знакомое, и его большая, тяжелая фигура стала удаляться, опускаясь в новую рытвину... Глинистый обрыв чуть-чуть светился, как будто из красной глины лучился еще не совсем ушедший дневной свет, и темные круглые норы выделялись с назойливой гипнотизирующей ясностью. Он опять стал совать в них руки, но, казалось мне, он делает это как-то рассеянно, захваченный другими мыслями. Через минуту мне не стало его видно.

Я стоял на месте, охваченный странными ощущениями. Да, несомненно,— этот жест и это восклицание мне уже знакомы. В первый раз я встретил их у пещеры «тысячи голов» на Чатырдаге, у старого татарина пастуха. Это была беспредметная жалоба и безнадежно покорное пренебрежение к судьбе. Но еще яснее вспомнился мне виноградник Алия и Емельян Незамутывода, он же Гайдамака, которому управляющий Карл Людвигович забыл выписать из Черниговской губернии его человеческую долю... Теперь этот третий... Тот же жест, то же восклицание, то же изумительное выражение безнадежного пренебрежения к жизни, ее смыслу, к цели и значению всяких исканий. Только здесь, на Митридатовом пустыре, я еще яснее почувствовал, что «он», этот собирательный образ встречного несчастливца, кроме жалобы на урусов, на Карла Людвиговича, на свою долю,— готов предъявить какие-то претензии и ко мне лично. Как будто и я должен им ответить за что-то, заложенное давно, таинственно и глубоко еще этим мифическим Митридатом, притаившимся в пустых обрывах, чтобы напрасно манить людей и никому никогда не даваться... И я опять почувствовал, что мне нужно что-то сказать, можно и должно сказать что-то, что легко разрушило бы какую-то тонкую роковую перегородку...

Но настоящие слова таились где-то далеко, забросанные, загороженные, заглушенные, точно скрытый смысл назойливого и невнятного морского прибоя.

Кругом меня было пусто. Я стоял на Митридатовом кургане один среди сильно сгустившихся сумерек. Только где-то поблизости шуршала и падала земля...

Все это было похоже на какой-то странный фантастический сон... Однако я понимал все-таки, что при данных обстоятельствах пробуждение может быть очень неприятно. Кругом пустырь, не видный из города, могильники, ямы, буераки... Рядом озлобленный человек с не совсем понятным настроением. Что, если этому странному искателю невозможной фантастической доли придет вдруг в голову, что я-то и есть тот самый золотой Митридат, которого он так жадно ищет в горе и который носит его долю вот в этой дорожной сумке?.. А там, недалеко, внизу, между мною и городом дремлет молчаливая старая постройка, где десяток таких же искателей, быть может, приглядываются снизу к моей фигуре на верхушке кургана. Мне показалось даже при взгляде вниз, что по склону горы, в направлении от храма, точно вереница муравьев, ползут темные пятнышки... Тихо, лениво, раздумчиво — как будто сомневаясь: стоит или не стоит... И кто-нибудь тоже говорит такое же «э!» и отмахивается рукой. Никто в городе не видел, куда я ушел, и никто не догадывается, что я теперь стою здесь, на горе, окруженный густыми сумерками и странными людьми, которые ищут не совсем обычными путями несбыточной доли... К несколько жуткому ощущению от этого сознания присоединилась небольшая доля довольно печального юмора: я невольно вспомнил о Митридате... Сколько веков протекло с тех пор, как он, быть может, стоял на том же месте, где стою теперь я, ничтожная единица миллионов людских поколений, и мой незнакомый спутник, тоже, вероятно, думающий что-нибудь о нашем положении, в нескольких шагах от меня... И какой, в сущности, пустяк — кто из нас двух сойдет с этой горы более довольным этой случайною встречей...

Но, конечно, это только в масштабе веков и с философской точки зрения... В обстоятельствах данной минуты я решил, что мне пора уходить, и притом лучше одному, чем вдвоем. Не окликая поэтому моего незнакомца, я стал спускаться по неудобной тропинке, едва видневшейся на другом склоне кургана. Несколько ми-

нут я шел еще довольно нерешительными шагами, но затем пошел скорее, внутренно смеясь над своим странным приключением и, может быть, ненужным и беспричинным побегом. Тропинка сначала обошла винтом у подножия широкого кургана, потом привела меня к краю раскопки, в которую — только значительно ниже — спустился с другой стороны мой незнакомец, потом она свела меня на нижележащую террасу. Здесь было уже темно, и мне приходилось внимательно вглядываться под ноги, чтобы не сорваться с какого-нибудь обрыва. Вверху небо было светлее, и, оглянувшись, я увидел силуэт моего спутника. Он выбрался из карьера и опять, как в первую минуту нашей встречи, оглядывался кругом, разыскивая меня глазами. Мое серое платье совершенно сливалось с серыми обрывами, и, не видимый ему в своей затененной лощине, я с интересом следил за его поисками. Он обошел небольшой выступ, потом появился опять, постоял немного в одном месте и негромко окликнул:

— Господин, а господин... Где же вы заховались?..

И затем, прислушавшись к молчанию пустыря, он махнул рукой...

— Э!— послышалось мне пренебрежительное восклицание, и он тихо двинулся в противоположную сторону.

Мне вдруг стало так стыдно моего побега, что я уже хотел откликнуться и попрощаться хоть издали со своим случайным спутником. Но в эту минуту на том месте, где он стоял только что,— показалась новая фигура. Другая, третья... Очевидно, я не ошибался: вереница темных мурашей, которые, как мне казалось, тянулись к нам на гору от старой церкви, теперь достигла вершины. Они так же лениво сновали у подножия кургана, останавливаясь и вглядываясь в темноту, как будто без всякой определенной цели, с единственным намерением посмотреть, что из этого может выйти. Один из них остановился на краю могильника, и я услышал несколько хриплый, но довольно приятный басок:

— Нечипор... Рыбалка! Где ты тут?

— Ну, тут я,— отозвался глухо мой незнакомец.

— А той где?..— Речь, очевидно, шла обо мне...

— Черт его знает... Был, и нету. Как скрозь землю провалился.

— Ну?

— Вот тебе и ну...

— А что за птица такая?

— Кто ж его знает... Может, тоже шукать приехал... Сумка у него и трубка.

— Дурень ты, Нечипор,— насмешливо сказал басок.— Ходит вот такое по горе, вечером. А ты и не догадался. Может, самый Мытрыдат скинулся.

На эту остроту ответил смех нескольких человек. Нечипор не отозвался.

— А видно, тут уже и ночевать,— сказал басок, благодушно зевая.— Поздно...

Вечер был ласковый и теплый. Юго-восточный ветер, слабо огибая склоны мыса, только слегка навевал прохладу. Очевидно, беспечная компания не много теряла, сменив ночлег на жестких камнях старого портика мягкими рытвинами горы...

Во всяком случае, ее появление прогнало остатки моей щепетильности, и я тихо двинулся вниз, пользуясь тем, что моя серая одежда совершенно сливалась с темными склонами. Под моими ногами кое-где срывалась земля, в одном месте я очутился над отвесной каменной стеной, покрытой диким виноградом. Но зато прямо под ней белела известковая лента мощеной улицы, на которую невдалеке светился огонек духана...

На пороге духана сидела старая женщина, с характерным античным лицом, точно последний пережиток Митридатовых времен. Она предложила зайти к ней, выпить меду. В горле у меня пересохло, и потому я принял предложение. Старуха подала кружку и с удивлением смотрела на странного посетителя в запыленной одежде, неожиданно появившегося с горного пустыря и чему-то улыбавшегося за своей кружкой...

Ночью в своем маленьком номере я долго не мог заснуть и сидел у открытого окна. В одну сторону мне было видно море с спящими судами, в другую — темные массивы горы. Море, как и тот раз, в Карабахе, плескалось протяжно и шумно, набегая на камни со своею невнятною, но живою немолчною речью. Казалось, стоит понять что-то одно, одну только фразу этой неугомонной речи — и все остальное станет доступно и понятно. Но ключа все не находилось...

А отвернувшись от моря, я видел массивы горы, из-за которой разливалось лунное сияние, отчетливо, точно

резцом выделяя гребни. Все остальное сливалось в смутном сумраке... Склоны, лестница, сооруженная иждивением купеческого брата, старая церковь, обрывы, подъемы — все закуталось глубокой непроницаемой мглой, и только в нескольких местах, на неопределенной вышине мерцали живые огоньки...

Один из них, может быть, развел там, у вершины, кто-то мне хорошо знакомый... Кто? Пастух-татарин, пасущий овец у пещеры Бим-баш-коба, или садовник Емельян, или рыбалка Нечипор... Впечатления и воспоминания путались, покрывая одно другое. Порой я совсем забывался, и мне чудились в дремоте то темные своды пещеры, то тропинки виноградников, то трон золотого Митридата, то неведомая черниговская невеста... И кто-то над всем этим безнадежно махал рукой и говорил:

— Э!.. Неужели вы не поймете?.. Никогда, никогда не поймете того, что море своим языком говорит вам о людях, которым нет счастья... А вы все не слышите... А, впрочем... Э!.. все судьба...

Когда я очнулся — надо мной стоял номерной и трогал за плечо. В окно несся протяжный и резкий свисток парохода, как будто охрипший от предутренней сырости и морских брызгов.

Через час или полтора мы опять были в море. На востоке, за серой морской гладью и кубанскими степями поднималось солнце. Тузла тянулась недалеко темной полоской земли, и рыбачьи паруса уже сновали около нее, как ранние чайки.

Митридатову гору всю затянуло белыми облаками...

1907

БРАТЬЯ МЕНДЕЛЬ

Рассказ моего знакомого

I

...Вы знаете, я родился и вырос в так называемой теперь «черте оседлости», и у меня были товарищи, скажу даже друзья детства,— евреи, с которыми я учился.

Наш город был один из глухих городов «черты». В то время как в других местах и костюмы, и нравы ев-

рейской среды уже сильно менялись, у нас, несмотря на то, что еще не исчезла память о драконовских мерах прежнего начальства, резавшего пейсы и полы длинных кафтанов, особенности еврейского костюма уцелели в полной неприкосновенности. Полицейские облавы прежних времен имели исключительно характер «фискальный». Еврейское общество платило, что следует, и после этого все опять шло по-старому.

Впрочем, я уже не помню этих облав. Прогресс брал свое: «фиск» принял менее дикие формы.

В нашем городе было несколько хедеров и одно еврейское ремесленное училище. Оно было основано каким-то филантропом, уроженцем города, сделавшим карьеру в других местах, частью даже за границей. Он с сожалением смотрел на ту отсталость, в которой коснели евреи на его родине, и находил, что они слишком исключительно предаются торговле и мелкому гешефту. В талмуде говорится: почернеют лица у народа, преданного исключительно торговле... Это тоже одно из проклятий изгнания, предсказанное еще Иакову. Чтобы ослабить тяжесть этого проклятия, филантроп решил поощрять ремесла и постепенно ввести в косную среду элементы светского просвещения. В училище преподавали общеобразовательные предметы, арифметику, немного физики, алгебру и геометрию.

Но все это нужно было делать с разумною осторожностью, чтобы не отпугивать среду: в школу ходил также меламед, и в известные часы, в промежуток между другими уроками, из классных комнат неслось тонкое, многоголосое жужжание. Высокий носовой тенор меламеда речитативом произносил какой-нибудь стих, а затем класс пел, чмокал и жужжал нараспев соответственную тосефту. Младшие ученики ходили в долгополых кафтанчиках, в ермолках и отращивали пейсики. В старших классах, ввиду удобства для работы, воспитанники носили рабочие блузы, пиджаки и даже порой щеголяли в крахмальных воротничках и котелках. Это уже был прогрессивный компромисс, и старики неодобрительно качали головами.

Во главе школы стоял господин Мендель.

Это был человек очень подходящий для своей роли. При самом основании школы филантроп прислал его откуда-то из других, более цивилизованных мест. Он носил старозаветный еврейский костюм: долгополый кафтан из тонкого сукна, сшитый таким образом, что он

одновременно напоминал и лапсердак, и европейский сюртук. В официальных случаях он надевал настоящий сюртук. Из-под его жилета, когда он вынимал часы, виднелись шелковые цицес, вроде моточков ниток, ритуальная принадлежность традиционного еврейского костюма.

Училище выпустило уже много ремесленников, и они пользовались отличной репутацией. На годичных актах присутствовали губернаторы. Тогда еще считалось, что содействовать просвещению еврейской массы — полезно. Думали, что таким образом может произойти постепенная ассимиляция. Учеников школы охотно брали к себе помещики для разных работ в имениях, и при этом нельзя было иметь уверенность, что им не приходится порой вкушать треф; но в школе все обряды исполнялись строго, и сам господин Мендель никогда не пропускал ни шему, ни тефилы. Посетителям нередко приходилось ожидать, пока г-н Мендель с талесом и тфилим, похожий на ветхозаветного иудея, доканчивал свои молитвы, жужжа и покачиваясь на восток...

— О, Мендель-отец настоящий еврей! — говорили в городе. А настоящий еврей, как известно, исполняет ежедневно не менее ста заповедей... Так говорит талмуд...

Отца и матери я не помнил и вырос в семье дяди. У дяди и его жены была только одна дочь, и они любили меня как сына. Дядя по принципу воздерживался от проявлений нежности, которые считал вредными для мальчика. Тетка, существо очень доброе и любящее, отдавала мне весь избыток нежности, не уходивший на одну дочь, и я совсем не чувствовал своего сиротства.

Дядя был видный чиновник либерального тогда акцизного ведомства. В этом ведомстве терпелась значительная доля свободомыслия, которое, по тогдашним взглядам, гарантировало от традиционного взяточничества. И действительно, дядя отличался в губернской среде значительной свободой взглядов и строгой честностью.

Однажды ему пришлось сделать в ремесленном училище большой заказ для канцелярий, и на этой почве он познакомился с г-ном Менделем. Сначала он съездил в мастерские; посещение пришлось повторить для разных указаний, а затем между ним и Менделем завязались довольно близкие личные отношения.

Дядя, человек с небольшим образованием (он был, впрочем, вольнослушателем университета), много читал и имел большую склонность «к умозрительным наукам и отчасти даже к философии» — как порой выражался он сам. Религиозные вопросы интересовали его глубоко и сильно. Многое в том, что он читал, как я теперь вспоминаю, он понимал весьма своеобразно, но, во всяком случае, он выработал «своим умом» некоторую систему взглядов, вполне подходящую для собственного употребления и придававшую ему нравственную устойчивость и душевную ясность.

С г-ном Менделем они как-то скоро сошлись. Несмотря на разницу национальностей, у них оказались родственные натуры. Несмотря на искреннюю набожность Менделя, в нем до известной степени чувствовалась та склонность к «разумному компромиссу», которая в сношениях с христианами выделяла его из фанатически правоверной среды. Целые вечера дядя и Мендель проводили в разговорах. Мендель хорошо знал талмуд и порой расцвечивал свою речь по-восточному яркими, своеобразными притчами и сравнениями. Дядя убежденно считал христианство лучшей религией и последним откровением, хотя и допускал, что в него проникли некоторые искажения. Порой он довольно горячо принимался доказывать эти преимущества г-ну Менделю. Последний осторожно, но очень убежденно отстаивал Моисеев закон. Впрочем, оба сходились на уважении ко всякой искренней вере. Так как индивидуальная мысль легко может приводить к опаснейшим заблуждениям и полному неверию, а полное неверие представлялось обоим самым худшим из душевных состояний,— то всего осторожнее держаться той веры, в которой человек родился. Дядя допускал возможность перехода к «лучшей вере», но не иначе как в порыве истинного религиозного пафоса и душевного просветления. У него, кажется, была некоторая надежда, что ему, быть может, суждено убедить таким образом г-на Менделя. У г-на Менделя такой надежды, конечно, быть не могло, и он был совершенно лишен прозелитизма. Он никогда не нападал, и если вступал в споры с дядей на религиозной почве, то лишь по обязанности «доброго еврея» исповедовать бога Авраама, Исаака и Иакова во всякое время и при всяких подходящих обстоятельствах. В этом было больше страха показаться отступающим от своего исповедания, чем стремления победить

чужое... Говорил он необыкновенно спокойно и часто озадачивал дядю какой-нибудь яркой «агадой», поражавшей восприимчивое воображение. Порой, после ухода умного еврея, дядя до поздней ночи сидел за своим столом, качаясь в кресле, или ходил из угла в угол, что-то обдумывая и подыскивая возражения. И потом они опять начинали спор с этого места.

Время в провинции, и особенно в нашем городе, без железной дороги, было глухое, и эти два человека поддерживали взаимным общением свои умственные интересы. На этой почве сближение между умным евреем и видным губернским чиновником росло, и вскоре они познакомились и семьями. Мендели стали появляться в нашей гостиной, где, конечно, им приходилось встречаться также с господами и дамами губернского общества.

Мендель при этом держался просто, но с той внешней, так сказать, традиционной почтительностью, под которой классовая или национальная подчиненность часто уживается с глубоким и спокойным самоуважением. В его приемах как-то едва ощутимо сказывалось как будто непрестанное сознание, что вот он, «простой себе еврей», сидит в гостиной или в кабинете у «гоя» [1], важного «пурица» и чиновника, и что для его долгополого кафтана, хотя и сшитого из тонкого сукна,— это большая честь... Но это была именно внешняя манера, своего рода национальная традиция, которую он носил вместе с долгополым кафтаном и вьющимися пейсами. Ему же лично принадлежало то полное внутреннего достоинства, почти аристократическое спокойствие, с которым он проявлял эту традицию. В случаях, когда ему приходилось подкрепить какое-нибудь обещание, подтвердить торжественное заверение,— он произносил неизменную фразу:

— Как честный еврей!— Иногда это произносилось даже по-еврейски: «ви их бин а ид»... В этой формуле эпитет «честный» выпускался. Достаточно того, что говорящий — еврей! Этим сказано все, что нужно... Фраза звучала торжественно, почти гордо...

В его лице, тонком, довольно красивом и выразительном, еврейский тип сказывался довольно ясно.

Жена его была настоящая «дама», и по первому взгляду в ней трудно было признать еврейку. Она, оче-

---

[1] Иноверец, не еврей *(евр.).— Ред.*

видно, получила «порядочное», как тогда говорили, то есть светское воспитание где-то в Галиции, чисто говорила по-польски, а по-русски с изящным польским акцентом. Единственная дань еврейским традициям в ее внешности, которую, очевидно, потребовало положение г-на Менделя,— был парик, которым она все-таки заменила свои, вероятно, красивые природные волосы. Но он не был гладкий, как у большинства замужних евреек. Она подбирала его так, чтобы он хоть до известной степени напоминал ее прежнюю прическу. В остальном она ничем не отличалась от наших знакомых дам, а своим изяществом и манерами даже превосходила многих. Сознание этого сказывалось порой в удивленных, почти негодующих взглядах, которые невольно кидали на нее некоторые из посетительниц нашей гостиной.

— Эта еврейка держится совсем en grande dame...[1] — говорили слегка насмешливо дамы из общества.— Странная претензия!

Мужчины признавали, однако, что именно претензий в манерах красивой еврейки совсем не было заметно.

Но все-таки странно: несмотря на чрезвычайную независимость ее манер, в ней не чувствовалось все-таки того спокойствия, которое сказывалось под внешней почтительностью г-на Менделя. Ее красивые глаза порою нервно блестели, а лицо покрывалось летучим румянцем. Это было тоже почти неуловимо, но все же чувствовалось... И может быть, это нравилось в ней, как нравились и манеры ее мужа...

Говорили, что ее семья была когда-то очень богата, но теперь от этого богатства уцелели лишь остатки, которые она и принесла в приданое г-ну Менделю. Как случилось, что красавица и модница вышла за старозаветного еврея, хотя и образованного по-тогдашнему, но все же сильно отличавшегося от нее манерами,— сказать не могу. Может быть, причиной была выразительная наружность, уважение, которое ему оказывали, наконец, просто — воля родителей... Как бы то ни было, жили они, по-видимому, согласно. Мои дядя с теткой шутили иной раз между собой, что г-н Мендель сильно влюблен в свою жену, и мне, помню, это казалось странно, как и то, что будто бы она держала своего ува-

---

[1] Как важная дама *(фр.)*.— *Ред.*

жаемого супруга под башмаком. В моем воображении эти романические черты совсем не вязались с представлением о «настоящих евреях». Она — это еще казалось возможным... Но г-н Мендель, влюбленный и под башмаком... Но это, кажется, было так. И особенно это сказалось в отношении к детям.

Однажды Мендели пришли к нам с двумя сыновьями и дочкой. Дядя позвал меня и сестру в гостиную и сказал серьезно:

— Ну, вот вам товарищи. Познакомьтесь. Я желаю, чтобы вы подружились так же, как дружны родители.

Дядя как-то тепло посмотрел на Менделя. Тот дружески, но все же почтительно кивнул головой и погладил свою красивую волнистую бороду. По лицу г-жи Мендель, как неуловимая зарница, пробежал румянец, и она значительно посмотрела на сыновей и дочку, как бы тревожась: поддержат ли они свое достоинство хорошо воспитанных детей.

Один мальчик был значительно выше и, по-видимому, старше меня. Он походил на г-на Менделя, только черты были несколько грубее, движения угловатее и гимназический мундир сидел на нем чуть-чуть мешковато. Наружность младшего меня удивила. На нем был долгополый кафтанчик, какие носили младшие ученики ремесленного училища. Ермолочка покрывала коротко остриженную голову, и по сторонам висели пейсики. Эта разница в наружности двух сыновей объяснялась супружеским компромиссом. Первые годы учения дети проводили в хедере и только с известного возраста поступали в гимназию. Для старшего этот приготовительный возраст длился дольше, и он казался несколько долговязым в своем мундире. Младший уже последний год выкрикивал в хедере стихи талмуда. К нему уже ходили и учителя, подготовлявшие его в гимназию.

Девочка была одета как куколка и красива, как мать. Ее голова была слегка запрокинута, и нижняя губка чуть-чуть выдвигалась вперед, что придавало ей вид некоторой надменности. Звали ее Маней.

Когда мы вышли в сад, некоторое время в нашем маленьком обществе господствовала натянутость. Маня нашлась скорее: она подошла к клумбе и стала любоваться цветами... У них при квартире не было цветов.



Как они называются? Сестра стала называть цветы. «Отец очень любит цветы, и вот эти — его любимые. Он сам за ними ухаживает, когда свободен...» Разговор завязался. Гостья наклонялась к цветам, как маленькая принцесса.

У нас, мальчиков, дело шло труднее: некоторое время мы ходили по аллеям смущенные и неловкие. Не знаю, как обошлось бы это первое знакомство и не кончилось ли бы оно охлаждением и скукой, если бы его не облегчило постороннее вмешательство. Из сада нашего соседа, г-на Дробыша, внезапно перескочил через забор единственный его сын, Степа Дробыш, мой одноклассник, и остановился в удивлении при виде незнакомых посетителей. Но долго удивляться было не в обычае этого моего развязного приятеля.

— Кто это у вас такие?— спросил он без церемонии.— А, этого я видел,— продолжал он, подавая руку старшему.— Он из нашего класса, только второго отделения... А это что за «вусыдыс»? [1] И какие у него смешные пейсы!

Он повернулся к младшему, оглядел его с ног до головы и, неожиданно протянув руку, тронул один из пейсов.

Маленький лапсердачник вспыхнул. Глаза его засверкали, как острые гвоздики, и быстрым кошачьим движением он кинулся на обидчика. Дробыш стоял у края клумбы. При неожиданном толчке он запнулся и упал назад, сломав любимые цветы дяди. Это очень сконфузило Дробыша. Он поднялся и стал с беспокойством смотреть на произведенные падением опустошения. Его маленький противник стоял, весь насторожившись, ожидая, очевидно, продолжения битвы.

Но Дробыш был малый добродушный и сознавал, что еврейчик был в своем праве. Кроме того — общее сочувствие было не на его стороне.

— И отлично, и отлично,— сказала с негодованием моя сестра.— Надо быть вежливым со всеми, а вы, Степа, грубиян и невежа.

— Ну, что ж... Я и не обижаюсь,— смиренно сказал Дробыш.

Тут он заметил Маню и вдруг остановился с простодушным выражением приятного удивления.

---

[1] Что это такое? *(евр.) — Ред.*

— А это кто у вас, Аничка? Их сестра? Какая хорошенькая! И совсем не похожа на жидовочку.

Маня еще больше запрокинула свою красивую головку, губка ее еще больше выпятилась, и она, повернувшись к сестре, сказала вполголоса, но так, что Дробыш слышал:

— Какой невоспитанный! Терпеть не могу бесцеремонности.

Дробыш засмеялся, хотя и несколько кисло. Но потом отряхнулся и дружески взял за руку недавнего противника.

— Ты молодец,— сказал он,— только дерешься по-кошачьи. Ну, давай познакомимся. Меня зовут Степан Дробыш. А тебя?

— Фроим Мендель,— сказал тот и шаркнул ногой по песку аллеи. Было видно, что так кланяться при знакомстве его научила мать.

— Ну, молодец Фроим. Ах, черт возьми, я, кажется, разорвал рукав... Ну, ничего! Скажи, брат: это тебя в хедере, что ли, так научили драться? У нас в гимназии дерутся не так...

— Я в будущем году тоже поступлю в гимназию,— сказал Фроим.— Израиль тоже прежде учился в хедере, а потом поступил в гимназию.

— За коим чертом ходить в хедер?— спросил Дробыш.

— Это потому,— сказал серьезно Израиль,— что мы евреи... Отец хочет, чтобы мы и в гимназии остались добрыми евреями...

— Фью!— свистнул Дробыш.— В гимназии вы будете гимназисты...

— Мама тоже говорит, что в гимназии мы будем гимназисты, как все...— живо подхватил Фроим.— И она зовет меня Альфредом...

— Но ты все-таки останешься Фроим... И тебя так запишут,— строго сказал старший.

— Да, меня так запишут, но звать можно и Альфредом...

Дробыш пригласил всю компанию кататься на плоту в их саду. Девочки пошли кругом через калитку, а нам пришлось перемахнуть через забор. Израиль перелез несколько грузно. Фроим живо подобрал длинные полы, перевязал их в талии фуляровым платком и перебрался очень ловко. Когда он соскочил на другую сторону, все мы кинулись к небольшому пруду, куда

вскоре прибежали и девочки. Дробыш хохотал, указывая на Фроима. Его фигура с подобранными полами, в черных чулках и патыночках, была точно маленькая шутливая пародия на взрослого еврея... Смех был так непосредствен, что Фроим нисколько не обиделся. Он провел руками по пейсам, поднял брови и скорчил гримасу. Маня слегка покраснела, думая, не надо ли опять усмирить Дробыша, но потом звонко засмеялась и сама. И наше катанье на плоту прошло очень весело.

Когда нас позвали к чаю, мы ввалились в гостиную уже знакомой приятельской гурьбой. У нас были еще гости: г-н Фаворский с супругой. Г-жа Фаворская была родственница губернаторши, г-н Фаворский был ее муж, то есть свойственник губернатора. Это было их общественное положение. В гостиной царствовала некоторая натянутость. Чувствовалось, что г-жа Фаворская слишком старается поддерживать разговор в угоду дяде, который был известен за «человека с идеями»... У г-на Фаворского были огромные усы и очень молчаливый нрав. Когда мы вошли, оживленные и голодные, г-жа Мендель кинула на нас тревожный взгляд, но тотчас же успокоилась. Все, очевидно, шло хорошо. Знакомство состоялось. Девочки вошли, держась за руки. Фроим, конечно, привел свой костюм в порядок. Его лицо все еще дышало юмором, и в глазах бегали искорки. Все мы, переглядываясь, чаще всего обращали глаза на Фроима. Г-жа Мендель была удовлетворена. Все шло нормально: и здесь ее любимец стал центром юной компании.

Когда Мендели ушли, Фаворские еще остались.

— Он удивительно, удивительно умеет держать себя — этот еврей,— сказала г-жа Фаворская, обращаясь к дяде, с целью сказать ему приятное.— Такой приличный и столько такта. О, я всегда говорю, что и среди них есть люди... люди... которые...

— Которые умеют уважать себя, и потому их вынуждены уважать другие,— сказал дядя серьезно.

— Ну вот, вот... Он удивительно тактичен...

— И она тоже женщина очень милая,— вставила тетка своим ласковым голосом, слегка растягивая слова.

— Н-да,— протянула г-жа Фаворская снисходительно, но в этом согласии слышалось отрицание.— Не находите ли вы,— обратилась она опять к дяде,— что младшему мальчику больше идет его ермолочка, чем

старшему мундир?.. Так хорошо, когда люди знают свое место. Вы... не находите этого? — с некоторой тревогой переспросила она.

— Младший тоже поступит в гимназию, — довольно сухо ответил дядя.

— Да-а? — разочарованно протянула дама. — Но тогда зачем же... Зачем они так одевают его теперь?

— Мендель считает, что раньше, чем поступить в гимназию, они должны научиться быть евреями.

— О, да-да! Им не следует забывать этого... Как их почтенный отец... Он нисколько не заносится, не старается держать себя выше своего звания... Не правда ли?

— Его звание — педагог... Оно довольно высокое, — сказал дядя. Было видно, что разговор не совсем ему по душе.

— Да, да! Вы правы. Вы совершенно правы!.. Я всегда говорю то же самое.

И г-жа Фаворская стала горячо целоваться с теткой на прощанье.

С этого дня знакомство наше закрепилось.

Приблизительно через год г-жа Мендель зашла както к тетке и, точно случайно, захватила с собой Фроима. Он был в новеньком с иголочки гимназическом мундире.

— Какой вы хорошенький гимназистик! — невольно вырвалось у моей Анички.

— Да, в самом деле, он у вас красавчик, — подтвердила тетка, окидывая Фроима внимательно-ласковым взглядом.

Это была правда: одежда сильно меняла к лучшему наружность мальчика. Типично еврейских черт у него было гораздо меньше, чем у отца и брата. Он больше походил на мать и сестру — только в нем не было застенчивости, и глаза сверкали веселым задором. Еврейский акцент в его речи почти исчез, о чем он, видимо, очень старался.

Г-жа Мендель покраснела от удовольствия и кинула на мою тетку взгляд, полный застенчивой благодарности.

— Ну, а как же вы записали его в гимназию? Всетаки Фроим? Как это жаль. Надо было оставить это вместе с ермолочкой... Альфред, Фредди... Положительно, это шло бы к нему лучше...

— Это желание Менделя,— вздохнула она.

К концу этого разговора вошел в гостиную дядя. Он тоже полюбовался на Фроима и сказал:

— И отлично, что он остался Фроимом. Не надо отрекаться от имени, данного человеку при...

Он чуть не сказал: при крещении, но спохватился и закончил:

— Данного при рождении. Родился Фроимом, так и оставайся Фроимом. Твой отец прав.

Он хлопнул мальчика по плечу и серьезно посмотрел ему в глаза. Фроим так же серьезно поклонился. Г-жа Мендель могла остаться довольной важной грацией этого поклона.

Тетка осталась при своем мнении, и, когда г-жа Мендель ушла, она сказала дяде, пожав плечами:

— Всегда вы, мужчины, поддерживаете друг друга... Если можно было записать Фредом, пусть бы записали... Они ведь не крестятся. Зачем эти Шмули, Лейбы, Срули?.. Это так некрасиво и вульгарно.

— У них имя дается при обрезании. А для еврея это все равно что для нас крещение.

— Ну уж,— с легкой улыбкой сомнения сказала тетка.

II

В гимназии Мендели учились хорошо. Старший был склонен больше к математике, младший отлично усваивал языки и историю. Старший был ровно прилежен, у младшего плохие отметки то и дело вкрапывались среди блестящих успехов. Он был очень самолюбив, и его сильно задевали насмешки товарищей над отсутствием развязности и неловкостью евреев. Через некоторое время он отлично танцевал и прекрасно бегал на коньках. Порой запоем предавался чтению. Вообще он был неровен, блестящ, возбуждал больше симпатий и навлекал больше наказаний, чем старший брат, который шел без остановок и отступлений.

Тогда еще не было того, что мы теперь называем антисемитизмом, хотя не было и еврейского равноправия. Черта оседлости существовала как данный факт, незыблемый и не подвергавшийся критике. Впрочем, и многое тогда казалось незыблемым и не подвергалось критике, и оттого все легче было переносить как судьбу,

предназначение, извечное устройство мира. Об изменении положения евреев никто и не помышлял. В том числе — сами евреи. Я не помню даже, чтобы самое слово «черта оседлости» когда-нибудь употреблялось в то время. Евреи просто жили в известных местах, как испанцы живут в Испании, французы во Франции, а наши крымские татары в Крыму... И казалось, что это удобно... Не было громко заявляемых притязаний, не было и антисемитизма. Не было протеста с одной стороны, не было прямой враждебности с другой. Но в этом спокойствии, под этим не только нерешенным, но даже не поставленным еще ни для одной из сторон «вопросом» дремали возможности и того и другого: и активной вражды, и протеста, и требований равноправия, и... погромов.

Тогдашние гимназии тоже не знали неравенства воспитанников-евреев, в корне извращающего внутренние отношения в товарищеской среде. Педагоги, ругающие своих питомцев жидами и читающие на уроках антисемитские листки, тогда были еще не виданы. Процентная норма не существовала. Учились все, кто имел желание. Наши отношения к соученикам-евреям были по-товарищески просты... В нашем классе был один француз, родители которого недавно приехали в Россию. Он говорил по-русски грамматически правильно, но с грассированием и акцентом. В его старательной речи порой попадались курьезные обмолвки, возбуждавшие смех. Но в этом смехе не было ничего обидного. Это был просто корректив со стороны юной товарищеской среды. Так же нам случалось смеяться над акцентом и ошибками евреев.

Мы узнали Менделей, когда один носил мундир, а другой ходил еще с пейсами и в ермолке. С легкой руки Дробыша, пустившего карикатурное изображение мальчика в лапсердаке и патынках,— младшего Менделя прозвали цадиком. Старшему случилось как-то обмолвиться — он говорил вообще правильно, но когда его застигали врасплох, в его речи прорывались резкие юдаизмы. Однажды он был погружен в занятия, когда кто-то из товарищей постучался в закрытую дверь. Сначала он не расслышал. Потом, когда настойчивый стук дошел до его слуха, он поднял голову и спросил громко, нараспев:

— Кивò т-а-ам?

С этих пор его звали рабби Кивот-а-ам и дразнили этим певучим вопросом.

Все это не связывалось ни с каким общим направлением. Евреи сами смеялись над французом и позволяли смеяться над собой. Но что-нибудь ядовито-обидное было бы встречено резким осуждением и товарищей, и педагогов... Смеялись над смешным, и только. Когда в наш город приехал известный тогда рассказчик из еврейского быта Вейнберг, зал был полон, причем публика состояла наполовину из евреев... Евреи хохотали так же непринужденно, как чисто русская публика хохотала над рассказами Горбунова «из русского быта». И некоторые пассажи мы применяли к товарищам-евреям... Теперь этой свободы уже нет. Даже литература молчит о тех или других чертах исторически сложившегося еврейского национального характера, остерегаясь совпадений с лубочной юдофобской травлей. Свобода критики пасует перед угнетением.

Тогда мы этого еще не знали. Мы как-то не чувствовали, не ощущали разницы наших национальностей. Разница отводилась на самые безжизненные и скучные предметы гимназического курса. Священника мы слушали, так же зевая, как поляки своего ксендза. Раввина совсем не было, и Мендели становились действительно «просто гимназистами». Впрочем, их посещал порой по настоянию отца умный и ученый меламед. Фроим шутил над ним. Израиль перед нами не высказывался по этому предмету, и мы считали, что он просто переносит своего раввина с философскою сдержанностью. Он вообще был расположен не только к математике, но и к философии и читал, как мы тогда говорили, «всю метафизику».

— Что такое есть метафизика?— смеялся над ним Фроим.— Это есть то, чего не понимает сам мудрый Израиль и чего не может объяснить своему глупому брату Фроиму... Ну, так это и есть метафизика...

Израиль снисходительно улыбался.

— Ну-у?— дразнился на еврейский лад Дробыш.— Чиво вы себе думаете? Это у него осталось от хедера. Он такой себе мудрый... Он все думает, все думает...

— Думай, думай, только не спи!— кончал Фроим из известного еврейского анекдота.

Этот анекдот в то время был очень популярен. У простого еврея оказался очень мудрый сын. Он все читал талмуд и все думал о разных очень глубоких во-

просах. Однажды отец с сыном поехали на телеге в город и остановились в поле ночевать. Лошадь они привязали на вожжах к дереву так, чтобы она могла щипать траву. Караулить ее они решили попеременно. Сначала не спал отец, потом он разбудил сына. «Смотри, Шмуль, ты не заснешь?» — «Нет, я буду думать».— «Ну, думай, думай, только не спи». Через некоторое время отец просыпается. «Шмуль, ты не спишь?» — «Нет, я думаю».— «О чем же ты думаешь?» Сын думает о том, что если ткнуть палкой в землю, то получится ямка, а куда же девалась эта земля, что вот была тут, а теперь нет? «Ну, думай, думай, только не спи!» — произносит удовлетворенный еврей. О, у него мудрый сын. Так он просыпается несколько раз. Сын задает себе и разрешает целый ряд таких вопросов. Наконец опять: «Шмуль, ты не спишь?» — «Нет, я думаю».— «О чем же ты думаешь?» — «Я думаю о том, что вот тут была белая лошадь, а теперь ее нет. Куда же она девалась?» Лошадь, оказывается, украли.

Мы применяли этот анекдот к Израилю. Он действительно часто бывал рассеян и имел вид человека, погруженного в постоянную задумчивость. О чем он думает — мы знали только отчасти. При общих чтениях он спорил редко, но его мнения всегда бывали оригинальны и не подходили к шаблонам.

Я, Израиль Мендель и Дробыш были уже в последнем классе. Фроим перешел в шестой. Но — как это иногда бывает — он держался больше в кружке старшего брата, и мы считали его товарищем. В наших внеклассных чтениях он принимал участие полудилетантское, часто манкировал, но иногда увлекался и просиживал целые дни над какой-нибудь толстой книгой. Порой его парадоксальные возражения, неожиданные, не всегда основательные, но всегда уверенные, стремительные и страстные, затягивали наши споры до глубокой ночи. Израиля это иногда сердило. Нас и других участников больше забавляло. Израиль сердился особенно, когда Фроим высказывал прямолинейно атеистические взгляды. Все мы, в сущности, были проникнуты передовыми взглядами и философией того времени. Все относились совершенно отрицательно к обрядам и довольно равнодушно к тому, что еще оставалось у нас от религии. Нам было лень и недосуг разбираться в этом. Но что-то еще оставалось, и особенно сильно в Израиле. Это, кажется, было бессознательное

влияние веры отцов: для меня — моего дяди, для Менделей — их отца...

Иногда после полуночи, в самый разгар наших споров, в стену смежного кабинета дяди раздавался стук... Фроим спохватывался, на его лице появлялась уморительная гримаса, и, поднявшись на цыпочки, он делал рукой широкий жест меламеда, усмиряющего раскричавшихся хедерников:

— Кин-дер! Ш-ш-а!

И мы расходились веселые и возбужденные... Несомненно, что без Фроима наши занятия шли бы с гораздо меньшею живостью.

Наш дом и сад были недалеко от окраины города. К саду соседа Дробыша примыкал большой пруд. Тут, невдалеке, пролегал большой шлях и, как всегда у выезда, ютились кузницы. Зимой на пруду гимназисты катались на коньках. Мы были завзятые конькобежцы. Даже Израиль со своей несколько неуклюжей высокой фигурой тоже порой появлялся среди веселой стаи и сосредоточенно, качаясь, как башня, старательно выделывал «голландский шаг». При этом он точно решал какую-то задачу «по законам динамики», и мелкота старалась не попадаться ему на пути во время этих экспериментов. Фроим был в числе первых конькобежцев.

Из кузниц часто выбегали, все в саже, евреи-молотобойцы и мальчики, раздувавшие меха, и смотрели на катанье. При этом, конечно, являлся невольный антагонизм между свободно резвящейся молодежью и такой же молодежью, проводящею целые дни за горнами. Кузнецы часто забавлялись тем, что, наскоро выбежав из кузниц, швыряли под ноги катающихся палки или глыбы льда. Однажды, когда лед был довольно тонок, они под вечер разбили его полосой в одном месте. Ночью эта полоса опять подмерзла, а к утру ее припорошило снегом. После уроков, когда ученики появились на льду,— лукавые кузнецы ничего не сказали, но, видимо, поджидали чего-то. Дробыш, считавшийся самым смелым конькобежцем, разбежался и нечаянно попал на роковую полосу. За ним ввалился другой гимназист...

Такие маленькие неприятности случались часто и не были опасны, так как пруд был неглубок. Мы связывали башлыки, посылали вперед малышей и потом, под

пение «Дубинушки», очень весело вытаскивали провалившихся. Так было и этот раз. Но мы, конечно, не могли простить кузнецам ни их коварной ловушки, ни злорадных криков «ура», огласивших берег пруда у кузниц, к которым присоединились такие же злорадные крики обозчиков, проезжавших по шляху с бочками смолы. С этих пор между берегом с кузницами и катком на пруде установились своего рода полушуточные боевые традиции. Мы свободно ходили берегом мимо кузниц и мирно разговаривали с кузнецами. Но стоило надеть коньки и сойти на лед, как тотчас же обе стороны вступали на боевую почву. На берегу торжествовали кузнецы, на льду гимназисты сбивали с ног и закидывали снежками кузнецов, неосторожно увлекавшихся преследованием. Никто при этом не думал о том, что кузнецы почти сплошь — евреи. Это была война льда и берега, гимназии и кузниц, и ничего больше.

Подошли рождественские каникулы, потом — крещение. Накануне на льду вырубили большой крест, кругом расчистили снег и после службы из города двинулись хоругви, духовенство в ризах, чиновники в треуголках, дамы в роскошных шубках и простой народ... Присутствовали губернатор и губернаторша. Около них виднелись между прочими г-н Фаворский с монументальными усами и его супруга.

Водосвятие кончилось, публика разошлась и разъехалась, оставив огромное пространство вытоптанного снега, с узорным крестом посередине. Кругом креста стояли натыканные во льду елки... И тотчас же гладкий лед завизжал под коньками.

День был ясный и тихий. Светило солнце, но мороз крепчал. В вышине то и дело сами собой оседали большие хлопья инея и, колыхаясь, тихо садились на лед. В воздухе было что-то бодрящее, возбуждающее, веселое, почти опьяняющее. Лед взвизгивал под коньками и порой звонко, переливчато трескался.

Ради водосвятия и торжественного христианского праздника кузницы с утра стояли закрытые. По окончании торжества их начинали открывать, но работы было мало, и кузнецы, такие же веселые, как мы, праздно толпились еще на берегу. Между берегом и льдом замелькали, сверкая на солнце, комья снега и куски льда...

Один из молодых молотобойцев, Мойше Британ, парень необыкновенно коренастый и сильный, вдруг

спустился с берега и храбро один пошел по льду. Это был вызов. Он шел беспечно серединою пруда, и в руках у него была большая палка на длинной веревке. Порой, остановившись, он пускал палку под ноги катающихся, и несколько человек упало. С берега раздавались ободряющие крики:

— Ура, Мойше Британ!— Еврейские мальчики визжали от восторга и радостно кувыркались в снегу.

Фроиму пришла вдруг идея. Он подъехал к другому гимназисту, и они вдвоем взбежали на берег. Никто на это не обратил внимания. Через несколько минут они опять спустились рядом на пруд и стали приближаться к Британу. Британ смотрел в другую сторону, а когда с берега ему крикнули предостережение — было уже поздно. Фроим и его сообщник вдруг разбежались в стороны, и в руках у каждого оказалось по концу веревки. Веревка подсекла Британа, и он полетел затылком на лед, высоко задрав ноги в больших валенках.

Очередь торжества наступила для пруда... Лед огласился криками:

— Ура, наши! Браво, Фроим Мендель. Ура!

Зрелище падения было так комично, что даже на берегу мальчишки хохотали и визжали, кувыркаясь в снегу...

Падение на спину на льду всегда очень больно, а порой и опасно. Британ несколько секунд лежал ошеломленный. На берегу заметили его затруднительное положение и кинулись к нему. Но Британ поднялся вдруг, несколько еще ошеломленный, но тем более свирепый, и кинулся на своих врагов. Прежде всего он схватил за середину веревки, которую Фроим с товарищем старались высвободить из-под его ног, и, сильно дернув ее, пустил обоих с бешеной силой по кругу... Фроим по инерции пролетел совсем близко от берега. Здесь был уже подмерзший неровный снег. Фроим споткнулся и упал. Через полминуты над ним образовалась живая куча копошащихся тел.

— Бей Фроима! Бей Менделя!— кричали с берега.

— Выручать Фроима!— отвечали гимназисты. Они расхватали стоявшие у Иордани елки и с ними кинулись на выручку. Все пришло в тревожный беспорядок. Евреев сбивали елками с ног... Между берегом и прудом мелькали комья снега, ледяшки, палки. Побоище перестало походить на игру. Британ, как медведь, скользя, переваливаясь, бежал к свалке. К счастью, он опять по-

скользнулся и упал, а в это время товарищи успели выручить Менделя, и ледяная армия опять отделилась от береговой. У Менделя лоб был в крови, и на месте свалки виднелось красное пятно.

По льду, выпятив грудь, скользящей походкой, приближался околоточный надзиратель Стыпуло. Он еще недавно был великовозрастным гимназистом, и в нем были еще живы инстинкты товарищества. Поэтому, ворвавшись в толпу, он прежде всего схватил ближайшего еврея и швырнул его так усердно, что тот упал. При этом из груди его вырвался инстинктивный боевой клич: «Держись, гимназия!» Но тотчас, вероятно, вспомнив свое новое положение и приношения еврейского общества, он спохватился и заговорил деловым тоном:

— Расходитесь, расходитесь! Что за беспорядок!.. Господа гимназисты! Стыдно!

О происшествии заговорили в городе. Дело «дошло до губернатора». Полицмейстер вызывал надзирателя Стыпуло. Стыпуло после этого уверял недавних товарищей, что он выставил евреев единственными виновниками свалки. Скоро откуда-то возник слух, будто побоище произошло между «евреями и христианами» из-за того, что якобы над крестом после водосвятия евреи произвели грязное кощунство. Стыпуло, когда его об этом спрашивали, давал показания противоречивые. Когда спрашивали евреи, он отвечал:

— Нич-чего подобного. Простая игра!

А когда спрашивали гимназисты, не участвовавшие в катанье или возвратившиеся с рождественских каникул, он отвечал убежденно:

— А ка-ак же! Обя-зательно!..

Гимназическое начальство тоже произвело свое дознание, и некоторые гимназисты, чтобы избежать карцера и дурных баллов по поведению, ухватились за легенду о кощунстве... Но большинство говорили правду. Легенде противоречило и то, что в центре свалки участвовал на христианской стороне сын Менделя... Британа, еще до конца разбирательства, без церемонии посадили в каталажку. Меня, Фроима, Дробыша и еще двух-трех гимназистов — в карцер. Мендель-отец приходил к моему дяде, и они ездили куда-то вместе, с заступничеством... В то же время г-жа Мендель, встревоженная, сидела у моей тетки. В гостиной все взрослые сошлись.

— Ну что? — спросила г-жа Мендель у мужа и была разочарована, узнав, что мужчины хлопочут больше о Британе и евреях.

— А Фроим? — спросила она и тотчас же поправилась: — А наши мальчики?..

— Мальчики посидят в карцере, — холодно ответил дядя, а Мендель погладил бороду двумя руками: одной снизу, другой сверху. Это показывало, что г-н Мендель серьезно озабочен и сохранит свою независимость.

Дяде пришлось съездить к губернатору. Дело удалось погасить. Британа отпустили, поднятая полицией кутерьма затихла. Нас тоже выпустили из карцера. Губернатор вызвал к себе раввина и нескольких «почетных евреев». В их числе был и Мендель. Начальник губернии произнес речь — краткую, категорическую и не очень связную. Но тогда местной газеты еще не было, и от губернаторов не требовалось красноречия: все происходило по-домашнему.

— А, господин Мендель, — сказал он между прочим, и лицо его приняло благосклонное выражение. Он удостоил даже протянуть г-ну Менделю руку, к которой тот, низко наклонясь, почтительно дотронулся своей тонкой белой рукой.

— Ваш сын тоже был там? Да, знаю, знаю... Он был на стороне христиан... Директор мне говорил, что их всех наказали... Что?.. Еще сидят в карцере... Я попрошу, чтобы их освободили... Ну, прощайте, господа, и... чтобы этого более не было!

Вскоре нас тоже отпустили из карцера с соответствующими наставлениями. В городе еще долго не улеглись толки, вызванные этой историей. Легенда о кощунстве все-таки не исчезла, и... тем более говорили о Фроиме, который «был на стороне христиан».

Однажды Мендели пришли к нам и в нашей гостиной встретились с целым кружком губернских дам; в центре этого кружка была г-жа Фаворская. Эта дама была в курсе «взглядов высшей администрации» и очень любезно поднялась навстречу г-ну и г-же Мендель.

— Ах, вот мы опять встречаемся, — сказала она любезно. — Очень, очень рада. А это ваш сын... Тот самый? — сказала она, заметив Фроима, проходившего ко мне через соседнюю комнату. — Постойте, молодой человек. Мы тут хотим с вами познакомиться. Какой он у вас красавчик!.. А это что же у него?.. Шрам?.. Над

самым глазом?.. Боже мой — это ведь очень опасно? И он получил его... тогда?..

Фроим принял все это довольно кисло и явно порывался к двери, где его дожидались Дробыш, Израиль и я... Заметив это, г-жа Фаворская с милостивой улыбкой отпустила его.

— Ну, ступайте, ступайте к вашим товарищам, с которыми вы делили опасность...

Но раньше, чем Фроим ушел, молчаливый г-н Фаворский двинулся к нему, со своими монументальными усами и огромными крахмальными воротничками. Перехватив его у порога, г-н Фаворский демонстративно пожал ему руку...

— Позвольте мне... со своей стороны... Вы положительно...— он несколько раз потряс его руку,— благородный молодой человек!

Фроим густо покраснел и скрылся за дверью. Все, на что решался за свой страх г-н Фаворский, всегда и вперед было обречено на неловкость. Теперь это выражение перед мальчиком чувств было тоже немного слишком выразительно, и его супруга сочла нужным до известной степени мотивировать его поступок...

— Вы знаете,— повернулась она к смущенной г-же Мендель,— о вашем сыне почти полчаса говорили в губернаторской гостиной. О, не беспокойтесь... Уверяю вас, в самых лестных выражениях... Конечно, дети — всегда дети... Но на этот раз... такое хорошее направление.

Г-жа Мендель сильно покраснела, и это сделало ее, как всегда, еще более красивой, но трудно было бы сказать, что эти лестные отзывы доставляют ей удовольствие. По крайней мере она кинула на своего мужа быстрый и несколько смущенный взгляд. Лицо г-на Менделя было сурово. Можно было догадаться, что этот предмет уже составлял сюжет не особенно приятных разговоров в семье Менделей.

Когда мы всей нашей компанией вошли в мою комнату, лицо Фроима тоже было красно, Израиль был угрюм и задумчив. Дробыш уселся на постели, закурил папиросу и, следя за кольцами дыма, сказал сентенциозно:

— Да, надо признаться: свинство вышло порядочное, и вот теперь... поделом.

Фроим сделал нетерпеливое движение:

— Кто же тут виноват, черт возьми! Разве я мог предвидеть, что эта дура?..

— Нет, ты не виноват,— с горечью сказал Израиль.— Я тебя никогда не предупреждал?..

— О чем еще ты предупреждал?..— сердито спросил Фроим.

— Ты не знаешь о чем?.. Тебе еще нужно растолковывать?— сказал Израиль, глядя в упор на Фроима своим глубоким серьезным взглядом.

Тот потупился. Можно было догадаться, на что намекал Израиль. В семье Менделей, очевидно, намечалась драма. Быть может, г-н Мендель спохватывался, что его сыновья, по крайней мере один из них, не обещал сохраниться в качестве «доброго еврея», и случайные обстоятельства только стихийно подчеркивали это...

Эта стихия и говорила теперь устами супругов Фаворских.

БАСЯ И ЕЕ ВНУЧКА

Мы окончили курс. Я поступил на историко-филологический факультет. Дробыш — в технологический институт, Израиль избрал медицину. Мы знали, что Израилю больше нравилась философия, что он зачитывался Спинозой и Лейбницем, но это была уступка горячему желанию родителей. Медицина и тогда, как теперь, была предметом честолюбия еврейских родителей.

Мы решили не разлучаться, и все поехали в Петербург. Здесь сразу столичная жизнь с начинавшимся оживлением в студенческой среде охватила наш маленький земляческий кружок... И через год мы возвратились в родной город сильно изменившимися, особенно Израиль. Ему, вдобавок, пришлось надеть очки, и он, всегда серьезный и молчаливый, теперь положительно имел вид молодого ученого.

Фроим оставался этот год в городе, но ни с кем из своих товарищей по классу не сходился уже так близко, как с нами. Он был тот же веселый, жизнерадостный мальчик, обращавший на себя внимание и часто заставлявший говорить о себе. Он по-прежнему дружил с моей сестрой, которая постоянно виделась с Маней Мендель. Это была та беззаботная интимность, которая так часто бывает уделом молодости и кидает такой хороший свет на настроение молодых годов...

Но теперь в их маленьком кружке появилось еще новое лицо.

Недалеко от нашего дома находился заезжий двор еврейки Баси. Хозяйка его, кроме содержания этого двора, занималась еще торговлей шелковыми материями вразнос. Товар у нее появлялся лишь периодически и шел очень ходко. У Баси можно было достать самые тонкие ткани самых красивых цветов, и притом по очень дешевым ценам. «Такое у меня счастье»,— говорила она с тонкой улыбкой. Кажется, ее «счастье» состояло просто в том, что она получала товар непосредственно из-за границы, без некоторых таможенных формальностей. Тогда на такого рода торговлю смотрели просто. Граница была не очень далеко. «Такие товары» можно было изредка получать «по знакомству» с некоторыми чиновниками, имевшими родню «в пограничном ведомстве», но чаще — через Басю. Чиновники были все люди уважаемые. Бася тоже пользовалась общим расположением и даже почетом. Когда ее опрятная фигура, приземистая и сильная, появлялась на улицах, с квадратным, не очень объемистым узлом, перевешенным через плечо, то все знали: Бася получила «новую партию». Она смело входила с парадного хода в любой дом, и на женской половине ее встречали как желанную гостью. Конечно, все знали, что содержимое ее узла не оплачено на границе,— но, конечно, оно было оплачено где следует в городе, и жена полицмейстера первая обновляла новые материи. От такого перемещения оплаты все выигрывали, и все, значит, было благополучно.

Сама Бася была женщина уже пожилая, носила гладкий шелковый парик, и лицо ее хранило следы былой, по-видимому, замечательной красоты. В ее манерах сказывалось своеобразное изящество и какая-то особенная свобода, которая дается собственным сознанием и внешним признанием полезной общественной деятельности. В ее обращении не было заметно даже той чисто внешней условной приниженности, которую считал для себя приличной г-н Мендель. Она входила в комнаты, молча снимала с плеча узел и, предоставляя дамам восхищаться содержимым, была уверена, что ее приход вносит оживление, удовольствие, радость. Она, конечно, торговалась, но было очевидно, что это только уступка обычаю и дамской слабости покупательниц. У нее были твердо установленные цены, и запрашивала

она очень умеренно, лишь для того, чтобы было с чего скинуть и чтобы было время поговорить. Разговоры она вела долгие и на самые разнообразные темы. Басю любили: ее посещение вносило что-то особенное, какую-то живую струйку в скучные будни N-ских дам. Она это сознавала и держалась со своими покупательницами на равной ноге. Бася знала всю подноготную семейной жизни N-ских обывателей, но никогда не принимала ни малейшего участия в каких-нибудь грязных историях.

Как-то одно время Бася ненадолго исчезла из города и затем вернулась с маленькой внучкой Фрумой. С этих пор вместе с Басей по домам стала ходить смуглая хорошенькая девочка с бархатными черными глазами, одетая несколько пестро, но очень оригинально, в лучшие отрезки Басиных тканей. На шее у нее висели несколько ниток жемчугов и кораллов, а черные, как смоль, волнистые волосы были перехвачены красивым металлическим обручиком. Пока Бася вела свои разговоры, а дамы любовались шелками, девочка жалась к коленям бабушки, ласкаясь, как кошечка. Бася любовно проводила рукой по блестящим волосам. Дамы также часто ласкали хорошенькую евреечку, и скоро Фрума стала необходимой принадлежностью Баси, как ее узел, завернутый всегда в чистую парусину, с таким восхитительным содержимым.

В еврейской среде Бася пользовалась большим почетом. Говорили, что она происходит из очень хорошего рода, что она очень богата, хотя и носит сама свой узел по городу, и что внучку ее ждет завидная судьба.

Как-то незаметно маленькая Басина внучка подросла, и уже в последний год нашего пребывания в гимназии она перестала ходить с Басей по домам. Говорили, что она «уже учится». Кто ее учил и чему — мы не знали; по-видимому, воспитание было чисто еврейское, но, посещая с Басей христианские дома, она научилась говорить по-польски и по-русски довольно чисто, только как-то особенно, точно урчащая кошечка, грассируя звук «р».

Теперь, когда мы приехали на каникулы, к нам с Фроимом и Маней, его сестрой, пришла и смуглая девочка, в которой я не сразу признал Басину внучку. Она держалась с нами несколько застенчиво и не дичилась только Фроима, который обращался с нею с ласковой фамильярностью.



— Рекомендую — моя невеста,— сказал нам Фроим, обнимая девочку за талию.— Не думайте, пожалуйста... Я не шучу. Правда, Фрумочка: мы ведь с тобой жених и невеста? Да?

Фрума потупилась с улыбкой и сказала тихо таким тоном, как отвечают в веселой игре:

— Да...

— Вы ее узнаете, конечно,— продолжал Фроим,— это ведь Басина внучка, зовут ее Фрумочкой, но это недоразумение: в сущности, она Ревекка... А я кто? ну, говори же, Фрумочка! Что ты точно онемела?

— Айвенго!— сказала девочка и, вырвавшись от него, перебежала к моей сестре...

— Вот видите,— сказал Фроим с торжеством,— мы тут уже прочитали «Айвенго», и я нахожу, что она настоящая Ревекка.

— Ривка, Ривке-е... фи!— протянула на еврейский лад моя сестра.— А затем, позвольте вам сказать, Фроим, что если вы Айвенго, то он был христианин, и ему нельзя быть женихом Ревекки.

— Ну, нас с Фрумочкой такие пустяки не могут смутить; правда, моя Ревекка?

Но Басина внучка кинула на него быстрый, смеющийся взгляд и, схватив за руки подруг, увлекла их за собою в аллею. Фроим весело светящимся взглядом смотрел вслед убегающим девочкам.

Следующий год внес в наш маленький кружок значительные перемены. Прежде всего, Маня Мендель вышла замуж. Узнав об этом, мы очень удивились. Ей было еще только шестнадцать лет. Но в еврейской среде такие ранние браки тогда были совсем не редкость. Женской гимназии в городе не было, не было, значит, и поводов для споров между супругами Мендель о системе воспитания. Маня Мендель приобрела манеры и внешний лоск ее матери; ее учили языкам, истории и еще кое-чему русские учителя, но и только. Подходящих женихов в нашем городе для нее не было, но раз по какому-то делу приехал старый еврей из Галиции со своим молодым сыном. Отец был старозаветный, сын ходил в европейском костюме, был красив, неглуп и манерами резко выделялся среди N-ских кавалеров. С Менделями они оказались родственниками, и дело сладилось в наше отсутствие. В городе из нашего молодого кружка был только Фроим. Он был против этого брака и не скрывал этого. Быть может, тут играло неко-

торую роль сочувствие к Дробышу, так как для нас не было тайной, что с того самого дня, как «хорошенькая жидовочка» назвала его «невоспитанным»,— наш развязный товарищ относился к ней особенным образом. Он не думал, что может выйти из этого чувства, и с беспечностью юности отдавался ему. Когда порой я, шутя, заговаривал с ним об этом, он встряхивал головой и говорил: «Как-нибудь будет». А пока он давал Мане книги, которые говорили о свободной жизни и о вреде предрассудков... Маня читала книги, порой рассуждала «совершенно здраво»; общество веселого и умного Степы было ей приятно. Но красивая головка держалась все так же надменно и «здравые суждения» оставались явной отвлеченностью. Когда явился молодой Зильберминц, она, кажется, и не вздохнула ни разу о бедном Степе.

Фроим сообщил нам об этом событии за несколько дней до свадьбы. «Пока мы читаем и рассуждаем,— писал он, обращаясь к Дробышу,— «старая жизнь» делает свое дело. Ты думал, что можно рассуждать вечно, а Зильберминц действовал. Маня для нас потеряна: она уходит в другой, старый, «не наш» мир. Жаль. Девочка умная...»

Дробыша сильно поразило это известие, и — чего с ним не бывало раньше — он сначала загрустил, потом закутил... Все это прошло, но на лице Дробыша долго еще лежала какая-то тень; в двадцать лет он казался уже совсем серьезным, взрослым человеком. В наших беседах он теперь часто и с большой горечью нападал на «условности и предрассудки, коверкающие жизнь».

Впрочем, все мы понимали, что дело тут не в одних предрассудках и что шансы нашего бедного друга были вообще довольно слабы. Он был еще начинающим студентом, почти мальчиком, когда рано созревшая Маня стала взрослой барышней и невестой. В последнее время на ее надменных губках все чаще и чаще являлась в присутствии «Степы» благосклонно-снисходительная улыбка.

Эта опасность, по-видимому, не грозила Фроиму. Басина внучка была моложе его и казалась по временам совсем ребенком. Планы Фроима не могли считаться совсем несбыточными, и г-жа Мендель относилась к ним с полушуточным поощрением. Родство с Басей представлялось ей довольно подходящим. Бася была из очень хорошей семьи, и у нее были почетные родствен-

ные связи. Фрума могла стать богатой невестой. В свою очередь, г-жа Мендель имела основание считать и родство со своей семьей почетным для Баси. Они не особенно богаты, но Фроим на хорошей дороге. «Он непременно будет доктором, а при его способностях...» — г-жа Мендель была уверена, что он станет доктором знаменитым...

Сам Фроим, правда, не особенно мечтал о медицине. Он писал стихи, играл на флейте и с увлечением занимался всякого рода спортом. Он еще не сделал выбора карьеры. Его пылкое воображение носилось еще в мире волшебных возможностей, и ему было жаль остановить выбор на чем-нибудь одном. Одно — это *одно*, определенное и узкое. Сделать выбор — значит отказаться от *всего* остального. И он беззаботно носился по городу, шутливо обнимал Фруму, читал ей книги и, по вечерам неожиданно являясь на наши чтения, производил беспорядок в ходе наших занятий неожиданными выходками и спорами.

Так шли дела, когда однажды в жаркий летний полдень, в начале каникул, я шел с Фроимом и Израилем по улице города, невдалеке от Басиного дома. В перспективе улицы, в направлении от бывшей «заставы», показалась странная колымага архаической наружности с крытым верхом. Она была запряжена тройкой худых почтовых лошадей и вся покрыта густым слоем пыли, которая лениво моталась над кузовом, подымаемая ногами кляч. Седоки, очевидно, были «почетные». Ямщик был в «параде», то есть в черном армяке и в шляпе с огромной бляхой. Рядом с ним сидел молодой еврей в долгополом кафтане, перевязанном в талии белым платком. Из-под закинутой почти на затылок круглой шляпы виднелись пейсы.

Мы шли по площади беззаботной гурьбой, когда Фроим указал на колымагу и глаза его заискрились весельем:

— Посмотрите, вот ковчег нашего праотца Ноя.

«Ковчег» казался сильно нагруженным: в окно виднелось несколько голов, сбившихся в кучу. Все были евреи.

Ковчег вдруг качнулся на круглых высоких рессорах и остановился. Молодой еврей заговорил о чем-то с ямщиком, ерзая на козлах и жестикулируя. Ямщик лишь в недоумении пожимал плечами.

Стеклянное окно открылось. Из него до половины высунулся солидный еврей лет сорока и спросил, в чем дело. Потом он опять нырнул в ковчег, и на его месте в окне показалось новое лицо.

Это был человек неопределенного возраста, с чертами, привлекавшими невольное внимание. По лицу пергаментного цвета проходили резкие морщины, но большая борода, окладистая в начале, очень длинная и остроконечная в конце, была черна как смоль. Глаза были необыкновенно живы и блестящи, и взгляда их нельзя было не заметить или забыть. Мы невольно остановились на тротуаре.

Человек оглянулся кругом. На небольшой площади было почти пусто, и наша небольшая группа привлекла его внимание. Он просунул в окно тонкую, желтую руку и поманил нас к себе.

Мы подошли втроем. Возня на козлах совершенно стихла, и весь ковчег как будто застыл. Все сидевшие в нем точно затаили дыхание, следя за происходящим. Как будто было что-то особенное в том, что этот человек с яркими глазами *сам* остановил на нас внимание. Даже ямщик, с поднятым кнутом в руке, через плечо оглядывался назад с видимым любопытством.

Человек заговорил по-еврейски несколько глухим, но очень внятным все-таки голосом. Я разобрал, что он спрашивает, где заезжий двор Коген-Эпштейн.

Израиль оглянулся с недоумением, но Фроим вдруг точно спохватился.

— Знаешь, Израиль,— сказал он по-русски.— А ведь Эпштейн — это фамилия Фрумочки. Так зовут и Басю...

— Вам нужно Басю? Так бы и говорил!— оживился ямщик, с упреком повернувшись к своему экспансивному соседу на козлах.— Басин двор — вон он налево. Басю мы знаем...— И он хлестнул лошадей.

Колымага тронулась, потом качнулась назад и стала. Лошади, очевидно, устали тащить перегруженный ковчег. В это время важный седок окинул нас своим пронизывающим взглядом и спросил:

— Зи зинд иде?.. (вы евреи?)

— Их бин иде (я еврей),— сказал Израиль.

— Я не еврей,— ответил я по-русски. Фроим промолчал. Черные глаза смотрели на него в упор.

— А ты? Ну!.. Не говори ни слова! Я вижу: ты тоже еврей! Почему же ты промолчал? Разве ты не знаешь:

иной раз умолчание равносильно отречению... Рэб Иоханан бен Закай...

Но тут лошади вняли наконец очень ревностным понуканиям, и ковчег тронулся таким резким толчком, что борода говорившего судорожно мотнулась и скрылась в глубине ковчега. При этом мы успели заметить, что он сидел на заднем сидении один, тогда как остальные три его спутника жались самым неудобным образом на передке.

В это время из двух соседних заезжих дворов ринулись стремглав два мишуреса — род факторов, очень популярный в местечках того края. Оба они одновременно схватили лошадей с двух сторон под уздцы и с опасностью опрокинуть коляску стали заворачивать их в другую сторону. Молодой еврей на козлах выхватил у ямщика длинный кнут и стал неистово хлестать, задевая то одного, то другого мишуреса. Но на них это не производило ни малейшего впечатления.

Тогда он выкрикнул несколько слов по-еврейски.

Оба мишуреса вдруг точно окаменели с выпученными глазами. Потом, спохватившись, в каком-то торжественном согласии повели лошадей по направлению к Басиному двору. В то же время мишурес Баси мчался через площадь журавлиными шагами с развевающимися полами лапсердака. Узнав, в чем дело, он ринулся вперед, и широкие ворота Басиного двора раскрылись настежь. Сильный толчок, ковчег закряхтел, качнулся и потонул в воротах. И тотчас же они спешно закрылись, точно опасаясь, что кто-нибудь может еще лишить Басю ее драгоценных постояльцев.

— Израиль, ты слышал? — спросил удивленный Фроим.

— Да, я слышал,— ответил тот.— Это приехал рэб Акива...

— Кто такой этот рэб Акива? — спросил я.

— Он не знает, кто такой рэб Акива! О, амгаарец! — сбалаганничал Фроим.— Рэб Акива первый цадик из самого Львова... О, вай, вай! Какой это человек... Ученый! Святой! Пророк... Мм-м... ц-цы, ц-цы, цир... А видел ты: когда Ноев ковчег тронулся, он все-таки упал навзничь, как самый простой человек, и, пожалуй, набил себе шишку!..

Израиль пытливо, почти с любопытством посмотрел на брата и сказал мне:



— А знаешь, почему он так балаганничает? Сознайся, Фроим: он смутил тебя. Ведь ты действительно собирался сказать, что ты не еврей... Правда?.. Для чего?

— Ну, хотя бы для того,— ответил Фроим,— чтобы слава великого Акивы бен Шлайме Львовского воссияла и на N-ской площади. Разве можно обмануть рэб Акиву?.. Мне самому было любопытно посмотреть, как подо мной раскроется мостовая и земля поглотит меня, как Корея...

Израиль усмехнулся и сказал:

— А все-таки у тебя лицо красное... Тебе было стыдно.

Фроим пожал плечами, но я видел, что Израиль прав. Лицо Фроима покраснело еще больше.

Между тем на площади начиналось движение. Когда оба мишуреса, как сумасшедшие, выскочили из дома Баси и побежали к своим дворам, оттуда стали появляться люди, быстро пробегавшие из дома в дом, исчезавшие в соседних улицах и переулках. От двора Баси возбуждение разливалось по городу, разнося великую новость: рэб Акива находится в N...

Через четверть часа на площади стали появляться евреи, и скоро кругом Басиного дома кишела толпа, напоминавшая встревоженный улей, в котором пчелы покрывают матку... Откуда-то стремительно прибежали трое городовых и, протиснувшись к крыльцу и воротам, стали оттеснять толпу. Лица у городовых были красны, глаза выпученны и испуганны, голоса скоро охрипли... В нескольких местах евреи приставляли лестницы, и уже несколько фигур лепились, как муравьи, на карнизах второго этажа. В окнах противоположных домов тоже толпились зрители, надеявшиеся хоть издали увидеть великого цадика. Прислуга Баси наскоро закрывала ставни, и какая-то толстая еврейка, которой при этом мешали, ругалась и кричала, точно на пожаре. Вокруг заезжего двора поднимался многоголосый гул, из которого то и дело выносились исступленные, почти истерические выкрики. И трудно было разобрать, что звучит в них,— отчаяние или восторг.

Через некоторое время по площади продребезжали колеса пролеток. Несколько почетных евреев сошли с них и вмешались в толпу. Их пропустили к крыльцу, и вскоре над толпой появилась седая голова какого-то патриарха. Он говорил что-то, но так тихо, что его мог-

ли слышать лишь самые ближайшие. Голова его качалась, длинная борода тряслась, и, кажется, он плакал. Потом его место занял другой. Тот говорил очень громко, но слишком быстро: слова летели, точно поток, нагоняя друг друга и по временам подымаясь на высочайшие ноты. По-видимому, он убеждал толпу вести себя спокойно, но его возбужденная речь производила обратное впечатление.

Кругом площади на узких тротуарах стояла толпа, состоявшая по большей части из христиан. Кое-где виднелись синие мундиры гимназистов. Настроение здесь было частью спокойно-насмешливое, но больше любопытное. Мы втроем стояли тут же, и скоро к нам подошли еще несколько товарищей. Были и евреи. Фроим, как всегда, стал центром. Он приводил анекдоты о цадиках из «Записок еврея» Богрова. В них с юмором и желчью еврей-прогрессист высмеивал цадиков и темную массу их поклонников... В нашей кучке порой раздавался смех. Израиль относился к поведению брата с видимым неодобрением.

— Оглянись, Фроим,— сказал он. Фроим в это время стоял спиной к Басиному двору...

На крыльце теперь виднелась над толпой красивая фигура Менделя-отца. Его голос, уверенный, плавный и звонкий, раздавался ясно над толпой. Можно было понять, что он тоже призывает толпу к спокойствию. Уважаемый рабби на этот раз не может остановиться в городе («О, вай-вай!» — горестно пронеслось над толпой). У него важные дела, которые, может быть, касаются не одного нашего города («О, вай-вай!» — опять точно вздохнула толпа, но теперь это было признание великой важности дела, которое призывает рабби)... Разве мы знаем, к кому он едет? (Опять вздох и чмоканье.) Надо дать почтенному рабби спокойно уехать, без суеты и беспорядка. А пока почетные люди из общества пройдут к нему и выразят чувства, которыми охвачено все население...

Опять многоголосое жужжание и резкий истерический выкрик. Около стен Басиного дома стало просторнее, и еще несколько уважаемых граждан поднялись по ступенькам. Дверь на крыльце открылась — сотни голов вытянулись, заглядывая на лестницу, по которой «почетные» поднялись на верхний этаж. Водворилась торжественная тишина... Точно депутация понесла с собой судьбы города на милость и немилость...

Прошло еще полчаса. Ко двору подъехал ямщик верхом на лошади, ведя в поводу еще пару. Потом ворота внезапно раскрылись, и ковчег выехал из них неожиданно быстро. В толпе опять пронесся вздох, за которым послышался беспорядочный говор, жужжание и выкрики. Коляска повернула на шоссе, сопровождаемая бегущей толпой. Евреи догоняли ее, некоторые хватались за рессоры, спотыкались, падали, на них набегали другие, тоже падали, подымались из пыли и мчались опять. И весь этот клубок грохота, пыли, высоких надрывающихся воплей, топота испуганных лошадей, дребезжания колес и взвизгивания колокольчика пронесся и исчез за углом. На крыльце дома Баси виднелась седая голова патриарха, и рядом г-н Мендель кричал что-то вдогонку, как будто заклиная неистовство толпы. Потом он смолк и стал обтирать платком взволнованное лицо.

Всем нам было странно видеть это волнение всегда степенного и солидного г-на Менделя. Израиль смотрел на отца с любопытством. На лице Фроима виднелось выражение досады.

— Охота была отцу,— сказал он, когда мы опять только втроем шли по пустеющим улицам. Лицо Израиля вспыхнуло.

— Что ты хочешь?— спросил он, и акцент в его речи послышался сильнее.— Ты не знаешь, что твой отец еврей?.. И что он никогда от этого не отречется, как ты? Для него это не шутка, а вера.

Глаза Израиля, черные и глубокие, сверкали, картавил он сильнее обыкновенного, и нижняя челюсть у него выдвинулась. Фроим остановился и тоже посмотрел на брата загоревшимся взглядом.

— Что ты меня упрекаешь моей шуткой!.. Пошутить над шарлатаном цадиком — это значит отречься?.. Потвоему, да? Скажи: да?

Видя, что между братьями готова вспыхнуть резкая ссора, я взял Израиля под руку и сказал, шутя:

— Ну, Израиль, я не знал, что ты такой хусид!.. А знаете что: глаза у него все-таки замечательные, и, признаюсь, на меня вся эта сцена произвела впечатление, хотя я и не еврей...

— Потому что это вера,— серьезно сказал Израиль.

— Твоя вера?— уже шутя и довольно добродушно спросил Фроим.

— Вера твоего отца и матери... И еще миллионов людей...— уже чисто по-русски и без интонации ответил Израиль.

— Неужели правда,— спросил я,— что этому цадику около восьмидесяти лет, как говорили в толпе?

— Ну, что ты говоришь?— сказал Фроим.— Восемьдесят!.. Пхэ... Ему тысяча лет. Когда Иезекииль воскресил мертвых в долине Дейро, то многие вошли в Иерусалим, поженились и имели потомство. Рэб Акива из этого поколения, и у него есть «мезузе» от одного из воскресших. Спроси у Израиля. Он знает эту историю...

Он посмотрел на брата с веселой усмешкой. Но Израиль не слышал. Он шел с нами рядом, и на лице его было выражение глубокой задумчивости, как будто он решал в уме сложную задачу.

— Ну, думай, думай, только не спи,— заключил Фроим и остановил меня за руку. Нам следовало уже свернуть, но Израиль шел прямо с тем же задумчивым видом, и Фроиму пришлось громко позвать его:

— Израиль, мешигинер!..[1] Куда ты?..

Все это было уже давно, во времена моего далекого детства, но и до сих пор во мне живы впечатления этого дня. Я будто вижу нашу площадь, кишащую толпой, точно в растревоженном муравейнике, дом Баси с пилястрами на верхнем этаже и с украшениями в особенном еврейском стиле, неуклюжую громоздкую коляску на высоких круглых рессорах и молодые глаза старого цадика с черной как смоль бородой. И еще вспоминается мне задорный взгляд моего товарища Фроима Менделя и готовая вспыхнуть ссора двух братьев.

После этого еврейское население города долго не могло успокоиться. Ходило много разговоров о причинах внезапного появления рабби Акивы в нашем городе. Фроим укладывал нас в лоск, передразнивая городские толки.

— Куда он поехал? Ну, вы не знаете куда?.. В самый Петербург... К министру... Ну, что вы! К какому там министру!.. Разве вы еще не знаете?.. К самому царю... Царь узнал, что рабби Акива обладает даром пророчества, и пожелал увидеть его лично... Зачем? Ну,

[1] Сумасшедший *(евр.)*.— *Ред.*

мало ли у царя дел, о которых надо посоветоваться? Разве Иосиф не объяснил фараону сон? А рабби Акива... Он знает все... Как только он въехал в город, так сейчас лошади сами повезли его к дому Баси. Что? Вы думаете, он спросил, где двор Баси? Пхэ! Зачем ему спрашивать, когда он знает, что́ в каждом доме подавали на стол в последнюю субботу!.. Ну, и опять же Бася!.. Вы думаете, это простая себе еврейка и больше ничего?.. И о ней никто не знает во Львове?..

Действительно, репутация Баси сильно поднялась после этого посещения, и даже дамы приставали к ней с расспросами: почему цадик заехал именно к ней? Но Бася хранила дипломатическое молчание или отвечала самым невинным тоном:

— Ну, как это может быть? Откуда ему знать о такой бедной еврейке, как Бася?.. Увидел мой дом... Ну, он таки немного лучше, чем у Густы, или у Иты, или у Мойше Шмулевича... Зачем ему непременно остановиться в какой-нибудь дыре, когда есть отличное помещение? Ну, может, он и сказал: «Вот я себе хочу здесь отдохнуть...» Что тут удивительного?

По городу в сотнях вариантов ходили изречения великого цадика, сказанные во время короткого пребывания в доме Баси. Он погладил Фруму по голове и сказал, кто ее отец, и мать, и тетки... Как будто он всех их знал. Старика патриарха Лейбензона он даже обнял, а Менделю сказал что-то, что никто не мог передать точно. Одни говорили, что он упрекал его за то, что отдал сыновей в гимназию и что из них выйдут «апикойрес». Другие передавали, что, наоборот, он отозвался об одном из них чрезвычайно лестно, назвал даже будущей звездой во Израиле... Только неизвестно было, о котором. Одни называли Фроима. Другие, наоборот, говорили, что Фроим выйдет апикойрес, а звездой станет старший.

Дядя с большим интересом расспрашивал Менделя-отца, но, несмотря на всегдашнюю откровенность с дядей, Мендель на этот раз отвечал сдержанно. Он говорил только, что рабби Акива человек действительно замечательный, что он написал несколько трактатов, напечатанных в Австрии, и у него, г-на Менделя, висит на стене гравированный портрет рабби Акивы... Разве стали бы печатать портрет заурядного человека?.. А что он говорил о нем, Менделе?.. Ну, что ему говорить особенного о скромном учителе...

Но при этом лицо г-на Менделя казалось печальным и озабоченным. Впрочем, может быть, для этого были у г-на Менделя и другие причины...

Однажды, когда мы сидели у себя втроем, дядя прислал за мною и пригласил также моих товарищей.

В кабинете мы застали и г-на Менделя. Он проводил ладонями по своей шелковистой бороде, и на лбу его виднелась глубокая морщина. Дядя имел тоже озабоченный вид. Когда мы вошли в кабинет, он запер за нами дверь и спустил гардину. Потом уселся в кресло и некоторое время задумчиво играл ножом для разрезывания книг. Потом, взглянув на нас, он сказал, обращаясь к Менделю-отцу:

— И Фроим здесь? Я думаю... Фроиму еще рано... Он еще мальчик... Или вы думаете, что следует говорить при нем?

Г-н Мендель кивнул головой.

— Ну хорошо... Видите ли... Мы узнали... Но только, пожалуйста, чтобы это осталось между нами. Даете слово?

Я дал слово за товарищей.

— Мы узнали... Господин Мендель и я... Откуда — это все равно... Во всяком случае, под честным словом,— что за всеми вами, за всем вашим кружком установлен надзор... В столице и здесь...

Дядя испытующе посмотрел на нас и продолжал:

— Тот, кто нам сообщил это, не знает точно, в чем дело, но говорит, что это что-то... противоправительственное, политическое... Впрочем, я не допускаю, чтобы это было что-нибудь серьезное, и не стану допытываться. Вероятно, какие-нибудь студенческие дела. Не правда ли?.. Скажу только, что вам, с одной стороны, еще рано заниматься политикой... с другой — вы достаточно взрослы, чтобы понимать, что с этим нельзя шутить... Так вот, мы вам сообщили. Я надеюсь, вы будете осторожны.

Он смолк и посмотрел вопросительно на Менделя-отца. Мой дядя был человек умный и считал, что говорить больше, допрашивать, требовать обещаний — было бы бестактно и ни к чему не приведет с молодежью. Сам он когда-то участвовал в истории, повлекшей за собою закрытие киевского университета, и как-то в разговоре сказал вскользь, что не жалеет об этом. Сколько можно было судить по его рассказам, которые я слышал лишь вскользь и отрывками (рассказывая об этом гостям, дя-

дя всегда высылал меня из комнаты),— дело шло об «оскорбленной чести студенчества». Студент, на которого бросилась на улице генеральская собачка, пнул ее ногой. Генерал оскорбительно разругал его и велел отправить студента в кутузку... Университет заволновался. Студента отпустили, но молодежь требовала удовлетворения. В этом было отказано... Дальше в моей памяти сохранились лишь отрывки. Генералу при разъезде из театра подали карету... На козлах вместо кучера и лакея сидели переодетые студенты... Карета тронулась... Супругу генерала очень вежливо, чисто по-рыцарски пригласили выйти... генерала повезли дальше... Меня на этом интересном пункте удаляли...

Лицо дяди при этих воспоминаниях освещалось какой-то особенной улыбкой. Они, очевидно, доставляли ему удовольствие.

— Что делать! Молодость всегда молодость... Она ценит честь и готова на риск... Пушкин сказал: «Блажен, кто смолоду был молод...»

И теперь на красивом лице дяди было выражение снисходительного предостережения. Лицо г-на Менделя было более озабоченно и задумчиво. На его лбу меж бровей лежала глубокая поперечная складка.

— Я тоже скажу вам, молодые люди, несколько слов,— начал он.— Никогда не надо идти против властей, поставленных царем. Это ведет к несчастью не только для вас, но и для ваших близких. Особенно должны этого остерегаться мы, евреи. Много раз уже мы были в беде... Ну, что нас всегда спасало? Мудрость вождей, учивших народ покорности... Чем Донийейль приобрел такую силу перед царем?.. А Иеремосу?.. Почему персидский царь позволил возобновить храм, чтобы Израиль ожил опять?.. Потому что он знал: писание учит евреев почтению к власти.

Лицо Менделя-отца приняло выражение торжественное и мечтательное.

— Вы, мои дети, должны помнить из талмуда историю Бавы-бен-Бута. Нет? Забыли уже Баву-бен-Бута... Ай-ай-ай...— сказал он с горечью.— А между тем талмуд — мудрая книга. Прежде великие европейские философы нарочно изучали еврейский язык, чтобы читать библию и талмуд по-еврейски. И когда проклятый Пфефферкорн восстал на талмуд и требовал, чтобы все

его книги сжечь рукой палача, то разве против него не вооружились великие христианские ученые? И они доказали, что в талмуде есть много мудрости не для одних евреев... А Бава-бен-Бут? Ну, вот я вам расскажу, кто такой был Бава-бен-Бут. Он был мудрец, наставник народа, пориш — при царе Ироде. Много было учителей, но Бава-бен-Бут был самый мудрый. И сам царь часто с ним советовался. Но пришел такой день... Ирод рассердился на всех еврейских книжников. Почему рассердился? А потому, что прочитал в писании: «Из среды братий своих пусть Израиль поставит себе царя». Он спросил: что это значит? Это значит, что народ должен выбирать себе царя из простых людей. А он считал, что царь должен быть царского рода... Ну, что делать: писание есть писание, тут нельзя изменить ни одного знака. А он себе подумал: «Вот чему они учат темный народ. Это — бунтовщики!» И он приказал перебить всех учителей закона. Но бен-Бута оставил. Почему оставил? Он сказал себе: «Если я убью Баву — кто мне даст при надобности хороший совет? Оставьте бен-Бута... Только выколите ему глаза, чтобы он не мог читать. А давать хорошие советы можно и без глаз...» Ну, хорошо. Выкололи Баве глаза... И еще Ирод говорит себе: «Вот теперь я узнаю правду. Надо еще более рассердить слепого Баву. Приставьте Баве пьявки кругом головы и уйдите все...» Вот сидит Бава-бен-Бут один, слепой, и пьявки пьют из него кровь...

Голос Менделя-отца слегка дрогнул. Израиль слушал с серьезным и заинтересованным видом. Лицо Фроима выражало равнодушие. Он вспомнил агаду, но мораль ее, по-видимому, ему не нравилась. Быть может даже, он уже пародировал ее в уме. Но отец этого не видел. Инстинктом рассказчика-художника он чувствовал, где самый внимательный его слушатель, и повернулся в сторону дяди, который, опершись на ручку кресла, очевидно, ждал конца.

— Что же вы себе думаете... Сидит бен-Бут, как Иов, и молится. Ну, может быть, плачет. Кто пришел к Иову, когда он сидел на навозе? Пришли к нему друзья и стали говорить: «Видишь ты, что сделал над тобою бог?» А к Баве пришел царь Ирод... Царь Ирод думает себе: «Вот теперь Бава слепой, Бава сердит на меня. Я узнаю от него правду». Прикинулся простым себе евреем и го-

ворит: «Ну, бен-Бава! Видел ты, что сделал над всеми вами этот царь... Этот дикий зверь...»

Что же ответил Бава? Он говорит: «Все от бога. Если так захотел царь — что же я, бедный еврей, могу сделать...» — «Прокляни его! Разве проклятие праведника ничего не значит?» — «Я человек писания,— отвечает Бава,— а в писании сказано: „Даже в мыслях своих не кляни царя“». — «Ну, что ж такое? Это сказано о царе, избранном из народа... А этого беззаконника ты можешь проклинать. Послушай, Бава! Мы тут только вдвоем... Никто не услышит». — «Птица небесная услышит, на крыльях перенесет. Нельзя Баве нарушить заповедь...»

Услышал это царь, и сердце его опечалилось... «За что же я пролил кровь этих учителей, если они и все такие, как Бава?» Открылся он бен-Буту и говорит: «Вижу я, что сделал великий грех... Погасил свет в глазах твоих». А Бава, великий мученик, отвечает: «Заповедь — мне светильник. Закон — свет...» Царь спрашивает: «Что же мне теперь сделать, как искупить грех, что я убил столько мудрых?» А Бава опять отвечает: «Ты погасил свет Израиля. Зажги опять свет Израиля».

Рассказчик обвел нас всех своими глубокими глазами и сказал торжественно:

— Что же из этого вышло? Вышло то, что он отстроил храм Иерусалимский в прежней славе... Так вот чему учит наш талмуд: даже в мыслях еврей не должен идти против власти. И это всегда так было. Вожди Израиля: Иозейль разве не служил верно фараону? А Донийэль — персидскому царю? А Иеремосу — вавилонскому? Они знали науку своего времени, но никогда не забывали заповеди своего закона... И я хочу, чтобы вы, мои дети, тоже учились светской мудрости в гимназии, но не стали бы апикойрес, не забыли бы заповедей своего закона...

Когда мы вернулись из кабинета дяди в свою комнату, Дробыш почесал с комичным видом свою буйную русую шевелюру и сказал:

— Притча интересная... И это верно: философия этого бен-Бавы была очень удобна для Иродов. Но... какой это дьявол донес на наши петербургские собрания?..

И мы стали обсуждать этот житейский вопрос, забыв злополучного Баву-бен-Бута. Но я уверен, что в кабинете дяди поучительный разговор продолжался и вопрос исчерпывался с евангельской и талмудической точек зрения.

Скоро и практический вопрос, поставленный Дробышем, отступил перед другими злобами дня, сильно задевшими наш дружеский кружок с совершенно неожиданной стороны.

После посещения великого цадика Акивы прошло несколько недель. По городу вдруг пронесся слух, будто Бася сосватала свою внучку. И будто это сватовство имеет какую-то косвенную связь с приездом цадика, вернее — одного из его почтенных провожатых, рэб Шлойме Шкловского...

Однажды я проходил через комнату, соседнюю с спальной тетки, у которой в это время была Бася, недавно получившая «новую партию». И я услышал, как тетка, предложившая Басе какой-то вопрос, вдруг вскрикнула почти с испугом:

— Бася! Да вы с ума сошли! Побойтесь бога! Ведь она еще совсем ребенок!

— Ну,— ответила Бася своим спокойно-уверенным голосом.— Мы, евреи, всегда боимся бога... Разве я что знаю? Разве я что хочу?.. Я знаю только одно: Фруму нельзя отдать за первого встречного... А это такая партия, такая партия... Это, верно, нам послал бог...

Я невольно приостановился и стал слушать продолжение разговора.

— Но я вам говорю,— волновалась тетка,— ведь она совсем ребенок!

— Ну... Что из того? Это у вас нельзя! У нас можно. Вы думаете, я вышла за своего покойного мужа старухой: я была такая же, как теперь Фрума.

Она помолчала, и когда заговорила опять, в ее голосе слышалась улыбка.

— Вы же знаете — он был много старше меня и вдовец. И такой ученый, такой ученый... Бывало, день и ночь все читает... И когда моему отцу сказали: «Вот... надо... ему жениться... Отдай ему свою дочь»... то отец очень обрадовался... «Такая большая честь нашему до-

му!» А я совсем-таки ничего не понимала, ну... ребенок! Мать говорит отцу: «Мне жалко... Я хочу для моей Баси меньше чести, но немножко больше счастья. Ведь у него, от его великой учености, не было даже детей от первой жены». Ну, вы думаете, отец послушался? Он сейчас же согласился, и меня заручили... И что же вы думаете: я жалею? Ну, я жалею только, что он скоро умер и что у меня был только один сын, и тот умер... Разве можно знать, что назначил бог?.. Разве мы знаем, когда пора и когда не пора?.. И что вы, извините меня, тоже можете знать?..

— Но мы все думали, что вы породнитесь с Менделями. Была бы такая хорошая пара! Найдете ли вы более почтенную семью?

Бася издала пренебрежительное «пхе!». И потом пояснила:

— Мендель? Ну, он почтенный человек, это правда, но разве нет еще лучших людей, чем Фроим? Нужно непременно апикойреса!

— Это вы повторяете слова этого вашего цадика?..

— Ну, что я знаю? Сказал он такие слова или не сказал? Когда одни говорят, что сказал, а другие: не сказал. Но если уже есть сомнительность... А Фрума — она из такой семьи... Я же говорю: вы этих наших дел не можете понимать...

И разговор перешел на цену шелковых тканей...

Опять в город въехала коляска с иногородными евреями. Она была не такая монументальная, как та, что привезла рабби Акиву, и много новее. В ней, кроме ямщика, сидели три человека внутри и один на козлах. Теперь, никого уже не спрашивая, прямо подъехали к крыльцу Баси.

Молодой еврей, сидевший на козлах, был тот же, что приезжал с рабби Акивой. Он проворно соскочил и открыл дверцу.

Первым вышел пожилой брюнет, одетый по-старинному, но очень опрятно. Другой был похож на первого, только помоложе. Движения их были медлительны и важны. Выйдя из коляски, оба повернулись к третьему, остававшемуся пока в сидении.

Это был молодой человек лет двадцати. Лицо у него было изжелта-бледное. На голове была надета бархатная шапка в форме берета, но с козырьком, и из-под нее виднелись края ермолки. Длинные завитые локонами пейсы свисали по сторонам.

Он продолжал сидеть на месте, не замечая, как будто, остановки. Черты его лица были тонки, глаза, довольно красивые, глядели вперед с таким видом, точно этот юноша спит с открытыми глазами и видит какой-то сон. Был неприятен только нездоровый желтый цвет лица.

Его спутники молча поглядели на него несколько секунд, и старший окликнул осторожно:

— Лейбеле?

— Ву-ус? — отозвался тот, точно на зов издалека. Потом очнулся, увидел, что коляска стоит на улице города, и на мгновение в лице его появилось выражение беспомощной растерянности. Но затем взгляд его упал на ожидающих спутников, и в лице явилось радостное выражение, как у ребенка, которому протягивают руку. И действительно, оба старших еврея приготовились принять его, как только он ступит на землю.

Сходя с подножки, он наступил на длинную полу своего кафтана и чуть не упал. То же повторилось, когда он стал подыматься на ступени. Спутники подхватили его под руки и почти внесли на подъезд, так бережно, точно это был хрупкий сосуд с драгоценной жидкостью.

Эту сцену, кроме меня, наблюдали еще несколько человек, случайно оказавшихся около дома Баси. Когда за приехавшими захлопнулась дверь, один из зрителей, рыжий Лейзер, служка из синагоги, оглядел остальных и издал характерное восторженное восклицание... Глаза его совсем сощурились от восторга, и, сложив пальцы щепотью, он поднес их к губам и несколько раз вкусно чмокнул... Затем он заговорил что-то быстро и возбужденно. Он был человек, как бы то ни было причастный к синагоге, и, по-видимому, сразу узнал в приехавшем молодого ученого, внешность и манеры которого отвечали всецело его эстетическим идеалам. Он говорил скороговоркой, то и дело восторженно и вкусно чмокая...

— Ой, вай! Ццы, ццы, ццы...— вторили и зрители, расходясь с чрезвычайно удовлетворенным видом...

В этот день я не видел никого из нашей компании. Ночь я проработал долго, так как мне предстоял осенний экзамен, и проснулся очень поздно. Мне сказали, что Дробыш и Фроим забегали за мной и отправились в лодке на тот берег озера. Барышня тоже с ними. Если я захочу, то могу найти их у моста.

С балкона второго этажа было видно озеро. Я поднялся туда, чтобы посмотреть, не плывут ли они уже обратно, и увидел под дальним берегом лодку, которая двигалась по направлению к нашему берегу. Две пары весел быстро взмахивали, как крылья торопливо летящей птицы... Взглянув на горизонт, я понял причину этой торопливости: далеко за окраинами города, за шляхом и полями,— с утра лежала большая туча. Теперь она сдвинулась и неслась по направлению к городу, клубясь и вздымаясь все выше. Деревья вдоль шляха быстро и тревожно метались, нагибая вершины, и по шляху неслась точно пыльная метель. Где-то еще далеко глухо ворчал гром...

Лодка была еще только на середине, когда туча закрыла солнце, озеро потемнело, солнечные лучи просвечивали лишь сквозь края облаков, рыжих и растрепанных. На все легли опаловые оттенки. Рванулся ветер, сорвал в саду массу уже пожелтевших листьев, и вслед за ним пролетели вкось капли дождя с редкими крупными градинами. Минуты две еще сквозь редкий дождь пруд и берег светились красно-опаловым светом... Это было очень красиво, и я невольно залюбовался, пока тополи, потом домишки и кузница на берегу, потом середина пруда не потонули в густом ливне... Лодочка на середине помаячила еще во мгле и исчезла... Ливень с градом загрохотал по нашему саду и крыше.

В доме поднялась суматоха... Тетка послала к берегу прислугу с зонтиками и калошами. Она волновалась... Мне показалось, что на ее половине я слышу еще чей-то голос, как будто Баси. Еврейка, всегда такая спокойная, теперь говорила что-то непривычно возбужденно и сердито...

Я с нетерпением ждал у окна, что вся компания, мокрая и весело возбужденная, сейчас пробежит через сад в нашу квартиру. Но — прошло минут двадцать, лодка должна бы уже давно причалить к невидному из-за ограды берегу, а все никто не появлялся. Оказалось,



что сестра уже дома, но одна, переодевается на женской половине.

— Где же остальные? — спросил я у нее, когда она вышла из своей комнаты.

— Как? Разве мальчиков еще нет? — спросила она в свою очередь. — Они через сад...

Сестра с детства привыкла называть всех нас мальчиками, хотя, кроме Фроима, мы уже второй год были студентами. Она была, очевидно, взволнованна и нервна.

— Эта Бася с ума сошла, — заговорила она сердито. — Просто не понимаю, что с ней сделалось...

— При чем же Бася? Разве Фрумочка была тоже с вами?

— Ну да, ну да... Бася прибежала на берег, как фурия, схватила ее за руку и прямо потащила домой. Никогда не подозревала, что она может быть такой грубой...

Она повернулась к окну. Я подошел к ней и взял ее за руку. На глазах у нее были слезы.

— Слушай, Аня. Неужели на тебя так подействовала гроза?..

— Нет... Ну да, конечно, это было прямо ужасно. Дождь, град, у нас один только зонтик... Мальчики сняли с себя тужурки и покрыли нас. Сами в одних рубашках... Потом этот гром... И... они такие мокрые...

Губы у нее задрожали, она сделала усилие над собой и потом все-таки заплакала.

— Аня, голубушка! Да разве это им впервые?.. Уверяю тебя, это пустяки.

— Ах, я знаю, что гроза пустяки... Но все это вместе... Знаешь: Фрумочка нам сказала, что вчера к ним привезли жениха и скоро будет ее свадьба...

— Как? Неужели это тот молодой ешиботник, что приехал вчера?

— Ну да, ну да! Приехал вчера... Фрума сама сказала...

— Ну, и что же она?

— Она?.. Я не заметила. Она еще совсем ребенок. Но вот Фроим. Он сразу побледнел, как стена... Я никогда, никогда не забуду... Все потемнело... только это красное пламя. Фроим такой странный... Знаешь, я никогда до сих пор не замечала, какой у него сильный шрам над глазом... Ах, боже мой! Да где же они в самом деле?

Или пошли к Дробышу? Но они говорили, что пройдут к тебе, затопят камин и станут сушиться... Смотри: туча уже ушла и светит солнце, но и оно какое-то другое, холодное... Точно и его охолодил град...

И она нервно вздрогнула. Я быстро надел калоши и вышел в сад, чтобы через забор взглянуть на лодочную пристань.

Пройдя половину аллеи, я вдруг остановился, удивленный. На скамье, весь мокрый, сидел Дробыш. Мокрая рубаха липла к его телу. Его тужурка вместе с тужуркой Фроима валялась тут же на скамье, а сам Фроим лежал ничком в мокрой траве.

— Что это вы?— спросил я,— с ума, что ли, посходили?..

— Да вот... спроси у него,— сказал Дробыш, пожимая плечами.— Уж именно, что сошел с ума.

Фроим поднял лицо из травы и посмотрел на меня. Я был поражен переменой, происшедшей с ним в короткое время. Лицо его было бледно, черты обострились, и над бровью выступал сильно покрасневший шрам от падения на льду в тот день, когда мы сражались с кузнецами.

Взглянув на меня, он вдруг резко поднялся и схватил меня за руку.

— Ну вот,— заговорил он страстно.— Вы мои товарищи, друзья. Дайте же мне слово... Дайте слово, что этого не будет... Не должно быть... И не будет...

Дробыш сидел молча со сдвинутыми бровями... Потом сказал, обращаясь ко мне:

— Совсем сумасшедший. Фрума сказала, что к ней привезли жениха. Вот он и требует, чтобы мы помешали этой свадьбе. Дай ему слово! Да пойми ты, чудак... Если дать слово, ведь его надо исполнить... А ты не даешь даже подумать...

— Вы подумаете после, а теперь заклянитесь оба самою страшною клятвою... что этого не будет!

— А, черт возьми,— с досадой сказал Дробыш.— Приучили вас в хедере... Что тебе, «шейм гамфойрош» [1], что ли, нужно?.. Сам же ты над этими клятвами смеялся... Мы можем тебе дать слово, что мы... ну, сделаем все, что возможно... Слушай, Фроим. Ведь ты ве-

---

[1] Именем бога (*евр.*).— *Ред.*

ришь, что мы тебе друзья? Веришь? Ну, так вот, что я тебе скажу, и чест-ное сло-во, если ты сейчас же не пойдешь переодеться и не согреешься... я с тобой не буду иметь никакого дела... Понимаешь? Никакого! Значит, даже разговаривать о каких бы то ни было планах отказываюсь!

Фроим взглянул по-детски жалобно и сказал:

— Ну хорошо. Ну, я послушаюсь... А после?

— После?.. Переоденься и приходи вот к нему! Сойдемся и подумаем, как быть...

— Ну хорошо. Я приду. И вы мне обещаете?..

— Да, да, только убирайся поскорее. Да надень пиджак, сумасшедший!

Фроим спохватился, по привычке старательно напялил пиджак и пошел к выходу из сада.

— А я лучше обсушусь у тебя,— сказал Дробыш.— У тебя есть камин?..

— Да. Не лучше ли оставить и его?

— Нет, не надо. Там мамаша Мендель его обсушит и обогреет... А мы лучше потолкуем полчасика без него.

Через четверть часа в камине разгорелись щепки. Дробыш, переодетый, все-таки поеживался от озноба.

— Ну, если теперь я не схватил какую-нибудь чертовщину, значит, меня не берет.

Он взял в руки щипцы и стал задумчиво помешивать в камине.

— Знаешь, я до сих пор не знал этого чертенка Фроима. Сегодня мне вдруг припомнилась наша первая встреча, как он кинулся тогда на меня — чисто тигренок! Теперь, когда Фрума сказала в лодке о том, что ее выдают замуж... И сказала-то как-то так просто... Будто даже не понимает, в чем дело... И только когда взглянула в лицо Фроима, то вдруг испугалась и заплакала... Черт его знает... Электричество, что ли, перед грозой, странное освещение, этот удар грома — только мне показалось, что на всех нас в лодке налетел какой-то нервный шквал.

— Да, сестра мне тоже говорила, что ей стало страшно.

— Ну да, конечно, это обстановка грозы. Но и, кроме того, еще, как бы сказать,— обстановка самого этого дела...

— Что ты хочешь сказать?

— Как ты думаешь: что это у Фроима — действительная любовь?..

— Возможно, но мне кажется — скорее ребячество.

— Да, много ребячества, и еще неизвестно, во что бы это перешло... Но он серьезно думал обручиться с нею или даже повенчаться тотчас по окончании гимназии. И кажется, что родители это одобряли. Правда, ему еще рано, а она и совсем почти ребенок... Но у них это можно. Обвенчали бы, обрили бы у нее волосы, надели паричок... Он поехал бы себе в университет, а она росла бы здесь, считаясь его женой... А если бы не повенчались — он уехал бы в Петербург, пожалуй, влюбился бы там, может быть, даже в христианку... Вообще, все бы пошло по-обычному.

— А теперь?

— А теперь, брат, я думаю, что это дело серьезное...

Он опять помешал щипцами и некоторое время неподвижными глазами смотрел на огонь.

— Видишь... Я тебе скажу правду. Мне было очень тяжело, когда... Ну, когда Маня и этот франт Зильберминц... Одним словом, ты понимаешь... Мне и теперь еще тяжело говорить об этом... И главное — знаешь что... Самое тяжелое то, что... ее взяло у меня что-то чужое... Точно протянулась лапа из какого-то другого, не нашего мира и схватила существо самое мне дорогое... Стой, кто-то идет... Не Фроим ли?

Вошел не Фроим, а Израиль... Он остановился и вопросительным взглядом посмотрел на нас. На лице Дробыша, обыкновенно веселом и беспечном, он увидел непривычное выражение... Дробыш протянул руку и, усаживая его против камина, сказал:

— Садись и слушай. Тебе все равно тоже нужно знать. Только, брат, прости: я буду продолжать, а ты уж сам лови связь... Так вот, я и говорю: именно лапа из другого мира.

— Но ведь Фроим тоже еврей... Для него это не так уж мистически ужасно. Для Мани, например, ты сам был бы, может, лапой из другого мира...— сказал я.

— Да, для Мани... может быть... Да, может. Она осталась еврейкой, и когда господин Зильберминц, с его смокингом и европейской внешностью, но с чисто ев-

рейским вековым миросозерцанием, галантно протянул ей руку для жизненной кадрили, она согласилась легко и грациозно... Ты, брат Израиль, прости меня: мне было очень тяжело, пока я пришел к этому выводу, но... ведь Маня действительно была не наша... Ну, скажем, так же, как не наша была бы родная дочь телом и духом какого-нибудь Ферапонтьева, только с некоторым осложнением в оттенках... Ты меня понимаешь?

Израиль молча кивнул головой.

— Так вот, я и говорю: тут все было честно и благородно — свободный выбор! А теперь, брат Срулик, мы будем говорить о Фроиме и Фруме... Ты уже знаешь. Да? Ну так вот, он тоже узнал там на пруду от Фрумы, что ее выдают за ешиботника... Он сразу так изменился в лице, что передо мной был совсем другой человек. Во всяком случае, другой Фроим, которого мы не знали.

— Я знал,— тихо сказал Израиль...

— И вот я думаю, что тут к ребяческой, может быть, любви прибавилось то самое, то есть лапа из другого мира. Ты говоришь: он еврей... Но, по-моему, он не еврей...

Израиль опять кивнул головой.

— Я скажу больше: вот нас сейчас здесь трое: русский, поляк и еврей... Чувствуем ли мы какую-нибудь разницу, что-нибудь разделяющее наши миры?.. Ведь нет!.. Правда? И это оттого, что... Как бы это выяснить точнее... Спросим себя: много ли в нас осталось от национальной веры... Ну хорошо. Допустим, что у вас коечто осталось... Ну, там... Magnus ignotus [1] и какой-то... алтарь неведомому богу... Но во всяком случае — это субстрат, нерастворимый осадок веры, без вкуса, запаха и цвета, без национальных особенностей... Так можно верить и здесь, и на Северном полюсе одинаково... По теории Дарвина... Нет, к черту теорию Дарвина... Проще сказать: среди вечной борьбы биологических, национальных, социальных и всяческих форм — начинает зарождаться новый вид человека, новая национальность, что ли... Я бы сказал: национальность общечеловека. Фроим — еще мальчик. Рассуждает он гораздо меньше нашего, но он инстинктивно — большой патри-

---

[1] Великий неизвестный *(лат.)*.— *Ред.*

от этой новой национальности. Все мы относимся к другим, прежним национальностям — равнодушно, то есть терпимо. А заметили вы — с какою страстностью он высмеивает миросозерцание, характер, веру этого мира хедеров и ешиботов... И вот теперь из этого именно мира появляется ненавистная лапа и протягивается к этой девочке, которую он любит или... думает, что любит... Понятно?

— Да, понятно,— сказал я, а Израиль опять утвердительно кивнул головой.

— Если бы вы увидели его там, на озере, как я, то вам не надо было бы и объяснять. Ну... что же нам теперь делать? Мне кажется, что необходимо принять самые экстренные меры.

— То есть?

— Да... Вот мы все говорили, решали, спорили... В теории опрокидывали миры. Приходится несколько встряхнуть не весь мир, но... и это гораздо труднее: близкий нам вот этот маленький мирок... Необходимо вырвать у них Фруму.

— Как?

— В том-то все дело: как?.. Времени было немного, но все же, пока этот сумасбродный мальчик держал и себя, и меня под дождем,— я думал об этом. Кажется, есть только одно средство.

Дробыш повернул свой стул и, усевшись спиной к камину, посмотрел на нас...

— Девочка примет православие.

Израиль сделал невольное движение...

— Но ведь это должно быть добровольно...

— Ну, так что же? Мы уговорим Фруму.

— Уговорите?.. В две-три минуты? Если еще Бася допустит свидание. Нет, это будет насилие.

Дробыш пожал плечами.

— А это, конечно, не будет насилие, если ее, без ее ведома... Да, конечно, без ведома, потому что без сознания, что с ней делают, отдадут за этого идиота.

— Он, наверное, совсем не идиот,— возразил Израиль спокойно.

— Ну, пусть он будет великий мудрец! Крайности сходятся, и мудрого талмудиста никак не отличишь от кретина... Во всяком случае, ни она, ни мы не знаем точно: идиот он или мудрец. А ее отдадут за него рань-

ше, чем сей вопрос будет разрешен. По-твоему, это не насилие? А! я знаю: вы оба опять, пожалуй, скажете, что я так просто решаю все вопросы, потому что у меня нет воображения... По-моему — воображение только мешает действию. Для действия нужна логика и бесстрашие. Ну хорошо... Ну, я представляю себе: Бася придет в неистовство, ее присные закричат: «Гевулт!»

— Ты думаешь, дело только в Басе и ее присных? — спросил Израиль.

— Нет, не в Басе и ее присных. Все евреи города тоже закричат «гевулт»... Служка из синагоги выскочит, пожалуй, на площадь, затрубит ....[1], как в судный день... Город, как Иерихон, сотрясается в своих основаниях... Так, что ли?.. Нет? И этого мало? Хорошо, будем воображать дальше. Господин и госпожа Мендель... Мой отец, дворянин Дробыш, его вот дядя — статский советник и тетка... Одним словом, «отцы». Конечно, возмутятся, будут негодовать на дерзкую мальчишескую выходку... Но, рассуждая о переворотах, вы разве думали, что все это можно сделать к общему удовольствию, что это не вызовет столкновения взглядов даже с близкими, с любимыми из старших поколений? Но тогда — это вы лишены воображения, а не я. И вот, при первом приступе, можно сказать — репетиции в малом виде, вы уже боитесь. Своему воображению вы даете волю только задним ходом: вы так ясно видите неудобства при осуществлении того, что должно быть... Я вижу гнусность того, что есть... Воображение мое манит возможным успехом, а не пугает возможной неудачей. Уверен, что и у Фроима тоже. У него темперамент, несомненно, будущего революционера.

На некоторое время водворилось молчание. Потом Израиль сказал, обдумывая каждое слово:

— Слушай, Дробыш, что я тебе скажу. Ты верно указал на «новую нацию». Мы все зародыши этой нации... Но как ты думаешь: у этой нации есть своя вера?..

— А,— махнул рукой Дробыш.— Это будет что-нибудь от Спинозы, то есть «на городі бузина»... Ей-богу, некогда пускаться в отвлеченности!

---

[1] Пропуск в рукописи.— *Сост.*

Но Израиль продолжал:

— У нее есть своя вера... Эта вера — свобода. Она не позволяет делать что-нибудь, нарушающее эту веру. Ты говоришь, что глядишь в будущее. Это хорошо. Но ты говоришь себе: будущее... оно будет, и делаешь вывод: настоящего уже нет. А оно есть, и оно еще живо, и оно страдает и болит... И оно имеет свои права, и эти права определяются не его, а *нашей* верой — в свободу!..

— Пока мы будем рассуждать о правах... наших противников,— нетерпеливо начал Дробыш, а я докончил:

— Скоро вернется Фроим.

— Ну хорошо,— смиренно согласился Израиль.— Я буду говорить о деле... У нас, по еврейскому закону, есть одно правило. Если мужчина наденет кольцо на палец девушки и скажет: «Беру тебя в жены именем бога праотцев наших — Авраама, Исаака и Иакова...»

Дробыш вскочил на ноги.

— То она становится его женой без дальнейших формальностей? Ура, Израиль! Я что-то слышал в таком роде... Ты это хочешь сказать?.. Да?..

— Я хочу сказать, что если удастся вызвать сюда Фруму, разъяснить ей все и спросить об ее согласии....

— Ну, ну, конечно, конечно! Разумеется, спросить о согласии!.. Я уверен, что она согласится. Вот он видел этого «соперника». Можно ли сомневаться, что она предпочтет нашего Фроима этому сопляку? Ура! Теперь я не боюсь, что мне нечем встретить Фроима, когда он вернется... Давайте обсуждать подробности...

Через четверть часа пришел Фроим. Лицо его было теперь красно. Глаза горели. Прямо с порога он заговорил:

— Ну что, придумали?.. Я говорил с матерью...

— Ну? И что же она?— с любопытством спросил Израиль.

Фроим махнул рукой, и глаза его гневно загорелись:

— Ничего! Она не может понять... В ней говорит самолюбие. Ее Фроиму предпочли ешиботника!.. «Чтобы Мендели искали у Эпштейнов». Одним словом — тут безнадежно. У отца тем более. С ним я и не говорил. Приходится действовать нам самим. Я придумал: мы украдем Фруму.

— Ну, не говори пустяков...— перебил Израиль. Украдешь! И куда же ты денешь ее?..

— Мы примем православие и повенчаемся...

Теперь глаза у Израиля загорелись, и в лице появилось выражение, какое я видел на площади в день приезда рабби Акивы. Но Дробыш перебил его:

— Разумеется, в этом не было бы ничего ужасного. Один предрассудок заменить другим. Вот и все... Но слушай: Израиль придумал другое.

Когда Фроиму объяснили план Израиля, он вдруг кинулся бурно обнимать брата, лицо которого оставалось при этом озабоченно и серьезно...

— Постой, сумасшедший,— сказал я.— Давай поговорим толком... Но ты, кажется, дрожишь? Хочешь, подкинем дров в камин?

— Да, что-то немного знобит... Хорошо, подкинь...— Его действительно передернуло мелкой дрожью, но тотчас же он заговорил радостно:— Ну, наше дело в шляпе... Вызовем сейчас Фруму...

— Постой, надо все-таки приготовиться. Нужны свидетели... Кольцо... Прежде всего вызовем сюда Аню...

Я вышел и через минуту вернулся с Аней. Входя, она с тревогой и любопытством поглядела на нас. Дробыш рассказал ей, в чем дело, и спросил:

— Согласны вы помочь нам, Аня?

Аня задумалась.

— Мне так жаль Фруму и...— Она посмотрела на Фроима и прибавила:— Да, я согласна... Но... как же это?.. Надо сказать маме...

— Ни слова никому! Вы сейчас пойдете к Басе под предлогом справиться о здоровье Фрумы после грозы... Бася, конечно, не помешает вашему свиданию. И вы передадите Фруме записочку... Чтобы она как-нибудь урвалась и прибежала к вам завтра...

— Завтра... мои именины. Не надо и записки. Можно сказать при Басе...

— Ну и отлично...

— Фруму надо предупредить?..

— Не надо,— быстро сказал Фроим.— Пусть только придет...

Сестра ушла и через полчаса вернулась. Она была задумчива и озабочена.

— Видели?— кинулся к ней Фроим.

— Да, видела... И напомнила о дне рождения. Бася немного помялась, но все-таки согласилась отпустить. Ей, кажется, совестно за ее грубость... И «этого» тоже видела, в другой комнате. Бася лебезит перед ним, а он точно никого не видит, Фруму тоже не видит, а она смотрит на него со страхом, точно это бука...

— Ну, значит, все отлично,— сказал Фроим, потирая руки, а Дробыш спросил:

— Вы хотите сказать еще что-то, Аня?..

— Нет, ничего... Только, это так страшно...

— Ну, разумеется, страшно. Но не бойтесь — мы этого не допустим,— сказал Дробыш.

— Нет, я не об этом... Вообще страшно... всё, всё... и мне кажется, право... она не согласится...

— Ну, какие пустяки!.. Неужто предпочтет этого меламеда?

— Нет, конечно... Но и это тоже страшно...

На следующий день около полудня у нас стали собираться гости. Пришли поздравить г-н и г-жа Мендель, г-да Фаворские, г-да Ивановы, г-да Сапоженские, вообще знакомые. Дамы поздравляли тетку, целовали Аню, ели торты и пили за здоровье. Целый цветничок барышень окружал Аню.

Пришла наконец и Фрума...

Мужчин было мало: день был будничный, все были в канцеляриях и вообще на работе. Были, конечно, оба брата Мендель и Дробыш... Мы переглядывались и нервничали. Аня была рассеянна и порой отвечала невпопад. В молодом обществе царствовала какая-то непонятная неловкость, которая передавалась и старшим.

Кто-то заговорил о Басе и о сватовстве, не замечая Фруму. Г-жа Мендель покраснела, и ее доброе красивое лицо приняло несвойственное ей выражение упрямой суровости. Г-н Мендель, глядя как-то в сторону, поглаживал снизу и сверху курчавую бороду... Тетка быстро перевела разговор, но этот инцидент внес еще большую неловкость... Дамы начали подыматься, чтобы уходить. Тетка была огорчена, чувствуя, что «именины» решительно не удались, и не знала, чем объяснить эту неудачу. Фрума тоже сказала, что отпущена ненадолго. Лицо ее было как-то не по-детски печально, и она смущалась любопытными взглядами, которые на нее кидали девушки и дамы.

— Я пойду уже,— сказала она тихо, подходя к сестре.— А то бабушка будет сердиться и пришлет за мной...

Фроим, сидевший в углу с лицом то бледневшим, то красневшим, резко поднялся. Но Аня сжала Фруму за руку, что-то шепнула ей и, подойдя ко мне, сказала:

— Идите в сад, к беседке. Я приведу Фрумочку. А что же Фриденсон и Гершович?.. Не пришли?..

Фриденсон и Гершович были два студента, обещавшие явиться в качестве свидетелей. Это были сыновья местных богачей, и мы выбрали их нарочно, считая, что их свидетельство будет иметь большую силу. К нашему кружку они не принадлежали, но оба были под некоторым обаянием обоих Менделей, особенно Фроима, и согласились участвовать в заговоре, с условием, что потом, когда дело дойдет до подтверждения свидетельства,— они заявят, что были при этом случайными именинными гостями...

Теперь их не было. Но когда мы вышли в сад, Гершович явился. Это был молодой человек с очень белым и очень розовым лицом, с медлительными и медвежеватыми движениями. Теперь он шел особенно медленными шагами и смутился, узнав, что Фриденсона нет... Казалось, если бы было возможно, он бы охотно сбежал.

Дробыш был весел, Израиль, по обыкновению, молчалив и серьезен, Фроим сильно нервничал. Все мы сидели в беседке и нетерпеливо ждали.

Наконец в конце аллеи со стороны дома замелькали платья. Сестра быстро вела за руку Фруму, которая оглядывалась с некоторым недоумением. Ее круглые детские глаза, когда они подошли к нам, были как-то трогательно испуганны и беспомощны.

— Там за Фрумой уже пришли,— торопливо сказала Аня,— Бася приказала прийти сейчас же... Значит...

Она остановилась и перевела дух. Видно было, что она сильно взволнована. Фрума посмотрела на нее с ожиданием и вопросом. Потом она обвела всех нас тем же вопросительным взглядом, едва скользнула по фигуре Фроима и дольше остановилась на лице Израиля, который смотрел на нее с особенным выраже-

нием какого-то особенного мудрого и понимающего участия...

Фроим подошел к ней и заговорил:

— Слушай, Фрумочка... Надо бы объяснить тебе... но времени у нас мало... Ты мне веришь? Ты знаешь, что я тебе не желаю зла... Веришь нам всем, что то, что мы хотим сделать,— хорошо...

Он провел рукой по лицу, как будто что-то старался стряхнуть с себя, и, посмотрев на Дробыша беспомощным взглядом, сказал:

— Я чувствую что-то... я не могу все... ясно. Объясни ты...

В это время от дома с заднего крыльца, которое вело на кухню, послышался голос:

— Фрумэ-э... Ком а ги-ир...[1] — Кричавшая прибавила что-то еще по-еврейски. Можно было понять, что прислуга Баси получила какие-то решительные инструкции и готова пуститься тотчас же на поиски. Фрума вздрогнула и двинулась было на зов. Но Аня обняла ее за талию и нежно удержала на месте. Девочка прижалась к ней, и ее круглые глаза опять посмотрели на всех с испугом и вопросом.

— Фрумэ-э...— послышалось опять от крыльца.

Дробыш решительно подошел к Фруме и взял ее за руку.

— Вот что, милая Фрумочка. Сейчас Фроим подойдет к вам... Иди сюда, Фроим... И наденет вам на пальчик вот это кольцо... Дайте сюда палец. Фроим, иди же сюда... Ну вот... Тогда вас уже не выдадут за этого противного цадика. Вы будете женой Фроима... Дайте руку...

— Фру-у-мэ-э!..— Голос звучал уже ближе... и наводил на всех нервную торопливость.

— Да что ты это, Фроим! Шевелись скорее. У тебя дрожат руки. Ну, дай сюда... На который палец?.. Все равно? Ну, вот так... Фроим, говори скорее, что надо...

— Фру-умэ...— Голос был совсем близко. На боковой тропинке уже мелькало меж кустов красное платье толстой служанки...

Фроим торопливо шагнул к девочке и сказал:

. . . .

[1] Фрума... Иди сюда *(евр.)*.— *Ред.*

Лицо его было теперь очень бледно, шрам над глазом горел багровым цветом. Фрумочка, взглянув ему в лицо, вдруг вскрикнула: «Вай!.. Их . . . . . [1] Боюсь! Боюсь!..» и, вырвав у Дробыша руку, на которую он надевал кольцо, вдруг повернулась и побежала через кусты навстречу служанке... Через минуту из кустов послышался резкий, почти исступленный голос служанки... Я узнал могучее контральто, почти бас, оглашавший площадь в день приезда Акивы. Таща за собой Фрумочку, разъяренная баба вышла из кустов к нам на площадку и стала быстро и сердито говорить по-еврейски...

Дробыш выступил ей навстречу и сказал:

— Ну . . . . [2] ладно. Не кричи, пожалуйста. «Гей цур балабусте...» [3] Скажи, что Фрума повенчалась с Фроимом... Да смотри, не ори во весь голос... Не поможет.

Женщина, только тут понявшая, в чем дело, сначала прямо окаменела с открытым ртом, потом хотела, очевидно, разразиться криком и ругательствами, но Дробыш зажал ей рот, а Израиль подошел к ней совсем близко и сказал своим убедительным голосом по-еврейски:

— Слушай, женщина! Не надо кричать. Ступай к своей хозяйке и расскажи ей первой. Пусть посмотрит кольцо на руке Фрумы... Если она захочет, чтобы ты выскочила на площадь и принялась кричать об этом... Тогда...

— Тогда хоть надорви глотку, нам все равно,— закончил Дробыш, немного понимавший, как и я, местный еврейский жаргон.

По-видимому, служанка поняла. Она крепко стиснула руку Фрумы, и скоро обе фигуры исчезли на заросшей тропинке...

— Теперь, брат, ау! Кончено. Но что это с тобой, Фроим? Ты как вареный: не мог сам надеть кольцо. Постой, дай руку! Да у тебя жар... Ступай скорее домой и ляг в постель. Отведи его, Израиль, и позови доктора. Ну, ступай, Фроим. Не беспокойся. Дело все-таки сделано.

---

[1] Пропуск в рукописи.— *Сост.*

[2] Пропуск в рукописи.— *Сост.*

[3] Иди к хозяйке *(евр.)*.— *Ред.*

— Да,— подтвердил Израиль.— Дело сделано... Ты ведь знаешь, Фроим. Если Бася упрется — она может вынудить развод. Но Эпштейн — коган... Ему нельзя жениться на разводке... Значит, во всяком случае Фрума от этого брака избавлена.

Фроим радостно улыбнулся, и оба брата пошли к дому. Израиль с ласковой заботой обнял его за талию и говорил что-то, наклоняясь к нему.

— А где же еще наши?— спросил Фроим, оглядываясь.— А, вот они в беседке.

Действительно, Аня и Гершович были в беседке. Аня наклонилась к столу и плакала. Гершович, далеко не такой румяный, как обычно, смотрел на нее с глуповатым смущением. Оказалось, что он убежал в беседку при приближении служанки. Дробыш, к которому вернулась его беспечная уверенность, стал шутить над ним, и ему удалось успокоить Аню. Вид толстого Гершовича, боявшегося, что он попал в schlechtes Geschäft [1], был действительно очень комичен.

Мы решили вернуться в дом, где, быть может, были новые посетители.

— Каша заварена,— сказал весело Дробыш.— Дальше все пойдет уже естественным ходом. Нам больше делать нечего...

Вдруг он быстро наклонился к земле и поднял что-то в песке. Теперь лицо его тоже вытянулось и напоминало отчасти лицо Гершовича.

В руке у него было золотое колечко...

— Бросила, значит... Или я не надел?..— Он смотрел на маленькое колечко с комическим недоумением.

Нам, впрочем, было не до смеха, и мы пошли к дому, опечаленные и смущенные...

На следующий день мы узнали, что Фроим лежит в бреду...

Бася была женщина умная. Ни на другой день, ни в следующие дни — никто в городе не говорил ничего об истории с импровизированным бракосочетанием. А еще через некоторое время она, как ни в чем не бывало, явилась к тетке с своим узлом. Тетка была ей рада. Бася

[1] Плохое дело *(нем.)*.— *Ред.*

спокойно развертывала ткани, спокойно торговалась, и только, когда я вошел в комнату, ее глаза сверкнули особенным блеском.

— Здравствуйте, Бася,— сказал я, немного смущенный.

— Дай бог и вам здоровья,— ответила она и, обернувшись к тетке, сказала: — Я всегда говорю: это — счастье иметь таких детей. Чистое золото, как я еврейка!.. Ну что, если он не сын, а только племянник... Хорошо иметь и такого племянника... А где же барышня?.. Учится?.. В своей комнате?..— Бася кинула быстрый взгляд по направлению соседней комнаты сестры, дверь которой была не вполне притворена, и спросила с любопытством: — А кто ее учит? У нее несколько учителей?.. Так. Хочет сдавать экзамен? Хорошее дело... Только зачем барышне держать экзамен? Барышне надо жениха. А теперь вот?.. Сейчас... кто ее учит?.. Господин Дробыш?.. Ну, я видела, что к вам шел господин Дробыш. И подумала себе: зачем господин Дробыш идет так рано? Ну, он оч-чень умный, этот Дробыш. Вай! Вай! Правда?

Предлагая этот вопрос, она внимательно посмотрела на тетку, которая спокойно рассматривала товары и теперь с легким удивлением подняла взгляд на Басю. Умная еврейка поняла, что тетка ничего не знает. Она перевела иронический взгляд своих молодых глаз... Я сильно покраснел.

— Господин Дробыш оч-чень умный... Он приятель такого хорошего молодого панича... Ну, а известное дело: скажи, с кем ты приятель,— я уже знаю, кто ты сам. Он учит вашу барышню... Цц-ццы, ццы... Такая прекрасная барышня, почти невеста... Надо хорошего учителя...

— Что вы это, Бася,— заинтересовалась вдруг тетка.— К чему вы все это говорите?..

— Ну, надо о чем-нибудь говорить... Люди любят иногда послушать Басю. Бася знает много любопытных историй. Вот, знаете, какая недавно была любопытная история в одном городе? Это даже недалеко от нас. Мм-мм-мм... Вы, может, уже слышали ее. Нет? Не слышали, как один ширлатан хотел жениться на одной еврейской девочке... Ну, он себе был тоже еврей... Вот, как Фроим...

— Бася... Фроим не шарлатан,— сказал я, чувствуя, что лицо мое загорелось от негодования.

— Ну-у... как это можно, я говорю только, что он был такой же... ему было столько же лет... Ну, и он захотел жениться... А ему не хотели отдать. И эта девочка тоже не хотела. Так вы знаете, что он сделал? У него был приятель, тоже ширлатан порядочный, как вот Дробыш. Что-о? Я говорю, что Дробыш ширлатан?.. Боже сохрани, говорить, что господин Дробыш ширлатан. У него такой отец... Вай, вай... Ну, только ему было столько же лет... И он был студент... И они придумали. Ой, что они придума-а-ли!

Она покачала головой и посмотрела на меня, лукаво улыбаясь.

— Эта девочка пришла себе в гости к очень хорошим людям. И у них была такая хорошая барышня! Она, конечно, ничего не знала, что задумали эти ширлатаны. Она ходит себе в саду с этой еврейской приятельницей, и они себе так хорошо разговаривают... ну, о разных вещах. Мало ли есть о чем поговорить молоденьким барышням! А эта девочка, хоть и еврейка, но она была feines Fräulein [1], совсем-таки барышня. И вот, подумайте. Вдруг подскакивает к ним из кустов этот ширлатан, этот шейгец, этот шибеник и хочет надеть кольцо и сказать одно слово... Ну, такое слово, такое слово... что после этого девушка станет все равно что его жена... Может, вам совсем нелюбопытно слушать эту историю? — вдруг спросила она, поворачиваясь к тетке, которая слушала, наоборот, с величайшим интересом.

— Вы говорите — любопытно? Ну хорошо... Так я буду рассказывать до конца... Я говорю, что он выскочил из кустов... И с ним этот другой ширлатан, который похож на господина Дробыша... И они говорят этой девочке: «Дай сюда руку. Скорей, скорей». Ну, она разве понимает, какие у него мысли, и она дает руку... Тогда тот, другой ширлатан говорит: «Что ты такой неловкий, не умеешь надеть на барышню кольцо. Давай сюда... Я надену. А ты себе говори слово...» И он надевает кольцо, а тот сказал слово... А я еще не сказала, что у этой девушки был другой жених. О, какой это жених! Это счастье иметь такого жениха... Ученый...

---

[1] Благородная девушка *(нем.)*.— *Ред.*

— Ну уж, Бася. У вас все ученые женихи хороши,— сказала тетка, улыбнувшись.

— И, наверное, девушка не любила этого ученого сопляка,— вставил я шпильку, чтобы отомстить Басе за иронию.

— Ну, что вы думаете? Только гимназиальная наука хороша? А наша ничего не стоит? А вы, молодой господин, говорите: «Не любила»?.. Ну, где это сказано, что невеста должна раньше полюбить, а потом повенчаться? Когда же это должно быть совсем наоборот! Разве Ривке видела Исаака раньше, чем вышла замуж? Вы знаете — у нас невесте закрывают лицо. Зачем? Затем — ей незачем смотреть на жениха до свадьбы... Яков разве не женился на Лии, когда он думал, что это Ривка?.. Вы говорите: это плохо... А мы считаем, что это очень хорошо. Разве глупая девочка может выбрать?.. Что она знает? Она ничего не знает... Бог знает лучше.

— Ну, Бася. Эти, извините, глупости мы уже от вас слыхали... И нам так жаль вашу Фрумочку. Бога вы не боитесь. Погубите девочку... Потом будет вас проклинать...

Бася опять пытливо посмотрела на тетку и продолжала:

— Проклинать? Почему же я не проклинаю моего отца? Вот аккурат так же думали и они. Они думали: «Мы больше знаем, чем бог...» И потому этот ширлатан хотел устроить всю историю. И надо вам сказать...

В это время дверь отворилась, и из комнаты сестры вышел Дробыш. Его лицо с буйным русым вихром над лбом было, как всегда, беззаботно-весело... Он любезно поклонился и сказал, улыбаясь:

— Имею честь кланяться madame Басе... Мы тут занимались и невольно слышим, что вы рассказываете. Я тоже немного знаю об этой интересной истории. И знаете, что мне сказали об ней умные евреи?..

В глазах Баси на мгновение сверкнула гневная искорка, но тотчас же они опять загорелись веселым задором.

— Ну, что они могли сказать?.. Это, верно, господин Мендель... Он очень, очень умный, этот Мендель. Что же такое он говорит?

Брови Дробыша чуть-чуть сдвинулись.

— Господин Мендель даже еще не слыхал ничего об этой истории,— сказал Дробыш серьезно и с оттенком неудовольствия...— Вы думаете, во всем городе только господин Мендель умный еврей? Есть еще очень много умных евреев... И в нашем городе, и приезжих, хотя бы из Бердичева, или Гомеля, или Шклова.

— Ну, и что они говорили вам, ваши умные евреи?

— Они говорят, что если жених надел кольцо...

— Ну, а если он не надел кольца?..

— Все равно. Можно и не надеть непременно на палец... Можно просто дать кольцо или вещь, не дешевле одной перуты...

— Дать... Ну, а если она не взяла?.. Если кольцо просто упало на землю?..

— Ну, это еще вопрос, упало или не упало. И еще надо знать: упало оно ближе к нему или к ней?.. Если он успел дать его в руки, когда говорились слова, тогда — кончено. После этого надо непременно развод... А если тот жених — коган, из колена Левита, то ему (вы знаете?) нельзя жениться на разводке...

И Дробыш, улыбаясь, посмотрел на Басю...

— И это все, что они вам говорили, эти умные евреи?

Дробыш взмахнул несколько раз золотым пенсне на шнурке и сказал беспечно, чуть-чуть растягивая слова на еврейский лад:

— Ну-у?.. А что вы хотели бы еще...

Бася посмотрела на него и вдруг на ее лице заискрился такой веселый смех, что Дробыш несколько оторопел...

— Ну, они, видно, очень умные, ваши евреи. Пусть они будут такие умные, как Мендель. А все-таки они не знают...

— Чего же?

— Ну...— Бася прищурила глаз и лукаво посмотрела на молодого человека.— Ну, я вам скажу... Этот господин, который похож на вас... он очень умный, ух, какой умный... Только еще не очень... Зачем он сам надевал кольцо? Закон такой... Ну, это правда: если еврей даст девушке кольцо или что-нибудь ценное и скажет такое-то слово... Вы знаете?.. Ну, она ему жена... А если гой даст что-нибудь, а еврей скажет слово... Кто же будет муж?.. Этот гой будет муж?..

Она посмотрела на него своими красивыми глазами и вдруг залилась молодым смехом... По выразительному лицу Дробыша прошла тень озабоченности и недоумения... Оно очень напоминало то выражение, с каким он подымался в детстве с цветочной клумбы, на которую его кинул Фроим...

Бася продолжала хохотать. Тетка с недоумением смотрела на происходящее, понимая, что тут не отвлеченный спор, но еще не отдавая себе полного отчета в происходящем [1].

1915

---

[1] На этом рукопись обрывается.— *Сост.*



ПУБЛИЦИСТИКА

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О НАЦИОНАЛИЗМЕ

В одной из статей, напечатанных года три назад в «Русском богатстве», проводилась уже параллель между просто здоровым и «ультраздоровым», так сказать, тенденциозно здоровым человеком. Просто здоровый человек не чувствует и не носится со своим здоровьем. Если у вас легкие здоровы — вы просто дышите ими, даже не замечая этого,— и даже в том именно и состоит самая сущность здоровья, что организм легко и свободно выполняет все свои функции, не тратя на это ни внимания, ни лишней нервной силы. Если же вы встречаете субъекта, который слишком носится со своим «здоровьем», постоянно говорит о нем, кстати и некстати, даже иной раз хвастает «отличным состоянием своего желудка, печени или легких», то у вас невольно закрадывается сомнение, и вы начинаете думать, что, вероятно, у этого ультраздорового человека не все ладно если не в желудке, то в нервном настрое. И во всяком случае — трудно признать такого тенденциозно здорового человека приятным собеседником, а его излюбленную тему — приятным предметом разговора...

То же можно сказать и относительно некоторых предметов более тонкого свойства. Истинное достоинство личности, ее «честь», как и ее здоровье, составляет лишь общий тон поступков и действий, от всей совокупности которых на вас веет особым тонким ароматом нормального душевного строя, который составляет лишь фон поведения личности. И только в тех случаях, когда внешние, случайные и во всяком случае экстраординарные обстоятельства этого потребуют,— твердо сложившееся личное достоинство человека, его честь скажется в поведении просто, непринужденно и твердо. При этом первый признак такого истинного личного достоинства — спокойное уважение его и других. Когда

же, наоборот, вы встречаете субъекта, который постоянно говорит о «своей чести», носит ее перед собой, как некий ковчег, в котором заключено что-то драгоценное, но для него внешнее, и при этом выражает постоянную готовность не только поддержать свою честь против предполагаемых оскорблений, но еще во имя *своей* чести — оскорбить и растоптать чужую,— вы сразу определяете, что именно личное достоинство у такого субъекта отсутствует. Это «не джентльмен»!— говорят о таких господах англичане, а в наиболее резких проявлениях это уже дикое, некультурное и разнузданное бретерство.

То же можно было бы сказать о добродетели, которая у истинно добродетельных людей гнездится лишь в сердце, проникая все их поступки, но не сходит с языка у Тартюфов,— и обо многих других душевных и нравственных свойствах. На этот раз, однако, я хочу применить это маленькое наблюдение к патриотизму...

Что такое русский человек? Национальность наша есть факт, так сказать, первичный, сопровождающий нас от рождения и налагающий на нас свой отпечаток, естественно, неизбежно и непосредственно. Мы русские потому, что родились в России, дышали с рождения ее воздухом, глядели на ее убогую, грустную, но порой и прекрасную природу, выражали свои чувства звуками ее речи, первую свою любовь, и свой первый гнев, и все другие ощущения отдали русским же людям. Это факт, который, конечно, не может не сказаться в нашем душевном строе и во всем поведении. Он не должен мешать нам видеть свои недостатки и чужие достоинства, но он залегает в глубине души каким-то узелком ощущений, вследствие которых наши недостатки нам ближе и больнее, а наши достоинства, когда они проявляются в действии,— тоже ближе и приятнее. И все вместе — достоинства и недостатки — чувствуются нами непосредственнее и интенсивнее, чем свойства других народов... Но это не должно заставлять нас любить и прославлять недостатки лишь потому, что они наши, и отрицать чужие достоинства, потому что они чужие... И прежде всего человек, у которого в душе есть истинное ощущение национального достоинства,— не станет выпячивать его в ущерб другим, так же, как не станет выпячивать своей, никем еще не затрагиваемой «чести».

Но есть просто русские люди, то есть прежде всего люди мыслящие, рассуждающие о добре и зле, о чело-

вечном и бесчеловечном, об истине и лжи, и все эти высшие определения, приурочивающие неизбежно и непосредственно к родной среде и родному краю... И есть ультрарусские, сугубо русские, «истинно-ррруcские» патриоты, которые носят ковчег своего патриотизма, как бретер носит ковчег своей чести,— тенденциозно, нарочито озираясь на соседей, толкаясь и вызывая... Этот вид выпяченного, гипертрофированного и нездорового патриотизма называется в последнее время «национализмом» в его особом современном значении. Национализм, как известно, особенно сильно и не особенно для себя выгодно нашумел в последние годы во Франции, выдвинув господ Эстергази и Гонзов, Буадефров и Анри Режисов и Геренов и многих им подобных... Сказывается он и в других странах с большим или меньшим треском и, к сожалению, дает себя чувствовать у нас вообще — и в частности проявляется все с большею силой в последние годы. Nous sommes les frrrancais! [1] — демонстративно и громогласно восклицает французский националист и, констатируя этот никем не оспариваемый факт, тотчас же опять прибавляет: mort aux juifs! [2] «Мы ррусские люди» (или еще лучше — ррусаки),— говорят наши националисты и тотчас же опять прибавляют: «Долой жидов, долой немцев, долой поляков» и т. д., и т. д. А так как, разумеется, первого утверждения никто не опровергает, то, по самой логике вещей, вся суть явления, его центр тяжести переходит во вторую половину формулы. Таким образом, реальное содержание национализма сводится на «отрицание» других национальностей. Национализм обращает непосредственный патриотизм в патриотизм бретерствующий, наступающий на других, «воинствующий», оскорбляющий...

Само собой разумеется, что та формула патриотизма, которую мы привели выше, заставляющая, между прочим, особенно сильно чувствовать отрицательные свойства нашей жизни именно потому, что они наши,— что ими болеют и от них страдают именно и прежде всего люди нам наиболее близкие,— не может удовлетворить «националиста». Бретерствующий патриотизм не может признать своих недостатков, и опять по логике вещей очень скоро все *особенности* нашей жизни, уже потому,

---

[1] Мы французы! *(фр.) — Ред.*
[2] Смерть евреям! *(фр.) — Ред.*

что они наши, признаются добродетелями, а чужие отличия — обращаются сплошь в пороки... Когда этот процесс совершился — *национализм* готов, а *патриотизм?*.. С патриотизмом тогда неладно, совершенно так же, как неладно с здоровьем человека, который слишком много говорит о своем желудке, или с честью субъекта, который носится с нею, как с писаной торбой, всегда готовый растоптать честь своего ближнего во имя якобы своей чести...

Явление это у нас далеко не новое. Оно родилось вместе с поговоркой «шапками закидаем» и потом переживало различные стадии. От кичливого и самонадеянного оно переходило (в эпоху реформ) к настроению унылому и жалующемуся, а впоследствии все более и более подымало голову. Интересно, между прочим, что почти всюду оно сопровождается большей или меньшей склонностию к ретроградству. Как известно, Катков был либералом и даже конституционалистом в первом периоде своей литературно-общественной карьеры. Начало реформ он приветствовал самым горячим образом, и впоследствии в его собственных статьях противники почерпали сильные аргументы против его мракобесных нападок на все новшества, двинувшие вперед русскую жизнь. Этот поворот Каткова, быстрый и решительный,— совершился именно на почве болезненно задетого национализма. И разумеется, это не потому, чтобы новые формы жизни не уживались с истинным патриотизмом. Кто решился бы упрекнуть в отсутствии патриотизма Ланских, Ростовцевых, Милютиных, отдавших свои силы наиболее патриотическому делу — обновлению своей родины, еще рабской и полной, по выражению Аксакова, «черной неправды» и «всякой мерзости». Несомненно, однако, что движение вперед, прогресс и общественное совершенствование всюду становятся в более или менее острые конфликты с воинствующим национализмом наших дней. Во Франции он спаялся с католической реакцией, с аспирациями умершего легитимизма или авантюрами бонапартизма. У нас из рук мечтательного и далеко не во всем обскурантного славянофильства — он перешел к литературным партиям совсем иного склада, начиная с Каткова...

И опять характерная черта: когда г-н Суворин, некогда либеральный публицист, обратился во второй половине 70-х годов к вульгарному национализму — одним из первых его шагов в этом направлении было

именно пилигримство к Каткову, в то время уже совершенно определившемуся врагу всякого прогресса русской жизни. Катков принял прозелита и с присущей ему грубостию не пощадил щекотливых чувств новообращенного. Он заявил печатно об этом обращении и сообщил urbi et orbi [1], что г-н Суворин покаялся и решился «выкинуть либеральную дурь» из своей в то время уже седевшей головы... Еще полтора десятка лет, и г-на Суворина, бывшего Незнакомца, остроумного в свое время либерального публициста, с распростертыми объятиями встречает уже даже не Катков, а князь Мещерский, написавший в виде приветствия ко дню юбилея г-на Суворина, быть может, наиболее ядовитые строки из всего, что в изобилии сыпалось на г-на Суворина его врагами... Так совершается естественная эволюция по пути... не патриотизма, конечно, а только его суррогата — национализма, очень сильного в наше время...

Да, сильного, и это очень понятно. Русская культура еще очень молода. Печать — одно из ее самых еще молодых детищ. Совершенно понятно, что она далеко еще не приобрела всей той силы, которая нужна для борьбы со всякою тьмою, со всякими предрассудками и закоренелыми привычными ощущениями малокультурного русского общества. Вот почему ее борьба со всяким наследием прошлого, составляющая истинную задачу истинно патриотической прессы, так трудна и, по-видимому, малопроизводительна, а ее результаты так малозаметны. И вдруг в одной части этой печати пробуждается сознание, что и она может стать силой, тотчас же, немедленно, завтра,— что ее успех может стать «блестящим» во всех отношениях, стоит только... вместо борьбы с целыми залежами предрассудков толпы — перейти к союзу с ними, стоит начать разрабатывать эти залежи, сделаться выразителем не того, что еще только рождается в тумане будущего, а того, что уже прочно отлагалось веками и хотя бесповоротно осуждено в будущем, но в настоящем еще живо и полно всяких рефлексов. И вот часть печати от истинной патриотической борьбы за будущие «возможности», лежащие в зародышевом состоянии в нашем обществе и народе, переходит к борьбе за готовые шаблонные лозунги вульгарного якобы патриотизма, которые тотчас же без дальних

[1] К городу и миру *(лат.)*.— *Ред.*

рассуждений и вызывают отклики. И, разумеется, успех обеспечен — навстречу печати стремятся готовые рефлексы, толпа с удивлением видит, что ее нехитрые лозунги, производящие на нее необъяснимое, мгновенное, хотя и не осмысленное действие, вроде «всё англичанка гадит» или «жиды Христа распяли!» — теперь повторяются с печатных страниц «образованными господами», которые так ловко, красиво, умело и даже чувствительно развертывают их в целые фельетоны, передовицы, рассказы, изукрашая их стилистическими цветами и даже глубокомысленными историческими и иными соображениями... А она, толпа, думала, что эта новая сила — печатное слово — идет на борьбу с ее закоренелыми понятиями, что она хочет убедить ее, «что все люди братья» и что добиться действительного облегчения тяжкой доли гораздо труднее, чем изругать немца, притеснить поляка или избить ни в чем не повинного ремесленника-еврея... И толпа довольна. Она успокоилась, она рукоплещет и... читает.

И вот часть русской прессы, давно уже в силу разных условий привыкшей бить в сторону наименьшего сопротивления, развертывает свои силы в этом направлении и с некоторым даже удивлением видит, как ее тихо двигавшуюся по отмелям ладью вдруг подхватывает более сильная волна, и паруса надуваются ветром, и она несется, окрыленная внезапным успехом. Только... нестись приходится не туда, куда влекли вначале и мечты, и взгляды, и желания. Этот странный успех состоит в том, что «успевающий» идет как раз против того направления, куда намеревался идти... Он плывет назад, очень быстро и приятно по тому самому течению, с которым вначале боролся... Это краткая психологическая история многих крупных националистов, начиная, пожалуй, с французского Рошфора и кончая нашими Катковым и Сувориным. И характерно, что наиболее замечательными фигурами в этой области очень часто являются именно перебежчики из оппозиционного лагеря.

Разумеется, было бы чересчур грубо и потому несправедливо объяснять все дело слишком уж примитивно — корыстными мотивами, как это отчасти делалось в печати по поводу того же нововременского юбилея. Нет, я думаю, что тот сатана, которого так ругательски изругал господин Суворин перед своим юбилеем и которого, однако, по его словам, «все мы обнимали

и целовали»,— явился господину Суворину, как и Каткову, совсем не в виде прозаического и некрасивого денежного мешка... Но немедленное «признание», но «слава мира сего», но видимое значение, но поощрительные крики толпы, польщенной и потому тоже льстящей, но «огромное влияние» при значительно большей безопасности и т. д., и т. д.,— все это дается так трудно на пути борьбы с чувствами и формулами толпы и так неожиданно легко, так соблазнительно при примирении с этими формулами... «Я только еще начал действовать,— говорил когда-то Лассаль,— и страсть уже кипит в народе». Наши националисты могут сказать о себе иначе: «Мы еще не выступали, а страсти, которые мы теперь раздуваем, уже кипели в толпе...» Да, кипели и сказывались слепым высокомерием, предрассудками, ненавистью, еврейскими и всякими иными погромами с националистской окраской...

«Мне хочется, наконец,— писал когда-то г-н Суворин, в первые дни после своего националистского обращения,— новую монету в руке подержать...» И националисты нашей печати взяли в руки эту монету, не замечая даже, что она далеко не новая, стертая от употребления, загрязненная и часто окровавленная...

Но зато — очень ходкая...

Надеюсь, читатель не посетует на меня за это, может быть, не совсем обычное для хроникера, отступление, в котором я пытаюсь дать хотя беглую общую характеристику явления, очень распространенного в наши дни. О тех или других частных его проявлениях нам не раз приходилось и, конечно, еще придется говорить на этих страницах. В настоящее время мы имеем в виду отметить еще одно любопытное явление в этой области.

Таково, по нашему мнению, образование нового русского клуба или, вернее, «Русского собрания». Всякий клуб в России, состоящий из русских членов, уже тем самым, конечно, является русским в общем, не специфическом смысле. А затем уже он ставит себе те или другие специфические цели и задачи, которые намерен разрабатывать в России вообще или в таком-то городе в частности... Данное же общество является специфически русским, «истинно русским», и в этом его задача, то есть одно из условий своего существования он делает

своею целью... Уже из этого очевидно, что это клуб «националистский».

Это ясно также из первых шагов нового общества. Первые известия о возникновении его гласили только, что группа лиц с известными аристократическими именами задалась целью восстановить «древний строй русской одежды», и отныне члены этого общества будут ходить не иначе как в охабнях и мурмолках, в желтых и красных сапогах, а женщины в сарафанах и кокошниках. Это вызвало лишь некоторое веселье и послужило темой для нескольких более или менее остроумных фельетонов. Мы не можем сказать в точности, действительно ли таков был зародыш нового общества,— кажется, однако, что это именно так. Впоследствии, впрочем, идея быстро освободилась от этой несколько юмористической оболочки, времена, очевидно, назрели, к кружку примкнули люди литературные из националистского лагеря — гг. Суворин, Сигма, Энгельгардт, Комаров и многие другие, и — не прошло нескольких месяцев, как «русское общество» стало уже совершившимся фактом. Газеты сообщили и о заседаниях общества, в которых, надо думать, гг. Суворин и Комаров присутствовали в обыкновенных сюртуках и пиджаках, а не в парчовых кафтанах «боярского строя».

При этом оказалось, между прочим, что первый же параграф устава общества в первом же собрании подал повод для значительных недоумений. Параграф этот гласит об «исконных творческих началах» русского народа, поддержку которых общество ставит своею целью. И вот, как свидетельствует г-н Аф. Васильев, одним даже из учредителей общества ему задан был вопрос: «Что такое *исконные творческие начала,* о которых говорится в первой статье?» «Если,— совершенно резонно утверждает г-н Васильев,— даже у учредителя собрания возник такой вопрос, то позволительно думать, что для многих членов и, уж конечно, для многого множества русских людей... далеко не ясна основная цель нашего содружества и частные его задачи».

Чтобы разъяснить это недоумение, г-н Васильев прибегает к Священному писанию. «„*Искони* было Слово...“ — говорит он,— таково начало Нового Завета, по благовествованию Иоаннову. «Искони сотворил Бог небо и землю...»— таково начало Ветхого Завета, начало всякого бытия, всего сотворенного, по благовествованию Моисееву». «Итак, ἐν ἀρχῇ, *искони* — это первое слово

у Моисея и Иоанна; у того и другого оно одинаково гласит об исконном, или об изначальном, или, что то же, о безначальном начале всех начал — о божественном Слове...» «И если мы,— продолжает г-н Васильев,— этими священными прилагательными: «исконный» и «творческий» — определили те начала, которые мы поставили себе целью выяснить и проводить в жизнь, то тем самым мы наложили на себя и дали миру великий обет: быть служителями и вестниками *Слова...*» «Оно должно быть альфой и омегой, основанием и венцом... (и т. д.) всего нашего домостроительства, всей нашей работы во славу Ему, во благо русскому народу!»

К сожалению, сказать слишком много значит иногда — не сказать ничего. Если слова *исконный* и *творческий* сводятся к понятию, которое должно лежать в основании всякого начинания вообще, то недоумевающий «член содружества» остается при своем недоумении: каковы все-таки *исконные* начала, служащие, в частности, основой деятельности именно русского собрания, которое едва ли все-таки предсказывалось еще в книгах Бытия. Г-н Васильев, очевидно, это понимает и потому ставит вторично тот же вопрос: «Но устав наш говорит во *множественном* числе об «исконных творческих» началах русского народа. Что́ же это за начала, принадлежащие русскому народу?»

«Это,— принимается опять г-н Васильев за новое объяснение,— дыхание Божества, те благодатные дары Духа, которые заложены Творцом в природу нашего племени и нашего народа...» И т. д.— еще около 40 строк в том же роде, после которых — увы! — автор, как бы вдохновляемый представлением о недоумевающей физиономии своего вопрошателя, в третий раз возобновляет ту же неудающуюся попытку и опять, во всей первоначальной полноте, ставит тот же недоуменный вопрос:

«Но какие же именно исконные творческие начала были в течение веков и должны быть впредь определяющими в частной, общественной и государственной жизни русского народа?»

К сожалению, и третья попытка, составляющая содержание всего остального фельетона, кончается тем, что усилия автора истощаются в таких же благодушных, пожалуй, возвышенных словоизвитиях, как извилистая речка теряется порой в степных песках. Тут есть и община (итак — все члены «содружества» обяжутся

владеть землей не иначе как на общинном начале или хоть всеми мерами поддерживать его в крестьянстве?), и какая-то туманная «соборность». Наиболее понятными, пожалуй, являются как бы мимоходом запутавшиеся тут же два определенных указания: «образцовое, по мысли и сердцу русского народа, государственное устройство — такое, во главе которого стоит свободный в своих решениях государь, внимающий и уважающий соборный голос свободного в выражении своих мнений народа». Другое довольно определенное указание — на «народный строй одежды»... Как видите — тут мы имеем дело с старой славянофильской формулой, которая, однако, все же разъясняет нам немного, тем более что... является вопрос: в какой мере такое истолкование первого параграфа устава является общим его пониманием или же только личным благодушным пожеланием старого славянофила, силящегося видеть в «содружестве» воскресение убеждений и взглядов давно сошедшей со сцены общественной партии.

Впрочем, статья г-на Аф. Васильева и напечатана в «С.-Петербургских ведомостях» — газете далеко не специфически националистской, и мы привели ее как характерный признак: «содружество» до известной степени окрашивается присутствием славянофильской струи, но она журчит в нем хотя благодушно и даже в возвышенных тонах, однако далеко не внятно и не вразумительно.

Гораздо характернее, яснее и разборчивее те ноты, которые вносятся уже прямо органами национализма. По счастливой случайности, Петербург посетил в это время французский националист, г-н Андре Шерадам,— по словам «Нового времени» [1], автор сенсационной книги «Европа и австрийский вопрос на пороге XX века». Мы не знакомы с этой книгой и даже с именем знаменитого, быть может, француза. Во всяком случае, французский националист оказался очень кстати, чтобы благословить националистическое начинание в России. Его приезд произвел в среде «содружества» приятное оживление, а газеты, близкие к «Русскому собранию» («Свет» и «Нов. время»), поспешили, разумеется, поделиться со своими читателями авторитетным мнением опытного в этих делах француза. По наблюдению (вероятно, довольно стремительному) г-на Шерадама,

[1] Новое время, 1901, № 9049, 9 мая.

«в то время как во всех крупнейших государствах Запада в последние годы происходит усиленная концентрация национальных элементов,— у вас в России в интеллигенции необычайно сильно сказывается обратное движение — антинациональное...» И затем очень скоро он уже квалифицирует людей, не настроенных на воинственно-патриотический лад, как «врагов» своего отечества. Очевидно, французскому националисту (что, впрочем, совершенно понятно) приятно было бы видеть в России то же, что он видел у себя во Франции. Далее г-н Шерадам развернул в поучение своему собеседнику целый кошмар пангерманизма... «Печать России, Австрии и Франции» должна «солидарно и систематически следить за каждым движением пангерманской мысли, отмечать согласно и громко каждое новое поползновение „всенемцев“» и т. д. Одним словом, мы должны делать все то, над чем (например, относительно австрийской печати, видящей всюду панславизм) так смеется то же «Новое время» и что, вдобавок, у нас уже давно делается в не менее достойных смеха формах.

Другой учредитель «Русского собрания», г-н Комаров, поместил в «Свете» (№ 125) письмо того же Андре Шерадама в «Patrie Française»: «Я довожу до сведения читателей «Patrie Française» («Французского отечества»),— пишет г-н Шерадам,— о событии, которое им, вероятно, еще неизвестно, но важное значение которого выяснится со временем. Я хочу говорить о состоявшемся недавно в Петербурге основании «Русского собрания». Наиболее точным определением идеи, одушевляющей это собрание, может служить выражение: «Лига русского отечества». Уже одно название это ясно свидетельствует, что создание «Русского собрания» может быть сочувственно принято и приветствуемо «Лигою французского отечества». Действительно, цель, которую преследуют оба общества, совершенно сходственна. Всем известно, что в Петербурге существует сильно организованная немецкая партия (вот уже и открыта смертельная опасность). Ввиду успехов ее зловредного действия самые верные подданные царя уразумели, что если они, в свою очередь, не позаботятся о сосредоточении своего национального чувства, *подобно тому, как то делается у нас, во Франции* (курсив наш), то в конце концов успехи немцев сильно повредят интересам русской партии. На основании этого убеждения и возникло «Русское собрание». Весьма естественно, что создание

этого собрания встретило в известных группах (нерусских, но живущих в России) неудовольствие и порицание, подобно тому, с каким было встречено основание «Лиги французского отечества» (тоже, вероятно, не французами, но живущими во Франции, как, например, Эмиль Золя, Клемансо, Буржуа, Жорес, Вальдек-Руссо и многие др.). Даже и доводы те же самые. Говорят, будто основатели «Русского собрания» — реакционеры, ретрограды, господа, желающие восстановления крепостного права, и так далее... Мои наблюдения и изучения привели меня к убеждению, что все клеветы, взводимые до сего времени против «Лиги русского отечества», ни на чем не основаны. Члены «Русского собрания» *далеко не ретрограды, они прогрессисты,* но прогрессисты, признающие, что всегда необходимый прогресс должен совершаться и облегчаться на русской почве самими русскими, которые не должны допускать, чтобы *монополия в деле прогресса* (?!) предоставлена была людям различных рас, происхождение и интересы которых не имеют ничего общего с Россией и русскими... Гг. Суворин и Комаров, издатели «Нового времени» и «Света», *двух наиболее влиятельных в России газет,* находятся в числе членов-учредителей «Лиги русского отечества»... И хотя собрание это существует только несколько недель, к нему все в возрастающем количестве присоединяются офицеры и лица, принадлежащие к самым интеллигентным кружкам. «Лига русского отечества» живо интересуется иностранной политикой. Она глубоко убеждена в необходимости и в важности союза с Францией и в том, что другой политики для России быть не может. Каждый русский, желающий защищать исключительно (?) национальные интересы, должен обязательно желать политики, соответствующей французским интересам».

Эту маленькую французскую блягу с большим, разумеется, сочувствием цитирует «Свет» В. В. Комарова, разделяющего, по словам Шерадама, с г-м Сувориным славу издателя наиболее влиятельной русской газеты. Эти выдержки из наставлений французского националиста нововозникшей «Лиге русского отечества», сочувственно приводимые двумя наиболее влиятельными если не в России, то, во всяком случае, в «русском содружестве» газетами, показались нам гораздо более убедительными и характерными, чем добросовестные и благожелательные, но — увы! — совершенно безуспешные

попытки г-на Аф. Васильева разъяснить значение «исконных начал» и поставить возникновение русского содружества в непосредственную связь с «изначальным началом всякого бытия». Разъяснения приезжего француза гораздо лучше определяют род и характер будущего общества: немного славянофильской риторики, туманная славянофильская фразеология, звенящая, как кимвал, также и в некоторых статьях г-на Сигмы (очень недовольного «свободой, равенством и братством» гнилого Запада),— а затем очень определенная националистская программа: раздражение глухих инстинктов племенной вражды во вкусе «Нового времени» и «Света», преследование инородцев и кошмары воображаемых опасностей от всемирного союза еврейства, от «пангерманизма», от иностранных шпионов в Троицкой лавре, наконец, от всех «живущих в России, но не русских людей», которые позволяют себе предпочитать спокойный патриотизм сознающего свои силы народа — надменной суетливости и кошмарам бретерствующего национализма...

Pour la bonne bouche[1] — маленький курьез. Г-н Шерадам уверяет французскую публику, будто устроители «Лиги русского отечества» — прогрессисты, пламенно желающие вырвать «монополию прогресса» у каких-то, неведомыми путями захвативших эту монополию, инородцев. Не знаем, польстило ли или обеспокоило г-на Комарова это довольно-таки легкомысленное утверждение г-на Шерадама, но только в том же № 125 «Света», в котором помещено выше цитированное письмо, напечатано также стихотворное обращение поэта К. Карелина к «Современному философу». «Отвечай мне, мудрец,— строго спрашивает философа поэт «Света»,— на какой ты конец нам ученье свое излагаешь?..»

Люди счастья хотят, люди *смотрят назад,*
Лишь бы призрак его там увидеть:
Ты ж *толкаешь вперед* возбужденный народ,
Учишь «благо» его ненавидеть...

Не знаем, право, что сказал бы даже французский националист г-н Шерадам, если бы ему перевести эти стихи «прогрессивного» органа «Лиги русского отечества»? Впрочем, не менее, если еще не более характерна заметка в «Нов. времени» (№ 9053), в которой по поводу

[1] На закуску *(фр.).— Ред.*

того же радостного события (приезда г-на Шерадама) г-н Петербуржец противопоставляет национализму не только «сентиментальный космополитизм», но и... *гуманитаризм*, уже без всякого эпитета. По словам автора, «национализм, с одной стороны, космополитизм и *гуманитаризм* — с другой, поставлены ныне на очередь и на Западе, и у нас. Пресловутое дело Дрейфуса было ареной, на которой столкнулись эти два *враждебных друг другу* (курсив наш) течения».

Как видите, это уже очень определенно, и, быть может, с этим дополнением благодушно-туманные рассуждения г-на Аф. Васильева станут много понятнее.

1901

9 ЯНВАРЯ 1905 ГОДА

I

Бывают дни и бывают события, в которых, как в фокусе, сосредоточивается значение самых глубоких сторон данной исторической минуты. Разгадать их — значит найти верное направление для самых, быть может, определяющих шагов ближайшего будущего. Не разгадать, ответить слишком смешно и неправильно — значит дать ошибочный ответ на роковую загадку сфинкса. А ведь такой ответ, если верить мудрости древних,— значит возможность гибели.

Таково значение январских событий в Петербурге.

22 января мы узнали из газет, что кн. Святополк-Мирский оставил пост министра внутренних дел. Газеты всех оттенков провожают его более или менее сочувственными напутствиями. Русский человек со вздохом вспоминает первые дни «эпохи доверия»... Это было так недавно и... уже так давно...

Тогда же телеграф разнес по всей России известие о том, что Н. В. Муравьев оставляет пост министра юстиции. Никаких слов доверия русское общество от Н. В. Муравьева никогда не слыхало, и никаких вздохов за ним на новое место служения, в далекий Рим, вероятно, не понесется... Но все же и эта перемена в другое время вызвала бы много волнения и поставила бы много вопросов...

Наконец, в газетах появляются отчеты о заседаниях и намерениях комитета министров по осуществлению идей, изложенных в указе 12 декабря... Правда, язык этих сообщений далеко нельзя назвать удобопонятным, а его определения легко уловимыми... Но все же в другое время они вызвали бы самые оживленные комментарии, среди которых, по старой привычке русского общества «к надеждам славы и добра»,— было бы очень много фимиамов и восторгов...

Теперь же все это проходит незаметно, глухо, без привычного оживления... Ни отставка кн. Святополк-Мирского, так тускло завершающая эру «доверия», не вызывает естественных огорчений, ни отъезд Н. В. Муравьева, ни даже гласные сообщения комитета министров — не окрыляют надежд... Все это вдруг стало в глазах общества незначительным и неважным...

В одном рассказе Л. Н. Толстого («Казаки») есть образ, очень идущий к нашему теперешнему настроению. Герой его едет степными дорогами на почтовых по направлению к Кавказу. Где-то вдали его ждут Кавказские горы. О них он, житель равнин, слышал так много шаблонных отзывов, что ему, скептику, начинает казаться, что никаких, в сущности, гор, способных вызывать такие впечатления, совсем нет на свете... Всюду та же ровная степь, томительная и скучная, с однообразным и бедным простором и с туманною мглою... А если появятся неровности, то... только для подтверждения старой истины, что ничего, в сущности резко отступающего от этой плоской равнины, и быть не может...

Читатель помнит, наверное, то ощущение внезапного нервного подъема, можно сказать, пожалуй,— удара по нервам, который пришлось пережить толстовскому герою, когда, проснувшись наутро, он увидел, что дорога его, еще бегущая по степи, уже упирается вдали в необычно изломанные очертания горных громад... И дальше все время его впечатления стелются у их подножия. Он продолжает вспоминать свое прошлое, столицу, знакомых, а в душе все стоит один припев... «А горы!..» Читатель помнит, вероятно, и впечатление этого припева, шероховатого, резкого, не укладывающегося ни в какой ритм остальных ощущений, которым Толстой выразил смущенное состояние духа своего равнинного жителя... «А горы!»

Передо мной все время, все эти дни и в ту минуту, когда я пишу эти строки,— стоит неотвязно этот образ...

И мне кажется, что теперь все впечатления от нашего «общественного дня» так же расстилаются у подножия чего-то необычного, большого, мрачного, встающего туманной громадой над равнинами нашей жизни... И над всем: над отставками и переменами министров, над известиями с театра войны, над «предначертаниями» комитета министров — высится этот угрюмый фон, залегая в душе неотвязным припевом... «А девятое января 1905 года!..»

Да, это 9 января поднялось над однообразием нашей «равнинной истории», над ее буераками и оврагами, над холмиками «доверья» и извилинами бюрократической реакции — как первый крутой излом нашего горизонта, за которым, быть может, в загадочном тумане уже рисуются другие — и выше, и обрывистее, и круче...

И невольно взгляд приковывается к этому явлению с естественным желанием разглядеть, определить очертания, найти перевалы и дороги...

II

Но разглядеть нелегко...

Так уж сложились традиции нашей жизни, что как только в ней появляется что-нибудь значительное и, быть может, угрожающее, то первым и самым насущным лозунгом провозглашается молчание вместо свободного обсуждения, освещения и критики. Так во всем — начиная с частного злоупотребления того или другого высокопоставленного лица до общего явления, как «усиленная охрана», отменяющая даже наличную силу существовавших еще признаков законности.

То же и по отношению к «рабочему вопросу», который вообще признавался выдумкой либеральной печати, пока он не встал во всем своем великом и трудном значении. То же, в частности, и по отношению к событиям 9 января.

Прошло около двух недель, и мы не имеем еще ни полной картины рокового события, ни его размеров. Пока у нас есть лишь официальное сообщение первых дней, страдающее неполнотой, односторонностью и, конечно, неизбежным пристрастием, и несколько отрывочных дополнений — тоже официального происхождения... Однако уже и этих сухих сообщений достаточ-

но, чтобы событие поднялось мрачною тенью над всеми другими злобами того далеко не безоблачного дня...

Мы узнаем прежде всего, что «в Петербурге, в начале 1904 года, по ходатайству нескольких рабочих фабрик и заводов был утвержден устав С.-Петербургского общества фабричных и заводских рабочих, имевшего целью удовлетворение их духовных и умственных интересов и *отвлечение рабочих от преступной пропаганды*».

В последней фразе курсив принадлежит нам, и мы позволим себе остановиться на ее значении...

Итак, фабричное общество было основано, кроме удовлетворения потребностей рабочей среды,— еще с специально-политической целью; другими словами, органические потребности рабочих отдавались под особое воздействие бюрократически-полицейского начала. Общество должно было служить полицейским целям. Этот опыт уже не первый: мы знаем о такой же попытке в Москве и других городах. Особенно ярко последствия такого сочетания сказались два года назад в Одессе, и в газетах среди арестованных за «беспорядки» лиц значились имена людей, пользовавшихся поощрением и покровительством начальства...

Еще недавно «Московские ведомости», а за ними «Свет» и «Гражданин» радостно оповещали о возникновении благонамеренных рабочих организаций, вожаки которых встречали радушный прием в тех самых сферах, которые незадолго отрицали самое существование рабочего вопроса и возлагали все упования на добровольное патриархально-отеческое попечение гг. фабрикантов. Мы помним также, что один из московских рабочих представителей этого столь своеобразно начинавшегося «истинно русского» рабочего движения окрылился до такой степени, что со столбцов газеты известного «московского патриота» г-на Грингмута стал преподавать заблудшему в либерализме русскому обществу уроки благонамеренности и патриотизма.

Но рабочая среда — не кружок этих «инициаторов», которые по недоразумению говорили от ее имени и давали радужные обещания, и «рабочий вопрос» — не мелкая служебная подробность той или другой полицейской политики. Для рабочей среды, в первые минуты, быть может, увлеченной заманчивыми перспективами, это — не игра и не праздничная феерия, а самый насущный жизненный вопрос, к решению которого она

стремится с суровой правдивостью и понятным нетерпением. И вот всякий раз, когда дело от эффектных демонстраций и гарун-аль-рашидовских частностей переходит к общим наболевшим вопросам рабочей жизни,— тотчас же вскрывается внутренний разлад неестественного союза: рабочая масса требует исполнения обещаний и заметного «реального» изменения условий своего существования. В этом ее главная и единственная цель. Но цель «союзной» администрации совсем другая. Центр тяжести «общего дела» она видит лишь в эффектных оказательствах массовой покорности и доверчивого «упования»... И когда эти оказательства даны, если можно, даже с примесью некоторых угроз по адресу «либеральной части общества»,— то административный союзник склонен считать свою задачу исполненной... Беда лишь в том, что в его распоряжении нет второй формулы, которая могла бы уничтожить раз вызванные надежды... И очень скоро феерия переходит в трагедию, и вместо громов бутафорских над сценой начинают раздаваться раскаты настоящей грозы.

III

Обращаемся к дальнейшему изложению событий.

Итак, одною из целей общества являлась «борьба с крамолой». По-видимому, дело начиналось при хороших предзнаменованиях, так как во главе новой организации стало духовное лицо, священник о. Георгий Гапон, с самыми лучшими рекомендациями.

Мы позволим себе несколько остановиться на этой замечательной личности, которая теперь выставляется одними как настоящее исчадие ада, в других, быть может, вызывает мистическое удивление. Нет сомнения, что и то, и другое далеко от истины. Священник Гапон является лишь одним из тех «провиденциальных людей», которые порой в бурные периоды как-то вдруг обнаруживаются на поверхности общественной жизни. Все их значение в том, что и их личные добродетели, и их недостатки, вообще все стороны их личности совпадают по тону с господствующим настроением среды, усиливая это настроение, как резонаторы усиливают звуки...

Газеты дают о нем следующие сведения. Уроженец Полтавской губернии, местечка Белики Кобелякского

уезда, о. Георгий Гапон родился в простой семье украинского казака. Поступив в полтавскую семинарию, окончил в ней курс не без некоторых отклонений. Страстная, импульсивная натура и склонность к шероховатой несдержанной правдивости создавали ему много затруднений, и он был исключен. Но затем, по-видимому, он пережил столь же порывистые приступы смирения, которые привлекли к нему благосклонное покровительство покойного полтавского епископа Илариона. Он был опять принят в семинарию, где, благодаря незаурядным способностям, блестяще окончил курс. Вероятно, в период увольнения Георгий Гапон для заработка участвовал в статистических работах земского бюро, но это было недолго, и, кажется, прочной связи с так называемой интеллигентной средой у этого своеобразного человека не завязалось. Затем, благодаря протекции епископа Илариона, по окончании семинарии и после женитьбы о. Гапон получил место в кладбищенской церкви. Смерть любимой жены вызвала новый поворот в его жизни. Он решил сначала поступить в монахи, но потом определился в духовную академию.

Здесь, в столице, он опять обратил на себя внимание в высших духовных сферах, получил место священника в пересыльной тюрьме и, наконец, был избран и утвержден председателем нового общества рабочих, с его двойственной задачей и со всеми вскрывшимися впоследствии противоречиями разнородных стремлений его «учредителей»...

Нет ничего легче, как окрашивать человека каким-нибудь одним, простым и слишком определенным цветом, и мы слишком часто прибегаем к таким одноцветным квалификациям, как «злодей, лицемер и крамольник». Но как на примере нынешней войны мы видим, что априорные характеристики нашего противника оказались совершенно негодными к употреблению, так и в осложнениях внутренних полезнее искать истину, чем успокаиваться на лубочных шаблонах. Несомненно, что фигура священника Гапона, метавшегося в страстных порывах между семинарскими мятежами и покаяниями, из статистики переходившего к алтарю и от алтаря на площадь,— представляет психологию необыкновенно сложную и не укладывающуюся в простые клички.

И именно двойственный характер того «рабочего движения», о котором мы говорили выше, является наи-

более подходящей атмосферой для расцвета подобных натур: здесь является простор одновременно и для гуманных стремлений, удовлетворяющих неуравновешенным порывам бывшего семинарского строптивца, и для его смирения, ведущего «к благополучию масс» путями, предначертанными начальством. Здесь находят примирение все стороны неустойчивой натуры, и вдобавок она дышит атмосферой таинственных стремлений того великого целого, которое носит название человеческой толпы и живет особенною коллективною жизнью.

Нет необходимости непременно отрицать искренность первоначальных намерений, чтобы понять конечные противоречия, залог которых лежал уже в недрах самой организации... Эти противоречия вскрылись, и бурная натура довершила остальное. Свящ. Гапон стал отголоском широкого массового движения, увлекающий массу и сам ею увлеченный...

IV

«По мере своего распространения,— говорит далее официальное сообщение,— на все фабричные районы Петербурга общество стало заниматься обсуждением существовавшего на отдельных фабриках и заводах отношения между рабочими и хозяевами, а затем, в декабре минувшего года, побудило рабочих Путиловского завода вмешаться в вопрос об увольнении с завода четверых рабочих...» Из этого краткого изложения мы не можем, разумеется, судить о всей деятельности общества и о том предварительном брожении в его среде, которое привело к началу стачек. Мы видим только, что общество рабочих приступает к обсуждению вопросов рабочей жизни, то есть именно тех вопросов, для которых оно и основано. Долгая и трудная практика таких обществ за границей показывает, с какими трудностями приходится иметь дело рабочим организациям и какие учреждения способны поставить эти вопросы на нейтральную почву... При этом бывают случаи, когда уступают рабочие, и бывает наоборот, что уступают фабриканты. И в процессе этой закономерной борьбы в разных областях жизни и страсти до известной степени разряжаются нормально. Роль государства в этих случаях сводится на то, чтобы дать им закономерные фор-

мы. Наша практика, по общим причинам и по общим свойствам нашего уклада, особенно бедна такими формами, которые создавали бы нейтральную почву для разумных соглашений. По самым свойствам нашей жизни массы, во-первых, слишком ясно чувствуют, что «сила закона» фактически и на всяком шагу давит на чашки весов в пользу их более сильных противников. А с другой стороны, практика новейшей «рабочей политики» в виде зубатовских организаций слишком неосторожно и легкомысленно обнадеживала массы, что в один прекрасный день бесконтрольное и не связанное законами административное усмотрение может разрешить все социальные вопросы легко, просто, внезапно и бесповоротно. С другой стороны, и фабрикантам даются обещания, что интересы «священной собственности» и капитала останутся неприкосновенны и получат твердую, строгую и полную охрану...

И вот над взволнованной поверхностью русской жизни вздымаются волны противоположных надежд и стремлений... И те, и другие одинаково ждут своего *полного* разрешения от всесильной бюрократии, а последняя видит, что единственная ее собственная цель — есть массовые оказательства благонамеренности и упования, что эта цель безнадежно исчезает... И вот над ареной недавнего единения водворяется трагедия...

V

«Требования рабочих,— говорит официальное сообщение,— постепенно возрастали...» Правда, это возрастание было все еще довольно скромно: помимо требования о возвращении их товарищей, они предъявили еще требования об изменении порядка назначения расценки работ и увольнения рабочих. «Меры увещания со стороны фабричной инспекции оказались безуспешными, и к стачке, под влиянием агитации, присоединились поголовно рабочие некоторых других заводов Петербурга; затем стачка стала быстро распространяться, охватив почти все фабрично-заводские предприятия столицы, причем по мере распространения стачки возрастали и требования рабочих...»

Все это совершенно понятно и обычно в таком явлении, как рабочая стачка, которая всегда предъявляет требования сокращения рабочего дня и регулирования

расценок... Нет на свете ни одного рабочего общества, открываемого хотя бы и на законных основаниях, которое не ставило бы себе этих целей. Между тем уже в этом изложении официального документа читатель чувствует, что настроение его как бы уже изменилось, и раз выступили те или другие *требования* рабочих, то все уже рассматривается как преступление... Здесь сказалось опять привычное у нас настроение. У нас готовы платонически примириться со всем, что составляет принадлежность развитой гражданственной жизни. Свобода печати?.. У нас так много приверженцев свободы печати даже в высших сферах: князь Мещерский приводил недавно восторженные отзывы об этом прекрасном предмете нескольких покойных министров. Отзывы были, вероятно, совершенно искренни, но только... «освобожденная печать» рисовалась в виде кроткой овечки, которая из благодарности за свое освобождение будет следовать за освободителями на шелковой ленточке, издавая ласковое, мелодичное блеяние...

Разумеется, безжалостная действительность разрушает эти прекраснодушные мечты. Печать, только почувствовав первые признаки облегченного режима, по самому *органическому* свойству гласности, немедленно стремится стать действительно *независимым* фактором общественной жизни... И совершенно так же широкая рабочая организация, кем бы и с какими бы целями она ни была основана,— немедленно и неизбежно становится орудием для выражения *настоящих жизненных* нужд среды. Она считается только с ними, а если от нее ждали другого и если ей самой подавались надежды, не вытекавшие из жизненных соотношений, то совершенно понятно, что для обеих сторон наступает разочарование. Администрация не находит покорной массы, готовой ограничиться одними обещаниями... Рабочая масса страстно требует удовлетворения своих наболевших требований...

На этой почве обоюдного разочарования и разыгрываются дальнейшие события. «Требования рабочих,— говорит правительственное сообщение,— в письменном изложении, составленном в большинстве случаев Гапоном, были распространяемы среди рабочих. Первоначально они касались местных для отдельных фабрик и заводов вопросов, затем перешли к вопросам общим: о 8-часовом рабочем дне, об участии рабочих организаций в разрешении спора между рабочими и хозяевами.

Хозяева охваченных стачкой промышленных заведений, собравшись на совещание, признали, что удовлетворение некоторых домогательств рабочих должно повлечь за собой полное падение русской промышленности» (!), другие требования могли бы быть удовлетворены только при помощи законодательства, которое распространило бы их на все конкурирующие отрасли производства равномерно, наконец, третьи «могли бы быть частью удовлетворены в мере, посильной для каждого отдельного предприятия», но фабриканты отказались «вести об них переговоры с организацией стачечников во всей совокупности».

Сначала стачка не сопровождалась нарушением порядка. Но затем, по словам официального сообщения, «к агитации, которую вело Общество фабричных и заводских рабочих, присоединились подстрекательства подпольных революционных кружков, а с 8 января и само вышеупомянутое Общество со священником Гапоном во главе перешло к пропаганде явно революционной. В этот день священником Гапоном была составлена и распространена петиция от рабочих на высочайшее имя, в которой уже наряду с пожеланием об изменении условий труда *были изложены дерзкие требования политического свойства*».

Так назревали крупные события. Весь эксперимент был закончен. На сцену выступили «факты». Когда-нибудь, быть может даже в скором времени, история даст нам трагические черты того настроения, в котором находился Петербург накануне 9 января, когда всем было известно, что массы рабочих готовятся назавтра представить свою петицию... К явлениям подобного рода уже давно привычны общества, живущие развитою гражданскою жизнью. Но наша жизнь, только мечтающая о «единении власти с народом» и о формах этого единения, была застигнута врасплох небывалым движением, охватившим сотни тысяч рабочего населения... И весь взволнованный предстоящей драмой Петербург сознавал, что наша суровая «практика» не выдвинет ничего, кроме привычных «воздействий»...

Дальше мы будем точно следовать официальному изложению события в надежде, что и оно даст читателю, особенно русскому читателю, привычному к условностям официального стиля,— достаточно яркую картину петербургской трагедии.

«Фанатическая пропаганда,— говорит все то же правительственное сообщение,— которую в забвении святости своего сана вел священник Гапон, и преступная агитация злоумышленных лиц возбудили рабочих настолько, что они 9 января огромными толпами стали направляться к центру города. В некоторых местах между ними и войсками вследствие упорного сопротивления толпы подчиниться требованию разойтись, а иногда даже нападения на войска, произошли кровопролитные столкновения. Войска вынуждены были произвести залпы: на Шлиссельбургском тракте, у Нарвских ворот, у Троицкого моста, по 4-й линии, на Малом проспекте Васильевского острова, у Александровского сада, на углу Невского проспекта, на улице Гоголя, у Полицейского моста и на Казанской площади. На 4-й линии Васильевского острова толпа устроила из проволок и досок три баррикады, прикрепила красный флаг; из окон соседних домов в войска были брошены камни и произведены выстрелы; у городовых толпа отнимала шашки и вооружалась ими, разграбила оружейную фабрику Шаффа, похитив около 100 стальных клинков, которые, однако, были большею частью отобраны. В 1-м и во 2-м участках Васильевской части толпой были порваны телефонные провода, опрокинуты телефонные столбы; на здание 2-го полицейского участка Васильевской части произведено нападение, и помещение участка разбито. Вечером на Большом и Малом проспектах Петербургской стороны разграблено 5 лавок. Общее количество потерпевших от выстрелов, по сведениям, доставленным больницами и приемными покоями, к 8-ми часам вечера составляет убитых 76 человек, в том числе околоточный надзиратель, раненых 233 человека, в том числе тяжело ранен помощник пристава и легко ранены рядовой жандармского дивизиона и городовой. На 10 января к охране города приняты меры, которые были приняты 9-го числа...»

VI

Так заканчивается это первоначальное сообщение о событии, еще небывалом в новейшей русской истории по характеру и по размерам. Всякий, для кого названия петербургских площадей и улиц не простой отвлеченный термин, представит себе это кольцо, в которое стя-

гивались внушительные, но безоружные рабочие массы, направлявшиеся от окраин к центру. Нетрудно также представить в воображении это море людей, двигавшихся нередко с женщинами и детьми... Впереди несли иконы и хоругви. И вот по всему этому живому кольцу в разных местах вспыхнули огни ружейных залпов, и мостовая обагрилась родною кровью...

Мы не станем воспроизводить подробностей ужасающей картины. Она, может быть, скоро будет восстановлена «нелицеприятной историей»... Не станем также устанавливать окончательно ее истинные размеры. Для этого нет еще полных сведений, хотя в официальных «Ведомостях С.-Петербургского градоначальства» уже появились именные списки убитых и умерших от ран, тоже еще не полные, но уже значительно превысившие первоначальные цифры...[1] Все это может расширить размеры, но не изменить характер самой картины... По весьма понятным причинам мы воздерживаемся также от оценки всего происшедшего...[2]

Бедствие огромное, тяжкое, непоправимое. Мрачным призраком, грозным предзнаменованием оно стало на рубеже, который должен был обозначить перелом застоявшейся русской жизни, начало ее новой эры... Так мало прожито с тех пор, когда начались многообещавшие разговоры о единении и доверии и так много пережито до этих выстрелов и кавалерийских атак на улицах столицы...

Вся русская жизнь представляется нам как бы остановившейся в раздумии, точно сказочный богатырь, перед которым на распутье встал грозный призрак. Куда идти дальше?.. И идти ли?.. И можно ли верить в будущее, и можно ли повторять недавние еще радостные формулы?..

Трагедия нашей жизни за последние десятилетия состоит в бессилии всех попыток разорвать волшебный круг бюрократической реакции. Когда в устающем обществе водворяется наружное спокойствие, то мы слышим, что никакие реформы не нужны, потому что все обстоит благополучно... Когда же наружное благополучие переходит в признаки недовольства и тревоги, то попытки реформ признаются несвоевременными. Не

[1] См. «Новое вр.» от 22 января. По иностранным сведениям, даже с соответствующими поправками, число убитых простирается от 500 до 1000 человек.

[2] «Русское богатство» выходило под предварительной цензурой.

нужно — потому что еще все спокойно... Нельзя, потому что уже начинается брожение. Такова философия нашей новейшей истории, альфа и омега бюрократического творчества...

А между тем — жизнь не ждет... В ее глубинах назревают не находящие исхода потребности... Из боязни живой работы у нас прекращаются не только попытки аграрных реформ, но даже статистика... Мы то слушаем убаюкивающие сказки о «патриархальности» русского капитализма, устраняющего необходимость коренных реформ фабричного законодательства, то видим попытки запрячь молодое рабочее движение в полицейскую колесницу. И все время встречаем боязнь перед развивающимся сознанием народных масс, перед естественным стремлением их к организации для правомерного отстаивания своих интересов... Между тем как это растущее сознание является лучшим залогом общественного развития, если отнестись к нему правдиво и искренно...

И вот наша жизнь стала похожа на гигантский котел, в котором закипает сдавленная живая сила, требующая законного исхода. Но именно законного-то исхода и нет: лишь только мы пытаемся открыть предохранительный клапан, как резкий шум пара пугает наших машинистов, они торопятся опять закрыть и даже замазать все щели... И когда после этого наступает тишина, лишь изредка нарушаемая глухими внутренними толчками, то это принимается за признаки безопасности...

Жизнь не ждет. Перед русским обществом и перед русским народом все явственнее встает загадка его существования, и возврата уже нет и быть не может.

Это ясно... Что касается русского общества, то оно сознало это бесповоротно!

Январь 1905

«ДЕКЛАРАЦИЯ» В. С. СОЛОВЬЕВА

К истории еврейского вопроса в русской печати

В октябре 1890 года я получил от покойного Владимира Сергеевича Соловьева (из Москвы) письмо, в котором говорилось между прочим:

«Посылаю вам прилагаемое заявление литераторов и ученых с просьбой подписать его, считаю лишним распространяться о том, насколько подпись (эта) необходима [1]. Уезжая на днях в Петербург, покорнейше прошу подписанное вами заявление прислать мне туда по следующему адресу: «Европейская» гостиница на Михайловской улице. С совершенным почтением, готовый к услугам Владимир Соловьев».

Самое заявление, о котором говорится в этом письме,— составленное Соловьевым, кем-то подписанное и затем опять кое-где поправленное рукой Соловьева,— состояло в следующем:

«Ввиду систематических и постоянно возрастающих нападений и оскорблений, которым подвергается еврейство в русской печати, мы, нижеподписавшиеся, считаем нужным заявить:

1) Признавая, что требования правды и человеколюбия одинаково применимы ко всем людям, мы не можем допустить, чтобы принадлежность к еврейской народности и Моисееву закону составляла сама по себе что-нибудь предосудительное (чем, конечно, не предрешается вопрос о желательности привлечения евреев к христианству чисто духовными средствами) и чтобы относительно евреев не имел силы тот общий принцип справедливости, по которому евреи, неся равные с прочим населением обязанности, должны иметь таковые же права.

2) Если бы даже и было верно, что тысячелетние жестокие преследования еврейства и те ненормальные условия, в которые оно было поставлено, породили известные нежелательные явления в еврейской жизни, то это не может служить основанием для продолжения таких преследований и для увековечения такого ненормального положения, а, напротив, должно пробуждать нас к большей снисходительности относительно евреев и к заботам об исцелении тех язв, которые нанесены еврейству нашими предками.

3) Усиленное возбуждение национальной и религиозной вражды, столь противной духу истинного христианства, подавляя чувства справедливости и человеколюбия, в корне развращает общество и может привести его к нравственному одичанию, особенно при

---

[1] Пропускаю несколько фраз.— *В. К.*

ныне уже заметном упадке гуманных чувств и при слабости юридического начала в нашей жизни.

На основании всего этого мы самым решительным образом осуждаем антисемитическое движение в печати, перешедшее к нам из Германии, как безнравственное по существу и крайне опасное для будущности России».

В то время, когда это заявление попало ко мне, под ним подписались уже следующие лица: Л. Н. Толстой, профессор Герье, проф. Виноградов, проф. Тимирязев, проф. Янжул, проф. А. Н. Веселовский, В. А. Гольцев, Безобразов, профессор Ф. Фортунатов, С. Фортунатов, В. С. Соловьев, проф. Всев. Миллер, проф. А. И. Чупров, Н. Н. Милюков, Сизов, Гамбаров, Щепкин, Г. А. Джаншиев, Р. Р. Минилов, С. А. Муромцев, проф. Столетов, профессор гр. Камаровский, проф. Грот.

Я охотно присоединил свою подпись и поблагодарил Соловьева за память обо мне в этом деле. Кое-какие детали редакции вызывали меня на некоторые замечания, но из-за оттенков я не считал нужным отклоняться от дела. Так же, очевидно, смотрел и В. С. Соловьев. Относительно одной поправки, сделанной его рукой (германское происхождение русского антисемитизма), он сообщил мне, что вписал это по требованию некоторых из подписавших, считая эту вставку излишней, но и не желая затягивать дело спорами о редакции.

Моя подпись была далеко не последняя. Соловьев очень горячо, даже страстно относился к этому литературному предприятию, стараясь соединить под заявлением видные имена литературы и науки независимо от некоторых различий во взглядах по другим вопросам. На его краткую формулу должны были прежде всего отозваться люди, для которых религиозная и национальная терпимость составляет органическую часть общего строя убеждений. К людям же, с которыми он был близок другой стороной своего очень сложного умственного склада, он обращал аргументацию чисто христианской морали, в которой было много силы и подкупающего обаяния. В *своем* христианстве он не шел на компромиссы. Для него христианство было источником абсолютной морали. Из этого источника он извлек и формулу по еврейскому вопросу, отличавшуюся необыкновенной легкостью и простотой. Он говорил: «Если евреи — наши враги, поступайте с ними по заповеди: любите врагов ваших. Если же они не враги (а он именно думал, что не враги), тогда незачем их пресле-

довать». Многие догматические взгляды Соловьева окутаны густыми, иной раз почти непроницаемыми метафизическими туманами. Но когда он спускался с этих туманных высот, чтобы прилагать те или другие основные формулы христианства к текущей жизни, он был иной раз великолепен по отчетливой ясности мысли и по умению найти для нее простую и сжатую формулу. Такова и аргументация его по еврейскому вопросу. Слушая ее, люди, претендующие на обладание искренней христианской верой, должны были или соглашаться с его выводом, или признать, что христианство есть лишь отвлеченная доктрина, неприложимая к широким явлениям современной жизни, которая должна уступать перед антихристианскими призывами к ненависти и мщению. А это с точки зрения искренно верующего человека есть кощунство. Таким образом, к формуле чистого либерализма по данному вопросу именно Соловьев способен был приобщить широкий круг людей, далеко, быть может, не либеральных в точном значении этого слова, но чутких к логике искренней веры, которая слышалась в либеральной формулировке Соловьева.

В январе 1891 года я получил от него другое письмо по тому же предмету. В нем между прочим говорилось: «Один мой приятель печатает книжку по еврейскому вопросу и просил меня осведомиться у вас, разрешите ли вы ему печатать то ваше письмо, которое вы мне прислали при вашей подписи под известным вам литературным заявлением... Судьба этого последнего вам, вероятно, известна». В конце письма сообщалось, что наше заявление напечатано не в России, а за границей...

«Судьба» заявления мне еще тогда известна не была, и только приехав в Петербург, я узнал, в чем дело. А дело было в том, что, пока Соловьев хлопотал и собирал подписи, толки об его затее широко распространились в литературной среде. Дошли они между прочим и до известного публициста ретроградного лагеря, г-на Иловайского, который сейчас же и ударил по этому поводу в набат. Тревогу подхватила по всей линии антисемитская и ретроградная пресса. К сожалению, я не могу в настоящее время привести здесь лучшие перлы этой односторонней полемики, хотя это могло бы быть любопытно. Самая, впрочем, выдающаяся черта ее состояла в том, что эти господа обрушились не на высказанное мнение, а на самое намерение его высказать.

В тоне Марата в «Друге народа» или Гебера в «Père Duchesne» гг. Иловайские провозглашали отечество в опасности и взывали к консулам, даже не называя определенно имен, а только неопределенно зловещими чертами рисуя надвигающуюся «крамолу».

Шумная трескотня возымела обычное действие. Последовал циркуляр главного управления, и затеянная Соловьевым декларация в то время в России так и не появилась.

Как настоящая «крамола», она была напечатана за границей (одновременно в Париже и Вене). Для европейцев, разумеется, заявление русскими писателями признанных культурным миром аксиом могло иметь значение разве в качестве курьезной иллюстрации русских цензурных порядков. Но для нас даже и теперь есть нечто поучительное в этом маленьком эпизоде. Употребляя столь героические усилия, чтобы задушить попытку Соловьева в зародыше, тогдашний антисемитизм как бы отдавал своим противникам некоторую дань страха и уважения. Признавалось, что самый факт категорического заявления передовой группы русских писателей может нанести чувствительный удар антисемитизму, поддерживаемому правительством...

Теперь это уже tempi passati [1]. Правда, передовая русская печать *сказала*, пожалуй, все, что следовало сказать по данному вопросу. Зато и антисемитизм *сделал* чуть не все, чего не следовало делать, отбросив в сторону всякие счеты с «высшими началами» и христианской, и всякой другой морали.

1909

БЫТОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

Заметки публициста о смертной казни

I

12 МАЯ 1906 ГОДА

Ни одно из заседаний всех трех Государственных дум не оставило во мне такого глубокого впечатления, как заседание 12 мая 1906 года.

---

[1] Прошлые времена *(ит.)*.— *Ред.*

Прошло полгода со дня знаменитого манифеста. Назади осталась ужасная война, Цусима, московское восстание, кровавый вихрь карательных экспедиций. Двадцать седьмого апреля открылась первая Государственная дума; она должна была отметить грань русской жизни, стать в качестве посредника между ее прошлым и будущим. В ответном адресе на тронную речь Дума почти единогласно высказалась против смертной казни.

Это было последовательно. Во всеподданнейшем докладе гр. Витте, приложенном к манифесту, признавалось открыто и ясно, что беспорядки, потрясавшие в это время Россию, «не могут быть объяснены ни *частичными* несовершенствами существующего строя, ни одной только организованной деятельностью крайних партий». «Корни этих волнений,— говорил глава обновляемого правительства,— лежат, несомненно, глубже». И именно в том, что «Россия пережила формы существующего строя» и «стремится к строю правовому на основе гражданской свободы». «Положение дела,— говорилось далее в той же записке,— требует от власти приемов, свидетельствующих об искренности и прямоте ея намерений». На докладе, в котором были эти слова, государь император написал: «Принять к руководству всеподданнейший доклад ст. секретаря С. Ю. Витте».

Такова была компетентная оценка положения, среди которого созывалась первая Дума. Исторический строй, признанный свыше отсталым и не удовлетворяющим назревшим потребностям современной русской жизни, открыто брал на себя свою долю ответственности за волнения и смуту, охватившие Россию. Ни «организованные партии», ни общество не были повинны в политической отсталости России. Вина в этом падала на единственных хозяев и бесконтрольных распорядителей. Первая Дума сделала из этого вывод: оставьте же старые приемы борьбы, смягчите кары за общую вину всей русской жизни. Это и будет доказательство той искренности и прямоты намерений, о которых вы говорите.

Казалось, историческая власть стоит в раздумье перед новой задачей. «С 27 апреля,— говорил в одной из своих речей депутат Кузьмин-Караваев,— ни один смертный приговор не получил утверждения. Напротив, постоянно приходилось читать, что приговор смягчен

и наказание заменено другим...»[1] В течение двух недель виселица бездействовала, палачи на всем пространстве России отдыхали от своей ужасной работы. Среди этого затишья историческая Россия встречалась с Россией будущей, и обе измеряли друг друга тревожными, пытливыми, ожидающими взглядами.

Двенадцатого мая получилось известие, что виселица опять принимается за работу. Раздумье кончилось.

В Думе происходило обсуждение кадетского законопроекта о неприкосновенности личности. У проекта были, конечно, свои недостатки. На него нападали с разных сторон: для одних он был почти утопичен, для других — слишком умерен. Теперь едва ли можно сомневаться, что, будь он действительно осуществлен хоть в значительной части, Россия вздохнула бы, точно после мучительного кошмара. Весь вопрос состоял в том, может ли Дума осуществить что бы то ни было, или все ее пожелания останутся красивыми отвлеченностями. Призвана ли она для реальной работы, или ей суждено представить из себя законодательную фабрику на всем ходу, с вертящимися маховиками и валами, но только без приводных ремней к реальной жизни.

Случай для ответа на этот вопрос скоро представился, и притом в самой трагической форме. Обсуждение законопроекта о неприкосновенности личности было прервано спешным запросом трудовиков: известно ли главе министерства, что в Риге готовится сразу восемь смертных казней?

Еще 11 декабря 1905 года, в разгар преддумских беспорядков, восстаний, усмирений и карательных экспедиций, в Риге был убит пристав Поржицкий. Как известно, в Остзейском крае вообще, в Риге в частности, кризис, вызванный переломом застоявшейся русской жизни, проявлялся особенно резко. С одной стороны, ужасающие газетные известия о пыточных застенках и приемах полицейских репрессий, с другой — убийства сыщиков и агентов власти. Здесь более, чем где бы то ни было, нужно было внимательное отношение к двусторонним проявлениям общей вины и общей ответственности. Искренность, о которой говорил С. Ю. Витте, несомненно требовала передачи дела общему суду при обоюдных гарантиях. При том же этого требовал и формальный закон.

---

[1] Стенографич. отчет о заседании Госуд. думы 18 мая 1906 г.

Убийство было совершено 11 декабря. Усиленная охрана заменена военным положением 24 декабря. Предание суду состоялось 15 апреля. Случилось так, что *формально* был промежуток, когда в Риге перестала действовать усиленная охрана, а военное положение еще не вошло в силу. Поэтому военный генерал-губернатор, при изъятии дела из общей подсудности, вынужден был мотивировать это «усиленной охраной», которая в то время уже не действовала. Это было незаконно: главный военный суд уже кассировал такой же приговор по делу Иогансона и Зегала, передав дело гражданскому суду.

Еще недавно министр юстиции на обращение депутатов по поводу казней забронировался *формальной* законностью: пока смертная казнь не отменена, она действует в законном порядке. Теперь такой же формальный закон защищал восемь жизней. Стоило только применить его, дело было бы рассмотрено общим судом, и восемь рижских виселиц остались бы праздными.

Тем не менее явно незаконный военный суд состоялся и вынес восемь смертных приговоров. Защитники подали кассационные жалобы, исход которых не мог возбуждать сомнения. Тогда генерал-губернатор *собственною властью не дал хода кассации.*

Общее значение этого эпизода было совершенно ясно. Раздумье кончалось. Исполнительная власть отстраняла общесудебные гарантии и даже на место гарантий военно-судных выдвигала личное усмотрение рижского администратора. Иначе сказать: администрация опять выступала судьей в собственном деле и на основании этого суда, глубоко чуждого самому духу новых учреждений, уже готовила казни.

На этой своеобразно «легальной» почве, около этих восьми жизней, закипела бескровная, но полная глубокого драматизма борьба новой Думы со старой исторической властью. Были пущены в ход заявления, ходатайства, просьбы.

Апеллировали к человеколюбию, к великодушию, к справедливости, к простой формальной законности. Защита подала жалобу в сенат на приостановку кассации и в то же время обратилась с ходатайством на высочайшее имя. Думе, в целом, оставалось только принять запрос. Шестьдесят шесть ее членов подписали отдельное личное ходатайство...

Двенадцатого мая я сидел в ложе журналистов и запомнил навсегда сумеречный час этого дня, предъявление запроса, речи депутатов, смущенные, полные предчувствий. Среди водворявшейся временами глубокой тишины как будто чуялось веяние смерти и невидимый полет решающей исторической минуты. Это была своего рода мертвая точка: вопрос состоял в том, в какую сторону двинется с нее русская политическая жизнь, куда переместится центр ее тяжести. Вперед, к началам гуманности и обновления, или назад, к старым приемам произвола, не считающегося даже со своими собственными законами...

К трибуне подошел В. Д. Кузьмин-Караваев. Речь его была простая, короткая, без громких слов. Раздалось несколько нерешительных рукоплесканий и тотчас смолкли. Председатель поставил на баллотировку предложение: препроводить запрос к председателю совета министров немедленно, без соблюдения обычных формальностей, с указанием на необходимость приостановки исполнения приговора до решения вопроса о кассации, до ответа на ходатайства...

— Кто возражает против предложения,— говорит председатель,— прошу встать.

Не поднялся никто.

В первой Думе тоже были принципиальные защитники смертной казни, и еще недавно высказался в этом смысле екатеринославский депутат Способный. Но еще не было откровенной кровожадности нынешних «правых», требующих виселиц даже для своих думских противников. Решение принято единогласно. Кто не хотел видеть в этом простой справедливости, те чувствовали все-таки святость милосердия и останавливались перед ужасом восьми казней...

И помню, что тотчас по объявлении этого постановления, когда Дума перешла опять к законопроекту «О неприкосновенности», зажгли электричество. Свет залил весь думский зал, председательскую трибуну, фигуру докладчика на кафедре, амфитеатр думских скамей с фигурами депутатов... И у меня было такое ощущение, как будто тут, в зале, есть еще что-то невидимое, но жутко ощутительное, почти мистическое. Может быть, это была неуверенность в спасении восьми жизней, а за ней и во многом другом, что роковым образом сплелось с судьбой этих безвестных восьми людей в Риге... *«Дума сделала все, что могла. Но она не сдела-*

ла ничего»,— кажется, так следует истолковать это странное ощущение. Здесь могут только негодовать, надеяться, скорбеть и высказывать пожелания. А там могут вешать...

Прошло шесть дней. Восемнадцатого мая на трибуну взошел докладчик Набоков, чтобы сообщить ответ председателя совета министров на думский запрос. Ответ был краток и формален. Сущность его, впрочем, была уже известна из газет: рижский генерал-губернатор не пожелал ожидать исхода жалоб на приговор заведомо незаконного суда и распорядился 16 мая спешно казнить всех восемь приговоренных...[1]

Смысл сообщения был ощутительно ясен; на соображения о законности отвечали заявлением о силе. В Думе полились речи, полные негодования и горечи. «В ответ на наш запрос,— сказал депутат Ледницкий,— нам кинули восемь трупов». «Некоторые из них малолетние»,— прибавляет депутат Локоть. Кузьмин-Караваев оглашает звучащую горькой иронией телеграмму Леруа-Болье. Просвещенный француз, знаток и друг России поздравляет Думу с предстоящей отменой смертной казни. «Этим русский парламент совершит акт милосердия и ускорит прогрессивное развитие человечества». Депутат Родичев еще пытается протестовать против «маловерия», которое темной волной хлынуло в Таврический дворец от этой мрачной генерал-губернаторской демонстрации.

«Вы напишете закон об отмене смертной казни,— утешает он депутатов,— его утвердят, его не могут не утвердить. Неужели вы сомневаетесь, что смертная казнь уже корчится в предсмертных судорогах?»

Увы! Самые оптимистические каламбуры бессильны перед фактом. А факт состоял в том, что против потока превосходных слов и проектов рижский генерал-губернатор, разумеется в полном согласии с правительством, выдвинул восемь виселиц. Это было так убедительно, что через десять дней в той же думской зале тот же депутат Родичев говорил с горьким унынием: «Если мы и признаем обсуждаемую статью (об отмене смертной казни) за закон, в чем же изменится положение дела? Вы убеждены, что этот параграф станет законом и казни прекратятся?.. Но господа, каждый из нас понимает, что это не так...»

---

[1] «Наша жизнь», 17 мая 1906 г., № 447.

И действительно, это оказалось не так. Кто теперь вспоминает на Руси, что в заседании 19 июня 1906 года в первую Государственную думу внесен законопроект, состоявший из двух статей:

Статья первая: Смертная казнь отменяется.

Статья вторая: Во всех случаях, в которых действующими законами установлена смертная казнь, она заменяется непосредственно следующим по тяжести наказанием...

И что этот законопроект Государственной думой принят... И что он облечен в форму закона... Новый закон унесен потоком событий, смывших первую Думу, а факт остался. Виселица опять принялась за работу, и еще никогда, быть может со времени Грозного, Россия не видала такого количества смертных казней. До своего «обновления» старая Россия знала хронические голодовки и повальные болезни. Теперь к этим привычным явлениям наша своеобразная конституция прибавила новое. Среди обычных рубрик смертности (от голода, тифа, дифтерита, скарлатины, холеры, чумы) нужно отвести место новой графе: «от виселицы». Почти ежедневно, в предутренние часы, когда над огромною страной царит крепкий сон, где-нибудь по тюремным коридорам зловеще стучат шаги, кого-нибудь подымают от кошмарного забытья и ведут, здорового и полного сил, к готовой могиле...

Да, как не признать, что русская история идет самобытными и необъяснимыми путями. Всюду на свете введение конституций сопровождалось хотя бы временными облегчениями: амнистиями, смягчением репрессий. Только у нас вместе с конституцией вошла смертная казнь как хозяйка в дом русского правосудия. Вошла и расположилась прочно, надолго, как настоящее бытовое явление, затяжное, повальное, хроническое...

В последующих очерках, далеко не систематических и не претендующих на исчерпывающее значение, мы постараемся присмотреться к этому новому бытовому явлению... Нужно же знать то, от чего пока (и, может быть, надолго) нет силы избавиться...

II

СМЕРТНИКИ В N-СКОЙ ТЮРЬМЕ

До сих пор быт русских тюрем знал определенные категории заключенных. Это были «высидочные», отбывавшие срочное заключение по суду, подследственные, пересыльные и каторжане.

«Обновление» принесло еще новую категорию, которой тюремный жаргон присвоил зловещее название: «смертники».

Интеллигентный человек, закинутый превратной судьбой в одну из провинциальных тюрем (называть которую он не желает), имел случай наблюдать, хоть не систематически и отрывочно, быт этих людей, ждущих в заключении смертного приговора, конфирмации, казни. Материал, добытый таким образом из случайных встреч, разговоров, урывками и секретно пересылавшихся писем, он предоставил в наше распоряжение, и я хочу познакомить с ним читателя.

Губернская тюрьма провинциального города. Архитектура обыкновенная. По углам главного корпуса четыре башни. Ход в каждую башню из тюремных коридоров, на которые смотрят в два ряда молчаливые глазки́ камер. В конце коридора крепко запертая дверь, ключ от которой хранится у особых надзирателей. Один из них постоянно караулит вход в башню. За этим входом небольшой темный коридор, ведущий еще к одной двери. За нею круглая башенная камера.

Камера представляет цилиндр, аршин трех или четырех в диаметре. Вверху — небольшое окно, забранное двумя решетками. Решетки скрадывают свет, а зимой, когда вставляются двойные рамы, в камере становится так темно, что даже днем читать или писать становится невозможно. Вечером вспыхивает электрическая лампочка, подвешенная к потолку. Она подвешена высоко, и, даже стоя под нею, читать можно лишь с большим напряжением. Ни коек, ни нар в камере нет. Маленький столик и два-три табурета уносятся на ночь. Спать приходится прямо на полу. Стены вверху бледно-серые. Внизу, аршина на два от пола, идет траурная черная полоса.

Камеры верхнего этажа каждой башни лучше. Они суше, светлее; из окон можно видеть город, площадь за тюрьмой, проходящих по площади людей. Нижние ка-

меры врыты глубоко в землю, так что их полукруглые окна помещаются на уровне тюремного двора. Люди тут как будто опущены в колодец, траурно-темный, холодный и сырой. Из окон они могут видеть ноги гуляющих по двору арестантов. Против каждой башни стоит надзиратель с ружьем.

Тут помещаются смертники.

В том году, к которому относятся наблюдения нашего случайного корреспондента, их перебывало свыше сорока. Это были все сравнительно молодые люди, преимущественно рабочие местного крупного железоделательного завода, осужденные по делам об экспроприациях.

Тюремная администрация употребляет все усилия, чтобы изолировать их от остальных заключенных. Для прогулки смертников отведено особое место. В баню их тоже водят отдельно. Но, разумеется, полная изоляция невозможна. На допросы, в суд, на прогулку или на свидания их проводят все-таки общими коридорами, и арестанты смотрят в глазки на этих обреченных, уже отмеченных печатью смерти людей. Теми же коридорами ведут их в темные предутренние часы на казнь, и тогда спящие в камерах арестанты тревожно вскакивают, слушая гулкие шаги, порой стоны и предсмертные крики человека, прощающегося таким образом с доступным ему и сочувствующим арестантским миром. Потом шаги и жалобные крики смолкают. В глубокой тишине на заднем дворе совершается последнее действие страшной трагедии... В камерах не спят и гадают, кого это повели только что к отрытой могиле...

Порой в часы прогулок гуляющие арестанты слышат откуда-то, точно из-под земли, голоса, громко разговаривающие или спорящие. Порой, особенно в первой половине того года, к которому относится наш материал, из смертных камер раздавалось пение. Тогда стоящий у башни караульный начинал волноваться, стучал ружьем и кричал:

— Башня, перестань петь! Башня! Тебе говорят: перестань!

Если это заклинание не действовало, на сцену являлся помощник начальника, и кого-нибудь из людей, ждущих казни, вдобавок сажали в карцер...

Карцер — темная коробка, помещающаяся прямо под тюремною церковью, низкая, сырая, холодная, с отвратительным воздухом. Многих после трех-четырех

дней заключения из карцера выносили на рогожах прямо в больницу.

В башнях порой в одиночку, иногда группами люди ждут приговоров или их исполнения... Ждут дни, недели, иногда месяцы, каждый вечер спрашивая себя, увидят ли они завтрашнее утро. В прежнее, еще недавнее, «доконституционное» время один военный судья говорил мне, что продолжительная отсрочка казни являлась огромным шансом за ее отмену: нельзя казнить человека, пережившего такой продолжительный ужас, хуже самой смерти. Теперь этими психологическими тонкостями не стесняются...

III

БУДНИ СМЕРТНИКОВ

Всем еще памятно то одушевление, с которым шли на смерть приговоренные к казни или расстреливаемые без суда в первом периоде нашей «революции». Так умирали интеллигентные люди, молодые девушки, железнодорожные рабочие, матросы. Группа матросов, восставших вместе с лейтенантом Шмидтом, шла на казнь дружным строем и пела известную народную рекрутскую песню:

Последний радостный денечек
Гуляю с вами я, друзья!
А завтра рано чуть светочек
Заплачет вся моя семья...

В этом зрелище было столько одушевления и веры в значение жизни перед лицом неизбежной смерти, что, говорят, эта песня на юге приобрела значение «Марсельезы».

Теперь многое изменилось, и по мере того, как смертная казнь превратилась в будничное бытовое явление, от нее удаляется и обволáкивавшее ее прежде одушевление. Должно быть, труднее умирать за то, за что люди так часто умирают в наше время.

Впрочем, наш корреспондент отмечает, что в первые дни после приговора многие смертники чувствуют себя сравнительно бодро. В свои мрачные башенные камеры они вносят еще возбуждение недавней борьбы, полной если не возвышенных, то сильных ощущений и крайнего напряжения нервов. Суд и приговор — только по-

следний размах той же волны. В большинстве писем, относящихся к первым дням после приговора, звучит еще своеобразная бодрость, даже ирония. Иные из этих писем чрезвычайно характерны, и мы приведем их в тех отрывках, какие дает нам наш корреспондент.

«Я напишу вам,— так начинается одно письмо,— но предупреждаю, что я человек малограмотный, неразвитой и малоначитанный. *Я чувствую себя очень хорошо* [1]. Смерть для меня ничто. Я знал, что это рано или поздно, но должно быть. Я был уверен на воле, что меня повесят или застрелят где-нибудь на деле. Так вот, товарищ, может ли мне казаться страшной смерть? Да, конечно, ничуть. Я не знаю, как другие, но до суда и после суда я был в одном настроении. Только обидно: со мной приговорили одного невиновного. Я в суде не утерпел и крикнул судьям...[2] За это мне попало от „сознательного конвоя“...»

Еще через некоторое время тот же автор писал: «Вы спрашиваете, как я провожу время. Определить трудно. Я сам себя не могу учесть в этом случае. Одно могу сказать, *что душевно я спокоен.* Очень даже спокоен. Наружный вид, можно сказать, веселый. С утра до ночи смеемся, рассказываем различные анекдоты, конечно юмористические. Конечно, вопрос о жизни приходит иногда в голову. Задумаешься на несколько минут и стараешься забыть это все потому, что все уже кончено для меня на сей земле. А раз кончено, то такие мысли стараешься отогнать и не поднимать в своей голове. Я вижу, что времени для жизни осталось очень мало, и в такие короткие минуты ничего не могу разрешить. Чем понапрасну ломать голову, лучше все это забыть и последнее время провести веселее. Я сам себя не могу определить: я как будто ненормальный. Иногда хочется отравиться. Отравиться тогда, когда мне этого захочется. Уж очень не хочется идти помирать на задний двор, да еще в сырую погоду, в дождик. Пока дойдешь, всего измочит. А мокрому и висеть не особенно удобно. Да еще и то: берут ночью. Только разоспишься, а тут будят, тревожат... Лучше бы отравиться...»

Читатель видит, что здесь у человека еще хватает настроения для какого-то жуткого юмора над своей страшной судьбой... «Измокнешь, а мокрому и висеть

---

[1] Курсивы и далее наши.
[2] Многоточие в присланной нам рукописи.

неудобно... Только что разоспишься, а тут — тревожат...»

«Чувствую себя ничего,— пишет другой приговоренный.— Даже удивлен, что в душе не сделалось никакого переворота. Точно ничего не случилось...» Повидимому, жизнь обладает своей инерцией движения, и человек еще органически не может себе представить, что она скоро оборвется без внутренних, органических причин. Он *знает* о приговоре, но еще не может его *почувствовать*...

Поддержать в себе возможно дольше, до самой смерти, это настроение продолжающейся жизни, не дать ужасной истине пустить в душу отравляющие ростки — такова теперь задача, к которой приспособляется весь быт своеобразного общества, населяющего мрачные камеры. «Забыть и дать забыть другим» — это как будто правило его социальной нравственности.

«Спать ложимся мы в три часа ночи,— пишет один приговоренный.— Это постоянно. Р. научил нас играть в преферанс, и мы до того им увлеклись, что играем, как будто бы за интерес. Увлеклись сильно. Тут есть и сожаление от проигрыша, и маленькие радости от выигрыша. *Упадка духа ни в ком как будто и не замечается.* Если посмотреть со стороны и не знать, что мы приговорены к смерти, то можно счесть нас просто за людей, отбывающих наказание. Если же наблюдать нас, зная, что нас ждет смерть, то, вероятно, можно подумать, что мы ненормальны. Действительно, и самому приходится удивляться тому, что мы так хладнокровны. По одной фразе вашей я заметил, что предполагается у нас тяжелое настроение духа. Представьте себе, что нет. Даже, напротив, бывает неестественно веселое настроение. *Часто смех, шутки, песни и рассказы не сходят у нас с уст*. О том, что ждет нас, буквально забываешь. Это, по моему мнению, происходит оттого, что сидишь не один... Чуть кто пригорюнится, так другой старается, может быть ненамеренно, оторвать его от тяжелых мыслей и вовлечь в разговор или во что-нибудь другое... Находят минуты какой-то беспричинной злобы, хочется кому-нибудь сделать зло, какую-нибудь пакость. Насколько я наблюдал, если такому человеку поволноваться и вылить свою злобу в руготне, то он понемногу успокоится. На некоторых в такие моменты действует пение. Затяни что-нибудь — он поддержит».

В такие-то минуты из наглухо закрытых башен несутся звуки песен, и стража во дворе начинает тревожиться, стучать ружьями и кричать: «Башня, тебе говорят, замолчи!» Но заставить замолкнуть такую песню, конечно, нелегко...

«Теперешнее мое состояние удовлетворительно,— читаем мы еще в одном письме «из башни»,— только в голове какой-то хаос. Хотелось бы на день, на два остаться одному с самим собою; но это невозможно. Жаль погибающую молодость! К тому, что скоро придется умирать, отношусь не то чтобы хладнокровно, но все-таки эта мысль не смущает меня: *я не вдумываюсь в нее*. Чем объяснить это — я не знаю!»

Автору этого письма хотелось бы остаться одному; но именно одиночество в этом положении ужасно. «Как начинает лезть что-нибудь в голову,— пишет другой смертник,— так я тотчас же отвлекаю себя разговорами с товарищами, лишь бы только это удалить. А то, как только почувствую, что могу заснуть, стараюсь лечь спать. Мне кажется, что если бы я... сидел один, то давным-давно покончил бы с собою».

По мере того как идет время, спокойствие тоже уходит. «Жизнь приходится считать минутами, она коротка,— пишет один из приговоренных, по-видимому проводящий последние дни в одиночестве.— Сейчас пишу эту записку и боюсь, что вот-вот растворятся двери и я не докончу. Как скверно я чувствую себя в этой зловещей тишине! Чуть слышный шорох заставляет тревожно биться мое сердце... Скрипнет дверь... Но это внизу. И я снова начинаю писать. В коридоре послышались шаги, и я бегу к дверям. Нет, снова напрасная тревога, это шаги надзирателя. Страшная мертвая тишина давит меня. Мне душно. Моя голова налита как свинцом и бессильно падает на подушку. А записку все-таки окончить надо. О чем я хотел писать тебе? Да, о жизни! Не правда ли, смешно говорить о ней, когда тут, рядом с тобой, смерть. Да, она недалеко от меня. Я чувствую на себе ее холодное дыхание, ее страшный призрак неотступно стоит в моих глазах... Встанешь утром и, как ребенок, радуешься тому, что ты еще жив, что еще целый день предстоит наслаждаться жизнью. Но зато ночь! Сколько она приносит мучений — трудно передать... Ну, пора кончить: около двух часов ночи. Можно заснуть и быть спокойным: за мной уже сегодня не придут».

«Я давно не писал вам,— говорится в новом письме (другого лица).— Все фантазировал, но ничего не мог сообразить своим больным мозгом. Я в настоящее время нахожусь в полном неведении, и это страшно мучает меня. Я приговорен вот уже два месяца, и вот все не вешают. Зачем берегут меня? Может быть, издеваются надо мной? Может быть, хотят, чтобы я мучился каждую ночь в ожидании смерти? Да, товарищ, я не нахожу слова, я не в силах передать на бумаге, как я мучаюсь ночами! Что-нибудь скорей бы!»

Это писал тот самый человек, который вначале удивлялся, что приговор не произвел на него впечатления, и говорил, что смерть его нисколько не пугает... Два его письма — это два полюса в настроении смертников: вначале возбуждение и бодрость, потом возрастающий ужас перед развязкой, тупой и безмолвной.

IV

ИЛЛЮЗИИ И САМОУБИЙСТВА

Впрочем, в промежутках часто являются мечта и надежда. «У каждого,— говорит один из авторов писем,— есть какая-нибудь надежда, и у каждого фантазия доходит до геркулесовых столбов. Хотя мы и знаем, что каждого из наших товарищей берут и вешают, но все-таки (собственная) предстоящая казнь кажется невероятной. Кажется невероятным: как это меня, здорового, полного сил человека, поведут и повесят... У каждого есть розовая надежда на что-то, чуть не на чудо. Некоторые ждут помилования. Другие мечтают о подаче прошения на высочайшее имя и думают как-нибудь провести администрацию. Говорим иногда об усыпительных веществах. Как бы уснуть так, чтобы когда похоронят, то пришли бы товарищи и откопали бы из могилы. Мечтали о сделке с доктором во время смертной казни» и т. д.

Но и надежда в положении смертника, как гашиш, обманчива и ядовита. «Я думаю,— пишет один из них,— что для нас вредны мечты в большом размере, так как чересчур тяжки разочарования. Для примера приведу Х-ва. Он вполне был уверен, что ему отменят смертный приговор, так как об этом хлопотал сам суд, да и дядя его имел большие связи. Когда пришли ночью и сказали, что пришло помилование, то он поверил это-

му и с радостью пошел в контору. Что же ему пришлось пережить, когда вместо помилования его потащили на виселицу?.. Мне могут сказать, что все это неважно, так как страданий здесь всего ведь на час, да и то, быть может, меньше. Но я не хочу месяца иллюзий, чтобы пережить и час таких страданий. Лучше я буду внушать себе, что мне скоро придется умереть. Я не скрою, что и я тоже мечтаю и строю иллюзии, но только я не позволяю мечте вкорениться глубоко. Против мечты о воле, о том, как хорошо было бы очутиться в кругу близких людей, против этой мечты я принимаю свои меры.

Теперь приведу другой пример — П-на. У него совершенно не должно было быть никаких надежд. Но вот почему-то одних берут, а его, хотя и вышел срок, оставляют. У него являются надежды. И вот он, который раньше соглашался умереть с бо́льшими страданиями, чем от доставленного ему яда, теперь уже не решается (отравиться) и ждет последней минуты. Яд он принимает только тогда, когда пришли и сказали: «Собирайся на виселицу». От яда он падает без чувств. Его выносят на тюфяке на свежий воздух и качают... Он приходит в себя. Под воротами его рвет. Он приходит потом в контору, пишет письма и идет на виселицу».

«И таких примеров много,— прибавляет автор письма.— Это все последствия иллюзий...» П-в ждал решения своей участи без двух дней пять месяцев! И «хотя, по-видимому, у него были хорошие, благодаря иллюзиям, минуты, но в конце концов — тройные мучения... Каждый из нас хватается за соломинку, и тогда логика и рассудок — все летит к черту».

Удалось ли в конце концов писавшему вышеприведенные строки удержаться в пределах «логики и рассудка» — мы не знаем. Но те, кто пассивно поддаются иллюзиям, легко превращаются в маниаков. «Из всех приговоренных к смертной казни,— говорится в одном письме,— такого, как NN, я вижу впервые. Он хотя и не говорит, но, видимо, ему жаль порвать с жизнью. Он все ждет помилования. Прошения он не подавал, но подала его мать от своего имени. Теперь он постоянно гадает на картах, будет или не будет он помилован. Он отказался покончить с собой. Если бы я захотел описать его последние дни, то едва ли мог бы многое описать. Жизнь его течет чрезвычайно однообразно и монотонно. Вечером он ложится спать часов в шесть, а встает в два, три,

четыре часа. И как только встает, так берется за карты и начинает гадать. Днем иногда ляжет полежать и на мой вопрос: «О чем вы думаете?» — обыкновенно отвечает: «Я и сам не знаю о чем». Почти все время проводит он за картами и в какой-то меланхолической мечте. Может быть, он мечтает о чем-нибудь ценном, но только не желает с нами этим поделиться. Не знаю».

Автор заметок, которыми мы пользуемся при составлении этого очерка, пишет, что ему удавалось по временам видеть NN, о котором идет речь в предыдущем письме. «Это еще молодой человек, лет двадцати, с продолговатым лицом и голубыми, чем-то затуманенными и как будто ничего не видящими глазами. В серой, плотно облегавшей его фигуру арестантской куртке шел он медленно со своим провожатым на прогулку и устало и равнодушно смотрел куда-то вдоль длинного коридора. Больше всего привлекали внимание его смертельно усталые, рассеянные, ничего не видящие глаза». В то время, когда автор записывал в тюрьме свои впечатления, ему уже редко приходилось видеть NN. Говорили, что он обещал властям выдать несколько человек, если ему дано будет помилование, и что ему подали надежду на избавление от казни...

Не все, конечно, отдаются так всецело во власть безграничных иллюзий. Желания многих приговоренных не идут дальше добровольной смерти. Мы уже встречали выше выражение этого настроения: «Умереть, когда захочу сам». И в то время, как обыкновенное население тюрем стремится всеми мерами добыть с воли водку, табак или карты, смертники со всевозможными ухищрениями добывают яд или нож.

Газеты отмечают то и дело случаи самоубийства перед казнью. Больше всего прибегают осужденные к цианистому калию, реже к морфию или ножу. «Любопытно,— пишет автор наших материалов,— что ни один из присужденных при попытках к самоубийству не прибегал к помощи шнура или веревки, хотя достать их гораздо легче». Газеты отмечали случаи самоповешения, но действительно они реже других способов самоубийства. Смерть от руки палача кажется позорнее и страшнее. Приговоренные прежде всего предпочитают добровольную смерть, «когда сам захочу», и если можно, то она должна быть другая, не та, которую назначит им человеческий суд. В течение того года, к которому относятся наблюдения нашего корреспондента, один из

приговоренных отравился стрихнином и кончил жизнь в страшных мучениях. Другой нанес себе удар ножом в сердце. В третьем случае удар ножа не оказался смертельным, четвертый вскрыл себе рану на руке обломком стекла, он тоже остался жив. Было также несколько случаев неудачного самоотравления...

Эти попытки и самоубийства происходят на глазах у остального населения камеры. «Смерть товарища Я-ва,— говорится в одном из писем,— произвела на меня ужасное впечатление. Громадная сила воли, потрясающая картина геройской смерти. Перед смертью он был весел, курил, разговаривал, смеялся. Волнения не было заметно. Потом нащупал сердце, приложил нож одной рукой, а другой ударил: раз! два... Потом сказал: «Вот хорошо! Выньте». И начал хрипеть, и умер, не издав ни одного громкого стона».

Он оставил записку: «Кончаю жизнь самоубийством. Вы меня приговорили к смерти и, быть может, думаете, что я боюсь вашего приговора, нет! Ваш приговор мне не страшен. Но я не хочу, чтобы надо мной была произведена комедия, которую вы намерены проделать со своим формализмом. Мне грозит смерть. Я знаю и принимаю это. Я не хочу ждать смерти, которую вы приведете в исполнение. Я решил помереть раньше. Не думайте, что я такой же трус, как вы».

Для этого мужественного человека смерть, очевидно, явилась последним актом если не прямой борьбы, то хоть полемики с врагами.

V

ПОСЛЕДНИЕ СВИДАНИЯ

Два раза в неделю у тюремных ворот собирается толпа народу и терпеливо ждет, пока откроются двери. Это отцы, матери, братья, сестры, сыновья, дочери и жены заключенных, явившиеся на свидание. Двери наконец отворяются. Их пропускают.

Длинная, узкая и грязная комната с одним окном. Во всю длину она перегорожена двумя перегородками: внизу перегородки — деревянные, сплошные, вверху до потолка — из частой проволочной сетки. Между перегородками расстояние в два аршина. На этом расстоянии арестанты и их родные переглядываются и переговариваются через две сетки... Так как говорить прихо-

дится всем вместе и общий говор заглушает слова, то через несколько минут «свидальная комната» переполняется шумом и криками. Каждый старается перекричать других и закинуть другому человеку свое слово за эти перегородки. Комната полна нестройных отчаянных выкрикиваний. Визг женских голосов, судорожно напряженные лица и бессильный, никому не слышный плач под звон кандалов... Вот старая крестьянка. Она притащилась в город за пятьдесят верст и теперь судорожно вцепилась скрюченными пальцами в проволочную сетку. Она пытается несколько раз что-то выкрикнуть сыну, но ее старческий голос тонет в этом нестройном грохоте, звоне и шуме. Она машет рукой и уже только смотрит старыми заплаканными глазами... А через пять-семь минут свидание прекращается. Всех выгоняют, и за проволочные решетки пускают новые партии арестантов и пришедших к ним с воли. Прежние уходят, унося с собой чувство неудовлетворенности и печали. Хотелось сказать дорогому человеку так много. Не сказал ничего. Казнены уже в России тысячи человек. Приблизительно столько же матерей, и еще столько же отцов, и, может быть, столько же сестер, братьев и жен смотрели через такие решетки на дорогих людей, которым грозила смерть. Если это были простые рабочие или крестьяне, то прощаться с ними, как с умирающими, приходили и другие родственники, каких только допускали. И сколько тяжелого, незабываемого и порой непрощаемого страдания разнесут эти простые люди по предместьям городов и по дальним деревням и селам.

Когда приговор уже состоялся, смертник получает привилегию: с него снимают кандалы и на свидание к нему близких родственников допускают в тюремную контору. И опять по дорогам тянутся телеги, а в них — матери и отцы, едущие на последнее свидание. Военное правосудие по большей части совершается стремительно, и, пока старая мать бредет пешком или тащится на заморенной клячонке,— дело часто бывает кончено. Тюремный привратник деловито и бесстрастно, как русский мужик вообще умеет говорить о смерти, сообщает, что сын повешен на рассвете, в то время, когда они тащились в темноте по плохим дорогам. «Недавно,— рассказывает наш корреспондент,— одна из таких матерей подошла к тюрьме и стала просить прощального свидания. Вместо разрешения из тюремной конторы

ей вынесли клок волос — все, что ей осталось от сына. Перед виселицей сын попросил ножницы, отрезал прядь волос и передал их для матери. Последняя воля его была добросовестно исполнена».

В прошлом году газеты сообщали о случае еще более печальном. Приговоренный к смертной казни в Балашове Шуримов послал к отцу письмо с просьбой приехать попрощаться перед смертью. «Элементарная гуманность,— говорит сообщивший об этом случае корреспондент,— если о гуманности может быть речь около виселицы,— требовала чего-либо одного: или отказа передать письмо, или разрешения этого последнего свидания. Третьего, казалось, тут быть не может... Но именно это третье, мучительное и безобразное в своей бесчеловечности, и вышло». Отец, бедный и больной старик, собрав последние гроши, отправился в Саратов, захватив с собой и младшего сына. Прежде всего, конечно, обратился в суд. Здесь ему посоветовали «навести справку» у командующего войсками. На вопрос, жив ли еще его сын, сухо отвечали: не знаем. Старик съездил в Казань, но и тут ему «справки» не дали. Вернулся в Саратов и три-четыре дня обивал разные пороги. Ходил к прокурору, к тюремному попу, в тюремную контору. Наконец кто-то (добрая душа!) сжалился над тоской и слезами старого отца и сообщил ему, что... сын его уже повешен.

«Этот старик,— заключает корреспондент,— уедет домой, в семью, в круг своих близких, знакомых, друзей... И от него, от множества таких стариков, от всех им близких — будут требовать любви к родине, уважения к ее учреждениям, патриотических чувств...» [1]

Конечно...

Однако вернемся к нашему «бытовому материалу».

Контора, в которой смертным даются последние свидания с родными, разделена на две неравные части деревянной перегородкой в половину человеческого роста. Смертный вводится за перегородку, дверца за ним закрывается, по обеим сторонам становятся надзиратели. Родственники, пришедшие на свидание, остаются на другой стороне перегородки.

Надзиратели равнодушно слушают разговоры. Человек ко всему привыкает, а они многих приводили уже к этой решетке и к виселице. Их дело смотреть, чтобы

[1] Из газеты «Киевские вести», 8 марта 1909 г., № 66.

смертному не передали чего-нибудь, и главное — ножа или яду, и они смотрят равнодушно и бесстрастно. На человека свежего эти свидания производят неизгладимое впечатление, как все, в чем вопросы жизни и смерти стоят в такой осязательной близости. Нашему корреспонденту пришлось случайно быть в конторе во время последнего свидания с матерью того самого Я-ва, который так мужественно покончил с собой. Это было незадолго до самоубийства. Высокий, с болезненно желтым лицом и лихорадочно блестевшими глазами, стоял он у перегородки, за которой были две женщины. Одна, сгорбленная, закутанная в шаль, все время плакала и постоянно вытирала глаза концом шали. Другая не плакала; глаза у нее были воспаленные и сухие. Это была мать. Она не спускала глаз с сына, но слов для него у нее не находилось. Таких слов, которые бы тронули, смягчили, утешили, которые просто были бы у места.

— Ну, как же ты теперь?— все-таки спрашивала она тоскливо.— Как здоровье?..

— Что здоровье? Повесят скоро,— хрипло ответил сын и попробовал засмеяться. Но смех не вышел и резко оборвался. Опять молчание.

— Сны страшные видишь?— опять спрашивает старуха.

— Да, разное снится,— ответил он задумчиво и потом сказал легче и проще: — Там у меня поддевка осталась. Ее нужно бы продать...

Заговорили о поддевке, и оба обрадовались предмету, не имевшему прямого отношения к тому главному, что занимало обоих. Свидание скоро прекратилось. Смертного надзиратели увели в башню, а мать ушла на волю, которая ей была, вероятно, не лучше этой башни. Говорили, что она после казни сына сошла с ума.

«Когда родители приходят на свидание,— говорится в одном из писем,— то хочется все, все им передать. Но этого никак не могу сделать: ничего не выходит. Вот сейчас чувствую, что много наговорил бы им ласкательного, хорошего, успокоил бы их, но в конторе этого сделать не могу, потому что там рядом со мной стоят люди, противные мне. При них я не могу выговорить ни одного ласкового слова. Я чувствую, что надо сказать что-нибудь ласковое, хорошее, но язык не повинуется. Когда идешь на свидание, то думаешь сказать то, другое, но когда придешь, то как будто все позабудешь. Все

из головы уйдет. Смотришь только на них и слушаешь, что они говорят, а сам ни слова».

«Жду приезда своих,— говорит другой приговоренный,— они прислали мне десять рублей, но я отдал их жене. Вот человек, слепо преданный и любящий! Мне положительно стыдно перед ней. Но сказать ей, втолковать, поднять до себя у меня нет возможности. А так тяжело! Говорим мы на разных языках».

Человек, написавший эти строки, приписывает это тяжкое отчуждение от близких людей разности умственных уровней. Но едва ли это верно. «На разных языках» говорят, по-видимому, все обреченные с теми, кто остается после них на этом свете. Человеческий язык не приспособлен для *таких* разговоров. Обычные понятия робко смолкают в сознании своей ненужности, неуместности, оскорбительности. Что, в самом деле, значит вопрос о здоровье для человека, которого скоро повесят... И сны ему, конечно, видятся всякие... Разговоров о будущем мире, о боге и вечной жизни наш корреспондент тоже не приводит. Об этом, наряду с другими «формальностями», перед виселицей скажет ему тюремный священник, который за это получает казенное жалованье...

И, конечно, рад бы был получать его за что-нибудь другое...

VI

«АВТОБИОГРАФИЯ»

Смертники пишут, если только есть возможность, довольно охотно. Это — один из способов скоротать страшные часы ожидания и, кроме того, оглянуться, обращаясь к сочувственному слушателю, на себя и свою уходящую жизнь. В случаях, когда рукой пишущего продолжает водить одушевление идеей, за которую человек сознательно отдал свою жизнь,— такие письма отливаются в формы, изумляющие и трогающие даже противников. Русская печать в последние годы нередко имела случай оглашать на своих столбцах такие обращения мертвых к живым, и эти голоса из-за могилы читались в самых глухих и прозаических закоулках жизни, заставляя забывать о противоречиях и несогласиях и напоминая только о душевной силе, побеждающей и освящающей ужас смерти.

В этих «бытовых» очерках мы имеем дело не с такими освещенными вершинами. Наш материал именно бытовой, обыденный, прозаический. Авторы не выдающиеся люди, письма их не согреты одушевлением какой-нибудь веры. Это скорее печальные сумерки мысли и гражданского сознания. Но и здесь условия, в которых рождаются эти предсмертные излияния обреченных людей, налагают на них печать серьезности, придают им особое печальное значение. Пишутся они без всякой задней мысли, как бог положит на душу, даже без надежды, что письмо проникнет дальше тесного круга родных или соседней тюремной камеры. Близость смерти делает людей искренними и серьезными. Тому, что говорится в таких условиях, приходится верить.

В нашем распоряжении есть целая автобиография такого заурядного человека, приговоренного к смерти, и теперь, вероятно, уже казненного. Мы приводим ее здесь целиком в том виде, как она списана нашим корреспондентом.

«Вы спрашиваете о детстве. Да, о нем я вспоминаю отчасти с хорошей стороны, отчасти с сожалением. Родился я и вырос в очень богатой аристократической семье. Все детство было сплошным удовольствием. Был окружен няньками, репетиторами. Зимой жил в городе, летом — в прекрасном имении. Имел ружье, лошадь, вообще все, что можно дать мальчику моего возраста. Потом началось учение. Учился в трех гимназиях, года полтора в кадетском корпусе на казенный счет, благодаря заслугам отца перед отечеством и престолом. Нигде не кончил и сделался в конце концов оболтусом. Мать по-своему любила меня. Отца я помню мало. Он через несколько лет после турецкой кампании скончался. Нас было четверо братьев и одна сестра. Должен вам сказать, что, несмотря на имеющиеся в нашей семье большие средства, ни один из братьев нигде не окончил. Вырастая, каждый стал отделяться от семьи и кое-как устраиваться. Один из братьев отравился лет восемнадцати от безнадежной любви. Другой женился девятнадцати лет на горбатой девушке, дочери крестьянина, чем, по мнению матери, осрамил всю фамилию. Служит он теперь обер-кондуктором на юго-западных железных дорогах. Третий женился на артистке провинциального театра и, сколько я помню, всегда был на полицейской службе. Теперь он где-то служит приставом или помощником полицмейстера. Помню я, что он был не-

сколько раз под судом за растрату и дебоширство, но, благодаря протекции, всегда выходил сухим из воды. Четвертый — я, ваш покорнейший слуга, мерзавец порядочный, в особенности по отношению к женщинам. Был, впрочем, таковым только до ознакомления с политикой. Вот эта самая штука, «политика», захватила меня целиком. У меня явилась жажда к учению, и я, хотя и бестолково, начал читать все, что попадалось под руку. Не забудьте, что до этого ничего, кроме бульварных романов, не читал. В детстве у меня проявлялся, хотя бессознательно, какой-то вольный дух, из-за чего у меня выходили со своими крупные ссоры. Летом крестьянам разрешалось собирать в нашем лесу грибы, но только тем, которые за это выходили на работу. Таким выдавались билетики, а остальным не разрешалось. Не выходили на работу, по-видимому, потому, что было невыгодно. И вот на таких-то и делались облавы, причем собранные грибы, конечно, отбирались. Меня это возмущало, и я отдавал грибы обратно, а с братьями по этому поводу вступал в драку. Как ни старались втолковать мне, я все-таки стоял на своем. Когда из-за этого произошла крупная ссора, я написал записку приблизительно такого содержания: «Когда будете читать эту записку, меня уже не будет в живых. Умираю потому, что не позволяют возвращать крестьянам грибы». Затем я взял револьвер, оставил эту записку на столе и ушел с сознанием, что ровно себе ничего не сделаю. Тут же за мной была погоня. Я не успел добежать до лесу и был пойман. Но с тех пор прекратились облавы на крестьян, и я торжествовал. Этот случай является одним из приятных воспоминаний. Старших — матери, теток и дядей — мы все, дети, избегали и старались поскорее скрыться из глаз, несмотря на то, что я ни разу не был наказан ими. Нас выводили, как дрессированных щенят, к столу. Говорили мы заученные французские фразы, целовали руку матери, пили чай и удалялись. То же самое проделывали мы, когда были гости. От такого воспитания ничего хорошего для нас не получилось. Меня, да, вероятно, и других братьев, ничто не тянуло к родному углу. Мать и другие родственники, по-настоящему, чужие для меня люди, и у меня нет к ним любви. Если бы даже была у меня возможность поговорить по душе и приласкаться, то я отказался бы: не даст она мне той ласки, которая мне нужна, да и не займет она меня. Я с ними никогда не ссорился. Письма с поздрав-

лениями писал аккуратно, так как знал, что это для них важно. Никогда я не обращался к ним с просьбами. Всегда им писал, что здоров, живу хорошо, хотя на самом деле мне и приходилось сидеть без еды дня по два и по три. Почему я не обращался — не отдаю (себе) отчета. Я не сказал о сестре. Она кончила в Киеве гимназию, вышла замуж за доктора, но не по любви, а потому, что муж представлялся ей выгодной партией. С супругом, сыном и матерью она и теперь живет в N. Муж ее уже профессор, имеет громадные связи и безусловно мог бы сделать для меня очень многое. За два года тюремного заключения я ни разу не писал им. Не писал потому, что не знал их взглядов, и думаю, что их скомпрометирую. Теперь мне хотелось бы послать им письмо, но то, что хотелось бы написать,— нельзя, а писать так — не стоит. Да думаю, что на меня и на брата-кондуктора смотрят как на нравственных уродов. Но теперь ввиду смерти мне хотелось бы знать, пожелают ли они хлопотать за меня. Если да — то я отложил бы свою смерть. Повторяю: одна мысль безотвязная мучает меня: умру ли тогда, когда захочу того сам...

Но я уклонился от рассказа о своей жизни. Лет пятнадцати-шестнадцати я, после долгих пререканий с матерью, добился согласия на отъезд, получил рублей триста денег и укатил в Одессу. Моя мечта была поступить на море. Через несколько месяцев я добился своего и поступил на пароход «Платон» Российского Общества и совершал поездки до Батума и обратно. Прослужил я в качестве ученика около двух лет, затем заболел, пролежал месяца четыре в больнице и потом вышел. Под руководством одной особы, довольно опытной, вскоре после этого занялся торговлей. Три года с лишком родные не знали, где я и что со мной. Я наконец написал. За мной приехала жена брата (которого из братьев — автор письма не сообщает) и уговорила уехать обратно. Возвратившись в Киев, я познакомился с институткой, очень хорошенькой, закрутил с ней любовь, и в результате — роды. Я хотел было жениться, но родные увезли ее и выдали замуж, как я это узнал потом...»[1]

Так началась и так шла эта странная сумеречная жизнь в такой же странной сумеречной семье, выделяющей в одну сторону типичного полицейского-взяточ-

---

[1] Здесь мы опускаем личное указание.

ника и преступника, пользующегося протекцией, чтобы избегнуть суда, в другую — кандидата на виселицу. Все здесь как будто на своем месте, все формально прилично: семья собирается за чайным столом, дети подходят к ручке и говорят заученные фразы. Но все так глубоко чужды друг другу, что даже в минуту смертельной опасности, перед возможностью казни (и притом, как увидим, казни по ошибке) у человека, написавшего эту удивительную автобиографию, нет решимости пробить брешь в ужасающем семейном отчуждении. Здесь нет ни слова о взаимной любви, ни слова о религии, ни слова об общем боге... Ниоткуда также не проникло еще сюда и отрицание религии или семьи. Ее никто не отрицал. Ее просто не было. В таком состоянии, уже взрослым, уже отцом, но все еще бродягой, не членом общества — автор встречается с «политикой».

«„Политику“,— говорит он,— я сначала считал простыми переговорами одного государства с другим, но к политическим преступникам питал вообще глубокое уважение и считал их чуть ли не сверхчеловеками...» Как могли явиться политические преступники при условии, что политика — только переговоры одного государства с другим, автор не объясняет, и это, конечно, тоже характерно для того умственного хаоса, в каком бродит гражданская мысль даже сравнительно «культурного» русского человека. Совершенно понятно, что разобраться в многообразном брожении политических идей при таких условиях нет никакой возможности. «Политика» тут обращается в простое «отрицание существующего строя», и беззащитный ум влечется туда, где это отрицание последовательнее и проще.

«В первый раз,— пишет автор,— я был арестован в Киеве, когда жандармский ротмистр изнасиловал в петербургской крепости политическую, кажется, Иую [1]. Студенты в Киеве решили отслужить по сгубленной панихиду, но им было в этом отказано. Студенты

[1] Автор имеет, очевидно, в виду громкую и памятную историю в девяностых годах, когда молодая девушка, курсистка, заключенная в крепости, облила себя керосином и зажгла на себе платье. В городе много говорили о причинах этой смерти, и во всяком правовом государстве невозможно было бы оставить мрачную загадку без всестороннего освещения. Самодержавное правительство того времени предпочло заглушить ее, сделав таким образом тайну какого-то служебного преступления своим общегосударственным делом. Волнения молодежи по этому поводу обошли все высшие заведения России. Фамилия покойной девушки была, если не ошибаюсь, Ветрова.

все-таки собрались, человек триста. Был тут и я. Нас всех переписали, но тут же и выпустили. Мы собрались вновь, опять были переписаны и посажены по тюрьмам. Через четыре месяца выслали на один год из Киева».

После этого молодой человек поступил счетоводом на Юго-Западную железную дорогу, где его дядя служил инженером. Устроился сносно, но местность была лихорадочная, и он заболел. Пришлось уехать в Самару, где ему удалось поступить конторщиком на железную дорогу. Конторщик он был, вероятно, самый обыкновенный, и едва ли за ним последовала даже репутация неблагонадежного. Таких маленьких протестов тогда было очень много. Но если бы вскрыть в это время душу этого обыкновенного самарского конторщика, то в ней можно было бы обнаружить представление о государстве как об учреждении, под покровом которого совершаются гнусные насилия в глухих казематах над беззащитными девушками. Оно покрывает эти насилия и наказывает за выражение негодования. С такой психологической подготовкой он знакомится в Самаре с фельдшерицами-ученицами, к которым ходили неблагонадежные лица. «Тут-то я и стал познавать всю премудрость».

Какую именно «премудрость», автор не объясняет, считая это понятным...

«Вот моя жизнь,— так заканчивает он свое жизнеописание.— За что я иду на виселицу? Скоро наступит смерть, и я даю вам слово, что не только в этой, но и ни в какой экспроприации я никогда не участвовал. Да, вероятно, я и не способен убить кого бы то ни было. По натуре я очень мягок и добр до идиотства, так что буквально не способен на такие дела. В этом же деле, за которое меня приговорили к смерти, я виноват только в том, что не донес. Да я и не знал точно, как они хотят обработать это дело. Да если бы и знал, то мои убеждения не позволили бы мне сделать донос. На суде мне пришлось удивиться существованию мелких улик против меня. Теперь я говорю вполне искренне: в данном случае простое совпадение. *Ну, да черт с ними! Не хочется об этом и толковать*. Добавляю, впрочем, интересный факт: суд признал меня виновным только в подстрекательстве, и все-таки дал мне виселицу...»

Если припомнить, что это письмо из одного каземата в другой, в расчете на тайную передачу помимо начальства, что это простая исповедь приговоренного пе-

ред временным товарищем по тюрьме,— то страшная правдивость его станет вне всяких сомнений. В одном из цитированных выше писем мы видели, как приговоренный к смертной казни обругал суд не за себя (себя он признавал виновным в том, что ему приписывали), а за то, что вместе с ним был приговорен невинный... Очень вероятно, что этот протест вызван приговором именно над этим юношей.

Теперь, когда из тюремных камер эта автобиография выбралась на волю, вопрос об этой жизни давно, конечно, решен. Как? Этого мы сказать не можем. Более чем вероятно, что «правосудие сделало свое дело». И того, кто писал эти строки, и другого, который один только, звеня кандалами, по-своему за него заступился (за что вдобавок к смертной казни попал еще в карцер),— уже, надо думать, нет на свете. Сумеречная жизнь закончилась среди сумеречного правосудия, не дающего себе труда отличить виновных от невиновных. Едва ли последние минуты этой жизни осветились вспышкой какой-нибудь веры. «Черт с ними!» — такова формула, которую, уходя, он кинул на прощание...

Но те, кто его судили, вели на казнь и напутствовали предсмертными поучениями, как будто во что-то верят сами и требуют веры от других. Думают ли они о том, какой ужасный иск этот сумеречный и неверующий юноша мог бы представить против «существующего строя» в той признаваемой ими инстанции, которая должна быть выше всякого земного суда?

VII

ЭКСПРОПРИАТОРЫ

В сентябре 1909 года в киевском окружном суде (с присяжными заседателями) разбиралось дело эстонского журналиста Эккарта (Энделя) Хорна. Ранее он был приговорен к каторжным работам за политическое преступление, совершенное в Прибалтийском крае, где, как известно, революционное движение было особенно интенсивно и местами действительно принимало характер массовой борьбы. В киевской лукьяновской тюрьме, где он отбывал наказание, в соседней с ним камере содержалась смертница, Матрена Присяжнюк, бывшая сельская учительница. В августе 1908 года она была приговорена киевским военно-окружным судом к смерт-

ной казни. Двенадцатого сентября приговор был утвержден, но исполнение почему-то затянулось. Перед казнью Матрену Присяжнюк перевели в камеру рядом с Хорном. Он слышал ее шаги и звон кандалов. Ночью светила луна. Через стену было слышно, как приговоренная, звеня кандалами, подошла к своему окну. Два товарища, осужденные вместе с нею, уже раздобылись ядом. Хорн вскрыл замазанное глиной отверстие в стенке и передал девушке цианистый калий в носке чайника. Она приняла яд, и Хорн до конца разговаривал с нею, утешал ее. В письмах к невесте, сидевшей в той же тюрьме, он описал последние минуты Матрены Присяжнюк (кружковая кличка ее была Рая). Письмо странно и не вполне связно. Видно, что писал человек, потрясенный до глубины души. О себе он иной раз говорит в женском роде, о своей невесте и Рае — в мужском.

«Я ждал вечера. Какой это был длинный, мучительный день... Когда все у нас ложились спать, я открыл ножиком замазанное глиной отверстие... Через несколько минут я увидел свет из ее камеры... Открывается отверстие, и она называет меня по имени. О боже! Я должен был передать ей... Я чувствовал, как она сняла с палочки мое послание... Затем передал ей два письма. Все время с жадностью смотрел я в отверстие. Она читала.

В это время спрашивает Степа из каземата, чтобы спросить у Раи, когда она думает принять, чтобы уйти вместе... Какая любовь! Они любили ее... Звон кандалов. Значит, прочитала...» «Милый, я долго говорил с нею, я дополнил словами письмецо. Наконец, я просил ее немного отступить от отверстия, чтобы я мог ее увидеть. И я увидел ее красивое, чистое личико. Какой я был счастливец! Она смотрела на меня и смеялась тихо, тихо... «Эндель, ты слышишь, я смеюсь?» — «Да, Раичка, слышу... Что с тобою?..» — «Мне смешно, что мы здесь увидимся, что мы сумеем еще говорить...» Затем она спросила: что с тобою? Где Анатоль, где «земляк»?.. «Передай моей Надюшке мои приветы и поцелуи». Здесь она уходит. Через некоторое время опять подходит. Степа спрашивает: «Когда?» «Сегодня, после смены,— ответила она.— Действует ли калий?» — «Да, дорогая. Больше ничего не могу тебе дать!» Здесь я страшно волновался. Передать из рук в руки другу, которую так любишь, смерть, когда так хочется жить. Это ужасно... «Не волнуйся, Эндель»,— ответила она.

Я молчал, а она говорила что-то. Наконец она спрашивает, каким образом принять. «Разотри в порошок. Можно немного воды».— «Хорошо, я возьму так». Она ушла.

После смены стук в стенку — я подошел. «Сейчас приму, Эндель, я без воды. Что парни?» — спрашивает она. «Кажется, уже».— «Прощай».— «Прощай, дорогая». Я слышал шорох платья, звон кандалов. Затем тишина. «Раичка, приняла?» — «Уже, прощай».— «Прощай, дорогая...» Несколько секунд была глубокая тишина. Затем она сильно задышала. Вздохи... Опять слабое дыхание... наконец сильные вздохи... тишина. Тише, человек умер... не стало дорогой Раички. Тише, человек умер, но жизнь идет своим чередом... «Я говорил с нею, я слышал все, был с нею до последней минуты. Все это навсегда запечатлелось в моей душе... Нет Раи, говорите вы... неправда! Я говорю — она есть и теперь со мною, со всеми нами, которые любили ее. Мы будем жить ею. Через некоторое время послышались стуки в стенку, но отвечать было незачем. То пришли тюремщики» [1].

Это письмо попало из тюрьмы на волю, ходило по рукам и спустя полгода было взято при обыске у некоего Кинсбургского. Оно послужило основанием для возбуждения против Хорна нового дела «о пособничестве самоубийству», которое разбиралось 10 сентября 1909 года киевским окружным судом. Почему оно было направлено в порядке общей подсудности, с присяжными и даже при открытых дверях,— сказать трудно. Если правительство рассчитывало показать обществу «чудовищ», которых военные суды келейно приговаривают к смертной казни, то расчет оказался ошибочным. «Медленно и страшно,— говорит автор судебного отчета,— приподнялась завеса над одним из ужасов жизни. Наступающие сумерки, сухое и отчетливое чтение письма среди мертвой тишины производило глубокое впечатление». В коротком последнем слове Хорн, признавая факт, отрицал вину. «Она приговорена была к смертной казни, приговор был утвержден, и я помог дорогому товарищу освободиться от нее. Я ничего безнравственного не совершил». Дальше он не мог гово-

---

[1] Письмо это (с некоторыми сокращениями) я заимствую из судебного отчета, напечатанного в местной газете «Киевские вести» (11 сент. 1909 г., № 242).

рить от волнения и сел... Присяжные удалились в совещательную комнату только на одну минуту. Приговор был *оправдательный*.

В значении его едва ли можно ошибиться. Присяжные — это люди из того самого общества, которое правительство защищает от экспроприаторских налетов посредством военных судов и смертных казней. Хорн — революционер, анархист, стоявший очень близко к экспроприаторским кругам... И тем не менее во всем эпизоде нет ни одной черты, которая бы говорила о «кровожадной свирепости» или «глубокой испорченности», невольно возникающих в воображении в связи с таким отвратительным явлением, как экспроприация, вдобавок еще частная. Для присяжных она осталась в тумане. Перед ними и перед обществом встал только образ интеллигентной девушки довольно распространенного в России типа, с знакомой издавна психологией прямолинейной готовности на борьбу и жертву. А обстановка этой смерти дала картину такого нечеловеческого страдания и атмосферу такого взаимного сочувствия, что присяжные, как мы видели, даже не колебались. Их приговор явился непосредственным откликом общественной совести. Несомненно, что Хорн помог жертве правосудия ускользнуть от виселицы. Он содействовал самоубийству... Да, но для того, чтобы устранить казнь. И присяжные, люди среднего русского типа, сказали: *не виновен*. Не знаю, конечно, вспоминали ли они знаменательное признание гр. Витте относительно «отсталого строя». Можно думать, что и без гр. Витте у среднего русского человека, поставляющего контингент присяжных заседателей, есть представление о связи явлений, которая в последнее время становится особенно ясной. И если даже в миазмах экспроприаторской эпидемии перед удивленным взглядом такого среднего русского обывателя встают черты душевной красоты и чувствуется психология самоотвержения,— то тут есть повод задуматься о причинах этого угара... Общественная совесть не мирится, конечно, с экспроприациями. Но она не может примириться и с прямолинейным решением трудного вопроса посредством не рассуждающей «упрощенной» процедуры, в конце которой — веревка и виселица...

Временная связь между экспроприациями и традициями политических партий, проявленная в бурном периоде движения, не могла удержаться долго. Она была

вызвана неверной оценкой данного момента. По существу, как длительная тактика борьбы, она противна психологии революционных партий. Антагонизм проявился сразу и с тех пор только усиливался. Случайные идейно-революционные элементы уходили из отравляющей душу полосы, экспроприация все больше приближалась к простому разбою, иногда в самых отвратительных и жестоких формах. Но для правительства и для вульгарной «благонамеренности» вообще выгодно смешивать эти явления. Репрессии против *всех* оппозиционных партий оправдываются существованием экспроприаций. Борьба мнений, партийное самоопределение, партийные споры и сталкивающиеся внутри оппозиций программы — составляют в глазах всякого политически просвещенного правительства элемент *социальной рефлексии*, которая уже сама по себе ослабляет дикую страстность борьбы, обращая ее от непосредственных импульсов в сферу мысли, колебаний, сомнений, изучений. Свобода мнений выставляет самые крайние из них под свежие веяния критики. Наша власть продолжает считать своим успехом и признаком своей силы то обстоятельство, что ей удалось загнать работу оппозиционной мысли и воли в душные подполья, оставив на поверхности жизни одно только властное предписание, один только голос «организованного беспорядка» и стихийную анархию об руку с разбоем...

В этом правительство достигло значительных внешних успехов. Одного только оно устранить не в силах, это — общего, можно сказать, всенародного сознания, что *так дальше жить нельзя*. Сознание это властно царит над современной психологией. А так как самостоятельные попытки творческой мысли и деятельной борьбы общества за лучшее будущее всюду подавлены, то остается непоколебленным одно это голое отрицание. А это и есть психология анархии. Ни уважения к «отсталому строю», раз уже признавшему всенародно свою несостоятельность, ни самоуважения, как к членам организующегося по-новому общества... «Вы говорите о каких-то возможных еще приемах легальной или хоть не вполне легальной партийной борьбы. Где они? Вот. Только *эти люди* еще борются *при всяких условиях*. Итак, долой социальную рефлексию, долой всякую организацию, всякие положительные программы и принципы. Мы принимаем только ясное, простое, оче-

видное: неорганизованное, не связанное никакими ограничениями выступление анархической личности. Насилие индивидуальное — на насилие легализованное, тайное убийство — против казни по упрощенному суду или совсем без суда, грабеж — против разорения «административным порядком», личная кровавая месть — против истязаний в участковом застенке, партизанская анархия — против того, что цензор Никитенко назвал так метко «организованным беспорядком». Общий фон — глубочайшее презрение уже не только к одной стороне жизни, а ко всей жизни: к правительству, к обществу, к себе и к другим. Мы видели, как один из смертников прощался со всем этим краткой формулой: черт с ними.

Этому процессу нельзя отказать в последовательности. Он последователен, как любая болезнь в организме, пораженном маразмом застоя, как воспаление там, где есть невынутая заноза, как заражение крови...

Среди материалов, сообщенных нашим корреспондентом, есть одно письмо, поразительное по цельности и интенсивности стихийно анархистского настроения.

«Вы спрашиваете, к чему я стремился? И действительно — к чему? Я не могу объяснить. Я не нахожу тех слов, которыми мог бы все это объяснить. Но я вижу и чувствую, что *не то в жизни, что должно бы быть*[1]. А как должно быть по-настоящему, я не знаю, или, пожалуй, знаю, но не умею рассказать. Когда я был на воле, то наблюдал, что *люди делают не то, что нужно делать,* а совсем другое. Несколько лет назад и я сделал не то, что нужно, а потом махнул рукой на всех и стал делать то, что хочу и что мне нравится».

Себя он характеризует с беспощадной откровенностью:

«Я страшный эгоист и любил только себя во всю свою жизнь. Я одно ясно сознавал: я живу, а раз живу, то для этого нужны деньги (!). Своих денег у меня не было, и я брал, где только они есть. Я не знаю, быть может, это и худо, но я ни на кого не смотрел. Мне нет дела до людей, какого они мнения о моих поступках. Ты и сам знаешь, что я не буду подставлять свою жизнь, а скорее сам отниму. Я всегда старался угнетать слабых и брать у них все, что мне надо. Если бы понадобилась их жизнь, я отобрал бы ее, но в жизни других я не нуж-

---

[1] Курсивы всюду мои.

дался. Ты не думай, что под слабыми я разумею бедных людей. Нет. *У нас и богач слабое существо. Я на воле был сильнее богача, но теперь я слаб,* у меня отняли все, что я имел, *и мне остается умереть».*

Правда, среди всего материала, которым я располагаю в настоящее время, это письмо является единственным по своему безнадежно-мрачному, беспросветному цинизму. Другие только в большей или меньшей степени к нему примыкают. В них это настроение смягчается по большей части проблесками признания где-то существующей, но недоступной правды и глубокой, за душу хватающей печалью о погибающей жизни.

«Придется умереть,— пишет восемнадцатилетний юноша.— А как хочется жить, если бы ты понял! Страшная жажда жизни. Подумай: мне ведь только восемнадцать лет. *А как я прожил эти восемнадцать лет? Разве это была жизнь?* Это были сплошные страдания. Ведь у нас семейство семь душ. Работник почти один брат. Я еще какой работник! Обо мне и говорить нечего: много ли я мог заработать? *Плохо было жить. Так я жизни и не видел».*

«Жизнь прошла бледной, как в тумане,— пишет другой смертник.— Является чувство жалости к прожитому. Почему я был так темен и не знал другой жизни? Почему я не учился?.. Жалеешь, почему так поздно узнал то, что узнал теперь. Почему жизнь была так пуста? Что меня занимало? Какая-то ерунда, за которую теперь стыдно».

«Впрочем,— заканчивает он безнадежно,— успокаивает мысль, что рано или поздно, но не избежать бы мне этого. Если бы и выбрался я на волю, то пришлось бы жить нелегально. Это легко только тому, кто не испытал этого. Пришлось бы заниматься тем же. Значит, и опять явился бы кандидатом на виселицу».

«Все хорошее,— пишет третий,— заслонялось дурным, *и я видел только зло во всю свою хотя и короткую жизнь.* Видел, как другие мучаются, и сам с ними мучился. При таких обстоятельствах и при такой жизни *можно ли любить что-нибудь, хотя бы и хорошее?* Прежде я работал на заводе, и мне это нравилось. Потом я понял, что работаю на богача, и бросил работу. С вооруженного восстания стал грабить с такими же товарищами, как я».

«Да и стоит ли выходить на волю?— спрашивает четвертый.— Нашел ли бы я там людей, с которыми

стоило бы жить? *Я знаю, что где-нибудь есть хорошие, честные люди, но я их не найду,* а сойдусь с какими-нибудь негодяями. Пожалуй, и не стоит выходить на волю и жить так, как я жил раньше. *Лучше уже умереть, чем сплошная мука»*.

Порой встречаются попытки реабилитации и оправдания экспроприаторской «деятельности». «Я напишу вам о том, что меня мучает в данную минуту,— пишет один из экспроприаторов-смертников политическому заключенному.— Я знаю, что большинство людей считают меня, как и других экспроприаторов, простым вором. Но я не для себя грабил, а помогал тому, у кого ничего не было. Об этом знают многие. Я делал это не от лица какой-нибудь партии, а от себя лично, и мне так обидно, когда обо мне говорят так. Когда я прежде сидел в общей камере с уголовными, то все говорили, что экспроприаторы грабят только для себя. Я спрашиваю вас: неужели те, которые сидят с вами в одной камере (речь, очевидно, идет о политических), думают так же, как уголовные? Я говорил прежде уголовным, что есть люди, которые берут не для себя, а для других. Лично о себе я ничего не говорил, но мне всегда было так горько при таких отзывах об экспроприаторах».

Но общий уровень экспроприаторской среды падает гораздо ниже и этих наивных попыток своеобразной идеологии. «Я грабил с такими же экспроприаторами, как и я,— печально признается еще один автор,— но и тут подлость: товарищ у товарища ворует. Я участвовал во многих грабежах, но редко проходило без подлости. Разве это не обидно? Ведь свой у своего берет? *А снаружи все хорошие люди. И как жить после этого?»*

Читатель, вероятно, заметил горькую, хотя, может быть, и несознательную иронию этих заключительных слов. О том, чтобы найти правду в обычных условиях общества, этот погибающий юноша уже и не говорит. Остались еще, по-видимому, немногие хорошие люди. Это экспроприаторы, которые одни дерзают активно восставать против торжествующей несправедливости. Но и они хороши только «снаружи», по своему, так сказать, «почетному званию». Как жить после того, когда даже среди них настоящей правды не оказывается!..

VIII

«ПРИГОВОР УТВЕРЖДЕН»

Этим исчерпывается автобиографический, так сказать, материал, доставленный самими смертниками нашему корреспонденту.

Эти интимнейшие, откровенные и совершенно бескорыстные признания-исповеди разными способами, но почти всегда неофициально пробирались из камеры смертников в другие тюремные камеры к людям, которые не имели ни малейшей возможности повлиять на участь приговоренных. В каждой строчке звучит поэтому одна предсмертная правда. Многие авторы писем откровенно говорят о том, что для них при данных условиях нет уже никакого исхода, и сомневаются, стоит ли им даже мечтать о жизни. И тем не менее — только в одном (первом) письме можно, пожалуй, увидеть признаки настоящего цинизма и нераскаянности. Во всех остальных сквозит горькое раздумье и тоска по какой-то другой жизни, по какой-то труднодоступной правде. Можно ли, положа руку на сердце, сказать, что для тех, кто писал эти исповеди, не может быть места среди людей и что рука, утверждавшая эти приговоры, удаляла из жизни извергов, недоступных ни раскаянию, ни исправлению?

А ведь все это писано по большей части профессиональными экспроприаторами, дышавшими разъедающей атмосферой вульгарно-анархической психологии. Таково ли, однако, большинство жертв военной юстиции? Экспроприаторство — это эпидемия. Нередко она захватывает людей просто среднего типа, не думавших за месяц до преступления, что они могут в нем участвовать, и просыпающихся от закрутившего их вихря, точно после тяжелого сна. В газетах появлялись не раз письма смертников к родным, ярко выражавшие это пробуждение от кошмара, проникнутые страстным чувством раскаяния.

Вот несколько примеров.

Некто Карамышев служил в экономии Орлова-Давыдова, в Аткарском уезде, Саратовской губернии. Был обыкновенный служащий, нажил на службе увечье и должен был получить за это увечье деньги. Но в промежутке принял участие в нападении на купца, причем никому никаких ран причинено не было. Самый обыкновенный грабеж, окрашенный современным колоритом

«экспроприаций». Тем не менее он был приговорен к смертной казни. Вот его предсмертное письмо к родителям[1]:

«Дорогие мои родители, папаша и мамаша, и сестрица Феня! Пишу я свое любезнейшее письмо к вам со слезами на глазах; извещаю я вас в том, что я присужден к смертной казни через повешение. То прошу, дорогие мои родители, простите меня и все мои преступления перед вами. Перед смертью я исповедывался и причастился, отклонить этого я не мог.

Прощай, родной ты мой отец, прощай, родная моя мать, прощай, сестрица моя родная, прощайте все мои братья и любезные мои друзья; вы больше меня не увидите, до гроба будете вспоминать. Прошу, дорогие мои родители, отслужите панихиду по мне. Ах, как трудно такой смертью помирать. Сообщите брату моему Ване, что меня уже нет на свете. Дорогие мои папаша и мамаша! Когда писал это письмо, у меня сердце кровью обливалось, слезы катились с моих глаз и капали прямо на стол. Передайте моей жене, чтобы и она отслужила панихиду. Жена моя и братья мои навещали до самой смерти моей. Прошу еще, скажите моим дядям и теткам и также крестной и дедушке, что я уже помер. Передайте смертный мой поклон Федору, Петру, Василию, Мише и всем моим знакомым. Еще прошу, напишите в Баку тетке и брату Василию о том, что меня нет в живых. Папаша и мамаша, если вы получите деньги за увечье, то прошу вас сердечно построить на эти деньги хороший дом, и меня не забывайте. Папаша и мамаша! Не плачьте обо мне, так как у вас осталось еще четыре сына; довольно вам и этих, без меня обойдетесь. Ну, дорогие мои родители, прощайте же еще раз. Прощай, мое село родное, где я родился и провел свою молодость. Прощай, все общество мое. *Простите меня, злодея окаянного.* Бог, может быть, не оставит меня и простит грехи мои все.

Письмо это я писал перед смертью, рука дрожала, сердце билось. Извините, что так плохо написал, тороплюсь. Прощайте, прощайте. Нет уже меня. Еще раз прощай, жена моя родная, милая моя. Прощайте. Некогда. Меня ждут. Любящий сын ваш Василий Максимов Карамышев».

---

[1] Напечатано в «Сарат. листке» (№ 262). Заимствую его из «Речи», № 2991; год, к сожалению, на моей вырезке не отмечен, кажется, 1908.

Читатель видит, что здесь нет и намека на характерную психологию экспроприаторов-анархистов, нет также и тени какой бы то ни было оторванности от среды и ее отрицания. Эта расстающаяся с миром душа — душа крестьянина, крепко связанная с семьей, с обществом, со своим миром.

За экспроприацию в Балашовском уезде Саратовской губернии был приговорен к смертной казни Шуримов. Его отец, слепой старик, проживающий в Цимлянской станице (области Войска Донского) получил от него следующее письмо [1]:

«Здравствуй, дорогой папа! Шлю тебе свой последний прощальный привет и желаю много... много... счастья. Прости, дорогой, что я так долго тебе не писал. Ты подумаешь, что я вконец забыл тебя. О милый папа, не обвиняй меня так жестоко. Все это время нашей разлуки с тобой было сплошное мученье для меня. Я только тем и жил, что *думал, настанет время, когда я навсегда соединюсь с тобой, когда я буду в силах преклонить твою седую голову к себе на грудь и залечить душевные раны, что нанес твоему бедному, истерзанному сердцу*. Но это время не настало, мечты мои разлетелись, и осталась горькая действительность. Я с 29 мая 1908 года сижу в тюрьме. Двадцать третьего января я был на суде и приговорен к смертной казни. Приговор послан на утверждение командующему войсками, но надежды мало, чтобы смерть заменили каторгой. Мне осталось жить дней тридцать. Если можешь, дорогой папа, то приезжай, тебя допустят увидеть меня. Теперь я сижу на имя Шуримова. Напиши письмо матери и скажи ей, что последняя моя просьба, чтобы она не покидала тебя и успокоила бы твою бедную голову. Поцелуй Пашу и Мишу. Всем родным поклон. Прощай, папа!»

Как и ожидал присужденный, приговор был приведен в исполнение.

Еще более яркие, по покаянному настроению, письма написал восемнадцатилетний юноша, Евгений Маврофриди, приговоренный к смерти военно-окружным судом в Новочеркасске в декабре 1908 года.

«Здравствуйте, дорогая мамочка.

Я, по воле всевышнего, еще жив, но в будущем не знаю, что со мной будет, приведут ли в исполнение при-

---

[1] «Киевские вести», № 64, 6 марта 1909 г.

говор или же нет, но я, дорогая мамочка, чувствую, что я живу последние дни, а может быть, даже и часы, вот уже десятые сутки ожидаю смерти и ночью не сплю и прислушиваюсь, как заяц, к каждому шороху, и как только проходит мимо какой-нибудь надзиратель, так мне все кажется, что это за мною, то есть мне кажется, что легче будет умирать на виселице, нежели ожидать вот так каждую минуту то, что откроется дверь и скажут: выходи! Но, дорогая мамочка, на все его святая воля, я надеюсь на него. Он сам страдал, но он страдал за наши грехи, то есть за грехи всего народа, а я страдаю за то, что не слушал вас, дорогая мамочка, и не молился ему, который умер за наши грехи. Да, дорогая мамочка, грешен я перед богом и перед вами. Каюсь, ну что, теперь, мне, кажется, уже поздно, да, дорогая мамочка, слушался бы я вас, молился бы почаще богу, ничего бы подобного не было; а то я послушал совета товарищей и оставил службу в банке, не бросил бы я служить, не сидел бы я теперь и не ждал бы каждый час смерти, а ожидал бы, как каждый христианин, среди вас, дорогие мои, праздника рождества Христова, ну, на все воля всевышнего. Суждено мне умереть, я умру, если нет — значит, буду жить.

Дорогая мамочка. Смотрите лучше за Колей, вразумляйте его, пусть он молится богу за всех вас, а также пускай помолится за своего грешного брата, может, бог услышит его, а обо мне, дорогая мамочка, забудьте, я недостоин, чтобы из-за меня мучились люди, а тем паче вы, дорогая мамочка, а также Маруся, она вас слушалась, и училась, и молилась за своего грешного брата богу. Мамочка, смотрите за ними, то есть за Колей и Марусей. Скажите им, чтобы они вас слушали, *а не подруг и товарищей.*

Дорогая бабушка, я знаю, что я вам приношу много горя, так как я горячо вами любим, но вы, дорогая, не обижайтесь на меня, а помолитесь лучше за меня богу. Да, дорогая бабушка, тяжело умирать в таких летах, как я, ведь мне только восемнадцать лет, и я должен умирать, ну, раз так хочет бог, то пусть так и будет. Если господь нас, то есть меня с вами со всеми, дорогие мои, разделяет здесь на земле, то он нас соединит там, где дорогой мой папа, да, бабушка? Я иду до папы. Вы успокойте мамочку, скажите ей, что у нее есть еще Коля и Маруся; я молю бога, чтобы она нашла в них себе утешение.

Ну, покамест до свидания, а может быть, прощайте, это бог знает. Целую вас всех крепко, поцелуйте за меня тетю Шуру, Колю, Марусю и всех остальных. Евгений Маврофриди».

В том же тоне написано и письмо к брату, тому самому Коле, о котором этот юноша несколько раз упоминает в предыдущих письмах. Он просит его не оставить мать и сестру: «у них одна надежда на тебя. Оправдай все это, береги их, выучи ты Марусю, чтобы из нее вышла порядочная барышня, а не какая-нибудь потаскуха... Не оставляй службы, служи, терпи и боже тебя сохрани послушать совета товарища без совета матери... Дорогой Коля, если мне придется умирать, то я оставлю свой крестик золотой на серебряной цепочке, ты его получишь в тюремной конторе и одень его и носи до конца своей жизни, я тебя прошу ради бога, это будет благословение твоего грешного брата».

В Таганрог, где жили родные Маврофриди, письма пришли с прокурорской пометкой: писаны они 18 декабря. Мы не знаем, что предпринимала несчастная мать, но приговор был утвержден, и 29 декабря 1908 года *восемнадцатилетний* Маврофриди казнен.

И сколько таких матерей, и сколько отцов, и братьев, и сестер, и бабушек получали в последние годы такие письма. Сколько тут еще косвенного, непоправимого и незабываемого страдания людей уже совершенно невинных. Слепой старик Шуримов, получивший в Цимлянской станице от своего сына цитированное выше письмо, захотел исполнить его просьбу и отправился в Саратов, чтобы получить прощальное свидание. В первой статье я уже рассказывал об его «хождениях по этому делу». Чтобы добиться простой справки — жив ли еще его сын, или его уже казнили,— ему пришлось путешествовать из Саратова в Казань, и только по возвращении оттуда «справку» наконец дали: сын уже повешен. Что теперь с этим слепым стариком? Жив ли он или не выдержал тяжкого удара и последовал за сыном? Мы не знаем. Это знают, вероятно, в Цимлянской станице. «Были случаи,— говорит сотрудник «Нашей газеты», описавший мытарства Шуримова-отца,— покушения на самоубийство лиц, близких к казненным: люди не выдерживали ужаса *такой* потери. Во всех та-

ких случаях общество, несомненно, казнит невинного вместе с виновным» [1].

А вот еще бытовая картинка в современном вкусе, которую господин А. П. нарисовал с натуры в газете «Речь». Автору случилось 3—4 января 1909 года ехать с вечерним поездом из Ставрополя Кавказского. Ехали, как обыкновенно ездят в вагонах третьего класса, и разговоры шли обычные. На первой остановке в то отделение, где помещался автор, вошел мужчина в опрятном костюме, который на Кавказе носит название «хохлацкого» и всегда выдает переселенцев из малорусских губерний. Ничего особенного на первый взгляд в этом переселенце никто из пассажиров не заметил. Фигура тоже бытовая, обычная, и ее тотчас же, по обыкновению, приобщили к обычному вагонному разговору: кто? откуда? куда? по какому делу? торговля? покупка или продажа хлеба, скота, яиц или масла?

Оказалось, что едет он в Таврию и дела у него не торговые... А какие?

— Да так... несчастие маленькое вышло...

Что ж. И это дело обычное. «Со всяким человеком случаются несчастия». «Без этого невозможно. Дело житейское».

— Болен кто-нибудь?..

— Никто и не болен... *Сына повесили.*

Всех поразил спокойный, по-видимому, тон этого ответа. Известие было неожиданное и не совсем обычное. К такому «бытовому явлению» даже наша российская публика еще не совсем притерпелась, как к обычному предмету вагонного разговора... Кое-кто, может быть, сразу и не поверил. Но «спокойный» незнакомец вынул из кармана «документы» и господин А. П. прочитал их. Документов этих было два. Первый гласил:

«Здравствуйте, дорогие родители, дорогие папа и мама и дорогие братья и сестры. Я в настоящее время сижу в одиночке в последнюю минуту повели меня. Нас на казнь пять человек Котеля, Воскоб(ойникова), Лавронова и Киценка. Вы хорошо знаете кажется хто был я и умру не первый и не последний. Привели меня в темную так называемую одиночку так что я писать не вижу, ни буквы ни линеек, которые находятся на этой бумаге. Дорогие папочка и мамочка и дорогие братики и сестрички читай(те) это письмо, но прошу не плачьте

---

[1] «Наша газета», № 53, 5 марта 1909 г.

и (не) тратьте своего здоровья и сил и так слабы прошу не плачьте. А гордитесь своим сыном я умираю гордо и смело смотрю смерт(и) в глаза я нисколько не боюсь ее я очень рад что кончено мое мученье меня судили 29 октября, а 22 ноября ночью приблизительно часов у 12 или в час я очень весел, этим я горжусь, что умер не трусом. Это последнее прощальное письмо. Целую вас папу, маму, Васю, Ваню, Катю, Маню, Варю. Прощайте, прощайте Коля Котель».

Другой документ было письмо защитника в чисто деловом тоне.

«Милостивый государь. Сын ваш был осужден судом к смертной казни, *причем суд постановил ходатайствовать перед Каульбарсом* о замене смертной казни каторгой. Сегодня в тюрьме случайно узнал о том, *что Каульбарс не уважил просьбы,* и смертный приговор приведен вчера в исполнение. Присяжный поверенный В. Гальков».

Читатель легко представит себе «вагон третьего класса» после оглашения этих документов. Поезд несется по русской равнине, громыхая и лязгая цепями, светя в темноту ночи своими окнами. В одном вагоне третьего класса все притихло. Кто не спит, слушает чтение документов и (теперь уже не совсем спокойные) речи «переселенца» в хохлацком костюме.

— Лучше бы меня повесили,— так передает господин А. П. общее содержание этих речей,— чем его, молодого, в расцвете сил. Добрый был. Ласковый. Никому зла не сделал. Ну, хоть бы в каторгу послали, все-таки был бы жив... Растили... радовались... Мать пропадает от горя, у меня точно сердце из груди вынули... Пусто...[1]

В публике слушают, качают головами: «Бытовое явление» повернулось необычной стороной: перед глазами этих людей уже не экспроприатор и не революционер, а отец, такой же, как и все эти отцы, у которых тоже есть дети. И они тоже разошлись по белому свету в учение, на заработки, на службу... Кто их знает? Из семьи тоже уходили добрые, любящие, ласковые. Писали письма: «Дорогая мамочка и папочка. Посылаю я вам с любовью низкий поклон...» И вдруг вот так же внезапно напишут: «Сижу в одиночке. Через полчаса

---

[1] «Речь».— Заимствовано «Нашей газетой» 28 марта 1909 г., «Киевск. вестями» 2 апр. 1909 и др.

повесят». А защитник прибавит: «Суд ходатайствовал, но Каульбарс не уважил». И мать станет пропадать от горя, у отца вынут сердце. За что? Они ли виноваты, что всюду вне их семьи свирепствует эпидемия «волнений и расстройств», вызванная, между прочим, и тем, что современный строй уже «не удовлетворяет стремлениям общества к правовому порядку...» Почему же за это так тяжко приходится расплачиваться матерям и отцам? Разве «отстала» одна только семья, а не государство?..

И почему генерал Каульбарс казнил Колю Котеля, когда даже суд перед ним ходатайствовал о смягчении его участи? Кто этот генерал, такой строгий и непреклонный? Кто-нибудь даже и в вагоне третьего класса, пожалуй, знает кое-что про этого доблестного генерала. О нем много писали и продолжают писать. Например, генерал-адъютант А. Н. Куропаткин, останавливаясь на причинах наших неудач в минувшую войну, говорит: «Указать хоть на то, что командующий второй армией *генерал Каульбарс* не исполнил приказаний главнокомандующего, чем *много способствовал японцам в обходном движении*. Получив войска и приказание наступать, *он отступал;* вместо того чтобы идти вправо, шел влево и т. п. ...Военный совет нашел действия генерала Каульбарса неправильными, установил факты неисполнения приказаний главнокомандующего и решил предать генерала Каульбарса... *военному суду. Суд, по высочайшей милости, не состоялся»* [1].

Неужели это тот самый?.. Да, тот самый. Он пощадил японцев от своей грозной атаки и даже «много способствовал неприятельскому обходному движению». Почему же теперь он так беспощаден к Коле Котелю, его отцу и матери? Самому ему грозил военный суд. Он избег его только *благодаря милости...* Почему же теперь сам он так немилостив, что отверг даже ходатайство суда?..

А русский поезд все дальше мчится русскою степью, унося с собой этот клочок ужасной русской современности «послеконституционного периода»... И на каждой маленькой станции кусочек «бытового явления» отщепляется от громыхающего поезда, и какой-нибудь из слушателей «спокойного рассказа» пробирается проселком в село, или в деревню, или в городское пред-

---

[1] «Петербургская газета», заимствовано «Речью» (7-го дек. 1909 г. № 336) и почти всеми остальными русскими газетами.

местье, в крестьянскую лачугу, или в рабочую казарму. Что он несет туда? Какие впечатления, какие чувства, какие мысли? Уважение к силе власти? Страх перед нею?.. Перед генералом Каульбарсом, тем самым, который... Или, может быть, щемящее сочувствие к горю отца и матери, к сотням и даже тысячам отцов и матерей, постигаемых этой доблестной генеральской беспощадностью? Или, чего доброго, сочувствие к неведомому юноше, написавшему перед смертью:

«Умру не первый и не последний. Не плачьте, а гордитесь своим сыном. Умираю гордо, смело гляжу в глаза смерти...»

Трудно угадать, кто и что именно вынес с собой из этого вагона и от этого рассказа. Трудно точными словами передать чувства и мысли безгласной страны, которая, говорят, уже успокоилась, но в которой под конституционные речи все еще не хочет успокоиться виселица... Ведь и этот случайно встреченный господином А. П. пассажир в костюме кавказского переселенца *казался* тоже спокойным. Но все-таки он хранит на груди свои «документы» и готов предъявить их по первому запросу...

Когда, при каких обстоятельствах, в какую инстанцию он их предъявит?.. Кто знает. Будущее темно. Русский поезд мчится в темноте дальше и дальше по старым, износившимся рельсам...

IX

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Прежде, еще не так давно, это делалось иначе, чем теперь. До последнего времени, до периода «обновления», казнь была явлением исключительным, необычным. Она волновала, потрясала, пугала человеческую совесть. В ней чувствовался ужас, над ней витала мрачная, почти мистическая торжественность.

Можно было бы привести много примеров. Мы удовольствуемся одним. В благонамеренном «Историческом вестнике» (за апрель 1909 года) были помещены воспоминания господина Георгия Черенкова, рисующие картину казни пяти солдат дисциплинарного баталиона. Всем более или менее известно, что такое дисциплинарные баталионы. Они были ужасны в николаевские времена, быть может, еще ужаснее теперь. Доведенные

до отчаяния преследованиями унтер-офицеров, эти пятеро солдат их убили. Военный суд приговорил их к казни. Автор описывает, как очевидец, самую картину казни, и мы приводим это описание in extenso [1].

Ночь перед экзекуцией остальные штрафные солдаты провели без сна. Еще с вечера, когда всех заперли на ночной отдых, в окна, выходившие на плац, были заметны какие-то приготовления. Бегали люди с заступами и фонарями... Все поняли, что они делают...

Еще не рассеялся предрассветный мрак, как на плац стали выводить войска. Их расставили в несколько рядов вокруг плаца по стенам ограды. Вслед за ними вывели из казарм и штрафных и расположили покоем. У открытой стороны этого покоя, впереди шагов на двадцать, стояли в одну линию пять столбов. Появилось начальство — сначала свое, потом приезжие — губернский воинский начальник, военный прокурор и еще кто-то. Кругом царила тишина раннего утра.

Но вот раздался шум многих шагов и странный звон железа. Слева в распахнувшиеся ворота ограды вышла масса людей, двигавшаяся сконцентрированным кольцом. В середине этого кольца виднелось несколько закованных фигур. Впереди, с крестом в руках, шел батальонный священник Иаков Стефановский. Он шел быстро, почти бежал, боязливо озираясь назад, как бы стараясь уйти от того страшного, что гремело назади.

В воздухе пронеслась команда:

— К эк-зе-куции!

Загремели барабаны. Двухтысячная толпа вздрогнула. Сердца забились. Каждый слышал удары сердца своего соседа.

От группы властей отделился военный прокурор с бумагой в руках. Нервным шагом он вышел на середину и стал лицом к осужденным. Бой барабанов умолк.

— «По указу его императорского величества»,— громко и торжественно начал прокурор, а затем продолжал чтение, закрыв бумагой свое лицо от осужденных.

— На-пут-ствие! Расковать!— крикнул командовавший *смертным парадом* Масалитинов.

К осужденным подбежали кадровые и разомкнули ручные оковы. Появился кузнец с наковальней и моло-

---

[1] Полностью *(лат.).— Ред.*

том. Нетвердой рукой медленно он разбивал ножные железа. Потом подошел трепещущий священник и начал предсмертное напутствие.

А сзади, у столбов, уже мелькали, развертываясь, белые саваны... Вправо в стене ограды тихо открылись черные ворота, выходившие в степь, в сторону кладбища, и в них въезжали, громыхая, дроги с огромным черным ящиком.

— Проститься!— крикнул командующий «смертным парадом».

Чурин (один из осужденных) встрепенулся. Он повернулся на север и, простирая руки в пространство, крикнул:

— Прости, север!

И, соответственно поворачиваясь, продолжал:

— Прости, юг! Прости, восток! Прости, запад!

Тем временем другие осужденные что-то невнятно говорили к народу. Повернулся к толпе и Чурин. Не опуская рук, он закричал своим могучим голосом:

— Простите, братцы! За вас погибаем!

Раздался страшный крик:

— Эк-зе-куция!

Грохот десятка барабанов заполнил воздух, землю и небо.

Мы не выписываем дальнейшей процедуры вплоть до того момента, когда загремел залп, после которого три фигуры у столбов упали. Две продолжали шевелиться. Оказалось, что двое приговоренных помилованы и их заставили только психологически пережить ужасный момент казни. «К ним подходил, весь в слезах, доктор... Все облегченно вздохнули».

Это было в половине восьмидесятых годов. Россия, в которой казнь давно якобы отменена законом, в это время пережила все-таки немало казней, даже над женщинами. Но *бытовым явлением* казнь еще все-таки не была. Она совершалась всенародно и носила характер мрачного «смертного парада». Момент расставания с жизнью, хотя бы и преступников, признавался еще чем-то торжественным и священным. Чурин на глазах тысячной толпы прощается с севером и югом, западом и востоком, прощается с товарищами, за которых отдал свою жизнь. Священник дрожит, прокурор закрывает лицо бумагой, в «страшном крике» командующего чувствуется содрогание человеческого сердца, доктор подходит к столбам весь в слезах. Над всем витает сознание

торжественности, живое ощущение ужаса и ответственности.

В наши времена казнь вульгаризировалась. С нее сорваны все торжественные покровы. Да и могли ли они уцелеть, когда суды выносят сразу по тридцать смертных приговоров, когда казнь назначается «за нападение, сопровождавшееся только похищением четырех рублей, пары башмаков и колец», как это было совсем недавно в Севастополе [1], или «за ограбление пятнадцати рублей без всяких убийств или даже поранений», как это случилось в прошлом году в Уфе [2]. Таких примеров можно было бы привести десятки. По мере того как «бытовое явление» ширится, сознание исполнителей тупеет. Казнь становится вместо «смертного парада» простым и будничным делом. Людей начинают вешать походя, кое-как, без ритуала, даже просто без достаточных приготовлений. 13—14 декабря 1908 года в городе Уральске, по приговору военно-полевого суда, совершена казнь над Лапиным, обвиненным в убийстве генерала Хорошкина. Палач, нанятый для этого случая за пятьдесят рублей, был в маске. Заплатили ему довольно дешево, вероятно потому, что это был еще новичок в своем деле. *Приготовленная веревка оказалась негодной;* послали за другой, принесли опять чересчур толстую. Пришлось разыскивать третью (где? может быть, бегали по смотрительским чердакам?). *Все это происходило в присутствии осужденного.* Неопытность дешевого палача вынудила осужденного помогать ему прилаживать петлю и оттолкнуть скамейку... Во все время этой затянувшейся процедуры осужденный утверждал, что в убийстве Хорошкина он не виновен [3].

В одной из южных губерний товарищ прокурора подал характерный протест: явившись для присутствия при казни приговоренного к виселице, он застал другую процедуру: за неимением палача обвиненного расстреляли [4], находя, очевидно, что «не все ли равно». Был бы человек убит, а как именно — это в значительной степени предоставляется усмотрению и инициативе исполнителей. Двадцать шестого ноября 1908 года в газете «Новая Русь» была напечатана телеграмма: «Сегодня на рассвете во дворе четвертой части по пригово-

---

[1] «Р. Вед.», № 55, 9 марта 1910 г.
[2] «Киевские вести», 27 июня 1909 г., № 169.
[3] «Речь», «Киевские вести», янв. 1909 г.
[4] «Новая Русь», 14 дек. 1908 г., № 121.

ру военного суда повешены: Аристофиди, *Котель*, Воскобойников, Лавронов и Киценко. Во время казни веревка оборвалась. Котель упал на землю, испустив страшный крик. Палач, желая прекратить этот крик, *наступил ему на горло ногой*. Издевательства палача над Котелем и другими осужденными прекращены товарищем прокурора [1].

Если знакомый уже нам «кавказский переселенец», которого господин А. П. встретил в ставропольском поезде, читал эту телеграмму, то, наверное, он присоединил ее к тем «документам», которые он носит с собой на груди. Потому что этот Котель — тот самый Коля, его сын, письмо которого он показывал пассажирам, тот самый, о смягчении участи которого суд ходатайствовал перед непреклонным генералом Каульбарсом. Вот как она была «смягчена» в действительности...

Впрочем, пусть это только «исключение». Не всегда нанимаются неопытные палачи «подешевле», не каждый раз обрываются веревки, не при каждой казни осужденному приходится ждать, пока новую веревку разыскивают по чердакам, и не каждую жертву вместо одного раза казнят двойными казнями... «Опытных» палачей, имевших много практики, становится теперь все больше. Не во всякой также тюрьме происходят и те ужасающие зверства над казнимыми, которые такими потрясающими чертами обрисованы бывшим депутатом Ломтатидзе в его письме, адресованном в социал-демократическую фракцию третьей Думы. Я избавлю читателя от нового воспроизведения этой картины, которая предназначалась для думского запроса и обошла в прошлом году все газеты... Обратимся от исключений к общему правилу и посмотрим, как это делается *обычно*, в средней, бытовой обстановке.

Совсем недавно к депутату Гегечкори обратился Рудольф Глазко, томящийся в рижской тюрьме уже *несколько лет* без суда и следствия. Он умоляет добиться для него суда, который так или иначе должен прекратить его физические и нравственные истязания. Как и Ломтатидзе, самыми тяжкими из них он считает соседство смертников. «Посадили,— пишет он,— в одиночную, рядом с камерой смертников. По ночам не спал. В стенку торопливо стучат смертники... В ранние утренние часы по коридору раздается звяканье шпор,

[1] «Новая Русь», 26 ноября 1908 г., № 103.

шорох... душу раздирающий крик: «Прощайте, товарищи!..» На дворе погашают фонари. Смертных ведут на казнь»[1].

Эта картина, данная в самых широких и общих чертах, составляет фон, на котором другие доступные нам источники выводят «бытовые» узоры. Мне лично была доставлена следующая копия с письма заключенного к сестре или невесте, в котором описываются впечатления тюремного населения (то есть сотен людей!!) во время казней. «Дорогая NN... Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо. Не знаю потому, что посылаю его не обычным путем, да еще и без марки... Опишу тебе подробно казнь четырех наших товарищей в ночь с 5 на 6 ноября. Вечером, 5-го, к нам в камеру заходил начальник тюрьмы и уверял нас в том, что приговоренные к смертной казни наши товарищи помилованы. Мы начальнику почти поверили, тем более потому, что перед этим приговоренные подавали прошение на имя главнокомандующего московским военным округом, и очень могло быть, что главнокомандующий заменил им смертную казнь бессрочной каторгой. На деле оказалось, что это со стороны начальника было хитрой уловкой. Он знал, конечно, что в эту ночь должна была произойти казнь, и старался нас успокоить. Осужденные тоже ничего не знали до того момента, когда их начали вешать, так что не могли даже проститься со своими родными. Но некоторые из нас не поверили начальнику и решили ночь не спать. Я заснул часов в двенадцать ночи, и ничего не было заметно. Часа в три просыпаюсь и слышу крики: «Повели!» Бужу всех товарищей и подбегаю к «волчку». Вижу, что в коридоре стоят солдаты (обыкновенно их не бывает). Потом послышался лязг кандалов и шарканье многих ног по асфальтовому полу коридора. Через несколько времени мимо «волчка» промелькнули фигуры солдат. Среди них шли четверо осужденных. Осужденные шли в одних рубахах, без верхнего теплого платья. Их взяли прямо с постелей, не дав одеться в теплое платье. Лязг кандалов, шарканье ног по полу, сдержанный шепот надзирателей — все это покрывали громкие рыдания. Плакал один из приговоренных, Сурков, молодой парень, лет двадцати. Осужденных вывели на двор и расковали там, а потом повели к месту, где они должны быть повешены. На дворе была

[1] Цитирую по «Вятской речи», 8 марта 1910, № 52.

морозная ночь. Дул холодный ветер. Вокруг всех стен с внутренней стороны были расставлены солдаты, а с наружной казаки. Место для вешания выбрали такое, что оно не видно было из окон камер. Виселицы не было никакой, роль ее исполняла *простая пожарная лестница,* приставленная к стене тюрьмы. Осужденных привели, поставили, прочли им приговор и предложили им причаститься и исповедаться. Двое отказались, а двое причащались. Сурков продолжал рыдать; другие трое его успокаивали, как могли. Один из осужденных, Ножин, несмотря на свой возраст (семнадцать лет), держался замечательно спокойно. Ну-с, потом начали вешать. Вешали по одному, а другие осужденные должны были ждать, пока тот совсем окоченеет. Говорят, что палачами были двое надзирателей из нашей тюрьмы. Для того чтобы их не узнали, им надели маски. Впрочем, наверное еще неизвестно, кто был палачами...»

«...Нам не видно было, как происходила казнь, и потому мы, от нечего делать, костили офицеров, которые стояли с солдатами вокруг стены... Одного из товарищей пришлось стаскивать с окна, потому что офицер уже направил на него револьвер. По окончании казни повешенных свалили на телегу и увезли из тюрьмы. Казнь сильно подействовала на товарищей. Раздался из одной камеры похоронный марш, и через некоторое время все пели. Мы не сговаривались, а вышло это так как-то само собой. Когда началось пение, влетел начальник и потребовал, чтобы мы прекратили пение, грозился облить водой, перестрелять... Когда он ушел, пение все-таки продолжалось. Повешенных всех четыре. Из них Шишаков двадцати шести лет, Сурков девятнадцати или двадцати, Ножин семнадцати [1], Трущелев двадцати девяти лет».

Я заменил в этом описании многоточиями ужасающие подробности, которых автор сам не видел и которые могли бы и эту «бытовую» картину превратить в одно из отвратительнейших исключений. Действительность теперь часто становится неправдоподобнее самого кош-

---

[1] В заседании Госуд. думы 19 июля 1906 года министр юстиции г. Щегловитов говорил: «В уложении 1903 года, *которое с 17 июня 1904 г. составляет закон...* обращает на себя внимание установленная замена *для всех несовершеннолетних* смертной казни другими наказаниями» (см. стенографич. отчеты). А 19 июня 1909 года русские газеты отмечали пятьдесят пятую годовщину указа императора Николая I об отмене смертной казни в России.

марного вымысла. Но мне кажется, что настоящий ужас все-таки не в этих примерах крайнего одичания исполнителей. Он не в исключениях, а в общем правиле, в средних условиях, окружающих ужасное дело. Тот самый корреспондент, который из-за стен тюрьмы доставил мне большую часть фактического материала этой статьи, пишет о последнем акте «смертнической трагедии». Опять та же знакомая картина, с ничтожными вариациями: «...Гремят замки, слышится лязг засовов, и через несколько минут по коридорам несутся уже прощальные крики. Это смертные шлют свой прощальный привет другим смертным. Их ведут по двое или по трое мимо камер, битком набитых уголовными, грязных, смрадных и безмолвных. Никто в это время не должен подниматься с постели и никто не должен подходить к «волчку». Заключенный, замеченный в нарушении этих требований, *а тем более крикнувший этим осужденным последнее «прости», наказывается продолжительным темным, страшно холодным карцером.* Осужденных проводят в контору, и толпа надзирателей нередко возвращается обратно, за новыми жертвами. Обыкновенно в одну ночь не вешают более шести человек. В конторе прокурорская власть читает им приговор о казни через повешение и *берут с них подписку в прочтении бумаги (!!).* После этого священник предлагает свои услуги осужденным. Затем они пишут свои последние письма и идут к месту казни на тюремном дворе».

«Мы не будем описывать самого процесса казни»,— говорит наш автор и в заключение приводит следующее замечательное письмо «очевидца», каждое слово которого есть непосредственное впечатление и от каждого слова веет эпической правдивостью и глубокою, спокойною печалью:

«Я спал очень крепко. Но при первых криках, несущихся откуда-то издалека, я проснулся и, еще не сознавая отчетливо, что значат эти крики, как-то сразу понял, что опять началось то ужасное, что тяжелым кошмаром висело над нами уже несколько ночей. Каждый вечер мы ожидали наступления этого ужасного, и когда оно началось, то всем нам показалось невероятным, что безумное дело готово свершиться у всех перед глазами. Но крики, ужасные, рыдающие крики неслись в звонкой тишине, и у меня вдруг появилась сумасшедшая уверенность, что кричат *они*, уже сгибшие в прошлый

раз, что каждую ночь будут проходить они по гулкому коридору, приходить и кричать нам и всем тем, кто спит спокойно там, в холодном равнодушном городе, за тюремными стенами, о наступившем ужасе.

За дверью камеры слышался топот ног, смутный говор, непонятная возня, и вдруг чей-то резкий надтреснутый голос отчетливо крикнул: «Дай ему! Дай ему! Что орет!» И затем крики смолкли, и где-то внизу стукнула дверь. Я подбежал к окну. В камерах зимние рамы еще не вставлены, и замерзшие окна мертвенно смотрят в нашу камеру. Но кусочек стекла у самого подоконника остался незамерзшим, и я по-прежнему припал к подоконнику и стал смотреть на освещенный двор. Еще раз стукнула где-то дверь, и наступила жуткая мертвая тишина. Она казалась бесконечной, и я уже готов был подумать, что они прошли где-то другими дверями на роковой дворик, но на освещенном электрической лампочкой дворе сразу появилась густая толпа. Она быстро пошла к калитке, и, странно размахивая руками, среди одетых в черное надзирателей быстро шел по двору одетый в арестантскую куртку смертный. Отчетливо неслись по двору из толпы опять два голоса — один сильный и звонкий, другой глухой и слабый, и, сливаясь и перебивая друг друга, в морозном воздухе повисли одни и те же слова: «Товарищи, прощайте! Прощайте, товарищи!» Калитка открылась, смертные вошли туда, толпа надзирателей стала таять, двор опустел, и только три черные фигуры, странно качнувшись, быстро бросились обратно в главный корпус. Кончилось или нет? Я подошел к «волчку» и стал слушать. По-прежнему из всех камер несся глухой, сдержанный говор и кашель простуженных людей...

На площадке, мимо которой проводят смертных, слышались голоса возвратившихся от калитки надзирателей. В камеру доносились обрывки фраз, отдельные слова, но по ним можно было догадаться, что речь идет о только что совершившемся. «И чего только канителиться?— заговорил кто-то несколько громче.— Два человека. Уж сразу бы всех». Голос смолк, и кто-то другой заговорил пониженным голосом, а потом заговорили оба сразу, взволнованно, сопровождая каждое слово грубой, циничной бранью: «Возьми, говорит, зажми ему рот, а не понимает, что он палец откусит».— «Нет, чудно,— заговорил опять первый голос,— первый идет резво, а второй-то, второй-то... Умора! Как котенок сле-

пой... Суется туда-сюда... Уж лучше бы накинуть ему на шею петлю. А то как есть слепой котенок...»

И, должно быть, говорившему сравнение показалось удачным. Он повторил его еще раз, а потом засмеялся. И было столько бессмыслицы и непонятной жестокости в этом смехе, что у меня сразу поднялась в сердце острая боль, и я уже не мог больше слушать и отошел от «волчка»... «Нужно сходить спросить,— послышался опять голос,— пусть разрешат: пора и спать». Мы поняли, что все кончилось. Кончилось только на этот раз. Кончилось затем, чтобы в одну из следующих ночей тюремный коридор вновь огласился криками. И когда подумаешь, что впереди предстоит еще много (таких) ночей, то становится непонятным, как это там, в этом холодном, равнодушном городе, люди, считающие себя умными и заслуживающими уважения, продолжают спокойно спать и позорно молчать!..»

Заключение

В 1853 году на острове Гернси в Ла-Манше человек по имени Джон Шарль Тапнер явился ночью к женщине и убил ее. Затем он ее ограбил и поджег дом. Расследование этого дела бросило ужасный свет на несколько других преступлений, в которых можно было подозревать ту же руку.

Тапнера судили. «Его судили с беспристрастием,— писал по этому поводу Виктор Гюго, живший на этом острове в качестве политического изгнанника,— судили с добросовестностью, которая делает честь свободному и беспристрастному суду. Тринадцать заседаний были посвящены рассмотрению факта. Третьего января 1854 года решение состоялось единогласно, и в девять часов вечера, в публичном и торжественном заседании, председатель суда, судья Гернси, объявил подсудимому разбитым и прерывающимся, дрожащим от волнения голосом, что «так как закон наказывает убийцу смертью, то он, Джон Шарль Тапнер, должен приготовиться к смерти, что он будет повешен 27 января на месте своего преступления. Там, где он убил, он будет убит».

Виктор Гюго обратился к жителям острова с письмом, в котором, нисколько не смягчая отвратительного преступления Тапнера, предостерегал их против преступления общественного. «В эту минуту,— писал он,—

среди вас, жителей этого архипелага, находится человек, который в этом будущем, неведомом для всех людей, ясно различает свой последний час... Когда все мы дышим свободно, говорим и улыбаемся — в нескольких шагах от нас в тюрьме находится дрожащий человек, который живет со взором, устремленным на один день этого месяца, на день 27 января, на этот призрак, который все приближается к нему. Этот день, для нас всех скрытный, как и все другие, перед ним уже обнаруживает свое лицо... мрачное лицо смерти».

Он убийца... Да... «Но,— продолжает Гюго,— какое мне дело до этого? Для меня, для всех нас этот убийца более не убийца, этот поджигатель более не поджигатель. Это дрожащее существо, и я хочу его защитить. Жители Гернси! Не дайте виселице бросить тень на ваш чудный остров... Не примите на себя страшной ответственности захвата божественного права человеческим правом. Кто знает? Кто проник в загадку? Есть бездны в человеческих поступках, как есть бездны в волнах. Вспомните о днях бурь, о зимних ночах, о темных и разъяренных силах природы, которые овладевают вами в иные минуты... Не допустите, чтобы в ваши паруса дул ветер с могил. Не забывайте, мореплаватели, не забывайте, рыбаки, не забывайте, матросы, что только одна доска отделяет вас самих от вечности... что и вы всегда находитесь лицом к лицу с бесконечным, с неведомым. Разве вы не будете думать с содроганием, что ветер, который будет свистеть в ваших снастях, встретил на своем пути эту веревку и этот труп?.. Ваши свободные учреждения отдают в ваше распоряжение все средства для того, чтобы выполнить этот священный, этот религиозный подвиг. Соберитесь законным порядком. Взволнуйте общественное мнение и совесть... Жены должны убеждать мужей, дети должны умолять отцов, мужчины должны составлять прошения и петиции. Обратитесь к вашим правителям и судьям. Требуйте отсрочки, требуйте смягчения правосудия. Спешите, не теряйте ни одного дня».

Это было пятьдесят шесть лет назад, по поводу предстоящей казни *одного* человека, после судебного разбирательства, длившегося тринадцать дней, со всеми гарантиями защиты и при полнейшей очевидности факта. Сердца моряков и матросов откликнулись на благородный призыв французского изгнанника,

и остров рыбаков закипел петициями, собраниями и протестами против казни...

Что сказал бы теперь великий поэт и гуманист, если бы дожил до нашего русского «обновления» и увидел целую страну, где не один человек, а *сотни и тысячи* «живут со взглядами, устремленными на свой последний день, в то время как другие дышат свободно, разговаривают, смеются...» Где чуть не каждую ночь в течение нескольких уже лет происходят казни... Где предутренний ветер то и дело встречает на своем пути виселицы, веревки, качающиеся трупы и несет на поля, на деревни, на города «святой Руси» последние стоны и хрипы казнимых. Где в вагонах отцы рассказывают «спокойно» о гибели сыновей, почти мальчиков, и о непреклонности генералов Каульбарсов. Где самая казнь потеряла уже характер мрачного торжества смерти и превратилась в «бытовое явление», в прозаические деловые будни. Где не хватает виселиц, и людей вешают походя, ускоренным и упрощенным порядком, без формальностей, на пожарных лестницах, при помощи первых попадающихся под руку, обрывающихся, гнилых веревок... И потом так же наскоро зарывают трупы, торопливо, с цинической небрежностью, точно в самом деле во время повальной моровой язвы...

В июне прошлого года в газетах мелькнуло коротенькое известие, не обратившее на себя особенного внимания. В Екатеринославе на окраине города начали строить казармы. Едва землекопы принялись рыть фундамент, как тут же наткнулись на трупы казненных. Узнать их было нетрудно: трупы лежали в земле в кандалах [1].

Встает старая легенда, оживает мрачное суеверие седой старины, когда «для прочности» фундаменты зданий закладывались на трупах... Не достаточно ли, не слишком ли много трупов положено уже в основание «обновляющейся» России? «Кто знает, кто проник в загадку?» — скажем мы вместе с великим французским поэтом. Есть бездны в общественных движениях, как есть они в океане. Русское государство стояло уже раз перед грозным шквалом, поднявшимся так неожиданно в стране, прославленной вековечным смирением. Его удалось заворожить обещаниями, но «кто знает, кто проник в загадку» приливов и отливов таинственного

---

[1] «Киевские вести», 27 июня 1909 г., № 169.

человеческого океана. Кто поручится, что вал не поднимется опять, так же неожиданно и еще более грозно? Нужно ли, чтобы в своем возвратном течении он принес и швырнул среди стихийного грохота эти тысячи трупов, задавленных в период «успокоения»?.. Чтобы к историческим счетам прибавились еще слезы, стоны и крики мести отцов, матерей, сестер и братьев, продолжающих накоплять в «годы успокоения» свои страшные иски?

Нужно ли? . . . .

. . . .

На этом я пока заканчиваю эти очерки «бытового явления». «Продолжение» несет с собою каждый наступающий день, каждая «хроника» нового газетного листа, каждый новый приговор упрощенного военно-судного механизма. Мы не можем, подобно великому французскому писателю, сказать: «Наши свободные учреждения предоставляют все средства для борьбы в пределах закона» с этим обыденным ужасом. Мы не можем «собираться в законном порядке», не можем на этих собраниях «волновать общественное мнение и совесть», облекать это мнение в форме «петиций для обращения к правителям и судьям». Тем важнее, скажу даже — тем священнее обязанность печати хоть напоминать о том, что ужас продолжается в нашей жизни, чтобы не дать ему превратиться окончательно в будничное, обыденное, бытовое явление, своего рода привычку, перестающую шевелить общественное сознание и совесть.

В заключение считаю своею обязанностью принести искреннюю благодарность человеку, который в самом центре этого ужаса, в соседстве со смертниками имел мужество собирать, черта за чертой, этот ужасный материал и помог ему проникнуть за пределы тюремных стен и роковых «задних дворов».

Читать это тяжело. Писать, поверьте, еще во много раз тяжелее... Но ведь это, читатели, приходится переживать сотням людей и тысячам их близких.

Март — апрель 1910

ЛЕГЕНДА О ЦАРЕ И ДЕКАБРИСТЕ

Страничка из истории освобождения

I

10 сентября 1856 года губернатором в Нижний Новгород был назначен генерал-майор Александр Николаевич Муравьев.

Послужной список нового губернатора был не совсем обыкновенный. Родился в 1792 году, девятнадцати лет участвовал в Отечественной войне, получил знак отличия за Кульмское сражение. Двадцати четырех лет был уже полковником, но в 1816 году, заразившись заграничными идеями, внезапно бросил службу и вместе с Никитой Муравьевым основал первое в России тайное общество «Союз благоденствия». Еще шаг — и он очутился в среде декабристов.

В «Росписи государственным преступникам, приговором Верховного уголовного суда осуждаемым к разным казням и наказаниям» по делу о восстании 14 декабря, А. Муравьев значится в разряде VI, где о нем сказано так:

«Полковник Александр Муравьев. Участвовал в умысле цареубийства согласием, в 1817 году изъявленным, равно как участвовал в учреждении тайного общества, хотя потом от оного совершенно удалился, но о цели оного не донес» [1].

По приговору суда государственные преступники этого разряда (которых, впрочем, было только двое: полковник Муравьев и дворянин Люблинский) подлежали ссылке в каторжные работы на шесть лет и поселению в Сибири. Но ввиду «чистосердечного раскаяния» участь А. Н. Муравьева была смягчена. Он был сослан в Восточную Сибирь без лишения чинов и орденов, а через два года получил право определиться в государственную службу. Бывший полковник, основатель «Союза благоденствия» и декабрист стал в 1828 году иркутским городничим.

С этих пор он проходил разные ступени чиновничьей иерархии, был последовательно председателем — сначала иркутского, потом тобольского губернского правления, исправлял временно должность тобольского гу-

---

[1] См. «Декабристы» (официальные документы). Изд. В. М. Саблина.

бернатора, затем в 1834 году возвратился в европейскую Россию в качестве представителя вятской уголовной палаты. Потом занимал ту же должность в губернии Таврической, потом стал губернатором в Архангельске. В 1854 году опять поступил на военную службу и участвовал в севастопольской кампании. Здесь застала его перемена царствования.

Молодой император не скрывал своего желания приступить к освобождению крестьян. Искренность этих его тогдашних намерений обнаружилась, между прочим, в том, что он окружил себя людьми, настроенными освободительно: параллельно с оживлением в обществе и народе, в бюрократии тоже происходили соответственные перемещения и перемены. Муравьев решил опять бросить военную службу и отдать великому делу свою административную опытность, приобретенную в сибирских, вятских и архангельских чиновничьих дебрях.

Таким-то образом в тревожные, как грозовое весеннее утро, годы накануне реформы, когда в воздухе уже реяли всевозможные слухи и превратные толкования, когда в народе разносились крамольные вести о предстоящей свободе, а дворянство и власти растерялись и не знали, как отнестись ко всему происходящему,— Нижний Новгород был осчастливлен вестью о назначении губернатором основателя первого в России тайного общества, бывшего участника «в замысле цареубийства», декабриста, приговоренного некогда к каторге.

Что же представлял он на самом деле и каково «искреннее раскаяние», которое позволило «каторжнику» подвигаться по ступеням службы и занять наконец один из важнейших после Петербурга и Москвы губернаторских постов? Да еще в такое тревожное время?

Естественно, что этот вопрос, очень важный, пожалуй, трагический для тогдашних «командующих классов» нижегородского губернского мира, занимал всех при этом назначении. Ждать его разрешения пришлось недолго. Губернатор-крамольник обнаружил свою личность выразительно и ярко, надолго оставив по себе память в нижегородском крае.

II

В то время, когда я поселился в Нижнем, то есть в половине 80-х годов прошлого столетия, там еще сохранялись кое у кого списки многочисленных сатир и пасквилей, в которых поэты, главным образом дворянского сословия, пытались воспроизвести фигуру Муравьева в том виде, как она представлялась с дворянской точки зрения. Летописец нижегородского края, известный в свое время «областник» А. С. Гациский, тщательно собрал и сохранил от забвения эту рукописную литературу, передав ее в местную архивную комиссию. В 1897 году некто г-н Юдин извлек из архивных недр и напечатал в «Русской старине» (сентябрь) самое объемистое из произведений этого «муравьевского цикла», так и озаглавленное: «Муравиада». Нужно сказать с некоторым прискорбием, что это поэма очень грязная, написанная неуклюжим стихом и вообще бездарная до оскорбления вкуса. Но для характеристики Муравьева в ней все-таки есть интересные черты. Г-ну Юдину показалось даже, что она выражает отрицательное отношение к Муравьеву всего населения. Это наивность тем большая, что «всего населения» тогда, пожалуй, вовсе и не было. Были мужики, нетерпеливо ждавшие свободы и глухо волновавшиеся в этом своем нетерпении; было образованное общество, с восторгом встречавшее всякий шаг на пути освобождения, и было большинство дворян, растерянных и испуганных реформой. И у каждого из этих элементов было свое отношение ко всему, в том числе, конечно, и к Муравьеву. Не трудно было разглядеть, что «Муравиада» отражала губернатора-декабриста в крепостническом зеркале. Вся она проникнута острой, но бессильной враждой, вынужденной питаться пошловатыми, мелкими сплетнями, направленными вдобавок (не совсем по-джентльменски) не столько даже против самого Муравьева, сколько против жившей у него племянницы, фрейлины Муравьевой.

Надо, однако, отдать справедливость дворянской музе. Она не ограничилась одной «Муравиадой» и в некоторых не столь объемистых ее произведениях видны, пожалуй, и искренность, и одушевление. Искренность вражды, одушевление ненависти, но все же эти чувства подымают тон, диктуют порой яркие, гневные, иной раз даже слишком выразительные эпитеты.

Например:

И от злости ты ревел,
Лиходей лукавый,
Что в крестьянах не успел
Бунт возжечь кровавый.

Или:

Ты хитрейший санкюлот,
Хуже всех французских.
Девяносто третий год
Готовил для русских.

Самые мягкие из этих отзывов обвиняют Муравьева в том, что он

...популярности искал,
Свободы дух распространял,
Прогрессом бредил и народ
На бунт подталкивал вперед.

Особенно часто и злорадно дворянская сатира останавливается на так называемой «Муравьевской башне». В 80-х и даже 90-х годах остатки ее еще можно было видеть на высоком берегу Оки, против ярмарки, и нужно признать, что сооружение вышло не из удачных. Предполагалось водрузить на ней огромный циферблат, видный «со стрелки», который, по-видимому, должен был напоминать всероссийскому купечеству обязательные часы открытия и закрытия лавок во избежание законного штрафования. Оказалось, однако, что часы видны плохо. Башня, кроме того, дала трещины, и верхний ее этаж пришлось для безопасности проходящих снять. Дворянская сатира нашла в этом предмете обильную пищу, и около «муравьевской дылды» зароились стишки, остроты, обвинения, как грачи около старой колокольни. Много неуклюжих строк посвящено этой башне в «Муравиаде». Другой поэт видит в ее постройке скрытую цель:

Ты башню здесь соорудил...
...Чтоб поколения земли
В виду ее с почтеньем шли,
Воспоминая всякий раз,
Как ты господствовал у нас,
Как вольность здесь восстановил,
Вопрос крестьянский в ход пустил.

Здесь дворянская муза непосредственно простодушна и искренна: она ставит вопрос прямо, не прибегая

к мелкой сплетне. Для нее преступление Муравьева состоит в том, что он «восстановил вольность» и «пустил в ход крестьянский вопрос», что и было на самом деле.

Однако — много было на Руси губернаторов, которые по приказу свыше и по долгу службы «восстановляли вольность» и содействовали по мере сил и усердия решению крестьянского вопроса, однако, сколько известно, ни один не вдохновлял в такой степени и такое количество дворянских сатириков, как Муравьев. Вероятно, потому, что в них видели просто исполнителей; на Муравьева же смотрели иначе:

Тайным действуя путем,
С молотком масона,
Он хотел быть палачом
И дворян, и трона.

Крепостническое дворянство чувствовало в Муравьеве не простого, хотя бы даже энергичного и умелого, исполнителя реформы. В его лице в тревожное время перед испуганными взглядами явился настоящий представитель того *духа*, который с самого начала столетия призывал, предчувствовал, втайне *творил* реформу и наконец накликал ее. Старый крамольник, мечтавший «о вольности» еще в «Союзе благоденствия» в молодые годы, пронес эту мечту через крепостные казематы, через ссылку, через иркутское городничество, через тобольские и вятские губернские правления и наконец на склоне дней стал опять лицом к лицу с этой «преступной» мечтой своей юности. Только теперь,— с горечью говорил дворянский поэт,—

...все изменилось:
За что он погибал,
За то теперь возвысился,
В чести и в славе стал.

И был это уже не мечтатель из романтического «Союза благоденствия», а старый администратор, прошедший все ступени дореформенного строя, не примирившийся с ним, изучивший взглядом врага все его извороты, вооруженный огромным опытом. Вообще противник убежденный, страстный и — страшный!.. Научившийся выжидать, притаиваться, скрывать свою веру и выбирать время для удара. Когда,— говорит автор «Муравиады»,—

...на губернаторство
К нам прибыл Муравьев,
Скрывал свое он варварство,
Покуда здесь был нов.

Скоро, однако, он выпустил когти, и прежде всего, по свидетельству того же поэта,— *«верхушки стал ломать»*. Поэма с нескрываемым сочувствием называет (инициалами) нескольких крупных деятелей откупного и чиновничьего мира, которых «сломал» сбросивший маску декабрист, а затем продолжает с негодованием:

Да разве мы причиною,
Что с некоторых пор
Идет здесь под сурдиною
Всем людям перебор.
Помещиков, сановников —
Всех гонит наш кащей,
И душит он чиновников,
Как жирный кот мышей.

К статье А. А. Савельева («Р⟨усская⟩ старина», июнь 1898 г.), из которой я заимствовал некоторые из цитированных фрагментов дворянской сатиры, приложен и портрет Муравьева. В широком, несколько скуластом лице седого человека в генеральском мундире сразу можно уловить типичные муравьевские черты; близкое родственное сходство с его печально знаменитым виленским братом сказывается ясно: та же энергия, тот же властный, только более спокойный взгляд, тот же отпечаток суровой угрюмости, только более одухотворенный и благородный. Губы энергического склада, густые брови над выразительными молодыми глазами. И мне кажется теперь, когда я знаю основные черты этого характера, что, спокойные на портрете, эти глаза должны легко вспыхивать, а около губ ютится предчувствие угрюмо-насмешливой улыбки...

Еще характерная черточка бывшего заговорщика.

В 80-х годах в одном из журналов (кажется, в «Вестнике Европы») печатались записки крестьянина кустарного села Павлова Сорокина. Это был мечтатель, человек беспокойный, типичный «ходок», много и успешно воевавший с могущественным крепостником Шереметевым за интересы крестьян знаменитого села Павлова. Дело это было сложное и запутанное, Шереметев — противник опасный. Когда однажды Сорокин явился к Муравьеву, тот принял его, выслушал очень внимательно, а затем подвел к иконе и заставил по-

клясться, что он действительно стоит только за интересы мира и не отступит перед гонениями. После этого до конца своей (недолговременной, впрочем) службы Муравьев горячо поддерживал Сорокина.

Мне известен и другой случай. В Нижнем я был знаком с Василием Михайловичем Ворониным (о котором мне еще придется говорить дальше). В годы своей юности он служил при Муравьеве чиновником особых поручений и тоже был приведен старым декабристом к такой сепаратной присяге. Муравьев некоторое время присматривался к нему, давал разные поручения. Однажды, оставшись с ним наедине в своей канцелярии, он посмотрел на него особенным, глубоким и, как показалось Воронину, растроганным взглядом и затем сказал:

— Молодой человек. Вот вы только начинаете жизнь, прямо со школьной скамьи. Вы — не из дворян. Ваши отцы были мужики. Хотите вы действительно послужить делу народа?

Удивленный и озадаченный этим необычным обращением сурового начальника, внушавшего всем трепет, молодой чиновник ответил утвердительно. Муравьев поднялся с кресла, взял его за руку, подвел к иконе и заставил поклясться, что он будет служить народу, не отступая ни перед приманками, ни перед угрозами.

Воронин был уже старик, когда я с ним познакомился, но и по прошествии четверти века об этой минуте вспоминал с волнением... Старый декабрист, очевидно, не вполне доверял устойчивости реформаторских течений, знал, что старое еще постоит за себя, и, кроме официальных сотрудников, вербовал для предстоящей борьбы своего рода членов тайного союза благоденствия.

К таким своим присяжным приближенным Муравьев и относился особенно. Для остального чиновничьего мира это была гроза. «При проклятом Мураше,— говорил А. С. Гацискому один из тогдашних чиновников,— никто покоен не был. Того и гляди, бывало, ляжешь спать судьей, а проснешься свиньей» [1].

III

— Да, страшный был,— говорил тот же В. М. Воронин.— Хватка, понимаете, мертвая. Все в нем было необычайное какое-то, непривычное, приноровиться было

[1] А. С. Гацискнй. «Люди нижегородского Поволжья».

трудно. Мужикам был доступ к губернатору чуть не во всякое время. В важных случаях — уводил ходоков в канцелярию и тут опрашивал часами. Потом, обдумав, начинал действовать.

Для характеристики муравьевской «мертвой хватки» Воронин очень одушевленно, почти художественно рассказывал разные эпизоды, которые я тогда же — к сожалению, слишком краткими чертами — набросал на клочках. Постараюсь восстановить здесь один такой случай.

Являются однажды ходоки от N-ской волости (Воронин назвал одну из волостей, кажется, Семеновского уезда). Волость заволжская, богатая, промышленная. Завелись в ней издавна крупные злоупотребления. Застарелые, так сказать, освященные обычаем... традиции! При назначении в уезд так и считалось: жалованья столько-то, ну там квартирные, разъездные, да еще в N-ской волости. Кроме уездных властей, перепадало и губернским чиновникам, и так эта традиция укрепилась, что никому и в голову не приходило посягать на нее. Куда там! Твердыня, и только. Мужичишки и жаловались, особенно новым губернаторам, на всякие сверхъестественные поборы и растраты, да сами же всегда оставались виноваты. Прослышав о Муравьеве, не в долгом времени по его назначении, опять послали ходоков. Служили молебны, снаряжали, точно на войну. Знали уже по опыту, что дело это опасное.

Принял их Мураш, долго и секретно беседовали. Потом зовет меня: «Займитесь, молодой человек, рассмотрением дел по прежде бывшим жалобам мужиков N-ской волости. Потребуйте из канцелярии делопроизводство». Через несколько дней спрашивает: «Ну что? Разобрались? Поняли, в чем дело?» — «Нет, ничего не понял, ваше превосходительство. По документам как будто все правильно». — «Ну конечно, говорит. Конечно».

Через несколько дней, так, уже перед вечером, прибегает за мной курьер: «Пожалуйте, спешно требует губернатор». Бегу во дворец [1]. У крыльца стоит уже тройка, запряженная в простой крытый тарантас. Являюсь. «Ну, молодой человек, собирайтесь в дорогу». — «Когда прикажете?» — «Сейчас прикажу. Видели: лошади уже поданы. Со мной поедете. Сбегайте домой, захватите

[1] Губернаторский дом в Нижнем принадлежит дворцовому ведомству и называется дворцом.

важнейшие бумаги по N-ской волости и через двадцать минут чтоб уже были здесь».— «Слушаю!»

Повернулся я, бегом пустился на квартиру, захватил кое-какие бумаги и оделся. Прибежал раньше, чем через двадцать минут. Смотрю: старик уже готов. Ни дать ни взять — сибирский прасол. Ничего сановного.

Сели в тарантас. «Куда прикажете ехать?» — «К перевозу за Волгу».

Подъехали к Борскому перевозу. Темнеет уже, дождь моросит, дело осенью. Паром на той стороне. Я было засуетился, хотел прикрикнуть: «Не знаете, дескать, кто дожидается!» Но старик остановил: «Ничего, молодой человек. Подождем, люди небольшие!..» Сидим в тарантасе, дождик на реку падает, паромщики не торопятся. Не узнали или прикидываются, канальи, что не узнали, кто их там разберет. А только вернее, что прикидываются. Исправник орел был, молодчина. Давно уже прослышал, что и мужичишки-то нажаловались, и бумаги затребованы... Все бросил. Днюет и ночует на той стороне у перевоза, чтобы встретить, если командируют какую-нибудь внезапную ревизию. Сидим мы, вдруг это лодочка от берега шасть... Через минуту уже и не видно — на середине реки! Я и внимания не обратил, а старик высунул голову, смотрит вслед: «Понимаете, молодой человек?» — «Никак нет, ваше-ство... Не понимаю».— «Скоро поймете. Учитесь все понимать. Простота, молодой человек, хуже воровства!..»

Подошел наконец и паром. Так же, не торопясь, ввели наш тарантас, двинулись мы за Волгу. Это был первый выезд не то и самого Муравьева, не то мой с Муравьевым. Не помню. Холодно, дождь под навес забивает, река черная. Тихо. Пароходов тогда было еще мало, да и время глухое. Подошел паром к берегу, свели нашу тройку: «Трогай!» Только было лошади взяли на взвоз, вдруг — стоп! Остановка. Прямо на дороге стоит большая фигура.

«Что такое?» — спрашивает старик. Ямщик наклонился и говорит: «Исправник». «Ну что, молодой человек?— говорит губернатор.— Теперь поняли? Лодочка-то? А? Спросите, пожалуйста, у г-на исправника, что ему нужно».

Только успел я соскочить, а исправник уж тут. Вытянулся и руку под козырек держит по-военному; фигура бравая, загляденье. «С рапортом,— шепчет мне,— по должности... На границе уезда...» Только было на-

чал: «Честь имею...» — как губернатор не дал ему докончить и зовет меня: «Молодой человек!» — «Слушаюс». Наклонился ко мне из повозки и тоже шепчет: «Скажите ему, пожалуйста, что я под надзором полиции давно не состою...» Исправник так и поперхнулся, скосивши на меня глаза. А старик опять: «Спросите, молодой человек: приказ он читал?»

А действительно, был приказ: никакого начальства на границах уездов и станов не встречать, а ждать вызова. Положим... и после этого много таких приказов было, а и до сих пор встречают. Да и невозможно это, правду сказать, то есть чтобы не встречать... Сам я потом исправником был, понимаю. Ведь что, подумайте только: пытка. Знаешь, что начальство уже вступает в твои пределы, вроде, так сказать, переправы через Березину. А ты сиди у себя в канцелярии, жди вызова. А вдруг там какое-нибудь неблагополучие... Долго ли, в самом деле, до греха? Ну, тогда еще молод был, в исправниках не служил и, кроме того, воспламенен был до известной степени. Сочувствия к положению бедняги не ощущал. «Так и так,— говорю довольно даже строгим голосом,— согласно приказу от такого-то числа потрудитесь отправиться в свою канцелярию и ждать приказаний». Щелкнул бедняга каблуками в грязи, откозырял, повернулся и пошел. Скоро и колокольцы забрякали.

«Уехал?— говорит мой старик.— Ну, слава-те господи! Садитесь, молодой человек. Поедем и мы. Ямщик, валяй в N-ское село...»

Зевнул, перекрестился и, кажется, заснул...

Поздно ночью подъехали к волости. Соскочил я, стучу в запертую ставню. Долго не мог добудиться... Спят себе крепким деревенским сном, и не снится им, что гроза на носу. Наконец засветили огонь. Кого, дескать, бог принес?

«Отворяйте».— «Кто там?» — «Губернатор!»

Ну, легко представить, какой это произвело эффект. Писарь не знает, одеваться ему или так выскочить. Глаза безумные — все еще не проснулся, и душит его кошмар. Однако ничего. Вошли мы. Старик поздоровался. Видит писарь, что тот на него не кидается и даже на губернатора не похож. Ободрился. Самоварчик поставил, обогрелись мы. А уж тут и старшина явился. Стоит у двери, глядит непонимающими этакими глазами, вздыхает.

После чаю, разумеется, предлагают его превосходительству отдохнуть: постели готовы. Утро, дескать, вечера мудренее. Я было, признаться, уже и потянулся. Хорошо ведь это, после долгой дороги, да по грязи, да в слякоть. А старик как будто и не замечает.

«Ну, говорит, теперь, молодой человек, приступим к ревизии». «Господи, думаю, что это такое? Не прикажете ли, говорю, ваше превосходительство, отложить до завтра?» — «Нет, говорит, не прикажу. Приступайте к обозрению делопроизводства».

Делать нечего. Разложил я на столе бумаги, принялся обозревать. Тут и днем-то черт ногу сломит, а тут не угодно ли: ночью. Спать хочется. Сижу, хлопаю глазами, делаю вид, что читаю, листы поворачиваю. А он, злодей, закурил трубку. С длинным этаким чубуком трубку все, бывало, курит... И ходит из угла в угол, как ни в чем не бывало... Еще посмеивается. Остановился, показывает на меня чубуком: «Видите?» — говорит. Те вскинули на меня глазами и говорят: «Видим, ваше-ство». — «Вот ведь и молодой, а дока! Сквозь бумагу и то все досмотрит».

И опять ходит... Вы только представьте, господа, эту картинку. У порога писарь и старшина стоят, поднятые со сна точно трубой архангела. Я за столом уткнулся в дела и строчек не вижу. Только бы носом не клюнуть. На дворе дождь все шумит этак томительно, часы тикают, сверчок свистит... Вздохнет кто-нибудь... А он все ходит. Остановится, посмотрит на писаря и старшину и опять зашагает.

И вдруг... точно промчалось что-то среди этой томительной тишины... Прокинулся я — сна как не бывало. Гляжу, стоит мой старик против двери, даже ростом выше стал. Глаза как свечки. Голос резкий, точно по железу ударяет: «Ну, будет! Что тут играть. Все равно разберем. Говори прямо: воровали?»

Писарь-бедняга, до сих пор как с креста снятый, тут вдруг будто даже обрадовался: «Так точно, говорит, ваше-ство... Воровали. Искони-бе...» — «Ну, вот и отлично. Иди, показывай, в чем дело».

Кинулся писарь к столу, сам листы переворачивает, показывает мне, разъясняет... И даже старшина нет-нет слово вставит. С меня и сон долой... Рука так и бегает по бумаге... Часа в три вся суть этих долголетних махинаций была как на ладонке.

К вечеру следующего дня, не заезжая в уездный город, опять были мы на перевозе. А там пошло: «Потребовать исправника! Потребовать того, другого...» Началась переборка, пошел по губернии трезвон: новый губернатор в один день раскопал всю N-скую твердыню, стоявшую, можно сказать, с незапамятных времен... Да... вот какой был наш старик. Резвый... Одно, два, понимаете, таких дела — по канцеляриям пошла паника. Ужас почти суеверный. От «проклятого Мураша», дескать, не скроешься. Все видит насквозь... Ну, а так как, известно, кто богу не грешен, царю не виноват, то всякий только молит господа: помилуй и заступи! Все, дескать, под Мурашом ходим. Зато уж — приказал... из кожи вылезут. Мы, молодые чиновники, за совесть, по клятвенному обещанию. Старые служаки из страха. Знают, что Мураш своими зоркими глазами видит их насквозь и, значит, чуть что... Кончено!

. . . .

Образ, который рисуется в этом рассказе современника, выступает в таком же виде и в «Муравиаде». Автор дворянской сатиры свидетельствует, что ненавистный Мураш действовал так же неожиданно и в других случаях, когда приходилось иметь дело не с одними писарями. Вскоре, ознакомившись с положением дел, он

...по всем ведомствам
Верхушки стал ломать,
Камуфлеты ловкие
Сюрпризом задавать...
...помещиков, сановников,
Всех гонит наш кащей,
И душит он чиновников,
Как жирный кот мышей.

Но, разумеется, старый крамольник, которому, вероятно, надоело гоняться за хищниками в Сибири и Архангельске, не затем попросился опять на гражданскую службу, чтобы играть роль кота в чиновничьем подполье. Он только готовился таким образом к предстоящей реформе, которая должна была повернуть в корне самые устои дореформенного порядка... Ему нужно было укрепиться, сосредоточить в своих руках всю власть. И скоро это было достигнуто. «То диво ль»,— с горечью спрашивает автор «Муравиады»,—

...что полицию,
Имущества, удел,

Финансы и юстицию
Дед все к себе поддел.

И далее:

...к несчастью — это так:
Давно уж всю губернию
Зажал наш дед в кулак.

Теперь у старого заговорщика все уже было готово для генеральной битвы...

IV

Известно, что император Александр II, готовясь нанести удар главнейшей из дворянских привилегий — владению людьми,— в то же время желал непременно, чтобы дворянство само потребовало этой реформы. Так порой родители, придя к убеждению, что любимому ребенку необходима операция, стараются убедить его, что, в сущности, и сам он желает, чтобы ему сделали больно. Дворянство не очень-то желало, чтобы ему сделали больно, и дворянская Россия молчала, не понимая очень ясных намеков.

Наконец в октябре 1857 года в Петербург прибыл виленский ген.-губернатор Назимов и привез довольно скромное, по существу, ходатайство дворян трех литовских губерний: Виленской, Гродненской и Ковенской. Хотя по этому проекту освобождение предполагалось без земли и заявление исходило от поляков, но все же в Петербурге схватились за него как за первое открытое выражение «дворянских желаний». Последовал исторический рескрипт на имя Назимова, разосланный затем при циркуляре министра внутренних дел Ланского через губернаторов всем предводителям дворянства русских губерний. Ждали, что великорусское дворянство, в свою очередь, поддастся патриотическому порыву...

От этого зависело многое. Если бы это не удалось — кто знает, решился ли бы Александр II на эту тяжелую операцию.

«Первоначальное впечатление циркуляра от 24 ноября,— писал Муравьев Ланскому, с которым состоял в деятельной переписке,— заключалось в общем недоумении. Дело было слишком новое, никто его не ожидал в такой скорости». Пока большинство пребывало в этих

недоуменных чувствах, дело, как это бывает часто, решил героический порыв небольшой кучки. В Нижнем в то время была либеральная группа дворян-ополченцев, вернувшихся из похода, наслушавшихся в Москве пылких речей славянофилов. На губернском собрании 17 декабря эта молодежь, выслушав прочитанный предводителем рескрипт Назимову, закричала, что дворяне «желают не только улучшить, но и покончить навсегда с крепостным правом». Эти же ополченцы-дворяне, не дав опомниться другим, тотчас же составили постановление, заставили подписать его и избрали А. Х. Штевена для поднесения своего акта отречения государю.

Так рассказывает об этом моменте в своих воспоминаниях один из участников, дворянин Н. И. Русинов. «Все это,— продолжает он,— было делом чуть не минуты». Прямо из собрания восторженно настроенная молодежь явилась с копией адреса к Муравьеву. Это было в три часа ночи. Русинов говорит, что «старый революционер, как его втихомолку называли, громко зарыдал». В ту же ночь, с 17 на 18 декабря, он экстренно отправил правителя канцелярии Разумова в Москву, чтобы сообщить о событии телеграммой (в Нижнем телеграфа еще не было). А на следующий день спешно выдал Штевену курьерскую подорожную и всеми мерами спешил отправить его в Петербург с подлинным постановлением. «Тогда только,— прибавляет Русинов (то есть увидев радость «старого революционера» и его торопливость),— многие и многие почесали свои затылки, но было уже поздно» [1].

Дело было сделано. В Петербурге тоже торопились ковать железо, пока горячо, и уже 24 декабря, то есть накануне рождества, в сочельник, был подписан Высочайший рескрипт нижегородскому дворянству на имя губернатора. Он пришел в Нижний на святках, и 1 января нового 1858 года губернатор препроводил его губернскому предводителю, разумеется, со всякими поздравлениями. Таким образом, в виде новогоднего подарка старый декабрист поднес дворянству приятное признание, что оно первое заявило желание не только улучшить, «но и совсем уничтожить» крепостное право.

---

[1] А. С. Гациский. «Люди нижегородского Поволжья».— «Действия Нижегор. арх. комиссии». Т. III. Ст. Спехневского.

Плотина была прорвана, пауза кончилась. За нижегородским адресом последовали другие... Во исполнение этих «горячих желаний» самого дворянства стали один за другим возникать «комитеты».

И вместе с этим патриотическое одушевление схлынуло, уступая место отрезвлению. Едва начались заседания нижегородского губ. комитета под председательством либерального предводителя Болтина, едва комитет — так сказать, по инерции — составил несколько пунктов своего проекта, более или менее «согласно с видами правительства», как поднялась резкая оппозиция большинства. Все предложения «либералов» были отвергнуты, и Болтин увидел себя вынужденным уступить председательство представителю реакционного большинства Я. И. Пятову.

Таким образом дворянство, «первым откликнувшееся на великодушный призыв монарха», теперь первое ударило отбой, и к нему обратились взоры всех крепостников России. С Пятовым заодно оказались теперь многие, радостно кричавшие «ура» и украсившие своими подписями первый адрес. Впоследствии те же подписи стояли под проектом контрадреса, где «отречение» объяснялось непониманием значения реформы и зложелательностью некоторых дворян к своему сословию.

V

Положение Муравьева стало очень трудным. Пятов в дворянстве был человек новый, выскочка, до тех пор не пользовавшийся особым значением. Но за ним стояла фигура гораздо более значительная и опасная: Сергей Васильевич Шереметев.

Это имя памятно еще и до сих пор в Нижегородском крае. Спускаясь на пароходе вниз по Волге от Нижнего к Василь-Сурску, на левой луговой стороне можно видеть издали грузные постройки довольно мрачного вида. Это шереметевское имение Юрино. Если вы спросите о нем какого-нибудь старого лоцмана, он расскажет вам, что это место называлось в старину «шереметевской Сибирью». Дом, который теперь виднеется над заволжскими лугами, сравнительно новый. Прежде здесь было нечто вроде феодального замка, впоследствии сгоревшего. Над этим пепелищем носятся до сих пор мрачные рассказы о казематах и даже подземельях, в кото-

рых томились шереметевские ослушники. Полиция едва смела показываться в шереметевских владениях, и никто не мог вмешаться в отношения Шереметева к его рабам.

Главные имения С. В. Шереметева были в другом месте — село Богородское с прилегающими 28 деревнями. Богородское и теперь славится кожевенным производством, которое повелось там исстари, и шереметевские крепостные, народ предприимчивый, промышленный, жили зажиточно. Они купили на имя помещика (еще отца или деда Сергея Васильевича) собственную землю, некоторые из них гоняли по Волге баржи, торговали кожами, хлебом и лесом. Большая часть из них жила на оброке, выплачивая помещику огромные платежи за право торговли и промыслов. В делах Нижегородской архивной комиссии есть окладные книги села Богородского за 1858 год, из которых видно, что девять таких крепостных платили в год оброка от 500 до 1500 рублей, 24 человека — от 200 до 375, сто человек — до 95 рублей... Устанавливалось это понемногу, и можно думать, что при прежних Шереметевых суровый режим казался все-таки переносимым. Это было настоящее царство патриархального феодализма. Получая огромные доходы, владельцы проявляли некоторую заботу о своих «оброчниках»: в Богородском был доктор, аптека, богадельня для престарелых с отделением для рожениц, три школы.

В переходное время отношения всегда обостряются. Мрак часто сгущается перед рассветом, привиденья снуют перед криком петуха. Сергей Васильевич Шереметев под влиянием толков о воле, которая, конечно, должна была прекратить эти источники небывалых доходов, задумал сразу выжать из своего владельческого права все, что возможно, хотя бы и путем полного разорения крестьян. Он выработал план «добровольного выкупа», назначив за каждый рубль оброка по 25 рублей выкупной суммы. По этому плану с одного, например, богатого крестьянина помещик должен бы получить 38 250 рублей. Совершенно понятно, что крестьяне «оказали упорство» и от добровольной сделки отказались. Тогда Шереметев созвал выборных, которые в шереметевских вотчинах назывались «думчими», и потребовал, чтобы они подписали акт соглашения от лица всех. Думчие тоже отказались. Шереметев пришел в совершенное неистовство: он лично избивал упрямцев,

отсылал их на расправу к становым, сажал в тюрьмы, сдавал в рекруты и ссылал в свою «Сибирь» — Юрино, захватывая на месте дома и усадьбы ссыльных.

Призрак умирающего крепостного строя встал перед зарей над шереметевскими владеньями, кидая свою мрачную тень на весь край, наводя ужас на одних и ободряя других. Губерния наполнилась чудовищными рассказами, воплями, жалобами. Было известно, что Шереметев «лично известен», что при дворе у него огромные связи, близкая дружба с Адлербергами и другими высокопоставленными противниками реформы. Его пример ободрил остальных. Пошли слухи, что «правительство переменило намерение и все останется по-старому». Члены губернского комитета перестали собираться, надеясь сбить все эти проекты измором. Когда же Муравьев объявил, что постановления комитета будут считаться действительными при наличности хотя бы трех членов, то комитет возобновил свои заседания, но вскоре принял решение — «уничтожить все доселе сделанное и начать всю работу снова на началах выкупа личности»...

Муравьев почувствовал, что наступает решительная минута, и выступил против Шереметева. Понятно, с каким захватывающим вниманием все следили за исходом этой борьбы бывшего декабриста с властным крепостником. Молва еще усиливала драматизм этой схватки. Говорили, будто 14 декабря, когда Муравьев стоял на площади вместе с бунтовщиками и когда исход восстания был еще сомнителен,— Шереметев, тогда еще молодой артиллерист, первый направил в бунтовщиков пушечный выстрел, решивший дело. Это, разумеется, была фантастическая легенда, но она придавала борьбе особую окраску: верный царский слуга и усмиритель бунта отстаивал интересы крепостнического дворянства; бывший заговорщик, участвовавший в умысле на цареубийство, и бунтовщик стоял за дело крестьян и реформы... Легко представить себе, что было бы с Муравьевым при такой постановке вопроса в наше время!

Тогда не так боялись страшных слов, но все же положение Муравьева поколебалось. Ланской, человек убежденный и искренно связавший свою судьбу с делом реформы, находил все-таки, что декабрист-губернатор действует слишком круто. Муравьеву все казалось просто: он принимал крестьян, выслушивал их жалобы и обещал защиту. Большинству комитета грозил даже

народной местью. «Прошу размыслить о том,— писал он,— что укор в сопротивлении Высочайшей воле может быть произнесен тем сословием, над устройством быта которого дворянство трудится. Страшно может выразиться приговор и пробуждение народа, признавшего себя по произволу лишенным права и надежды выкупом приобрести то, *что ему всенародно обещано словом монаршим*». Что же касается Шереметева, который все усиливал свои жестокости и к этому времени затеял захватить в свои руки все вотчинные бумаги, то губернатор послал в шереметевскую столицу своих чиновников, и они (дело небывалое) — в центре его владений опечатали бумаги. У Ланского Муравьев требовал немедленного назначения формального следствия над Шереметевым, чтобы сразу сломить центр крепостнического упорства, причем указывал даже и следователя, вице-губернатора, «на которого одного можно положиться».

Противники тоже не остались в долгу. Комитет составил постановление, в котором жаловался, что бумага губернатора «есть не что иное, как *«слово и дело»*, официальною властью пущенное в народ» и угрожающее страшными последствиями. Шереметев прямо обвинял губернатора в подстрекательстве к бунту. Жалуясь на опечатание вотчинных бумаг, он писал ядовито, что это, как известно, «делается только с государственными преступниками, к числу которых я не могу быть причислен... В роде Шереметевых (мы все гордимся этим) изменников никогда не бывало и, с Божьей помощью, не будет», а «подстрекание крестьян к бунту вряд ли может обеспечить общественное спокойствие...» «В таком случае строгой ответственности должны подвергаться не крестьяне, а те, которые их поджигают...» Еще яснее: «Те злоумышленные люди... которые, пользуясь своим *влиянием и властью*, побуждают их к противозаконным действиям».

Влияние Шереметева в высших кругах было так сильно, что Ланской не посмел своей властью поддержать губернатора. Он доложил обо всем государю, и 28 марта Муравьев получил извещение: по высочайшему повелению в Нижегородскую губернию командируется флигель-адъютант гр. Бобринский, который должен истребовать у Шереметева объяснений и, если окажется нужным, убедить его «к прекращению неблаговидных действий».

Граф Бобринский и понял, и исполнил поручение очень своеобразно. На свою миссию он посмотрел как на командировку для приведения шереметевских крестьян к повиновению. Приехав в Богородское, он вскоре известил Муравьева, что крестьяне к повиновению приведены, «чему лучшим доказательством служит то, что перед отъездом моим они служили молебен за милости, оказанные им помещиком». Самые милости состояли в том, что Шереметев обещал сбавить по 25 копеек с оброчного рубля.

Игра старого декабриста казалась проигранной. Шереметев торжествовал, и, конечно, вскоре крестьяне почувствовали, что его рука стала еще тяжелее. Дворянство шумно ликовало и демонстративно проводило Бобринского обедом, на котором произносились тосты и речи со всякими намеками. Надежды на то, что правительство «переменило намерение», росли. Могло казаться, что и вся реформа сведется к «шереметевской милости».

VI

Все, что я написал до сих пор, основано на достоверных письменных материалах и документах. Теперь, при описании заключительных актов борьбы крамольного губернатора с его противниками, мне придется прибегнуть к рассказу уже упоминавшегося раньше В. М. Воронина.

Должен сказать, к сожалению, что в некоторых чертах рассказ этот имеет характер почти легендарный, и я не решился бы стоять за его историческую точность во всех деталях. Но все же это, во-первых, рассказ современника и очевидца, а во-вторых, сам по себе он чрезвычайно характеристичен и рисует во весь рост фигуру Муравьева. Если кое-что и было бы опровергнуто фактически, то легенде нельзя отказать в большой колоритности и своего рода художественной правде.

Несколько слов о самом рассказчике. Я познакомился с ним в 80-х годах истекшего столетия, поселившись в Нижнем после своей ссылки, и сначала он казался мне самой заурядной, неинтересной обывательской фигурой.

Происходил из мещан. Отец — мелкий доверенный по откупу; сына определил в гимназию, где тот учился

с А. С. Гацисским и П. Д. Боборыкиным. Затем юноша поступил в Демидовский лицей, по окончании которого определился на службу чиновником особых поручений... После этого, в конце 60-х и в 70-х годах, служил на разных должностях, в том числе даже и по полиции. Как исправник считался полицейским старого типа: рукоприкладствовал и по уезду возил с собой верзилу десятского, известного чисто физическими дарованиями: огромным ростом и пудовыми кулаками. Взяток, кажется, не брал или если и касался, то без излишества, ниже, так сказать, среднего исправницкого положения. По крайней мере когда умер, то имущество оставил умеренное. Отличился на службе поимкой некоего Рузаева, долгое время свирепо и дерзко разбойничавшего в окружностях Нижнего и считавшегося неуловимым. Рузаева расстреляли в поле за острогом — происшествие тогда редкое и страшное, о котором долго вспоминали старожилы, соединяя имя расстрелянного с именем удалого исправника Воронина. Рузаева зарыли там же, в поле, над оврагом. А Воронин подвинулся по службе. Получив чин статского советника и орден св. Владимира, сын бывшего доверенного по откупу стал и сам нижегородским дворянином, чем очень гордился.

Выйдя в отставку, служил по выборам мировым судьей, был гласным, вступал на этой почве в разные союзы и конфликты. Особую идейную руководящую нить в этих земско-политических комеражах Воронина заметить было трудно. Одни и те же лица бывали попеременно то его союзниками, то врагами. Выдвинул его некто Андреев, человек сильный, ловкий, бессовестный, по убеждениям крепостник, по нравственному складу хищник и растратчик. Одно время Воронину показалось, что Андреев зарвался слишком неосторожно, и он попытался свалить его на выборах, нацелившись на его председательство. Расчет оказался ошибочным. Времена не назрели, хищническая звезда уездного гения стояла высоко. Андреев уцелел еще на несколько лет и сильной хваткой выбил заговорщика из позиции, провалив на все выборные должности. После этого бывший исправник перешел в оппозицию, выступал, где мог, против своего бывшего покровителя. Дворянская ретроградная партия его ненавидела. Либералы принимали: это был все-таки «выборный голос» и притом человек ловкий, знавший отлично слабые стороны противников. Бывал он и на предвыборных совещаниях, и запросто

на карточных вечерах. Рассказывал разные любопытные случаи из дворянского и монашеского быта, которые собрал за время своей полицейской службы, ненавидел дворян двойной ненавистью: как бывший мещанин и как новый дворянин, выскочка, отвергнутый дворянской средой. Однажды, получив афронт на каком-то торжественном дворянском обеде (где для него «случайно» не поставили прибора),— довольно громко назвал губернского предводителя «жбанной затычкой». Вообще фрондировал.

В этот период я с ним и познакомился в среде, которая мне в Нижнем была наиболее близкой. Мои нижегородские знакомые хотя и водились с Ворониным как с бывшим школьным товарищем и нынешним союзником, но «своим» его не считали, памятуя и его исправницкое прошлое, и десятского с природными физическими дарованиями, и то, что на земской службе он дебютировал под покровительством Андреева... Вообще это были отношения «тонкие», такие, при которых чувствуется, что могут встретиться всякие новые перевороты, и неизвестно еще, какая сторона этой «сложной натуры» определится как коренная и настоящая. Будет ли это демократ, ненавидящий нынешних вершителей губернских судеб (это несомненно в нем было), или же, наоборот, воспрянет бывший полицейский, обогащенный опытом за время своего пребывания в либеральном стане.

Наружности Воронин был довольно типичной. Среднего роста, с расположением к округленности, но не рыхлый, волосы стриг ежом, подстригал седую бороду и отпускал усы. Костюмы носил широкие, из солидного материала, по большей части в крупную клетку. Был подвижен, говорил оживленно, либеральничал желчно и несколько беспокойно: желчь была настоящая, беспокойство истекало из инстинктивного сознания, что искренности его либерализма, быть может, не все верят.

Одним словом, фигура, каких и в «затишные» 80-е годы, и в наше время можно встретить немало, то есть полинявшая и неинтересная. Однако...

В жизни почти каждого человека есть свой героический период. И, как бы далеко впоследствии превратности жизни или еще чаще ее тихое течение не унесли его от прежних путей, он будет постоянно возвращаться мыслью к этому периоду. Будет вспоминать о нем, будет о нем рассказывать, будет, может быть, слегка укра-

шать его и расцвечивать. И в такие минуты такой человек преображается: из-под будничного житейского налета просвечивает что-то далекое, необычное, точно отсвет далеких праздничных огней.

Был такой именно героический период и в жизни Воронина, и относился он к тому времени, когда прямо со школьной скамьи он попал в чиновники особых поручений к губернатору-декабристу. К сожалению, он не писал мемуаров, а только по временам рассказывал разные эпизоды этой своей ранней службы. Рассказывал с любовью, с увлечением, вспыхивая и вдохновляясь. И каждый раз это было не простое повторение, а своего рода творчество: он постепенно обрабатывал детали, как поэт совершенствует черновые наброски поэмы, пока она не приобретет художественной законченности. В такие минуты Воронина можно было заслушаться. Забывалось и последующее исправничество, и десятский с природными дарованиями, и сомнительные земско-дворянские союзы. Полинявший человек становился поэтом, воспевавшим свою молодость и своего героя. Правда, быть может, именно вследствие этого одушевления некоторые детали этой поэмы не вполне совпадают с официальными реляциями о тех же событиях. Впрочем, кому не известно, что официальные реляции часто тоже являются продуктом творчества, только в направлении обратном: там, где поэзия стремится расцветить и украсить жизненную правду,— реляция иссушает ее, превращая в сухой остов. И очень может быть, что поэма Воронина о царе и декабристе не дальше от исторической истины, чем официальные отчеты «Правительственных вестников»... Я постараюсь, как могу, восстановить ее, без всякой, впрочем, надежды сравняться с устным оригиналом...

VII

Однажды, придя к своим знакомым, я застал там целое общество, центром которого был опять В. М. Воронин со своими рассказами о Муравьеве. Он был особенно в ударе: рассказы касались побед его героя в трудной борьбе.

В августе 1858 года Александр, как известно, предпринял поездку по губерниям средней России, чтобы оживить движение реформы. В разных городах, прини-

мая представителей дворянства, он произносил речи, в которых призывал дворян к содействию.

Появлению государя в Нижнем предшествовали самые противоречивые толки. В конце июля получено было предписание Ланского, в котором сообщалось высочайшее повеление, неблагоприятное для реакционного большинства комитета: Пятову, позволившему себе в изложении своего отзыва неуместные выражения, объявить строгий выговор. Меньшинству изъявлялось высочайшее благоволение. «Дворянам же, подписавшим ни с чем не сообразное мнение Пятова, сделать строгое замечание». Эти последние слова государь на докладе Ланского написал собственноручно.

По-видимому, ни эта резолюция, ни речи, которые государь произносил в разных городах, направляясь к Нижнему, не могли обещать ничего хорошего реакционерам. Но вместе с тем было известно, что крепостническая партия при дворе не сдавалась и Ланской уже просил у государя отставки по вопросу о введении генерал-губернаторов. Отставка не была принята, но государь сделал на докладе Ланского несколько гневных замечаний. Шереметев и нижегородские крепостники получали ободряющие письма. Муравьев, по словам Воронина, одно время стал мрачен. Потом, получив письма Ланского, переменился. Для посторонних эта перемена не сказалась ни в чем, но мы-то, близкие, говорил Воронин, видим: в глазах у старика забегали какие-то огоньки... Значит, можно думать, готовится какая-нибудь неожиданность.

А все-таки... положение было сомнительное. Все время носились, как вихри, самые различные слухи, и каждый день могло повернуться по-иному... Газет тогда было мало, известия о высочайших приемах и речах сначала печатались в официальных органах и потом уже развозились в провинцию. Частные письма и приезжие, как это бывает всегда, распространяли самые противоречивые слухи.

Наконец 18 августа царский поезд появился в виду Нижнего и переправился через Оку. Дворец наполнился блестящей придворной свитой. Утром 19-го предстоял в большом дворцовом зале прием дворянства.

Зал уже заранее стал наполняться; кто только мог приехать из самых дальних уездов,— все, конечно, явились: случай увидеть государя, да еще в такую историческую минуту, представлялся не часто. Скоро

в зале стало тесно от дворянских мундиров. Особенно выделялась фигура Шереметева. К нему подходили, жали руки, с тревогой или надеждой смотрели ему в глаза. Вид у Шереметева в это утро был самоуверенный и великолепный.

— Потом вышел и старик,— рассказывал Воронин.— Посмотрел я на него — сердце так и упало: узнать нельзя — сгорбился, опустился весь, даже ростом стал меньше. Точно его в эту ночь расшибло параличом и он едва поднялся, чтобы встретить государя. А после, дескать, хоть в могилу. Идет, на палочку опирается. Велел поставить себе стул у стенки, недалеко от входа, сел, опустил голову на посошок... Чисто сирота казанская. Мы, муравьевцы, стали около него, стоим, как отверженные. Что будет? Только раз подозвал меня старик распорядиться о чем-то по надобности, и встретился я с его глазами. Лицо удрученное, а в глазах огонь бегает...

Нет, думаю, что-нибудь не так. Что-то, должно быть, знает.

Вернулся я — в зале становится тише. Скоро государь должен выйти. Один за другим входят свитские. И как войдет, взглянет кругом — сейчас к Шереметеву. Все ведь друзья старинные, приятели,— всякий прежде всего к нему и подходит. Губернатора на стульчике у двери никто не замечает. Адлерберг — великолепная тоже фигура, огромного роста, весь в регалиях,— кажется, и заметил, но посмотрел этак вскользь, сверху и тоже прошел к Шереметеву. Кругом Сергея Васильевича сразу точно цветущий остров образовался: эполеты, ленты, звезды, живой, веселый разговор, французские фразы, со всеми почти на «ты». Одним словом, потентат, так сказать, олицетворение силы... Ну а вокруг нашего старика — пустота. Подойдет кто-нибудь из «либералов», поздоровается с озабоченным этаким видом и отходит... Вдруг все затихло... «Государь!..»

Стал в дверях. Молодой, красивый, точно в сиянии каком-то. Бросил быстрый взгляд и увидел старика. Тот — все так же расслабленный, незначительный — при самом уже входе государя поднялся со стула. Царь сделал несколько шагов и, остановившись против него, спросил: «Это у вас крест за что?» — «За сражение при Кульме, ваше величество».— «Вы были ранены? Вам трудно стоять? Пожалуйста, садитесь».

И потом повторил опять милостивым, но настойчивым голосом: «Садитесь!» Старик с таким же убитым и покорным видом сел. В зале наступила такая тишина, что можно было слышать полет мухи. Государь повернулся и начал речь...

VIII

Речь Александра II в Нижнем Новгороде, как она напечатана в официальных изданиях, теперь звучит довольно бледно.

«Господа. Я рад, что могу лично благодарить вас за усердие, которым нижегородское дворянство всегда отличалось. Где отечество призывало, там оно было из первых. И в минувшую тяжкую войну вы откликнулись первыми и поступали добросовестно: ополчение ваше было из лучших. И ныне благодарю вас за то, что вы первые отозвались на мой призыв в важном деле улучшения крестьянского быта. По этому самому я хотел вас отличить и принял ваших депутатов... Вы знаете цель мою: общее благо. Ваше дело согласить в этом важном деле частные выгоды с общей пользой. *Но я слышу с сожалением, что между вами возникли личности. А личности всякое дело портят. Это жаль. Устраните их.* Я надеюсь на вас, надеюсь, что их больше не будет, и тогда это общее дело пойдет... Я полагаюсь на вас, я верю вам, вы меня не обманете... Путь указан, не отступайте от начал, изложенных в моем рескрипте...»

И затем — несколько заключительных фраз в том же роде...

Так передана эта речь в официальных отчетах, но в изложении Воронина она звучала совершенно иначе.

— Да что тут говорить,— горячо отмахнулся он, когда кто-то из присутствующих напомнил, что речь была напечатана в «Губернских ведомостях» и текст ее есть у А. С. Гациского.— Что там официальные отчеты! Небо и земля. Напечатано, как было заранее заготовлено, а царь говорил не по их бумажкам... До сих пор вот... Закрою глаза — вижу эту фигуру. Прямой этакой, голова откинута, брови сжаты, и каждый звук летает в затихшем зале, точно в колокол бьет.

Дойдя до того места, что вот шло хорошо, царь остановился. Стало еще тише, не дохнет никто. Точно вот всем сейчас с крутой горы спускаться. Ждут, что-то бу-

дет за этой паузой. Прошла, может, секунда, другая, а поверите, мне показалось, что прошел час...

Вдруг выпрямился еще больше, брови сдвинулись...

«Теперь узнаю, что среди вас завелась... изме-на...»

Пролетело это слово, как гром среди ясного неба... И весь зал, все мундирное и расшитое дворянство повалилось сразу на колени... А над коленопреклоненной толпой неслись слова царской речи, возбужденные, гневные...

Кончил, повернулся и вышел...

И как только вышел, дворяне, как один человек, кинулись к Муравьеву, который под конец речи встал со своего стула, даже роль свою забыл. Кругом поднялся гул: «Ваше сиятельство. Верните государя! Уверьте его: здесь нет изменников... Мы все готовы... Ваше сиятельство... Дворянство вас умоляет...»

Но старик опять опустился, одряхлел и стал меньше ростом. Махнул рукой. Помолчал минутку, потом покачал этак прискорбно головой и говорит:

«Нет, господа. Не могу. Не решаюсь... Подумайте сами: как мне теперь явиться к государю на глаза? У меня... в губернии... измена! Господи боже!»

Опять поднялись крики и просьбы. Старик опять махнул рукой... Гляжу, в глазах искорки так и бегают, бегают...

«Ну, что делать... Для вас, господа, попробую».

Посмотрел в толпу, наметил несколько «своих» из меньшинства разгромленного комитета и говорит: «Прошу вас, господа, ко мне, надо посоветоваться. А вы, господа, погодите. Я сейчас...»

Через несколько минут возвращается, совсем убитый, еще более сгорбившийся, чем прежде, и говорит почти шепотом: «Нет... Не м-могу. Государь в страшном гневе... У себя... Может быть, отдыхает. Скоро депутации от горожан и крестьян. Теперь вам всего лучше на время уйти. Поезжайте в свое собрание, ждите там, а я, может быть, осмелюсь... Сделаю, что могу». Потом повернулся ко мне глазами и говорит: «А пока, чтоб не тревожить государя... молодой человек! Проводите, пожалуйста, господ дворянство по другой лестнице... Знаете?»

У меня по спине даже мурашки прошли... Ведь это, значит, мне придется проводить их черным ходом. Посмотрел я на старика умоляющим этаким взглядом: дескать, что вы со мной-то делаете?.. Но встретился с его

глазами: вижу — ничего не поделаешь,— сталь. Повернулся я ни жив ни мертв: «Пожалуйте, господа».

И повел. Вы, господа, знаете этот ход? Дворец — постройка довольно старая: с лица — парад, широкая лестница, колонны, а с изнанки — теснота, темнота, вообще весьма непривлекательно. Иду впереди, дворяне, ошеломленные, еще ничего не соображающие,— за мной. Поверите: как стал спускаться с лестницы впереди этой толпы — ощущение такое, будто валится на меня обвал какой-то, лавина. Сейчас вот хлынет и задавит. И прямо за собой слышу — грузные шаги... Шереметев. Дошли до половины лестницы, смотрю — чья-то рука, большая, сильная, схватилась за перила... Дрожит, и перила дрожат. Оглянулся я: Шереметев стоит, покачивается. Вот-вот — кондрашка. И говорит сквозь стиснутые зубы: «Кат-торжник... Проклятый!..»

В этом месте своего рассказа Воронин, иллюстрировавший его очень выразительными жестами, остановился в волнении. Было ли это волнение от воспоминания действительно пережитой минуты, или это было волнение «творчества» — сказать трудно. Никогда больше я не слышал подтверждения этой драматической легенды, изображающей как бы апофеоз «демократического самодержавия». И нигде она не встречается в письменных мемуарах. Несомненно только, что Воронин в ту минуту верил в свои видения или воспоминания, и мы, его слушатели, верили тоже. Все было здесь законченно, цельно, согласованно. Вопрос о кульмском кресте, забвение освободительных увлечений из-за освободительных заслуг есть указание, что настоящая измена — в кознях против великого дела свободы...

В конце концов, более чем вероятно, что этого не было, по крайней мере в такой полноте... Что, загораясь воспоминаньями о героическом периоде своей жизни, Воронин черта за чертой создавал свою легенду и в конце концов завершил ее апофеозом самодержавия, твердой рукой, в сознании своей силы и власти, направлявшего дело освобождения через рифы сословных и иных препятствий... Хотя несомненно также, что в период великой реформы еще мелькали эти черты измечтанного славянофилами самодержавия... И что без них колесо истории повернулось бы иначе... К худшему или к лучшему, но — иначе...

IX

То, что Воронин рассказывал дальше, опять, может быть, слегка прикрашено фантазией, но в главном совпадает с фактами, установленными местной историей. Комитет был восстановлен, либеральное меньшинство вновь приобрело значение в союзе с прогрессивной администрацией. Но в жизни продолжалась борьба упорная, страстная. Шереметев не сдавался. Надежды остановить ход надвигавшейся катастрофы не умирали. В народе росло нетерпение и глухие темные вспышки. Исправники и становые почти не жили в своих квартирах, то и дело вызываемые жалобами помещиков на непокорство и бунты. Нет сомнения, что если бы в то время существовало могучее орудие нынешних ретроградов — провокация, то вскоре на место освобождения с землей выступил бы лозунг: «Прежде успокоение»...

Но провокации не было, а народное нетерпение, глухое и темное, сдерживалось надеждой. Несмотря на жалобы помещиков, недвусмысленно обвинявших декабриста-губернатора в подстрекательстве, в Нижегородском крае народных вспышек и бунтов было меньше, чем где бы то ни было... Особенно жестоких помещиков начали удалять из имений...

Однажды, уже в 1858 году, Муравьев опять перед вечером позвал Воронина. У крыльца стояла наготове почтовая тройка. Губернатор ждал в своем кабинете и при входе Воронина запер дверь.

— Ну, молодой человек, послужите. Садитесь к столу. Вот подорожная. Впишите в нее свою фамилию... с будущим. Теперь возьмите вот этот приказ. Впишите фамилию: «Тайный советник Сергей Васильевич Шереметев».

Это был приказ губернскому секретарю Воронину отправиться немедленно в село Богородское и, предъявив тайному советнику Сергею Васильевичу Шереметеву, на основании ст⟨атьи⟩ такой-то, распоряжение министра внутренних дел за номером таким-то,— предложить немедленно с ним же, Ворониным, прибыть в Нижний Новгород, где и проживать безвыездно.

Воронин дрожащей рукой вписал грозную фамилию и спросил:

— С кем прикажете мне отправиться?

— Одному.

— Ваше превосходительство...— взмолился бедняга.

— Ну что?

— Как же это... Кто он, а кто я?

— Он — тайный советник Шереметев, а вы — чиновник, исполняющий поручение.

В глазах его засверкал огонек, и он прибавил:

— Вы поедете один, чтобы не огорчать его превосходительство излишней оглаской. Не бойтесь, молодой человек, не бойтесь... Я вам говорю: поедет! Ну, а...

И глаза Мураша загорелись...

— Поезжайте с богом. Надо служить, молодой человек. Я на вас надеюсь.

По правилам, следовало сообщить жандармской власти и требовать содействия. Но так как были примеры, что жандармский полковник затягивал свой отъезд, а под рукой предупреждал приятелей-помещиков, то Мураш приказал своему чиновнику выехать немедленно, не дожидаясь «содействия». Извещение жандарму было послано уже перед утром.

— Никогда я не забуду этой ночи,— говорил Воронин.

— Струсили?— спросил один из слушателей.

— Подите вы! Как тут не струсить... Правду сказать: проклинал Мураша. Ему что. Игра у него крупная, и козыри в руках... А мне каково! Вот, думал, в клуб сходить, в картишки переметнуться, потом в постель. А тут — не угодно ли? Ночь, темнота, колокольчик. И как подумаю, что придется одному, с мужиком-старостой явиться перед грозным взглядом магната... Бр-р... пропал ты, думаю себе, Василий Михайлов, ни за грош. Где тебе, губернскому секретаришке, этакий дуб голыми руками вырвать... Ну а все-таки не ослушаешься. Не доезжая до села, велел колокольцы подвязать, потом разбудил старосту, подъезжая к барскому дому. «Кто такой? Что нужно?» — «По указу Его Императорского Величества!» Сначала не смели и подумать будить барина, но я настоял. Самому, положим, страшновато, но за спиной чувствую Мураша. Подняли. Семья уже поднялась, дворня... точно муравейник, растревоженный среди ночи... Вышел мрачный, осмотрел меня с ног до головы. Жутко, но все-таки взгляд выдержал, подаю бумаги. Взял он, распечатал пакет и опять, как тогда, на лестнице, схватился рукой за стол. Закрыл глаза, лицо то краснеет, то бледнеет. И опять слышу: «Кат-торжник проклятый...» Так прошло с минуту... Я стараюсь храбриться, вспоминаю про Мураша, а чув-

ствую: точно надо мной скала повисла. Вот-вот обрушится. Вдруг Шереметев раскрыл глаза, точно от сна очнулся... «Едем!» И сразу опустился, как Мураш перед царской речью. Мешок мешком! Собираться даже не стал, сам торопит. Снарядили его домашние наскоро, одели... Вышли мы, сели в тарантас. «Гони!» Взвилась наша тройка!.. Еду я обратно, шевельнуться не смею: сам себе не верю, что это рядом со мной сидит сам Шереметев. А на душе все-таки гордое чувство... Завтра по всему Нижнему грянет, как гром. И кто это исполнил? Воронин! Перед самым городом, совсем рассвело,— глядим: мчится сломя голову жандармский полковник. Запоздал бедняга. До сих пор еще перед глазами стоят его выпученные глаза и испуганная физиономия, когда мы с громом и звоном пронеслись мимо...

После этого Шереметев выхлопотал разрешение выехать за границу, и столп нижегородского крепостничества исчез с горизонта.

X

Теперь, после этой неполной, конечно, характеристики губернатора-декабриста, читателям понятны причины той глубокой ненависти, которая так вдохновляла крепостную музу. Понятно также, с какой жадностью большинство дворян ловило всякий слух об удалении Муравьева.

Вот новость первоклассная,
Вот новость нарасхват,
Газетная, прекрасная,
И кто же ей не рад.

Так начинается «Муравиада».

Конец долготерпению!
Наш пре́фект, наш тиран
По царскому велению
Переведен в Рязань.

Оказалось, что ликование было преждевременно: переведен был другой Муравьев, племянник Александра Николаевича, вятский губернатор. Вскоре, однако, пришла очередь и декабриста.

В апреле 1861 года Ланской увидел себя вынужденным подать в отставку, уступая место Валуеву. Это был первый удар начинавшейся реакции. Муравьев понял, что и его роль кончена, написал Валуеву замечательное

по откровенной прямоте письмо и в октябре тоже подал в отставку. Либеральная часть дворянства и общества провожала его торжественным обедом. Губернский предводитель Болтин отметил твердость и такт, с которым якобинец и заговорщик сумел предупредить обычные в то время крестьянские волнения. Он достиг этого, внушив крестьянству, что и для тех, «кто в течение двух столетий терпел притеснения и насилия,— есть правосудие, есть закон». Благодаря только этому «в то самое время, как в большинстве других губерний потребовалось содействие войск для прекращения беспорядков, в Нижегородской губернии для этого было достаточно личного появления и устных разъяснений губернатора» [1].

В ответной речи Муравьев сказал между прочим, что в этом «много содействовали ему сами крестьяне, которые с глубокою благодарностью к великим милостям императора приняли новое положение и в совершенном порядке, тишине и спокойствии исполняли все требования оного... Тем самым,— закончил растроганный декабрист,— равно как и дарованными им правами гражданства, они удостоились участия в настоящем обеде».

Действительно, за столом среди дворянских и чиновничьих мундиров виднелись мужичьи кафтаны. Как они чувствовали себя в этом положении — вопрос другой, но в газетных статьях по поводу знаменательного обеда указывалось на это «явление» как на символ нового строя, воплощение наступившего равенства и братства...

С этих пор о Муравьеве ничего уже не слышно. За праздником освобождения наступили будни. Вверху на месте Ланских и Милютиных водворились Валуевы и Толстые. Внизу — пережившие свой героический период Воронины становились исправниками обычного типа. И только порой, в глухие 80-е годы, проносились воспоминания о героическом подъеме освободительной эпохи...

А. С. Гацисский, историк и знаток Нижегородского края, в статье, посвященной Муравьеву, находит, что он ушел вовремя. Это, может быть, правда. Революционер и мечтатель в юности, прошедший долгую школу дореформенного режима,— сам он стоял на грани двух пе-

[1] А. А. Савельев. «Р. старина», июнь, июль 1898 г.

риодов русской жизни. Свободолюбец мечтой, всеми привычками и приемами — он принадлежал к старому типу самовластного дореформенного чиновничества. Необыкновенно даровитая натура, он в совершенстве овладел этими приемами и направил их, как новый Валленрод, на разрушение основ этого строя.

Но когда стена векового рабства наконец рухнула, увлекая за собою и многое другое,— старый декабрист и бывший городничий очутился лицом к лицу с новыми требованиями жизни, к которым примениться ему уже было трудно. Мы видели приемы его борьбы. Они были старые и годились только в применении к старому...

А стремился он к новому до конца. И через все человеческие недостатки, тоже, может быть, крупные в этой богатой, сложной и независимой натуре, светится все-таки редкая красота ранней мечты и борьбы за нее на закате жизни.

1911

ЗЕМЛИ! ЗЕМЛИ!

Наблюдения, размышления, заметки

I

ДОРОЖНАЯ ВСТРЕЧА

Это было в голодный 1891—1892 год.

Я работал тогда в Лукояновском уезде Нижегородской губ., где на деньги, пожертвованные читателями через газету «Русские ведомости», мне удалось открыть в разных местах уезда 60 столовых для беднейших жителей, и мне приходилось от времени до времени объезжать эти столовые.

Был пасмурный день ранней весны. Я ехал на изморенных лошадях сельской почты по раскисшему уже тракту. Поля были под снегом, но дорога почернела, и копыта лошадей шлепали и вязли в грязи. Над белыми полями висели низкие облака, стоял туман, чернели грузными пятнами перелески, носились и каркали вороны. Время было самое трудное. Куда не успели доставить вовремя хлеб — теперь было уже поздно доставлять его. А близилась Пасха.

Мы обогнали четырех мужиков. Увязая по щиколку и с трудом вытаскивая ноги то из грязи, то из снега, они шли обочинами дороги. Лукояновский уезд бедный, сапоги носят не все, и на встречных были липовые лапти... Я поздоровался, и мы на минуту все остановились у пустого ветряка. «Не ко мне ли?» — подумал я. Может, где-нибудь в моих столовых не хватило хлеба...

Оказалось, что не ко мне. Мужики шли к становому...

— Зачем?

Один из них стащил с головы облезлую шапчонку и почесался с горестным видом.

— Эх,— сказал он.— Беда... Склока... Вишь ты, бумажки каки-то разосланы...

— Какие бумажки?

— А Бог знает. Неграмотные мы... А вот гляди ж ты.

— Видите, ваше благородие,— вмешался сотский, с которым я был немного знаком.— Приказано настрого от начальства — как чуть... чтобы, значит, доставлять в стан.

И он прибавил как человек, «могущий понимать» такие дела:

— Насчет, значит, смуты...

Я понял. Это были прокламации. Какие-то «мужицкие доброхоты» разъясняли голодающим мужикам, отчего они голодают. Революционная интеллигенция пыталась закинуть голос в глухую деревню.

Лукояновский уезд прославился в голодный год на всю Россию: кучка дворян и земских начальников совершенно не признавала голода и старалась даже отстранить от уезда правительственную помощь... И вот в этот наиболее голодающий и наиболее угнетенный уезд вдруг хлынуло множество писем из Москвы. Начальство, конечно, сейчас же обратило внимание на это внезапное оживление деревенской переписки и приняло по этому поводу свои меры. Представителям сельской администрации было приказано следить, чтобы получатели преступных писем, «не читая оных», немедленно отправлялись с ними к ближайшему уряднику. Урядник снаряжает старосту или сотского, и получателя письма, как бы под караулом, отправляют в стан для снятия допроса.

— Беда... Склока,— говорили мужики.— Озорничают какие-то, а мы, видишь, отдувайся...

Из четырех мужиков, которых я обогнал тогда в пасмурный день голодной весны, двое было сотских и двое получателей писем из разных деревень. Идти им приходилось более тридцати верст по грязной и трудной дороге. Устали, оголодали...

Мы распрощались, и еще долго, оглядываясь, я видел эту темную кучку людей на широкой темной дороге. Они тяжело опирались на свои посошки, с трудом вытаскивая из грязи или снега ноги в промокших онучах. И, конечно, не благодарили своих неизвестных «доброхотов».

Помню, что и мне было досадно. Сколько теперь по таким же дорогам тянется таких же пешеходов, голодных, усталых, проклинающих неизвестных «озорников». Им, дескать, что: наставил черных значков на белой бумаге, наклеил семикопеечную марку, а из-за этого десятки и сотни людей тащатся в раздорожье, голодные, испуганные, несчастные.

Спустился вечер. В туманных сумерках замелькали огоньки голодных деревень. Встречные мужики давно исчезли из вида, а я ехал далее с большой печалью в сердце.

Вся наша русская жизнь казалась мне такой же мерзлой землей под снегом, с низко нависшими тучами, с вороньем, каркающим над снегами. В это время я уже начал печатать в «Русских ведомостях» статьи о голодном годе. Я хотел рассказать о том, как среди земельного простора целым деревням «некуда выгнать курчонка», как этим пользуются, чтобы закабалить народ арендами порой хуже, чем прежде крепостным правом, как целые деревни вымирают от дурной болезни, как малая девочка в Лукоянове от нищеты и голода просила у матери, чтобы та «зарыла ее в земельку»... Удастся ли мне описать все это правдиво, пропустит ли цензура, и главное — кто будет читать эту книгу? До народа она, конечно, не дойдет. Мужик не покупает наших книг. Для него все мы, люди в городских сюртуках, представляемся на одно лицо: чиновниками. В лучших случаях — мы чиновники, которых добрый царь послал на выручку голодающему народу и которые работают по его приказу. Когда стало выясняться, что мы не чиновники и что благотворительные деньги составились из добровольных сборов через газеты и общественные учреждения, то в темной мужицкой среде пошла басня об антихристе.

Первым антихристом был объявлен Л. Н. Толстой, устроивший на собранные деньги много столовых. По этому поводу много злорадствовали в «Гражданине» и «Московских ведомостях».

В той же книжке «В голодный год» мне приходилось описывать, как и меня лично встречали во многих местах робкими вздохами и упоминанием имени Христова, с ожиданием, что я от этого рассыплюсь прахом... И теперь, когда я вспоминаю об этом темном вечере с белыми снегами под туманом, об этой встрече с получателями «прокламаций», то мне кажется, точно в те годы вся русская земля была под глубокими, не тающими и никогда не растающими снегами, под кровом безрассветной ночи общего невежества... Где-то стонут... Где-то кто-то кричит, стараясь разыскать дорогу... Откуда-то неясно откликаются... И голоса замирают в темноте... И опять все безмолвно, темно и глухо.

Поздним вечером я приехал в село. А долго спустя после меня пришли мужики с «прокламацией» к становому, усталые, голодные и покорные.

II

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОДПОЛЬНОЙ ПРОКЛАМАЦИИ

Вскоре была обнаружена организация, рассылавшая по уезду эти прокламации «мужицких доброхотов». Был арестован в Москве Николай Михайлович Астырев и его знакомые, в том числе уроженец Нижегородской губернии, города Арзамаса, Жевайкин.

Я знал обоих.

Николай Михайлович Астырев, уроженец Новгородской губернии, студент Института инженеров путей сообщения, открывавшего виды на выгодную карьеру, бросил институт и пошел на службу в волостные писаря, чтобы ознакомиться с народной жизнью. Он напечатал в «Вестнике Европы» ряд очерков, обративших общее внимание и вышедших затем отдельной книгой под заглавием «В волостных писарях». Книга сразу доставила автору литературное имя правдивостью и талантливостью. В ней чувствовалось то, что тогда одушевляло многих интеллигентных людей: честное искание путей для ознакомления с народом и прямого служения ему.

Астырев после этого работал в статистике, куда шло много людей, одушевленных такими же намерениями, сначала в Москве, затем он заведовал статистическим бюро в Иркутске. Сибирь дала ему материал для новой книги: «На таежных прогалинах», где опять есть много наблюдательности и правды.

Я удивился, узнав, что прокламация «доброхотов» написана Астыревым. Но это было, несомненно, так. После десятилетнего затишья, которое последовало за террористическим убийством Александра II, к началу 90-х годов стало вновь оживать революционное настроение в центрах и провинции. Существовало мнение, что и народ готов уже сделать те же выводы о непригодности всей правительственной системы, какие давно сделала интеллигенция. Вспоминаю один эпизод. Ко мне в Лукоянов явился из Нижнего Новгорода молодой адвокат Н. Н. Фрелих (впоследствии сосланный в Сибирь). Он привез из Нижнего деньги, собранные в пользу голодающих среди адвокатов. И первые его слова, когда он вошел ко мне, были:

— Ну что, Владимир Галактионович, скоро здесь начнется революция?

Я только засмеялся. Я видел придавленное настроение темного и голодного народа, и меня удивляло впоследствии, что и Астырев, бывший волостной писарь, так трезво и правдиво описывавший народный быт, не догадался, что его прокламация вызовет в темной среде одну только «склоку» и досаду.

В это время возникла организация, назвавшаяся «группой народной воли», к которой примкнул и Астырев. Он задумал связать движение, возрождавшееся среди городской интеллигенции и рабочих, с движением в народе, и с этой целью он предложил кружку написать ряд писем к крестьянам, он успел написать только первое письмо, в котором простым и понятным языком объяснял крестьянам, что им нечего ждать от правительства, которое довело Россию до страшного голода, а следует искать связи с теми, кто думает о положении народа помимо правительства,— крестьянам надо входить в сношения с городскими рабочими и интеллигенцией. Астырев хотел вызвать доверие и интерес среди голодающего крестьянства к этим «мужицким доброхотам» и к их движению.

Мы видели, какое своеобразное «движение» в полицейские станы вызвала эта прокламация в Лукоянов-

ском уезде. Голодные, изнуренные мужики тащили «грамотки» к приставам, не добром поминая своих «доброхотов». А в это же время в городах происходили свои трагедии: организация быстро провалилась. Пошли аресты. Был арестован и Астырев. Он был болен сердечной болезнью. Уже при первом знакомстве меня поразило его бледное лицо с нервным румянцем. Из тюрьмы он вышел до такой степени слабым, что не мог поднять руки, чтобы поздороваться с навещавшими его знакомыми. Только большие глаза горели мыслью и до последних дней появлялись его статьи в «Русских ведомостях».

3 июня 1894 года он умер в лечебнице для хронических больных профессора Кожевникова. В газетах появились теплые некрологи. А там, в глухих деревнях Лукояновского уезда, никто даже не знал, кто такой Астырев и за что он умер.

У Астырева осталась жена и двое или трое детей без всяких средств к жизни.

У арестованного вместе с Астыревым Жевайкина жена тоже осталась без средств, вдобавок двое детей умерли от дифтерита. Я видел эту бедную женщину. Молодая и красивая до того времени — она на глазах хирела и старилась. Мужа на время отпустили, потом взяли опять и посадили в ту же тюрьму (называвшуюся «Кресты»). Осиротевшая жена уехала в Сибирь для работы по переселенческому делу. В начале июня 1894 года, около того времени, когда умер Астырев, в Нижний Новгород пришла телеграмма: «Известите родных, Мария Ивановна (Жевайкина) умерла». Об этом приходилось известить в тюрьме горячо любившего ее мужа... Я его после этого не видел.

Это только одна из бесчисленных историй того времени, когда русская интеллигенция трудно, часто неумело и напрасно искала путей для проникновения в народ со своей мыслью...

А деревня жила своей стихийной жизнью, и эти две струи, казалось, не могут слиться в одну. На одной стороне была мысль, оторванная от жизненного дела, питающаяся иллюзиями... На другой — жизнь без мысли, полная лишений и страданий, накопляющая темную, беспросветную вражду... Даже случаи простейшего общения между интеллигенцией и деревней на благотворительной почве встречали, с одной стороны, давле-

ние и преследование, с другой — порождали недоумение и догадки об антихристе.

Деревня целиком была тогда во власти фантастической самодержавной сказки.

III

ЛЕГЕНДА О ЦАРСКОЙ МИЛОСТИ

В журнале «Русское богатство» в марте 1899 года была напечатана очень интересная статья, озаглавленная «Переселенец о Сибири». Статья эта была прислана из Каинского округа Томской губернии и писана крестьянином. Автор ее, Иван Ефимович Беляков, человек хорошо грамотный и очень толковый. То, что он рассказывает своеобразным языком умного самоучки, тем любопытнее, что статья изображает взгляды не одной только темной крестьянской среды, но и более развитой части крестьянства того сравнительно недавнего времени.

Беляков — переселенец. «Наше село Пушкино,— писал он,— (в 1898 году) было крепостное, господ Столыпиных, а раньше Мордвинова. Местоположение его прекрасное, с ровными поемными лугами и протекающими вдоль и поперек речками. Одна из них, Сивин, впадает в Мокшу, а сама Мокша — в Оку, у Саровской пустыни. Есть и леса с вековыми дубами и другим чернолесьем. От города Инсары наше село отстоит к северу на 25 верст; а от станции Инсары Московско-Казанской железной дороги всего лишь 4 версты. Одним словом,— говорит автор,— я бывал и видал много мест на запад, на юг и на север и нигде не находил такого прекрасного по природным условиям местоположения: леса казенные не далее 4-х верст, земля с хорошим черноземом, всякий хлеб, что ни посеешь, народится по ее плодородью и умеренному климату. Кто бы ни побывал в нашем селе из временно служащих, как-то: попы, управляющие, волостные писаря и последние подлецы кабатчики — все они через месяц принимают вид здорового телосложения».

Одним словом, свою родную сторону автор рисует настоящим земным раем. Почему же его жители переселились в Сибирь? Дело в том, что раем эта сторона была не для всех; пахарям жилось в ней много хуже, чем в других местах.

Причину этого автор рисует следующим образом:

«Когда наступил долгожданный день 19 февраля 1861 года, то есть свобода русскому народу от крепостной зависимости, и правительство хотело наделить землицей по 3 дес. на каждую ревизскую душу и 50 дес. строевого леса (на общество), то земли наши старые дураки на коленях выпросили лишь по 3/4 десятины, а от остальной просили христом-богом бурмистра и посредника их уволить. Бурмистр и посредник все силы употребили, чтобы посадить пушкинцев на полном наделе, а пушкинцы думали, что если-де нас царь-батюшка отобрал у господ, то и землю, которая осталась за помещиками, тоже отберет и отдаст ее нам даром.

Наш барин жил в то время в Москве и то и дело писал, чтобы старики взяли земельку... Наши господа были люди добрые, а бурмистр, наш односелец, клялся своими детьми, что-де вам, старым дуракам, желают добра, и, хоть крепостное право уже кончилось, многим задавал хорошую баню. Посредник до трех раз выходил к сходу с вопросом: отказываетесь ли от надела? «Отказываемся,— отвечали крестьяне,— ваше благородие, пожалейте, посадите на дарственный надел». Посредник на это в ответ, закрывши актом лицо, неудержимо хохотал: чего эти глупцы просят...»

«И что же вышло из этого далеко знаемого, богатого села Пушкина после реформы?» — спрашивает автор. Надела крестьяне так и не приняли. А затем — «насел управляющий Иван Журавлев, крутого нрава, положил на землю 28 рублей и 45 рублей десятину», и пушкинцам пришлось напрасно с 1861 по 1886 год тягаться за ту же землю, от которой они отказывались, слезно умоляя на коленях посадить их на даровой надел.

Оказалось, что и помещик, и мировой посредник, и односелец голова давали пушкинцам добрые советы. Вообще нужно заметить, что в то время в среде образованного общества у крестьян было много доброжелателей, а обе семьи, названные автором в качестве владельцев села Пушкина, были исстари проникнуты традициями просвещения. Семья Мордвиновых дала известных в истории XVIII и начала XIX века деятелей и писателей, один из Столыпиных был друг Лермонтова. Самое освобождение крестьян в 60-х годах без глубоких потрясений было плодом не одной только царской воли, но и сознательного стремления наиболее просвещенных слоев общества.

Но народ не знал и не признавал этого. Господское просвещение казалось ему враждебным и чуждым. Между царем и народом он представлял себе лишь сплошную массу чиновников и помещиков, стремящихся заодно обмануть царя и всячески обездолить народ. Все образованные люди — в сюртуках ли или в мундирах — представлялись русскому крестьянину на одно лицо — хитрыми врагами. Только цари рисовались природными и естественными доброжелателями народа. Они только и думают о народном благе, от них только и следует ждать облегчения. И вот, когда до обездоливших себя пушкинцев дошли сведения о правилах для переселенцев, они сразу истолковали этот акт: господа успели-таки испортить и извратить царскую милость, и свобода оказалась неполной, а крепостная зависимость осталась и в новых формах. Это оттого, что царь не может справиться с господами европейской России... Но в Сибири у него много собственных земель, а помещиков там нет вовсе... Кто успеет добраться до Сибири, тот окажется там лишь в милостивой царской воле. Там царь уже строит новые села, для чего из других земель нагнали плотников. «Царь все уже приготовил, только идите, дети, на землю мою от господ... Я лучше, говорит, растворю один амбар с деньгами, а уж господам не дам опять крестьян. У меня в Сибири земли много. Солдатчества не буду требовать до третьего поколения, а о податях и помину в Сибири нет».

В уме Белякова, который все это описывает, мелькали порой сомнения... Ему попадались книжки, в которых образованные люди писали о Сибири и о жизни переселенцев на новых местах. Читал он чиновника Голубева, Марусина, полковника Надарова (о Южно-Уссурийском крае), но веры этим писаниям даже и он не давал. П. А. Голубев, как и Марусин-Швецов были интеллигентные люди, не своей волей попавшие в Сибирь, люди очень хорошие (я лично знал обоих). Но автору они казались просто господами, которые «не иначе как посланы из господских детей, чтобы оконфузить Сибирь, чтобы народ не уезжал от помещиков».

Многим еще памятно огромное и чисто стихийное движение переселенцев в Сибирь в 80-х годах. Простодушных пахарей манила сказочная страна, где добрый царь ждет своих деток, чтобы окончательно осчастливить их. Царская легенда сияла впереди путеводной звездой, увлекая за собой десятки и сотни тысяч темных

людей, веривших в эту легенду, как в откровение. Несмотря на массу статей по переселенческому вопросу, на ряд корреспонденций, рассказов, картин, которыми образованные люди пытались осветить положение переселенцев в Сибири, целые тучи крестьян летели, как бабочки на огонь, в чудесную страну, где маяком светился перед их духовными взглядами образ доброго царя, зовущего своих детей в земной рай. Увлеченные сказкой, люди шли и гибли сотнями. Беляков очень простодушно рассказывает о разочарованиях, которыми сразу же встречала переселенцев Сибирь.

«Была у нас одна старуха 70 лет... На родине она жила хорошо, даже содержала годовых работников. Проснулась она как-то ночью и увидела месяц, который ей показался совсем другим месяцем, а не какой она видела на родине: будто он ниже ходит, чуть-чуть за землю не задевает и тут же, не пройдя больше трех сажен, закатывается. И вот наутро она встала и говорит: «В Сибири и месяц другой, а не наш, российский. Наш-то повыше ходит и закатывается в это время за барским двором. А этот как встал, так тут же опять и ушел под землю. И как же мы тут будем жить?» И, долго не думая, заткнула сарафан к поясу и побрела обратно по дороге к Омску». Сын нагнал ее уже верст за 10 и с помощью других насильно взвалил на телегу и повез дальше. Что ему было до месяца: впереди светился сияющий образ могущественного и добродетельного царя. Даже когда оказалось на месте, что никаких амбаров с золотом никто не отворял, даровых семян новоселы не получили и осталась добрая половина даже без хлеба,— то и тогда сияющий образ царя не померк: это его опять скрыла господская туча, рассуждали крестьяне.

Славянофилы, как известно, разделяли и поддерживали эту народную мечту, и вообще у нее была своя философия не в одной России. Известно, как радужно смотрел на самодержавие английский историк-философ Карлейль. Мне самому пришлось встретить такой же взгляд у европейца. Я начинал свою литературную карьеру, когда меня посетил очень известный теперь чешский деятель — Крамарж. Он с большой горечью говорил о «конституционных» притеснениях чехов австрийцами и о том, что в самодержавной России борьба за свободу была бы легче. Я думал иначе и приводил факты: у нас всякая попытка борьбы за интересы народа подавляется крутыми мерами самовластия. У них

политическая борьба трудна. У нас она совсем отсутствует, и в этом в значительной степени виновато романтическое представление народа об общественных отношениях и вера в то, что одни цари могут дать ему настоящую волю. Крамарж с этим не согласился.

— Вера,— говорил он,— двигает горами. Народ ваш верит в своих царей. Конечно, самодержавие, не докончив реформы, свернуло на путь реакции, но это лишь временное недоразумение. И солнце порой скрывается за тучами. Они могут рассеяться. Александр II освободил крестьян... Возможно опять что-нибудь великое в том же роде, и Россия сразу двинется на столетие вперед. Народ чувствует это в своей наивной вере в самодержавных царей.

Мудрено ли, что наш народ-пахарь, невежественный, темный, удаленный от широкой общественной деятельности, «народ не политик», как говорили славянофилы, держался своего взгляда на протяжении почти полустолетия после освобождения... Мудрено ли, что он посылал тучи переселенцев на царские земли в Сибирь и целые рои «ходоков» в Петербург, к царскому дворцу. Это движение ходоков было тоже огромно. Оно затихло только к началу нового столетия и нашло сочувственное отражение в литературе. Многие, вероятно, еще помнят маленький очерк Глеба Успенского (из серии «Наблюдения одного лентяя»). На улице появляется мужик и растерянно ищет чего-то. Когда его зазывают в комнату, то оказывается, что он ходок от мира насчет земли. Но объяснить, в чем дело, не может. Туманно и с усилием он говорит о том, что человек прах и земля тоже прах. «И ежели я, к примеру, пойду в землю, каким же родом с меня можно брать выкупные?» У этого ходока, очевидно, нет никаких представлений о законах, на которых основаны гражданские правоотношения. Он имеет дело только с самыми общими, может быть, возвышенными соображениями, которые, в свою очередь, не имеют связи с реальной жизнью современного общества, проникнутою идеями римского права. Мне пришлось во время моих ссыльных и иных скитаний не раз встречаться с такими ходоками. Это были настоящие подвижники мирского дела. Они самоотверженно несли тяготу своего мира, но их рассказы о тяжбах, за которые они пострадали, поражали детским непониманием самых простых вещей. Два брата Санниковы, например, которых я встретил в 70-х годах,

в ссылке в Вятской губернии, были вполне уверены, что их землю просто-напросто захватил в свою пользу сильный человек, министр, по фамилии Финляндцев, так как в спорном лесу были поставлены столбы с надписью «М. Ф.» (Министерство финансов).

Мир действительных отношений был крестьянам совершенно непонятен и поэтому враждебен. Против этого непонятного мира они и выдвигали фантастическую идею «великого государя».

«Это понятие (писал я в 90-х годах), обвеянное мечтательным обаянием, неопределенно, сказочно, смутно и... анархично. «Великий государь» этой сказки — прежде всего враг наличного государства, враг бар и чиновничества и находится с ними в постоянной борьбе... Это таинственная безличная сила, которая может быть приведена в движение и тогда непременно заступится за мужиков... Дойти до нее трудно, но есть какие-то особенные слова, которые ее приводят в действие. И те слова, как волшебные заклинания, не всегда знают мудрейшие и ученые. Отставной солдат, бредущий на родину из Петербурга, порой простой неведомый прохожий кинут иной раз такое «вещее слово», и пойдет оно перекатываться от деревни к деревне, от мира к миру, как лесное эхо... И по дорогам к столице потянутся мирские ходоки, уверенные, что от проходящего человека они получили самую настоящую формулу заклинания...» [1] А по селам и деревням надеются, пропускают сроки в судах и все ждут, что оттуда, с высот власти, вдруг грянет желанное могучее слово.

Пока народ питал свои надежды этой сказкой, в самодержавии не сказочном, а действительном происходил, после короткого периода реформ, важный переворот. Александр II когда-то назвал себя «первым из помещиков». И он подавал пример освобождения сверху. Но чувства его все-таки были гораздо ближе к помещикам, чем к крестьянам. Скоро он удалил от себя советников начала царствования и вместо них приблизил Валуевых, Толстых, Победоносцевых. Они убедили его, что для крестьян сделано слишком много, а дворянство, наоборот, несправедливо обижено реформой. Великое движение страны, неудержимо двинувшейся вперед, было остановлено на всех путях. Права и влияние «обиженного сословия» восстановились, на поддержание

---

[1] См. очерки «В пустынных местах». Гл. «Лесные люди».

естественно падающего дворянского землевладения тратились огромные государственные средства, власть дворянства над «всесословным» земством искусственно поддерживалась мерами администрации; литература прижималась, всякое стремление к общественной деятельности среди разночинского общества, а порой даже среди наиболее просвещенных дворян,— подавлялось в корне. Так шли дела при Александре II и Александре III. Они остановили также и развитие земельной реформы, не думая даже исправить такие явные ошибки, сделанные по темноте, как ошибка пушкинцев. И много по лицу всей русской земли явилось таких же обездоленных сел и деревень.

А народ по-прежнему верил в самодержавную сказку, считал образованное общество сплошь враждебным себе и готов был подавить всякое его движение против самодержавия.

При таких условиях я встретил на раздорожье лукояновских мужиков, покорно несших к становому астыревскую прокламацию о «мужицких доброхотах».

IV

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ

Закон всякой жизни, в том числе и общественной,— движение. Застой ведет к разложению и смерти. Застой в земледельческой стране, как наша, прежде всего отражается на земле.

С освобождением крестьян голодовки, довольно частые при крепостном праве, казалось бы, не должны повторяться. Но они появились вновь — сначала лишь частичные, потом все шире и чаще. В 1873 году от сильного голода страдала левая сторона Поволжья (Самаро-Оренбургская). В 1884 году голод захватил Казанскую губернию. Люди питались лебедой, ели даже кору, и о бедствии много говорили. Некоторые исследователи и экономисты предсказывали, что бедствие будет повторяться. И действительно, в 1890 году, а затем в 1891-м памятный голод поразил сразу все среднее Поволжье.

Самодержавное правительство отнеслось к бедствию довольно беззаботно. Сначала оно просто пыталось отрицать его. Газетам запрещено было употреблять самое слово «голод». Цензоры всюду заменяли его словами

«недород хлебов». Это подавало повод к курьезам. В одну поволжскую газету была отдана статья: «Физиологические последствия голода». Цензор выполнил требование циркуляра, и статья появилась под заглавием: «Физиологические последствия недорода хлебов».

В то время я жил в Нижнем Новгороде, и Нижегородская губерния была одна из голодающих. Я решил побывать на местах, присмотреться к бедствию и написать ряд статей о голоде. Приступая к этим очеркам «Голодного года», я имел в виду не только привлекать пожертвования в пользу голодающих, но еще поставить перед обществом, а может быть, и перед правительством, потрясающую картину земельной неурядицы и нищеты земледельческого населения на лучших землях. Голод 1891 года во всякой другой стране вызвал бы огромное движение и пересмотр общего положения государства. Заговорили бы в парламентах, вероятно, сменились бы министры. У нас о парламентах тогда еще не было и слуху. Печать оставалась единственным скромным средством общественного воздействия.

Задача при наших порядках была нелегкая. Земледельческое население покорно и тупо несло свою долю, а правительство заботилось только о том, чтобы агитаторы из городов не попытались разбудить его от дремоты. Я был на плохом счету, а неблагонадежным людям нелегко было даже проникнуть в голодающие местности. Губернатор Баранов, тогда ко мне довольно благожелательный, предупреждал меня, что я рискую доносами и высылкой, а когда я настоял на своем желании, он вынужден был все-таки послать за мной специального соглядатая.

Затем нужно было провести эти очерки через цензурные затруднения. Сначала они печатались в «Русских ведомостях» с некоторыми невольными выкидками. Потом ежемесячный журнал «Русское богатство» решил перепечатать их из газеты, чтобы дать их в более цельном, менее разбросанном и значительно дополненном виде. Журнал был подцензурный, но цензура мягче относилась к перепечаткам, особенно из московских изданий... Воспользовавшись этим, я стал в первоначальный текст «Русских ведомостей» вставлять дополнения, которые цензор пропускал подряд, не замечая, что это позднейшие вставки. Наконец то, что окончательно задерживалось петербургской цензурой, я проводил

в других журналах. Некоторые главы прошли в «Русской мысли».

Вот к каким хитростям приходилось прибегать русскому писателю, который тридцать лет спустя после освобождения крестьян хотел в самой скромной форме говорить в печати о невозможном положении земледельческого народа. В своих очерках я описывал лишь то, что видел. А видел я ужасные вещи, и самое страшное было то, что к этим ужасам привыкли. Лукояновские земские начальники, которые воевали не с голодом, а с попытками кормления голодных, доказывали, между прочим, что никакого голода, в сущности, нет. А если есть голодный тиф, то, говорили они, «ведь это у нас всегда». И это была страшная правда: ни голод, ни голодный тиф не выводились в уезде в самые урожайные годы... Были целые деревни, у которых хлеба хватало только до середины зимы. А с января приходилось нищенствовать. Во многих местах после того, как я кончал списки голодных, которых мы принимали в столовые, мужики окружали меня и говорили:

— А кто же поможет нам?.. Посмотрите на нас: нешто мы жители? Какие мы жители?

«Трудно представить себе,— писал я тогда,— впечатление этих слов: «какие мы жители», когда целая деревня говорит это о себе... Унижение, потупленные глаза, стыд собственного существования... В одной деревне (Дубровке) у меня потребовали писать в столовую всех подряд...

— Все мы равны, все нищие... Какие мы жители... Земли у нас по пяти сажен на душу.

В некоторых местах составление списков для даровых столовых производило впечатление какого-то страшного кошмара. В словах, которыми характеризовалась бедность, было что-то жгуче-жестокое, устрашающее, отчаянное... «Не дышим... Разорвало от травы... Все помираем...»

В темных курных избах с низкими потолками стлался низкий нездоровый пар, и стоял гул озлобленных, жестоких определений. Нищие силой проталкивались к моему столу. «Жители», хозяева, отталкивали нищих... «Мы хуже вас... Вы хоть просить привыкли». Бабы беспомощно плакали... Я с какой-то внутренней дрожью замечал себя в положении человека, дразнящего эту толпу напрасными жалкими подачками для нищих, тогда как население иных деревень было сплошь

все на положении нищих... Порой прорывались озлобленные вопросы: «Ты что это пишешь? Кто еще такой приехал? Откуда взялся?» Голова начинала кружиться. Признаюсь, была минута, например в деревне Пралевке, когда у меня рождался вопрос: выйду ли я, выйдем ли мы все из этой темной избы?.. Или все ринутся и на меня, и друг на друга в общую свалку?..

Это, конечно, было лишь в некоторых местах, совершенно обделенных землей. По большей части это были так называемые четвертники или дарственники, не согласившиеся во время освобождения крестьян принять выкупные наделы. Рассказанная выше история пушкинцев повторялась во многих местах, по всему лицу темной России, верившей только в царя. В деревне Дубровке мне показали седого лохматого старика, одного из тех, которые «при выкупе» обездолили Дубровку, не приняв надела. Тут в точности повторилась рассказанная Беляковым история. В Нижнем Новгороде во время освобождения был губернатором Муравьев, декабрист, бывший политический ссыльный, человек истинно доброжелательный к мужикам. Он лично выезжал в Дубровку, уговаривал мужиков взять надел. Об этом и рассказывал этот старик. «Нечего сказать: правду он говорил тогда. Что вы, говорит, мужики. Опомнитесь... Берите надел... Мы не верили... Потом осердился (человек был крутой) и даже принялся сечь...» Но дубровцы уперлись... По этой мужицкой Руси носились сказочные слухи... «Зачем платить за землю? Что господа станут делать с землей? Без крепостных они и сами бросят землю и уедут за границу. А царь отдаст землю мужикам и без выкупных платежей». Но господа не уехали, и над упрямцами нависло опять крепостное право. Помещичья земля сомкнулась вокруг деревни, подошла к самой околице, «курицу некуда выгнать, сохе негде повернуться»... И вот в то время, как в других деревнях и селах рабочим одна плата, «вольная»,— для дубровца существует другая, хотя дубровец работает рядом. Землю дубровец арендует дорого, самую плохую, истощенную... Когда на полях уже созрел хлеб, я видел эти поля. По одну сторону дороги моталось на ниве что-то тощее и жалкое, о чем говорят: «Колос от колосу не слышно голосу», а рядом наливался буйный экономический хлеб... «И ведь одни руки работали»,— говорили мне дубровцы... Дело в том, что им сдавали самую плохую, выпаханную землю.

Таких четвертников, или дарственников, было много по всей России и на Украине. Все это порождало слепую, темную, но по существу справедливую вражду... «Кабы не Владычица,— говорил мне на дороге к Полетаевскому монастырю встречный местный мужик,— мы бы этот монастырь с четырех концов зажгли... Владычицу обидеть боимся». Оказалось, что монастырь владел землями, отделявшими полосой деревню от реки, и монахини, пользуясь этим истинно «безвыходным» положением, наложили на мужиков тяжелые повинности за простое право прогона скота к водопою...

— Кто же, ваше благородие, поможет нам, прочим жителям?— то и дело спрашивали у меня мужики, когда я кончал составление списков для столовых. Мне приходилось отвечать, что я не «высокородие», никакой власти не имею и в начальниках не числюсь... Но у меня была надежда, что, когда мне удастся огласить все это, когда я громко на всю Россию расскажу об этих дубровцах, пролевцах и петровцах, о том, как они стали «нежителями», как «дурная боль» уничтожает целые деревни, как в самом Лукоянове маленькая девочка просит у матери «зарыть ее живую в земельку», то, быть может, мои статьи смогут оказать хоть некоторое влияние на судьбу этих Дубровок, поставив ребром вопрос о необходимости земельной реформы, хотя бы вначале самой скромной.

Русский писатель — большой оптимист, я тоже русский писатель. Если мне удастся, думал я, обратить внимание хотя бы на эти пределы народного бедствия, на этих «нежителей», если удастся показать, как они остаются до сих пор в прежней крепостной зависимости и к какому справедливому озлоблению это подает повод, то, быть может, начнется некоторое движение в стоячей воде и наконец приступят хоть к этому маленькому уголку реформы... Об ней заговорит литература, ученые общества... Лиха беда начать. В этом деле все так связано одно с другим, что стоит нарушить этот запрет, эту печать невольного молчания, тяготеющего над вопросами земли — и необходимость серьезной земельной реформы выступит сразу во всем объеме...

В июле месяце 1894 года я напечатал в «Русском богатстве» последние, заключительные главы «Голодного года», и мы решили издать его отдельной книгой. Книга была набрана. Но вдруг над нею нависла цензурная гроза...

В Воронеже был вице-губернатор некто Позняк. Покойный писатель Эртель писал мне, что этот вице-губернатор, присутствуя на вечере в пользу голодающих, на котором читались выдержки из моего «Голодного лета», пришел в ужас и с трудом поверил, что все это напечатано в легальной газете. И случилось так, что этот же Позняк был вскоре назначен членом главного управления по делам печати. Одним из первых его дел по вступлении в новую должность была большая докладная записка, составлявшая донос одновременно на меня и на цензурное ведомство, допустившее печатание моих очерков.

«В июльской книжке журнала «Русское богатство»,— писал он,— появились заключительные главы статьи господина Короленко «В голодный год»... Автор задался целью воспроизвести в подробностях печальную картину равнодушия, непредусмотрительности и нерадения, которыми-де грешили многие местные, как земские, так и правительственные, деятели, особенно последние в лице земских начальников, при выяснении степени нужды пострадавшего от неурожая населения, и кстати отметить спасительное значение «добровольцев благотворительности», явившихся на помощь народу помимо всяких требований и предписаний...»

Надо заметить, что в моей книге я, наоборот, указывал настойчиво и много раз ничтожное значение нашей благотворительности там, где государственная помощь отсутствует или направлена ложно. Так же бесцеремонно Позняк приписывал мне многое, чего я не писал, например, будто власти во время освобождения «насильно принуждали крестьян к принятию так называемых нищенских наделов». И тут я говорил как раз обратное: нижегородский губернатор Муравьев убеждал дубровцев к принятию полного надела, как и мировой судья — пушкинцев. Я не стану дальше отмечать эти «ошибки» цензора, тем более что главную сущность моей книги и мои намерения Позняк передал все-таки довольно верно.

«Основная мысль автора,— продолжает он,— последовательное обнищание крестьянства вследствие недостаточности наделов, настоятельно-де требующих правительственных мероприятий. По мнению господина Короленко, освобождение крестьян представляет картину, набросанную широкою и мастерскою кистью, но к ней придется еще вернуться... «Малый надел», «даро-

вой» и «нищенский» наделы — какие это знакомые, какие избитые термины по всему лицу нашего обширного, богатого простором отечества. Они-то и составляют почву, на которой сложилась жизнь Малиновки, которую я посетил в тот же день, и Пралевки, и Логиновки, и Козаковки, и многих других деревень в уезде, в губернии, по всей России... Отчего бы это ни происходило, но все же это пятна, портящие картину (освобождения), к которой, несомненно, придется еще вернуться не для одной только ретуши, но и для более смелых поправок в самой перспективе... И кому это нужно? Во всяком случае, не обществу, не государству. О, если бы печать могла и эти скорбные вопли Дубровок поставить в ряду практически неотложных вопросов, выдвинутых „голодным годом“...»

Я имею некоторое основание считать, что выступление Позняка было не случайно и не единолично. Одно время взгляды всех мужиконенавистников обратились к дальнему Лукояновскому уезду, где кучка дворян выступила с необыкновенной откровенностью против помощи голодающему крестьянству. «Гражданин» и «Московские ведомости» предложили им свои страницы, а иногда и свои бойкие перья. Писали инсинуации и доносы о крамоле. Но замечательно, что при этом ни разу не было попытки опровергнуть приводимые мною факты и цифры. Не упоминали даже моей фамилии. Я приписываю это тому обстоятельству, что в моей работе я пользовался, между прочим, указаниями и советами Николая Федоровича Анненского, заведовавшего тогда нижегородской земской статистикой. Один раз с благословения губернатора Баранова была сделана попытка нападения на данные этой статистики, но Анненский отразил их с таким блеском и силой, что после этого не только Баранов, но и сам защитник лукояновцев перешел на его сторону... Понятно, что с таким союзником никакие гласные опровержения мне не были страшны.

Теперь цензор Позняк выступал не с гласными возражениями, а с келейным бюрократическим доносом. «Итак, «черный передел»,— говорил он в своей записке, обобщая по-своему мои призывы к пересмотру наших земельных порядков.— Вот до чего договорился господин Короленко, откровенно братаясь на страницах подцензурного журнала в единомыслии с органами подпольной прессы...»

Легко представить себе тревогу, какая водворилась в цензурном ведомстве. Ведь это оно, начиная с цензора Елагина и кончая цензурным комитетом и главным управлением, допускало в течение многих месяцев проповедь «черного передела», тогда как, по словам Позняка, подобные идеи не могут быть терпимы даже и в бесцензурных органах печати как «опасные для общественного спокойствия» и «порождающие несбыточные надежды в малограмотных слоях общества»...

Наш цензор Елагин, искренний и довольно мрачный черносотенец, с горя запил. В «ведомстве» стали говорить о неприятностях, надвигающихся на главное управление... Предусматривали даже крушение некоторых карьер и возвышение новых звезд на цензурном горизонте. В литературных кругах с тревогой ожидали, что воссияет звезда Позняка, что было бы чрезвычайно вредно для всей печати.

Но... давно уже сказано, что Россия только и жива чиновничьей непоследовательностью. Бывают порой счастливые случайности, и одна из них оказалась в пользу моей книги. В то время в недрах самодержавного строя были еще живы деятели первой, либеральной половины царствования Александра II. Они уже были не ко двору, но самодержавие благодушно предоставляло им нечто вроде почетной опалы.

Один из таких обломков был некто Деспот-Зенович, поляк, бывший сибирский губернатор, известный своей честностью и независимостью. Теперь он состоял «членом совета министра внутренних дел» и живо интересовался литературой и общественными вопросами. Между прочим он следил за моими очерками и ждал выхода книги.

Узнав о записке Позняка, он поднял маленькую бурю в высших чиновничьих кругах. Он был человек настойчивый и пользовался большим уважением в своей среде. Ему удалось заинтересовать даже Победоносцева и Плеве. Первому он указал на мой теплый отзыв об одном, действительно интересном, священнике. Второй — тогда еще не министр фактически, но уже министр в возможности — слегка либеральничал и был в естественной оппозиции к фактическому министру внутренних дел Дурново...

Я говорю не о знаменитом Петре Николаевиче Дурново, тогда еще директоре департамента полиции, а о другом Дурново, Иване Николаевиче, бывшем черни-

говском предводителе дворянства и екатеринославском губернаторе. С миросозерцанием уездного предводителя, с некоторым внешним лоском, достаточным для придворного представительства, но необыкновенно невежественный и легкомысленный, он едва ли прочел в своей жизни хоть одну русскую книгу. И это-то, быть может, спасло мой «Голодный год».

Когда Деспот-Зенович пристал к нему, он обещал прочесть, но исполнить это обещание было выше его сил. Несколько раз он отговаривался недосугом и наконец, чтобы отделаться, сказал:

— Да, да, прочел... совершенно с вами согласен...

— Значит, книга будет пропущена?

— Да, да... я им скажу...

— Конечно, книгу вашу он не прочел,— говорил мне впоследствии Деспот-Зенович.— И бог знает, что вышло бы, если бы прочел...

Разумеется, взгляды Позняка были ему гораздо ближе, чем взгляды писателя Короленко, но... как бы то ни было, книга была спасена, и даже цензурное ведомство вздохнуло с облегчением.

Но когда после этого мы попытались затронуть опять земельный вопрос и сделать дальнейшие выводы, то в цензуре замахали руками...

«Нет уж... избавьте... слава богу, что обошлось благополучно». Дело в том, что в записке Позняка, вообще легкомысленной и поверхностной, было одно сильное место. Он напоминал, что «взгляды г-на Короленко на необходимость пересмотра земельного вопроса идут прямо вразрез с твердо и ясно выраженной монаршей волей: в знаменательных словах, произнесенных государем-императором в мае 1883 года в Петровском дворце при приеме волостных старшин, устраняется самая мысль о возможности каких бы то ни было дорезок как измышление врагов государственного порядка».

Эти знаменательные царские слова действительно были сказаны перед собранными со всей России волостными старшинами, и они, точно мертвой рукой, должны были заглушить всякий голос в пользу земельной реформы. Вольно-экономическое общество, лучшее из учено-просветительных обществ своего времени, основанное еще при Екатерине, пыталось поднять земельный вопрос, но оно, несмотря на долгую традицию и на несколько царских грамот, было в конце концов закрыто...

Теперь самодержавие выступало перед народом совершенно откровенно, в своем настоящем виде. Оно не понимало, что если до сих пор оно держалось так прочно, то это лишь потому, что в русском народе, невежественном и темном, прочно держится фантастическая сказка о непрестанной «царской милости». Теперь царь с высоты престола провозгласил, что надежды народа напрасны, что в огромной стране, живущей главным образом земледелием, нельзя заикаться о незначительных поправках относительно земли, что даже о скромных «прирезках» самым обездоленным крестьянам, страдающим из-за невежества дедов, могут говорить лишь заведомые «враги государственного порядка».

И это было сказано перед крестьянскими старшинами для того, чтобы они повторили это всему земледельческому населению страны. И это подтверждалось несколько раз при разных других случаях. Разрушая таким образом наивную сказку о царской милости, самодержавие само подрубало сук, на котором оно держалось благодаря народному невежеству и легковерию. И то самое, что народ приписывал неустанным заботам добрых царей — наделение землей,— сами цари относили теперь к заботам врагов порядка, крамольников.

Последствия понятны. Народ додумывает свои мысли тяжело и долго. Но процесс этой мысли уже начинался. Трудно было дольше держаться за милую сказку. Что значили прокламации Астырева о царе и «истинных мужицких доброхотах» наряду с всенародными царскими заявлениями. Народ, у которого разрушили детскую надежду на царей, начинал заинтересовываться «врагами порядка», которых до сих пор он привык ловить и представлять по начальству, как противников неизменно милостивой царской власти.

И так опять потянулись годы. Жизнь настоятельно требовала крупных реформ, но инициативе этих реформ прийти было неоткуда. Бессилие общества и темноту народа самодержавие принимало за собственную силу.

Порядок казался прочным.

V

НАСТРОЕНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. НАРОДНИЧЕСТВО

В то время, когда Астырев погиб из-за своего обращения к голодающим крестьянам, вся русская интеллигенция казалась русскому крестьянству на одно лицо.

И это лицо было лукавое, «себе на уме». Мы видели, что даже писателей из политических ссыльных, как Голубев и Марусин-Швецов, даже такие сравнительно развитые крестьяне, как Беляков, считали просто чиновниками «из господских детей», писавшими лишь затем, чтобы обмануть крестьян в пользу помещиков.

А в это самое время русской разночинной интеллигенции, далекой от классовых дворянских интересов, крестьянство тоже представлялось на одно лицо. Но этот народный облик, наоборот, представлялся русскому интеллигенту чрезвычайно симпатичным. Это был коллективный облик труженика, кроткого и мудрого в своем смирении, того, кто, по выражению поэта Некрасова, «все терпит во имя Христа»:

Чьи не плачут суровые очи,
Чьи не ропщут немые уста,
Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусство, в науки,
Предаваться страстям и мечтам.

Конец 70-х, все десятилетие 80-х и начало 90-х годов прошли под преобладающим влиянием так называемого народничества. Этим словом обозначалось настроение просвещенного общества, которое ставило интересы народа главным предметом своего внимания. И именно интересы простого народа: не государства как такового, не его могущества по отношению к другим государствам, не его славу, не блеск и силу представляющего его правительства, не процветание в нем промышленности и искусства, даже не так называемое общенациональное богатство, а именно благо и процветание живущих в нем людей и главным образом того огромного, серого, безличного пока и темного большинства, которое привыкли понимать под словом «народ».

Сначала в это слово вкладывали понятие о мужике, селянине, пахаре, недавно освобожденном от крепостной зависимости. «Великий грех рабства», так долго тяготевшего над Россией в то время, когда уже все европейские страны его не знали, глубоко сознавался в большинстве просвещенными слоями русского общества и накладывал свой отпечаток на их отношение к освобожденному народу. Благо крестьянина, пахаря, жителя сел и деревень, разбросанных по всему простору России, «соломенной и деревянной», которую, по выражению поэта, «в рабском виде царь небесный исходил,

благословляя»,— интересы этого именно класса ставились в центре, признавались единственной основой народного благополучия. Земледельческий труд признавался самым праведным и самым нужным. Все остальное — только придаток для него, порой совершенно излишний. Обрабатывающая промышленность была в эпоху освобождения очень мало развита и казалась только незначительным явлением. Фабрика, завод, даже город вообще с его жизнью, отрывающей от земли, казались истому народнику только извращением праведной народной жизни. В литературе можно было встретить множество рассказов, в которых описывалось, как детски чистые и невинные деревенские юноши и девушки, попадая в город, портятся, заражаются дурными чувствами и дурными болезнями и погибают. Такого взгляда держался, между прочим, крупнейший из русских писателей Лев Николаевич Толстой до конца своей жизни.

Что касается до фабрично-заводских рабочих, то они рассматривались лишь как крестьяне, которых бедность отрывает «на время» от земли, посылая на отхожие промыслы, в том числе и на фабрику. Согласно с таким взглядом народничество считало главной задачей государства, когда оно захочет идти дальше по пути реформ, начатых уничтожением рабства,— наделение крестьян землей в размере, способном обеспечить всему народу труд на земле.

Указать начало направления трудно. Оно, несомненно, явилось в общем виде еще до освобождения (уже в журнале «Современник» Чернышевского), но определилось главным образом в 70-х годах. Виднейшим его литературным органом были «Отечественные записки», издаваемые Некрасовым, в которых сотрудничали Щедрин, Некрасов, Елисеев, Михайловский, Успенский, Кривенко и еще много второстепенных сотрудников, проникнутых тем же духом. В этом органе сосредоточились все оттенки единого тогда народнического направления, которому впоследствии суждено было расколоться.

Направление «Отечественных записок» до известной степени было развито и в других органах прессы. Между прочим, в еженедельнике «Неделя» работал одно время свой кружок, виднейшими сотрудниками которого были Каблиц (Юзов) и Червинский (П. Ч.). Наконец, это направление, охватывавшее очень широкий слой

русской интеллигенции, выделило из себя революционное течение, известное под названием «хождение в народ». Молодежь 70-х годов сделала свои выводы из посылок литературы: наш земледельческий народ — основа всего. Он невежествен и темен, но мудр по простоте, он создал у себя общину, зародыш лучшего будущего строя, и в своей мудрости хранит до времени готовые основы общественного устройства, способного обновить нашу жизнь. Нужен только толчок народному сознанию, чтобы пробудить в нем эти спящие возможности.

И сотни юношей и девушек двинулись из столиц и крупных городов в провинцию, чтобы открыть народу истину об его действительном значении и могуществе. Студенты и курсистки становились в положении сельских или порой фабричных рабочих, переносили трудности и опасности непривычного положения и... попадали в тюрьмы.

Движение было наивное. В нем сказалось полное незнакомство с условиями народной жизни. Сотни юношей были арестованы и целые годы просидели в тюрьмах, пока создавался известный «большой процесс 193-х пропагандистов». А крестьянство нигде и не двинулось. Оно смиренно исполняло приказы начальства и ловило агитаторов, которые казались ему лишь врагами царя, освободившего народ, раскрывающего для мужиков амбары с золотом, готовящего ему новые милости.

Тогда в молодежи, да и в литературном народничестве наступил кризис. Опыт обращения к народу был сделан. Пусть наивно и неумело, но все же он был красноречив. Народ, хотя и пассивно, выразил свое отношение к спору... Он остался с самодержавием. Что же остается интеллигенции? Подчиниться этому взгляду или продолжать борьбу с самодержавным строем?

Уже ранее в литературном народничестве обозначились два идейных течения. Различие их сказалось давно в настроении двух народнических писателей-художников — Успенского и Златовратского. Златовратский, написавший большой роман «Устои», во всех своих произведениях идеализировал основы крестьянского мировоззрения. Успенский, всю жизнь посвятивший изучению крестьянской жизни и написавший много замечательных статей, в которых яркие картины перемешивались с публицистическими размышлениями, при-

глашал в них русскую интеллигенцию никогда не терять из виду интересов мужицкой России. Он не приукрашивал, как Златовратский, народную среду. Человек с замечательным чутьем правды, проникнутый истинной любовью к родному народу, он горько скорбел о народной темноте, невежестве, предрассудках и пороках, обо всем том, что он с скорбной и суровой резкостью называл порой «мужицким свинством».

— И все-таки, все-таки нам надо постоянно смотреть на мужика,— повторял он до конца своей истинно подвижнической трудовой жизни.

Разница настроений этих двух художников сказывалась таким же расхождением в публицистике и науке. Друг и лучший истолкователь Успенского, Н. К. Михайловский был виднейшим русским публицистом-философом своего времени. Он был русский интеллигент в лучшем значении этого слова. Он тоже считал служение народу истинной задачей интеллигенции и склонялся к пониманию слова «народ» главным образом в смысле крестьянства. Но, не разделяя основных взглядов народа на вопросы общественного устройства и его преданности самодержавию, он не считал обязательным для себя эти народные взгляды.

Убеждения, выработанные человеком в результате умственных и душевных исканий, он считал его духовной святыней, и подчинять их взглядам какого бы то ни было класса, хотя бы всего народа, по его мнению, значило бы совершать грех против духа, своего рода идолопоклонство.

В этом был узел идейных противоречий, на которых народничество, прежде единое, раскалывалось на два течения. Оба признавали интересы народа и преимущественно крестьянства главным предметом забот образованного класса. Но одно при этом считало себя вправе по-своему толковать эти интересы и критиковать народные взгляды с точки зрения правды и свободы (Михайловский и Успенский), другое признавало для себя обязательными и самые взгляды народной массы (Златовратский и «Неделя»). Последнее течение стояло перед опасным выводом. Наш народ в подавляющем большинстве признает самодержавие и возлагает все надежды на милость неограниченных монархов. Если мнение народа обязательно для служащей ему интеллигенции, то... интеллигенции приходится мириться с самодержавием.

И действительно, можно отметить явный уклон в этом направлении в части народнической литературы того времени. Всего заметнее и всего ярче сказалось это на деятельности Виктора Пругавина. Это был экономист и статистик. Одно время его доклады в юридическом обществе в Москве и Вольно-экономическом обществе в Петрограде, где он прославлял народную мудрость и крестьянскую общину, привлекали массы молодежи, встречавшей его громом аплодисментов. Это был мой школьный товарищ, и я хорошо знал его. Мы много спорили с ним по поводу некоторых его взглядов. Он был поклонник Златовратского, и крестьянская среда казалась ему безукоризненной и вполне «гармоничной». Однажды при мне кто-то сделал ему указание на грубость крестьянских нравов, на деспотизм в отношении к женам, на то, наконец, что часто крестьяне не могут сами разобраться во взаимных отношениях между собой и прибегают к дрекольям для решения междуобщинных споров. В это время много говорили о тяжбе двух крестьянских обществ в Свияжском уезде, когда дело дошло до свалок между целыми селами, вызвавших вмешательство войск. «Какая же тут гармония?» — закончил возражатель. Но Пругавин отвечал:

— Разве вы не понимаете, что и кол в руках мужика может часто служить орудием гармонии!

Это было что-то ненормальное. Идя в этом направлении с какой-то сумасшедшей последовательностью, Пругавин написал целую книгу, в которой уже прямо мирился с самодержавным строем. Он рассуждал так: экономический строй — основа всей общественности. Основная ячейка русского экономического строя — община. Она хороша как идеальный зародыш будущего социализма. Остальное, в том числе и самодержавие, только надстройка на этом фундаменте. Основа хороша, значит, и все хорошо. Народ правильно признает самодержавие своим строем, и мы должны принять этот народный взгляд.

Еще до выхода этой книги он обратился ко мне с изложением проводимых в ней взглядов и выражал уверенность, что наши общие товарищи примут их. «После выхода вашей книги ваши товарищи будут лишь в «Московских ведомостях» и «Новом времени»,— сказал я.— Помните, что с прежними товарищами это — разрыв».

Он казался пораженным.

— Но ведь я доказываю...— сказал он.

— Никогда вы не докажете русской интеллигенции, что она должна примириться с самодержавием.

И действительно, книгу его очень холодно встретила вся передовая литература, и приветствовали ее только «Новое время», «Московские ведомости» и еще две-три ретроградные газеты помельче, хотя после разговора со мной он многое в ней смягчил. Это глубоко потрясло его и ускорило ход его болезни. Через некоторое время он очутился в лечебнице для душевнобольных. Уже больной, он одно время жил у меня. Не могу забыть, как однажды ночью он разбудил меня и мою жену и, со слезами обнимая нас, убеждал немедленно созвать прежних друзей и товарищей нашей юности, разделявших народнические убеждения, и всем вместе уйти «в деревню к святой работе на земле, к здоровой крестьянской среде». Ему казалось, что только деревня и общая жизнь с народом может исцелить его.

Но судьба этой больной интеллигентной души уже свершилась. Возврат к прежнему был невозможен, и выхода для него не было.

Можно сказать, конечно, что Пругавин был уже ненормален, когда писал свою книгу. Но были проявления того же уклона гораздо более серьезные. Еще во время существования «Отечественных записок» велась полемика между «Неделей» (Червинский и Каблиц) и Михайловским. Этот спор начался с нападок «Недели» на Г. И. Успенского за его суровую правду о деревне и за непризнание народных взглядов. Даже один из бывших сотрудников «Отечественных записок», а впоследствии близкий сотрудник «Русского богатства» С. Н. Южаков написал книгу «Вопросы гегемонии» и в ней предсказывал близкую борьбу, которая должна загореться в Европе. На одной стороне будет Англия с всеевропейским лендлордом-помещиком, на другой — славянский мужицкий мир во главе с Россией, государством, построенным «по мужицкому типу». Для этого, конечно, приходилось признать прежде всего, что русское самодержавие соответствует истинно демократическому строю, а не является пережитком старого монгольского ига. Южаков при этом ссылался на работы видного народнического экономиста.

Это подчинение народным взглядам шло дальше и дальше. Когда революционная интеллигенция, оставив хождение в народ, свернула на путь политической

борьбы за конституционное ограничение самодержавия, то «Неделя» написала ряд статей против конституции, которую называла «господско-правовым порядком». Газета доказывала, что такое ограничение самодержавия вредно для народа. Наконец, когда в России разразились позорные еврейские погромы, то та же газета заявила, что, конечно, русскому интеллигенту противно всякое национальное насилие, но раз народ так ясно выражает свой взгляд на еврейский вопрос, то... интеллигенции остается подчинить свои застарелые привычки этому, ясно выраженному, народному взгляду.

Таким образом, в народническом настроении, так долго и всецело владевшем умами русской интеллигенции, происходил глубокий внутренний кризис, и Н. К. Михайловский, старый вождь народничества, заявил в одной из книжек «Русского богатства», что он готов даже отступиться от хорошей клички «народничества», но не согласен до такой степени подчинить святыню своих убеждений темноте народных и специально крестьянских предрассудков [1]. Заявление это он сделал от имени своего, а также Г. И. Успенского и пишущего эти строки. В апрельской книжке того же журнала за тот же год он повторил и развивал это положение. Ход мысли этого истинного интеллигента так характерен для того народничества, которое он представлял собой, что я не могу не привести эти краткие выдержки. «Та сила,— говорит он в февральской книжке (стр. 63),— которая побуждает нашу волю к действию в согласии с идеалом, выработанным совокупным трудом разума и чувства, составляет сущность всякой религии». Таким образом, убеждения человека — та же религия. Чему же нас приглашают подчинить наши убеждения? Мнению народа. Но какому же это мнению? Так как прямо о деспотизме говорить тогда было невозможно, то Михайловский прибегает к литературным сравнениям. В драме Пушкина «Борис Годунов» народ «безмолвствует» на извещение о смерти Бориса и на приглашение кричать: «Да здравствует царь Димитрий Иванович!» А перед тем тот же народ кричал: «Да здравствует Димитрий! Да гибнет род Бориса Годунова!» А еще ранее, при избрании Годунова на царство, Москва слышала радостные крики того же народа: «Венец за ним, он царь, он согласился». Надо, значит, выяснить, что же

---

[1] См. «Русское богатство», 1893 г., кн. 11.

такое мнение народа, которое способно так меняться. Вообще, «народник, народничество» сами по себе прекрасные термины, но слово «народничество» слишком захватано и в термин этот вкрадывается часто смысл, с которым мы имеем мало общего.

Действительно, если бы этим взглядам суждено было взять перевес в русском образованном обществе, тогда должен бы потухнуть старый огонек русской оппозиционной мысли и мужицкая легенда о царской милости налегла бы над всей русской жизнью темной, подавляющей тучей.

Но этого не случилось. Наоборот, против примиренческого уклона части народничества началась в молодежи резкая реакция, часто переходившая в другую крайность.

Новое течение называлось марксизмом, так как основывалось на положении замечательного немецкого экономиста Маркса. Открылось оно у нас выступлениями П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановского.

Это были еще совсем молодые люди. Струве был студентом, когда появились его статьи, наделавшие много шуму и вызвавшие сильное движение умов. У него сразу оказалось много приверженцев, особенно среди учащейся молодежи. Полились статьи в том же направлении, точно сразу прорвалась какая-то плотина.

Сущность этого нового течения состояла в том, что симпатии и внимание интеллигенции переносились с крестьянства на городской рабочий класс, на фабричных и заводских рабочих, так называемый пролетариат. Не интересы крестьянства, как доказывали народники, а исключительно интересы рабочего пролетариата должны привлекать деятельные симпатии русской интеллигенции. Крестьянство, наоборот, является элементом исключительно застоя. Закипел страстный спор двух направлений. Полемика велась на страницах журналов и газет, в книгах, брошюрах, ученых обществах и собраниях, наконец, в бесчисленных кружках. Всюду в то время кипели споры о крестьянстве и пролетариате, о значении фабрик и заводов, о роли капитала в прогрессе русской жизни.

Михайловский, который, как мы видели, сам в это время начал пересмотр народнических взглядов, должен был повернуться к новому нападающему фронту, чтобы защищать то, что признавал в народнических взглядах справедливым, то есть важное значение

крестьянства и его интересов. Старый боец очутился в самом центре спора. Другие шли уже за ним.

Много при этом с обеих сторон было крайностей и увлечений. Марксисты с Туган-Барановским доказывали, что Россия уже теперь есть страна не земледельческая, а промышленная и интересы заводской промышленности определяют все ее будущее. Крестьянство представлялось им лишь «мелкой сельской буржуазией». Это косная, темная масса, на которой держится отгнивший строй, которая только глушит в России всякий прогресс. Нет надобности стоять за наделение крестьянства землей, как этого требуют народники. Наоборот, чем скорее оно «пролетаризуется», то есть лишится земли и оседлости, тем лучше. А так как этому сильно способствует капитализм, который вообще быстро превращает Россию в страну пролетариата, то многие марксисты в то время пели хвалы капитализму как орудию экономического прогресса, за которым должен последовать и прогресс социальный вообще. Когда капитализм оторвет от земли и сосредоточит на фабриках и заводах достаточные массы рабочих, когда в деревнях большинство населения станет такими же безземельными пролетариатами, тогда и произойдет в России революция, которая свергнет и самый капитализм. А пока — дорогу капиталу и его работе, говорили марксисты. Россия «должна идти к нему на выучку», должна «вывариться в капиталистическом котле». На страницах марксистских органов печатались порой такие хвалы прогрессивной роли капитала, которые теперь было бы поучительно припомнить многим нынешним врагам капитализма, резко и порой также несправедливо объявившим капитализм во всех проявлениях уже теперь исключительно враждебным всякому развитию и прогрессу России. И это спустя полтора десятка лет после признания его плодотворной роли!

Из марксистских крайностей мне вспоминается один эпизод, который, пожалуй, стоит книги Пругавина. В то время я жил в Петербурге и был хорошо знаком с редакцией журнала «Мир Божий», близкой к марксистским кругам. Через нее я познакомился с Туган-Барановским и Струве, и на моей квартире, в деревянном домике на Песках, часто тоже шли споры на обычную тогда тему. Я не разделял крайностей народничества, но во многом был солидарен с Михайловским, и мне не

раз приходилось указывать марксистам на смешные стороны их увлечений.

Правительство, как всегда самонадеянное и слепое, по своему обыкновению, не находило лучшего средства борьбы с новым движением, как преследование и запреты. Оно закрыло последовательно два марксистских журнала. Но живая мысль находила часто неожиданные выходы. Одно время кружок марксистской молодежи сгруппировался около провинциальной газеты «Самарский вестник». Газета эта сразу привлекла внимание столичной молодежи. Ее можно было видеть в руках студентов и курсисток, ничего общего с Самарой не имевших. Я интересовался Поволжьем и читал другую самарскую газету, часто полемизировавшую с «Вестником». И мне случалось порой указывать моим столичным собеседникам на наивные крайности их провинциальных приверженцев.

Между прочим, однажды в разговоре с одним сотрудником этой газеты, посетившим меня в Петербурге, я высказал мысль, что газета имеет некоторый успех в петербургских кружках, но едва ли у марксизма есть почва в чисто крестьянской Самарской губернии.

— Жизнь,— говорил я,— сама ставит свои запросы газете. Вот теперь предстоят земские собрания. В земстве оживился вопрос о народном образовании. Ретроградские газеты «Гражданин», «Московские ведомости», даже «Новое время» оживленно заговорили о вреде полуобразования, а это предвещает поход против народной школы, так как, конечно, дать в народной школе «полное образование» невозможно. Лучшие земцы будут отстаивать расширение школьной сети. Консерваторы будут нападать на нее. Вы, конечно, будете на стороне ее защитников. Или вот теперь прогрессивные земцы подают петицию против усиления земских начальников и сословного преобладания дворянства. Можете ли вы высказаться по этому поводу иначе, чем другая, не марксистская, но передовая газета?

Так мы перебрали главнейшие вопросы, выдвигаемые самой жизнью в степном земледельческом крае, и выходило, что спорить не о чем, если иметь в виду реальные интересы населения.

Молодой человек уехал. Через некоторое время я встретил на улице Туган-Барановского. Увидев меня, он как-то сконфуженно замахал руками и сказал:

— Знаю, знаю, что вы скажете... Нет, мы за эту глупость ответственности не принимаем.

Я не сразу сообразил, в чем дело. Оказалось, что самарские молодые марксисты ухитрились-таки «соответственно программе» высказать вполне оригинальное мнение по такому элементарному вопросу, как народное образование. Так как крестьянство есть лишь мелкая сельская буржуазия, тормозящая прогресс страны в пролетарском направлении, так как просвещение усиливает этот мелкобуржуазный класс, то... газета более чем холодно высказалась о стремлении передовых земцев расширить сеть земских училищ. С крестьянской школой можно подождать, пока крестьянство пролетаризуется.

Это, конечно, тоже эпизод исключительный, и Туган-Барановский не напрасно слагал с себя ответственность за эту прямолинейность. Но иные глупости удивительно подчеркивают порой слабые стороны известного строя мыслей. Слабые стороны народничества всего скорее и ярче выступили в книге начинавшего сходить с ума Пругавина. Самарский анекдот с просвещением оттенил схематичность марксизма, слишком увлекавшегося теоретическими выкладками и забывшего о живых людях и наличных явлениях жизни.

Теперь этот спор с его крайностями уже позади, и можно видеть, в чем обе стороны были правы, в чем они ошибались. Марксизм указывал совершенно справедливо, что Россия не может оставаться страной исключительно земледельческой, что одно наделение землей не решает всех ее жизненных вопросов, что промышленность ее растет, фабрики и заводы множатся, зародился уже и растет рабочий класс со своими интересами, далеко не общими у него с крестьянством. И в этом росте нельзя видеть только отрицательное явление, как на это смотрели народники. Россия наряду с земледелием должна развить у себя и обрабатывающую промышленность. Притом марксисты верно подметили в этом явлении черту, близкую русской интеллигенции, задыхающейся в атмосфере бесправия. Проповедь свободы находит более легкий доступ в рабочую среду, чем в крестьянскую массу, загипнотизированную самодержавной легендой. Еще в период народничества рабочая среда выдвинула своих первых революционеров, как рабочий Петр Алексеев, судившийся по так называемому большому процессу, и другие. Эта же среда

первая насторожилась при отголосках борьбы, которая уже закипала в городах между отжившим самодержавным строем и бессильной без народной поддержки интеллигенцией.

А события, которые нам приходится переживать теперь, показывают ясно, в чем состояла своя доля правды в народничестве, оспаривавшем марксистские крайности. Мне вспоминается одно заседание Вольно-экономического общества, на котором Туган-Барановский выступил с докладом, доказывавшим, что Россия — страна промышленная в большей даже степени, чем, например, Англия; для этого он нарисовал кривые линии, изображавшие в процентах рост фабрик и заводов в европейских странах и у нас. Выходило, что нигде промышленность не растет так быстро: по некоторым отраслям число фабрик и заводов в некоторые годы у нас удваивалось, чего ни в одной европейской стране не бывало [1]. Зала, в которой лет десять назад Пругавин развивал свои восторженно народнические теории, теперь также была переполнена молодежью, встречавшей такими же восторженными рукоплесканиями положения марксистов. Помню, что Туган-Барановскому один из возражателей сделал совершенно справедливое замечание. Он сказал, что его выкладки, основанные на процентных отношениях, доказывают не силу, а, наоборот, незначительность нашей наличной промышленности. Он привел следующее остроумное соображение. Если в семье есть только один ребенок, то можно ждать, что через год детский прирост этой семьи достигнет 100 процентов, а если родятся двойни, то прирост будет 200 процентов. Но это совершенно невозможно там, где есть уже дюжина детей. В Европе и теперь промышленность растет в абсолютных цифрах быстрее нашей. Но если в производстве, где у нас было два-три завода, их станет шесть, то вот и возрастание на 100 процентов.

Это было и верно, и остроумно, но большинство молодых слушателей, восторженно встречавших каждое слово марксистов, этого даже не заметило. Перед этой молодой аудиторией, страстно жаждавшей, как и предыдущее поколение, свободы, открывались близкие и заманчивые перспективы. Растущая промышленность

---

[1] «Русская фабрика в прошлом и настоящем» М. И. Туган-Барановского, первое издание. В последующих изданиях этого ценного труда многие слишком прямолинейные выводы сглажены.

самым своим ростом раскует наши цепи. Это она освободила крестьян. Дореформенная фабрика требовала рабочих, и крепостное право пало, говорил один марксист. Развитие железных дорог не мирится с рабским трудом — и крепостное право пало, прибавлял другой (П. Б. Струве), которому тоже было сделано неожиданное замечание, что в то время, когда произошло освобождение крестьян, во всей России железных дорог было такое ничтожное количество (до 1861 года — 1491 верста), что по сравнению с ее пространством это не могло оказать никакого влияния на прогресс ее жизни... Великий акт освобождения, выдвинувший Россию из рабства, говорили народники, был результатом очень сложных причин, и, конечно, преобладающую роль среди них играли мотивы чисто крестьянского порядка. И еще долго наше будущее будет определяться интересом этого количественно преобладающего сословия.

Теперь, когда наша история идет такими трудными и безвестными путями, видно ясно, правы ли были марксисты, отводившие крестьянству чисто пассивную роль.

В аграрном вопросе марксизму пришлось сломать все свои схемы и выкладки, и долго еще перед Россией будет стоять завет Глеба Успенского: «Смотрите на мужика». На мужика такого, как он есть, со всей его темнотой и косностью, с его невежеством и предрассудками, с его грубыми нравами и... с таящимися в нем возможностями.

Однако вернемся к нашему повествованию.

VI

«СТУДЕНТ НА ДЕРЕВЕНСКОМ ГОРИЗОНТЕ»

Александр III мирно отошел к праотцам. Это был, кажется, самый неподвижный из Романовых, и к нему более, чем к кому-нибудь из них, можно было применить известную характеристику из драмы Алексея Толстого:

От юных лет напуганный крамолой,
Всю жизнь боялся мнимых смут
И подавил измученную землю.

Его отец ввел реформы и погиб трагической смертью. «Не двигайтесь, государь»,— говорили мудрые совет-

ники. Он не двинулся ни на шаг из своего заколдованного самодержавного круга и мирно почил в своем крымском дворце.

Пример этой противоположности между судьбой отца и деда послужил программой для нового царствования. Николай II сразу заявил в памятной речи, что всякие надежды на реформы являются «бессмысленными мечтаниями», и после этого самодержавие, казалось, застыло надолго и прочно. Все свелось на полицейскую борьбу с крамолой в городах. Что же касается деревенской России, то она казалась по-прежнему темной, неподвижной и покорной. И Николай II повторил слова о том, что деревне не следует надеяться на какие бы то ни было «прирезки».

И вдруг именно оттуда, со стороны деревни, раздался глухой подземный раскат в виде аграрного движения 1902 года.

Как же это произошло? В то время я жил в Полтаве и много об этом знаменательном явлении могу рассказать как наблюдатель-очевидец.

Начать приходится все-таки с центров. В столицах, а за ними в больших городах, происходили сильные и все возрастающие волнения молодежи. Против них применяли самые суровые меры. Потом попробовали действовать «сердечным попечением». Ничто не помогало. Молодежь волновалась, и отголоски этих волнений разлетались по всей России. О волнениях молодежи говорили на улицах, в поездах железных дорог, извозчики и рабочие, возвращаясь с отхожих промыслов из столицы, разносили вести о них до самых глухих, далеких углов провинции, порождая, в свою очередь, своеобразные легенды.

Одна из них, самая распространенная, показалась мне до такой степени характерной, что я тогда же записал ее в нескольких вариантах из разных мест. «В чем дело? Из-за чего это студент бунтует?» — спрашивал себя простой человек. Еще недавно у него было готово объяснение: господские дети недовольны, что царь освободил крестьян. Теперь говорили иное. Студент-бедняк учится из-за хлеба, чтобы получить казенное место. Но тут его встречает общая неправда: места раздают богатым, могущим дать взятку или имеющим связи.

«Веришь ты,— передавал мне один такой простец жалобу студента,— последнюю шинель проучил, все

места не дают. Даром что сто очков дам вперед тем, которые получают».— «Конечно, всюду бедному нет ходу»,— заключил рассказчик.

Таким образом, «бунтующий студент» являлся уже не помещичьим сыном, недовольным освобождением крестьян, а бедняком, протестующим против повсеместной неправды.

Городское рабочее население, в значительной степени затронутое марксистской пропагандой, уже давно перенесло свое сочувствие на сторону молодежи, и в крупных городах волнения рабочих и студентов выливались на улицу совместно. 2 февраля 1902 года произошли грандиозные демонстрации в Киеве. Рабочие и студенты запрудили улицы, выкидывали знамена («Долой самодержавие!») и вступали в драку с полицией и казаками.

«Студенческий мундир,— отметил я тогда в своей памятной книжке,— становится своего рода бытовым явлением наряду с рабочей блузой... Появился даже особый тип уличных «гаменов», веселая толпа подростков, из удальства и шалости шмыгающих между ногами казачьих лошадей с криками «Долой самодержавие!». Для них это только веселая игра, но... в этой игре начинает вырастать целое поколение...»

Деревня прислушивалась и недоумевала.

В это время приехала из Киева знакомая нашей семьи, простая, хотя довольно культурная девушка из казачьей деревенской семьи. Читала книги, жила у нас около года горничной. Ее брат служил в Киеве жандармом, и она была у него во время беспорядков. Но она ничего не могла сказать на вопросы о смысле того, что она видела в Киеве.

— Чего они хотят?

— Бог знает... Говорят, будто хочут, чтобы не было ни богатых, ни бедных, ни начальства... Я не знаю.

С этими неопределенными сведениями она и уехала в свою деревню... И такие вести привозили из городов тысячи деревенских жителей, доставляя деревне материал для создающейся новой легенды...

На это правительство обращало мало внимания. То, что творит или претворяет сама жизнь, казалось нашим «внутренним политикам» не заслуживающим внимания. Лишь бы ничего не проходило в деревню в виде прокламаций... Между тем возрастающая возня в городах должна была действовать и на деревню... деревне

тоже плохо, и, главное, нет надежды на лучшее. А тут, под боком, кто-то шумит и протестует против неправды... бедняк против богача, слабый против сильного. И во главе этого протеста стоят люди, называемые «студентами».

И вот фигура студента вырастает в легендарный образ, сплетающийся с царской легендой. Цари, по мнению мужика, всегда были за народ и за бедноту. Но по исторической случайности данный царь пошел против народа и против бедноты за господ. Студент узнал и почувствовал это первый... И в деревне явился интерес к студенту.

Около этого времени у меня отмечен следующий маленький эпизод: я ехал в Петербург, и со мной в вагоне ехал харьковский студент, возвращающийся из Миргорода, где он гостил у приятеля. Миргород, как известно, до последних годов представлял полугород-полудеревню. Студент был самый обыкновенный юноша, в аккуратном мундирчике и фуражке офицерского образца, с подвитыми усиками. Мне было ясно, что передо мной отнюдь не революционер, хотя стихийная волна уже втягивала его. Раз он уже был исключен, потом опять поступил. Как хороший товарищ, он «не мог уклониться от общего дела», но теперь старался усиленно доплыть до берега, то есть до диплома. Может быть, после этого и доплыл и состоял где-нибудь чиновником вполне приличным и благонамеренным... Дорогой он говорил мне:

— Да, знаете ли, странное теперь настроение в народе. Вышли мы с товарищем погулять по базару в праздник. Было нас человека четыре или пять в студенческой форме. Смотрим, на широкой немощеной миргородской площади толпа народа: парубки, девчата, солидные мужики. Все на нас усиленно смотрят... Нам стало неловко. Мы не знали, каково будет их отношение. Но когда мы поравнялись с толпой, из нее выступило несколько парубков, и один, сняв шляпу, сказал, указывая на нас: «Ось, дивиться люди добри... Це наши защитники идут...» Ужасно, знаете, неловко...

Я вспомнил астыревские прокламации и свою встречу у ветряка с их лукояновскими получателями и понял, что много воды утекло с тех пор. Правительство все так же удачно ловило крамольников и наполняло ими тюрьмы. Казалось, все осталось по-старому, но жизнь, не всегда доступная прямому полицейскому воздейст-

вию, сильно изменилась, как почва, незаметно размываемая невидимыми подземными водами.

Наконец легендарный «студент» проник и в тихую Полтаву, и здесь тоже начался «шум».

К тому времени Полтава оказалась переполненной высланной из столицы молодежью. Это было время, когда уже господствовало прямолинейное марксистское настроение. Народническое «доброхотство» сильно ослабело. Мужик объявлялся мелкой буржуазией... Эти различия в интеллигентской идеологии данного десятилетия для деревни, конечно, не существовали, но они существовали для начальства: марксистскую молодежь мудрец Плеве решил ссылать в центр хлебородного края. В Полтаве очутилась масса поднадзорных. Тут были и исключенные студенты, и бывшие ссыльные, и рабочие, «лишенные столицы», и мужики, и девушки-курсистки.

Народ этот жался, точно в тесном углу, искал и не всегда находил работу, озлоблялся, нервничал, искал повода для демонстрации в тихом городе. Наконец повод нашелся. Около этого времени Л. Н. Толстой был отлучен от церкви. Газеты были полны любопытной полемикой между графиней и Синодом. Раздраженная бестактными выходками Синода графиня вызвала его главу (митрополита Антония) на газетную полемику, которая уже сама по себе представляла курьезный «соблазн»... Об отлучении говорила вся Россия. И вот 5 февраля, во время представления в Полтаве «Власти тьмы», перед вторым действием, когда на сцене и в зале устраивается полутьма, вдруг сверху посыпались летучие лепестки с портретами Толстого и с надписью: «Да здравствует отлученный от церкви борец за правду!» (что-то в этом роде. Я листков не видал). Публика сначала приняла это за обычную театральную овацию и стала разбирать листки. Но тут кто-то бухнул еще пачку прокламаций.

Мне говорили, что это было уже сверхсметное добавление, отнюдь не входившее в первоначальную программу и даже прямо противное ей. Говорят, самая прокламация была сляпана довольно нелепо и устроено было это прибавление так неумело, что полиция сразу захватила всю пачку.

Казалось, этот театральный эпизод нимало не относился к деревне и ни в каком смысле не может заинтересовать ее. Но вышло иначе.

Полиция не могла не ответить на него по-своему. Начальство обдумало «план кампании», и в одну из ближайших ночей полиция и жандармы нагрянули сразу на множество квартир, произвели обыски и арестовали сразу 44 человека. Разумеется, действовали на основании привычной формулы «после разберемся» и набрали массу людей, совершенно непричастных. Арестовали в том числе молоденькую гимназистку, которую везли уже днем. Вид этого полуребенка среди жандармов обращал внимание и вызывал недвусмысленное сочувствие уличной толпы...

В числе арестованных оказался один молодой человек, высланный студент Михаил Григорьевич Васильевский. Это был очень симпатичный и миловидный юноша с тем обманчиво цветущим видом, какой бывает у людей с сильным пороком сердца. Он иногда проводил целые ночи без сна, на ногах, томясь и задыхаясь. Многие знали его, питая участие к угасающей молодой жизни, и его грубый арест вызвал общее возмущение. Васильевский, как все сердечные больные, был очень нервен, и притом нервен заразительно. После ареста он сразу объявил голодовку. К нему примкнули другие товарищи... В арестантских ротах начались волнения политических...

Весь город кипел необычным для того времени участием и волнением. Все говорили о массовых арестах и о беспорядках. Здание арестантских рот помещается против большой и людной Сенной площади, привлекающей много приезжающих из деревень... Политические сидели в верхнем этаже, и толпе было видно, как в камерах вдруг зазвенели разбиваемые стекла и появился какой-то плакат с надписью: «Свобода». Потом в здании за оградой послышался шум, спешно подошли вызванные войска. Оказалось, что, когда политических пытались перевести вниз, они оказали сопротивление. Крики женщин взволновали уголовных арестантов. Они подумали, что политических избивают, подхватили инструменты из мастерской и кинулись на помощь. Могла выйти страшная бойня, и политическим пришлось уговаривать уголовных, чтобы избежать кровопролития.

Потом бедняги сильно пострадали. Явились высшие власти: над уголовными производились жестокие экзекуции...

Под влиянием этих событий город волновался. Приходившая с базара прислуга с необычайным участием

рассказывала о происшествиях, о барышнях, которых провозят жандармы, о больном юноше, о том, что в тюрьме избивают... «На базаре аж кипит»,— прибавляли рассказчицы. Базарная толпа теснилась к тюрьме. Меня тогда поражала небывалая до тех пор восприимчивость этой толпы, и я думал о том, какие новые толки повезут отсюда на хутора и в деревни эти тяжелодумные люди в смазных чеботах и свитках, разъезжая по шляхам и дорогам...

И опять мне вспомнился 1891 год, земля под снегом, каркающие вороны и покорная кучка мужиков, несших к становому прокламацию «мужицких доброхотов»... Здесь было уже не то: над тихой Полтавой, центром земледельческого края, грянуло известие:

— У Полтаві объявилися студенты...

Известие это передавалось различно и вызывало различное отношение, главное содержание которого была грамота...

Студенты... Те самые, что в Киеве и Харькове дерутся с полицией наряду с рабочими, те самые, что хотят, чтобы «не было ни богатых, ни бедных»... Их посылает царь... Нет, они идут против царя, потому что царь перекинулся на сторону господ. Легендарная, мистическая фигура появилась во весь рост на народном горизонте, вызывая вопросы, объяснения, тревогу. Не могу забыть, с каким чувством суеверного ужаса зажиточная деревенская казачка из-под Полтавы рассказывала при мне о том, как какая-то компания студентов взошла на Шведскую могилу.

— Увійшли на могилу, тай дивляться на усі стороны...

— Ну, и что же дальше?— спросил я.

Дальше не было ничего. Казачка, видимо, была встревожена и не ждала ничего хорошего от того, что таинственные студенты с высокой Шведской могилы осматривали тихие до тех пор поля, хутора и деревни. Казаки — самая консервативная часть деревенского населения Украины. В неказачьей части этого населения таинственные студенты порождали сочувствие и надежды... С именем студента связывалось всякое недовольство и протест, и, когда в селе Павловке (Харьковской губ.) произошли памятные штундистские беспорядки, то при мне в Сумах подсудимых по этому делу (простых сектантов-селян) тоже называли студентами.

Таким образом, та самая сила, из которой самодержавие рекрутировало новые кадры своих слуг, от которой по нормальному порядку вещей должно ждать обновления и освежения,— становилась символом борьбы с существующим строем и его разрушения... Но самодержавие имело очи, еже не увидети, и уши, еже не слышати... Оно могло изловить и заточить каждого крамольника в отдельности и не видело страшной крамолы, исходившей от его приверженцев...

Крамола эта называлась: застой и омертвение государства.

VII

ПРОКЛАМАЦИИ В 1902 ГОДУ

Это было ровно через десять лет после астыревских прокламаций и моей дорожной встречи, описанной в первой главе, когда в нашем тихом землеробном краю тоже появились прокламации. И опять это было весной.

По шляхам, начинавшим просыхать после довольно суровой бесснежной зимы, ранним утром проезжающие на базар мужики увидели разбросанные там и сям листочки. Чтобы их не уносило ветром, кто-то старательно придавливал их камешками или грудой земли. Бумажки кидались в глаза. Мужики останавливали возы, медлительно сходили с них, подымали листочки, прочитывали, если попадались грамотные, или увозили с собой для прочтения.

Характерно. От Петра Павловича Старицкого, старого земца, председателя уездной земской управы, я слышал (со слов исправника), что ни одного экземпляра долгое время не было доставлено в полицию... Пришлось употребить особые меры, чтобы добыть таинственный листок. Как-то в уездную управу пришел довольно богатый казак, землевладелец Полтавского уезда из-под деревни Лисичьей, где, как говорили, появилось особенно много прокламаций. Он рассказал П. П. Старицкому, что исправник по приятельству просил его достать для него хоть одну прокламацию. Казак был человек популярный, «благодетель» деревни, дававший деньги в рост, снабжавший в долг семенами и землей в аренду. Одним словом, человек из того слоя, который в то время был так близок властям и силен в деревне. Желая услужить начальству, он призвал одно-

го из своих клиентов, у которого, как он знал, наверное был листок. Но тот ответил решительно, что у него «тої бумаги немае»...

— Ну, як у вас для мене нема бумажки, то у мене для вас нема ни земли, ни зерна... ничогисенько...

Под таким ощутительным давлением бумажка нашлась. В ней говорилось о земле.

Стали, разумеется, искать корней и нитей. В Лисичьей жил, между прочим, поднадзорный студент Алексенко. Казак, не называя прямо, намекал все-таки, что молва считает его центром этой агитации, как, вероятно, в других местах считались центрами другие поднадзорные. У Алексенко произвели обыск. Но когда захотели произвести и у его знакомых молодых крестьян, то мужики, говорят, заволновались, не дали понятых, не позволили сотским идти с полицией.

Через несколько дней ко мне явился и сам Алексенко.

Это оказался юноша небольшого роста, смирного вида, с нервным лицом и большими, печальными, как будто испуганными глазами. Слухи о его важной роли, очевидно, его обеспокоили. Зная, что я жил тогда в доме председателя управы Старицкого, он просил узнать у него, что именно говорил ему казак из-под Лисичьей. Я спросил его откровенно и «между нами» — было ли что-нибудь в этом роде с его стороны? Он ответил (и я уверен, с полною искренностью), что никаких прокламаций не разбрасывал и не передавал, и все его отношения с деревенскими сверстниками, с которыми он рос в деревне, ограничивались дружеским знакомством с чтением легальных книг.

Тем не менее его вскоре арестовали, и его фигура, по разным сторонним рассказам, вскоре выросла до сказочных размеров могущественного агитатора, державшего в руках всю округу...

Мне наконец удалось достать один экземпляр прокламации. Это оказался простой перевод одной из прокламаций к рабочим, не особенно даже приспособленный к деревне. В ней говорилось, что царь окружен господами и что народу необходима свобода собраний и слова для обсуждения своих нужд. Составители, очевидно, не придавали листку значения прямого призыва, а только, как когда-то я и Астырев, пытались возбудить в народе интерес к борьбе за политическую свободу.

Кстати, и годы были тяжелые. Были сильные неурожаи. В моей записной книжке отмечено между прочим: «Продовольствие изъято из ведения земства, а земские начальники ведут его прямо по-лукояновски... Передают о случаях поразительной небрежности... Народ не видит выхода вообще, а тут еще тяжелая и малообещающая весна».

Трудно определить, какую именно роль играли в дальнейшем прокламации. Характерна, во всяком случае, необыкновенная восприимчивость к ним. Газеты того времени отмечали появление разных толков и слухов, под влиянием которых в некоторых местах составлялись даже постановления сходов, касающиеся земли и необходимости наделения ею. С одним таким газетным известием из Воронежской губернии в памяти моей связывается характерный эпизод.

Я проезжал через Харьков, и с вокзала вез меня престарелый извозчик, как раз из Воронежской губернии. Это был совершенно седой старец, суровый деревенский консерватор, или, как их впоследствии называли, «черносотенец». Дорогой он рассказывал мне о том, как в Харькове «безобразят студенты». Это было вскоре после одной из манифестаций: студенты и рабочие вышли на улицу, побили (по установленной традиции) окна в редакции газеты Юзефовича, казаки ходили в атаку с нагайками и т. д. Старик негодовал на студентов и рабочих и с большим злорадством передавал отзыв каких-то офицеров, обещавших скорую расправу с «этими сволочами». Мне стало любопытно, что он скажет о требованиях деревни, и я прочел ему краткую выдержку о постановлениях крестьян Воронежской губернии. Действие этого известия оказалось прямо поразительным. Старец повернулся ко мне на своих козлах и, нимало не осуждая деревенской крамолы, спросил только с необыкновенным захватом:

— А скажи, пожалуйста, может ли это ихнее постановление действовать?..

И потом долго говорил про себя что-то, из чего я понял только, что деревенское верноподданничество грозит в земельном вопросе не меньшими осложнениями, чем деревенский радикализм. Они могут различно относиться к студенту, но к земле относятся одинаково.

VIII

«ГРАБИЖКА»

2 апреля 1902 года я занес в свою записную книжку следующее:

«В то время, когда я пишу эти строки, мимо моей квартиры едут казаки, поют и свищут. Идут, точно в поход, и даже сзади везут походную кухню, которая дымит за отрядом... Полтава теперь является центром усмиряемого края, охваченного широким аграрным движением».

Бунтом этого назвать было нельзя. Бунта, в смысле какого бы то ни было открытого столкновения с войсками, даже с полицией, или противодействия властям, нигде не было. В том углу, где у Ворсклы сходятся четыре уезда (Валковский и Богодуховский Харьковской губернии, Полтавский и Константиноградский — Полтавской), внезапно, как эпидемия или пожар, вспыхнуло своеобразное и чрезвычайно заразительное движение, перекидывавшееся от деревни к деревне, от экономии к экономии, точно огонь по стогам соломы. Пронесся слух, будто велено (кем велено — в точности неизвестно) отбирать у господ землю и имущество и отдавать мужикам. Приходили в помещичьи экономии, объявляя об указе, отбирали ключи, брали зерно, кое-где уводили скот, расхищали имущество. Насилий было мало, общего плана совсем не было. Была лишь какая-то лихорадочная торопливость... Вскоре, впрочем, выяснилась некоторая общая идея: бывшие помещичьи крестьяне шли против бывших господ. Случалось, мужики защищали экономии от разгрома, но не из преданности господам или чувства законности, а потому, что громить приходили «чужие», тогда как это были «наши паны». При этом исчезало различие между богатыми и бедными крестьянами. В общем отмечали даже, что начинали по большей части деревенские богачи. И как только это начиналось, по дорогам к экономиям валил народ на убогих клячонках, запряженных в большие возы, на волах, а то и просто пешком, с мешками за спиной. Брали торопливо, что кому доставалось. Богачи увозили нагруженные возы, бедняки уносили мешки и тотчас же бежали опять за новой добычей...

Потом, разумеется, началась расправа. Приходило начальство, объявляло, что никакого указа не было, на-

поминало о «неизменной царской воле» и, конечно, тотчас же принималось сечь. Мужики встречали начальство смиренно, по большей части на коленях. Коленопреклоненных брали по вдохновению или по указанию «сведущих людей», растягивали на земле и жестоко пороли нагайками. Секли стариков и молодых, богатых и бедных, мужчин и женщин. Таким образом, по старой самодержавной традиции, восстановлялось уважение к закону...

В Полтавской губернии тогда губернатором был Бельгард, до тех пор ничем не выделявшийся и довольно безличный. Харьковской губернией правил князь Оболенский, прежде екатеринославский губернатор, фигура довольно яркая. О нем много писали в связи с его войной с земством и отрицанием голода (к которому он относился чисто по-лукояновски). Оба губернатора — тусклый и яркий — действовали как будто одинаково: приходили, сгоняли мужиков, растягивали на земле, секли... Только Бельгард, как человек «с добрым сердцем», при сечении, как говорили, проливал слезы. Оболенский никакой чувствительности не проявил и выступил в поход так бодро, что в Харькове шутили, будто у него на ходу «играла даже селезенка». Сразу же, только сошедши с поезда, кажется, в Люботине, по дороге в какую-то экономию, он встретил мужика с нагруженным возом. Не входя в дальние разбирательства, он приказал сопровождавшим его казакам растянуть мужика и «всыпать». Баба кинулась к мужику. Тут же растянули и бабу...

Вскоре после этого в нашу местность приехал министр Плеве. Он отказался остановиться в губернаторском доме и прожил день или два в вагоне у Южного вокзала. В любой конституционной стране в таких обстоятельствах не удовольствовались бы судом, а непременно произвели бы исследование, которое выяснило бы глубокие причины явления. У нас «исследование» министра Плеве на месте не имело других результатов, кроме того, что чувствительный Бельгард получил отставку, до такой степени неожиданную, что узнал об ней только из телеграммы своего заместителя, князя Урусова. Оболенский, наоборот, получил поощрение... Очевидно, «внезапное обострение аграрного вопроса» привело высшую правительственную власть к одному только выводу: старое средство — порка — признается

целесообразным и достаточным. Но пороть следует без излишней чувствительности...

Движение стихло так же быстро, как и возникло, как легко вспыхивающая и так же легко потухающая солома...

Все очевидцы показывали согласно, что при появлении военной силы все покорялось, и награбленное возвращалось собственникам. Очевидно, порка не была средством усмирения, а являлась скорее прямым наказанием...

Среди бытовых эпизодов этого движения мне особенно запомнился следующий. Управляющий крупных кочубеевских имений, разбросанных в нескольких губерниях, В. А. Муромцев, бывший петровец, человек умный, установивший с населением хорошие отношения и, главное, не потерявший головы и сохранивший полное спокойствие во время этих и последующих событий, рассказывал мне:

— Вы знаете, у нас, кроме центральной экономии в Полтавской губернии, есть еще другие, находящиеся в заведовании отдельных управляющих. Одна из таких экономий находится в Екатеринославской губернии. Движение в этой губернии не достигло таких крупных размеров и таких резких форм. Оно лишь назревало, но не разыгралось прямыми беспорядками. Так случилось, между прочим, и в той экономии, о которой я говорю. Заведовал ею управляющий-швейцарец, давно прижившийся у нас, человек умный и справедливый. Мужики чувствовали, что он честно исполняет свои обязанности по отношению к владельцу, но не пользуется случаем прижать мужика, использовать его трудное положение, выжать лишнее. К нему относились поэтому хорошо.

Но вот и туда долетели слухи об «указе». Брожение сказалось сразу же предъявлением разных небывалых требований. Как яркий пример рассказчик привел следующий эпизод. Является к нему старый пастух и предъявляет претензии на... восемнадцать пар сапогов. История этого требования такова: старик служил в экономии с незапамятных времен. В прежние годы он получал жалованье натурой: столько-то зерна, столько-то картофеля и... ежегодно «пару чобіт» от экономии... Восемнадцать лет назад, кажется, по инициативе этого же управляющего жалованье натурой было переведено на деньги на условиях, выгодных для рабочих. Но теперь вдруг старый пастух нашел, что неполучение сапог

ему обидно и что ему следует стребовать все восемнадцать пар...

Старик был человек солидный, добросовестный, его ценили в экономии, и он, в сущности, не мечтал ни о чем больше. Управляющий призвал его и стал «балакать» с ним просто, по душе. Через короткое время старик махнул рукой... Оказалось, что он уступал общественному мнению: для чего-то нужно, чтобы мужики предъявляли как можно больше требований, и только тогда они «получат права».

Однажды обширный экономический двор оказался заполненным окрестными мужиками. Вызвали управляющего и объявили об указе: делить помещичью землю.

— Я еще не получал такого указа,— ответил тот.

— Все равно скоро получишь. Надо, чтобы к тому времени все было готово. Давай усчитаем всю панскую землю. Она теперь будет наша.

Умный швейцарец не противился. Мужики за это решили допустить к разделу и его. Вынесли столы, разложили на них планы, стали считать. Впереди стояли «богатыри», беднота жалась подальше. Все были потомки бывших крепостных, и все проявляли огромный интерес к учету земли. Но как ни считали, припоминая каждый клин и каждое урочище,— оказывалось, что по разделу земли на всех очень мало. «Громаду» охватило раздумье и разочарование: от раздела одной помещичьей земли богаче не станешь. А в это время кто-то обратил внимание на одного из коноводов — деревенского богача, который стоял впереди и принимал в расчетах самое деятельное участие.

— Как же это,— сказал этот кто-то.— Вот тут людям не хватит и по полдесятины. А у вас же, дядьку, своей земли сотни полторы десятин.

Заявление подействовало, как разорвавшаяся бомба... Поднялись пылкие споры. Богачи доказывали, что они такие же внуки «крепаков» и имеют поэтому право на долю в разделе. Беднота кричала о своей нужде. Закипела рознь, и вскоре экономический двор опустел. Так в том месте не было ни «грабижки», ни усмирения. Как будто деревня остановилась в раздумье.

Этот рассказ часто вспоминался мне впоследствии, когда я думал о том, почему в 1905 году накипавшее было народное движение стихло и еще так долго деревня поставляла правительству покорных депутатов, под-

державших думский консерватизм. Деревня тогда еще не расслоилась. В ней первую роль играл еще попрежнему деревенский богач, выступавший всюду ее официальным представителем. Он же нередко руководил и «грабижкой». Но деревня уже почуяла близкую рознь, назревшую в ней, и сама испугалась последствий.

Об этом, впрочем, мне придется говорить еще далее.

IX

СУД И ЗАКОН

Разумеется, «грабижка» было движение в высокой степени бессмысленное. Но ведь вопиющее бессмыслие было неразлучно с каждым шагом в этом больном вопросе русской жизни как со стороны массы, так и со стороны правящих классов.

Участников «грабижки» пришлось предать суду, чтобы внушить массе идею о «карающем законе». Но при этом самый закон оказался в очень затруднительном, двусмысленном положении. Одна из основных истин уголовной юстиции состоит в том, что никто не может нести дважды наказание за одно и то же преступление. А гг. губернаторы, предавая жестокой порке коленопреклоненных крестьян, несомненно, совершали действие, которое иначе как наказанием назвать нельзя. Таким образом, суд для «водворения идеи права» должен был прежде всего перешагнуть через явное бесправие.

К сожалению, русский суд того времени не привык останавливаться перед такими «небольшими затруднениями». Неудобство состояло лишь в том, что защита тотчас же принялась выяснять настоящий характер административных действий. Энергичные председатели стали останавливать защитников и лишать их слова. Тогда защитники отказывались от защиты, заносили в протоколы мотивы протеста и демонстративно оставляли зал заседаний, который таким образом становился ареной бурных и скандальных для правосудия эпизодов.

При таких условиях открывалась судебная сессия и в Полтаве. Мне лично пришлось при этом играть некоторую косвенную роль. Дело в том, что отголоски некоторой моей литературной известности проникли к то-

му времени в местную крестьянскую среду, хотя и в довольно своеобразном виде. Меня почему-то считали теперь адвокатом, и ко мне стали приходить кучки крестьян, прося защиты. С другой стороны, кружок адвокатов, как местных, так и столичных, организуя защиту на широких началах и зная, с каким интересом я отношусь к местным делам, счел удобным назначить мою квартиру местом для обсуждения вопросов, связанных с защитой. Было важно, чтобы крестьяне не попали к «ходатаям», уже раскидывавшим свои сети, и то обстоятельство, что мужики направлялись массами ко мне, делало удобным мое посредничество.

Одним из первых в этом адвокатском совещании был поставлен вопрос: какой линии поведения держаться защите? Было известно, что общая инструкция председателям уже последовала, и на выяснение вопроса о характере «административных воздействий» было наложено запрещение. Продолжать ли при этом условии защиту каждого подсудимого по существу или ограничиться общим протестом и демонстративным уходом защитников? Мнения разделились. В общем — столичная адвокатура в большинстве стояла за протест. Местные адвокаты смотрели иначе... Возникли прения. При этом обратились к моему мнению. Для меня не было ни малейшего сомнения, что огромное большинство подсудимых крестьян желает защиты по существу, и я сказал, что, на мой взгляд, желание самих подсудимых играет здесь решающую роль. Эта точка зрения была принята. После этого кое-кто из столичных адвокатов охладел к делу, а мне было предоставлено направлять мужиков, ищущих защиты, к представителям местного кружка защитников, который уже распределял клиентов между участниками.

В эти дни моя передняя, кухня и кабинет густо наполнялись мужиками. Интересуясь характером движения, я опрашивал их, записывая наиболее характерные эпизоды, и давал записочки к Е. И. Сияльскому и другим местным адвокатам. Таким образом, в Полтаве бурных сцен в суде не было. Защитники ограничивались протокольным протестом против стеснения судебного следствия, но защиту продолжали. Может быть, это отразилось отчасти на смягчении судейского настроения, и приговоры получались сравнительно мягкие. Многие подсудимые были довольно неожиданно оправданы...

X

«ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЫ ХЛОПОЧЕТЕ?»

После суда некоторые из крестьян, благодарные за оправдание, стали приходить ко мне с предложением вознаграждения. Сначала предлагали деньги. Когда я отказывался, то говорили:

— Може, хоть мишок пшеницы або картофельки...

Когда я от этого отказался, это вызвало недоумение.

— Что ж, у вас есть своя земелька на селі? Нема? Ну, може, дом у городі? И того нема?.. Так чім же вы кормитесь? Из-за чего хлопочете?

— Я писатель... Пишу книги...

— Та чи ж можно этим кормиться?— спрашивали они с недоумением и недоверием...

Наученный горьким опытом деревенский житель плохо верил в бескорыстные услуги. Настойчивые расспросы их заставили и меня задуматься. Из-за чего я хлопочу в самом деле и действительно ли хлопочу бескорыстно? Почему меня, интеллигентного городского человека, так занимает эта нелепая «грабижка» и участь ее виновников, что я трачу на них столько времени и настроения?

Я давно уже чувствовал некоторое нерасположение к обычным рассказам о бескорыстном «доброхотстве» интеллигенции. В этих внушениях мужику и в его недоверии чувствовалось что-то унизительное. Теперь я попробовал поставить вопрос прямее и реальнее, в более понятной для моих собеседников форме.

Я взял с полки книжку «Русского богатства», показал на обложке свою фамилию, надпись: «Цена 8 рублей», объяснил, что такое журнал и что значит подписка. Потом показал свою книгу «В голодный год» и на ней цену «1 рубль»... Таким образом я объяснил, «чем я кормлюсь».

— Вот и о вашем деле в журналах и газетах уже написано. Люди верят, что мы пишем правду о том, что делается на свете, и покупают наши книжки. А мы, писатели, этим живем и, как видите, живем не хуже вашего.

Это сразу выяснило дело и вполне определило наши отношения. Несколько человек после этого стали посещать меня для беседы. Когда же они прочитали мой «Голодный год», наши отношения приняли совершенно дружеский характер. Они поняли, чем я кормлюсь,

и поняли также, что литература часто идет в пользу, а не во вред ихним интересам. Им стало до известной степени понятно также, из-за чего я хлопочу, почему нам, интеллигентным людям, нужна законность и свобода и почему мы возмущаемся произволом и насилием. Им нужна земля, нам нужна свобода... Мы стараемся доказать, что свобода нужна и им.

Помню особенно троих из тогдашних моих посетителей. Один был солидный мужик средних лет, сравнительно зажиточный, хотя и малоземельный. Два другие — деревенские пролетарии. Когда стена недоверия, отделявшая нас вначале, разрушилась, они рассказали мне много интересного. Прежде всего сообщили, что прислал их ко мне «панич». «Какой панич?» — «Та помещик...» — «Которого вы грабили?» — «А вже ж... Панич, ничего сказать, добрый... «Бижить, каже, швидче до городу та спытайте такого-то чоловіка». Ты він, бачьте, той панич, и сам студент...»

Установилась взаимная откровенность. В первые дни знакомства на мой вопрос, читали ли они прокламации, мужики отвечали неизменно: «Та мы ж неграмотни...» Но теперь они цитировали чуть ли не страницы из книжечки «Дід Евмен» (кажется, так. Это был перевод старой брошюрки 70-х годов «Хитрая механика»). На мое замечание, что «вот вы же мне говорили, что неграмотны», мужики хитро усмехнулись. «Були таки, що прочитали нам». Они соглашались, что «грабижка» было дело нелепое и нехорошее, но самый солидный из них сказал в заключение:

— Хай воно и так... Та бачьте: як дитына не плаче, то и маты не баче...

Кто это мать, которая должна услышать? Для многих это был по-прежнему царь, и его внимание деревня надеялась привлечь своей вспышкой... Но за царем теперь чуялось для некоторых еще что-то... Рождалась идея о какой-то еще силе, смутно понимаемой, неопределенной, но уже зарисовавшейся на горизонте... Деревня стучалась в таинственную дверь в надежде, что ее услышит кто-то, грядущий в жизнь... Это был грозный симптом, но самодержавие «имело очи, еже не видети, и уши, еже не слышати». Меня тогда же поразило упорство, с каким эти крестьяне настаивали на необходимости «поравнять богатых и бедных». Они соглашались,что это чрезвычайно трудно. Это им показала самая «грабижка».

— И с грабижки богатый везет панское добро возами, а бедный тащится пешком с мешочком... Но все-таки,— упрямо заканчивали они,— и пусть хоть Христос сойдет с неба, а поравнять нужно.

Они охотно выслушивали мои возражения. Мы как будто понимали друг друга. В мое расположение к ним они теперь верили, понимали, в чем состоит наш интеллигентский интерес к свободе и почему мы хотели бы видеть в них союзников для ее достижения. Я пытался выяснить, как в общем мы понимаем земельную реформу. Дело это трудное, требует напряжения всех государственных сил на почве свободы. В «грабижке» же мы им не союзники, и если я и адвокаты содействуем теперь их защите, то лишь потому, что возмущаемся беззаконным насилием и стеснением свободы в обсуждении и постановке земельного вопроса.

Некоторое время они еще посещали меня, приходя для разговоров. Затем я уехал в Петербург, потом переменил квартиру, и мы потеряли друг друга из виду...

XI

РАЗГОВОР С ТОЛСТЫМ. МАКСИМАЛИЗМ И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

В том же 1902 году мне пришлось побывать в Крыму, и я не упустил случая посетить Толстого, который лежал тогда больной в Гаспре. Чехов и Елпатьевский, оба писателя и оба врача, часто посещали Толстого и рассказывали много любопытного об его настроении.

Чувствую, что мне будет нелегко сделать последующее вполне понятным для моих читателей из народа. Толстой в одной черте своего характера отразил с замечательной отчетливостью основную разницу в душевном строе интеллигентных людей и народа, особенно крестьянства.

Сам великий художник, создавший гениальные произведения мирового значения, переведенные на все языки, он лично, как человек, легко заражался чужими настроениями, которые могли овладеть его воображением.

Это вообще наша черта, черта интеллигентных людей. Жизнь намеревается сделать из нас по окончании образования помещиков, или чиновников, или инжене-

ров, вообще людей, служащих известному строю. Но самый этот строй стоит в слишком разительном противоречии с тем, что порождает в душах честная и просвещенная мысль. От этого у нас сын помещика нередко отрицает право частной собственности на землю, а сын чиновника презирает и ненавидит чиновничество. Отсюда же постоянный разлад между мыслью и жизнью. Мысль — это начало действия, и она влечет молодежь в одну сторону, а жизнь и практические требования выгоды — в другую. В большинстве случаев жизнь берет свое, и, пройдя бурный период молодых увлечений, большинство образованных молодых людей вступает на торную дорогу и понемногу свыкается с ней. Но в душе, как лучшие воспоминания, навсегда остается след молодых, наивных, полных неопытности, но светлых и бескорыстных неклассовых «ошибок юности».

Толстой в высокой степени умел отражать в своих произведениях эту черту интеллигентной души, ищущей правды среди сознанной неправды жизни. Пьер Безухов в «Войне и мире», Левин в «Анне Карениной», много других лиц в разных рассказах — это все люди мятущиеся, чувствующие душевный разлад, ищущие правды и, как сам Толстой, тоскующие о душевном строе, цельном и без разлада между мыслью и делом. Такой душевный строй мы называем «непосредственностью». У Толстого вся жизнь была тоска о непосредственности.

Такого разлада не знает простой народ. Он жил века в угнетении, долго «все терпел во имя Христа», трудился и надеялся, совсем не задумываясь над причинами общественного неустройства, все приписывал судьбе. Толстой всегда завидовал этому душевному состоянию простых людей. Еще в молодости он преклонялся перед иными крестьянами до такой степени, что одно время старался подражать работнику Юфану даже в движениях. Потом, уже став великим писателем, угадывал и заражался настроением простых душ. В «Войне и мире» он изобразил солдатика Каратаева, который совсем не умеет выразить своих мыслей, но который казался ему воплощением глубокой мудрости. Толстой успел внушить это свое преклонение перед народной непосредственностью читателям и критикам, и одно время «каратаевщина» служила выражением глубокой народной мудрости. То же нужно сказать об Акиме в «Власти тьмы», который не может вылущить своей

мысли из корявой оболочки: «тае, тае», но устами которого тоже говорит высшая мудрость народа.

Эта способность заражаться народными настроениями определила крупнейшие повороты во взглядах самого Толстого. В «Войне и мире», изучая историю Отечественной войны, он проникся настроением борьбы за отечество до такой степени, что почти оправдывал убийство партизанами пленных. Потом его стала привлекать смиренная народная вера, и от нее он перешел к первобытному христианству. Отсюда его теория о непротивлении. Нельзя противиться злу насилием, хотя бы даже дикари зулусы начали убивать и резать нас, насиловать женщин, избивать детей. Лучше погибать, чем защищаться силой. Теперь, когда в России происходили события, выдвигавшие предчувствие непосредственных массовых настроений, мне было чрезвычайно интересно подметить и новые уклоны этой великой души, тоскующей о правде жизни. В нем, несомненно, зарождалось опять новое. Чехов и Елпатьевский рассказывали мне между прочим, что Толстой проявляет огромный интерес к эпизодам террора. А тогда отчаянное сопротивление кучки интеллигенции, лишенной массовой поддержки, могущественному еще правительству принимало характер захватывающей и страстной борьбы. Недавно убили министра внутренних дел Сипягина. Произошло покушение на Лауница. Террористы с удивительным самоотвержением шли на убийство и на верную смерть. Русская интеллигенция, по большей части люди, которым уже самое образование давало привилегированное положение, как ослепленный филистимлянами Самсон, сотрясали здание, которое должно было обрушиться и на их голову. В этой борьбе проявилось много настроения, и оно, в свою очередь, начинало заражать Толстого. Чехов и Елпатьевский рассказывали мне, что когда ему передали о последнем покушении на Лауница, то он сделал нетерпеливое движение и сказал с досадой:

— И, наверное, опять промахнулся.

Я привез много свежих известий. Я был в Петербурге во время убийства Сипягина и рассказал между прочим отзыв одного встреченного мною сектанта — простого человека:

— Оно, конечно, убивать грех... Но и осуждать этого человека мы не можем.

— Почему же это?— спросил я.

— Да ты, верно, читал в газете, что он подал министру бумагу в запечатанном конверте?

— Ну так что же?

— А мы не можем знать, что в ней написано... Министру, брат, легко так обидеть человека, что и не замолишь этой обиды. Нет, уже, видно, не нам судить: Бог их рассудит.

Толстой лежал в постели с закрытыми глазами. Тут его глаза раскрылись, и он сказал:

— Да, это правда... Я вот тоже понимаю, что как будто и есть за что осудить террористов... Ну, вы мои взгляды знаете... И все-таки...

Он опять закрыл глаза и несколько времени лежал, задумавшись. Потом глаза опять раскрылись, взгляд сверкнул острым огоньком из-под нависших бровей, и он сказал:

— И все-таки не могу не сказать: это целесообразно.

Я был к этому отчасти подготовлен. В письме, которое Толстой послал Николаю II, уже заметна была перемена настроения: советы, которые он дает Николаю II, проникнуты уже не отвлеченным христианским анархизмом, а известной государственностью и необходимостью уступок движению.

Но все-таки я удивился этому полуодобрению террористических убийств, казалось бы, чуждых Толстому. Когда же я перешел к рассказам о «грабижке», то Толстой сказал уже с видимым полным одобрением:

— И молодцы.

Я спросил:

— С какой точки зрения вы считаете это правильным, Лев Николаевич?

— Мужик берется прямо за то, что для него всего важнее. А вы разве думаете иначе?

Я думал иначе и попытался изложить свою точку зрения. Я никогда не был ни террористом, ни непротивленцем. На все явления общественной жизни я привык смотреть не только с точки зрения целей, к которым стремятся те или другие общественные партии, но с точки зрения тех средств, которые они считают пригодными для их достижения. Очень часто самые благие конечные намерения приводят общество к противоположным результатам, тогда как правильные средства дают порой больше, чем от них первоначально ожидалось. Эта точка зрения прямо противоположна максимализму, который считается только с конечными целя-

ми, а Толстой рассуждал именно как максималист. Справедливо и нравственно, чтобы земля принадлежала трудящимся. Народ выразил этот взгляд, а какими средствами — для Толстого-непротивленца, отрицающего даже физическую защиту, все равно. У него была вера старых народников: у народа готова идея нормального общественного уклада. Марксисты держались такого же взгляда, только для них носителями этого лучшего будущего являлся городской пролетариат.

Лично я давно отрешился от этого двустороннего классового идолопоклонства. Может быть, потому, что жизнь кидала меня таким прихотливым образом, что мне пришлось видеть и, главное, почувствовать все слои русского народа, начиная от полудикарей якутов или жителей таких лесных углов европейского Севера, где не знают даже телег, и кончая городскими рабочими. Я знал, что этой таинственной готовой мудрости нельзя найти ни в одном классе. Крестьянин умеет пахать землю, но в земельном вопросе в широком смысле разбирается не лучше, а хуже, чем многие из тех, которые не умеют провести борозду плугом. Я уже упоминал, как в Свияжском уезде Казанской губернии два огромных крестьянских общества шли друг на друга войной из-за земли. Дело дошло до вмешательства войск, и вожаки враждующих обществ были приговорены к смертной казни. Значит, у этих крестьян не нашлось общего начала, которое помогло бы им прийти к миролюбивому решению вопроса о земле даже друг с другом... Во время «грабижки» в качестве такого общего начала являлось крепостное прошлое. Более нуждающиеся крестьяне устранялись от раздела лишь потому, что они не были крепостными данного помещика. Можно ли с такими узкими, темными взглядами на земельный вопрос разрешить удовлетворительно эту самую запутанную и сложную задачу нашей жизни? Не ясно ли, что только государство с общегосударственной возвышенной точки зрения, при напряжении всенародного ума и всенародной мысли, может решить задачу широко и справедливо. Конечно, для этого нужно государство преобразованное. Из-за этого преобразования теперь идет борьба и льется кровь... Из-за ограничения самодержавного произвола мы все мечемся, страдаем и ищем выхода.

Все это я постарался по возможности кратко изложить теперь перед больным великим писателем, в душе которого все злобы и противоречия нашей жизни спле-

лись в самый больной узел. Он слушал внимательно. Когда я кончил, он еще некоторое время лежал с закрытыми глазами. Потом глаза опять раскрылись, он вдумчиво посмотрел на меня и сказал:

— Вы, пожалуй, правы.

На этом мы в тот раз и расстались. Впоследствии, когда революционная волна 1905 года упала, Толстой опять вернулся к христианскому анархизму и непротивлению.

XII

ПОСТАНОВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ СХОДОВ ПЕРЕД I ДУМОЙ

Подошла японская война. Она была с самого начала чрезвычайно непопулярна в народе. Крестьянство признало бы такую войну, которая доставила бы новые земли для переселения. А эту землю, если царь и завоюет, говорили крестьяне, то она нам не годится... Гора да камень. Наши хлеба там не растут, а что там растет, то для нас непригодно. Переселяться туда незачем. Вдобавок война кончилась позорными неудачами.

После этого в России все усиливалось стихийное движение. Деятельность всех партий прорвала рамки обычных стеснений. Либеральные земцы собирались открыто на съезды, за которые прежде арестовывали и ссылали. В 1905 году они послали к царю депутацию, которая прямо высказалась за необходимость конституционного порядка... Во многих местах России крестьянство глухо волновалось, а в Саратовской губернии движение приняло формы той самой «грабижки», которая три года назад происходила в Харьковской и Полтавской губерниях... Нападали на помещичьи усадьбы, грабили, жгли, кое-где убивали. Правительство видимо терялось. Несчастный царь, который назвал в начале царствования «бессмысленными мечтаниями» самые скромные просьбы земцев, теперь принял милостиво депутацию с смелыми заявлениями кн. Трубецкого о необходимости конституции. Над этим глубоко несчастным человеком уже тяготела судьба: его и тогда называли «последним Романовым». Он постоянно колебался, прислушивался к советам то справа, то слева, не знал, что делать. Самым способным из его помощников был Витте, человек совершенно беспринципный, еще недавно советовавший царю сократить земские учреждения,

как несогласные с исконным строем русского государства. Но и Витте в это время был в опале по каким-то мелким придворным интригам. Другие министры были совершенные ничтожества.

В августе 1905 года были изданы на имя министра внутренних дел Булыгина два манифеста. В одном царь звал все общество и народ на борьбу с крамолой. Указ был написан точно рукой покойного Победоносцева и весь был проникнут духом мрачной реакции. Но одновременно, чуть ли не в тот же день (6 августа), последовал другой указ, в котором царь приказывал созвать представителей от всех сословий для совещания.

Это была жалкая полумера: представители призывались только с совещательным голосом. Они могли советовать, царь и министры могли не слушать советов. Это была явная уловка погибающего строя, имевшая целью выиграть время и собраться с силами, чтобы подавить движение. Все слои русского общества отнеслись совершенно отрицательно к этому манифесту, и движение продолжало расти.

Тогда последовал манифест 17 октября, которым самодержавие сдавало свои позиции: народ призывался не только для совещания, но и для законодательства.

Как отнестись к этой новой уступке: отвернуться ли от нее или готовиться к выборам? Мнения разделились. Часть крайних левых партий решили «бойкотировать Думу». Я лично с этим не мог согласиться. Я чувствовал, что наш народ, особенно крестьянство, еще далеко не разбирается в основах выборного закона, не сможет поставить сознательных политических требований и пойдет на выборы уже из простой привычки повиноваться. Кроме того, я думал, как думало большинство общественных деятелей, что народу нужна еще политическая школа, и в этом смысле Дума будет очень полезна. Вопрос лишь в том, чтобы в нее пошло как можно больше сознательных элементов.

Мы с моими полтавскими друзьями употребляли все усилия, чтобы по возможности разъяснить народу значение манифеста как ограничения произвола не только чиновничьего, но даже и царского. Народная масса даже в городах была глубоко темна в политическом отношении. При публичных выступлениях нам, в том числе и мне лично, кричали из толпы: «А зачем вы скрывали манифест!» Дело в том, что многие губернаторы были до такой степени ошеломлены объявлением конститу-

ции, что не решились сразу опубликовать указ. Так было и в Полтаве. Опубликование манифеста запоздало дня на три, и толпа приписывала это всем интеллигентным людям безразлично. Для нее все образованное общество казалось просто царскими чиновниками, старающимися скрыть милостивую царскую волю. Ходили также чудовищные слухи, что все это чей-то обман, что это «жиды хотят выбрать своего царя», что губернатором у нас тоже будет еврей и т. д.

Деревня разбиралась еще хуже. От нее и от городских предместий надвигалось, как туча, настроение дикого и бессмысленного погрома. Еврейские погромы уже вспыхнули кое-где в губернии, особенно в Кременчуге... К городским громилам всюду присоединялись окрестные деревни. Крестьяне приезжали на возах и увозили награбленное в деревню...

Таким образом, темному народу приходилось еще разъяснять, что свобода грабежа это не та свобода, которая нужна России.

Наш полтавский кружок старался разъяснить сущность происшедшего переворота. Мы выступали на митингах, выпускали в газете воззвания, я написал ряд «писем к жителям окраины», где старался в понятной форме разъяснить новые права, их недостатки и достоинства, а также законные способы добиваться расширения этих прав. Эти письма были переизданы в некоторых губерниях и распространялись также среди крестьян. Мы объезжали и соседние села, и мне доводилось говорить на сходах все в том же смысле. Всюду наши разъяснения встречались с полным удовлетворением. Крестьяне легко усваивали при объяснении общие основы конституционного права, и то, как законодательная Дума может разрешить земельный вопрос... При помощи железнодорожных рабочих, сильно затронутых социал-демократической пропагандой, удалось потушить погромное настроение и в Полтаве, и в прилегающих деревнях. Народ спокойно подходил к выборам.

Между прочим, «Полтавщина», расходившаяся в довольно значительном количестве, стремилась ознакомить население с программами разных партий. Кроме программы партии народной свободы (к.-д.), в ней были напечатаны также программы социал-демократов (с.-д.) и социалистов-революционеров (с.-р.). Однажды в редакцию явилась группа крестьян с просьбой напе-

чатать постановление одного сельского схода, в котором излагались взгляды крестьян на земельный вопрос.

Тут говорилось о необходимости распределить между малоземельными крестьянами земли духовные, казенные, монастырские и помещичьи...

«Полтавщина» была, кажется, еще первая легальная газета, в которой полностью были напечатаны такие постановления крестьян. Земельный вопрос уже обсуждался на партийных съездах. Кадеты уже разрабатывали программу в этом смысле. Не было, конечно, никакой причины не дать места этому голосу крестьянства, которое скоро должно послать депутатов в Думу.

Появление в газете первого такого постановления произвело на многих впечатление какой-то бомбы. Движение, уже назревшее в массе, выходило наружу. Постановление горячо обсуждалось на других сходах, и вскоре в редакцию стали поступать приговоры других крестьянских обществ. Ко мне на квартиру стали приходить селяне, как в 1902 году. Один раз пришли двое уполномоченных одного крестьянского общества с просьбой: они были не вполне довольны редакцией напечатанного постановления, но не знали, как выразить то, что им было нужно. В моей столовой собралось в этот день 15 или 20 крестьян из разных мест, и все сообща стали обсуждать постановление пункт за пунктом. Я считал, что это именно и требуется. Пусть то, что уже пустило глубокие корни в умах крестьян, найдет свое гласное выражение. Пусть обсуждается на местах и крестьянами, и другими компетентными людьми. Это может принести только пользу. Вот уже первый напечатанный наказ вызывает критику в другом сельском обществе. Мысль начинает работать.

Помню, между прочим, как горячо обсуждался вопрос о воспрещении наемного труда, подсказанный, вероятно, кем-нибудь из эсэров. Земля будет отдана только тем, кто сам на ней трудится. Поэтому наемный труд должен быть воспрещен.

Один из присутствующих крестьян стал горячо возражать. Он вот уже третий год служит в городе в кучерах именно затем, чтобы поддержать падающее хозяйство. Он только и мечтает вернуться опять в деревню, где у него пока хозяйничает жена с наемным рабочим. Если этого нельзя, то как же ему быть? Нужно просить особого разрешения? А если нанять приходится ненадолго? Если хозяин внезапно заболел или отлучился?

Если брат помогает брату или товарищ товарищу? Если своя работа сделана, а время остается и хочется приработать: просить каждый раз разрешения? Если у меня на земле работает чужой, то будут у него спрашивать бумагу?

— А то ж не дай господи!— выразительно заключил один из собеседников.

Когда впоследствии мне приходилось передавать эти разговоры моим знакомым, столичным эсэрам, то они удивлялись: о чем тут разговаривать? Конечно, наемный труд нужно воспретить. У всех будет в изобилии своей земли. Значит, некому наниматься. А так как земля будет наделена всем по трудовой норме, то некому и нанимать. Дело так ясно. Все желающие трудиться получают немедленно право на землю. Рабочий, которого нужда погнала из деревни в отхожие промыслы, давно отбившийся от земли крестьянин, интеллигент, мечтающий о праведной жизни трудами рук своих,— все идут в обновленную деревню, и все устраиваются на свободной земле. Для осуществления этого земного рая нужно, конечно, многое создать и многое уничтожить. Нужно, кроме земли, чтобы у всех желающих было умение, инвентарь, орудие... Нужен кредит, нужны известные формы взаимной помощи. Но создать это долго и трудно. Воспретить настоящую несправедливость гораздо легче, чем создать будущую справедливость. Поэтому-то многое так скоро разрушается и так долго на месте разрушенного зияет мертвая пустота.

Собравшиеся у меня в этот день крестьяне почувствовали эту разницу между создать и разрушить, и мы долго бились над редакцией разных пунктов. Редактировать пришлось мне, и я помню, с каким чрезвычайным вниманием мои собеседники обдумывали значение каждого слова.

Помню также, как обсуждался вопрос о выкупе или безвозмездном отчуждении. Первое побуждение крестьян в этом вопросе —«конечно, без выкупа». Выкуп этот значит новые выкупные платежи и их взыскание... Вопрос — за что. За то, что паны когда-то владели людьми, продавали их на базаре, как скотину, проигрывали их в карты... Какой там выкуп!

Но тут же являлись сомнения. Все ли земли находятся теперь в руках бывших рабовладельцев или их потомков? Сколько ее куплено и перекуплено людьми «на свои деньги»! Как быть с такой землей? О том, что-

бы уничтожить самое значение денежного капитала, тогда еще не было и речи. Все мыслили себя в том же денежно-хозяйственном строе и полагали, что в нем и останутся. По-прежнему будут покупать и продавать. По-прежнему будут стараться о собственном хозяйстве для себя и семьи, по-прежнему, может быть, богатеть. Так почему же деньги, которые человек затратил на землю, должны пропасть, а деньги, затраченные на дом в городе, сохраняют силу?..

Никто еще тогда не думал о полном устранении капиталистического строя во всех областях жизни.

Теперь, когда я пишу эти строки, большевизм ответил на этот вопрос. Он уравнял одинаково деньги во всех областях. Это последовательно: логически необходимым следующим шагом за безвозмездной экспроприацией земли должна быть экспроприация промышленного капитала и коммунизм. Большевистский порядок не останавливается перед уничтожением капитала. А так как и тут уничтожить легче, чем создать, то мы и видим, что повсюду в России производство остановилось и на его месте зияет мертвая пустота вместо предполагаемого коммунистического рая.

Тогда это еще не было в ближайших проектах даже крайних партий. Вспоминается мне по этому поводу следующий характерный эпизод. В 1905 году съехались в Петербург журналисты со всей России, чтобы обсудить сообща положение печати, а также пометить главные линии, которых следует держаться передовой журналистике. Говорили, между прочим, и о земельном вопросе. Что землю надо экспроприировать в крупных размерах для наделения крестьянства — это было общее мнение. Но с выкупом или без выкупа? Один молодой одесский журналист горячо стоял за отчуждение без всякого выкупа. Он много говорил и о Екатерине, раздававшей земли своим любовникам, и о тех временах, когда людей проигрывали в карты и т. д. Во время довольно горячих прений кто-то сказал о том, что безвозмездная экспроприация не даст много народу. Огромное большинство земель, особенно дворянских, заложено в банках. Как же быть с земельной задолженностью? Тут горячий защитник безвозмездного отчуждения вскочил, точно его подняло пружиной: «Держатели земельных бумаг должны быть обеспечены». В зале раздался смех. Этот молодой человек служил в одном из одесских банков, и ему ясно представи-

лась невозможность одним росчерком пера уничтожить задолженность земли, которая по большей части распределена в иностранных банках... Для всех было ясно, что нет оснований уничтожать значение капитала в одной только области, оставляя его во всех других.

Задумывались над этим и крестьяне, с которыми мы толковали тогда в моей гостиной... Но... в них были слишком сильны воспоминания крепостного права. Оно давно миновало, но несправедливые и пережившие свое время дворянские привилегии не давали заглохнуть позорной памяти рабства. Сельскохозяйственная перепись 1916 года показала, что в 44 губерниях европейской России из каждых 100 десятин посева 89 десятин было посевов крестьянских и только 11 помещичьих, а из каждых 100 лошадей, работавших в сельском хозяйстве, 93 были крестьянских и только 7 помещичьих. Таким образом, экспроприация с выкупом или безвозмездная одних помещичьих земель имеет очень маловажное значение. Это крестьянство начинало понимать, как мы видели, еще во время «грабижки», но тогда еще серьезно не заходила речь об общем «равнении». Поэтому вопрос о покупной земле еще останавливал многих.

«Ну что ж,— решил один из крестьян во время нашей беседы,— кто купил землю за деньги, тот уж давно окупил свою затрату». Другой вдумчиво покачал головой. Многие купили землю совсем недавно. А потому, если забирать имущество, которое вернуло первоначальные затраты, то много ли придется оставить даже мелких владений?

Я считал тогда и считаю теперь, что то, что происходило в то время в небольшой приемной моей квартиры и в редакции «Полтавщины», было в маленьком виде то самое дело, которое должно было делать по всей России. I Дума среди остальных вопросов поставила один из важнейших — вопрос о земле. Было известно, что кадеты уже разработали свою земельную программу. Скоро она станет предметом всенародного обсуждения, страстных споров и поправок. Пусть же вопрос станет предметом общего и гласного обсуждения на местах, пусть шаг за шагом непосредственный максимализм массы и надуманный максимализм интеллигенции начнут в этих спорах переплавляться в жизненно исполнимые государственные формы...

Но у нас не было еще привычек в пользовании свободой. Появление в газетах крестьянских постановле-

ний произвело такое впечатление, точно это был призыв к немедленным захватам и поджогам. Мне говорили, что даже такой почтенный старый земец, как покойный Квитка, был этим напуган до такой степени, что во время проезда через Полтаву одного из ревизующих флигель-адъютантов (помнится, Пантелеева) высказал в совещании категорическое мнение, что спокойствие в нашей местности не может быть восстановлено до тех пор, пока «Полтавщина» не будет закрыта...

К этому присоединились другие события... Высшие власти не понимали, какие обязанности налагает на них новый порядок. Царь не хотел даже отказаться от самого титула, и его всюду на ектениях провозглашали «самодержавнейшим», а местные власти хватали направо и налево, хватали людей, разъяснявших населению «новые права». Из-за этого в большом местечке Сорочинцах произошло волнение: население, возбужденное агитацией проезжего оратора, арестовало полицейских, а затем произошло столкновение, за время которого был случайно убит местный пристав с одной стороны и несколько десятков крестьян с другой стороны. Тогда на местечко налетел советник губернского правления Филонов во главе отряда казаков, и хотя население само было удручено следствием вспышки и встретило отряд с полной покорностью, он произвел возмутительную расправу: поставил многотысячную толпу на колени в снег, продержал ее таким образом более 4-х часов в декабрьский мороз, причем по его приказу производили избиение на крыльце волостного правления отдельных лиц и над коленопреклоненною толпою свистели нагайки... Я огласил все это в газетах, требуя суда над беззаконной расправой. Моя статья была перепечатана многими изданиями, но... мне пришлось уехать из города, а «Полтавщина» была закрыта.

XIII

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС ПОСТАВЛЕН В I ДУМЕ М. Я. ГЕРЦЕНШТЕЙНОМ

Я уже говорил выше о тех разногласиях, которые вызвал манифест 17 октября среди левых партий. Идти ли в Думу или бойкотировать ее, продолжая раздувать революционное пламя?

В конце концов проповедь бойкота не имела успеха и повела только к тому, что из всех прогрессивных партий первенствующее место в I Думе заняла «партия народной свободы», или конституционно-демократическая партия (кратко называемая кадетами).

Она составилась из той части свободолюбивой и благожелательной к народу интеллигенции, которая слагалась давно из тех слоев просвещенного общества, которое было недовольно остановкой реформ со второй половины царствования Александра II. Целыми десятилетиями слагались ее идеи, получившие выражение в передовой журналистике, в ученых трудах, на университетских кафедрах и в ученых обществах.

Была одна существенная черта, отделявшая общее настроение этой партии от других, более крайних левых партий. Искренно стремясь к политической свободе и признавая необходимость значительных экономических реформ в разных областях жизни, кадеты дальше стоят от народных масс и по своему социальному положению, и по своему настроению. Их оппозиция старому строю была в общем спокойнее. Они меньше чувствовали, меньше представляли себе то настроение глухого отчаяния, которое накипало в рабочей и крестьянской массе даже в то время, когда крестьянство было вполне «верноподданным». Более крайние партии ощущали это живее. Они хотя и по-иному, но тоже тяжко страдали от гнета и преследований царского режима, и в них кипела та же ненависть к «правящим слоям», какая накопилась в народных массах. Это чувство их объединяло. Объединял и самый максимализм их стремлений. Социалисты-революционеры мечтали о немедленном переходе к новому земельному строю. Им казалось возможным достигнуть всего сразу. Многим социал-демократам тоже казался совсем легким переход к социалистическому строю в промышленности. Поэтому социалисты-революционеры находили более удобную почву для своей пропаганды среди крестьян, социал-демократы — среди рабочих. Кадеты не имели прямой опоры в массах.

Впрочем, было одно время, когда казалось, что кадетская партия может стать руководительницей широкого, почти общенародного движения. Это было тогда, когда в Думе обсуждались проекты земельной реформы.

Ее взгляды на земельный вопрос опирались на обстоятельные знания и на работы знатоков земельного вопроса в России и сводились к следующим главным положениям. Наше крестьянство давно страдает от малоземелья. Необходимо увеличить площадь его землепользования и приступить к этому немедленно законодательным путем. На этот предмет должны быть обращены земли государственные, удельные, кабинетские, монастырские и крупные частновладельческие, «отчуждаемые в нужных для этого размерах». Отчуждение производится с вознаграждением владельцев за счет государства и по справедливой, а не рыночной цене, которая искусственно поднята крестьянским малоземельем. Все эти земли поступают в особый государственный фонд для наделения малоземельных или безземельных крестьян и передаются нуждающемуся земледельческому населению на началах, сообразованных с особенностями землевладения и землепользования, привычного в различных местностях России [1].

Эти общие основания были затем разработаны подробнее и частью изменены на трех партийных съездах. Многие члены кадетской партии склонялись даже к полной национализации земли [2], но основной чертой большинства кадетской партии являлось стремление исходить от существующего, «избегая по возможности провозглашения общих начал и отдаленных целей». Все соглашались, что государство должно стать верховным распорядителем земельной собственности и распоряжаться ею в интересах трудящегося населения. Но кадеты избегали крупной ломки бытовых привычек, приспособляя реформу и к общинным порядкам там, где существует община, и к подворному владению, где оно более привычно для населения.

Более левые партии имели в виду скорее отдаленное будущее и идеальные решения. Кадетский законопроект явился первой законодательно разработанной попыткой решения земельного вопроса, и крестьянское представительство I Думы в большинстве оказалось на его стороне.

Понятно, какой огромный интерес и какие взрывы страстей вспыхивали в думской зале всякий раз, когда

[1] Н. Н. Черненков. Аграрная программа партии нар. свободы и ее последующая разработка. Бесплатное приложение к «Вестнику нар. свободы» за 1907 г.

[2] См. Г. Ф. Шершеневич. «Аграрный вопрос».

на очередь ставился этот вопрос. Представители правительства решительно выступали против, а так называемые «зубры», то есть представители консервативного дворянства, доходили до прямого неистовства. Этому особенно способствовало то обстоятельство, что в центре разработки и защиты кадетского проекта стоял проф. Михаил Яковлевич Герценштейн.

Я хорошо знал этого интересного человека. Ученый-финансист по специальности, он давно готовился к кафедре, и Московский университет предложил ему приват-доцентуру тотчас по окончании им курса. Но правительство упорно не допускало его к кафедре. Он был еврей по происхождению и притом «неблагонадежный в политическом отношении»; по этим двум причинам кафедра была для него закрыта вплоть до 1905 года. Он писал по своей специальности, а для заработка поступил в один из частных банков. Это дало ему возможность приглядеться к самой черной практике того самого дела, которое он до тех пор изучал теоретически. Он превосходно ознакомился с закулисной стороной земельной и банковской политики, которую вело тогдашнее министерство финансов, вынужденное считаться с взглядами монархов и с безграничными претензиями крупного дворянства.

Это последнее обстоятельство придавало его речам в Думе совершенно исключительный вес и значение. Его противники сразу почувствовали в нем человека, отлично понимавшего все детали финансово-земельной политики самодержавия, все вожделения «первенствующего сословия» и казенное попустительство этим вожделениям за счет всего народа. Поэтому каждый раз, когда он появлялся на думской кафедре, думскую залу охватывало вихрем особое оживление. Упрека в теоретичности этому теоретику сделать было невозможно. С иронической улыбкой на необыкновенно тонком и умном лице, он умел показать, что «практика» известна ему не хуже, а может быть, даже лучше, чем его противникам. И эта ироническая манера вызывала среди «зубров» взрывы настоящего бешенства. Крестьянские депутаты, наоборот, сразу признали в нем своего руководителя и союзника. Каждый раз, когда под гром аплодисментов правых сходил с кафедры кто-нибудь из министров или какой-нибудь правый депутат, возражавший против «принудительного отчуждения»,

крестьяне принимались кричать: «Герценштейн, Герценштейн...»

Это значило, что очередь речей должна быть нарушена и кто-нибудь из ораторов левой стороны уступал свое слово Герценштейну. На кафедре появлялось типичное худощавое лицо с торчащими врозь ушами и с одухотворенными тонкими чертами. На губах Герценштейна играла неизменная ироническая улыбка и выразительные светлые глаза твердо и насмешливо смотрели сквозь золотые очки.

Кругом кафедры начинался точно морской прибой. «Зубры» потрясали кулаками и ругались, порой даже не только не парламентски, но и непечатно. На левой стороне, особенно среди крестьян, раздавался радостный смех и крики одобрения...

Помню одно из таких заседаний, имевшее для Герценштейна роковое значение. На очереди опять стоял земельный вопрос. Опять крестьяне кричали: «Герценштейн, Герценштейн», и опять на взволнованную толпу депутатов с кафедры взглянули сквозь золотые очки умные глаза ученого-практика.

Он доказывал неизбежность и разумность коренной земельной реформы в интересах большинства народа, в интересах процветания государства, в интересах, наконец, того самого «успокоения», о котором так много говорится и с правых, и с министерских скамей...

— Неужели господам дворянам,— прибавил он все с тою же тонкой улыбкой,— более нравится то стихийное, что уже с такой силой прорывается повсюду... Неужели планомерной и необходимой государственной реформе вы предпочитаете те иллюминации, которые вам устраивают в виде поджогов ваших скирд и усадеб. Не лучше ли разрешить наконец в государственном смысле этот больной и неоконченный вопрос...

Это была только горькая правда. Я в тот год летом жил в своей деревенской усадьбе и отлично помню, как каждый вечер с горки, на которой стоит моя дачка, кругом по всему горизонту виднелись огненные столбы... Одни ближе и ярче, другие дальше и чуть заметные, столбы эти вспыхивали, подымались к ночному небу, стояли некоторое время на горизонте, потом начинали таять, тихо угасали, а в разных местах далеко или близко в таком многозначительном безмолвии подымались другие. Одни разгорались быстрее и быстрее угасали. Это значило, что горят скирды или стога... Другие

вспыхивали не сразу и держались дольше. Это значит — загорались строения... Каждая ночь неизменно несла за собой «иллюминацию». И было поэтому совершенно естественно со стороны Герценштейна противопоставить государственную земельную реформу, хотя она и разрушала фикцию о «первенствующем сословии», этим ночным факелам, так мрачно освещавшим истинное положение земельного вопроса.

Да, это была правда. Но, во-первых, она была слишком горька, а во-вторых, это говорил Герценштейн, человек с типичным еврейским лицом и насмешливой манерой. Трудно представить себе ту бурю гнева, которая разразилась при этих словах на правых скамьях. Слышался буквально какой-то рев. Над головами подымались сжатые кулаки, прорывались ругательства, к оратору кидались с угрозами, между тем как на левой стороне ему аплодировали крестьяне, представители рабочих, интеллигенция и представители прогрессивного земского дворянства. А Герценштейн продолжал смотреть на эту бурю с высоты кафедры с улыбкой ученого, наблюдавшего любопытное явление из области, подлежащей его изучению...

Но он не оценил достаточно силу этого бессилия. Я знал и любил этого человека, и мне, при виде этого кипения лично задетых им чувств и интересов, становилось жутко. Ретроградные газеты пустили тотчас же клевету, будто Герценштейн советовал крестьянам «почаще устраивать помещикам иллюминацию», и эта клевета долго связывалась с именем Герценштейна.

I Дума была распущена. Она серьезно хотела настоящего ограничения самодержавия, во-первых, а во-вторых, она стремилась к действительному решению земельного вопроса. А самодержавию показалось, что оно может ограничиться одной видимостью, без сущности конституционного правления и без земельной реформы. Кадеты решили после роспуска прибегнуть к английской форме общенародного протеста, и в Выборге они выпустили воззвание об отказе от уплаты податей и исполнения повинностей. Народ не шелохнулся.

Герценштейн тоже был в Выборге и подписал выборгское воззвание. Не успел он еще уехать из Финляндии, как на берегу моря, во время мирной прогулки с семьей, его поразила пуля наемного убийцы. Пройдя через его грудь, пуля застряла затем в плече его маленькой дочери.

Правительство покрыло это убийство беззаконием, и главные его вдохновители остались безнаказанными.

Через два года после трагической смерти Герценштейна мне пришлось ехать по дороге к Троице-Сергиевской лавре. Дорога эта особенная. Особенные вагоны, особенная публика. Чудится, будто даже воздух в этих вагонах пропах ладаном. На одной из близких к монастырю станций я вышел, чтобы ехать к сестре, жившей тогда на даче под Троицей. Дача эта — небольшой домик в лесу — принадлежала покойному Герценштейну. Когда я назвал это место, мой возница, местный крестьянин тоже с каким-то подмонастырским отпечатком, тотчас же заговорил о Герценштейне. Оказалось, что это имя здесь очень популярно и упоминается с благодарностью. Герценштейн обычно жил в Москве и часто наезжал сюда. Помимо хороших личных отношений, местное население знало его работу в Думе.

— Знали подлецы, кого убивали,— говорил этот крестьянин,— даром, что родом был еврей, а о православном народе вот как старался.

Такие отзывы можно было слышать и в других местах. Тогда кадетская программа земельной реформы могла еще рассчитывать на сочувствие широких кругов крестьянства. Трудно представить себе, что было бы, если бы в то время указания народных представителей были приняты и в промежуток между I Думой и великой европейской войной реформа в течение десятка лет уже проводилась в жизнь и давняя мечта о земле начала осуществляться...

Но «правительства гибнут от лжи», сказал когда-то английский историк Карлейль. А русская конституция с самого начала была ложным обещанием самодержавия.

XIV

ВПЕЧАТЛЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ВЫБОРОВ

Итак, I Дума совершенно обманула наивные ожидания самодержавия, рассчитывавшего отделаться едиными обещаниями. При этом оно особенно рассчитывало на крестьян и на царившую когда-то среди них царскую легенду... Но и представители крестьян пошли за кадетами, рукоплескали обличительным речам левых депутатов и во время прений по земельному вопросу кричали:

«Герценштейн, Герценштейн». Поэтому после роспуска I Думы выборный закон был изменен, а крестьянское представительство сильно сокращено.

В первых выборах я участия не принимал, так как был в это время под судом по литературному делу. Ко времени выборов во II Думу дело это закончилось амнистией, и я получил выборные права. Мне пришлось осуществлять их в г. Полтаве и в Миргородском уезде, где у меня есть усадьба.

С большим интересом я отправился сначала в большое село Шишаки, где должны были состояться сельские выборы. Впечатление было неопределенное и смутное. Прежде всего руководство выборами не только формально, но и по существу находилось в руках земского начальника и администрации. Привычка к слепому повиновению была еще слишком сильна в сельском населении. Средняя крестьянская масса уже охотно слушала оппозиционные речи, но влиятельных оппозиционных групп в деревне почти не было и действовали они неоткрыто.

Мои местные знакомые сначала были уверены в успехе: черная сотня и крупное дворянство будут побиты. Но уже в зале волостного правления эти надежды рассеялись. Когда один из моих знакомых обратился к одному выборщику, на сознательность которого рассчитывал: «Неужели вы подадите голос за такого-то?» — тот ответил простодушно:

— Нельзя иначе. За него очень стоит начальство...

Скоро к этому человеку подошел земский начальник и стал давать ему какие-то наставления. И распоряжения земского начальника исполнялись просто в силу привычки повиноваться.

Присматриваясь к выборной публике, я заметил на скамье в углу седого старика очень почтенного вида. На лице его было выражение какой-то торжественной грусти. Я подсел к нему и стал расспрашивать, что он думает о происходящем. Он не был из богачей, а только рядовой крестьянин, но о происходящем думал только печальные думы. «Прежде было так: люди знали, что надо верить в Бога и повиноваться царю... А теперь...»

Он скорбно махнул рукой. К нам присоединилось еще два-три таких старика, и полились такие же речи. Я чувствовал, что настроение этих стариков непосредственно, искренно и твердо. Новое казалось еще неустоявшимся и смутным.

Во время самых выборов, когда стали вызывать к ящикам, была выкрикнута еврейская фамилия... Я почувствовал, что кто-то толкнул меня в бок. Рядом со мной стоял молодой крестьянин, высокий, худой, крепкий, но, видимо, сложившийся под давлением тяжкого труда с самого детства. Это был казак хуторянин, представитель самой богатой, но и самой консервативной части населения. На его рябом лице маленькие живые глазки сверкали раздражением, любопытством и почти испугом.

— Жид... Ей-богу, жид. Да разве и ему можно?

Я объяснил, что никто из полноправных обывателей не лишен избирательных прав. Он слушал с недоверием и изумлением. Потом он отошел от меня и стал толкаться среди народа, тыча пальцем в еврея и в меня... И я видел, что его чувства находят отклик среди других. Я невольно думал, что могут дать выборы, где еще столько непонимания, темноты и слепого повиновения.

И действительно, результаты их были неопределенны. Прошло несколько «сознательных», но наряду с ними прошло еще больше ставленников земского начальника. И, наверное, за тех и за других часто голосовали одни и те же люди.

Выборщики стали съезжаться в Полтаву. Предзнаменования для прогрессивных партий были плохие, и нам казалось сначала, что выборы будут сплошь черносотенными. Через некоторое время выяснилось, что надежда у нас есть. Между прочим, из Лохвицы приехала тесно сплоченная группа передовых земцев и довольно сознательных крестьян, настроенных прогрессивно. Ядро у нас создали кадеты, но к ним же примыкали и социал-демократы. Социал-демократы были настроены против кадетов, лохвичане — против социал-демократов, но только блок мог спасти прогрессивную партию. Поневоле пришлось идти на компромисс. От крестьян был, между прочим, выборщиком харьковский студент Поддубный, исключенный из университета и более года занимавшийся в своей деревне сельским хозяйством. Это давало ему тогда выборные права. Он принадлежал к социал-демократической партии, и лохвичане наконец согласились отдать ему голоса, не как социал-демократу, а как крестьянину. А зато социал-демократы согласились голосовать за наш список.

Еще более трудностей предстояло нам с выборщиками-крестьянами. В их психологии была особенная чер-

та. Перспектива быть выбранному самому, связанный с этим почет и особенное депутатское жалованье в три тысячи оказывали на них неотразимое обаяние. И вот, почти каждый из них явился на выборы с тайной надеждой лично попасть в депутаты. С мечтой о депутатстве каждый расставался трудно и со вздохами, и нам стоило больших усилий добиться сокращения списка. Нам много содействовали в этом социалист крестьянин и один очень хороший священник. В конце концов соглашение достигнуто, список сокращен, и тогда оказалось, что если мы выдержим это соглашение, то большинство за нами обеспечено.

Тогда администрация пошла на крайнее средство. В самый день выборов комиссия собралась чуть не в 6 часов утра, и еще несколько наших выборщиков были устранены, в том числе студент и священник. Последнего призвал к себе тогдашний архиерей и потребовал, чтобы он немедленно уезжал в приход. Священник со слезами рассказывал нам об этом, но у него была большая семья, он боялся лишиться прихода и повиновался.

Это были ходы явно незаконные. Устраняемые не имели времени для обжалования, но удар был рассчитан метко. Наш блок, заключенный с таким трудом, сразу рассыпался: крестьяне не выдержали. Наивные личные вожделения выступили вперед, покрыв общее дело. Почтенные селяне-выборщики разбились на кучки и стали шептаться: «Ты выбирай меня, я стану выбирать тебя...» При вызовах к урнам почти никто из них не отказывался. Получали смешное число голосов, порой вызывающее злорадный смех противников, но все-таки угрюмо, безнадежно, со стыдом шли на баллотировку и проваливались. Соблазн был слишком велик, сознание общих интересов слишком ничтожно.

Другая сторона, наоборот, сплотилась образцово. Администрация употребила все свое влияние на массы, а это влияние было еще очень значительно. Когда выборщики отправлялись в город, то кое-где священники приводили их к присяге, что они будут непременно баллотировать за принятый список. В городе старались поместить их на особых квартирах, куда ежедневно доставлялась им местная черносотенная газета, не останавливавшаяся ни перед какой клеветой, чтобы очернить кандидатов прогрессивного блока. Кое-кто из этих выборщиков, приехав в город, уже спохватился, что попал он в ненадежную для крестьянства компанию...

— Я уже вижу и сам,— отвечал один такой выборщик моему знакомому на его убеждения.— Присяга — ничего не поделаешь.

В первый же день мы провалились. Заметное число голосов получили только я и Г. Е. Старицкий. Поражение нашего блока было очевидное и самое жалкое. И его причина была — измена наших крестьянских выборщиков.

XV

ДЕРЕВНЯ ПОСЫЛАЕТ ЧЕРНОСОТЕННЫХ ДЕПУТАТОВ

Под конец этого первого выборного дня я сидел в отдаленном конце дворянского собрания, где происходили выборы. Мысли мои были печальны. На наших собраниях мы тщательно разъясняли крестьянам, что только поддерживая прогрессивные партии, они могут рассчитывать на земельную реформу. Но масса была так еще темна и так узко своекорыстна, что даже очевидный общий интерес не мог сплотить ее.

В это время рядом со мной сел один из выборщиков другой стороны. Это был человек деревенский, коренастая фигура, одетый в городской костюм, широчайшую черную пару, очевидно только для народа. Мне показалось, что он с каким-то своеобразным участием посмотрел на меня и заговорил о погоде и о необходимости скорее кончить выборы. Это был, очевидно, хлебороб из того зажиточного деревенского слоя, который еще так недавно имел влияние в деревне. К нему вскоре подсел другой такого же типа, только попроще: на нем был уже прямо деревенский костюм. Я подумал, что именно люди этого типа, может быть, стояли во главе противопомещичьего движения. Теперь они придали силу блоку правых дворян и черной сотни (у нас октябристы и крайние консерваторы выступали вместе).

— Вот это господин Короленко... тот самый, что пишет,— сказал тот, что подсел ко мне первый.

— Знаю,— сказал второй, кланяясь и подавая мне руку.

— Что же именно вы знаете,— сказал я, улыбаясь и думая, что они знают меня по местной репутации.— Не то ли, что я учу крестьян поджигать помещичьи скирды и резать ноги экономической скотине?

— Нет, этого мы не знаем...

— Это каждый день пишут для вас в «Вестнике».

— Ну, это брехня... Мало ли, что пишут. Мы читали другое,— сказал первый.

Они были знакомы с моими статьями в «Полтавщине», с брошюрой «Сорочинская трагедия» и с «Письмами к жителю городской окраины». К моему удивлению, к этой моей литературной деятельности они относились с сочувствием.

— Почему же вы теперь голосуете с черной сотней? — спросил я.

По лицу первого моего собеседника прошла как будто тень. Я узнал впоследствии, что его дети учатся в гимназиях и высших учебных заведениях и теперь, быть может, от этой своей молодежи он слышит тот же вопрос.

— Надоело уже,— сказал он угрюмо.

— То-то вот и оно,— подхватил второй,— что надокучило. Грабежи пошли, разбойство... Дед у деда суму рад вырвать. Если это такие новые права, то бог с ними.

— Да,— сказал другой.— Грабежи пошли, разбойство... Прокинешься ночью и слушаешь: может, какой добрый сосед уже клуню подпаливает. Потом, г-н Короленко, возьмите то: кричат поравнять землю. А вы знаете, как иному земля досталась? Мы не помещичьи дети, не богатое наследство получили от батьков... Каждый клок земли отцы и деды горбом доставали. И дети тоже с ранних лет не доспят, не доедят... Все в работе. Одна заря в поле гонит, с другой возвращаются... А теперь кричат: поравнять. Отдай трудовую землю какому-нибудь лентяю, который, что у него и было, пропил.

Я знал, что это правда. Эти хлеборобы-собственники из казаков настоящие подвижники собственности. Многие из них живут хуже рядовых крестьян, откладывая каждую копейку на покупку земли. Ко мне одно время возил деревенские припасы один довольно жалкий на вид старик. Он был одет, как нищий, но я потом узнал, что это деревенский богач. Вся семья питается ужасно, детям не дает ни масла, ни яиц, все идет на продажу... Детей даже не отдает в школу. И все для того, чтобы прикупить лишний клок земли.

Между тем крылатое слово, кинутое в 1902 году на кочубеевской усадьбе, теперь росло, ширилось. Лозунг «поравнять» уже гулял в деревне. Я как-то приводил в «Русском богатстве» свой разговор с крестьянином. Он

спрашивал моего соседа: можно ли «по новым правам» покупать землю; у него с братом 9 десятин на двух. Они хотят прикупить еще три. Значит, придется по 6 десятин на душу. А, может, по равнению это выйдет много, так могут отнять... Не пропали бы даром деньги.

Понятно, с каким испугом и враждой должны были эти люди относиться к стихийному движению, которое уже тогда сказывалось в деревне. Я видел, что мои собеседники люди разумные и сравнительно даже просвещенные, и я спросил, слыхали ли они о проектах перводумской земельной реформы.

— Читали кое-что,— сдержанно ответили они.

— Ну, а что вы думаете. Если все останется по-старому, если у ваших безземельных соседей по-прежнему будут плакать голодные дети, будете ли вы спать спокойно в своих каморках? Впрочем,— закончил я вставая,— дело ваше... Но если вы хотите знать мое мнение, то я вам скажу. Россия загорается. Первая Дума хотела сделать многое, чтобы потушить пожар и указать людям выход. А вы теперь в этот пожар подкинули охапку черносотенного хворосту.

Я попрощался и отошел в сторону, где происходил счет шаров. Наши противники продолжали торжествовать. Консервативные дворяне и священники, известные черносотенной пропагандой, ходили с гордо поднятыми головами. За них было много крестьянских голосов. А наши кандидаты все так же позорно проваливались, и проваливали их тоже крестьяне.

Мои собеседники остались на том же месте, подозвав к себе еще некоторых других, уже положивших шары. В этой кучке шел какой-то оживленный разговор. Через некоторое время ко мне подошел один мой знакомый и сказал:

— Сейчас ко мне подошли вот эти два выборщика и сказали: мы видели, что вы знакомы с Короленком. Скажите ему, если он будет перебаллотировываться завтра, то у него будет четыре лишних голоса.

Я баллотировался, и действительно, к 78 голосам, которые я получил в первый день, прибавилось как раз 4. Это было абсолютное большинство. Но в эту ночь наши противники приняли самые экстренные меры, привезли на тройках еще несколько своих выборщиков, и я попал только в кандидаты.

Вторая Дума оказалась уже совершенно покорной, и земельная реформа была похоронена.

Вскоре после выборов мне пришлось быть в камере одного из полтавских нотариусов. Недалеко от меня сидел, тоже дожидаясь очереди, старенький помещик с благодушным лицом и круглыми птичьими глазами. К нему подошел другой, помоложе, и у них начался разговор о выборах.

— Все вышло очень хорошо,— говорил старик.— Прошли почти все наши... Теперь бояться нечего. Вторая Дума наша.

— Д-да...— подтвердил младший, кидая взгляд в мою сторону.— Теперь разным Герценштейнам не дадут ходу.

Впоследствии я часто вспоминал этот разговор. Я не знаю фамилии ни этого благодушного старика, ни его, совсем уже неблагодушного, собеседника. Где-то они теперь и находят ли по-прежнему, что Россия в этот момент более всего нуждалась в устранении и Герценштейнов, и их проектов государственного решения земельного вопроса...

Что было бы теперь, если бы в течение 14 лет, со времени японской войны, уже проводилась планомерная земельная реформа? Но состав последующих Дум был далек от этих забот, а крестьянство, благодаря «разумным мерам», посылало в Думы в большинстве черносотенных депутатов.

XVI

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О РЕВОЛЮЦИИ

Прошло еще несколько лет. Разразилась великая европейская война, в которую Россия была втянута роковым образом. Потом произошла и российская революция.

Вскоре после начала войны я вернулся из-за границы, больной и усталый от большой работы. Я не мог принимать в событиях деятельного участия, но по-прежнему интересовался ими. И вопрос о земле казался мне по-прежнему один из главнейших.

Отчего, в самом деле, пала романовская монархия и, главное, отчего она пала так легко, без признаков серьезного сопротивления? Те самые полки, которые в 1905 году во имя самодержавия залили кровью Москву, теперь в Петербурге произвели военную демонстра-

цию против самодержавия, и трехсотлетней монархии не стало. Вся Россия от нее отступилась сразу.

Дело в том, что солдат — тот же крестьянин. Просвещенные классы уже давно не верили в самодержавие. Рабочий класс тоже изверился с кровавого 9 января 1905 года. Но самодержавие продолжало держаться на темноте земледельческого народа и на легенде о непрестанной царской милости. Образ царей в представлении крестьянина не имел ничего общего с действительностью. Это был мифический образ могучего, почти сверхчеловеческого существа, непрестанно думающего о благе народа и готового наделить его «собственной землей». Начиная со второй половины царствования Александра II, цари только и делали, что разрушали эту легенду. «Ничего вам не будет, слушайтесь своих помещиков и предводителей дворянства»,— говорили цари идеализировавшему их народу... Народ долго не верил, считая, что эти голоса «с высоты престола» — подделка начальства и господ, а настоящий царь продолжает думать все ту же думу. Но наконец пришлось поверить. Легенда пала. Пришла трудная минута, и вместе с легендой пало самодержавие. Нельзя сказать, что свалило его крестьянство. Его низвергло только отсутствие привычной поддержки преданного прежде крестьянства.

В светлое летнее утро 1917 года я ехал в одноконной тележке по деревенскому проселку между своей усадьбой и большим селом К. Старик, возница сельской почты, развлекал меня разговорами, рассказывая по-своему историю происхождения крепостного права. По его словам, это вышло очень просто: во время войны России с другими державами — турком, немцем, французом — оставалось много солдатских сирот. Помещики брали их к себе якобы на воспитание. Когда эти сироты вырастали, то помещики обращали их в своих рабов. Они размножились, и вот откуда явились крепостные. А то прежде все были свободны. Я попробовал сообщить ему менее простые взгляды на историю этого института, но он упорно утвердился на своем. Объяснение было нелепо, но имело два преимущества перед моим. Оно было проще, во-первых, а во-вторых, проникнуто враждой к помещикам. А вражда разливалась всюду.

Первый радостный период революции прошел, и теперь всюду уже кипел раздор. Им были проникнуты

также и отношения друг к другу разных слоев деревенского населения.

Я ехал по вызову жителей большого села, чтобы высказать мнение о происходящем. Я уже упоминал выше о «сорочинской» трагедии. Я много писал об этой карательной экспедиции чиновника Филонова, меня за мои статьи держали почти год под следствием, брошюра моя ходила по рукам, и это доставило мне некоторую местную известность. Поэтому мои собеседники хотели знать теперь мое мнение о происходящих событиях, и я не счел себя вправе уклониться от ответа. Теперь я ехал и думал, что я скажу этим людям. Им нужна земля, и они (большинство) ждут, конечно, что я, человек, доказавший свое благорасположение к простому народу, еще раз повторю то, что они уже много раз слышали за это время,— земля вся теперь принадлежит им: стоит только захватить ее, чтобы всех «поравнять»... Но читатель уже знает, что я не верил ни в возможность такого равнения путем захвата, ни в «грабижку», на которую грозила уже сойти аграрная реформа революции...

Одни своекорыстные страсти не должны руководить крупными переворотами.

Задолго до того, как вспыхнет революция, всегда являются в обществе ее предвестники. Являются они прежде всего в тех самых просвещенных классах, которые могли бы еще долго пользоваться существующей неправдой. Но среди них развивается больше оппозиционная литература, в умах их мыслителей зарождаются новые идеи, в совести чутких людей растет беспокойство. Это значит, что общественная совесть перестает мириться с существующей неправдой.

Так было перед Великой французской революцией. Так было и у нас. Задолго до того, как народ потерял веру в царскую легенду, уже являлись Астыревы и многие другие, которые отдавали жизнь за ничего не знавший об этом народ.

Что же это значит? Это значит, что перед большой общественной бурей, называемой революцией, взметаются первые ее порывы в людских умах и совестях. И эти первые порывы проистекают не из чувства корысти, не из алчности, а из сознания правды, с которой уже далеко разошелся данный строй.

Но этого сознания правды недостаточно. После того как она уже сознана отдельными умами или даже ши-

рокими группами, старый строй может долго держаться силой темноты несознательных классов и силой штыков. Те же солдаты, которые теперь свалили трон, долго помогали ловить и высылать в Сибирь людей вроде народников и марксистов, которые по-своему жертвовали за интересы крестьян и рабочих спокойной жизнью и карьерой. Кроме нравственной проповеди, для борьбы с неправдой нужна еще сила, даваемая массами. А широкие слои преимущественно двигаются интересами, то есть сознанием выгоды и себялюбия. Только тогда, когда большинство народа приходит к сознанию, что их страдания могут прекратиться с падением данного строя, наступает революция, и строй действительно падает.

Что же важнее, себялюбивые интересы или сознание вечной правды, стремление к выгоде или стремление человеческой души к добру и справедливости?

Для плодотворного переворота необходимо присутствие обоих этих начал, как для восходящего теста необходимо много муки и небольшое зернышко дрожжей. Много муки, дрожжей щепотка, но без них тесто взойти не может.

С одними чувствами себялюбия и корысти, побуждающими неимущего захватить то, что имеет более счастливый сосед, выходит только «грабижка», а не революция. Среди вихрей, побуждаемых разнуздавшимися страстями, необходимо руководство начал высшего сознания и высшей нравственности.

Как путеводная звезда в бурном океане или библейский огненный столб, указывавший евреям путь в пустыне, начала высшей нравственности должны светить и на бездорожьях революции. Для всех верующих это лучшие заветы человечности, которым учит их вера, для убежденных — это широкие нравственные основы, которые дает убеждение.

Без этого революция сворачивает на бездорожье и часто возвращается к прошлому с его старыми злоупотреблениями, заменив одних притеснителей другими. А большинство страдает по-прежнему.

Многие считают, что революция отменяет все существующие законы нравственности и правды, забывая, что, наоборот, революция имеет целью только развить их дальше.

Где же искать меру справедливости во время переворота, когда человеческие страсти бушуют на свободе?

Эта мера в общем сознании. Все или огромное большинство народа уже сознали несправедливость произвола и необходимость участия народа в управлении своими судьбами. Самодержавие не хотело понять этого и оттого пало так легко. Многие народы уже устроили у себя народоправство, и нам нетрудно завести его по этому опыту наших соседей.

Но, конечно, зло нашей жизни не ограничивалось одним произволом самодержавного строя. Великое зло также в неравенстве труда и распределения. Одни много работают и мало имеют. Другие много имеют и работают мало или совсем не работают. Социализм старается упразднить эту несправедливость. Но как устроить, чтобы всюду сразу стало иначе, никто не знает. Поэтому даже в странах с более развитой промышленностью социалисты составляют меньшинство, несмотря на то, что уже около столетия лучшие умы Европы придумывают новые формы организации труда и обмена. Коммунистические опыты Фурье, Сен-Симона, Кабэ не привели ни к чему, и европейский социализм отказался создавать вперед готовые новые формы, полагаясь на течение самой жизни, в которой на почве самодеятельности и свободы эти формы должны возникать и вырабатываться из существующих организаций...

Что же говорить о России? Социалистические идеи захватили только меньшинство рабочего класса, который сам составляет значительное меньшинство всего народа. Ясно, что полного социалистического переворота Россия тем более совершить не может.

Всякая попытка меньшинства навязать силой свои понятия огромному большинству народа была бы смертным грехом против самого духа революции, который по самому существу своему необходимо предполагает свободу, а не насилие меньшинства над большинством. Государство может поэтому регулировать для общей пользы трудящегося народа те или другие виды собственности, но упразднить ее сразу каким-нибудь декретом ни в городе, ни в деревне нельзя.

Государство должно быть последовательно. Упразднить собственность в одной только области жизни, оставив ее во всех других, это было бы похоже на попытку выкопать яму на поверхности пруда. Сколько ни копайте, вода зальет яму, так и вся жизнь, основанная пока на началах собственности, зальет и сравняет с собой порядки в одной какой-нибудь области. Впоследствии

большевизм, понимая это и желая остаться последовательным, попытался сразу упразднить собственность одинаково в городе и в деревне, в земледелии и в промышленности. И мы видим, что из этого вышло: промышленная жизнь великой страны вместо того, чтобы идти успешнее, останавливается и замирает...

Да, государство не может идти на партийные опыты, не рискуя завязнуть в бесконечных колебаниях и замешательствах. В прекрасной работе М. В. Рклицкого (полтавского статистика) говорится, что в Полтавской губернии 82 тысячи хозяйств мелких собственников, крестьян и казаков, которые подлежали бы уравнительному разделу, и 166 тысяч хозяйств безземельных, ждущих дополнительного надела для «равнения». Если, не ограничиваясь государственными и другими категориями земель, которыми государство могло бы располагать для безвозмездного отчуждения, причислить и эти 82 тысячи хозяйств к числу подлежащих безвозмездному отчуждению, то получится отношение одного к двум, то есть две трети всего крестьянства будут стоять как враги против третьей его части. А если прибавить, что эта третья часть состоит из людей наиболее деятельных и энергичных, часто личным трудом и путем тяжелых лишений наживавших эту землю, то легко понять, какую бурю может вызвать такая попытка безвозмездного отнятия.

Понятие об этом не чуждо и самому крестьянству.

На крестьянском съезде в Москве один из крестьян сказал прямо, что за землю придется непременно заплатить, если не деньгами, то кровью. Лучше и дешевле будет заплатить деньгами, чем кровью.

Съезд крестьян тогда не согласился с этим мнением. Почему? Потому ли, что в умах этих людей уже стоял ясно более справедливый социалистический мир, в котором всюду будет упразднена собственность, или только потому, что революция подняла не сознание справедливости, равной для всех, а только классовую ненависть и стремление к захвату?

Едва ли можно колебаться в ответе. Слепые страсти в то время уже кипели всюду, и долго искавшее правильного выхода стремление к земельной реформе явно вырождалось в стихийный захват. Иначе нельзя назвать того, что тогда происходило. Захваты совершались без представления об общенародной собственности и общенародном благе. Они происходили так же, как

в 1902 году, под действием личных и — самое большое — классовых корыстных побуждений, и можно было ждать, что они когда-нибудь кончатся так же, как в 1902 году. Обстоятельства легко могут перемениться, и захваты, не освещенные высшим сознанием общего права, не скрепленные санкцией обновленного государства, вызовут только месть другой стороны. И в этой борьбе своекорыстных классовых интересов утонет самая идея справедливости революции.

С такими мыслями и при таких обстоятельствах я ехал летним утром 1917 года из своей усадьбы в село К., где селяне захотели услышать мое мнение...

XVII
НА СЕЛЬСКОМ СХОДЕ

Я не оратор, а писатель, то есть исследователь и наблюдатель жизни. Когда наступила моя очередь сказать свое слово, то эта тысячная толпа, уставившаяся на меня с пытливым ожиданием, вызывала во мне двойственное чувство: желание убедить ее и любопытство. Мне хотелось не только говорить самому, но и узнать многое от нее и о ней.

Поэтому, говоря сначала о причинах крушения самодержавия, я пытливо всматривался в лица, стараясь определить по их выражению, как относится эта толпа, так еще недавно находившаяся во власти царской легенды, к осуждению недавнего кумира. Тогда многие говорили, что и теперь прежние монархические чувства живы еще в крестьянстве.

Но нет. Слушали просто с сочувственным вниманием. Даже типические лица стариков, вроде тех, с которыми я беседовал во время сельских выборов, были теперь угрюмо-спокойны. Очевидно, и они осуждали если не весь монархический строй, то несчастного слабого человека, который умел так уронить и унизить этот строй. А самодержавная легенда только и держалась на мысли о сверхчеловеческом могуществе всякого монарха.

С этим можно было считать поконченным. Я перешел к вопросу о земле, предупредив, что теперь мне придется говорить многое, что, быть может, покажется неприятным. И я изложил, насколько мог понятнее, все то, с чем читатели этой книги уже знакомы по преды-

дущему изложению. Я решил при этом, что буду по возможности краток, предоставляя дальнейшее общей беседе с толпой. Я обрисовал трудное положение нашего отечества. Враг тогда еще рвался в наши пределы... А после его отражения предстоит трудная работа по устроению новой жизни... Кто думает, что это дело легкое, что тут все дело в том, чтобы просто отнять земли у одних и отдать их другим, тот сильно ошибается. Мало дать нуждающемуся землю. Нужно еще обеспечить возможность работать на ней, снабдить инвентарем. Государству, уже разоренному войной, нужно создавать целую систему кредита. Вообще придется прибегнуть к большому напряжению сил и средств всего народа. А это поведет к необходимости платить если не прежним владельцам, то государству. Нельзя также отнимать землю безвозмездно, потому что это будет нарушение принятой еще для всех справедливости.

Уже в начале этой части моей речи я видел, что настроение толпы меняется. Почувствовалось глухое волнение. В задних рядах слышался шум, а по временам выносились отдельные восклицания. Это было как раз то, что меня интересовало более всего, и мне захотелось, закончив поскорее свою речь, вступить в прямой обмен мыслей именно с этой волнующейся частью толпы.

Но когда я замолчал, начались «официальные возражения» со стороны профессиональных ораторов, взявших на себя постоянное руководительство мнениями этой толпы и углубление в ней революционного настроения. Их было двое. Один — какой-то приезжий в Сорочинцы мелкий артист, другой — солдат. Речь первого была очень бессвязна, мало относилась к делу, но шла гладко и изобиловала дешевыми эффектами, которыми в то время, да и теперь, так легко брать эту толпу. Тут опять была неизменная Екатерина, дарившая людей своим любовникам, были помещики, менявшие людей на гончих собак, были грабители чиновники. Из его негодующей речи выходило как будто так, что я защищаю именно Екатерину и прежних крепостников-помещиков или грабителей-чиновников. Речь эту он, очевидно, с успехом повторял в разных местах и при разных случаях, и теперь она тоже имела успех. То и дело у слушателей вырывались шумные и одобрительные восклицания. Но при этом оратор сделал ошибку. Одним из эффектнейших мест его речи было напоминание о Филонове и его карательной экспеди-

ции. Место это многим напоминало этот эпизод, в котором я был населению ближе, чем этот пришлый оратор.

Другой оратор, солдат, говорил без таких дешевых эффектов, просто и очень страстно. Когда он встал на стол, с которого мы обращались к толпе, то я заметил, что он весь дрожит мелкой дрожью. Он энергично заявил, что то, что я говорил о земле, им не надобно. Мне было видно, что толпа разделяет его мнение. Большинству ее мои мысли казались нежелательными и ненужными. А она уже привыкла, что к ней обращаются только с льстивыми и приятными большинству словами. Лесть любят не одни монархи, но и «самодержавный народ», а от лжи погибают не одни правительства, но и революции.

Официальная часть митинга закончилась. В этот день праздновалась память Шевченко. Оратор-артист тотчас же наладил хор, спели несколько номеров и затем пошли с портретом Шевченко обходить село. Часть толпы двинулась за ним, но многие остались. Я тоже остался, стал в центре у того же стола и обратился к тем из толпы, кто всего явственнее выражал недовольство моей речью.

Таких было немало. Еще и теперь я слышал возбужденные восклицания. Говорили, что я «подослан помещиками», а какая-то женщина, по-видимому, болезненная и истеричная, протискалась ко мне и произнесла довольно грубую и циничную фразу. Я давно заметил, что это у крестьянских женщин, непотерянных и непьяных, служит признаком крайнего озлобления... Но ее тотчас же увели, а насчет «подсыла помещиками» послышались возражения.

Наметив в толпе кучку, которая казалась особенно возбужденной, я прямо обратился к ней и сказал, что я явился не только затем, чтобы говорить, но также затем, чтобы слушать, и попросил этих людей подойти к столу и высказать откровенно то, что они хотят выразить.

Сначала возникло некоторое замешательство. Крестьяне не привыкли к таким вызовам, вернее — они привыкли, на основании опыта, к их обычным последствиям. Сначала от меня шарахнулись назад, но потом увидели, что роли теперь переменились, и мне, человеку в городском костюме, высказать мои мысли, пожалуй, опаснее, чем им возражать. Поэтому они подошли, и наш стол окружила тесная толпа.

Центральное место среди возражавших заняли пять женщин. Это были солдатки. Мужья их принадлежали к беднейшему слою крестьянства, именно к тому, на ком всего тяжелее отразилось малоземелье, кто больше всего страдал от него и теперь больше всего надеялся. Их мужья на фронте, а жены бьются с детишками на жалкий паек, не зная, живы ли мужья или их нет уже на свете. Когда они говорили, перебивая друг друга, о своем положении, то лица их раскраснелись, а глаза наполнились слезами. Они так надеялись, что теперь за долгие страдания получат близкую уже награду. Революция должна оказать им ту же самую милость, которой так долго и так напрасно они ждали от самодержавия. И все ораторы неизменно обещали им эту милость. А теперь я говорю им о трудностях и усилиях и о необходимости выкупа. Допустим, думали они, что выкуп возьмет на себя государство, но и оно отдаст землю не даром. Не все ли равно, кому платить, помещику или государству, и как эта плата будет называться. «Прежде платили, и теперь платить,— страстно говорила одна из них с заплаканными глазами,— какая же это свобода слова?»

Я оставался на этой площади более трех часов, окруженный спорами и страстью. Я искал понятных форм, чтобы выяснить всю серьезность и трудность задачи. Я старался объяснить им сложность и взаимную зависимость жизни города и деревни, земледельческой и обрабатывающей промышленности, а также роль государства... Вероятно, человек, лучше меня владевший предметом, мог бы добиться лучших результатов... Но передо мною была крестьянская масса, непривычная к самодеятельности и сложным процессам мысли. Она так долго жила чужой мыслью. За царями им жилось трудно, но был кто-то, кто, предполагалось, думает за них об их благе. Надежды на царей не оправдались... Теперь пришла какая-то новая чудодейственная сила, которая уже наверное все устроит, и... опять без них.

Один из возражателей обезоружил меня сразу, сказав с необыкновенной уверенностью и простодушием:

— А по-нашему, так все очень просто: нам раздать всю землю, а городским рабочим... прибавить жалованье. И все будут довольны...

Мне казалось, что над этим простым рассуждением все еще носится образ «милостивого царя», который мо-

жет все сделать, лишь бы захотел... Теперь его место заняла такая же милостивая царица-революция...

Я безнадежно оглянулся. На многих лицах виднелось сочувствие этому простому решению.

Солнце уже закатывалось, когда тот же сельский возница, который рассказывал мне о происхождении крепостного права, подошел ко мне, чтобы сообщить, что пора ехать обратно. Я стал прощаться. Один солдат, пришедший во временный отпуск с фронта и слушавший все, как мне казалось, с внимательным и вдумчивым лицом, сказал:

— Если бы вы, господин, сказали такое у нас, на фронте, то, пожалуй, живы бы не вышли.

— Не знаю,— ответил я,— довелось ли бы мне говорить у вас на фронте, где, очевидно, не умеют слушать. Но если бы уж пришлось говорить, то ничего другого сказать бы не мог... Ну, а сами вы, что думаете...

— Нам это, что вы говорили, не надобно,— ответил он.

С этим последним впечатлением я уходил со схода.

XVIII
МАЯТНИК КЛАССОВОЙ МЕСТИ

Возвращаясь с описанного выше сельского собрания, я обогнал группу селян. Они возвращались оттуда же и о чем-то живо разговаривали. Я отпустил своего возницу, а сам пошел с ними. Они как раз говорили о том же предмете, и мы разговорились опять. Мне уже случалось излагать свои мысли в разговорах с соседями, даже бедняками. Они со мной соглашались и находили, что это надо бы повторить перед «громадой». То же было и теперь, когда мы небольшой кучкой шли проселком в густевшие сумерки и спокойно обсуждали вопрос. Они не только соглашались, но и приводили новые аргументы. А между тем толпа в К. казалась такой единодушной в отрицании моих мыслей!

Я, конечно, сознавал, что мне не удалось еще разъяснить многого. Но в общем я был доволен этими несколькими часами, проведенными среди селян. Они слушают так много «ораторов», возвращающих им их собственные вожделения в форме, приправленной к их вкусу. Мне казалось, что если теперь им хоть отчасти

придется сверить свои взгляды с другими, им не столь приятными, то это будет то единственно полезное, чего только и можно добиться спором.

Кажется, я не ошибался. Через несколько дней ко мне пришла группа солдаток, и они заявили, что им теперь на селе не дают проходу за то, что они будто бы «говорили со мной дерзко».

— Неужто мы вас оскорбили?— спрашивали они.

Я охотно выдал им записку, в которой удостоверял, что они говорили со мной по моей просьбе, с которой я обратился к толпе, и я им благодарен, что они не отказались высказаться. Ничего дерзкого я от них не слышал.

И это была правда. Деревня просто не привыкла еще даже в разгаре революции к равноправному спору с человеком в городском костюме, и самый спор кажется им дерзостью. В разговоре со мной, в моей комнате, они опять изображали свое положение с горем и слезами. Расстались мы, казалось, друзьями, и у меня осталось впечатление, что если и на этот раз даже революция не сумеет ничего сделать для этой части сельского населения, то, значит, нашей жизни еще долго искать правды и успокоения.

О сходе в К. оживленно заговорили по деревням. Через несколько дней ко мне приехали зажиточные крестьяне из другого села с просьбой повторить у них то, что я говорил в К. Меня они не застали. Но через некоторое время приехал опять человек с той же просьбой. Он был из так называемых у нас полупанков, человек интересный и очень неглупый. И сам он, и вся его семья жили жизнью настоящих крестьян, работая не менее, а может быть, и более рядового селянина. Земли у них, помнится, было около ста десятин на большую семью. Он повторил приглашение и сообщил, что у них основывается общество «хлеборобов-собственников», и дал мне прочитать отпечатанную уже программу. В ней говорилось между прочим, что собственность «священна и неприкосновенна», были, помнится, еще и другие параграфы, указывающие на то, что эта демократическая часть селян склоняется скорее к программе крупных землевладельцев. Я ответил, что мои убеждения близки к социализму, что в моих глазах собственность священна и неприкосновенна в той же степени, как и остальные человеческие учреждения, то есть до тех пор, пока все общество в лице демократического государства не

сочтет нужным ее упразднить. Уже и теперь выяснилась необходимость произвести крупную земельную реформу, в основе которой лежит значительное отчуждение земель с целью надела безземельных и малоземельных, но я считаю, что это должно сопровождаться выкупом за счет государства, и совершенно отрицаю стихийные захваты. За этими оговорками я выразил согласие высказать у них эти свои мысли, как сделал это в К.

После этого за мной больше не присылали.

Общество хлеборобов-собственников продолжало формироваться. Был утвержден устав. Это вызывало в остальной части населения много толков. Если бы параллельно с этим малоземельные тоже пожелали образовать свое общество, то это и было бы совершенно в духе разумной революции; это могло бы при большем понимании свободы принести пользу и сильно подвинуть вперед разъяснение вопроса.

Но у нас дело пошло иначе. На первое же собрание нового общества мелких собственников, назначенное в Миргороде, явилась толпа безземельных, которые разогнали собрание силой. Беднягам «хлеборобам» пришлось спасаться и в окна, и в двери, и долго собрание не повторялось из опасений худших насилий.

Мне пришлось говорить по этому поводу с одним из моих соседей. Еще недавно он соглашался со мной, что свобода слова нужна для всех и что нельзя запретить хлеборобам-собственникам гласно обсуждать свои интересы. Но теперь, увлеченный общим потоком, он ответил, сверкая глазами:

— А все-таки хорошо... потому что они не хотят отдавать земли.

Такое же общество было основано в соседнем Хорольском уезде. Основателем его явился видный земец и землевладелец Коваленко. Деятельность общества закипела, но через несколько дней я встретил одного своего знакомого собственника и он мне сказал:

— Слыхали вы новость?.. Коваленко убили выстрелом в окно, вот какая это свобода...— прибавил он мрачно, и я видел, что вместе с испугом и угнетением в глазах его сверкают мрачные намеки, огонек затаившейся мести.

И это была не первая кровь, пролитая в связи с земельным делом. Такие убийства стали постоянным явлением, чуть не заурядным. В большом селе Полтавско-

го уезда был как-то убит человек, по общим отзывам очень хороший и делавший соседям немало добра. На недоумевающий вопрос одного из моих знакомых, почему он убит, один из общественников ответил с глубокомысленным видом:

— Для революции все равно, хороший он или нехороший. Одним собственником меньше, и его земля достанется народу.

К счастью, эти взгляды прививались далеко не всюду, но кое-где все-таки нелепая, бесчеловечная программа прямого истребления классовых противников сказывалась уже и до большевизма. Начавшись с побуждений естественной «классовой корысти», революция допустила их заглушить и свободу, и ответные призывы совести, так что нельзя стало отличить, где действует революционная программа, а где — простой, неприкрытый разбой. В своей усадьбе была, между прочим, убита А. Е. Ефименко, давняя и бескорыстная труженица литературы. Оставаться в деревне стало опасно не только помещикам, вызывавшим в прежнее время недовольство населения, но и людям, известным своей давней работой на пользу того же населения... Порой и там, где у близких соседей не поднималась рука, приходили другие, менее близкие, и кровавое дело совершалось. Так была убита в своей скромной усадьбе семья Остроградских, мать и две дочери, много лет и учившая, и лечившая своих соседей... Когда помещичьи усадьбы кругом пустели, они оставались, надеясь на то, что их защитит давняя работа и дружеские отношения к местному населению... Но и они погибли... Если это и был разбой, то в этом мрачном эпизоде оказалось бессилие селянства против разбоев. Люди, известные своим уголовным прошлым, теперь смело выступали на первый план, становились на ответственные должности, говорили от имени революции, а масса не смела пикнуть против них, как прежде не смела пикнуть против становых, творивших порой явные беззакония от имени царя...

Земельная реформа решительно пошла не в сторону общегосударственного дела, а в сторону стихийного захвата. У первого революционного правительства не хватило силы направить ее в государственное русло. Оно пыталось это сделать, но сумело только санкционировать эту реформу снизу назначением земельных комитетов. А пришедший за ним большевизм не имел

к этому и желания, он просто поощрял стихийный поток классовых захватов. Поэтому реформа решительно превратилась в стихийную «грабижку». Экономии громили без представления о том, что уничтожается «народное добро»... Рассказывают о случаях, когда роскошные зеркала попадали в крестьянские хлевы, а кареты и ландо можно было видеть запряженными волами...

Конечно, карикатурные явления, как трюмо в хлевах или кареты в воловьей упряжи, являются сравнительно редкими иллюстрациями, которыми жизнь отмечала нелепость разрушения земельного вопроса снизу захватом, без участия разумно разработанного государственного плана. Народ наш в общем все-таки не разбойник и не грабитель. Я знаю людей, работавших в сельских земельных комитетах, и знаю, что это часто были люди хорошие и разумные. Во многих местах имущества не расхищались, только реквизировались и охранялись от расхищения, хотя делалось это людьми малосведущими и темными. Было, наверное, в этой свалке и много людей, в душах которых не угасло представление о боге, сердца которых скорбели о происходящем.

Но у нас старой нашей историей убита смелость мнения, способного идти против какого-нибудь резкого течения...

И прежде у нас были целые деревни, где заведомые воры держали все население в страхе поджога или убийства и много лет верховодили беспрепятственно над целыми обществами. От этого у нас есть немало хороших людей, но толпа наша часто поддается побуждениям не своих лучших членов, а худших.

И вот маятник качнулся в другую сторону. Я пишу не ученый трактат, а только то, что видел, что чувствовал и думал по поводу виденного. Не могу сказать поэтому, как и в чем в других местностях России выразилась борьба разных слоев деревни между собой. У нас на Украине это приняло такие формы...

Совершился новый переворот, пришла «гетманщина». Ничем не замечательного потомка гетмана Скоропадского призвали к власти люди, опиравшиеся на съехавшихся к тому времени в Киев хлеборобов-собственников. Конечно, было в гетманском правительстве немало людей доброжелательных и хороших. Они стремились устроить безобидный порядок, говорили в цент-

ре приличные речи, излагали более или менее приличные программы, в том числе и земельную. Но это правительство было бессильно. С одной стороны, распоряжались всем немецкие офицеры, с другой — под внешностью переворота клокотали и кипели чувства классовой мести. Из собственнической молодежи, которой одной разрешалось иметь оружие, образовались отряды, которые производили карательные экспедиции. И эта охочая молодежь при поддержке немцев чинила жестокие налеты на села и деревни с побоями, с поркой и пролитием крови, но без всякого намека на правосудие.

Положение создалось такое: сельские комитеты были санкционированы Временным правительством и, значит, действовали «на законном основании». Теперь их часто третировали, как разбойников, не разбирая их действий по существу. Ко мне являлись крестьяне с рассказами о том, что творится в их деревнях.

Я пытался записывать их рассказы, излагал их в просьбах к властям. Но комиссары мало разбирались в этом. Приняв одну из таких просьб, уездный комиссар, даже не взглянув на нее, сказал: «Идите, идите домой. Там уж на вас наложена контрибуция».

Сверху шли приказы в одном смысле, местные власти делали свое в смысле не государственной работы, а только безоглядной классовой мести.

И опять нельзя сказать, чтобы в этом повинны были все или хоть большинство «хлеборобов», хотя и считалось, что гетманское правительство — их ставленник. Мне случалось читать письма «хлеборобов», полные негодования и возмущения против того, что делается при поддержке немцев. Но эти голоса опять звучали слабо и не могли остановить классовой мести, стихийной, слепой и жестокой. На одно насилие служило ответом другое, такое же насилие, и во многих умах являлось предчувствие, что будет, когда маятник опять качнется в другую сторону.

И маятник качнулся. На Украину пришел большевизм и утвердился надолго. Он прямо объявил диктатуру одного класса, вернее, даже не класса, а беднейшей его части, с ее вожделениями в качестве программы. Все, еще недавно пользовавшиеся в деревне общепризнанным правом владения, были за это поставлены как бы вне закона. Достаточно было числиться помещиком или хлеборобом-собственником, а особенно быть за-

несенным в списки как члену сельского общества, чтобы ежеминутно рисковать лишиться свободы, имущества, жизни...

Большевизм — это последняя страница революции, признающей верховенство классового интереса над высшими началами справедливости, человечности и права. С большевизмом наша революция сходит на мрачные бездорожья, с которых пока не видно выхода.

XIX
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я кончаю эту книгу греха и печали на холмистых берегах Псла, с которых в 1905 году смотрел на огненные столбы, зловеще вспыхивавшие на горизонте... С этих пор наше отечество пережило многое, но много ли оно подвинулось вперед в разрешении важнейших вопросов своей жизни, в том числе самого важного из них — вопроса земельного?

Первое, что теперь кидается в глаза в деревне, есть несомненный факт большого ее благосостояния, сравнительного с городом. У нее хлеб, которого в городе нет, а это, конечно, главное. Разумеется, она нуждается во многом, что перестал доставлять ей город, почти прекративший свою производительность, но все же деревня в общем не только более сыта, но лучше обута и одета. Это является результатом отчасти порядочного урожая 1919 года, который деревня весь приберегла у себя, отчасти и сложных общественных условий последнего времени, тяжелее отражавшихся на горожанах. Порой тут можно в иных случаях увидеть и следы «грабижки», которую, конечно, не так легко ликвидировать у ловких людей, умевших применяться ко всяким политическим условиям и извлекать выгоды из всякого режима среди безгласной деревенской массы. Но было бы слишком легкомысленно и поверхностно видеть в этом единственные или хотя бы главные результаты промчавшейся, но далеко еще не улегшейся бури.

Я опять вижусь с селянами, говорю с ними о пережитом и встречаю всюду разочарование, желание покоя и неуверенность в будущем. И эта неуверенность охватывает как раз не худшие, грабительские элементы деревни, а, наоборот, лучшие, которые имели бы право на поддержку и ободрение.

Увидел я опять и моих возражательниц на сходе в К. Казалось, они должны были пережить свой период полного торжества. Ведь они принадлежали к той части «владыки»-народа, верховенство и диктатуру которой кульминационный пункт российской революции — большевизм — объявил своим знаменем.

Я увидел их истомленными и жалкими. Мужья некоторых из них, уцелевшие на немецком фронте, теперь опять воюют...

Только теперь этот фронт уже не на внешней нашей границе. Огненными кровавыми чертами он прошел по живому телу России.

И жены опять плачут, не зная, живы ли отцы их детей... По выбору односельчан они были членами земельных комитетов и сельских исполкомов. Мне говорят, что они только добросовестно исполняли роль посредников между большевистскими властями и населением. Но «маятник власти», особенно в первое время, не входит в дальние разбирательства, и они, все-таки официальные лица при большевизме, должны были уйти с большевиками в неведомое будущее, полное борьбы и крови.

Когда эти мои знакомые узнали, что я приехал в их места и рад бы повидаться с ними, одна из них, робко подняв глаза, спросила:

— А не будет он нас бить?

Народ привык, что с каждой переменой приходит кто-нибудь, считающий себя вправе кого-нибудь бить. Другие их успокоили, и когда мы увиделись, то они мне говорили, как часто в их селе вспоминали старика, который говорил, что за землю придется платить или деньгами, или кровью. Много пролилось крови и слез, а за аренду десятины в их местах запрашивают 1200 рублей. И многие смотрят со страхом в непонятное и темное будущее. Проезжая по дорогам в середине октября, я увидел огромные пространства, еще даже не вспаханные под озими. Частью этому мешала засушливая осень, но частью и неопределенность земельных отношений. Неизвестно, сколько времени все это продлится.

В одном из приказов, напечатанных в газетах от имени генерала Деникина, говорится: «По дошедшим сведениям, вслед за добровольческими войсками при наступлении в очищенные от большевиков места являются владельцы, насильно восстанавливающие, нередко

при прямой поддержке войск, нарушенные в разное время свои имущественные права, прибегая при этом к действиям, имевшим характер „мести“». Генерал напоминает, что при том смятении и путанице, которые внесены в нашу жизнь междоусобием, армия не в состоянии разобраться с должной гарантией справедливости в спорных правовых взаимоотношениях.

Это, кажется, еще первая попытка остановить роковые качания маятника мести. В одной из последних речей того же генерала Деникина говорится, что главные затруднения в своей задаче восстановления государства он видит не на военных фронтах, искрестивших вдоль и поперек наше отечество, а в той партийной борьбе, которая идет в тылу, вероятно, даже в правящих сферах нашей власти. Есть, очевидно, и теперь очень много людей, видящих главную задачу в том, чтобы маятник мести качнулся еще раз в нужную им сторону...

Нетрудно угадать, что спор идет опять главным образом около земельного вопроса. Как рассуждают представители партии, которая считает себя торжествующей, справедливо ли, чтобы крестьянин получил всетаки землю, которой добивался «грабижками», поджогами, насилиями над помещиками? Нет, пусть другая сторона получит свой реванш и полное восстановление нарушенных прав.

Гибельное рассуждение, и не только гибельное, но и несправедливое. Признать его правильность — значит вернуться к старому, зачеркнув целиком всю революцию, которую недаром приветствовала вся Россия.

Надо признать, что вина в наших нынешних бедствиях не может быть взвалена на один какой-нибудь класс. Когда самодержавие Александра II уничтожило крепостное право, что оно, в сущности, сделало? Оно только устранило вековую неправду, слишком долго позорившую Россию.

К сожалению, вместо того, чтобы искренно и всецело признать эту прямую и человеческую истину, и тогда явилось много людей, которые стали говорить об «обиженном сословии», недостаточно удовлетворенном за свое «нарушенное право».

Эта точка зрения восторжествовала даже в царствование царя-освободителя, и она-то вызвала у нас мертвящий застой последних царствований и возрождение старой неправды в новых формах. Создалась фикция

«благородного сословия», «опоры трона», которому самодержавие дорогой ценой платило за обиду, нанесенную глубоко человеческой реформой. То, что падало естественно силой вещей, поддерживалось искусственно из общенародных средств и, что еще важнее, ценой глубокого застоя в жизни всей страны. Свобода обсуждения аграрного вопроса была объявлена опасной и наряду с этим арендные цены на землю искусственно подымались, что отмечали лучшие экономисты еще в 70-х годах (напомню о классическом труде проф. Скалона). Но правящие круги оставались глухи к этим голосам, и правительство порой даже стесняло свободу переселений, чтобы не вздорожал труд безземельных земледельческих работников.

Кто скажет, что в этом не было тяжкого греха, что это не было несправедливой классовой диктатурой!

Настоящая книга имеет целью показать, как этот тяжкий грех нашего прошлого, длившийся целые десятилетия, вызвал в конце концов нашу революцию со всеми ее крайностями. Диктатура нескольких десятилетий застоя порождала глухие, не слышные тогда среди безгласной России стоны нищенствующих Дубровок, Пралевок и Полетаевок и бесчисленного множества сел и деревень по всему лицу нашего отечества... Эти глухие стоны, эти невидимые слезы ядом накипали на сердце народа и сгустились в тучу, которая разразилась над нашим отечеством. Старая неправда продолжалась десятилетия, революция — несколько лет, оттого-то ее грехи виднее и резче.

Поэтому чем скорее мы перестанем говорить о классовой мести или о классовых наградах, тем это будет разумнее и тем более это будет соответствовать справедливости.

Дело не в наградах или в мести, а в том, что разумное государство должно беспристрастно разыскивать в прошлом глубокую неправду и спокойно и беспристрастно устранить ее на будущее...

Такая неправда прошлого была в застое, в безгласности и в задержке важнейших глубоких реформ.

И главной из этих реформ остается земельная реформа.

ПИСЬМА К ЛУНАЧАРСКОМУ

Письмо первое

Анатолий Васильевич!

Я, конечно, не забыл своего обещания написать обстоятельное письмо, тем более что это было и мое искреннее желание. Высказывать откровенно свои взгляды о важнейших мотивах общественной жизни давно стало для меня, как и для многих искренних писателей, насущнейшей потребностью. Благодаря установившейся ныне «свободе слова» этой потребности нет удовлетворения. Нам, инакомыслящим, приходится писать не статьи, а докладные записки. Мне казалось, что с Вами мне это будет легче. Впечатление от Вашего посещения укрепило во мне это намерение, и я ждал времени, когда я сяду за стол, чтобы обменяться мнениями с товарищем писателем о болящих вопросах современности.

Но вот кошмарный эпизод с расстрелами во время Вашего приезда как будто лег между нами такой преградой, что я не могу говорить ни о чем, пока не разделаюсь с ним. Мне невольно приходится начинать с этого эпизода.

Уже приступая к разговору с Вами (вернее, к ходатайству) перед митингом, я нервничал, смутно чувствуя, что мне придется говорить напрасные слова над только что зарытой могилой. Но — так хотелось поверить, что слова начальника Чрезвычайной Комиссии имеют же какое-нибудь основание и пять жизней еще можно спасти. Правда, уже и по общему тону Вашей речи чувствовалось, что даже и Вы считали бы этот кошмар в порядке вещей... но... человеку свойственно надеяться...

И вот на следующий день, еще до получения Вашей записки,— я узнал, что мое смутное предчувствие есть факт: пять бессудных расстрелов, пять трупов легли между моими тогдашними впечатлениями и той минутой, когда я со стесненным сердцем берусь за перо. Только два-три дня назад мы узнали из местных «Известий» имена жертв. Перед свиданием с Вами я видел родных Аронова и Миркина, и это кинуло отблеск личного драматизма на эти безвестные для меня тени. Я привез тогда на митинг, во-первых, копию официального заключения лица, ведающего продовольствием. В нем значилось, что *в деянии Аронова продовольст-*

венные власти не усмотрели нарушения декретов. Во-вторых, я привез ходатайство мельничных рабочих, доказывающее, что рабочие не считали его грубым эксплуататором и спекулянтом. Таким образом, по вопросу об этих двух жизнях были разные даже официальные мнения, требовавшие во всяком случае осторожности и проверки. И действительно, за полторы недели до этого в Чрезвыч⟨айную⟩ Комиссию поступило предложение Губисполкома: согласно заключению юрисконсульта, *освободить* Аронова или передать его дело в революц⟨ионный⟩ трибунал.

Вместо этого он расстрелян в административном порядке.

Вы знаете, что в течение своей литературной жизни я «сеял не одни розы» [1]. При царской власти я много писал о смертной казни и даже отвоевал себе право говорить о ней печатно много больше, чем это вообще было дозволено цензурой. Порой мне удавалось даже спасать уже обреченные жертвы военных судов, и были случаи, когда после приостановления казни получались доказательства невинности и жертвы освобождались (напр⟨имер⟩, в деле Юсупова), хотя бывало, что эти доказательства приходили слишком поздно (в деле Глускера и других).

Но казни без суда! Казни в административном порядке! Это бывало величайшей редкостью даже и тогда. Я помню только один случай, когда озверевший Скалон (варшавский генерал-губернатор) расстрелял без суда двух юношей. Но это возбудило такое негодование даже в военно-судных сферах, что только «одобрение» после факта неумного царя спасло Скалона от предания суду. И даже члены главного военного суда уверяли меня, что повторение этого более невозможно.

Много и в то время, и после этого творилось невероятных безобразий, но прямого признания, что позволительно соединять в одно следственную власть и власть, постановляющую приговоры (к смертной казни), даже тогда не бывало. Деятельность большевистских чрезвыч⟨айных⟩ следственных комиссий представляет пример, может быть, единственный в истории культурных народов. Однажды один из видных членов Всеукр⟨аинской⟩ Ч⟨резвычайной⟩ К⟨омиссии⟩, встретив меня в Полтавской Чрезвыч⟨айной⟩ Ком⟨иссии⟩, куда

[1] Выражение Ваше в одной из статей обо мне.

я часто приходил и тогда с разными ходатайствами, спросил меня о моих впечатлениях. Я ответил:

— Если бы при царской власти окружные жандармские управления получили право не только ссылать в Сибирь, но и казнить смертью, то это было бы то самое, что мы видим теперь.

На это мой собеседник ответил:

— Но ведь это для блага народа.

Я думаю, что не всякие средства могут действительно обращаться на благо народа, и для меня несомненно, что административные расстрелы, возведенные в систему и продолжающиеся уже второй год, не принадлежат к их числу. Однажды в прошлом году мне пришлось описать в письме к Христ⟨иану⟩ Георг⟨иевичу⟩ Раковскому один эпизод, когда на улице чекисты расстреляли несколько так называемых «контрреволюционеров». Их уже вели темной ночью на кладбище, где тогда ставили расстреливаемых над открытой могилой и расстреливали в затылок без дальних церемоний. Может быть, они действительно пытались бежать (немудрено) и их пристрелили тут же на улице из ручных пулеметов. Как бы то ни было, народ, съезжавшийся утром на базар, видел еще лужи крови, которые лизали собаки, и слушал в толпе рассказы окрестных жителей о ночном происшествии. Я тогда спрашивал у Христ⟨иана⟩ Георг⟨иевича⟩ Раковского: считает ли он, что эти несколько человек, будь они даже деятельнейшие агитаторы, могли бы рассказать этой толпе что-нибудь более яркое и более возбуждающее, чем эта картина? Должен сказать, что тогда и местный Губисполком, и центральная киевская власть немедленно прекращали (два раза) попытки таких коллективных расстрелов и потребовали передачи дела революционному трибуналу. Суд одного из обреченных Чрезв⟨ычайной⟩ Комиссией к расстрелу оправдал, и этот приговор был встречен рукоплесканиями всей публики. Аплодировали даже часовые красноармейцы, отложив ружья. После, когда пришли деникинцы, они вытащили из общей ямы 16 разлагающихся трупов и положили их напоказ. Впечатление было ужасное, но к тому времени они сами расстреляли уже без суда несколько человек, и я спрашивал у их приверженцев: думают ли они, что трупы расстрелянных ими, извлеченные из ям, имели бы более привлекательный вид? Да, обоюдное озверение достигло уже крайних пределов, и мне горько думать, что историку

придется отметить эту страницу «административной деятельности» Ч⟨резвычайной⟩ К⟨омиссии⟩ в истории первой российской республики, и притом не в XVII, а в XX столетии.

Не говорите, что революция имеет свои законы... Были, конечно, взрывы страстей революционной толпы, обагрявшие улицы кровью даже в XIX столетии. Но это были вспышки стихийной, а не систематизированной ярости. И они надолго оставались (как расстрел заложников коммунарами) кровавыми маяками, вызывавшими не только революционное негодование версальцев, которые далеко превзошли в жестокости коммунаров, но и самих рабочих и их друзей... Надолго это кидало омрачающую и заглушающую тень и на само социалистическое движение.

В сообщении по поводу ареста Аронова и Миркина, появившемся наконец 11 и 12 июня в «Известиях», говорится, что они казнены за хлебную спекуляцию. Пусть даже так (хотя все-таки невольно вспоминается, что продовольственные власти не усмотрели нарушения декретов, и это разногласие заслуживало хоть судебной проверки). Вообще, все это мрачное происшествие напоминает общественный эпизод Великой французской революции. Тогда тоже была дороговизна. Объяснялось это также самым близоруким образом — происками аристократов и спекулянтов и возбуждало слепую ярость толпы. Конвент «пошел навстречу народному чувству», и головы тогдашних Ароновых и Миркиных летели десятками под ножом гильотины. Ничто, однако, не помогало — дороговизна только росла. Наконец парижские рабочие первые очнулись от рокового угара. Они обратились к конвенту с петицией, в которой говорили: «Мы просим хлеба, а вы думаете накормить нас казнями». По мнению Мишле, историка-социалиста, из этого утомления казнями в С⟨ент⟩-Антуанском предместье взметнулись первые взрывы контрреволюции.

Можно ли думать, что расстрелы в административном порядке могут лучше нормировать цены, чем гильотина?

В сообщении официальной газеты приведены только четыре имени расстрелянных 30 мая, тогда как определенно говорилось о пяти. Из этого встревоженное воображение населения делает заключение, что список не полон. Называют еще другие имена... Между тем если есть что-нибудь, где гласность всего важнее, то это

именно в вопросах человеческой жизни. Здесь каждый шаг должен быть освещен. Все имеют право знать, кто лишен жизни, если уж это признано необходимым, за что именно, по чьему приговору. Это самое меньшее, что можно требовать от власти. Теперь население живет под давлением кошмара. Говорят, будто только часть казненных приводится в списке. Доходят до чудовищных слухов, будто даже прежняя процедура еще упрощается до невозможного отсутствия всяких форм. Говорят, что теперь можно обходиться даже без допроса подсудимого. Думаю, что это только испуганный бред... Но как выбить из голов населения мысль, что теперь бредит порой и сама действительность...

Мне горько думать, что и Вы, Анатолий Васильевич, вместо призыва к отрезвлению, напоминания о справедливости, бережного отношения к человеческой жизни, которая стала теперь так дешева,— в своей речи высказали как будто солидарность с этими «административными расстрелами». В передаче местных газет это звучит именно так. От души желаю, чтобы в Вашем сердце зазвучали опять отголоски настроения, которое когда-то роднило нас в главных вопросах, когда мы оба считали, что движение к социализму должно опираться на лучшие стороны человеческой природы, предполагая мужество в прямой борьбе и человечность даже к противникам. Пусть зверство и слепая несправедливость остается целиком на долю прошлого, отжившего, не проникая в будущее...

Вот я теперь высказал все, что камнем лежало на моем сознании, и теперь, думаю, моя мысль освободилась от мрачной завесы, которая мешала мне исполнить свое желание — высказаться об общих вопросах.

До следующего письма.

19 июня 1920 года.

Письмо второе

Это второе письмо я начну с конкретного примера. Так мне легче. Я не политик, не экономист. Я только человек, много присматривавшийся к народной жизни и выработавший некоторое чутье к ее явлениям.

В 1893 году я был на Всемирной выставке в Чикаго. Приготовления к выставке и сама выставка привлекли

в Чикаго массы рабочего люда. После выставки вспыхнули крупные волнения, вызванные наступившей безработицей, и одно время пульмановский городок, невдалеке от Чикаго, и самый город Чикаго оказались во власти восставших рабочих. В предвидении этого тяжелого положения губернатор штата Иллинойс, по фамилии Алтгелдж, человек своеобразный и прямо замечательный по смелости мысли и действий, один из лучших представителей американской демократии, сам стал еще до конца выставки призывать рабочих к тому, чтобы они заранее обдумали свое положение и старались организоваться для взаимопомощи.

И вот однажды на огромной площади у так называемого Дворца искусств, невдалеке от берега Мичигана, собрался митинг безработных. Он был грандиозен, как все в Америке. Огромная площадь оказалась залитой целым морем людских голов. Число участников по предварительному подсчету полиции далеко превысило двести тысяч еще задолго до часа, назначенного для открытия митинга.

Я тоже пошел туда. Картина была своеобразна: над морем людских голов возвышались «платформы», каждая на двух очень высоких колесах, и с каждой платформы к толпе обращался отдельный оратор. Я слышал тут знаменитого Генри Джорджа, проповедовавшего свой «единый налог», который должен был сразу разрешить социальный вопрос уничтожения земельной ренты. Социалист Морган, простой кузнец в блузе с засученными рукавами, взывал к силе рабочего класса. Указывая на огромные дома, окружавшие обширную площадь, он говорил: «Вы голодаете, а ведь все это ваше». С третьей платформы щебетала молоденькая мисс, в то время довольно популярная и усиленно рекомендовавшая... справочные конторы как лекарство от безработицы. Был и такой оратор-рабочий, который горячо доказывал, что капитал, организуя производство, служит одновременно и интересам рабочих и что между этими двумя классами — капиталистами и рабочими — должно установиться прочное дружеское сотрудничество.

Ораторы на платформах сменялись, но с каждой говорили люди единомышленные и звучали однородные призывы. В публике все время происходило соответственное движение: переходя от платформы к платформе, каждый имел возможность ознакомиться со взгля-

дами всех партий. Все это, очевидно, тяготело не к тому, чтобы в результате митинга получилось единое мнение, а лишь к тому, чтобы каждый мог получить разносторонние данные для собственного вывода. Остальное предоставлялось затем агитации каждой партии в отдельности.

Около меня послышался глубокий вздох. Вздыхал человек в поношенном костюме рабочего, может быть, тоже безработный.

— Эх... Все это не то,— сказал он, обращаясь ко мне,— надо было им всем сначала сговориться, а сюда прийти с одним выводом. Вот тогда был бы толк.

В говорившем мы узнали соотечественника, русского еврея. В компании, с которой я пришел на митинг, был очень интересный человек, тоже русский по происхождению. Но он приехал в Америку ребенком и хотя понимал по-русски (по семейной традиции), но сам говорил уже с трудом. Звали его мистер Стон. Он был, помнится, ремесленник, но уже обратил на себя внимание статьями по рабочему вопросу и поэтому, с одной стороны, играл видную роль в социалистической партии Чикаго, а с другой — губернатор Алтгелдж нашел возможным предложить ему место одного из фабричных инспекторов для официальной охраны интересов фабричных рабочих. В Америке такие парадоксы не редкость.

Я обратился к нему с вопросом:

— А вы как думаете, мистер Стон? Хотели бы вы, чтобы желание нашего соотечественника исполнилось?

— То есть?— спросил мистер Стон, добиваясь более точной формулы, а может быть, и не разобрав значения слов говорившего.

— То есть желали бы вы, чтобы во всех этих головах повернулась сразу какая-то логическая машинка и они, да и не одни они, а, пожалуй, и весь народ обратился бы к вам, социалистам, и сказал бы: «Мы в вашей власти. Устраивайте нашу жизнь»?

— Сохрани Бог!— ответил американский социалист решительно.

— Почему же?

— Ни мы, ни эта толпа, ни учреждения Америки еще к этому не готовы. Я — марксист. По нашему мнению, капитализм еще не докончил своего дела. Недавно здесь был Энгельс. Он говорил: «Ваш капитал отлично исполняет свою роль. Все эти дома-монстры отлично

послужат будущему обществу. Но роль его еще далеко не закончена». И это правда. Америка могла бы национализировать пока только одно железнодорожное хозяйство. Оно уже и теперь сосредоточено в руках нескольких миллиардеров. Но уже топливо... Придумать сразу же отношения между железнодорожными рабочими и рабочими по топливу — это предмет более сложный, хотя еще возможный... Что же касается до всесторонней организации народного хозяйства огромной страны на социалистических началах, то эта задача для нашей партии еще не по силам. Например, отношения между рабочими квалифицированными и черным трудом могли бы повести к огромным столкновениям. Это легко устраивается только на бумаге, в «Утопиях». Но мы, марксисты, отлично понимаем, что нам придется иметь дело не с людьми, сразу превратившимися в ангелов, а с миллионами отдельных, скажем даже, здоровых эгоизмов, для примирения которых потребуется трудная выработка и душ, и переходных учреждений... Америка дает для этого отличную свободную почву, но пока и только.

После митинга в нашей небольшой компании продолжалось обсуждение этого предмета, и я выяснил себе точку зрения американского социалиста, которую и постараюсь теперь восстановить «своими словами».

Общество не есть организм, но в обществе есть много органического, развивающегося по своим законам. Новые формы назревают в нем так же, как растут на дне океана коралловые рифы. Как известно, такой риф есть сплетение отдельных животных, развивающихся по законам собственной жизни. Сплетаясь, они образуют гряду, которая все растет. То, что можно бы сравнить с социальной революцией,— это тот момент, когда риф поднялся над поверхностью океана. В это время он подвергается свирепым ударам океанских волн, стремящихся снести неожиданную преграду, с одной стороны. С другой — влияние атмосферы стремится зародить жизнь на этой новой основе. Нужна была долгая органическая работа под водою, чтобы дать для этого устойчивое основание.

Не то же ли в обществе? Нужно много условий, как политическая свобода, просвещение, нужна выработка новых общественных сплетений на прежней почве, нужны растущие перемены в учреждениях и в человеческих нравах. Словом, нужно то, что один мой близкий

знакомый и друг, основатель румынского социализма, истинный марксист Геря Доброджану назвал «объективными и субъективными условиями социального переворота».

На мой взгляд, это основа философии Маркса. И вот почему Энгельс в самом конце прошлого столетия говорил, что даже Америка еще не готова для социального переворота.

У Доброджану нашлись возражатели, которые говорят, что, напр⟨имер⟩, Румыния уже готова! Правда, в ней действительно нет ни объективных, ни субъективных условий для социализма. Но разве мы не видим, что как раз те страны, где есть наиболее развитые объективные и субъективные условия, как Англия, Франция, Америка, отказываются примкнуть к социальной революции, тогда как, наоборот, Венгрия уже объявила у себя советскую республику [1]. Не передовая в развитии социализма Германия, где социалистические организации развиты более всех стран, а отсталая Россия, которая до февральской революции не знала совсем легальных социалистических организаций, выкинула знамя социальной революции. Из этого румынские возражатели Доброджану делали как будто вывод: чем меньше «объективных и субъективных условий в стране», тем она больше готова к социальному перевороту. Эту аргументацию можно назвать чем угодно, только не марксизмом.

Теперь эти возражатели могут прибавить еще примеры. Приезд делегации английских рабочих закончился горьким письмом к ним Ленина, которое звучит охлаждением и разочарованием. Зато с Востока советская республика получает горячие приветствия. Но — следует только вдуматься, что знаменует эта холодность английских рабочих-социалистов и приветы фанатического Востока, чтобы представить себе ясно их значение. На днях я прочитал в одной из советских газет возмущенное возражение турецкому «социалисту» Галиеву, статьи которого по армянскому вопросу отзываются прямыми призывами к армянской резне. Таков этот восточный социализм даже в европейской Турции. Когда же вы захотите ясно представить себе картину этих своеобразных восточных митингов на площадях

---

[1] Эта полемика велась в то время, когда в Венгрии существовала, хотя и кратковременная, советская республика.

перед мечетями, где странствующие дервиши призывают сидящих на корточках слушателей к священной войне с европейцами и вместе — к приветствиям русской советской республике, то едва ли вы скажете, что тут речь идет о прогрессе в смысле Маркса и Энгельса...

Скорее наоборот: Азия отзывается на то, что чувствует в нас родного, азиатского.

До следующего письма.

11 июля 1920 года.

Письмо третье

В моих письмах к Вам опять произошел значительный перерыв. Отчасти это случилось потому, что я был нездоров, но только отчасти. Главная же причина в том, что я был занят другим. Опять «конкретные случаи» не оставляли времени для общих вопросов. Вы легко догадаетесь, какие это конкретные случаи. Бессудные расстрелы происходят у нас десятками, и — опять мои запоздалые или безуспешные ходатайства. Вы скажете: вольно же во время междуусобия проповедовать кротость. Нет, это не то. Я никогда не думал, что мои протесты против смертной казни, начавшиеся с «бытового явления» еще при царской власти, когда-нибудь сведутся на скромные протесты против казней бессудных или против детоубийства. Вот мое письмо к председателю нашего Губисполкома товарищу Порайко, из которого Вы увидите, какие конкретные случаи отвлекли меня от обсуждения общих вопросов.

«Товарищ Порайко.

Я получил от Вас любезный ответ на свое письмо. Очевидно, заботясь о моем душевном спокойствии, Вы сообщили, что дело, о котором я писал, «передано в Харьков». Благодарю Вас за эту любезность по отношению ко мне лично, но я узнал, что 9 человек расстреляны уже накануне [1], в том числе одна девушка 17 лет и еще двое малолетних. Теперь мне известно, что Чрезвычайная Комиссия «судит» других миргородчан, и опять является возможность бессудных казней. Я называю их бессудными, потому что ни в одной стране

[1] Совершенно так же, замечу для Вас, Анатолий Васильевич, как во время Вашего приезда.

в мире роль следственных комиссий не соединяется с правом постановлять приговоры, да еще к смертной казни. Всюду действия следственных комиссий проверяются судом при участии защиты. Это было даже при царях.

Чтобы не запоздать, как в тот раз, я заранее заявляю свой протест. Насколько мой слабый голос будет в силах, я до последнего издыхания не перестану протестовать против бессудных расстрелов и против детоубийства».

В тот же день (7 июля) вечером мне пришлось послать тому же лицу дополнительное письмо.

«В дополнение к моему утреннему письму спешу сообщить Вам важное сведение, которое достоверно узнал только сегодня. После подавления прошлогоднего восстания, когда 14 человек было расстреляно в Миргороде (карательным отрядом), большевистская власть сочла себя удовлетворенной и на улицах было расклеено объявление *об амнистии по этому делу*. Теперь Губчека опять судит тех же лиц, которые, надеясь на верность слову советского правительства, доверились обещанной амнистии. Это обстоятельство известно всем миргородчанам. Хорошо известно оно и одному из видных членов Полтавской Чрезвычайной Комис⟨сии⟩ тов. Литвину.

Неужели возможны казни даже и при этих обстоятельствах? Это было бы настоящим позором для Советской власти!»

По такому же поводу мне пришлось еще писать к Христиану Георгиевичу Раковскому и председателю Всеукр⟨аинского⟩ Центрального Исполнительного Комитета тов. Петровскому. Последнее письмо считаю тоже нелишним привести здесь.

«Многоуважаемый тов. Петровский.

Я уже обращался по этому делу к тов. Раковскому. Теперь решаюсь обратиться к Вам. Дело это — ходатайство относительно малолетней дочери крестьянина Евдокии Пищалки, приговоренной Полтавской ЧК к расстрелу. Двенадцать человек по этому делу уже расстреляны [1]. Пищалка пока оставлена до решения ее участи в харьковских центральных учреждениях. Я не могу поверить, чтобы в этих высших инстанциях могли одобрить расстрел малолетней, в чем уже усомнилась

[1] Кажется — ошибка. В официальной газете приведено 9 фамилий.

даже здешняя Чрезвыч⟨айная⟩ Комиссия. Сестра Пищалки едет к Вам с последней надеждою. Неужели возможно, что она вернется без успеха и эта девочка[1], пережившая уже ужас близкой казни и агонию нескольких дней ожидания,— будет все-таки расстреляна?

Пользуюсь случаем, чтобы сообщить еще следующее: теперь решается судьба людей, привлеченных к делу о прошлогоднем миргородском восстании, *по которому уже была объявлена амнистия.* Говорят, это ошибка миргородской Чрезвычайной Комиссии, которая не имела права объявлять амнистии. Как бы то ни было, она была объявлена, и о ней были расклеены официальные объявления на улицах Миргорода после того, как карательный отряд расстрелял 14 человек. Это было сделано официально, от имени советской власти. Может ли быть, чтобы люди, доверившиеся слову советской власти, были расстреляны в прямое нарушение обещания!»

Товарищ Петровский дал телеграмму в Полтаву — не приводить приговор над малолетней в исполнение, и Пищалка, как говорят, отправлена в Харьков. Но так как «отправить в Харьков» — это формула, которая у нас равносильна «отправить на тот свет» (так в справочном бюро отвечают родным о расстрелянных), то в глазах населения судьба Пищалки остается мрачно-сомнительной. Также, по-видимому, не казнили до сих пор амнистированных, и они пока содержатся в заключении. Надо заметить, что после амнистии некоторые из них находились даже на советской службе и, по-видимому, в новых проступках не обвиняются.

Как раз на этом месте моего письма мне сообщили, что ко мне пришла какая-то девочка. Я вышел и узнал, что эта девочка и есть Пищалка. Она вернулась из Харькова свободная. Это доставило мне глубокую радость за нее и за ее семью. Но я не могу радоваться за нашу родину, где могла идти речь о расстреле этого ребенка и где ее уже вывели из арестантских рот вместе с другими, которые назад не вернулись.

Знаю, что наше время доставляет много таких «конкретных случаев», даже более потрясающих и трагических. Но я счел нелишним привести их здесь как

---

[1] Ей недавно только исполнилось 17 лет.

фон, на котором мы с Вами ведем теперь обсуждение общих вопросов [1].

Возвращаюсь к параллели, поставленной в предыдущем письме.

Над Россией ход исторических судеб совершил почти волшебную и очень злую шутку. В миллионах русских голов в каких-нибудь два-три года повернулся внезапно какой-то логический винтик, и от слепого преклонения перед самодержавием, от полного равнодушия к политике наш народ сразу перешел... к коммунизму, по крайней мере к коммунистическому правительству. Нравы остались прежние, уклад жизни тоже. Уровень просвещения за время войны сильно подняться не мог, и, однако, выводы стали радикально противоположны. От диктатуры дворянства («совет объединенного дворянства») мы перешли к диктатуре пролетариата. Вы — партия «большевиков» — провозгласили ее, и народ прямо от самодержавия пришел к вам и сказал: «Устраивайте нашу жизнь».

Народ поверил, что вы можете это сделать. Вы не отказались. Вам это казалось легко, и вы непосредственно после политического переворота начали социальную революцию.

Известный Вам английский историк Карлейль говорил, что правительства чаще всего погибают от лжи. Я знаю, теперь такие категории, как истина или ложь, правда или неправда, менее всего в ходу и кажутся «отвлеченностями». На исторические процессы влияет только «игра эгоизмов». Карлейль был убежден и доказывал, что вопросы правды или лжи отражаются в конце концов на самых реальных результатах этой «игры эгоизмов», и я думаю, что он прав. Вашей диктатуре предшествовала диктатура дворянства. Она покоилась на огромной лжи, долго тяготевшей над Россией. Отчего у нас после крестьянской реформы богатство страны не растет, а идет на убыль и страна впадает во все растущие голодовки? Дворянская диктатура отвечала: от мужицкой лени и пьянства. Голодовки растут не оттого, что у нас воцарился мертвящий застой, что наша главная сила — земледелие — скована дурными земельными порядками, а исключительно от недостатка опеки над

[1] А после отправки этого письма, в конце августа, освободили по распоряжению из Харькова также амнистированных ранее миргородцев.

народом лентяев и пьяниц. Мне с товарищами в голодные годы приходилось много бороться в литературе и в собраниях с этой чудовищной ложью. Что у нас пьянства было много, это была правда, но правда только частичная. Основная же сущность крестьянства как класса состояла не в пьянстве, а в труде, и притом в труде, плохо вознаграждаемом и не дававшем надежды на прочное улучшение положения. Вся политика последних десятилетий царизма была основана на этой лжи. Отсюда всевластие земского начальника и преобладание дворянства во всем гражданском строе и земстве. Эта вопиющая ложь проникала всю нашу жизнь... Образованное общество пыталось с нею бороться, и в этой «оппозиции» участвовали даже лучшие элементы самого дворянства... Но народные массы верили только царям и помогали им подавлять всякое свободолюбивое движение. У самодержавного строя не было умных людей, которые поняли бы, как эта ложь, поддерживаемая слепой силой, самым реальным образом ведет строй к гибели.

Формула Карлейля, как видите, пригодна, пожалуй, для определения причины гибели самодержавия. Вместо того, чтобы внять истине и остановиться, оно только усиливало ложь, дойдя наконец до чудовищной нелепости — «самодержавной конституции», то есть до мечты обманом сохранить сущность абсолютизма в конституционной форме.

И строй рухнул.

Теперь я ставлю вопрос: все ли правда и в вашем строе? Нет ли следов такой же лжи в том, что вы успели теперь внушить народу?

По моему глубокому убеждению, такая ложь есть, и даже странным образом она носит такой же широкий «классовый» характер. Вы внушили восставшему и возбужденному народу, что так называемая буржуазия («буржуй») представляет только класс тунеядцев, грабителей, стригущих купоны,— и ничего больше!

Правда ли это? Можете ли вы искренне говорить это? В особенности, можете ли это говорить вы, вы — марксисты!

Вы, Анатолий Васильевич, конечно, отлично еще помните то недавнее время, когда вы, марксисты, вели ожесточенную полемику с народниками. Вы доказывали, что России необходимо и благодетельно пройти через «стадию капитализма». Что же вы разумели тогда

под этой благодетельной стадией? Неужели только тунеядство буржуев и «стрижку купонов»?

Очевидно, тогда вы разумели другое. Капиталистический класс вам тогда представлялся классом, худо ли, хорошо ли,— *организующим производство*. Несмотря на все его недостатки, вы считали, совершенно согласно с учением Маркса, что такая организация *благодетельна* для отсталых в промышленном отношении стран, каковы, например, Румыния, Венгрия и... Россия.

Почему же теперь иностранное слово «буржуа» — целое огромное и сложное понятие — с вашей легкой руки, превратилось в глазах нашего темного народа, до тех пор его не знавшего, в упрощенное представление о «буржуе», исключительно тунеядце, грабителе, ничем не занятом, кроме стрижки купонов.

Совершенно так же, как ложь дворянской диктатуры, подменившая классовое значение крестьянства представлением о тунеядце и пьянице, ваша формула подменила роль организатора производства — пускай и плохого организатора — представлением исключительно грабителя. И посмотрите опять, насколько прав Карлейль со своей формулой. Грабительские инстинкты были раздуты у нас войной и потом беспорядками, неизбежными при всякой революции. Бороться с ними необходимо было всякому революционному правительству. К этому же побуждало и чувство правды, которое обязывало вас, марксистов, разъяснять искренно и честно ваше представление о роли капитализма в отсталых странах. Вы этого не сделали. Тактическим соображениям вы пожертвовали долгом перед истиной. Тактически вам было выгодно раздуть народную ненависть к капитализму и натравить народные массы на русский капитализм, как натравляют боевой отряд на крепость. И вы не остановились перед извращением истины. Частичную истину вы выдали за всю истину (ведь и пьянство тоже было). И теперь это принесло плоды. Крепость вами взята и отдана на поток и разграбление. Вы забыли только, что эта крепость — народное достояние, добытое «благодетельным процессом», что в этом аппарате, созданном русским капитализмом, есть многое, подлежащее усовершенствованию, дальнейшему развитию, а не уничтожению. Вы внушили народу, что все это — только плод грабежа, подлежащий разграблению в свою очередь. Говоря это, я имею в виду не одни только материальные ценности в виде созданных

капитализмом фабрик, заводов, машин, железных дорог, но и те новые процессы и навыки, ту новую социальную структуру, которую вы, марксисты, сами имели в виду, когда доказывали благодетельность «капиталистической стадии».

В 1902 году разыгрались в некоторых местах Полтавской и смежной Харьковской губерний широкие аграрные беспорядки. Крестьяне вдруг ринулись грабить помещичьи экономии, и затем, по прибытии властей, покорно становились на колени и так же покорно ложились под розги. Когда их, вдобавок, стали судить, то мне пришлось одно время служить посредником между ними и сорганизовавшейся защитой. В это время в моем кабинете в Полтаве крестьяне собирались порой в значительном количестве, и я старался присмотреться к их взглядам на происшедшее. Сами они были о нем не очень высокого мнения. Они называли все движение «грабижкой», и самые благоразумные из них объясняли возникновение этой «грабижки» по-своему: «Як дытына не плаче, то и маты не баче». Они понимали, что грабеж — неподходящий приступ для каких бы то ни было улучшений, но, доведенные до отчаяния, старались хоть чем-нибудь обратить внимание «благодетеля-царя» на свое положение. Остальное сделала слепая жадность, и движение приняло широкие размеры. Но царское правительство было слепо и глухо. Оно знало только необходимость дальнейшей опеки и «вечность незыблемых основ» и из внезапно и грозно прокинувшейся «грабижки» не сумело сделать выводов. Попытка (довольно разумная) аграрной реформы первой Думы была задушена, а побуждения, двигавшие крестьянскими массами во время «грабижки», остались до времени революции. Вы, большевики, отлили их в окончательную форму. Своим лозунгом «грабь награбленное» вы сделали то, что деревенская «грабижка», погубившая огромное количество сельскохозяйственного имущества без всякой пользы для вашего коммунизма, перекинулась и в города, где быстро стал разрушаться созданный капиталистическим строем производственный аппарат.

Борьба с этим строем приняла характер какой-то осады неприятельской крепости. Всякое разрушение осаждаемой крепости, всякий пожар в ней, всякое уничтожение ее запасов выгодно для осаждающих. И вы тоже считали своими успехами всякое разруше-

ние, наносимое капиталистическому строю, забывая, что истинная победа социальной революции, если бы ей суждено было совершиться, состояла бы не в разрушении капиталистического производственного аппарата, а в овладении им и в его работе на новых началах.

Теперь вы спохватились, но, к сожалению, слишком поздно, когда страна стоит в страшной опасности перед одним забытым вами фронтом. Фронт этот — враждебные силы природы.

До следующего письма.

4 августа 1920 года.

Письмо четвертое

На этот раз можно, кажется, обойтись без конкретных случаев, и я попытаюсь сразу же перейти к общим вопросам, пока события не завладели еще моим настроением.

Начинаю это письмо под впечатлением английской делегации. В нашем местном официозе напечатана или перепечатана откуда-то статья «Наша скорбь», сопровождающая письмо Ленина к английским рабочим. В ней прямо говорится, что, наряду с гордостью нашим революционным первенством, русские коммунисты переживают «трагедию одиночества». В письме Ленина звучит, по мнению автора, недоумение по поводу «самой возможности в нашу беспримерную эпоху таких «вождей» рабочих масс, каковы большинство приехавших в Россию английских делегатов»... «Английские тред-юнионисты, ничему, в сущности, не научившиеся, к несчастью, все еще представляют огромные массы английских рабочих».

Так как вы, партия коммунистов, являетесь только представителями «диктатуры русского пролетариата», то отсюда следует вывод, что наш пролетариат в своей массе шагнул далеко вперед в сравнении с английскими тред-юнионистами, движение которых представляет уже целую историю. В других советских газетах не раз уже повторялось, что вожди старого немецкого социализма, даже такие, как Каутский, являются презренными соглашателями и даже «продались буржуазии» [1]. Отбросив то, что можно объяснить полемической

[1] Полтавские «Известия» («Вісти»), 27 июня 1920, № 24.

несдержанностью и увлечением, остается все-таки факт: европейский пролетариат за вами не пошел, и его настроение в массе является настроением того американского социалиста Стона, мнение которого я приводил во втором письме. Они думают, что капитализм даже в Европе не завершил своего дела и что его работа может быть полезной для будущего. При переходе к этому будущему от настоящего не все подлежит уничтожению и разгрому. Такие вещи, как свобода мысли, собраний, слова и печати для них не простые «буржуазные предрассудки», а необходимые орудия дальнейшего будущего, своего рода палладиум, который человечество добыло путем долгой и небесплодной борьбы и прогресса. Только мы, никогда не знавшие вполне этих свобод и не научившиеся пользоваться ими совместно с народом, объявляем их «буржуазным предрассудком», лишь тормозящим дело справедливости.

Это огромная ваша ошибка, еще и еще раз напоминающая славянофильский миф о нашем «народе-богоносце» и еще более — нашу национальную сказку об Иванушке, который без наук все науки превзошел и которому все удается без труда, по щучьему велению. Самая легкость, с которой вам удалось повести за собой наши народные массы, указывает не на нашу готовность к социалистическому строю, а, наоборот, на незрелость нашего народа. Механика знает полезное и вредное сопротивление. Вредное мешает работе механизма и подлежит устранению. Но без полезного сопротивления механизм будет вращаться впустую, не производя нужной работы. Это именно случилось и у нас. Вы выкинули самые максималистские лозунги, вы воюете во имя социализма, вы побеждаете его именем на полях сражений, но вся эта суета во имя коммунизма нисколько не знаменует его победы.

В Румынии, которая во многом напоминает Россию, мне рассказывали случай, яркий, как нарочно придуманный анекдот, но тем не менее действительный. Там сохранились еще крупные поместья со всеми признаками нашего старинного боярства. Даже зовутся владельцы боярами, несомненно от славянского слова.

Порой такие бояре, особенно из молодых, склонны к крайним партиям, и многие из них проходили школу социализма Доброджану Гери. Как-то один из таких бояр, путешествуя по Швейцарии, заинтересовался анархизмом и познакомился с ученым садовником-

анархистом. Пили брудершафт и так понравились друг другу, что боярин стал звать анархиста в Румынию. У него на родине огромные имения, в том числе много земли под лесом, и он решил часть этого леса обратить в общественный парк. Это соответствовало взглядам анархиста: все имения боярина он охотно превратил бы в общую собственность, и он честно предупредил об этом приятеля. Он предвидит, что румыны, у которых есть такие «бояре», очевидно, представляют молодой народ, незараженный еще, как швейцарцы, буржуазными предрассудками, и потому там легче провести анархические идеи. Он предупреждает, что при первых признаках революции он не только не станет защищать частной собственности боярина, но, наоборот, сейчас же предоставит ее народу. Боярин согласился, может быть, потому, что опасность не казалась ему такой близкой...

И вот в одном углу Румынии ученый садовник-анархист на деньги и на земле боярина завел образцовый парк общественного пользования. Вскоре, однако, раскрылись неудобства, истекающие из «молодости народа»: на столах, на скамьях, на стенах появились скабрезные надписи, цветы бесцеремонно срывались, ветви на невиданных деревьях обламывались, ретирады превратились в клоаки. Анархист обратился с красноречивым воззванием, в котором объяснил, что парк отдается в распоряжение и под защиту населения: не надо срывать цветов, не надо обламывать ветви, не надо неприличных надписей... Но «молодой народ» ответил на пафос анархиста-теоретика своеобразным юмором: надписи появились уже вырезанные ножами, цветы и деревья уничтожались с ожесточением, ретирады еще более загажены. Тогда садовник пришел к боярину и сказал:

— Я не могу жить в вашей стране. Народ, который не научился, как вести себя в публичных местах, еще слишком далек от анархизма в моем смысле.

Этот случай объясняет суть моей мысли. Не всякое отсутствие навыков буржуазного общества знаменует готовность к социализму. Когда-то наш анархист Бакунин написал: «Нам надо войти в союз со всеми ворами и разбойниками русской земли». Он был теоретик по преимуществу и анархист, отрицавший собственность в теории. Вор отрицает ее практически. Пусть практика сольется с теорией. Нам теперь такое рассуждение кажется великой наивностью: между отрицанием собст-

венности анархиста-философа, далеко заглянувшего в будущее, и таким же отрицанием простого вора лежит целая бездна. Вору нужно сначала вернуться назад, выработать в себе честное отношение к чужой собственности, то есть то, чему учит «капиталистическая стадия», и уже затем не индивидуально, а вместе со всем народом думать об общественном отрицании собственности.

Вы скажете, что наш народ не похож на тех румын, о каких мне рассказывали. Я знаю: в степени есть разница даже и в самой Румынии. Но давайте честно и с любовью к истине поговорим о том, что такое теперь представляет наш народ.

Вы допустите, вероятно, что я не менее любого большевика люблю наш народ; допустите и то, что я доказал это всей своей приходящей к концу жизнью... Но я люблю его не слепо, как среду, удобную для тех или других экспериментов, а таким, каков он есть в действительности. Когда я путешествовал по Америке, например, я с удовольствием думал о том, что у нас невозможны такие суды Линча, какой около того времени разыгрался в одном из южных штатов: негр изнасиловал белую девушку и, чтобы скрыть преступление, убил ее. Население городка устроило суд и сожгло его живым на костре. Корреспонденты описывали шаг за шагом такие подробности: веревки перегорели, и несчастный сполз с костра. Толпа предоставила отцу убитой особую честь: он взял негра на свои дюжие руки и опять бросил в костер.

Я думаю, что даже и теперь, во время величайшего озверения, у нас подобное явление невозможно. Славянская натура нашего народа мягче англо-саксонской. У нас даже смертная казнь введена только греками вместе с христианством. Но это не мешает мне признать, что в Америке нравственная культура гораздо выше. Случай с негром — явление настолько исключительное, что эта исключительность и вызвала такой зверский суд толпы. В обычное же время, в среднем, молоденькая девушка может безопасно путешествовать по всей стране, охраняемая твердостью общественных нравов. Можно ли то же сказать о наших нравах? У нас такая путешественница может на всяком шагу попасть в сети нашей распущенности и развращенности. По натуре, по природным задаткам, наш народ не уступает лучшим народам мира, и это заставляет любить его. Но он дале-

ко отстал в воспитании нравственной культуры. У него нет того самоуважения, которое заставляет воздерживаться от известных поступков, даже когда этого никто не узнает. Это надо признать и надо вывести из этого необходимые следствия.

Нам надо пройти еще довольно долгую и суровую школу. Вы говорите о коммунизме. Не говоря о том, что коммунизм есть еще нечто неоформленное и неопределенное, и вы до сих пор не выяснили, что вы под ним разумеете,— для социального переворота в этом направлении нужны другие нравы. Из одного и того же вещества углерода получаются и чудные кристаллы алмаза, и аморфный уголь. Значит, есть какая-то разница во внутреннем строении самих атомов. То же нужно сказать и о человеческих атомах, из которых составляется общество: не всякую форму можно немедленно скристаллизовать из данного общества. Во многих городах Швейцарии уже теперь вы можете безопасно оставить любую вещь на бульваре и, вернувшись, застать ее на том же месте. А у нас — будем говорить прямо... Точный учет в таком вопросе, конечно, труден. Но вы знаете, у нас есть поговорка: не клади плохо, не вводи вора в грех. И вы, вероятно, согласитесь, что на тысячу человек, которые прошли бы мимо какой-нибудь плохо лежащей вещи, в Европе процент соблазнившихся будет гораздо меньше, чем в России. А ведь и такая разница уже имеет огромное значение для кристалла. Прошлую осень я был в украинской деревне и много разговаривал с крестьянами обо всем происходящем. Когда я рассказал о том, как в Тулузе моя дочь с мужем прожили год на квартире, населенной рабочими, ни разу не запирая на ночь дверей,— это возбудило величайшее удивление.

— А у нас,— грустно сказал на это один хороший и разумный крестьянин,— особенно в нынешнее время, если хлопчик принесет матери чужое, то иная мать его даже похвалит: хорошо, что несешь в дом, а не из дому.

И это с тех пор, как вы провозгласили коммунизм, не ослабло, а усилилось в огромной степени.

Маленький, но многозначительный пример: чтобы хоть несколько ослабить недостаток в продовольствии, городское управление Полтавы (еще «буржуазное») поощряло разработку всех свободных участков земли. Таким образом, участки перед домами на улицах оказались засаженными картошкой, морковью и пр. То же

и относительно свободных мест в городском саду. Это уже несколько лет стало традицией.

В этот год картофель уродился превосходный, но... его пришлось выкопать всюду задолго до того, как он поспел, потому что по ночам его просто крали. Кто крал — на этот раз это неважно. Дело, однако, в том, что одни трудились, другие пользовались. Треть урожая погибла потому, что картофель не дорос, запасов на зиму из остальной части сделать не пришлось потому, что недоспевший картофель сгниет. Я видел группу бедных женщин, которые утром стояли и плакали над разоренными ночью грядами. Они работали, сеяли, окапывали, пололи. А пришли другие, порвали кусты, многое затоптали, вырвали мелочь, которой еще надо было доходить два месяца, и сделали это в какой-нибудь час.

Это пример, указывающий, что такую вещь, как нравственные свойства народа, можно выразить в цифрах. При одном уровне нравственности урожай был бы такой-то и городское население до известной степени было бы обеспечено от зимнего голода. У нашего народа «при коммунизме» огромная часть урожая прямо погибла от наших нравов. Еще больший ущерб предстоит оттого, что на будущий год многие задумаются обрабатывать пустые места: никому неохота трудиться для воров... И никакими расстрелами вы с этой стихией не справитесь... Тут нужно нечто другое, и, во всяком случае, до коммунизма еще далеко.

* * *

Я хотел в этом письме обойтись без конкретных случаев. Но я едва закончил это письмо. У нас продолжается прежнее. По временам ночью слышатся выстрелы. Если это в юго-западной стороне — значит, подступают повстанцы, если в юго-восточной, в стороне кладбища,— значит, кого-нибудь (может быть, многих) расстреливают. Обе стороны соперничают в жестокости. Вся наша Полтавщина похожа на пороховой погреб, и теперь идет уже речь о расстреле заложников, набранных из мест, охваченных повстанием. Мера, если бы ее применить, бессмысленная, жестокая и только вредная для тех, кто ее применяет. Во время войны, особенно пока я был во Франции, я следил за этим варварским институтом, завещанным нам средними века-

ми, и должен сказать, что даже во время войны действительных расстрелов заложников, кажется, не было. Французы обвиняли в этом немцев, немцы французов. Но, кажется, что заложничество только и годилось для взаимных обвинений, а не для действительного употребления. То же нужно сказать и о нас: молодежи, скрывающейся теперь в лесах, и Махно, насторожившемуся уже поблизости, мало горя, если несколько стариков будут расстреляны. Это только даст им несколько новых приверженцев и окончательно озлобит нейтральное население. Ввиду, может быть, этих соображений, до сих пор расстрелов заложников еще не было. Но достаточно и того, что тюрьмы ими полны [1]. Сколько горя это вносит в семьи — это мне видно ясно по тем, кто приходит ко мне в слезах. И сколько работников отнято у этих семей в самый разгар сбора урожая.

А Махно, называющий себя, кстати сказать, анархистом, уже выпустил в местностях, им занятых, свои деньги. Мне говорили, что на них написано два двустишия: «Ой, жінко, веселись, в Махна гроши завелись». И другое: «Хто цих грошей не братиме, того Махно дратиме».

Вообще, это фигура колоритная и до известной степени замечательная. Махно — это средний вывод украинского народа (а может быть, и шире). Ни одна из воюющих сторон без него не обходилась. Вам он помог при взятии Донецкого бассейна. Потом помогал добровольцам, хотя бы пассивно, очистив фронт. При последнем занятии Полтавы махновцы опять помогли вам, а затем советская власть объявила его вне закона. Но он над этим смеется, и этот смех напоминает истинно мефистофельскую гримасу на лице нашей революции.

19 августа 1920 года.

Письмо пятое

Приходится задуматься о причинах явного разлада между западноевропейскими вожаками социализма и вами, вождями российского коммунизма. Ваша монопольная печать объясняет это тем, что вожди социализ-

[1] Увы! После этого о расстрелах заложников сообщалось даже в официальных «Известиях».

ма в Западной Европе продались буржуазии. Но это, простите, такая же пошлость, как и то, когда вас самих обвиняли в подкупности со стороны Германии.

Нет надобности искать низких причин для объяснения факта этого разлада. Он коренится гораздо глубже — в огромной разнице настроений. Дело в том, что вожди европейского социализма в течение уже десятков лет руководили легально массовой борьбой своего пролетариата, давно проникли в эти массы, создали широкую и стройную организацию, добились ее легального признания.

Вы никогда не были в таком положении. Вы только конспирировали и, самое большее,— руководили конспирацией, пытавшейся проникнуть в рабочую среду. Это создает совершенно другое настроение, другую психологию.

Европейские руководители социализма, принимая то или другое решение, рекомендуя его своим последователям, привыкли взвешивать все стороны этого шага. Когда, например, объявлялась стачка, то вождям приходилось обдумывать не только ее агитационное значение, но и все сторонние ее последствия для самой рабочей среды, в том числе данное состояние промышленности. Сможет ли масса выдержать стачку, в состоянии ли капитал уступить без расстройства самого производства, которое отразится опять на тех же рабочих. Одним словом, они принимали ответственность не только за самую борьбу, но и за то, как отразится рекомендуемая ими мера на благосостоянии рабочих. Они привыкли чувствовать взаимную зависимость между капиталом и трудом.

Вы в таком положении никогда не были, потому что благодаря бессмысленному давлению самодержавия никогда не выступали легально. Вам лично приходилось тоже рисковать, приходилось сидеть в тюрьмах за то, что во всей Европе уже было признано правом массы и правом ее вождей, и этот риск тюрьмы, ссылки, каторги заменял для вас в ваших собственных глазах и в глазах рабочих всякую иную ответственность. Если от ошибки в том или ином другом вашем плане рабочим и их семьям приходилось напрасно голодать и терпеть крайнюю нужду, то и вы получали свою долю страданий в другой форме.

И вот почему вы привыкли звать всегда к самым крайним мерам, к последнему выводу из схемы, к ко-

нечному результату. Вот почему вы не могли выработать чутья к жизни, к сложным возможностям самой борьбы, и вот откуда у вас одностороннее представление о капитале как исключительно о хищнике, без усложняющего представления об его роли в организации производства.

И отсюда же ваше разочарование и горечь по отношению к западноевропейскому социализму.

Рабочие сначала пошли за вами. Еще бы! После идиотского преследования всяких попыток борьбы с капиталом вы сразу провозгласили пролетарскую диктатуру. Рабочим это льстило и много обещало... Они ринулись за вами, то есть за мечтой немедленного осуществления социализма.

Но действительность остается действительностью. Для рабочей массы тут все-таки не простая схема, не один конечный результат, как для вас, а вопрос непосредственной жизни их и их семей. И рабочая масса прежде всех почувствовала на себе последствия вашей схематичности. Вы победили капитал, и он лежит теперь у ваших ног, изувеченный и разбитый. Вы не заметили только, что он соединен еще с производством такими живыми нитями, что, убив его, вы убили также производство. Радуясь своим победам над деникинцами, над Колчаком, над Юденичем и поляками, вы не заметили, как потерпели полное поражение на гораздо более обширном и важном фронте. Это тот фронт, на протяжении которого на человека со всех сторон наступают враждебные силы природы. Увлеченные односторонним разрушением капиталистического строя, не обращая внимания ни на что другое в преследовании этой своей схемы, вы довели страну до ужасного положения. Когда-то в своей книге «В голодный год» я пытался нарисовать то мрачное состояние, к которому вело самодержавие: огромные области хлебной России голодали, и голодовки усиливались. Теперь гораздо хуже: голодом поражена вся Россия, начиная со столиц, где были случаи голодной смерти на улицах. Теперь, говорят, вы успели наладить питание в Москве и Петербурге (надолго ли и какой ценой?). Но зато голод охватывает пространства гораздо большие, чем в 1891—1892 годах в провинции. И главное — вы разрушили то, что было органического в отношениях города и деревни: естественную связь обмена. Вам приходится заменять ее искусственными мерами, «принудительным отчужде-

нием», реквизициями при посредстве карательных отрядов. Когда деревня не получает не только сельскохозяйственных орудий, но за иголку вынуждена платить по 200 руб⟨лей⟩ и больше,— в это время вы устанавливаете такие твердые цены на хлеб, которые деревне явно невыгодны. Вы обращаетесь в своих газетах к селянам со статьями, в которых доказываете, что деревне выгодно вас поддерживать. Но, устраняя пока вопрос по существу, вы говорите на разных языках: народ наш еще не привык обобщать явления. Каждый земледелец видит только, что у него берут то, что он произвел, за вознаграждение, явно не эквивалентное его труду, и делает свой вывод: прячет хлеб в ямы. Вы его находите, реквизируете, проходите по деревням России и Украины «каленым железом», сжигаете целые деревни и радуетесь успехам продовольственной политики. Если прибавить к этому, что многие области в России тоже поражены голодом, что оттуда в нашу Украину, например, слепо бегут толпы голодных людей, причем отцы семей, курские и рязанские мужики, за неимением скота сами запрягаются в оглобли и тащат телеги с детьми и скарбом,— то картина выходит более поразительная, чем все, что мне приходилось отмечать в голодном году... И все это не ограничивается местностями, пораженными неурожаем. Уже два месяца назад у нас в Полтаве я видел человека, который уже шестой день «не видел хлеба», пробиваясь кое-как картошкой и овощами... А теперь вдобавок идет зима, и к голоду присоединяется холод. За воз дров, привезенных из недалеких лесов, требуют 13 тысяч. Это значит, что огромное большинство жителей, даже сравнительно лучше обеспеченных, как ваши советские служащие, окажутся (за исключением разве коммунистов) совершенно беззащитными от холода. В квартирах будет почти то самое, что будет на дворе. На этом фронте вы отдали все городское (а частью и сельское) население на милость и немилость враждебным силам природы, и это одинаково почувствует как разоренный, заподозренный, «неблагонадежный» человек в сюртуке, так и человек в рабочей блузе. Народ нашел уже и формулу, в которой кратко обобщил это положение. Один крестьянин, давно живущий в городе и занимающийся ломовым извозом, сказал мне как-то с горькой и злой улыбкой:

Як був у нас Микола дурачок,
То хліб був пьятачок.

А як прійшли розумны коммуністи,
То нічего стало людям істи,
Хліба ні за які гроши не дістанешь...

Этого не выдумаешь нарочно; это то, что само рождается из воздуха, из непосредственного ощущения, из очевидных фактов.

И вот рабочая среда начинает чувствовать вашу основную ошибку, и в ней являются настроения, которые вы так осуждаете в огромном большинстве западноевропейских социалистов: в ней явно усиливается меньшевизм, то есть социализм не максималистского типа. Он не признает немедленного и полного социального переворота, начинающегося с разрушения капитализма как неприятельской крепости. Он признает, что некоторые достижения буржуазного строя представляют общенародное достояние. Вы боретесь с этим настроением. Когда-то признавалось, что Россией самодержавно правит воля царя. Но едва где-нибудь проявлялась воля этого бедняги самодержца, не вполне согласная с намерениями правившей бюрократии, у последней были тысячи способов привести самодержца к повиновению. Не то же ли и с таким же беднягой нынешним «диктатором»? Как вы узнаете и как вы выражаете его волю? Свободной печати у нас нет, свободы голосования также. Свободная печать, по-вашему, только буржуазный предрассудок. Между тем отсутствие свободной печати делает вас глухими и слепыми на явления жизни. В ваших официозах царствует внутреннее благополучие в то время, когда люди слепо «бредут врозь» (старое русское выражение) от голода. Провозглашаются победы коммунизма в украинской деревне в то время, когда сельская Украина кипит ненавистью и гневом, и чрезвычайки уже подумывают о расстреле деревенских заложников. В городах начался голод, идет грозная зима, а вы заботитесь только о фальсификации мнения пролетариата. Чуть где-нибудь начинает проявляться самостоятельная мысль в среде рабочих, не вполне согласная с направлением вашей политики, коммунисты тотчас же принимают свои меры. Данное правление профессионального союза получает наименование белого или желтого, члены его арестуются, само правление распускается, а затем является торжествующая статья в вашем официозе: «Дорогу красному печатнику» или иной красной группе рабочих, которые до тех пор были в меньшинстве. Из суммы таких явлений и слагается то,

что зовется «диктатурой пролетариата». Теперь и в Полтаве мы видим то же: Чрезвычайная Комиссия, на этот раз в полном согласии с другими учреждениями, производит сплошные аресты меньшевиков. Всё более или менее выдающееся из «неблагонадежной» социалистической оппозиции сидит в тюрьме, для чего многих пришлось оторвать от необходимой текущей работы (без помощи «неблагонадежных» меньшевиков вы все-таки справиться не можете). И таким образом является новое «торжество коммунизма» [1].

Торжество ли это? Когда-то еще при самодержавии в один из периодов попеременного усилия то цензуры, то освобождавшейся своими усилиями печати, в одном юмористическом органе был изображен самодержец, сидящий на штыках. Подпись: «Неудобное положение» или что-то в этом роде. В таком же неудобном положении находится теперь ваша коммунистическая правящая партия. Положение ее в деревне прямо трагическое. То и дело оттуда привозят коммунистов и комиссаров, изувеченных и убитых. Официозы пишут пышные некрологи, и ваша партия утешает себя тем, что это только «куркули» (деревенские богачи), что не мешает вам выжигать целые деревни сплошь — и богачей, и бедных одинаково. Но и в городах вы держитесь только военной силой, иначе ваше представительство быстро изменилось бы. Ближайшие ваши союзники, социалисты-меньшевики, сидят в тюрьмах. Мне приходится то и дело наблюдать такие явления. В 1905 году, когда я был здоров и более деятелен, мне приходилось одно время бороться с нараставшим настроением еврейских погромов, которое, несомненно, имело в виду не одних евреев, но и бастовавших рабочих. В это время наборщики местной типографии, нарушая забастовку, печатали воззвание газеты «Полтавщина» и мои. Это невольно сблизило меня со средой наборщиков. Помню одного: он был, несомненно, левый по направлению и очень горячий по темпераменту. Его выступления навлекли на него внимание жандармских властей, и с началом реакции он был выслан сначала в Вологду, потом в Усть-Сысольск. Фамилия его Навроцкий... Теперь он опять в Полтаве и... арестован вашей чрезвычайкой за

---

[1] Теперь много меньшевиков административно высланы в Грузию.

одно из выступлений на собрании печатников [1]. Когда теперь я читаю о «желтых» печатниках Москвы и Петербурга, то мне невольно приходит на мысль: сколько таких Навроцких, доказавших в борьбе с царской реакцией свою преданность действительному освобождению рабочих, арестуются коммунистами чрезвычаек под видом «желтых», то есть «неблагонадежных» социалистов... Одно время шел вопрос даже о расстреле Навроцкого за его речь против новых притеснений свободы мнений в рабочей среде. Чего доброго — это легко могло случиться, и тогда была бы ярко подчеркнута разница чрезвычаек и прежних жандармских управлений. Последние не имели права расстреливать... Ваши чрезвычайки имеют это право и пользуются им с ужасающей свободой и легкостью.

Письмо шестое

В чем вы разошлись с вождями европейского социализма и начинаете все больше и больше расходиться с собственной рабочей средой? Ответ на этот вопрос я дал выше: он в вашем максимализме.

Логически это положение самое легкое: требуй всего сразу и всех, кто останавливается перед сложностью и порой неисполнимостью задачи, называй непоследовательным, глупым, а порой и изменником делу социализма, соглашателем, колчаковцем, деникинцем, вообще изменником...

Неудобство этого приема состоит в том, что и вы сами не можете осуществить всего сразу. Вы, например, допустили денежную систему. Это, конечно, только «на первое время», «пока наладится новый аппарат обмена», например, общественное снабжение. Но ведь ждать этого долго, и какой-нибудь еще больший максималист, нарисовав последствия денежной системы, которая действительно является одной из характернейших черт капиталистического строя, может логически сделать и вам упрек: вы допустили эту черту, значит, принимаете и ее

[1] В октябре Навроцкий был выслан по решению ЧК в северные губернии. Мне пришлось писать по этому поводу в Харьков. Мои «докладные записки» по начальству имели успех. Теперь Навроцкий свободен, но зато выслан в северные губернии его сын, уже раз еще в детстве бывший в ссылке вместе с отцом. Очевидно, «история повторяется».

последствия, а затем несколько логических ступеней, и вы колчаковец, деникинец, изменник делу социализма. И не говорите, что это для вас только временный этап; весь вопрос состоит именно в той мере компромисса идеала с действительностью, который «временно» принимают западноевропейские социалисты и вы. Вы схематики, максималисты, а они ищут меру революционных возможностей. Для вас не оказалось возможным упразднить сразу денежную систему, они видят еще много других невозможностей «сразу».

Логика — одно из могучих средств мысли, но далеко не единственное. Есть еще воображение, дающее возможность охватывать сложность конкретных явлений. Это свойство необходимо для такого дела, как управление огромной страной. У вас схема совершенно подавила воображение. Вы не представляете себе ясно сложность действительности. Математик рассчитывает, например, во сколько времени ядро, пущенное с такой-то скоростью, прилетит на Луну, но уже физик ясно представляет себе всю невозможность задачи, по крайней мере при нынешнем уровне техники. Вы только математики социализма, его логики и схематики. Вы говорите: мы бы уже всего достигли, если бы нам не мешали все мирные буржуи и если бы вожди европейского социализма, а за ними и большинство рабочих не изменили: они не делают у себя того, что мы делаем у нас, не разрушают капитализма.

Но прежде всего вы сделали у себя самое легкое дело: уничтожили русского буржуя, неорганизованного, неразумного и слабого. Вам известно, что европейский буржуа гораздо сильнее, а европейский рабочий не такое слепое стадо, чтобы его можно было кинуть в максимализм по первому зову. Он понимает, что разрушить любой аппарат недолго, но изменить его в данном случае приходится на ходу, чтобы не разрушить производства, которым человек только и защищается от вечно враждебной природы. У западноевропейских рабочих более сознания действительности, чем у вас — вождей коммунизма, и оттого они не максималисты. После переписки Сегрю и Ленина дело ясно: европейская рабочая масса в общем не поддержит вас в максимализме. Она остается нейтральной в пределах компромисса.

У нас в Полтаве тотчас после революции сменилось городское самоуправление. Оно стало демократическим

и вмешалось в ход прежнего снабжения. Между прочим, оно основало городской дровяной склад и, когда торговцы слишком вздували цены, городское управление усиливало свою продажу и цены падали. Тогда кричали, что и это социализм. Правоверные приверженцы капитала предпочитают вполне «свободную торговлю» без всякого вмешательства. Вам это показалось бы слишком скромно... Но Полтава была защищена от зимней стужи.

Это, конечно, мелочь, но она ясно намечает мою мысль. Только так можно вмешиваться в снабжение на ходу, не нарушая и не уничтожая его. Затем, по мере опыта, это вмешательство можно усиливать, вводя его во все более широкие области, пока наконец общество перейдет к социализму. Это путь медленный, но единственно возможный. Вы же сразу прекратили буржуазные способы доставки предметов первейшей необходимости, и ныне Полтава, центр хлебородной местности, окруженная близкими лесами, стоит перед голодом и перед лицом близкой зимы вполне беззащитная. И так всюду, во всех областях снабжения. Ваши газеты сообщают с торжеством, что в Крыму у Врангеля хлеб продается уже по 150 руб. за фунт. Но у нас (то есть у вас) в Полтаве, среди житницы России, он стоит уже 450 руб. за фунт, то есть втрое дороже. И так же все остальное.

Я уже говорил о том, что в Полтаве создалась традиция: жители обращаются ко мне как к писателю, который умел порой прорывать цензурные рамки. Прежде ко мне приходили люди, притесняемые царскими властями. Теперь идут родные арестованных вами. Среди этих последних есть много кожевников. Жизнь берет свое: несмотря на ваш запрет, кожевники-кустари то и дело принимаются делать кожи, удовлетворяя таким образом настоятельнейшей потребности в обуви ввиду зимы. Порой волостные исполкомы дают на это свою санкцию и понемногу кожа начинает выделываться, пока... не узнают об этом преступлении ваши власти и не прекратят его. Вам надо, чтобы «сразу» производство стало на почву социалистическую, даже коммунистическую, и вы прекращаете компромисс и соглашательство с буржуазными формами производства. Конечно, вы можете указать, что у вас уже есть кое-где «советские кожевни», но что значат эти показные бюрократические затеи в сравнении с огромной, как океан,

потребностью. И в результате посмотрите, в чем ходят ваши же красноармейцы и служащая у вас интеллигенция: красноармейца не редко встретить в лаптях, а служилая интеллигенция в кое-как сделанных деревянных сандалиях. Это напоминает классическую древность, но очень неудобно уже теперь к зиме. На вопрос, что будет зимой, ответом порой служат только слезы.

Вообще сердце сжимается при мысли о судьбе того слоя русского общества, который принято называть интеллигенцией. Рассмотрите ставки ваших жалований и сравните их с ценами хотя бы на хлеб. Вы увидите, какое тут смешное, вернее — трагическое несоответствие. И все-таки живут... Да, живут, но чем? Продают остатки прежнего имущества: скатерти, платочки, кофты, пальто, пиджаки, брюки. Если перевести это на образный язык, то окажется, что они проедают все, заготовленное при прежнем буржуазном строе, который приготовил некоторые излишки. Теперь не хватает необходимого, и это растет, как лавина. Вы убили буржуазную промышленность, ничего не создали взамен, и ваша коммуна является огромным паразитом, питающимся от этого трупа. Все разрушается: дома, отнятые у прежних владельцев и никем не реставрируемые, разваливаются, заборы разбираются на топливо — одним словом, идет общий развал.

Ясно, что дальше так идти не может, и стране грозят неслыханные бедствия. Первой жертвой их явится интеллигенция. Потом городские рабочие. Дольше всех будут держаться хорошо устроившиеся коммунисты и Красная Армия. Но уже и в этой среде среди добросовестных людей заметны признаки обнищания. Лучше всего живется всякого рода грабителям. И это естественно: вы строите все на эгоизме, а сами требуете самоотвержения. Докажите же, что вооруженному человеку выгодно умереть с голоду, воздерживаясь от грабежа человека безоружного.

Я говорил выше об одной характерной мелочи чисто бытового свойства, о грабеже огородов, принявшем такие размеры, что это лишает на будущее время побуждения к труду, не говоря только, какую роль при этом играли красноармейцы. Порой хозяева огородов делали засады на воров. Когда они застигали при этом людей штатского звания, те конфузились и убегали. Только красноармейцы отвечали просто: «Что же нам, сидеть

голодом, что ли?» И продолжали грабить, разве переходя с данного участка на участок соседа. Теперь еще одна такая же мелочь. Не далее двух недель назад из Полтавы уходил на фронт красноармейский полк. Штаб его помещается рядом с моей квартирой, и потому с утра вдоль нашей улицы выстроились ряды солдат. Во дворе дома, где я живу, есть несколько ореховых деревьев. Это привлекло солдат, и в ожидании отправки наш двор переполнился красноармейцами. Трудно описать, что тут происходило. Взлезали на деревья, ломали ветви и, постепенно входя в какое-то торопливое ожесточение и торопясь, как дети, солдаты стали хватать поленья дров, кирпичи, камни и швырять все это на деревья, с опасностью попасть в сидящих на деревьях или в окна нашего дома. Несколько раз поленья попадали в рамы, к счастью, не в стекла. Вы ведь знаете, что значит теперь разбитое стекло. Пришлось обратиться к начальству, но и начальство могло прекратить это только на самое короткое время. Через минуту двор опять был полон солдат, и мне едва удалось уговорить, чтобы не кидали поленьев и камней с опасностью побить окна. Все деревья были оборваны, и только тогда красноармейцы ушли, после торжественной речи командира, в которой говорилось, что Красная Армия идет строить новое общество... А я печально думал о близком бедствии, когда нужда не в орехах, а в хлебе, в топливе, в одежде, в обуви заставит этих людей, с опасным простодушием детей кидающихся теперь на орехи, так же кидаться на предметы первой необходимости. Тогда может оказаться, что вместо социализма мы ввели только грубую солдатчину вроде янычарства.

Мне пришлось уже говорить при личном свидании с Вами о том, какая разница была при занятии Полтавы Красной Армией и добровольцами. Последние более трех дней откровенно грабили город с «разрешения начальства». Красноармейцы заняли Полтаву как дисциплинированная армия, и грабежи, производимые разными бандитами, тотчас же прекратились. Только впоследствии, когда вы приступили к бессудным расстрелам, реквизициям квартир (постигавшим нередко и трудовые классы), это впечатление заменялось другим чувством. «Вы умеете занимать новые местности лучше добровольцев, но удержать их не умеете, как и они»,— закончил я тогда. Теперь приезжие из Киева рассказывают, что Красной Армии было предложено перед вы-

ступлением в поход «одеться за счет буржуазии». Если это подтвердится (а известие носит все признаки достоверности), то это будет значить, что опасный симптом уже начинается: вы кончаете тем, чем начинали деникинцы. Приезжие говорят, что на этот раз грабеж продолжался более недели, и это, может быть, указывает на начало последнего действия вашей трагедии.

* * *

Чувствую, что мои письма надо кончать. Они слишком затянулись и мешают мне отдаться другой работе. К тому же об этом предмете надо бы сказать гораздо больше и с бо́льшим изучением, а для этого у меня нет ни времени, ни здоровья. Поэтому закончу кратко: вы с легким сердцем приступили к своему схематическому эксперименту, в надежде, что это будет только сигналом для всемирной максималистской революции. Вы должны уже сами видеть, что в этом вы ошиблись: после приезда иностранных рабочих делегаций, после письма Сегрю и ответа Ленина эта мечта исчезает даже для вашего оптимизма. Вам приходится довольствоваться легкой победой последовательного схематического оптимизма над «соглашателями», но уже ясно, что в общем рабочая Европа не пойдет вашим путем и Россия, привыкшая подчиняться всякому угнетению, не выработавшая форм для выражения своего истинного мнения, вынуждена идти этим печальным, мрачным путем в полном одиночестве.

Куда? Что представляет ваш фантастический коммунизм? Известно, что еще в прошедшем столетии являлись попытки перевести коммунистическую мечту в действительность. Вы знаете, чем они кончались. Роберт Оуэн, фурьеристы, сенсимонисты, кабетисты — таков длинный ряд коммунистических опытов в Европе и в Америке. Все они кончались печальной неудачей, раздорами, трагедиями для инициаторов, вроде трагедии Кабе. И все эти благородные мечтатели кончали сознанием, что человечество должно переродиться прежде, чем уничтожать собственность и переходить к коммунальным формам жизни (если вообще коммуна осуществима). Социалист историк Ренар говорит, что Кабе и коммунисты его пошиба прибегли к слишком упрощенному решению вопроса: «Среди предметов, окружающих нас, есть такие, которые могут и должны

остаться в индивидуальном владении, и другие, которые должны перейти в коллективную собственность». Вообще, процесс этого распределения, за которое вы взялись с таким легким сердцем, представляет процесс долгой и трудной подготовки «объективных и субъективных условий», для которого необходимо все напряжение общей самодеятельности и, главное, свободы. Только такая самодеятельность, только свобода всяких опытов могут указать, что выдержит критику практической жизни и что обречено на гибель. «Кабе,— говорит Ренар (и другие утописты, прибавлю я),— не сумели еще найти принципа, который установил бы эту раздельную линию. Он уделял слишком много места власти и единству. Государство-община, о котором он мечтал, напоминает пансион, где молодым людям обеспечивают здоровую умеренную пищу, где одевают в мундир их ум, как и тело, приучают их работать, есть, вставать по звонку. Однообразие этой суровой дисциплины порождает скуку и отвращение. Этот монастырский интернат слишком тесен, чтобы человечество могло в нем двигаться, не разбив его». Вы вместо монастырского интерната ввели свой коммунизм в казарму (достаточно вспомнить «милитаризацию труда»). По обыкновению самоуверенно, не долго раздумывая над разграничительной чертой, вы нарушили неприкосновенность и свободу частной жизни, ворвались в жилье («Мой дом — моя крепость»,— говорят англичане), стали производить немедленный дележ необходимейших вещей, как и интимных проявлений вкуса и интеллекта, наложили руку на частные коллекции картин и книг... Не создав почти ничего, вы разрушили очень многое, иначе сказать, вводя немедленный коммунизм, вы надолго отбили охоту даже от простого социализма, введение которого составляет насущнейшую задачу современности.

Очевидец рассказывал мне следующую бытовую картину: с одного из съездов возвращались уполномоченные волостных комитетов. На этом съезде, по обыкновению, были приняты резолюции в самом коммунистическом духе. Среди крестьян, подписавших эти резолюции, царило угрюмое настроение. Они ехали в свои деревни, а там, как известно, настроение далеко не коммунистическое. В этой компании ехал горячий и, по-видимому, убежденный коммунист, доказывавший преимущества коммунистического строя. Ответом

на его горячие тирады было угрюмое молчание. Тогда он решил пробить этот лед и прямо обратился к одному из собеседников, умному солидному мужику, в упор предложив вопрос: «Почему вы молчите и что думаете о том, что я говорил вам?» — «Ось бачите,— ответил мужик серьезно,— все это, может быть, и правда... Да беда в том, что руки у человека так устроены, что ему легче горнуть до себе, а не від себе» (загребать к себе, а не от себя).

Как видите, это как раз то самое, к чему в конце опыта приходят мечтатели утопического коммунизма. Дело, конечно, не в руках, а в душах. Души должны перемениться. А для этого нужно, чтобы сначала перерождались учреждения. А это, в свою очередь, требует свободы мысли и начинаний для творчества новых форм жизни. Силой задерживать эту самодеятельность в обществе и народе — это преступление, которое совершало наше недавно павшее правительство. Но есть и другое, пожалуй, не меньшее,— это силой навязывать новые формы жизни, удобства которых народ еще не осознал и с которыми не мог еще ознакомиться на творческом опыте. И вы в нем виновны. Инстинкт вы заменили приказом и ждете, что по вашему приказу изменится природа человека. За это посягательство на свободу самоопределения народа вас ждет тоже расплата.

Социальная справедливость — дело очень важное, и вы справедливо указываете, что без нее нет и полной свободы. Но и без свободы невозможно достигнуть справедливости. Корабль будущего приходится провести между Сциллой рабства и Харибдой несправедливости, никогда не теряя из виду обоих вместе. Сколько бы вы ни утверждали, что буржуазная свобода является только обманом, закрепощающим рабочий класс, в этом вам не удастся убедить европейских рабочих. Английские рабочие, надеющиеся теперь провести ваши опыты (если бы, конечно, они оказались удачны) через парламент, не могут забыть, что буржуа Гладстон, действовавший под знаменем самодовлеющей свободы, чуть не всю жизнь боролся за расширение их избирательных прав. И всякое политическое преобразование в этом духе вело к возможности борьбы за социальную справедливость, а всякая политическая реакция давала обратные результаты. Политических революций было много, социальной не было еще ни одной. Вы являете

первый опыт введения социализма посредством подавления свободы.

Что из этого может выйти? Не желал бы я быть пророком, но сердце у меня сжимается предчувствием, что мы только еще у порога таких бедствий, перед которыми померкнет все то, что мы испытываем теперь. Россия представляет собою колосса, который постепенно слабеет от долгой внутренней лихорадки, от голода и лишений. Антанте не придется, пожалуй, долго воевать с нами, чтобы нас усмирить. Это сделает за нее наша внутренняя разруха. Настанет время, когда изнуренный колосс будет просить помочь ему, не спрашивая об условиях... И условия, конечно, будут тяжелые.

* * *

Я кончаю. Где же исход? В прошлом, 1919, году ко мне приезжал корреспондент вашего правительственного телеграфного агентства, чтобы предложить мне несколько вопросов о том, что я думаю о происходящем. Я не люблю таких интервью. Помимо того, что я писатель и мог бы сам сформулировать свои мысли, эти интервью почти всегда бывают неточны. Но опять-таки я писатель, то есть человек, стремящийся к тому, чтобы его мысли стали известны. А вы убили свободную печать. И я согласился отвечать корреспонденту, выразив только сомнение, чтобы мои мысли нашли место в большевистской печати. Он ответил, что за это он не ручается, но агентство разошлет это интервью руководителям советской власти.

Интервью в печати не появилось. Не знаю, было ли оно прислано Вам и нашли ли Вы время, чтобы с ним ознакомиться. Я тогда говорил в общем то же, что повторяю теперь. Вы умеете занимать новые места, но удержать их не умеете, и я чувствую, что вы на Украине потеряли уже почву. События это мое предчувствие оправдали: месяца через полтора вам пришлось оставить Украину под напором деникинцев. Теперь тучи над вашим господством на Украине опять сгущаются...

Тот румынский анархист, о котором я говорил ранее, пришел к заключению, что народ, который до такой степени не умеет вести себя в публичных местах, еще очень далек от идеального строя. Я скажу иначе: народ, который еще не научился владеть аппаратом голосования, который не умеет формулировать преобладающее

в нем мнение, который приступает к устройству социальной справедливости через индивидуальные грабежи (ваше: «Грабь награбленное»), который начинает царство справедливости допущением массовых бессудных расстрелов, длящихся уже годы, такой народ еще далек от того, чтобы стать во главе лучших стремлений человечества. Ему нужно еще учиться самому, а не учить других.

Вы победили добровольцев Деникина, победили Юденича, Колчака, поляков, вероятно, победите и Врангеля. Возможно, что вооруженное вмешательство Антанты тоже окончилось бы вашей победой, оно пробудило бы в народе дух патриотизма, который вы напрасно стараетесь убить во имя интернационализма (забывая, что идея отечества до сих пор еще является наибольшим достижением на пути человечества к единству, которое, наверное, будет достигнуто только объединением отечеств). Одним словом, на всех фронтах вы являетесь победителями, не замечая внутреннего недуга, делающего вас бессильными перед фронтом природы...

Вы видите из этого, что я не жду ни вмешательства Антанты, ни победы генералов. Россия стоит в раздумье между двумя утопиями: утопией прошлого и утопией будущего, выбирая, в какую утопию ей ринуться. Внешнее вмешательство только затемнило бы опыт, а генералы, вероятно, опять предводительствуют элементами, вздыхающими о прошлом и готовыми в пользу прошлого так же злоупотреблять властью, как вы в пользу будущего.

По мнению многих, положение России теперь таково, что остается надежда только на чудо. В разговоре с корреспондентом, о котором я говорил выше, я закончил призывом к вам, вожакам скороспелого коммунизма, отказаться от эксперимента и самим взять в руки здоровую реакцию, чтобы иметь возможность овладеть ею и обуздать реакцию нездоровую, свирепую и неразумную. Мне говорят, что это значило бы рассчитывать на чудо. Может быть, это и правда. Конечно, для этого понадобилось бы все напряжение честности и добросовестности для того, чтобы признать свои огромные ошибки, подавить свое самолюбие и свернуть на иную дорогу, на дорогу, которую вы называете соглашательством.

Сознаю, что в таком предположении много наивности. Но я оптимист и художник, а этот путь представляется мне единственным, дающим России достойный выход из настоящего ее невозможного положения. К тому же давно сказано, что всякий народ заслуживает того правительства, которое имеет. В этом смысле можно сказать, что Россия вас заслужила... Вы являетесь только настоящим выражением ее прошлого с рабской покорностью перед самодержавием, даже в то время, когда, истощив все творческие силы в крестьянской реформе и еще нескольких, за ней последовавших, оно перешло к слепой реакции и много лет подавляло органический рост страны. В это время народ был на его стороне, и Россия была обречена на гниль и разложение. Нормально, чтобы в стране были представлены все оттенки мысли, даже самые крайние, порой даже неразумные. Живая борьба препятствует гниению и претворяет даже неразумные стремления в своего рода прививку: то, что неразумно и вредно для данного времени, часто сохраняет силу для будущего.

Но под влиянием упорно ретроградного правительства у нас было не то. Общественная мысль прекращалась и насильственно подгонялась под ранжир. В земледелии воцарился безнадежный застой, нарастающие слои промышленных рабочих оставались вне возможности борьбы за улучшение своего положения. Дружественная трудящемуся народу интеллигенция загонялась в подполье, в Сибирь, в эмиграцию и вела мечтательно-озлобленную жизнь вне открытых связей с родной действительностью. А это, в свою очередь, извращало интеллигентскую мысль, направляя ее на путь схематизма и максимализма.

Затем случайности истории внезапно разрушили эту перегородку между народом, жившим так долго без политической мысли, и интеллигенцией, жившей без народа, то есть без связи с действительностью. И вот, когда перегородка внезапно рухнула, смесь чуждых так долго элементов вышла ядовитой. Произошел взрыв, но не тот плодотворный взрыв, который разрушает только то, что мешало нормальному развитию страны, а глубоко задевший живые ткани общественного организма. И вы явились естественными представителями русского народа с его привычкой к произволу, с его наивными ожиданиями «всего сразу», с отсутствием даже начат-

ков разумной организации и творчества. Немудрено, что взрыв только разрушил, не созидая.

И вот истинное благотворное чудо состояло в том, чтобы вы наконец сознали свое одиночество не только среди европейского социализма, но начавшийся уже уход от вас вашей собственной рабочей среды, не говоря уже о положительной ненависти деревни к вашему коммунизму, сознались бы и отказались от гибельного пути насилия. Но это надо сделать честно и полно. Может быть, у вас еще достаточно власти, чтобы повернуть на новый путь. Вы должны прямо признать свои ошибки, которые вы совершили вместе с вашим народом. И главная из них та, что многое в капиталистическом строе вы устранили преждевременно и что возможная мера социализма может войти только в свободную страну.

Правительства погибают от лжи... Может быть, есть еще время вернуться к правде. И я уверен, что народ, слепо следовавший за вами по пути насилия, с радостью просыпающегося сознания пойдет по пути возвращения к свободе. Если не для вас и не для вашего правительства, то это будет благодетельно для страны и для роста в ней социалистического сознания.

Но... возможно ли это для вас? Не поздно ли, если бы вы даже захотели это сделать?

22 сентября 1920 года.

СТАТЬИ

~

ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЯХ

О ГЛЕБЕ ИВАНОВИЧЕ УСПЕНСКОМ

Черты из личных воспоминаний

> Есть люди, подобные монетам, на которых чеканится одно и то же изображение. Другие похожи на медали, выбиваемые только для данного случая.
>
> *Гофман*

I

Глеб Иванович Успенский был именно такой медалью. Он был один, сам по себе, ни на кого не был похож, и никто не был похож на него. Это был уник человеческой породы, редкой красоты и редкого нравственного достоинства.

Нужно с грустью признаться, что реальная личность писателя, художника, артиста — редко совпадает с тем представлением, какое мы составляем по их произведениям. Во время творчества идей, звуков, образов мы становимся несколько выше нашей средней личности. Мы как бы уходим в маленькую горную часовенку, отгороженную от наших будней. А затем, «когда не требует поэта к священной жертве Аполлон», мы опять спускаемся с этих вершин, которые — велики они или малы — все-таки составляют высшие точки нашего личного существования. Иной раз этот обычный уровень очень удален от вершин, и вот почему так часто первое впечатление при встрече с писателем — бывает легкое движение разочарования: нам трудно связать в одно целое наше идеальное представление с реальною личностью.

Но бывают дорогие и редкие исключения, когда оба эти представления совпадают вполне и нераздельно. Таким именно исключением был Глеб Иванович Успенский.

Во второй половине 80-х годов я жил в Нижнем Новгороде, и среди моих близких знакомых был провинциальный писатель, который в то время вел литературный отдел в одной из приволжских газет. Всякий, кто жил уже сознательной жизнью в то смутное и туманное время, помнит общий тон тогдашнего настроения. У так называемой интеллигенции начиналась с «меньшим братом» крупная ссора (о которой последний, впрочем, по обыкновению, даже не знал). Хотя Успенский никогда не идеализировал мужика, наоборот, с большой горечью и силой говорил о «мужицком свинстве» и о распоясовской темноте даже в период наибольшего увлечения «устоями» и тайнами «народной правды», тем не менее в это время он всей силой своего огромного таланта продолжал призывать внимание общества ко всем вопросам народной жизни, со всеми ее болящими противоречиями и во всей ее связи с интеллигентною совестью и мыслью. Так что с реакцией против мужика начиналась реакция и против Успенского: к нему обращались запросы, упреки, письма. В одной из своих статей в «Отечественных записках» Глеб Иванович с большим остроумием отмечал и отражал это настроение при самом его возникновении. Он характеризовал его словами: «Надо и нам». Что в самом деле: мужик заполонил всю литературу. Мужик да мужик, народ да народ. «*Мы* тоже хотим... Надо и нам...» Нет сомнения, что у этого настроения были свои причины, пожалуй, далеко не безосновательные. Еще недавно многие требовавшие «и себе» красоты, мечты, ярких красок или внимания, не только не требовали этого, но даже, забывая о себе, отдавали все личное меньшему брату. Но жизнь, обманутые ожидания завели их в тупой переулок, из которого как будто не было выхода... Началось *само*углубление, *само*усовершенствование, решение вопросов изолированной личности, вне связи с общественными вопросами, до тех пор властно занимавшими умы и сердца. «Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя»,— с обычной меткостью характеризовал Глеб Иванович одну сторону этого настроения. Огорченный и разочарованный, русский интеллигентный человек углублялся в себя, уходил в культурные скиты или обиженно требовал «новой красоты», становясь особенно капризным относительно эстетики и формы.

Отчасти это настроение переживал и мой приятель. Кроме того, он был хорошо знаком с иностранными литературами, относительно же русской в его чтении были пробелы. В том числе и Успенского в целом он не знал и разделял предубеждение против его настойчивых призывов «все-таки смотреть на мужика».

Однажды он вошел в мою гостиную, когда за чайным столом, в кружке моей семьи и знакомых, сидел Глеб Иванович, только что приехавший в Нижний Новгород. Он говорил о чем-то своим обычным тоном, в котором проглядывала какая-то сдержанная, глубокая печаль, по временам вдруг уступавшая место вспышкам особенного, только Успенскому присущего, тихого юмора. Я представил своего приятеля. Успенский встал, пожал ему руку, невнятно пробормотал свою фамилию и опять обратился к занимавшей его теме, которая уже овладела вниманием слушателей. Взглянув случайно на своего приятеля, я заметил на его лице напряженное внимание, смешанное с чрезвычайным изумлением. Через четверть часа он поднялся с своего места и, выйдя в соседнюю комнату, поманил меня за собою.

— Кто это у вас?— спросил он с величайшим любопытством.— Я не расслышал его фамилии.

— А что? Почему вы спрашиваете таким тоном?

— Это какой-то необыкновенный человек. От него... веет гениальностью.

— Поздравляю вас,— ответил я, смеясь,— вы познакомились с Глебом Ивановичем Успенским.

После этого мой приятель несколько недель запоем изучал Успенского, все более и более увлекаясь, и в приволжских газетах появились статьи нового страстного поклонника Глеба Ивановича. Он был завоеван навсегда, и притом не писатель предрасположил его к личности, а, наоборот, необыкновенное обаяние личности обратило скептика к изучению произведений писателя.

Глеб Иванович Успенский не сказался в своих произведениях со всею силой своей необыкновенной личности и своего таланта. Чистый образ, тщательно выношенный в душе и выплавленный из однородного художественного материала, вообще легче привлекает внимание и живет дольше, чем та смесь образа и публицистики, посредством которой работал Успенский. Ему нужна была не красота, не цельность впечатления, не самый образ. С лихорадочной страстностью среди

обломков старого он искал материалов для созидания новой совести, правил для новой жизни или хотя бы для новых исканий этой жизни. То, что он предполагал известным, общим у себя и читателя, над тем он не останавливался для детальной отделки, то отмечал только беглым штрихом, заполнял кое-как, лишь бы не оставить пустоты. Наоборот, то, что еще только мелькало впереди смутными очертаниями будущей правды,— за тем он гнался страстно и торопливо, не выжидая, пока оно самопроизвольно сложится в душе в ясный, самодовлеющий образ. Он пытался обрисовать его поскорее для насущных надобностей данной исторической минуты теми словами, какие первые приходили на ум. От этого он часто повторялся, все усиливая находимые идеи, заставлял читателя переживать с ним вместе и его поиски, и его разочарования, и всю подготовительную работу, пускал жильцов, когда у постройки еще не были убраны леса. Все это искупалось важностью и насущностью занимавших Успенского вопросов, а общность настроений писателя и его читателей заполняла пробелы в этой торопливой работе. Теперь, когда настроение изменилось, пробелы выступают яснее, и, в целом, Успенский становится «труден». Однако всякий, кто не побоится лесов и видимого беспорядка в этой огромной работе, наткнется здесь и на замечательные образы, носящие печать более чем крупного таланта, и на глубокие, прямо «проникновенные» мысли (например, во «Власти земли», этой философии и эпопее земледельческого труда)... Но особенно интересна во всем этом — самая личность автора, с ее своеобразной глубиной, с ее необыкновенной чуткостью к вопросам совести, с ее смятением и болью...

И всякий, кто знал Успенского лично, кто помнит это обаяние и значительность основного душевного тона, который сразу чувствовался во всяком слове, движении, взгляде задумчивых глаз, в самом даже молчании Успенского,— согласится с отзывом моего приятеля: от этой своеобразной, единственной в своем роде личности «веяло гениальностью»...

II

С Глебом Ивановичем Успенским я познакомился лично в марте или апреле 1887 года.

В одну трудную эпоху моей жизни я получил от него через третьи или четвертые руки несколько слов привета и одобрения по поводу моих первых литературных опытов. Это внимание любимого писателя к неизвестному и затерянному в ссылке молодому человеку и та заботливость, с которой он старался переслать свой привет через разные посредствующие инстанции,— меня глубоко тронули и залегли в моей душе чувством особой благодарности не только к писателю, но и к человеку. С этим чувством я подымался в пятый (кажется) этаж большого дома на Васильевском острове, где в те годы жил Успенский. В то время портреты писателей не были так распространены, как теперь, и я не имел ни малейшего понятия о наружности Успенского. В передней, куда я вошел, меня встретил кто-то из молодежи, наполнявшей соседние комнаты. Был, помнится, какой-то семейный праздник, в квартире было весело и шумно. Над семьей тогда не чувствовалось еще приближение грозы, которая уже готовилась в близком будущем, и молодежь беззаботно веселилась, наполняя шумом всю квартиру. Я назвал свою фамилию и через несколько минут очутился в объятиях человека, которого в первое время не успел хорошенько рассмотреть. Только когда он отодвинулся, чтобы взглянуть мне в лицо, я увидел в первый раз его удивительные глаза, широко расставленные и глубокие. В них было что-то ласковое и печальное в то же время; лицо показалось мне усталым. Помню, однако, что оно как-то сразу, без всякого промежуточного впечатления и разлада, слилось со всем лучшим, что отлагалось в душе от его произведений. Мне казалось только, что лицо и взгляд автора «Будки», «Разоренья» и стольких картин, полных яркого и своеобразного юмора, должны бы быть несколько веселее. Однако я чувствовал, что от этого оно не стало бы лучше, чем с этой грустью, сосредоточенной, вдумчивой и как будто бы давно отложившейся на самом дне этой глубокой души.

Наскоро познакомив со своей семьей, Глеб Иванович увел меня в свою маленькую рабочую комнатку налево от входа. Усадив меня, он сел сам и закурил папиросу. Первую минуту оба мы молчали, но от этого молчания

мне совсем не было неловко. Наоборот, с первой же минуты я почувствовал себя близким к этому человеку с печальными глазами и ласковой улыбкой, как будто мы были давно знакомы. Он курил и прислушивался к веселому шуму молодежи, доносившемуся из соседних комнат. Когда взрывы веселья становились особенно ярки, лицо Глеба Ивановича как-то внезапно светлело, и он глядел на меня смягченным взглядом, будто приглашая принять участие в этой общей радости. Потом, как бы продолжая давно начатый разговор, он рассказал мне о своих детях, об их характерах и о причине семейного праздника.

Подробностей этого первого разговора я почему-то не помню так ясно, как запомнились мне впоследствии многие другие наши беседы. Помню только, что уже в середине вечера разговор коснулся Достоевского.

— Вы его любите?— спросил Глеб Иванович.

Я ответил, что не люблю, но некоторые вещи его, например «Преступление и наказание», перечитываю с величайшим интересом.

— Перечитываете?— переспросил меня Успенский с удивлением и потом, следя за дымом папиросы своими задумчивыми глазами, сказал:

— А я не могу... Знаете ли... у меня особенное ощущение... Иногда едешь в поезде... И задремлешь... И вдруг чувствуешь, что господин, сидевший против тебя... самый обыкновенный господин... даже с добрым лицом... И вдруг тянется к тебе рукой... и прямо... пррямо за горло хочет схватить... или что-то сделать над тобой... И не можешь никак двинуться.

Он говорил это так выразительно и так глядел своими большими глазами, что я, как бы под внушением, сам почувствовал легкое веяние этого кошмара и должен был согласиться, что это описание очень близко к ощущению, которое испытываешь порой при чтении Достоевского.

— А все-таки есть много правды,— возразил я.

— Правды?..

Глеб Иванович задумался и потом, указывая двумя пальцами в тесное пространство между открытой дверью кабинета и стеной,— сказал:

— Посмотрите вот сюда... Много ли тут за дверью уставится?

— Конечно, немного,— ответил я, еще не понимая этого перехода мысли.

— Пара калош...
— Пожалуй.
— Положительно: пара калош. Ничего больше...

И вдруг, повернувшись ко мне лицом и оживляясь, он докончил:

— А он сюда столько набьет... человеческого страдания, горя... подлости человеческой... что прямо на четыре каменных дома хватит.

Я невольно улыбнулся. Впоследствии мне пришлось не раз встречаться с этим изумительным умением Успенского — двумя-тремя словами, комбинацией первых попавшихся на глаза предметов — объяснять и иллюстрировать сложные явления, для которых другим нужны длинные рассуждения и множество слов... Его суждения всегда бывали кратки, образны, били в самую сущность явления и часто освещали его с неожиданной стороны. И никогда в них не было того легкого остроумия, в котором чувствуется равнодушие к предмету и безразличная игра ума. До сих пор я помню выражение лица, с каким он произносил эти слова: «страдание», «горе», «подлость человеческая» — в приведенном отзыве о Достоевском. Для него это не были простые понятия: каждое из них отражалось болью на его выразительном лице...

Может быть, в этой особенной чуткости сказывалась уже близкая болезнь... Но в то время мне это не приходило в голову, тем более что и эта печаль, и эта чуткость сливались в цельный образ, слишком привлекательный, чтобы казаться болезненным. Во время разговора он страшно много курил, и здесь опять у него был свой особенный, оригинальный прием: докурив папиросу до половины, он вынимал из нее своими тонкими, нервными пальцами картонный мундштук и как-то особенно ловко надевал недокуренную папиросу на другую, новую. С этой последней через некоторое время он проделывал то же самое, и таким образом его папироса не уменьшалась, а, наоборот, достигала иногда необычайных размеров...

Впоследствии много раз приходилось мне проводить время с Глебом Ивановичем, и почти всегда при этом я видел у него во рту эту длинную составную папиросу, которую он все дополнял с привычной ловкостью. Нередко также около него стояла бутылка вина или пива... Очень может быть, даже наверное, что и это неумеренное куренье, и вино оказали свое вредное влияние

и ускорили наступление болезни. Но меня всегда коробит и оскорбляет, когда я слышу или читаю об алкоголизме или «обычном пороке талантливых людей» в применении к Глебу Ивановичу Успенскому. Я лично пьяным его никогда не видел... Мне кажется, что у него не было любви ни к вину, ни к вызываемому вином изменению личности. Да такого изменения и не было: он оставался все тем же, с тем же грустно-задумчивым взглядом и той же улыбкой... Вообще, когда теперь я вспоминаю эту папиросу и вино и то, что я без привычки тоже курил и пил в присутствии Глеба Ивановича и что ни куренье, ни вино не оказывали на меня никакого действия,— то мне кажется, что это было какое-то ровное, беспрестанное и чрезвычайно интенсивное горение мозга и нервов, заразительное, вовлекавшее тотчас же и других в свою сферу. И в этом горении совершенно утопало впечатление наркотиков. Это были просто капли, шипевшие на раскаленной плите. Но плита раскалялась не ими...

Разговор Успенского тоже был совершенно особенный. Рассказывая что-нибудь, он глядел на собеседника своим глубоким, мерцающим взглядом, говорил тихо, как будто сквозь слегка сжатые зубы, и при этом жестикулировал как-то особенно, то и дело прикладывая два пальца к груди, как будто указывая на какую-то боль, которую он чувствовал от собственных рассказов где-то в области сердца. Его речь была отрывиста, без закругленных периодов, полная причудливых изгибов и неожиданных определений, часто вспыхивала своеобразным юмором. И никогда она не производила впечатления простой болтовни на досуге, среди которой так хорошо иногда отдохнуть от работы и от мыслей. Его молчание было отмечено теми же чертами, как и его разговор. В его отрывистых замечаниях и в его молчании чувствовалась какая-то неразрывная связь. В одном из своих очерков он говорит, что иногда можно «молчать о многом». Действительно, бывают разговоры, в которых содержания меньше, чем в полном молчании, и бывает молчание, в котором ход мысли чувствуется яснее, чем в ином, даже умном разговоре. Такое именно значительное молчание чувствовалось в паузах Успенского. Его речь и его паузы продолжали друг друга. Мысль его шла, как река, которая то течет на поверхности, то исчезает под землею, чтобы через некоторое время опять сверкнуть уже в другом месте. Раз вслу-

шавшись в основное содержание занимавшей его мысли, вы уже были во власти этого течения, во время самых пауз уже чувствовали это «молчание о многом» и невольно ждали, где эта неотдыхающая мысль опять сверкнет на поверхности каким-нибудь неожиданным поворотом, образом, картиной, иногда в одной короткой фразе или даже в одном только слове.

Я думаю, что эта манера молчать так же утомительна, как и напряженная работа. А между тем это было нормальное состояние Успенского, по крайней мере в том периоде его жизни, когда я знал его. Для него почти не существовало тех минут полного безразличия организма, когда в нем совершаются, не задевая сознания, одни только растительные, восстановляющие процессы. Некоторые «жития» рисуют нам подвижников, никогда не расстававшихся с молитвой, которая входила даже в их забытье и сон. Совершенно так же некоторые вопросы совести и мысли никогда не засыпали в Успенском. И это-то, я думаю, придавало такую выделяющую значительность его лицу, его словам, его взгляду, самому его молчанию...

Но это же и сжигало его неустанным огнем...

Все это, разумеется, сложилось для меня в полное, сознательное впечатление только впоследствии, при ближайшем знакомстве с Успенским, и даже продолжает выясняться теперь, когда я вглядываюсь в свои воспоминания. Помню, однако, что в этот первый вечер, выйдя на пустынную линию Васильевского острова, я очень удивился, взглянув на часы,— как уже поздно и как скоро прошло время. И я долго шел пешком, останавливаясь то на набережной, то на мосту, и ловил себя на этих невольных остановках, во время которых, глядя на Неву, на дома, на ночное небо, я, в сущности, был занят только переполнявшим меня впечатлением от этой своеобразной личности, с ее совершенно особенным душевным складом, значительным, глубоким и обаятельным.

III

В последующие годы мы встречались много раз то в Петербурге (во время моих приездов), то в Москве, а затем несколько раз он гостил у нас в Нижнем. Одно из этих посещений осталось в моей памяти с особенной

ясностью, может быть оттого, что некоторые поразившие меня черточки я тогда же, под первым впечатлением, набросал в своей записной книжке, а может быть, и потому еще, что от него осталось воспоминание, еще не омраченное тенью роковой болезни.

Это было в 1887 году, если не ошибаюсь, в конце июля или начале августа. Приехал Успенский в Нижний Новгород среди чудесных дней ранней осени, ласковых и теплых. В первые минуты он показался мне как-то особенно веселым, радостным, оживленным. Отделавшись от срочной работы, он приехал на пароходе и на следующий день собирался ехать дальше, вниз по Волге. В план его поездки входили: Казань, Симбирск, Самара, Саратов, Царицын. Из Царицына он должен был проехать в Калач, на Дон, и затем куда-то по железным дорогам, с намеченными остановками. Он чувствовал себя отлично, и от него веяло свежестью и впечатлениями Волги.

Однако у него никогда не было такого времени, когда бы он был совершенно свободен от какой-нибудь «господствующей идеи», служившей центром его настроения. И действительно, после первых радостных приветствий он посмотрел на меня своими выразительными глазами, с притаившейся в них тревожной печалью, и спросил:

— Читали вы лекцию госпожи NN?

Я лекции не читал, но встречал кое-что об ней в газетах. Это было время сильного увлечения теориями Ломброзо и антропологической школы. Лекция была первоначально прочитана, кажется в пользу высших женских курсов, женщиной-врачом и касалась среднего типа проститутки. Лекторша, на основании ряда исследований, приходила к заключению, что «тип этих женщин» — ниже среднего женского. Между прочим, Глеба Ивановича остановила одна подробность: оказалось, что нижняя челюсть проститутки выступает на какие-то полтора миллиметра больше, чем у средней добродетельной женщины.

Вся эта физиолого-анатомическая статистика, в которой утопает столько живого, личного, индивидуального горя, страдания и позора, это рассечение живого и болящего явления на предопределяющие особенности физиолого-анатомического свойства глубоко оскорбили Глеба Ивановича и приводили его в негодование. Он знал «жертвы», и притом именно жертвы общественных

условий и «общественного неустройства». А здесь выдвигался «низший тип», осужденный фатально несовершенствами собственной организации. Центр тяжести всей вины, тревожившей совесть и взывавшей к справедливости, переносился из ответственной социальной среды в фатальные условия природных предопределений. То обстоятельство, что лекцию читала женщина-врач в пользу высших женских курсов, перед аудиторией, в значительной части состоявшей из курсисток, которые проводили лекторшу аплодисментами,— особенно огорчило Успенского. В его чутком воображении за этой статистикой встал коллективный образ интеллигентной женщины, пробивающей себе дорогу к знанию и свету, а за ним — тысячи помраченных существований. И ему показалось, что добродетельная женщина с холодным пренебрежением закрывает глаза на горе своей погибающей сестры, слишком легко принимая теорию «низшего типа».

Я, повторяю, не читал самой лекции (напечатанной, кажется, в каком-то журнале), но попробовал было заступиться за цифры, допуская, что в массе гибнущих есть и «жертвы органических предрасположений», ослабляющих устойчивость в жизненной борьбе. Этот контингент может влиять на средний вывод, не устраняя вопроса о влиянии социального неустройства в огромном большинстве остальных случаев. Весь вопрос — в перспективе и выделении факторов общественных от чисто антропологических.

Глеб Иванович сначала смотрел на меня с печальным недоумением и укором, а затем, дослушав, сказал:

— Ну, вот-вот! Так где же оно, самое-то главное? В челюсти-то оно разве выражено? Нет, не защищайте, Владимир Галактионович: есть оно, это бездушие особенное... женское... добродетельное!.. Челюсть, и больше ничего! Полтора миллиметра, и кончено!..

И, сразу обидевшись за «недобродетельную» сестру, он стал беспощаден к добродетельной. По обыкновению, с паузами, со своим особенным молчанием «все о том же предмете», он стал прослеживать примеры «женского бездушия», иной раз удивляя нас кажущейся неожиданностью и как бы бессвязностью своих вылазок.

— Вот теперь в (таком-то журнале) мочалка пойдет...— сказал он, вдруг улыбнувшись.— Приходит в редакцию господин... Мрачный... Грива диаконская... под мышкой рукопись... «Вот, о производстве мочалок!

В N-ской волости, такой-то губернии...» — «То есть позвольте... каких мочалок?» — «А просто: мочалка! Которая в бане... или, например, рогожа...» — «Ах, вот что! Скажите пожалуйста: ма-а-чалка! В N-ской волости... Непременно, непре-менно напечатаем! Мочалка!.. Ах, как интересно».

Все мы хохотали над этой маленькой жанровой картинкой, хотя не понимали еще, какая связь между мочалкой и лекцией... Но вдруг он замолк, посмотрел на нас печальными глазами и, с особенной силой прижимая два пальца правой руки к левому лацкану пиджака, закончил внезапно изменившимся тоном:

— Да, вот: мочалка! А заступиться за женщин... за несчастных... за погибающих... Этого вот нет! Помилуйте: у нее вот челюсть на полтора миллиметра... Что тут поделаешь... Не-ет! Сделайте одолжение: вымеряйте получше. Может, у нее челюсть-то поаккуратнее вашей...

И он продолжал развивать эту тему своей обычной отрывистой речью, с паузами и неожиданными вспышками юмора. За женщиной-редактором последовали женщины-писательницы. Глеб Иванович находил, что и они повинны в пренебрежении и холодности к этому чисто женскому вопросу...

— Он и она... при луне... Любовь... На это вот мастерицы; чай влюбленная героиня разливает, так у нее любовь-то эта... даже в носке чайника... так вот и вьется... Или вот у другой: ребеночек умирает... Так она обои, на которые он смотрел, взяла и выдрала. Понимаете: *свой* ребеночек-то смотрел. Святыня!.. А вот у кого ни ребеночка, никого нет! Почему о них не напишут? Кому бы, кажется, за свою-то сестру заступиться... Написать всю правду... до конца!.. А не полтора миллиметра!..

Он опять помолчал и, грустно покачивая головой, прибавил:

— И аплодируют... Молодые, хорошие... счастливые...

Глаза его становились все глубже, печальнее, веселье начинало исчезать, папироса все вырастала и вырастала...

После обеда мы решили отправиться на так называемый в Нижнем «откос». Я надеялся, что эта прогулка, чудесный день и волжские пейзажи рассеют Глеба Ивановича и вернут ему то радостное оживление, с каким

он к нам явился в первые минуты после приезда. Несколько знакомых отправились вперед, а я с Успенским — за ними на извозчике. В одной из улиц верхнего города (значительно пустеющего во время ярмарки) навстречу нам, заполняя всю улицу стуком копыт и шуршанием скачущих по мостовой резиновых шин, промчалась коляска, в которой, развалясь, сидел молодой купец. У него было круглое, как луна, красное лицо, лоснящиеся русые кудри лезли из-под блестящего узкого цилиндра...

Глеб Иванович, до сих пор молчавший, повернулся в сидении и проводил его внимательным, изучающим взглядом.

— Видели?— спросил он.— Ну, что скажете?

— Да, фигура,— ответил я, не поняв вопроса.

— Нет... Этакой вот господин захочет вдруг себе удовольствие... Как вы думаете — скажет он: подавай мне, чтобы именно челюсть на полтора миллиметра?..

Я невольно засмеялся, а Успенский со своим печально-сосредоточенным видом закончил:

— Нет... Никаких денег не пожалеет, сотню подлого народа на поиски разошлет, а уж достанет... И чтобы все как можно лучше... чтобы и челюсть в самую пропорцию...

И он опять замолчал, но теперь я уже чувствовал, что это молчание заполнено все тем же волнующим его вопросом о падших и о виновных в этом падении.

Нижегородский откос, на высоком берегу, над Волгой воспет и прозой, и стихами в тысячах фельетонов и даже в серьезных повестях и рассказах. Действительно, вид с этого горного обреза на заволжские луга, на мреющее в золоте заката слияние двух рек, на тихо рокочущую далеко на «стрелке» ярмарку способен захватить в свои бездумные, ласкающие объятия самого угрюмого человека. Мы ходили по аллеям, садились на скамейки, любовались видами, болтали и смеялись, а через полчаса уселись на полукруглой площадке у ресторана.

Под нами расстилались, уходя вниз, зеленые вершины лип. Между зеленью ветвей, в промежутках, сверкала далеко внизу река, проходили баржи и пароходы... Целые часы можно было бы просидеть здесь, ни о чем не думая, даже ничего в особенности не выделяя в сознании, а только глядя на это небо, на эти синеющие дали, на реку, залитую косыми лучами солнца, и при-

слушиваясь к ласковому веянию ветра, доносившего снизу смягченный шум людской суеты...

— Ну, вот и посмотрите,— услышал я голос сидевшего рядом Глеба Ивановича,— ну, вот там, на балконе... Какие же тут полтора миллиметра?..

Я оглянулся по направлению его взгляда и увидел вверху, на балкончике ресторана, женскую фигуру. Это была красивая брюнетка кавказского типа, с широкими бровями и огромными черными глазами. Еще довольно свежее лицо выделялось своей белизной на фоне синевато-черных волос.

В этом ресторане пел хор певиц, начиная после обеда и до глубокой ночи. Это была наемная регентша хора, молодая грузинка или осетинка. Было еще рано, посетителей было мало, и девушки бродили по дорожкам, а регентша задумчиво смотрела вдаль, отдаваясь этой минуте отдыха и покоя под ласкающим ветром, шевелившим завитки ее буйных волос.

Глеб Иванович смотрел на нее, и на его лице рисовалась глубокая симпатия.

— Да, вот вам и полтора миллиметра,— говорил он с укором,— подите вот... Расспросите ее: как она сюда попала... А челюсть-то, сделайте одолжение: поаккуратнее многих...

В это время девушка с балкона кинула случайно взгляд на нашу группу и, очевидно, заметила, что мы на нее смотрим и говорим о ней. Для нее это было сигналом «начала работы». Она еще раз, как будто с сожалением, посмотрела на далекие луга и, приняв профессионально-ласковое выражение лица, обратилась к нам с приглашением войти внутрь ресторана и послушать пение.

Живя в Нижнем, я много раз бывал и на откосе, слушал «певиц» и на ярмарке, в первоклассных гостиницах, и в самых ужасных вертепах. Компании, с которыми мне пришлось посещать эти места, тоже бывали разнообразные; но впечатления все-таки походили друг на друга: всегда оставался какой-то осадок, неприятный и тяжелый. Только этот случай, когда я слушал ресторанных «певиц» с Глебом Ивановичем, оставил во мне совершенно особенное впечатление, так как, повторяю, человек этот был тоже совершенно особенный...

Мы поднялись наверх. В небольшой комнатке ресторана, с дощатыми подмостками для хора, стоял рояль. По зову регентши, девушки входили из сада и со скуча-

ющим видом подымались на эстраду... Потом спели какую-то песню... Вяло, лениво. Потом подошли со сбором «на ноты»...

Однако скоро это совершенно изменилось. Молодая осетинка, которая приняла наше приглашение присесть к столу, по-видимому, инстинктивно угадала, кто служит центром нашей, не совсем, быть может, обычной в ресторане, компании... И, когда подошел следующий номер,— она установила свой хор на эстраде, но сама вышла вперед и совершенно неожиданно запела одна, под аккомпанемент рояля, очень красивым задушевным контральто:

Не говори, что молодость сгубила...

Я пишу свои воспоминания, ничего в них не прибавляя, а только восстановляя то, что было, и несколько человек, бывших с нами в то время, без сомнения, помнят еще этот маленький эпизод. Я не знаю, чему приписать эту «отгадку» молодой певицы, так как до тех пор у нас шел самый обыденный разговор, полушуточный и легкий. Однако она именно угадала, что́ лучше всего спеть в данную минуту, и, стоя на эстраде, глядела на Успенского, как бы назначая именно ему свою песню. Пела она хорошо и с чувством...

Глеб Иванович был глубоко растроган, сидел, опустив голову, и по временам шептал, полуоборачиваясь к соседу:

— Д-да... да... Болен Некрасов. Умирает... Скоро... «холодный мрак могилы»... «Не говори, что молодость сгубила»... Да, да... вот именно так.

В это время, пока певица вела к концу свой романс, увлекая нас и, по-видимому, увлекаясь сама,— снизу, из люка с лесенкой, которая вела в этот зал с нижней веранды, появилась плотная, пьяная фигура. Какой-то ярмарочный посетитель, закутивший «на Стрелке» и приехавший докучивать на откос, в сером пальто, с котелком на затылке, хмельной и довольно безобразный, поднялся, привлеченный пением, и стал прямо между нами и эстрадой. Широкая фигура с расставленными ногами и палкой в руках совершенно закрыла певицу. Он был, видимо, недоволен выбором песни и только что отпустил какую-то пошлость, как Успенский протянул свою палку и тронул его концом в плечо.

Это было так неожиданно, что я с удивлением посмотрел на Глеба Ивановича и не мог не улыбнуться.

На его лице не было ни гнева, ни возбуждения, а только легкая досада и желание устранить препятствие, мешавшее ему спокойно слушать. Так мы устраняем с дороги не на месте усевшуюся собаку, кошку или даже просто какой-нибудь обрубок. Разумеется, пьяный господин не мог на это смотреть так же философски. Он повернул к нам свое разъяренное лицо, и, вероятно, романс закончился бы большим шумом, если бы, к счастью, находчивый Н. Ф. Анненский не подошел к освирепевшему посетителю и, весело и добродушно говоря что-то, отвел его в сторону. Озадаченный и сбитый с толку посетитель попал затем в руки официантов, которые усадили его за стол, а Глеб Иванович дослушивал последние звуки романса, как будто даже не заметив всего этого эпизода...

Когда после этого одна из певиц опять подошла «с нотами», Глеб Иванович вынул из правого кармана своего серого пальто бумажку и положил ее, не глядя. При следующем номере повторилось то же. Деньги он вынимал, как спички для закуривания папиросы или предмет совершенно неинтересный и не стоящий внимания. Я пробовал указать ему, что, в сущности, он дает не певицам и что все это поступит не *хору,* а только хищнице-хозяйке. Молодая осетинка, сидевшая по нашему приглашению за столом, оглянулась и тихо, чуть слышно, сказала: «Да, хозяйке... мы на жалованье»... Но это на Глеба Ивановича не оказало задерживающего действия. Он так же, не глядя, механически вынимал деньги и клал их «на ноты». Когда один раз я захотел остановить его, указав, что мы уже положили и что этого достаточно,— он посмотрел на меня с выражением укора и легкой досады и опять вынул наудачу то, что первое попалось под руку.

Видно было, что, и слушая, и внимательно глядя на певиц, и вынимая бумажку, он занят каким-то одним предметом, от которого как будто и не хочет, и не может отвлечься для таких пустяков, как деньги и их значение...

После этого я уже не останавливал его. Мы просидели до заката солнца, потом, попрощавшись с певицами, вышли в аллеи сада.

Здесь нас ждал новый маленький эпизод. В то время, когда мы сидели еще на площадке снаружи, к нам подходил маленький итальянец с каким-то инструментом вроде гармонии. На нем была остроконечная черная

шляпа, из-под которой выразительно глядели большие черные глаза. Играл он недурно, просил глазами еще лучше и, по-видимому отчасти благодаря нашей компании, сделал необычный сбор. Ввиду этого он позволил себе некоторую роскошь: подойдя к деревянному киоску на видной аллее, важно уселся на стул, положил у ног калабрийскую шляпу и гармонию и потребовал себе стакан мороженого.

Случилось, что в это время злой рок привел в сад его старшую сестру-нищенку, хромую девушку лет восемнадцати-двадцати на костылях. У нее было такое же смуглое лицо, такие же черные волосы и такие же выразительные глаза. Только лицо было болезненное, а глаза злые. Она быстро ковыляла по аллее на своем костыле, и так как мы подымались по дорожке к этому киоску, то маленькая драма завершилась на наших глазах: разъяренная девушка схватила беспечного музыканта за ухо как раз в то время, когда он подносил ко рту ложечку с мороженым.

Вышла маленькая жанровая сценка в очень красивой обстановке и, в сущности, очень благодарная для художника. Есть такие счастливые художники-олимпийцы, которые даже в самой казни видят благодарную «натуру». Глеб Иванович по своему темпераменту находился на противоположном полюсе. В своей автобиографии он пишет, что был в Париже после коммуны и видел, «как приговаривали к смерти сапожников и каменщиков». Но он сравнительно мало останавливался на этих картинах, и, я думаю, это не случайно: они подавляли его, он не мог овладеть ими, потому что его мозг и его нервы не вмещали всего их ужаса. Хорошо это для художника или дурно — я здесь этого вопроса не касаюсь: по отношению к Успенскому это был факт, входивший одним из составных элементов его личности. И теперь, при виде этого небольшого конфликта между братом и сестрой, пока мы еще успели вникнуть в смысл разыгравшейся перед нами сценки,— Глеб Иванович с страдающим и искаженным лицом кинулся к девушке и схватил ее за руку.

— Что ты делаешь... За что ты его бьешь?.. Какая ты скверная,— говорил он, сжимая руку озадаченной Немезиды своей нервной рукой. Та невольно разжала пальцы, и молодой кутила, вырвавшись, стрелой сбежал с небольшого откоса на нижнюю дорожку. Там он остановился без шляпы и гармонии и, чувствуя себя

сравнительно в безопасности, наблюдал происходящее своими темными, как чернослив, простодушными глазами.

Девушка, сначала испуганная, скоро, однако, оправилась и, всхлипывая и грозя брату кулаком, стала рассказывать нам о его ужасном преступлении и о причинах своего гнева. И вот, благодаря вмешательству Глеба Ивановича, в этом прелестном уголке, где для нас все было отдыхом, радостью и весельем,— перед нашими глазами вдруг развернулась, вместо комического интермеццо, целая драма. Оказалось, что в Нижний, на ярмарку, приехала семья итальянцев. Отец был музыкант, мать — певица, маленький сын — гармонист, вообще, кажется, вся семья готовилась исполнять на ярмарке что-то увеселительное. Но вдруг отец заболел и теперь лежал в каком-то вертепе Миллионной улицы, расстилавшейся внизу, под нашими ногами. Мать не могла оставить больного и маленьких детей. В качестве кормильцев оставались только — знакомый нам гармонист и она — хромая нищенка. Но ей подают мало, хоть она ходит целые дни, несмотря на больную ногу... Он должен бы играть и играть, чтобы собрать побольше денег... А он ест мороженое в то время, когда у родных нет куска хлеба для маленьких детей...

И она опять заплакала и погрозила кулаком злополучному кутиле, все еще державшемуся в почтительном отдалении. Мы постарались ее успокоить, кидая в поднятую ею шляпу мальчика серебряные деньги. Глеб Иванович сунул руку в карман пальто, вынул оставшуюся там единственную пятирублевку и подал ее удивленной девушке. Потом полез в другой карман, пошарил там, но в кармане уже ничего не было. Тогда, с несколько растерянным видом, он повернулся и очутился лицом к лицу с незнакомой дамой, с пышным бюстом и в роскошной шелковой накидке. Она и еще два-три любопытных фланера были привлечены маленькой трагикомедией и неожиданным вмешательством странного господина. Успенского, по-видимому, нимало не смутило то обстоятельство, что перед ним очутились люди, совершенно ему незнакомые. Он посмотрел в лицо дамы ласковым и доверчивым взглядом и сказал просто, как сказал бы хорошему знакомому:

— Вот видите, какое тут дело. Отец болен, мать с детьми... в трущобе. У меня больше нет. Дайте вы сколько-нибудь, вот они тоже... Ведь целая семья...

Дама высокомерно взглянула на неожиданного сборщика, пожала плечами и, повернувшись, поплыла по аллее. Остальные любопытные тоже нашли, что самый интересный момент миновал и что сбора, сделанного уже в пользу итальянцев, слишком достаточно для «бедного семейства». Глеб Иванович остался на дорожке один, провожая расходившихся внимательным взглядом. Я видел его лицо в эту минуту и очень жалел, что не мог снять его с этим выражением: проникновенность художника и простодушное удивление ребенка... Это почти детское простодушие и растерянность перед самым обычным проявлением черствости, и притом со стороны художника, который так понимал и так умел рисовать эти свойства среднего человека, составляли тоже особенную черту этого своеобразного и сложного характера.

Утром, тотчас после приезда к нам, Успенский говорил, что ночью спал мало и хочет лечь пораньше, чтобы отдохнуть перед дальнейшим путешествием. Ввиду этого я настаивал, чтобы не ходить уже никуда и чтобы Глеб Иванович ложился. Он покорно соглашался, но при этом как-то лукаво улыбался. Придя домой, он пошарил в чемодане и с торжеством вынул портмоне, из которого стал перегружать бумажки опять в левый карман.

— Да, вот!— сказал он, улыбаясь с веселым лукавством.— Я ведь человек предусмотрительный: сразу всего не взял. Видите: оставил про запас!

Я сильно подозреваю, что «предусмотрительность» принадлежала собственно жене Успенского, которая едва ли ожидала, что к «запасу» Глеб Иванович прибегнет уже в Нижнем.

Улеглись мы действительно довольно рано, в моей маленькой комнатке, в нижнем этаже дома, выходившего в густой сад. Летом окно в этот сад я оставлял открытым и на ночь, и листья деревьев почти лезли в комнату.

Среди ночи я проснулся под впечатлением совершенно фантастических видений и, раскрыв глаза, некоторое время чувствовал себя все еще как будто во власти сна: в окно тихо, с осторожностью пробирался из сада Глеб Иванович, а за окном, освещенная прорывающимися лучами месяца, виднелась фигура одного из наших общих друзей, очевидно, участвовавшего в заговоре и указывавшего Глебу Ивановичу этот путь для не-

заметного выхода и возвращения. Когда путешествие это совершилось благополучно, Глеб Иванович с лукавым видом послал фигуре за окном воздушный поцелуй и тихо сказал:

— Спит!..

Фигура за окном исчезла. Я окончательно пришел в себя и сообразил, что Глеб Иванович опять совершил экскурсию на откос.

— Вот вы как, Глеб Иванович,— сказал я.— А обещали лечь пораньше.

— Д-да... вот видите... Грешный человек... в окно... Ничего! Я сейчас лягу. Спите... Хотелось поговорить еще кое о чем. Удивительная девушка.

Однако сам он лег не сразу. Он сообщил мне, что у осетинки в Сызрани ребенок, и она своим пением зарабатывает на его содержание... Говорил он тихо, как будто про себя, и я начал дремать. Сквозь дремоту долго еще я видел фигуру Глеба Ивановича, сидевшего на постели с папиросой. Папироса все удлинялась; огонек ее, вспыхивая, освещал глубокие, сосредоточенные глаза и выразительное лицо Успенского.

— Да... Вот... Ребеночек... А она тут поет, до самой зари... Человека захватит какая-нибудь этакая шестерня... И ломает, и ломает всего... Что же тут челюсть? А я вот думаю: челюсть-то... она иной раз еще спасет... Будь эта вот, хромая, итальянка-то, поаккуратнее... Да тут, в этом аду... Господи боже!.. Давно бы ее закрутило...

Я зажег спичку и посмотрел на часы.

— Глеб Иванович, голубчик! Ведь уже три часа. А завтра на пароход в девять.

— Сейчас, сию минуту... Лягу... непременно... Я только говорю: челюсть-то эта пустяки!.. Подлость тут наша, а не челюсть... И это надо понимать, писать, говорить... Общество... все мы... а не челюсть... не челюсть... Нет, не челюсть...

И долго еще в темной комнате виднелся вспыхивающий огонек его папиросы и слышались отрывочные горькие замечания.

IV

На следующее утро мы приехали на пристань рано. Утро опять было чудесное, свежее. Пароход стоял у пристани, но свистка еще не было. Когда пришлось

брать билеты, Глеб Иванович пошарил в карманах, заглянул в кошелек и, как-то виновато улыбнувшись, сказал с легким удивлением:

— А ведь у меня денег-то... уже и нет.

Мы это предвидели, и потому, не ожидая этого признания, Н. Ф. уже стоял у кассы, чтобы взять Глебу Ивановичу пароходный билет. Такие истории должны были случаться с Успенским очень часто. В следующем году он писал мне, между прочим: «Были у меня и двести рублей, и еще двести, и еще триста, но все исчезло в тот момент, как только появлялось в руках. Долгов в деревне накопилась тьма — едва выбрался оттуда... Говорят, есть какие-то новые бумажки и будто бы они были у меня в руках, но я решительно не видал их — знаю, что мелькало что-то синее или красное...» Он сознавал в себе эту черту и иной раз отзывался о ней с легким юмором, как будто говорил о другом человеке. Но это было, так сказать,— вообще. В частности же, каждый раз, когда у него бывали деньги, он относился к ним с самым непосредственным равнодушием; и это ставило его нередко в невозможные, порой очень тяжелые положения.

— Ну, вот и отлично!— весело сказал он, получив от Н. Ф. билет.— Просто превосходно. Я вам непременно вышлю из Петербурга... А теперь мне бы еще... десять рублей.

— Мало, Глеб Иванович,— сказал я.— Ведь далеко.

— Нет! десять ровно. Я знаю... Я дам телеграмму, мне вышлют туда-то.

Мы не спорили, но вместо десяти рублей сунули Глебу Ивановичу в карман столько, сколько, по нашему мнению, должно было бы хватить на обычные путевые расходы.

На верхней палубе парохода ожидали уже две певицы из вчерашнего хора: осетинка и молодая девушка, почти ребенок, которую регентша, по-видимому, взяла под свое особое покровительство. Обе были одеты скромно и производили очень приятное впечатление. К Глебу Ивановичу они относились с какой-то особенной почтительностью, и радость, сверкнувшую в их глазах, когда он подходил к ним, можно понять, если представить себе обычный тон обращения публики с этими бедными созданиями... Хор был сравнительно приличный, но существование женщины даже в самом «приличном» хоре представляет только тщетные уси-

лия удержаться на наклонной плоскости. Ежегодно ярмарочная хроника отмечает не одну трагедию из этой области, которые мелькают и исчезают на общем фоне ярмарочной жизни. И те самые люди, которые вчера еще проводили вечер с певицами, забывая всякие «условности»,— сегодня не решаются подойти к ним днем и на глазах у публики...

Глеб Иванович поздоровался с ними просто и радушно. То, что составляло их жизнь,— являлось его болью, его страданием, предметом его неугомонной мысли, и это давало какой-то особенный тон их взаимным отношениям. Обычные расспросы равнодушных людей, бередящих и без того болящие раны,— без сомнения, являются для этих бедных девушек новым источником нравственных страданий, и они защищаются от них по-своему: никогда они не говорят своих настоящих имен, друг друга называют вымышленными и каждому любопытному допросчику рассказывают новую свою биографию. Но для Глеба Ивановича это были «настоящие» люди, он уже знал их «настоящую» жизнь и теперь с серьезным сочувствием записывал адрес какой-то сызранской мещанки, у которой находился на воспитании ребенок осетинки. Для них это было как бы свидание с добрым земляком, случайно встреченным в шумном городе...

Никаких денег они, разумеется, не ждали, и никому бы не пришло в голову предложить их. Мы позвали официанта и, устроившись в уголке, велели принести чайный прибор, так как все приехали сюда без чаю.

Публика прибывала, прогудел первый свисток.

К столику, за которым сидела наша небольшая компания, подошла какая-то старушка, маленькая, худая, с колющими бегающими глазами, в черном платье и темном платке, повязанном по-скитски, в роспуск. Она поклонилась нам всем и, называя девушек красавицами-прынцессами, стала просить денег. Она едет к Иоанну Кронштадтскому и просит на дорогу. Голос у нее был ханжески-фальшивый и неприятный. В словах «красавицы» и «прынцессы», которые она адресовала певицам, слышалась скрытая двусмысленность и осуждение.

Глеб Иванович как-то особенно насторожился и торопливо сунул ей серебряную монету. Она быстро схватила ее и отошла к другой группе, но в это время младшая певица засмеялась: у старухи из-под темной ко-

роткой юбки мелькнули желтые туфельки на высоких каблуках. Эти туфли, при костюме черницы-богомолки, производили действительно странное впечатление. Вероятно, кто-нибудь просто подарил их старухе, но молодая девушка с наивной бестактностью сказала:

— Господи! Точно у танцовщицы!

Старушка повернулась, смерила девушек пристальным, колющим взглядом и стала опять приближаться к столу, не спуская с юных грешниц своих строгих маленьких глазок. Девушки сразу притихли, а она не знала, которая из них оскорбила ее своим замечанием. Наконец она почему-то остановилась на осетинке.

— Нет, прынцесса моя,— сказала она зловещим голосом,— я не танцо́вщица, я богомолка. А тебе, миленькая, я скажу судьбу. Денег ты наживешь ох много! А прожить-то вот, прожить... и не успеешь...

Осетинка сразу побледнела. Старушка хотела сказать еще что-то, но в это время Глеб Иванович, до тех пор смотревший на всю сцену со вниманием художника,— понял ее значение и поднялся с места.

— Вот ведь какая ты злая старушонка,— сказал он, заступая богомолке дорогу,— денег тебе мало дали? На вот, возьми, возьми... вот! И иди себе... куда тебе надо...

Он сунул ей бумажку с таким видом, как будто это было орудие казни. Старушонка быстро схватила деньги и скрылась...

Перед самым отходом парохода к нам подошел какой-то субъект мещанского вида, в картузе и порыжевшем старом суконном пальто. Он вчера приехал в Нижний вместе с Глебом Ивановичем, между ними завязались уже какие-то нам непонятные отношения, и, повидимому, встреча на этой пристани была не случайна. Мещанин ехал в третьем классе и очень обрадовался, разыскав Успенского в нашем уютном уголке.

— Вот и отлично,— говорил ему Успенский,— вот и превосходно. Мы с вами, значит, еще потолкуем дорогой. А теперь я вот тут... со знакомыми людьми.

Незнакомец, успокоенный, удалился.

— Превосходный человек,— объяснил мне Глеб Иванович.— Просто замечательный... И какую над ним устроили подлость...

Последний свисток прервал рассказ об этой подлости, и через несколько минут пароход отошел от пристани, унося от нас Глеба Ивановича. Помню, я тогда заметил какое-то особенное изящество всей его фигуры.

Рассеянный, не от мира сего, не думающий о себе — он как-то всегда инстинктивно, непроизвольно умел сохранить это прирожденное изящество во всем, что к нему относилось.

Когда пароход повернулся, я еще раз увидел Успенского, сходившего вниз по лесенке. И мне показалось, что с ним шел человек, над которым «была сделана большая подлость»... На пристани, долго глядя вслед пароходу, стояли мы все, и среди нас две певички с откоса. Знали ли они, с кем свели знакомство, имели ли представление о том, что этого человека знала и любила вся образованная Россия? Не думаю. Это были простые, необразованные девушки, которых жизненные невзгоды, собственная беззащитность и красота (челюсти у них обеих действительно были, как говорил Глеб Иванович, вполне «аккуратные») кинули на этот путь, покатый и скользкий. Обе они пытались еще удержаться и надеялись, что удержатся на наклонной плоскости. И я уверен, что, как бы ни сложилась их дальнейшая судьба,— эта встреча с человеком, у которого были такие глубокие и любящие глаза, такая странная речь, к которому все относились с таким, может быть, не вполне понятным для них уважением и которого они провожали, как своего доброго знакомого, в это утро,— осталась в их памяти светлым пятнышком, совершенно особенным в обстановке их нерадостной жизни...

V

История этого дня имела некоторое своеобразное продолжение.

Я знаю, что Глеб Иванович путешествовал много и всегда один; значит, он как-то справлялся со всеми условиями путешествия. Но меня всегда это удивляет, когда я вспоминаю его младенческую непрактичность и его отношение к деньгам, как к безразличному сору...

Во всяком случае, данное путешествие закончилось не совсем обычным образом. Денег ему не хватило. Имел ли на это обстоятельство какое-нибудь влияние человек, над которым была «сделана подлость», или опять встречались другие люди, другие итальянские мальчишки и зловещие старухи, которых нужно было наказывать подачками денег, только уже в Калаче (или Царицыне — не помню) случилась катастрофа: нужно

было взять билет, а денег не оказалось ни копейки... Глеб Иванович сам рассказывал мне впоследствии об этом эпизоде, причем его рассказ, юмористический и простодушный вместе, удивлял меня опять смесью детской наивности и тонкой улыбки над ней, совмещавшихся странным образом в одном и том же лице.

— Да... вот... Так как-то вышло. Смотрю: нет! Окончательно ничего! А тут один поезд уже ушел, пока я сводил свой бюджет... Другой, пожалуй, уйдет.

— И что же?

— Да вот видите: свет не без добрых людей... Сторож выручил.

Оказалось, что, когда бюджет был сведен, Глеб Иванович не нашел сделать ничего лучшего, как поставить свой чемодан к стене, усесться на него и ждать событий или вдохновения. Так он просидел отход одного поезда. Когда народ начал набираться к другому, он все сидел на чемодане, наблюдая вокзальную толпу, чем обратил внимание служащего, стоявшего у двери. Его обязанность состояла в том, чтобы открывать и закрывать двери и по пути наблюдать за публикой, чтобы не случилось каких-нибудь неблагополучий. Мало ли всякого народу в толпе! Среди этих наблюдений он не мог, разумеется, не заметить странного изящного господина, в коричневом пальто и серой поярковой шляпе, неподвижно сидевшего на чемодане.

— Что вы, господин, сидите? Ведь поезд-то опять уйдет,— сказал он.

— Уйдет,— ответил Глеб Иванович с фаталистической уверенностью.

— Так что же вы?

— Ничего, брат, не поделаешь! Денег нет...

— Украли?.. Так вам бы заявить...

— Нет... не то чтобы украли... Просто нет... нету, понимаешь... Не хватило.

— А сколько не хватает-то?

— Да рублей десять бы нужно... Да, десять рублей (почему-то эта цифра легче всего приходила в голову Глебу Ивановичу).

— А куда ехать?

— Еду я в N.

— А сколько же у вас есть?

— Да вот видишь: ничего нету... Окончательно, ни копейки, ни одной...

Сторож смерил его удивленным взглядом и сказал, переходя на «ты»:

— Чудак! Как же ты до N. доедешь на десять рублей, когда билет стоит пятнадцать? Да, скажем, хоть три рубля на харч, да на извозчика. Прямо говори: тебе нужно восемнадцать серебра.

— Да, да... именно выходит, что восемнадцать...

— Ну, вот что я тебе скажу...

Бывали ли уже такие случаи с этим наблюдательным человеком, много лет изучавшим людскую толпу у своей двери, или опять это нужно приписать особому впечатлению наружности Успенского, только сторож самым деятельным образом вошел в интересы странного незнакомца. Он взял ему билет и дал на руки три рубля. Справедливость требует сказать, что к сумме долга он прибавил два рубля вознаграждения за свои хлопоты и в обеспечение уплаты оставил себе чемодан. Они условились, что Глеб Иванович пошлет ему деньги, в том числе и на пересылку чемодана, а сторож пришлет чемодан багажом на нижегородский вокзал, так как Успенский опять предполагал побывать в Нижнем. Конечно, всего проще было бы прислать чемодан на мое имя, но Глеб Иванович как-то «не догадался».

Деньги он послал вскоре же из Москвы, где мы с ним встретились, а поездку в Нижний отменил.

— Ну, Глеб Иванович, пропал ваш чемодан,— сказал я.— Сторож, разумеется, оставит у себя и восемнадцать рублей, и чемодан.

— Нет!— с уверенностью сказал Успенский.— Не такой человек... Просто превосходный человек. Наверное уже выслал, и накладная, пожалуй, уже на почте. Получите, пожалуйста!

И действительно, вернувшись в Нижний, я справился на почте и узнал, что есть заказное письмо на имя Глеба Ивановича из Калача или Царицына, но... мне его не могли выдать без доверенности. На вокзале оказался чемодан, которого опять я не мог получить без квитанции. А Глеб Иванович и по возвращении из своего путешествия все не посылал доверенности. По моей просьбе удержали письмо, и лично, при свидании в Петербурге, я получил от Успенского обещание: «Пришлю, непременно! Вот увидите». Только в январе следующего (1888-го) года пришла наконец нотариальная доверенность от «домашнего учителя» Успенского. «Сегодня,— писал мне Глеб Иванович 18 января,— послал я вам

доверенность на получение моего хоботья, но, кажется, переврал адрес... Посылаю это письмо наудачу... Хламье мое пусть лежит у вас столько, сколько оно захочет...»

Однако когда я опять справился на почте, то оказалось, что письма уже нет, а на вокзале «неизвестно кому принадлежавший чемодан с бельем, носильным платьем и пальто»,— был продан с аукциона.

На Глеба Ивановича печальная судьба чемодана не произвела ни малейшего впечатления. Несколько раз он вспоминал только, что остался должен нам за билет... «Непременно пришлю»,— прибавлял он при этом... От одного человека, говорившего о слабостях Глеба Ивановича, я слышал, между прочим, что он был не всегда аккуратен в уплате долгов... Фактически это, может быть, было верно, как и то, что Успенский пил вино... Но этот упрек показывает только, что говоривший не имел ни малейшего понятия об Успенском. Быть всегда аккуратным в уплате всех этих маленьких долгов для него было так же трудно, как не отдать всего, что у него было, первому встречному. И это так же мало касается оценки этого человека, как и толки об алкоголизме...

Но что эта черта — пренебрежение к деньгам и нерасчетливость — страшно вредила Успенскому, вынуждая к труду для заработка,— это, к сожалению, верно.

VI

Описанный выше приезд Успенского остался в моей памяти самым светлым воспоминанием, свободным еще от жутких опасений последующих годов. Правда, в нем была уже и тогда эта тревожная печаль, эта неотвязность болящих и грустных мыслей, эта особенная чуткость, которая даже общим понятиям придавала для него силу и боль реальных ощутительных явлений. Но я не знал его иным, и все это казалось почти нормальным состоянием человека, уже в юности плакавшего без видимых причин и содрогавшегося при всяком напоминании о прежней дореформенной среде и прежней жизни... Правда, к чувству умиления, вызываемому этой удивительной человеческой особью, уже порой присоединялось смутное опасение, как бы предчувствие, что такая впечатлительность и такая жизнь не может быть

прочной. Но это было именно только смутное предчувствие, делавшее симпатию к нему близко знавших его людей чуткой и опасливой. Но сам он бывал еще оживлен, остроумен, весел, много работал, и наши тревоги смолкали.

В следующий приезд в Нижний зловещие признаки выступали уже заметнее. Выражение лица было более страдальческое; он жаловался на галлюцинации обоняния и потерю вкуса.

— Ничего не ощущаю... точно шапку солдатскую жуешь,— по-своему причудливо выражал он это ощущение. Его особенный юмор, которым природа наделила его в таком изобилии и который, быть может, один долго служил противоядием печали, разъедавшей эту чуткую душу,— вспыхивал все реже, а печаль выступала все острее и ощутительнее. Впечатлительность как будто еще обострялась, или сила сопротивления слабела...

Из этого периода мне вспоминается один небольшой эпизод. Войдя в мой кабинет, он увидел над столом большой литографированный портрет Л. Н. Толстого.

— Что это значит?— спросил он, указывая глазами на портрет. Это был период, когда великий писатель находился в полемическом фазисе «непротивления», когда из-под его пера появилась сказка об Иване-дураке и другие рассказы той же серии, из-за которых еще не развернулась новая эволюция этого беспокойного и могучего духа.

Я ответил Глебу Ивановичу — перед чем именно я преклоняюсь в этом человеке. Он долго и задумчиво смотрел своими печальными глазами в суровые черты портрета и потом сказал:

— Да! Я вот давно собираюсь к нему... Поговорить... о многом...

И потом, улыбнувшись, прибавил:

— Боюсь все. Огромный он... А все-таки соберусь, непременно... Вот укреплюсь и поеду поговорить... о многом.

Сколько мне известно, он так и не собрался. Всю свою жизнь он отдал на служение любви и правде, не теоретизируя об их конечном источнике... Однако в последний период в его речах и писаниях слова «бог», «нет бога в душе» попадались часто, и мне кажется, что в них было больше, чем простая форма выражения известной мысли. Может быть, уже тогда в взволнованной

душе Успенского вставали мысли и образы, которые впоследствии отлились в определенные представления инокини Маргариты, ангелов, бога... И в содрогании чуткой души перед огромностью этих вопросов уже чувствовалась, может быть, надломленность и страдание надвигавшейся болезни...

Свои статьи этого времени он буквально писал соком уже больных нервов, а не писать не мог. Он все равно переживал их всем своим существом, страдал и мучился своими темами.

Помню, однажды, войдя к Н. К. Михайловскому, жившему тогда в «Пале-рояль», на Пушкинской,— я застал в его номере Глеба Ивановича. Он сидел на кушетке с папиросой в руках. Лицо у него было искаженное внутренней болью, одна бровь поднялась значительно выше, в глазах душевная тревога. Это было время, когда он писал рассказ «Взбрело в башку». Сюжет рассказа разыгрывался у него на глазах в Чудове, и на некоторое время всех нас, своих друзей, он втянул в эту печальную историю, все фазы которой он переживал, как мы переживаем разве опасную болезнь самых близких людей. В этот раз он уговорил меня ехать с ним в Чудово, желая показать этого человека:

— Может, вы ему что-нибудь скажете... Вы не можете себе представить, что это за человек... Какая душа! Просто замечательная! И как его всего перевернуло... Вот вы увидите сами... вот увидите!

Человек этот был местный крестьянин, занимавшийся извозом, и, приехав в Чудово, Глеб Иванович тотчас же кинулся к перилам деревянного вокзального перрона, выглядывая своего Герасима (имя я, впрочем, забыл) среди ожидавших на площади извозчиков. Теперь каждый раз, когда я проезжаю мимо Чудова, мне кажется, что я вижу фигуру Глеба Ивановича, перегнувшегося через перила и всматривающегося с выражением такой тревоги и опасения, как будто он ждал вести об опасно заболевшем собственном ребенке.

Герасима не оказалось, и вместо него нас повез другой извозчик, мужичонко неприятного вида, болтливый, с фальшивыми нотами в голосе. Глеб Иванович спросил у него о Герасиме, и затем, при разглагольствованиях нашего возницы, какие-то тени внутренней боли проходили по его лицу.

— Вот... вот видите...— сказал он мне, при какой-то особенной резнувшей ухо фразе извозчика...— Никогда

Герасим не скажет такого. Ник-когда! Просто удивительно деликатный человек.

Приехав к своему дому, он отдал извозчику деньги и сказал:

— Пожалуйста, теперь пришли мне Герасима. Через два часа опять на вокзал...

— Да что вам, Глеб Иванович, Герасим? — сказал извозчик. — Я сам доставлю.

— Герасима... Герасима мне... Понимаешь. Мне нужно...

— Да на что же Герасима, когда я...

Глеб Иванович, собравшийся уходить, вдруг повернулся, пристально всмотрелся в мужика и, вынув бумажку, сунул ему в руки.

— Вот... возьми. Тебе непременно денег хочется. Вот, вот... вот тебе, вот! Теперь пришли Герасима, а сам не приходи, пожалуйста... Сделай ты мне одолжение, не приходи...

На лице его было то же выражение, как в сцене со старухой на пароходе: гнев, презрение к деньгам и к человеку, которому только они и были нужны, и страдание за него и за себя. На этот раз мне показалось еще, что он откупается от этой мучительной для него неискренности. Однако Герасима все-таки не оказалось, и нас на вокзал повез другой извозчик.

Это настроение неперенosности обычных житейских лжи и фальши, неправды и страдания, мимо которых мы, люди с более грубыми нервами, проходим довольно равнодушно, которую прежде Успенскому помогала переносить смягчающая юмористическая складка, — теперь усиливалось быстро из года в год. Прежде он любил приезжать в Москву и иной раз, остановившись в гостинице, кончал здесь статьи для «Русских ведомостей» или «Русской мысли». Со временем, однако, ему становилась невыносима обстановка гостиниц и меблированных комнат.

— Знаете! — радостно сообщил он мне однажды, при встрече в Москве. — Нашел-таки! Просто превосходно!

— Что вы нашли, Глеб Иванович?

— Гостиницу нашел... Такую, в которой можно жить... Просто рай. Номерки новые, еще не подернулись всей этой подлостью... Прислуга веселая, приветливая... должно быть, платят хозяева по-божески. Просто превосходно. Вот приходите, увидите сами...

Не помню, в этот ли приезд или в другой я разыскал-таки Глеба Ивановича в этом хваленом его рае. И первое, что мне бросилось в глаза при входе на лестницу, это было лицо самого Успенского, склонившееся с верхней площадки. Бровь опять была высоко поднята, на лице опять выражение боли...

— Что с вами, Глеб Иванович?

Он еще не ответил, как в коридоре затрещал электрический звонок. Где-то хлопнула дверь. Женщина с усталым лицом понеслась кверху по лестнице. Из какой-то каморки послышался плач ребенка. Все это я помню так ясно, как будто слышал и видел только вчера. Но все это я воспринял через Глеба Ивановича, так как и звонок, и суетливая беготня, и плач ребенка отражались на его исстрадавшемся лице.

— Вот... вот видите. Не прошло и пяти минут — четвертый раз... Ну, вот еще...

Новый треск электрического звонка прошел по его лицу новой волной нервной боли...

— Так и знал! Четырнадцатый номер,— сказал он, указывая на электрический счетчик.— Второй раз... Это он, негодяй, сидит на своей постели... подай ему со стола стакан воды... Вот... вот опять... Господи боже!

И этот его недавний рай уже был отравлен для него навсегда. Кто из нас замечал эти стороны гостиничной жизни? Кому из нас было бы интересно узнавать, сколько раз звонил четырнадцатый номер и почему хлопает внизу дверь, заглушая крик «собственного ребеночка» гостиничной прислуги. А между тем вся эта прозаическая изнанка жизни непроизвольно раскрывалась перед Успенским, со всем, что в ней было нехорошего и тяжелого,— и мучила его чужой усталостью и чужой болью...

Помню, что после этого в некоторых из статей Глеба Ивановича фигурировали и полтора миллиметра, и звонки, и четырнадцатый номер, и статистические дроби, и «живые цифры»... И во всем этом уже чувствовалась развязка этой трагической жизни. Юмор постепенно исчезал, как меркнут краски живого пейзажа под надвигающейся грозовою тучей. Помню, что одного из этих рассказов («Квитанция») я уже не мог дочитать громко до конца: это был сплошной вопль лучшей человеческой души, вконец истерзанной чужими страданиями и неправдой жизни, в которой она-то менее всех была повинна.

VII

Кажется, в 1893 году Глеб Иванович приехал в последний раз в Нижний Новгород. На вокзале мы встретили его той же компанией, с которой когда-то он бродил по откосу, большинство членов которой он уже знал и любил. Но сам Успенский был уже не тот. Не было того оживления, той улыбки, которая так часто сверкала тогда сквозь привычную печаль его глаз. На лице его лежала беспросветная грусть.

Когда мы переехали через Оку и стали на извозчике подыматься по въезду, я в первый раз увидел, как он закрыл всей ладонью лицо, начиная от лба до подбородка; глаза тоже были закрыты, и под этим прикрытием он шептал что-то тихо и умиленно, как будто говорил с кем-то невидимым и молился...

Это уже начиналась другая, таинственная жизнь омраченного духа, другое, параллельное существование... Через минуту он очнулся, оглянулся на светлый день, на Оку, на уступы гор, и взгляд его упал на ехавшего впереди, на извозчике, сына.

— Вы...— сказал он,— и Сашечка... Хорошо...

Около двух недель прожил он тогда в Нижнем Новгороде, то у С. Я. Елпатьевского, то у меня... Часто, среди разговора, даже в многочисленном обществе, он вдруг закрывал глаза ладонью исхудавшей тонкой руки и начинал шептать. Мне он говорил несколько раз просто и задушевно о том, что он беседует в эти минуты с «инокиней Маргаритой», чистейшим существом («женщина — чистейшее существо»), в котором странным образом сливаются несколько лиц, в том числе — боровшиеся и пострадавшие в борьбе. И она говорит ему хорошие речи, иногда горько упрекает его, а иногда ободряет. И что он делается легкий... и скоро полетит... А затем — он совершенно просто переходил к житейским темам и несколько раз, помню, повторил:

— Смотрите на мужика... Все-таки надо... надо смотреть на мужика...

После этого он уехал и уже навсегда ушел от нас — внешним образом в Колмово, внутренним — в свои видения.

Все, что могла сделать наука, согретая личной привязанностью и любовью,— все, кажется, было сделано. Но... мне иногда приходит в голову, что, живи мы в другое время, все это, может быть, и сложилось бы по-

иному. Может быть, гораздо хуже и жесточе, а может быть, и лучше... Несомненно, что в этом исстрадавшемся чужими страданиями подвижнике литературы в последний период жизни проснулся обычный тип подвижника, знакомый нашей русской, порою жестокой, порою умиляющей родной старине. И, может быть, в другие времена его бы оставили на свободе, и он бродил бы по деревням, или жил бы в какой-нибудь обители, и говорил бы людям о своей инокине Маргарите, которая учит побеждать в человеке зверя и помогает святому Глебу бороться с животным Иванычем, и раскрывает светлое небо... И его слушали бы темные люди и ловили бы в темных речах мерцание небесной правды...

Впрочем, едва ли это было бы лучше. Всю жизнь — он стремился к одной только правде, хотя бы и болящей, но истинной...

1902

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕРНЫШЕВСКОМ

I

Я помню, еще в раннем детстве мне попался фантастический польский рассказ. Герой его молодым человеком пробрался потаенным ходом в погребок, где хранилось чудесное старое вино, лежавшее в земле, в неведомом тайнике, несколько столетий. Молодой человек выпил стакан и заснул. Заснул так крепко, что, пока он спал в своем убежище, на земле бежали года, события сменялись, XVIII столетие отошло в вечность, Польшу разделили между собою враги. И вот в один прекрасный день, на улице русской уже Варшавы, с вывесками на двух языках и с городовыми на каждом углу,— появляется какая-то архаическая фигура в старопольском одеянии, с «карабеллой» у пояса, с кармазиновыми отворотами рукавов и с страшной седой бородой.

Дальнейшая часть рассказа посвящена развитию этого совершенно исключительного и, по-видимому, невозможного положения.

Такое именно невозможное и фантастическое явление совершилось почти на наших глазах с Чернышев-

ским. Правда, над его головой промчалось не столетие, а всего двадцать лет, но эти двадцать лет стоили целого века. В эти двадцать лет физиономия России изменилась, пожалуй, более, чем за целое предшествовавшее столетие. В остальном параллель тоже очень близка. Опьяненный захватывающим, одуряющим потоком событий, надежд и ожиданий только что начавшейся реформы — он попадает в далекие казематы Кадаинского и Александровского рудников, Акатуя, потом на Вилюй. Разве все, что он там видел, в этих глухих углах, отставших на целое столетие даже от дореформенной России,— не могло показаться странным сном, под далекие отголоски оставленной жизни, гул которой катился над его головой, как гул и выстрелы в осажденной Варшаве над головой спящего в подземелье поляка.

Без сомнения, когда этот поляк исчез неведомо куда — его искали; быть может, даже догадывались, что он недалеко, может быть, рылись и стучали в нескольких саженях от погреба. А потом стали забывать, и наконец те, кто искал, перемерли, а в среде оставшихся потомков повторялась только легенда — что был еще один человек, и даже хороший был человек, но исчез без следа.

Чернышевского тоже искали... Его потеря была очень чувствительна для передовой части общества, и примириться с нею было трудно. Уже в деле каракозовцев есть упоминание о намерении освободить Чернышевского. Известны затем попытки Г. А. Лопатина и Ипполита Мышкина. Последний 12 июля 1875 года явился даже в Вилюйск под видом жандармского офицера Мещеринова и предъявил предписание о немедленной выдаче Чернышевского для препровождения из Вилюйска в Благовещенск. У исправника возникло подозрение — говорили, что у Мышкина аксельбант был повешен на левом плече, вместо правого, но это неверно. Важнее было то обстоятельство, что мнимый Мещеринов не представил предписания от якутского губернатора, как это требовалось по инструкции. Исправник отказался выдать Чернышевского. Мышкин пытался бежать, был арестован, судился по так называемому «большому процессу» (и впоследствии погиб в Шлиссельбурге). Чернышевский обратился с убедительной просьбой не делать более таких попыток, и письмо его в таком смысле было напечатано в 70-х годах в заграничных изданиях. В последующие годы о Чернышев-

ском говорили все меньше и меньше, а в печати самая его фамилия признавалась нецензурной. Его «Что делать?» читалось и комментировалось в кружках молодежи, но лучшие его произведения, вся его яркая, кипучая и благородная деятельность постепенно забывалась по мере того, как истрепывались и становились библиографической редкостью книжки «Современника». О самом Чернышевском доходили до нас смутные, сбивчивые слухи. Возникнув еще в 70-х годах, когда в очень известном тогда стихотворении А. А. Ольхина («На смерть Мезенцова») говорилось:

...Угасает в далекой якутской тайге
Яркий светоч науки опальной,—

один из этих слухов проводил Чернышевского в могилу. Говорили, что умственные способности его угасли и даже — что он помешанный. Что он до конца сохранил силу своего могучего мозга — это он, впрочем, доказал в последние годы невероятно энергической работой по переводам. Но что у него не «все в порядке» — об этом я слышал еще за несколько недель до его смерти и от людей, которые имели случай видеть его и говорить с ним лично.

Самостоятельные статьи его не имели уже особенного значения и не были даже замечены. Во всяком случае, и они вызывали покачивание головами необычностью в наше время и странностью тона. Однако все эти слухи совершенно неверны и легко объясняются двумя обстоятельствами: Чернышевский всегда был немножко чудак, это во-первых. А во-вторых, все, на кого он производил такое странное впечатление, не читали, вероятно, того рассказа, о котором я упомянул вначале, и не принимали в соображение, что Чернышевский вернулся к нам из глубины 50-х и начала 60-х годов. Беда состояла не в том, что он «изменился»... Нет, дело, наоборот, в том, что он остался прежним, с прежними приемами мысли, с прежней верой в один только всеустроительный разум, с прежним «пренебрежением к авторитетам», тогда как мы пережили за это время целое столетие опыта, разочарований, разбитых утопий и пришли к излишнему неверию в тот самый разум, перед которым преклонялись вначале [1].

---

[1] Моя статья писана в начале 90-х годов.

Чернышевский явился к нам как архаическая фигура поляка XVIII века на макадамовой мостовой русской Варшавы. Нас он не знал вовсе, а его мы успели забыть, и его облик — прежний облик — казался нам уже странным.

Впрочем, кажется, я позволил себе уже слишком длинное отступление от прямой задачи настоящего небольшого очерка. Задача эта — сообщить те (очень немногие, к сожалению) сведения о Чернышевском после его ссылки, которые мне удалось собрать во время странствий в соседних с ним местах, частью от лиц, живших вместе с ним, частью же — от самого Чернышевского, которого я видел и с которым познакомился в августе 1889 года, за два месяца до его смерти.

II

В 1881 году судьба закинула меня в далекую Сибирь, в ту самую Якутскую область, где в это время уже находился Чернышевский. Когда я был в Иркутске, меня опять встретили здесь постоянно ходившие слухи: говорили, что Чернышевский умер и что за несколько лет до смерти он уже был сумасшедшим. Объясняли даже причину: могучий ум, истомленный бездеятельностью, не находил исхода. Чернышевский будто бы постоянно писал с утра до ночи, но, боясь, что рукописи (как бывало прежде) будут отобраны, сжигал их в камине. Это будто бы и стало исходной точкой помешательства еще до перевода в Якутскую область.

По приезде на место — в слободе Амге, в двухстах верстах от Якутска — я узнал, что слух о смерти положительно неверен, а слух о помешательстве опровергался за все время пребывания его в Забайкалье. Оказалось, что частью в слободе, где я жил, частью не в дальних расстояниях от нее находились товарищи Чернышевского по заключению. Это были каракозовцы и ссыльные по делу о воскресных школах, делу еще более раннему, о котором теперь почти уже исчезли самые воспоминания, как о первых наивных еще проблесках начинавшегося движения, впоследствии в 70-е и 80-е годы наводнившего Сибирь целыми отрядами политических ссыльных.

От них я узнал, что все тревожные слухи о болезни Чернышевского не имели ни малейшего основания. Будучи выслан сначала в Кадаю (на монгольской границе), а потом в Нерчинские рудники, Чернышевский жил одно время вместе с партией поляков. Двор, обнесенный деревянным частоколом с заостренными концами, внутри — деревянные домики казенной, упрощенной донельзя архитектуры, кордегардия с конвойными солдатами, полосатая будка у ворот, и из-за частокола кругом вдалеке туманные высокие горы Забайкалья,— такова обычная обстановка этих казематов. Поляки были по большей части люди простого звания, которые каждый день уходили на работы в разрез. Тогда во дворе, обнесенном частоколом, и в серых домах с решетками становилось пусто и тихо, и только в одной каморке сидел над своими книгами Чернышевский. Я встретил впоследствии одного из этих поляков. Он рассказывал мне, что все они очень уважали и любили Чернышевского. Его добродушие, постоянная серьезность и умение при случае говорить просто с простыми людьми приобрели ему общую симпатию, и они привыкли обращаться к нему за разрешением своих споров и недоразумений, которые так часты в этих тесных норах, где люди от тоски готовы нередко съесть друг друга, как мыши, попавшие в стеклянную банку, откуда нет выхода. И Чернышевский всегда с необычайным терпением входил во все мелочи подобных разбирательств. До него, говорил мне этот поляк, дело доходило до того, что однажды, по общему приговору, поляки высекли одного из своих товарищей. При нем не повторялось ничего подобного.

К этому времени относится один рассказ, слышанный мною тоже от очевидца.

«Вообще,— говорил мне один интеллигентный поляк [1], тоже живший вместе с Чернышевским,— мы никогда не видели его унывающим или печальным. О причинах своей ссылки он говорить не любил. «Вероятно, они там знают, за что сослали, а я не знаю»,— и затем отделывался каким-нибудь анекдотом или шуткой. Только один раз мы видели, как он заплакал. Мы сидели с ним на дворе, когда принесли письма и журналы. Чернышевский надел очки, развернул книгу, перелистывал ее, потом книга выскользнула у него из рук,

[1] Станислав Рыхлинский, умерший в Иркутске в 1904 году.

он встал и быстро ушел к себе. Мы заметили у него на глазах слезы». В журнале были напечатаны известные стихи Некрасова Муравьеву (те самые, по поводу которых прислано Некрасову стихотворение «Не может быть»). Когда я передавал этот эпизод современникам и знакомым Некрасова и Чернышевского, они выразили основательные сомнения в точности самого рассказа или моей передачи. Помнится, что действительно стихи Некрасова Муравьеву были прочитаны на торжественном обеде, но напечатаны не были, и на вопрос поэта Муравьев будто бы сам ответил: «Мой совет — не печатать». Я привожу этот рассказ потому, во-первых, что все-таки далеко не уверен, что, хотя бы и по какому-нибудь другому случаю, не было подобного эпизода, а во-вторых, он до известной степени рисует настроение, которое приходилось переживать Чернышевскому в далеком Забайкалье, когда до него доходили вести о жестокостях с одной и отступничествах с другой стороны в эти первые годы, последовавшие за его ссылкой...[1]

Не знаю — в Нерчинске или уже по переводе в Акатуй в тюрьму, где содержался Чернышевский, стали присылать русских политических ссыльных. Таким образом, составилось целое общество, в котором были также интеллигентные поляки и даже два итальянца-гарибальдийца, участвовавшие в польском восстании, вскоре, впрочем, помилованные и высланные на родину.

Вся эта компания жила одним кружком, и только Чернышевский по-прежнему держался несколько в стороне. Впрочем, нельзя сказать, чтобы он удалялся сознательно от товарищей по заключению,— нет, он был знаком со всеми, а с некоторыми даже довольно дружен; но все-таки он стоял по возрасту и по интересам вне кружка, не участвуя в его интимностях, маленьких партиях, ссорах и примирениях.

Порой в общей камере устраивались чтения или рефераты. В кружке были свои поэты, политэкономы, критики и публицисты. Чернышевский тоже слушал эти чтения, а иногда и участвовал в них очень ориги-

---

[1] В. Я. Богучарский в «Мире божием» (янв. 1905) высказывает весьма вероятное предположение, что речь идет о другом стихотворении Некрасова, а именно о стихах в честь Комиссарова-Костромского, напечатанных в апрельской книжке «Современника» 1866 года.

нальным образом. Он приходил с толстой тетрадью, садился, раскрывал ее и читал свои повести, длинные аллегории и т. д. Чтение это продолжалось иногда два-три вечера. Один из слушателей (г. Шаганов) записал впоследствии содержание некоторых из этих произведений.

Я не стану повторять их здесь, тем более что большая часть деталей, полученных уже мною из вторых рук, исчезли из моей памяти. Скажу только, что один из таких рассказов представлял целую повесть, с очень сложным действием, с массой приключений, отступлений научного свойства, психологическим и даже физиологическим анализом. Читал Чернышевский неторопливо, но спокойно и плавно. Каково же было удивление слушателей, когда один из них, заглянув через плечо лектора, увидел, что он самым серьезным образом смотрит в чистую тетрадь и перевертывает не записанные страницы.

Впоследствии и мой брат, хорошо знавший покойного, а отчасти и я сам, имели случай убедиться в этой удивительной способности к импровизации, которая чрезвычайно походила на чтение хорошо написанного и в совершенстве отделанного литературного рассказа. Здесь выступает также и другая черта покойного, которую я узнал в нем при личном знакомстве: это какое-то особое добродушное лукавство, с которым он порой любил мистифицировать собеседника. Разговаривая с ним, никогда не мешало держать ухо востро, чтобы не принять всерьез какую-либо шутку. Кроме того, он часто, развивая какую-нибудь сложную мысль, отмечал ход своей аргументации, так сказать, отдельными вехами, снимая все логические мостики, облегчающие слушателю возможность легко и без труда следовать за ним, и вам приходилось делать самые неожиданные скачки, чтобы не отстать и не потерять из виду общей связи. Но зато если вы понимали его шутку и не теряли нити, в его добродушно-лукавых глазах вспыхивало выражение удовольствия, почти наслаждения [1].

Таким я увидел его в 1889 году, незадолго до кончины, таким же рисует его и приведенный только что рассказ. С этой оговоркой я могу, пожалуй, привести и со-

---

[1] В письме ко мне, вызванном первым изданием этой книги, Герман Александрович Лопатин говорит, что «об этой привычке Чернышевского мистифицировать собеседника и защищать вначале совсем *не свое* мнение» ему рассказывал в Сибири А. П. Щапов.

держание самой повести, прося помнить, что мы не имеем данных для суждения, насколько мысли, в ней высказанные, следует принимать серьезно или считать простой шуткой, упражнением могучего и несколько юмористически в то время направленного ума среди казематной скуки и казематного безделья. Замечу, что заглавие повести было «Не для всех» (или «Другим нельзя»).

Действующие лица: русская девушка и два ее поклонника. Оба умны, оба хороши собой, оба влюблены в нее. У обоих есть, конечно, свои особенности ума и характера, есть и недостатки; но все это природа распределила между ними так, что черты одного дополняют черты другого. Девушка и любит их обоих. Когда порой она решается отдать предпочтение одному из искателей, то чувствует также, что другой образ ей приходится с болью отрывать от сердца, что те свойства души, которые приходится отвергнуть, тоже привлекают ее, и ей трудно от них отказаться. Тогда два друга-соперника решаются кинуть жребий, и один уступает с пути, исчезая куда-то без вести и навсегда.

Молодая женщина сильно чувствует все-таки потерю: любовь мужа не может дать ей полного успокоения. Она чахнет, и доктора советуют путешествие. На Великом океане их застает шторм. Корабль носится по волнам, без руля, с изорванными парусами, приблизительно так, как это происходит во многих романах с «захватывающей» фабулой, которые с большим юмором пародируются в этой части рассказа. Конец бури застает молодого человека и его жену погибающими в волнах вблизи неведомого острова. В последние мгновения, когда истощены все силы,— кто-то кидается к ним с острова на помощь, и они спасены.

Но тут оказывается, что, спасенные от ярости стихий,— они становятся жертвами насмешливой судьбы. Их спаситель — не кто иной, как все тот же, навсегда исчезнувший друг и соперник, и вопрос возникает вновь в форме тем более трагической, что остров совершенно необитаем и они на нем единственные жители, окруженные со всех сторон насмешливо ревущим океаном. Разыгрывается целый роман со сценами мучений, ревности и безысходного отчаяния. Наконец, когда положение обостряется до последней степени, кому-то (ка-

жется, именно молодой женщине) приходит в голову исход из невыразимо запутанного положения, и притом исход, который если и грешит чем-нибудь, то именно излишней простотой. Зачем все эти мучения, ведущие к ненависти, к возможности убийства, к очевидной гибели всех троих, когда все дело в том, чтобы жить всем троим, то есть... втроем. Дело так ясно... Пробуют — и после легкой победы над некоторыми укоренившимися чувствами — все устраивается прекрасно. Наступает мир, согласие, и вместо ада на необитаемом острове водворяется рай.

Далее — опять, как в романах с приключениями,— тоска по родине, печальные взгляды на необозримую даль океана, парус на горизонте, смена надежды, отчаяния, опять надежды... Они на корабле, они в Европе.

И именно в Англии. Они считают ее страной свободы, а скрываться они не желают, так как не признают в своем необычном союзе ничего противообщественного. Оказывается, однако, что именно в Англии, этой стране традиций и семейного романа, где разврат терпится при условии пуританского соблюдения внешности и рутины, но величайшая добродетель не спасает от наказания за нарушение этой внешности,— их союз производит соблазн, начинаются соседские сплетни, общественное мнение вынуждает власти к вмешательству, и три наши героя оказываются на скамье подсудимых. Суд, публика, речи прокуроров, защиты, судей и подсудимых — все это описывалось чрезвычайно подробно. В последнем слове один из подсудимых (кажется, именно женщина) произносит блестящую речь, где отстаивает право каждого устраивать свою жизнь по указаниям своей совести. Она рассказывает о своих попытках устроить ее на основании общественного кодекса, о том, к каким результатам чуть не привели они всех троих; как их выход спас от ненависти и убийства. Присяжные их оправдывают, и они уезжают в Америку, где, среди брожения новых форм жизни, и их союз находит терпимость и законное место.

Повторяю — я не могу сказать, была ли это простая шутка, или тут отразилась обычная черта времен «бури и натиска», когда подвергаются пересмотру все «общепринятые положения»... Во всяком случае, некоторый

элемент шутки и лукавого юмора присутствовал в этом эпизоде несомненно [1].

Кроме этой повести, в записках, о которых я говорю, приводилось еще содержание шуточно-аллегорической комедии, написанной Чернышевским и даже разыгранной в каземате. Содержание этой шутки, юмор которой весь испарился уже в первой передаче, я пересказывать не берусь (теперь она уже напечатана).

III

Большая часть товарищей Чернышевского были разосланы на поселение ранее его. Он проводил их добрыми пожеланиями и напутствиями, а затем и сам был переведен на север, в Якутскую область, на Вилюй.

В город Вилюйск, расположенный в нескольких сотнях верст на запад от Якутска, на реке того же имени,— не высылали русских политических ссыльных. В 60-х годах там была выстроена особая тюрьма для польских «повстанцев». Сначала в ней поместили д-ра Дворжачека, потом поляка Иосафата Огрызко, знаменитого в свое время тем, что, занимая в Петербурге

---

[1] По поводу передачи этой «повести» я должен сделать существенную оговорку. Записки Шаганова я читал еще в Якутской области в 1884 году. Кроме того, я встречался и лично с Шагановым и с другими бывшими товарищами Чернышевского по каторге (Странден, Юрасов, Загибалов, Николай Васильев, поляк Станислав Рыхлинский и др.), от которых тоже слышал рассказы о совместной с ним жизни. Настоящие мои воспоминания написаны в 1889 году, то есть спустя 4—5 лет по выезде из Якутской области. В недавнее время вышли самые записки Шаганова в издании Э. Пекарского, а также «Личные воспоминания» Николаева. В обоих изданиях излагаемое мною произведение Чернышевского называется не повестью, а драмой («Другим нельзя») и по внешнему содержанию значительно отличается от моего варианта. В том же виде, то есть в форме драмы, оно появилось в X томе собр. соч. Ч-го. Таким образом, я должен бы изменить свое изложение соответственно с этими точными указаниями. Но меня останавливает то обстоятельство, что в моей памяти остались очень ясно не только общая идея, но и некоторые детали «повести». Особенно отчетливо я помню указание на жизнь в Англии, на суд и защитительную речь... Эти подробности не могли, очевидно, попасть в мое изложение случайно, как простые неточности памяти. Нельзя ли допустить, что было два варианта. Чернышевский мог сначала кому-нибудь *читать* ненаписанную *повесть*, которую затем написал уже в форме *драмы*. В надежде содействовать разъяснению этого вопроса и отсылая интересующегося читателя к указанным печатным источникам, я решил все-таки оставить и свой вариант, отмечая связанные с ним сомнения.

очень важный пост в министерстве финансов, он держал в своих руках вместе с тем многие нити восстания. В передовицах «Московских ведомостей» много раз имя Огрызко употреблялось как нарицательное для воплощения «польского коварства». Когда по манифестам, следовавшим поочередно одни за другими, очередь помилования дошла до Огрызко, который получил право свободных переездов по Сибири и занял видное место по приисковому делу,— его тюрьма осталась пустой, и туда перевели Чернышевского.

Об этом периоде его сибирской жизни известно еще менее. «Теперь встревоженная мысль летит к нему туда, на Вилюй, в холодную могилу, где он томится один, в мрачном одиночном заключении» — приблизительно так кончались записки г. Шаганова. Те самые люди, которые опровергли привезенные мной из России слухи насчет помешательства Чернышевского в Забайкалье,— повторяли эти тревожные опасения, перенося их на Вилюй. Жизнь его там действительно окружена была тайной, которая так редко возможна в России.

Однажды к нам в слободу приехал новый писарь. Скромный, отягченный многочисленным семейством и потому вынужденный иногда на некоторые сделки с совестью, он все-таки производил впечатление человека, далеко не погрязшего в тине глухих сибирских углов. Он явился к нам, познакомился и попросил книжек, предлагая, в свою очередь, пользоваться своими.

В числе последних мне попалась одна с надписью: «Такому-то от Чернышевского». Теперь я не помню уже, какая это была книга. Оказалось, что писарь служил ранее в Вилюйске и был хорошо знаком с Чернышевским. Он рассказал мне, что тюрьма Чернышевского может быть названа тюрьмой только наполовину. С ним вместе жила стража: жандармы и казаки; но у него была своя отдельная комната, и он мог выходить из нее, когда угодно. Он был знаком в городе с исправником, кое с кем из чиновников и купцов. Но выходил в гости все-таки редко и не засиживался долго. Его стесняло то обстоятельство, что жандарм должен был издали следить за ним и дожидаться, пока он выйдет, что, при редкой деликатности Чернышевского, совершенно отравляло для него всякое удовольствие этих посещений. «Что его, беднягу, заставлять дожидаться... Нет, уж лучше прощайте»,— говорил он и уходил в свою комнату-тюрьму.

Раз в месяц небольшой городок, похожий скорее на среднюю нашу деревню, оглашался звоном почтового колокольчика; приходила почта, привозившая Чернышевскому письма, газеты и книги. Он тотчас же разносил книги по городу, приноровляясь ко вкусам читателей. Когда его спрашивали, отчего он так мало оставляет себе, он лукаво улыбался и говорил:

— А вы не поняли: расчет! Ведь я обжора: накинусь, сразу все и поглощу. А так, по партиям, мне и хватит на целый месяц.

Он очень любил, когда у него просили книг, и охотно занимался со своими тюремщиками. Мне пришлось встретиться на Лене с молодым жандармом, который приятно поразил меня некоторыми оборотами речи и начитанностью. Оказалось, что он в течение года был приставлен к Чернышевскому и говорил мне, что охотно принял бы еще на год эту командировку, несмотря на скуку почти тюремной жизни.

Эти сведения вновь рассеяли мои опасения. Было очевидно, что этот человек удивительно владеет собой, держит себя в руках и не дает тяжелому и безжизненному отупению далекого захолустья победить свой могучий ум и здравый смысл, который всегда отличал его и прежде, служа главным орудием его в борьбе «с псевдоучеными авторитетами». Но сколько силы растрачено в этом пустом пространстве на бесплодную борьбу с мертвым болотом! Я видел людей, которые прожили в сибирской глуши гораздо меньше Чернышевского и не в таких условиях, и на них подчас не оставалось человеческого облика. Однажды, на Оби, к пароходу, который вез новую партию ссыльных и пристал к обрыву берега, чтобы набрать дров, вышли из ближайших остяцких чумов несколько остяков и остячек с детьми. Один из этих дикарей, одетых, как и другие, в звериные шкуры, с лицом, покрытым целым слоем жиру и дыма, увидев на барже политических, заговорил с ними по-русски. Оказалось, что это тоже политический ссыльный, поселенный среди остяков. Одна из остячек, бессмысленно глядевшая на чуждых людей, была его жена, а маленькие дикари, прижимавшиеся к ней,— его дети. Со слезами на глазах он прощался с незнакомыми товарищами, когда баржа тихо отчаливала от кручи, чтобы пуститься далее по широкой и пустынной Оби, и в его речи слышалось, что он уже разучивается говорить по-русски.

Да, нужно было обладать могучим умом Чернышевского, чтобы не поддаться одиночеству долгой сибирской ссылки, без товарищей и друзей. Он не поддался и, насколько среда была к этому способна, подымал ее до себя. Но и ссылка взяла у него все, что могла. Отняв непосредственное общение с живыми фактами интеллектуальной жизни, она лишила сильный ум его естественной пищи, необходимой для того, чтобы идти наряду с этой жизнью. Могучим усилием он удержался на высоте прежних способностей, но только удержался и именно на той ступени, на какой его застигла ссылка. Он вернулся к нам тем, чем был в 60-х годах, а время — к худу ли, к добру ли — ушло далеко от этого места. Правда, столкновение опьяняющих надежд и каземата, борьбы за передовые реформы и допотопных порядков Сибири,— это столкновение не могло не отразиться на нем. И оно отразилось оттенком скептического юмора и некоторым недоверием к прежним «путям прогресса». Но и только. В остальном, повторяю, он не изменился.

В 1883 году весной опять пронесся у нас, в Якутской области, слух о смерти Чернышевского, но тотчас же этот слух заменился радостным известием: Чернышевского возвращают, Чернышевский в Якутске.

Действительно, Чернышевского привезли с Вилюя. Привезли с жандармами прямо к губернатору, который его угостил завтраком, и тотчас же, не дав переночевать и отдохнуть,— повезли в Россию, тщательно скрывая имя и не прописывая фамилии на станциях. Чернышевский, сначала принявший завтрак у губернатора как любезное гостеприимство, вскоре убедился в истинном значении этой губернаторской любезности, когда ему не позволили остаться в городе для отдыха и покупок. Провожатые заехали только на несколько минут, и то, кажется, украдкой, к одному знакомому обывателю, который впоследствии, покачивая головой, говорил мне:

— Отличный, образованный господин, а, кажется, того... не совсем в порядке.

— А что?

— Да как же, помилуйте. Ну, хотел сначала остановиться у меня отдохнуть. Жандармы говорят: «Нельзя, строго наказал губернатор, чтобы отнюдь не останавливаться». Вот стали садиться в повозку, он и говорит жандарму: «Надо бы хоть к губернатору-то вернуться. Рубль, что ли, ему за завтрак отдать». Помилуйте, на

что же это похоже! Неужто губернатору его рубль нужен!

Впоследствии, когда я ехал назад, мне рассказывали курьезный эпизод, связанный с этим секретом полишинеля, каким окружали отъезд Чернышевского из Сибири, о чем в то время известно было всей России из газет.

За несколько часов до выезда Чернышевского по Лене из Якутска отправилась почта. Почтальон, как и все в городе, конечно, знал, что Чернышевский поедет вслед за ним, и, желая поусердствовать,— предупреждал всех смотрителей. Таким образом, подъезжая к станции в лодке, небольшой отряд с важным пересыльным заставал уже на берегу готовыми новую лодку, лошадей для лямки и ямщиков в парадных (по возможности) костюмах. Это, наконец, обратило на себя внимание жандарма Машкова, расторопного служаки, с которым и мне пришлось познакомиться впоследствии, имевшего несколько преувеличенное понятие о своей миссии.

— Что за черт,— удивился он.— Откуда вы знаете, что мы будем?

— От почтальона такого-то. Проехал с почтой и говорит: готовьтесь, Чернышевского везут.

— А, вот что! Он не обязан даже и знать-то, кого мы везем.

Машков усмотрел в усердии бедняги почтальона разоблачение государственной тайны. Это, конечно, неудивительно. Гораздо удивительнее то, что усердный почтальон потерял место за сообщение того, что знал весь город, и за то, что он оказал жандармам действительную услугу, так как по всей Лене их ждали на берегу готовые лодки, лошади и ямщики.

IV

Теперь, минуя то, что известно из газет, я прямо перейду к описанию личного свидания моего с Чернышевским.

17 августа 1889 года, часов около шести вечера, я позвонил у дверей деревянного флигеля во дворе, против общественного сада, в Саратове. В этом домике жил Чернышевский.

В Саратове мне рассказывали, что он и здесь, как в Астрахани, живет отшельником, ни с кем не видится, и доступ к нему очень труден, почти невозможен. Гово-

рили даже, будто на дверях вывешено объявление: «Никого не принимают».

Объявления, конечно, не было. Что же касается трудности доступа, то я это испытал на себе, хотя имел полное основание рассчитывать, что буду принят. С Николаем Гавриловичем заочно я давно уже был знаком через брата, в последний же год мы с ним немного переписывались. Он звал меня повидаться, и, что еще важнее в данном отношении,— такое же приглашение получил я от Ольги Сократовны, его жены. Года два перед тем я писал брату, когда он жил в Астрахани, что летом очень бы хотел приехать туда и познакомиться с Николаем Гавриловичем, но тогда последний ответил:

— Нет, уж это не надо. Мы с Владимиром Галактионовичем как два гнилых яблока. Положи вместе — хуже загниют.— Намек, очевидно, на то, что у нас обоих репутация значительно в глазах начальства попорчена.

Но в последние годы этот строгий режим сам Чернышевский значительно ослабил (я думаю, у него и тут, как с чтением в Вилюйске, была известная система), но Ольга Сократовна продолжала держаться его до конца. Таким образом, как я узнал впоследствии, в отсутствие Ольги Сократовны Чернышевский иногда принимал кого попало, и к нему проникали совершенно случайные посетители. В другое время не принимали никого, кроме тех, кто знал секрет, открытый при свидании и мне. Нужно было, не звоня у парадного входа, обойти кругом и войти через кухню.

Я не знал секрета, и ко мне через несколько минут вышла кухарка. Не отворяя вполне двери, она оглядела меня, как будто вспоминая, не видела ли меня прежде, потом загородила вход и, улыбаясь мне в лицо, сказала, что Николая Гавриловича нет дома.

— А барыня?

— Уехали в гости.

Мне казалось, что барин дома и что кухарка именно этому и смеется. Но делать было нечего. Я вынул визитную карточку, написал, что зайду еще завтра, и отдал кухарке, не обозначив своего адреса.

Утром, вместе с женой, мы ушли из номера «Татарской гостиницы», где остановились, в гостиный двор, за покупками. Вернувшись около половины десятого домой, мы получили от номерного записку на клочке бумаги. На ней было написано характерным крупным по-

черком Чернышевского: «Приходил. Буду между десятью и четвертью одиннадцатого. Н. Чернышевский».

Действительно, мы только что уселись за самовар, как в назначенный срок скрипнула дверь, и кто-то, не видный из-за перегородки, заговорил:

— А-а, дома. Ну, вот и отлично, вот и пришел. А, вот вы какой, Владимир Галактионович... Ну, каково поживаете, каково поживаете? Ну, очень рад.

К концу этой речи Чернышевский был уже около стола, протягивая мне руку, точно мы с ним старые знакомые и виделись лишь несколько дней назад.

— А это кто у вас? Жена, Авдотья Семеновна? Ну, и отлично, ну, и отлично, я очень рад, голубушка, очень рад. Ну, вот и пришел.

Я видел портреты Чернышевского. Один из них был снят в Астрахани, кажется, за год до отъезда в Саратов. На нем Чернышевский совсем не похож на того, несколько мечтательного, молодого человека с сильно выдавшимися скулами и резко суженной нижней частью лица, с почти прямым носом и очень тонкими губами, каким он изображен на портрете, который мы все знали с 70-х годов. Но теперь я по первому взгляду тоже не узнал бы Чернышевского. Последний его портрет, находящийся в обращении, изображает мужественного человека, с крупными чертами лица, очень мало напоминающими литератора. Густые длинные волосы по-русски, как у Гоголя, обрамляют это лицо и свешиваются на лоб. Выражение серьезное, и в нем совсем не заметно оттенка добродушной улыбки и отчасти стариковского чудачества, которое оживляло лицо вошедшего к нам человека.

Голос, который мы услышали еще из-за перегородки, был старческий, слегка приглушенный, но фигура сначала показалась мне совсем молодой. Эту иллюзию производили в особенности его каштановые волосы, длинные, кудрявившиеся внизу, без малейших признаков седины.

Но когда я взглянул ему в лицо — у меня как-то сжалось сердце: таким это лицо показалось мне исстрадавшимся и изможденным под этой прекрасной молодой шевелюрой. В сущности, он был похож на портрет, только черты его, мужественные на карточке, были в действительности мельче, миниатюрнее — по ним прошло много морщин, и цвет этого лица был почти землистый.

Это желтая лихорадка, захваченная в Астрахани, уже делала свое быстрое, губительное дело.

Поляки, с которыми я встречался и жил в Якутской области, сделали интересное наблюдение. Один из них рассказывал мне, что почти все, возвращавшиеся по манифестам прямо на родину после того, как много лет прожили в холодном якутском климате,— умирали неожиданно быстро. Поэтому кто мог — старался смягчить переход, останавливаясь на год, на два или на три в южных областях Сибири или в северо-восточных Европейской России.

Верно это наблюдение, или эти смерти — простые случайности, но только на Чернышевском оно подтвердилось. Из холодов Якутска Чернышевский приехал в знойную Астрахань здоровым. Мой брат видел его там таким, каков он на портрете. Из Астрахани он переехал в Саратов уже таким, каким мы его увидали, с землистым цветом лица, с жестоким недугом в крови, который уже вел его к могиле.

Это чувство внезапного и какого-то острого сожаления возвращалось ко мне несколько раз в течение разговора, который завязался у нас как-то сразу, точно мы были с Н. Г. родные, свидевшиеся после долгой разлуки.

Он говорил оживленно и даже весело. Он всегда отлично владел собою, и если страдал — а мог ли он не страдать очень жестоко,— то всегда страдал гордо, один, ни с кем не делясь своей горечью.

По истечении некоторого времени, среди разговоров, он взял руку А. С. и, глядя на нее, сказал:

— Ну вот, очень рад, милая вы моя. Это отлично, право. Это очень хорошо. Я очень рад, что узнал вас.— И неожиданно поцеловал у нее руку. Она также неожиданно наклонилась и ответила поцелуем в лоб, но он отстранился, как будто испугавшись этого внезапного излияния.

— Нет, не надо. Сожаление?.. не надо этого! Я ведь, знаете, как поцеловал у вас руку — из галантности! А-а, а вы не знали: я ведь галантнейший кавалер.

И он с шутливой манерностью поднес вторично ее руку к губам.

— Да-с. И вот он — тоже галантнейший кавалер,— указал он на меня.— Утонченнейшая вежливость! Пришел вчера, не застал и оставил карточку, а адреса на карточке не написал. Понимаю, понимаю — не объясняйте. Я отлично понимаю: значит, не трудитесь, Ни-

колай Гаврилович, отдавать визит, долгом сочту явиться вторично. Деликатность!.. А я из-за этой деликатности сегодня, высуня язык, весь город обегал, все разыскивал. На пристанях был, в полиции был, наконец догадался купить газету. Они тут отмечают всех приезжих, останавливающихся в гостиницах; вот и нашел.

Уже в это первое свидание мне вспомнился тот рассказ, который я привел в начале моего очерка,— о поляке, вышедшем из-под земли,— и впечатление определилось. «Тот самый, тот самый»,— думалось с грустью. Какая это, в сущности, страшная трагедия остаться тем же, когда жизнь так изменилась. Мы слышим часто, что тот или другой человек «остался тем же хорошим, честным и с теми же убеждениями, каким мы его знали двадцать лет назад». Но это нужно понимать условно. Это значит только, что человек остался в том же отношении к разным сторонам жизни. Если вся жизнь передвинулась куда бы то ни было, и мы с нею, и с нею же наш знакомый,— то ясно, что мы не заметили никакой перемены в положении. Но Чернышевского наша жизнь даже не задела. Она вся прошла вдали от него, промчалась мимо, не увлекая его за собой, не оставляя на его душе тех черт и рубцов, которые река оставляет хотя бы на неподвижном берегу и которые свидетельствуют о столкновениях и борьбе.

— Публицистика!..— сказал однажды Чернышевский на вопрос моего брата, отчего он опять не возьмется за нее.— Как вы хотите, чтобы я занялся публицистикой. Вот у вас теперь на очереди вопрос о нападении на земство, на новые суды... Что я напишу об них: во всю мою жизнь я не был ни разу в заседании гласного суда, ни разу в земском собрании.

Ни разу! Конечно: ведь его увезли до открытия новых учреждений, а привезли обратно, когда их собирались уничтожить. И эта судьба постигла человека, все помыслы сердца которого, все стремления, вся жизнь — были жизнью, помыслами, стремлениями русского писателя-гражданина, и ничем более. У него все эти годы не было ничего, кроме литературы: ни семья, ни профессия — ничто не смягчало для него горечи ссылки, не могло смягчить и горечи возвращения. В Сибири он стоял как старый камень вдали от берега изменившей русло реки. Она катится где-то далеко, где-то шумят ее живые волны — но они уже не обмывают его, одинокого, печального.

Его разговор обнаруживал прежний ум, прежнюю диалектику, прежнее остроумие; но материал, над которым он работал теперь, уже не поддавался его приемам. Он остался по-прежнему крайним рационалистом по приемам мысли, экономистом по ее основаниям.

Позволяя себе вторгнуться в чужие пределы, я попробую очертить главные основания прежнего умственного склада Чернышевского и его сподвижников. Вера в силу устроительного разума, по Конту. Вся история — есть не что иное, как смена разных силлогизмов, смена, происходящая по схеме Гегеля. «Докажите мне, что это не так, что положение, антитеза и синтез Гегеля не имеют места в истории,— и я уступлю вам по всем пунктам нашей полемики»,— писал он, помнится, Вернадскому. Далее: главный материал, над которым оперирует разум, творящий социальные формы,— эгоистические и прежде всего материальные интересы. Сделать подсчет этих интересов, поставить наибольшее благо наибольшего числа людей в качестве цели, показать эту таблицу с ее противоположными итогами громадным массам, которые теперь, по неумению рассчитать, допускают существование неестественной социальной арифметики,— остальное уже можно легко предсказать и предвидеть.

Таковы были, по-моему, взгляды, такова, по-моему, была вера.

И вот — казематы Александровска, Нерчинска, Акатуя, которые не могли, конечно, разбить основных взглядов,— очень удачно справлялись с верой, обломав ей крылья и ощипав перья. Основные философские взгляды остались, но вера в непосредственное творческое действие рациональных идей утратилась. Для нас, оставшихся среди жизни, этот процесс совершился посредством вторжения, постепенного и незаметного, новых элементов мировоззрения. Вместе с народнической литературой наше поколение изучало народ, которому приходилось показывать социальную арифметику; оно изучало его также практически, целым опытом народническо-пропагандистского движения. И мы были поражены сложностью, противоречиями, неожиданностями, которые при этом встретились. Но эти разочарования, причиняемые столкновениями с живою жизнью, имеют особое свойство: их и исцеляет сама жизнь. Противоречие, неожиданность разрушает прежний взгляд, но тотчас же оно захватывает внимание,

и незаметно зарождается в душе возможность новых воззрений. Вся литературная биография Успенского, все, за что мы его так любим, весь захватывающий интерес его деятельности, художественной и публицистической, объясняется этой историей интеллигентной чуткой души, натыкающейся в поисках правды и жизненной гармонии на противоречия и диссонансы и все-таки не теряющей веры.

Перестав быть «рационалистическими экономистами», мы тоже не остановились на месте. Вместо схем чисто экономических, литературное направление, главным представителем которого является Н. К. Михайловский, раскрыло перед нами целую перспективу законов и параллелей биологического характера, а игре экономических интересов отводилось надлежащее место. Все это лишало прежнюю постановку вопросов ее прозрачной ясности, усложняло их, запутывало, но все мы чувствовали, что нам необходимо войти в этот сложный лабиринт, и при этом мы прощали исследователям отступления, ошибки, противоречия.

Чернышевский остался при прежних взглядах: от художественного произведения, как от критической или публицистической статьи, он требовал ясного, простого, непосредственного вывода, который покрывал бы все содержание. Вот пример, иллюстрирующий его отношение к Глебу Успенскому.

— Ну, вот вам рассказ: живет мужик, в нужде да в работе, как конь ломовой. Вдруг господа помогают, или там... урожай. Разбогател на время, отдыхает. Полезли в голову мысли во время отдыха, стал пьянствовать, бить бабу, чуть не погиб. Вывод очевиден: не нужно мужику жить богаче и иметь отдых, чтобы не избаловался.

Я вспомнил действительно два рассказа Глеба Ивановича приблизительно такого содержания. Один следовал вскоре после радостной картины урожая, где Успенский описал, как понемногу «выпрямляется» мужицкая душа от благодати урожая, и в ней исчезает злоба и зверство. Но вот через некоторое время он видит факт, послуживший поводом к рассказу «Взбрело в башку», и, не заботясь о полной стройности всех выводов из всех своих рассказов,— взволнованный и расстроенный до глубины души (я видел его, когда он собирался писать этот рассказ), кинул нам этот живой факт, так сказать, еще теплый, во всей его правде и со

всеми заключенными в нем противоречиями. Мы, сами давно уже бьющиеся среди сложности и противоречий жизни, ускользающей от нашего «устроения», любим и ценим в писателе эту чуткую нервность и тонкую правдивую восприимчивость к таким фактам.

Чернышевский, у которого жизнь тоже утянула, как и у нас, много прежних надежд, не хотел все-таки, да и не мог считаться с этой сложностью и требовал попрежнему ясных, прямых, непосредственных выводов.

О всяком писателе он спрашивал прежде всего: умный он человек или нет? И далеко не за всеми известностями признавал это качество. За Михайловским, например, признавал, хотя совершенно отвергал его биолого-социологические параллели.

С особенной резкостью говорил он о Толстом, и это понятно, потому что оба они имеют общую точку соприкосновения в рационализме, хотя в выводах стоят на противоположных полюсах.

— А Толстым увлекаетесь?— спросил он, лукаво смотря на мою жену.— Превосходный писатель, не правда ли?

Жена сказала свое мнение и спросила об его собственном отношении к последним для того времени произведениям Толстого.

Чернышевский вынул платок и высморкался.

— Что, хорошо?— спросил он, к великому нашему удивлению.— Хорошо я сморкаюсь? Так себе, не правда ли? Если бы у вас кто спросил: хорошо ли Чернышевский сморкается, вы бы ответили: без всяких манер, да и где же какому-то бурсаку иметь хорошие манеры. А что, если бы я вдруг представил неопровержимые доказательства, что я не бурсак, а герцог и получил самое настоящее герцогское воспитание. Вот тогда бы вы тотчас же подумали: «А-а, нет-с, это он не плохо высморкался — это и есть настоящая, самая редкостная герцогская манера...» Правда ведь? А?

— Пожалуй.

— Ну, вот то же и с Толстым. Если бы другой написал сказку об Иване-дураке — ни в одной редакции, пожалуй, и не напечатали бы. А вот подпишет граф Толстой — все и ахают. Ах, Толстой, великий романист! Не может быть, чтоб была глупость. Это только необычно и гениально! По-графски сморкается!..

Вообще к движению, обозначенному Толстым, но имевшему и другие родственные разветвления, он относился очень насмешливо и рассказывал некоторые сюда относящиеся эпизоды с большим юмором. Я приведу один из подобных эпизодов, но, чтобы он мог сказать все, что с ним связано относительно характеристики Чернышевского, я должен прибавить еще несколько слов.

В квартире Чернышевского, во второе мое свидание с ним, я встретил, кроме его жены и секретаря, еще молодую девушку, племянницу Чернышевского, знакомую моему брату. Она очень сердилась на последнего за то, что он не ответил на ее письмо, и часто возвращалась к этому вопросу.

— Ах, милая вы моя,— полушутя, полусерьезно сказал ей Чернышевский.— Разве кто-нибудь из серьезных людей отвечает на письма. Никогда! Да и не нужно. Положительно не нужно! Вот я вам случай расскажу из своей практики: как-то раз Ольги Сократовны не было дома, хожу себе по комнатам, вдруг звонок. Отворяю дверь — какой-то незнакомый господин.— Что угодно?

— Николая Гавриловича Чернышевского угодно.

— А это я самый.

— Вы — Николай Гаврилович?

— Да, я Николай Гаврилович.

Он стоит, смотрит на меня, и я на него смотрю. Потом вижу, что ведь так нельзя, позвал в гостиную. Сел, облокотился на стол, опять смотрит в лицо.

— Так вот это вы — Николай Гаврилович Чернышевский.

— Да, говорю, я Николай Гаврилович Чернышевский.

— А я, говорит, приехал на пароходе, а поезд уходит через пять часов. Я и думаю: надо зайти к Николаю Гавриловичу Чернышевскому.

— А-а, это, конечно, уважительная причина. Однако вот и моя жена пришла. Позвольте вас представить, как вас зовут?

— А это, говорит, вовсе и не нужно.

«Вот оно что,— подумал я,— какой-нибудь важный конспиратор». Увел его к себе в кабинет, посадил и говорю:

— Если при других вам нельзя высказаться, то, может, мне одному скажете?

— Ах, нет, говорит, это не то вовсе. Моя фамилия такая-то, доктор Х. Еду теперь в Петербург по своим делам.

И опять сидит, смотрит.

— Так вот... Вы — Николай Гаврилович Чернышевский!

— Я Николай Гаврилович Чернышевский. Однако, знаете, до поезда все-таки еще долго. Давайте о чем-нибудь говорить.

— Ну хорошо, давайте.

— О чем же?

— О чем хотите, Николай Гаврилович Чернышевский, о том и говорите.

Посмотрел я на него и думаю: давай попробую с ним о Толстом заговорить. Взял да и обругал Толстого.

Смотрю — ничего, никакого впечатления.

— Послушайте, говорю, а может быть, вам это неприятно, что я тут о таком великом человеке так отзываюсь.

— Нет, говорит, ничего. Продолжайте. Несколько месяцев назад, может быть, я и очень бы огорчился. А теперь ничего, теперь я уже свою веру выдумал, собственную.

— А, вот это интересно. Расскажите, какую вы это выдумали веру. Может, и хорошая вера.

— Конечно, хорошая.— Начал рассказывать что-то, я слушаю. Должно быть, уж очень что-то умное — ничего нельзя понять.

— Постойте, говорит. Я вам письмо с дороги пришлю. Адрес тоже пришлю, и вы мне непременно ответьте. А теперь пойдем лучше пройдемся по городу, да и на пароход.

Мне тоже показалось, что это самое лучшее. Вера у него какая-то очень скучная, да и не граф он ни в каком смысле... Не интересно. Проводил я его на пароход, пароход отчаливает, а он все кричит:

— Напишу, отвечайте непременно, что думаете.

Отлично. Он уехал, а я забыл. Только через некоторое время опять я один, опять звонок. Отворяю. Опять незнакомец, на этот раз молодой.

— Вы — Николай Гаврилович Чернышевский?

— Я Николай Гаврилович Чернышевский.

— Я от доктора X.— А-а, думаю себе, пророк Андрей Первозванный. Прислан меня в новую веру обращать.

— Милости просим, говорю.

— Письмо к вам, длинное. Просит ответа. Я с ним увижусь!

— А вы кто?

Оказался ветеринар и человек отличный. Проездом... Устраивал свои дела, а теперь едет в университет. Планы все простые, хорошие, как у всякого порядочного молодого человека. Учиться собирается, ну и прочее... Все хорошо.

Думаю: нет, должно быть, не этой веры. И действительно — с доктором он встретился совсем случайно.

— Ну, отлично, говорю. Вы хотите ответа?

— Просил X. непременно привезти. Уж вы пожалуйста, Николай Гаврилович.

— Ах ты господи! А содержание письма вам известно?

— Нет, не знаю.

Ну, думаю, так, может, еще освободит.

— Давайте-ка, прочтем вместе.— Усадил его в кабинете, вскрыл письмо, читаю. Прочитал несколько — все так же, как в изустной речи: или уже слишком умно, или просто глупо, ничего не понимаю. Посмотрел на молодого человека. У него глаза удивленные...

— Ну, что, говорю, читать далее или о чем другом поговорим?

— О другом, говорит, лучше.

— А отвечать надо?

— Помилуйте, говорит, что тут отвечать. Невозможно и ответить ничего толком.

— Так вот, видите,— улыбаясь, закончил он рассказ, обращаясь к племяннице.— О важных делах, о новой вере и то не отвечают, а вы тут о своих пустяках пишете и требуете ответа... Предрассудок!..

Девушка, смеясь, вышла из комнаты... Тогда, оглянувшись конспиративно на дверь, Чернышевский наклонился ко мне и сказал:

— Если передадите брату ее слова, скажите, пусть не сердится. Видите, она девушка хорошая, честная, сирота. Жизнь вся прошла серо, сестер и братьев выводила в люди, сама не видела ничего, никакой радости. Ну, а в тот год, когда встретилась с вашим братом,— свалила с себя главное-то бремя, стала жить на свой счет, по

Волге вот поехала... Все это, понимаете, и радостно ей, и кажется значительно очень. Свобода, встреча с хорошими интеллигентными людьми после глухого угла. Вот она и не может себе представить, что эта случайная встреча важна и значительна только для нее одной, а не для других, и вот почему ее так волнует неполучение ответа от случайно встреченного тогда человека.

Эта внимательность к окружающим, это тонкое понимание чужого настроения добавляет, по-моему, очень важную черту к нравственному облику самого Чернышевского.

Поздним вечером Чернышевский проводил меня до ворот, мы обнялись на прощание, и я не подозревал, что обнимаю его последний раз...

VI

Теперь еще несколько слов об его отношении к своему прошлому.

Мой брат передавал мне одну импровизацию Чернышевского. Эту легенду-аллегорию он слышал, к сожалению, из вторых уже рук: ему рассказывала племянница Чернышевского, под свежим впечатлением очень яркого, живого юмористического рассказа самого Николая Гавриловича. Брат передавал ее мне тогда же, но теперь мы оба восстановили в памяти лишь некоторые черты, один остов этой аллегории. Я привожу ее все-таки, так как в ней есть характерные черты и проглядывают отчасти взгляды Чернышевского в последнее время на свою прошлую деятельность.

Когда-то, во время кавказской войны, Шамиль спросил одного прорицателя об исходе своего предприятия. Прорицатель дал ответ очень неблагоприятный. Шамиль рассердился и велел посадить пророка в темницу, а затем приговорил его к казни ввиду того, что его предсказание вносило уныние в среду мюридов. Перед казнью пророк попросил выслушать его в последний раз и сказал: «В эту ночь я видел вещий сон: есть где-то на свете дом, в этом доме ученый человек сидит много лет над рукописями и книгами. Он придумает вскоре такую машину, от которой перевернется не только Кавказ и Константинополь, но и вся Европа. А будет это тогда, когда бараны станут кричать козлами».

Шамиль задумался и хотел помиловать пророка, но мюриды возмутились еще больше: не ясно ли, что пророк сеет в рядах правоверных напрасное уныние,— где же видано, чтобы бараны кричали козлами?

И пророка казнили. Но когда стали готовиться, чтобы отпраздновать тризну по казненному, то один из баранов, назначенный к закланию, вырвался из рук черкеса и, вскочив на крышу Шамилевой сакли, закричал три раза козлом.

Тогда Шамиль ужаснулся и, призвав самого верного из своих адъютантов, дал ему денег и велел ехать по свету, во что бы то ни стало разыскать неизвестного ученого и убить его прежде, чем он успеет окончить свою работу.

К сожалению, я совсем не знаю подробностей путешествия адъютанта по разным странам. Слышавшие этот рассказ говорили, что описание этих поисков представляло настоящую юмористическую поэму. Теперь приходится ограничиться тем, что адъютант действительно разыскал ученого и, кажется, именно в Петербурге. Он застал его окруженного книгами, в кабинете, в котором топился камин. Ученый сидел против огня и размышлял. Когда адъютант Шамиля объявил ему, что он долго его разыскивал, чтобы убить, ученый ответил, что он готов умереть, но просил дать немного времени, чтобы покончить свои дела и планы.

— Ты хочешь привести в исполнение то, что у тебя здесь написано и начерчено?— спросил его мюрид.

— Нет, я хочу все это сжечь в камине, чтобы никто не вздумал выполнить то, над чем я так долго трудился, считая, что работаю для блага людей. Теперь я пришел к заключению, что я ошибался!..

— Вы — были этот ученый? — спросила Чернышевского одна из слушательниц.

— Нет, я — тот баран, который хотел кричать козлом,— ответил он с добродушной иронией, с которой часто говорил о себе. В дальнейшие комментарии он не пускался, предоставляя, по своему обыкновению, слушателям делать самим те или другие заключения.

Конечно, очень трудно по приведенным мною обломкам судить о целом этой аллегории. Однако на основании того, что я слышал впоследствии отчасти от других, отчасти же лично от Чернышевского, я позволю себе сделать некоторые комментарии. Мне кажется, что

Чернышевский имел здесь в виду себя (а может быть, также и других) как теоретика и мыслителя, который вообразил себя практическим деятелем. Вероятно, на это именно указывает сравнение себя самого с кротким по природе бараном, которому вздумалось кричать по-козлиному. Мне доводилось слышать эту же мысль, выраженную ясно и без всяких аллегорий.

— Ах, Владимир Галактионович,— говорил мне покойный при личном свидании, когда мы стали перебирать прошлое и заговорили о Сибири.— Знаете ли: попал я в Акатуе в среду сосланных за революционные дела... Кого только там не было: поляки, мечтавшие о восстановлении своей Речи Посполитой, итальянцы-гарибальдийцы, приехавшие помогать полякам, наши каракозовцы!.. И все — народ хороший, но все — зеленая молодежь. Одному мне под пятьдесят. Оглянулся я на себя и говорю: ах, старый дурак, куда тебя занесло. Ну, и стыдно стало...

Правда, все эти нападки на прошлое, иногда высказываемые в очень резкой форме самообличения, не отзывались ни унылым разочарованием, ни слабодушным покаянием в прошлых «грехах». Наоборот, после таких выходок Чернышевский встряхивал своими густыми волосами, глядел исподлобья улыбающимся взглядом и прибавлял:

— А ведь все-таки, сказать правду: не все же только худое было... Было кое-что и хорошее. Пожалуй, не мало было хорошего, да, не мало.

Указанием на это обстоятельство я отклоняю вместе с тем упрек в кажущемся противоречии, которое можно бы, пожалуй, усмотреть в том, что я говорил выше о Чернышевском, оставшемся прежним Чернышевским 60-х годов, с его насмешками над своим прошлым. Нет, он не смеялся над прошлым и остался в основных своих взглядах тем же революционером в области мысли, со всеми прежними приемами умственной борьбы. Он смеялся только над своими попытками практической деятельности и, пожалуй, не верил в близость и плодотворность общественного катаклизма.

Это факт, и как таковой я привожу его для характеристики этого крупного человека в последний период его жизни.

VII

В заключение приведу здесь легенду, которая сложилась о Чернышевском еще при его жизни в далекой Сибири, на Лене.

Чернышевского привезли в Россию летом, а я ехал тем же путем осенью того же года.

Трудно представить себе что-либо более угрюмое, печальное и неприветное, чем приленская природа. Голые скалы, иногда каменная стена на десятки верст, и наверху, над вашей головой, только лиственничный лес, да порой кресты якутских могил. И так почти на три тысячи верст. Русское население Лены — это ямщики, поселенные здесь с давних времен правительством и живущие у государства на жалованье. Это своего рода сколок старинных «ямов», почтовая служба для государственных целей, среди дикой природы и полудикого местного населения, среди тяжкой нужды. «Мы пеструю столбу караулим,— говорил мне с горькой жалобой один из ямщиков своим испорченным полурусским жаргоном,— пеструю столбу, да серый камень, да темную лесу». В этой фразе излилась вся горькая жизнь русского мужика, потерявшего совершенно смысл существования. «Столбы для дому бей в камень, паши камень и камень кушай... и слеза наша на камень этот падет»,— говорил другой.

Эти люди, которые, как все люди, всё ждут чего-то и на что-то надеются, везли Чернышевского, когда его отправляли на Вилюй. Они заметили, что этого арестанта провожают с особенным вниманием, и долго в юртах этих мужиков, забывающих родной язык, но хранящих воспоминание о далекой родине, толковали о «важном генерале», попавшем в опалу. Затем его провезли обратно и опять с необычными предосторожностями.

В сентябре 1884 года, через несколько месяцев после проезда Чернышевского по Лене в Россию, мне пришлось провести несколько часов на пустынном острове Лены в ожидании, пока пронесется снеговая туча. Мы с ямщиками развели огонь, и они рассказывали о своем житьишке.

— Вот разве от Чернышевского не будет ли нам чего?— сказал один из них, задумчиво поправляя костер.

— Что такое? от какого Чернышевского?— удивился я.

— Ты разве не знаешь Чернышевского, Николай Гавриловича?

И он рассказал мне следующее.

«Чернышевский был у покойного царя (Александра II) важный генерал и самый первейший сенатóр. Вот однажды созвал государь всех сенатóров и говорит:

— Слышу я — плохо у меня в моем государстве: людишки больно жалуются. Что скажете, как сделать лучше?

Ну, сенатóры... один одно, другой другое... Известно уж, как всегда заведено. А Чернышевский молчит. Вот, когда все сказали свое, царь говорит:

— Что же ты молчишь, мой сенатóр Чернышевский? Говори и ты.

— Все хорошо твои сенатóры говорят,— отвечает Чернышевский,— и хитро, да все, вишь, не то. А дело-то, батюшка-государь, просто... Посмотри на нас: сколько на нас золота да серебра навешано, а много ли мы работаем? Да, пожалуй, что меньше всех! А которые у тебя в государстве больше всех работают — те вовсе, почитай, без рубах. И все так идет навыворот. А надо вот как: нам бы поменьше маленько богатства, а работы бы прибавить, а прочему народу убавить тягостей.

Вот услышали это сенатóры и осердились. Самый из них старший и говорит:

— Это, знать, последние времена настают, что волк волка съесть хочет.— Да один за одним и ушли.

И сидят за столом — царь да Чернышевский — одни.

Вот царь и говорит:

— Ну, брат Чернышевский, люблю я тебя, а делать нечего, надо тебя в дальние места сослать, потому с тобой с одним мне делами не управиться.

Заплакал да и отправил Чернышевского в самое гиблое место, на Вилюй. А в Петербурге осталось у Чернышевского семь сынов, и все выросли, обучились, и все стали генералы. И вот пришли они к новому царю и говорят:

— Вели, государь, вернуть нашего родителя, потому его и отец твой любил. Да теперь уж и не один он будет — мы все с ним, семь генералов.

Царь и вернул его в Россию, теперь, чай, будет спрашивать, как в Сибири, в отдаленных местах народ живет... Он и расскажет...

Привез я его в лодке на станок, да как жандармы-то сошли на берег — я поклонился в пояс и говорю:

— Николай Гаврилович! Видел наше житьишко?

— Видел,— говорит.

— Ну, видел, так и слава-те господи».

Так закончил рассказчик, в полной уверенности, что в ответе Чернышевского заключался залог лучшего будущего и для них, приставленных караулить «пеструю столбу да серый камень».

Я рассказал эту легенду Чернышевскому. Он с добродушной иронией покачал головой и сказал:

— А-а. Похоже на правду, именно похоже! Умные парни эти ямщики.

1904

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

I

С Чеховым я познакомился в 1886 или в начале 1887 года (теперь точно не помню). В то время он успел издать два сборника своих рассказов. Первый, который я видел в одно из своих посещений на столе у Чехова, назывался «Сказки Мельпомены» и, кажется, составлял издание какого-то юмористического журнала. Самая внешность его носила отпечаток, присущий нашей юмористической прессе. На обложке стояло: «А. Чехонте» и был изображен мольберт, а перед ним — карикатурная фигура длинноволосого художника. Если память мне не изменяет, виньетку эту рисовал брат Антона Павловича, художник, умерший в самом конце 80-х или начале 90-х годов, человек, как говорили, очень талантливый, но неудачник... Эту первую книжку Чехова мало заметили в публике, и теперь редко кто ее, вероятно, помнит. Но некоторые (кажется, не все) рассказы из нее вошли в последующие издания.

Затем, помнится, в начале 1887 года появилась уже более объемистая книга «Пестрых рассказов», печатавшихся в «Будильнике», «Стрекозе», «Осколках» и на этот раз подписанных уже фамилией А. П. Чехова. Эта книга была замечена сразу широкой читающей публикой. О ней начали писать и говорить. Писали и говори-

ли разно, но много, и в общем это был большой успех. В газетных некрологах и заметках упоминается о том, будто А. С. Суворин первый рассмотрел среди ворохов нашего тусклого российского «юмора» неподдельные жемчужины чеховского таланта. Это, кажется, неверно. Первый обратил на них внимание Д. В. Григорович. Как кажется, он оценил эти самородные блестки еще тогда, когда они были разбросаны на страницах юмористических журналов или, быть может, по первому сборнику «А. Чехонте». Кажется, Григорович же устроил издание «Пестрых рассказов», и едва ли не от него узнал о Чехове Суворин, который и пригласил его работать в «Новом времени». В первые же свидания мои с Чеховым Антон Павлович показывал мне письма Григоровича. Одно из них было написано из-за границы. Григорович писал о тоске, которую он испытывает в своем курорте, о болезни, о предчувствии близкой смерти. Чехов, ⟨показывая⟩ мне и это письмо, прибавил:

— Да, вот вам и известность, и карьера, и большие гонорары...

Эта пессимистическая нотка показалась мне тогда случайной в устах веселого автора веселых рассказов, перед которым жизнь только еще открывала свои заманчивые дали... Но впоследствии я часто вспоминал эти слова, и они уже не казались мне случайными...

После выхода в свет «Пестрых рассказов» имя Антона Павловича Чехова сразу стало известным, хотя оценка нового дарования вызывала разноречие и споры. Вся книга, проникнутая еще какой-то юношеской беззаботностью и, пожалуй, несколько легким отношением к жизни и к литературе, сверкала юмором, весельем, часто неподдельным остроумием и необыкновенной сжатостью и силой изображения. А нотки задумчивости, лиризма и особенной, только Чехову свойственной печали, уже прокрадывавшиеся кое-где сквозь яркую смешливость,— еще более оттеняли молодое веселье этих действительно «пестрых» рассказов.

II

В то время в Петербурге издавался журнал «Северный вестник». Издательницей его была А. М. Евреинова, редакция (первоначальная) составилась из бывших сотрудников «Отечественных записок». Во главе ее сто-

ял Ник. Конст. Михайловский, близкое участие принимал Глеб Ив. Успенский и С. Н. Южаков, а в редактировании беллетристического и стихотворного отдела участвовал А. Н. Плещеев. Меня приглашали тоже ближе примкнуть к этому журналу, и я ехал в Петербург между прочим и по этому поводу. В то время я уже прочитал рассказы Чехова, и мне захотелось проездом через Москву познакомиться с их автором.

В те годы семья Чеховых жила на Садовой, в Кудрине, в небольшом красном уютном домике, какие, кажется, можно встретить только еще в Москве. Это был каменный особнячок, примыкавший к большому дому, но сам составлявший одну квартиру в два этажа. Внизу меня встретили сестра Чехова и младший брат, Михаил Павлович, тогда еще студент. А через несколько минут по лестнице сверху спустился и Антон Павлович.

Передо мною был молодой и еще более моложавый на вид человек, несколько выше среднего роста, с продолговатым, правильным и чистым лицом, не утратившим еще характерных юношеских очертаний. В этом лице было что-то своеобразное, что я не мог определить сразу и что впоследствии, по-моему очень метко, определила моя жена, тоже познакомившаяся с Чеховым. По ее мнению, в лице Чехова, несмотря на его несомненную интеллигентность, была какая-то складка, напоминавшая простодушного деревенского парня. И это было особенно привлекательно. Даже глаза Чехова, голубые, лучистые и глубокие, светились одновременно мыслью и какой-то, почти детской, непосредственностью. Простота всех движений, приемов и речи была господствующей чертой во всей его фигуре, как и в его писаниях. Вообще, в это первое свидание Чехов произвел на меня впечатление человека глубоко жизнерадостного. Казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья, которым были переполнены его рассказы. И вместе угадывалось что-то более глубокое, чему еще предстоит развернуться, и развернуться в хорошую сторону. Общее впечатление было цельное и обаятельное, несмотря на то, что я сочувствовал далеко не всему, что было написано Чеховым. Но даже и его тогдашняя «свобода от партий», казалось мне, имеет свою хорошую сторону. Русская жизнь закончила с грехом пополам один из своих коротких циклов, по обыкновению не разрешившийся во что-нибудь реальное, и в воздухе чувствова-

лась необходимость некоторого «пересмотра», чтобы пуститься в путь дальнейшей борьбы и дальнейших исканий. И поэтому самая свобода Чехова от партий данной минуты, при наличности большого таланта и большой искренности,— казалась мне тогда некоторым преимуществом. Все равно, думал я,— это ненадолго... Среди его рассказов был один (кажется, озаглавленный «По пути»): где-то на почтовой станции встречаются неудовлетворенная молодая женщина и скитающийся по свету тоже неудовлетворенный, сильно избитый жизнью русский «искатель» лучшего. Тип был только намечен, но он изумительно напомнил мне одного из значительных людей, с которым сталкивала меня судьба. И я был поражен, как этот беззаботный молодой писатель сумел мимоходом, без опыта, какой-то отгадкой непосредственного таланта так верно и так метко затронуть самые интимные струны этого, все еще не умершего у нас, долговечного рудинского типа... И мне Чехов казался молодым дубком, пускающим ростки в разные стороны, еще корявo и порой как-то бесформенно, но в котором уже угадывается крепость и цельная красота будущего могучего роста.

Когда в Петербурге я рассказал в кружке «Северного вестника» о своем посещении Чехова и о впечатлении, которое он на меня произвел,— это вызвало много разговоров. Талант Чехова признавали все единогласно, но к тому, на что он направит еще не определившуюся большую силу,— относились с некоторым сомнением. Отношение к Чехову Михайловского читателям известно: он часто и с большим интересом возвращался к его работам, признавал огромные размеры его таланта, но тем суровее отмечал некоторые черты, в которых видел неправильное отношение к литературе и ее назначению. Ни о ком, однако, из сверстников Михайловский не писал так много, как о Чехове, а в последние годы, как это тоже известно, он относился к Чехову с большой симпатией... Во всяком случае, в то время, о котором я рассказываю, «Северный вестник» Михайловского хотел бы видеть Чехова в своей среде, и мне пришлось выслушать упрек, что во время своего посещения я (тогда еще новичок в журнальном деле) не позаботился о приглашении Чехова как сотрудника.

В следующее свое посещение я уже заговорил с Чеховым об этом «деле», но еще раньше меня говорил с ним о том же А. Н. Плещеев, заехавший к нему проез-

дом через Москву на Кавказ. Чехов сам рассказал мне об этом свидании, подтвердил обещание, данное Плещееву, но вместе с тем выразил некоторое колебание. По его словам, он начинал литературную работу почти шутя, смотрел на нее частью как на наслаждение и забаву, частью же как на средство для окончания университетского курса и содержания семьи [1].

— Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. Вот.

Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь — это оказалась пепельница,— поставил ее передо мною и сказал:

— Хотите — завтра будет рассказ... Заглавие «Пепельница».

И глаза его засветились весельем. Казалось, над пепельницей начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже с готовым юмористическим настроением...

Теперь, когда я вспоминаю этот разговор, небольшую гостиную, где за самоваром сидела старуха мать, сочувственные улыбки сестры и брата, вообще всю атмосферу сплоченной, дружной семьи, в центре которой стоял этот молодой человек, обаятельный, талантливый, с таким, по-видимому, веселым взглядом на жизнь,— мне кажется, что это была самая счастливая, последняя счастливая полоса в жизни всей семьи — радостная идиллия у порога готовой начаться драмы... В выражении лица и в манерах тогдашнего Чехова мне вспоминается какая-то двойственность: частью это был еще беззаботный Антоша Чехонте, веселый, удачливый, готовый посмеяться между прочим над «умным дворником», рекомендующим в кухне читать книги, и над парикмахером, который во время стрижки узнает, что его невеста выходит за другого, и потому оставляет голову клиента недостриженной... Образы теснились к нему веселой и легкой гурьбой, забавляя, но редко волнуя... Они наполняли уютную квартирку и, казалось, приходили в гости зараз ко всей семье. Сестра Антона Павловича рассказывала мне, что брат, комната которого отделялась от ее спальной тонкой перегородкой, часто

---

[1] В то время он был уже врачом, хотя и без практики, а брат его, Михаил Павлович, начинал тоже печататься в юмористических журналах (под псевдонимом).

стучал к ней ночью в стенку, чтобы поделиться темой, а иной раз готовым уже рассказом, внезапно возникшим в голове. И оба удивлялись и радовались неожиданным комбинациям... Но теперь в этом беззаботном настроении происходила заметная перемена: и сам Антон Павлович, и его семья не могли не заметить, что в руках Антоши не просто забавная и отчасти полезная для семьи игрушка, а великая драгоценность, обладание которой может оказаться очень ответственным. Кажется, в то время был уже напечатан (в «Новом времени») очерк «Святою ночью», чудная картинка, проникнутая глубоко захватывающей, обаятельной грустью, еще примиряющей и здоровой, но уже, как небо от земли, удаленной от беспредметно смешливого настроения большинства «Пестрых рассказов». И в лице Чехова, недавнего беззаботного сотрудника «Осколков», проступало какое-то особенное выражение, которое в старину назвали бы «первыми отблесками славы»... Я помню, что в словах матери, видимо счастливой и гордившейся успехом сына, звучали уже грустные ноты. Мы говорили с Антоном Павловичем о поездке в Петербург и о том, где мы там встретимся, и госпожа Чехова сказала со вздохом:

— Да, мне кажется, что Антоша теперь уже не мой...

Как это часто бывает, у матери было верное предчувствие...

Мы условились встретиться в Петербурге в редакции «Осколков», где я действительно нашел Чехова в назначенный день, в кабинете редактора г. Лейкина. Здесь, между прочим, произошел небольшой инцидент: накануне г. Лейкин похвастался перед Чеховым прекрасным рассказом, присланным в «Осколки» неизвестным еще начинающим автором, помнится, из Царского Села. Редактор пришел в восторг и пригласил автора для личных переговоров, с целью привлечь его к журналу. Чехов захотел прочитать рукопись. Оказалось, однако, что это был просто-напросто один из его собственных очерков, старательно переписанный с печатного и подписанный неведомой фамилией. Лучший признак известности: плагиат уже, очевидно, оценил новое дарование и тянулся к нему, как чужеядное растение...

III

Через некоторое время первый журнальный рассказ А. П. Чехова был написан. Назывался он «Степь». Во время моего пребывания в Петербурге А. Н. Плещеев получил из Москвы письмо, в котором Чехов писал, что работа у него подвигается быстро. «Не знаю, что выйдет, но только чувствую, что вокруг меня пахнет степными цветами и травами» — так приблизительно (цитирую на память) определял Чехов настроение этой своей работы, и это же несомненно чувствуется в чтении. На этом первом «большом» рассказе Чехова лежал еще, правда, отпечаток привычной ему формы. Некоторые критики отмечали, что «Степь» — это как бы несколько маленьких картинок, вставленных в одну большую раму. Несомненно, однако, что эта большая рама заполнена одним и очень выдержанным настроением. Читатель как будто сам ощущает веяние свободного и могучего степного ветра, насыщенного ароматом цветов, сам следит за сверканием в воздухе степной бабочки и за мечтательно-тяжелым полетом одинокой и хищной птицы, а все фигуры, нарисованные на этом фоне, тоже проникнуты оригинальным степным колоритом. Младший Чехов (Михаил Павлович) говорил мне вскоре после того, как рассказ появился в «Северном вестнике», что в нем очень много автобиографических личных воспоминаний.

Есть в нем, между прочим, одна подробность, которая казалась мне очень характерной для тогдашнего Чехова. В рассказе фигурирует Дениска, молодой крестьянский парень. Выступает он в роли кучера. Бричка с путниками останавливается в степи на привал в знойный, удушливый полдень. Горячие лучи жгут головы, откуда-то несется песня, «тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом... Точно над степью носился невидимый дух и пел», или сама она, «выжженная, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну... вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя»... В это время Дениска просыпается первым из отдыхающих путников. Он подходит к ручью, пьет, аппетитно умывается, плескаясь и фыркая. Несмотря на зной, на тоскливый пейзаж, на еще более

тоскливую песню, неизвестно откуда несущуюся и говорящую о неизвестной вине, Дениска переполнен ощущением бодрости и силы.

— А ну, кто скорее доскачет до осоки,— говорит он Егорушке, главному герою рассказа, и не только одерживает победу над усталым от зноя Егорушкой, но, не довольствуясь этим, предлагает тотчас же скакать обратно.

Я как-то шутя сказал Чехову, что он сам похож на своего Дениску. И действительно, в самый разгар 80-х годов, когда общественная жизнь так похожа была на эту степь с ее безмолвной истомой и тоскливой песнью, он явился беззаботный, веселый, с избытком бодрости и силы. То и дело у него неизвестно откуда являлись разные проекты, и притом как-то сразу, в готовом виде, с мелкими деталями... Однажды он стал развивать передо мною план журнала, в котором будут участвовать беллетристы, числом двадцать пять, «и все начинающие, вообще молодые». В другой раз, устремив на меня свои прекрасные глаза с выражением внезапно созревающей мысли, он сказал:

— Слушайте, Короленко... Я приеду к вам в Нижний.

— Буду очень рад. Смотрите же — не обманите.

— Непременно приеду... Будем вместе работать. Напишем драму. В четырех действиях. В две недели.

Я засмеялся. Это был опять Дениска.

— Нет, Антон Павлович. Мне за вами не ускакать. Драму вы пишите один, а в Нижний все-таки приезжайте.

IV

Он сдержал слово, приехал в Нижний и очаровал всех, кто его в это время видел. А в следующий свой приезд в Москву я застал его уже за писанием драмы. Он вышел из своего рабочего кабинета, но удержал меня за руку, когда я, не желая мешать, собрался уходить.

— Я действительно пишу и непременно напишу драму,— сказал он,— «Иван Иванович Иванов»... Понимаете? Ивановых тысячи... обыкновеннейший человек, совсем не герой... И это именно очень трудно... Бывает ли у вас так: во время работы, между двумя эпизо-

дами, которые видишь ясно в воображении,— вдруг пустота...

— Через которую,— сказал я,— приходится строить мостки уже не воображением, а логикой?..

— Вот, вот...

— Да, бывает, но я тогда бросаю работу и жду.

— Да, а вот в драме без этих мостков не обойдешься...

Он казался несколько рассеянным, недовольным и как будто утомленным. Действительно, первая драма далась Чехову трудно и повлекла за собою первые же серьезные чисто литературные волнения и огорчения. Не говоря о заботах сценической постановки, о терзаниях автора, видящего, как далеко слово от образа, а театральное исполнение от слова,— в этой драме впервые сказался перелом в настроении Чехова. Я помню, как много писали и говорили о некоторых беспечных выражениях Иванова, например, о фразе: «Друг мой, послушайте моего совета: не женитесь ни на еврейках, ни на психопатках, ни на курсистках». Правда, это говорит Иванов, но русская жизнь так болезненно чутка к некоторым наболевшим вопросам, что публика не хотела отделить автора от героя; да, сказать правду, в «Иванове» не было той непосредственности и беззаботной объективности, какая сквозила в прежних произведениях Чехова. Драма русской жизни захватывала в свой широкий водоворот вышедшего на ее арену писателя: в его произведении чувствовалось невольно веяние какой-то тенденции, чувствовалось, что автор на что-то нападает и что-то защищает, и спор шел о том, что именно он защищает и на что нападает. Вообще, эта первая драма, которую Чехов переделывал несколько раз, может дать ценный материал для вдумчивого биографа, который пожелает проследить историю душевного перелома, приведшего Чехова от «Нового времени», в котором он охотно писал вначале и куда не давал ни строчки в последние годы,—«в Русские ведомости», в «Жизнь» и в «Русскую мысль»... Беззаботная непосредственность роковым образом кончалась, начиналась тоже роковым образом рефлексия и тяжелое сознание ответственности таланта [1].

Следующий за «Степью» рассказ «Именины» был тоже напечатан в «Северном вестнике». За ним следо-

---

[1] Драма «Иванов» была напечатана в «Северном вестнике» (март 1889 г.).

вал третий («Огни»)... Его настроение значительно усложнялось, а пожалуй, и омрачалось несколько циничными, но еще более грустно-скептическими нотами, и Чехов в переписке несколько раз выражает недовольство этим рассказом. Остальное памятно, без сомнения, всей читающей России. За «Пестрыми рассказами» последовал сборник с характерным названием: «В сумерках». Затем «Хмурые люди»; затем в «Русской мысли» появилась «Палата № 6» — произведение поразительное по захватывающей силе и глубине, с какими выражено в нем новое настроение Чехова, которое я назвал бы настроением второго периода. Оно совершенно определилось, и всем стала ясна неожиданная перемена: человек, еще так недавно подходивший к жизни с радостным смехом и шуткой, беззаботно-веселый и остроумный, при более пристальном взгляде в глубину жизни неожиданно почувствовал себя пессимистом. К третьему периоду я бы отнес рассказы, а пожалуй, и драмы последних годов, в которых звучит и стремление к лучшему, и вера в него, и надежда. Через дымку грусти, порой очень красивой, порой разъедающей и острой и всегда поэтической, эта надежда сквозит, как куполы церквей дальнего города, едва видные сквозь знойную пыль и удушливый туман трудного пути... И над всем царит меланхолическое сознание:

Жаль только: жить в эту пору прекрасную
Уж не придется ни мне, ни тебе...

V

После этих первых встреч, довольно частых в начале нашего знакомства, мы виделись с Чеховым все реже и реже. Наши литературные связи и симпатии (я говорю о личных связях и симпатиях в литературной среде) в конце 80-х и начале 90-х годов были различны, и выходило так, что они перекрещивались редко также и впоследствии, когда он сошелся с родственными и мне литературными кругами. Я тогда же (то есть в конце 80-х годов) сделал было попытку свести Чехова с Михайловским и Успенским. Мы вместе с ним отправились в назначенный час в «Пале-Рояль», где тогда жил Михайловский и где мы уже застали Глеба Ивановича Успенского и Александру Аркадьевну Давыдову (впо-

следствии издательницу журнала «Мир божий»). Но из этого как-то ничего не вышло. Глеб Иванович сдержанно молчал (тогда у него начинали уже появляться признаки сильной душевной усталости и, пожалуй, предвестники болезни). Михайловский один поддерживал разговор, и даже Александра Аркадьевна — человек вообще необыкновенно деликатный и тактичный — задела тогда Чехова каким-то резким замечанием относительно одного из тогдашних его литературных друзей. Когда Чехов ушел, я почувствовал, что попытка не удалась. Глеб Иванович, с которым мы вместе вышли от Михайловского, заметил, с своей обычной чуткостью, что я огорчен, и сказал:

— Вы любите Чехова?

Я попытался изобразить то чувство, которое у меня было к Чехову, и то впечатление, какое он на меня производит. Он слушал с обычным своим задумчивым вниманием и сказал:

— Это хорошо...— но сам остался сдержанным. Теперь я понимаю, что веселость тогдашнего Чехова, автора «Пестрых рассказов»,— была чужда и неприятна Успенскому. Сам он когда-то был полон глубокого и своеобразного юмора, острота которого очень рано перешла в горечь. Михайловский чрезвычайно верно и чрезвычайно метко обрисовал в статье об Успенском ту целомудренную сдержанность, с какой он сознательно обуздывал свою склонность к смешным положениям и юмористическим образам из боязни профанировать скорбные мотивы злополучной русской действительности. Хорошо это или плохо — я здесь рассуждать не буду. Думаю, конечно, что было бы превосходно, если бы люди с такими природными залежами смеха в душе находили в себе и в окружающей атмосфере достаточно силы, чтобы победить великое уныние русской жизни своим еще более сильным смехом. Тогда мы имели бы, может быть, мировые шедевры сатирической литературы... Но... мечтать можно о чем угодно, а факт все-таки состоит в том, что современное русское уныние само побеждает русский юмор, и это с неизбежностью рокового закона отразилось — к сожалению, даже слишком скоро — на самом Чехове.

Но в то время еще было иначе, и я помню, с каким скорбным недоумением и как пытливо глубокие глаза Успенского останавливались на открытом жизнерадостном лице этого талантливого выходца из какого-то

другого мира, где еще могут смеяться так беззаботно. Чехов тоже инстинктивно сторонился от назревшего уже в Успенском настроения, которое сторожило его самого,— и они разошлись несколько холодно, пожалуй, с безотчетным нерасположением друг к другу.

Теперь нет уже обоих. Успенский умер раньше, могила Чехова еще не закрылась, когда я пишу эти строки... Но оба сошли со сцены с надеждой на будущее и со жгучей скорбью о настоящем.

Вспоминается мне еще один разговор с Чеховым о Гаршине. Не помню, было ли это после смерти Гаршина или под конец его омраченной жизни... Я недавно вернулся из Сибири, и во мне еще были живы и свежи глубокие впечатления от ее величаво-угрюмой природы и ее людей. И мне казалось, что если бы можно было отвлечь Гаршина от мучительных впечатлений нашей действительности, удалить на время от литературы и политики, а главное — снять с усталой души то сознание общей ответственности, которое так угнетает русского человека с чуткой совестью... если бы взамен этого поставить его лицом к лицу только с первобытной природой и первобытным человеком — то, думалось мне, больная душа могла бы еще расправиться. Но Чехов возразил с категоричностью врача:

— Нет, это дело непоправимое: раздвинулись какие-то молекулярные частицы в мозгу, и уж ничем их не сдвинешь...

Впоследствии мне часто вспоминались эти слова. Через год-два «раздвинулись частицы» у Успенского и, сколько ни искал он исцеления во «врачующем просторе» родины, как ни метался по степям и ущельям Южного Урала, по горным хребтам Кавказа, по Волге и «захолустным рекам» средней России,— ему не удалось стряхнуть все глубже въедавшейся в душу тоски, как и сознания «общей ответственности» перед правдой жизни за все ее неправды. А затем «раздвинулись частицы» и у Чехова. Правда, это были частицы легких, а не мозга, ясность которого он сохранил до конца. Но кто скажет, какую роль в физической болезни играла та глубокая разъедающая грусть, на фоне которой совершались у Чехова все душевные, а значит, и физические процессы...

Мои встречи с Чеховым во второй половине 90-х годов уже были не часты и случайны. В период уже определившейся болезни мы встретились только три-четыре

раза. Один раз это было в 1897 году в редакции «Русской мысли». В то время я тоже был болен. Чехов расспрашивал меня со вниманием товарища и врача и, выйдя из редакции, на улице задушевно пожал мне руку и сказал:

— Ничего... вы поправитесь, уверяю вас — вы поправитесь.

— И вы тоже поправитесь, Антон Павлович!..— сказал я с верой, истекавшей из сильного желания верить.

— Да, да, надеюсь... Мне и теперь лучше,— ответил он, и мы расстались.

В последний раз я видел его в 1902 году в Ялте, куда я приехал для разговора об одном общем заявлении. Чехов написал мне, что хочет заехать в Полтаву, и я предупредил его, зная, как ему это трудно. Он жил на своей даче, которую построил (по-художнически непрактично) под Ялтой; с ним жили сестра и жена. Как и в первую нашу встречу, сестра Чехова встретила меня внизу, как и тогда, Чехов спустился по лестнице сверху. У меня сжалось сердце при этом воспоминании. Это был тот же Чехов, но куда девалась его уверенная, спокойная жизнерадостность? Черты обострились, стали как будто жестче, и только глаза все еще порой лучились и ласкали. Но и в них чаще виднелось застывшее выражение грусти. Сестра рассказывала, что по временам он сидит целые часы, глядя в одну точку. Во время разговора он взял лежавшую на столе книгу, недавно рекомендованную русскому читателю Л. Н. Толстым.

— Поленца, «Крестьянин». Читали? Хорошая книга,— сказал он.— Вот если бы мне еще написать одну такую книгу... я считал бы, что этого довольно. Можно умереть.

Он умер раньше.

VI

И опять невольно приходит в голову сопоставление: Гоголь, Успенский, Щедрин, теперь — Чехов. Этими именами почти исчерпывается ряд выдающихся русских писателей с сильно выраженным юмористическим темпераментом. Двое из них кончили прямо острой меланхолией, двое других беспросветной тоской. Пушкин называл Гоголя «веселым меланхоликом», и это меткое

определение относится одинаково ко всем перечисленным писателям... Гоголь, Успенский, Щедрин и Чехов...

Неужели в русском смехе есть в самом деле что-то роковое? Неужели реакция прирожденного юмора на русскую действительность — употребляя терминологию химиков — неизбежно дает ядовитый осадок, разрушающий всего сильнее тот сосуд, в котором она совершается, то есть душу писателя?..

1904

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

Статья первая

I

Среди смуты, в хаосе творения новой русской жизни, наступает восьмидесятилетняя годовщина великого русского художника и истинно замечательного человека, вызывающего удивление и восторг во всем читающем и мыслящем человечестве. Нет угла на земном шаре, в который только проникает газета, на каком бы языке она ни издавалась, куда бы теперь не проникало и это имя. И всюду оно вызывает известное движение мысли и чувства, ума и совести, начиная с простого любопытства или радостного сочувствия и кончая напряженным столкновением религиозных, нравственных, политических мнений.

Последнее — особенно в нашем отечестве. Здесь около этой сложной, удивительной и величавой фигуры бушует теперь настоящий водоворот разнообразных течений, происходит столкновение не одних взглядов, но и страстей. Наша жизнь всколыхнулась до глубины в трагическом усилии возрождения — но и среди этого огромного движения, быть может, в органической с ним связи — праздник литературы, праздник свободной мысли и слова составляет один из выдающихся эпизодов, которому суждено остаться в биографии великого писателя и в истории нашей общественности характерным пятном на своеобразном фоне... Какой величаво яркий закат... какая тревожная, бурная обстановка...

Толстой — великий художник. Это истина, уже признанная читающим миром и, кажется, нигде и ни-

кем серьезно не оспариваемая. И если порой все-таки поднимаются голоса, вроде Белавенека в венском рейхстаге или епископа Гермогена в Саратове, утверждавшего еще недавно, что образы Толстого-художника «красивы, но не действуют благотворно ни на ум, ни на сердце», то судьба таких сведущих критиков — только оттенять торжественный хор общего восхищения и признания...

Да, Толстой действительно огромный художник, какие рождаются веками, и творчество его кристально чисто, светло и прекрасно. Кто-то из крупных французских писателей, если не ошибаюсь, Гюи де Мопассан, сказал, что каждый художник изображает нам свою «иллюзию мира». Обыкновенно принято сравнивать художественное произведение с зеркалом, отражающим мир явлений. Мне кажется, можно принять в известной комбинации оба определения. Художник — зеркало, но зеркало живое. Он воспринимает из мира явлений то, что подлежит непосредственному восприятию. Но затем в живой глубине его воображения воспринятые впечатления вступают в известное взаимодействие, сочетаются в новые комбинации, соответственно с лежащей в душе художника общей концепцией мира. И вот в конце процесса зеркало дает свое отражение, свою «иллюзию мира», где мы получаем знакомые элементы действительности в новых, доселе незнакомых нам сочетаниях. Достоинство этого сложного отражения находится в зависимости от двух главных факторов: зеркало должно быть ровно, прозрачно и чисто, чтобы явления внешнего мира проникали в его глубину не изломанные, не извращенные и не тусклые. Процесс новых сочетаний и комбинаций, происходящий в творящей глубине, должен соответствовать тем органическим законам, по которым явления сочетаются в жизни. Тогда, и только тогда, мы чувствуем в «вымысле» художника живую художественную правду...

Иллюзия мира... Да, конечно. И эти иллюзии сложны и разнообразны, как и сам воспринимаемый мир. Одно и то же лицо может быть отражено в зеркале плоском, или вогнутом, или выпуклом. Ни одно из этих зеркал не солжет — элементарные процессы природы лгать не могут (кажется, в этом смысле софисты доказывали, что лжи совсем нет). Но если вы отразите все эти изображения на экране и измерите их очертания, то увидите, что только прямое зеркало дало вам отраже-

ние, размеры и пропорции которого объективно совпадают с размерами и пропорциями предмета в натуре. Отражение того же лица на поверхности самовара — конечно, не «ложь»: оно и движется, и изменяет выражение, оно, значит, отражает действительное, живое лицо. Но между этим лицом и видимым нами отражением легли искажающие свойства выпуклой поверхности. А ведь порой на этой поверхности есть еще ржавчина, или плесень, или она изъедена кавернами, или окрашена случайными реактивами, изменяющими живую окраску... И тогда, вглядываясь в чуть мерцающее отражение живого лица, мы едва узнаем знакомые нам черты: они растянуты, обезображены, искажены; на месте глаз — ржавые пятна, вместо живого тела — цвет разложения, вместо «иллюзии живого явления» — «иллюзия» призрака.

Конечно, может случиться, что и при такой отражающей поверхности внутренний процесс творчества будет обладать свойствами органически правильного и оригинального сочетания, как это было, например, у больного Достоевского. И тогда в искаженных отражениях местами, как клочки неба в черных лесных озерах, будут сверкать откровения изумительной глубины и силы. Они будут и драгоценны, и поучительны, но всегда односторонни. Они вскроют нам почти недоступные глубины больного духа, но не ищите в них ни законов здоровой жизни, ни ее широких перспектив. Продолжая ранее взятое сравнение, я скажу, что по прямому отражению пейзажа, зарисованного с птичьего полета на бумаге, вы можете ориентироваться в натуре, легко найдете свою дорогу и рассчитаете усилия, необходимые для достижения цели. Попробуйте сделать то же по рисунку, отраженному неправильной зеркальной поверхностью, и, конечно, вы собьетесь с пути.

Нынешний период литературы особенно богат такими иллюзиями призраков, то есть иллюзиями вдвойне. Отчего бы это ни происходило, как бы «натурально» ни объяснялось и как бы «законно» ни было, факт все же остается фактом: воспринимающая поверхность нашего художественного зеркала за последние годы как будто искривилась, покрылась ржавыми пятнами, извратилась на разные лады и в разных направлениях. Я не говорю, конечно, о том, что на ней появляются то и дело искаженные ужасом лица, расширенные и застывшие зрачки, стоящие дыбом волосы: ужас составляет зна-

чительный момент самой современности. Я говорю о тех извращениях, которые не зависят прямо от явлений жизни, а только от зеркала... Болезненные искривления линий, невероятные и нежизненные положения и поступки, преувеличенно приапическое выражение, сплошь разлитое на средних человеческих лицах, в средней, по-видимому, обстановке... При виде этих верениц диких образов, точно в фантастическом вихре несущихся перед современным читателем, мы уже не спрашиваем вместе с «старым» поэтом:

С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышут?

На сходство с действительностью, на простоту и естественность они и сами не претендуют... Нет, при созерцании фантастической метели модернизма приходит на ум парафраз из другого поэта:

Сколько их, куда их гонят?
Что фальшиво так поют?

II

Когда после этого обращаешься к Толстому, то чувствуешь, точно с Брокена и вальпургиевой ночи попал на свет дня и солнца. Мир Толстого — это мир, залитый солнечным светом, простым и ярким, мир, в котором все отражения по размерам, пропорциям и светотени соответствуют явлениям действительности, а творческие сочетания совершаются в соответствии с органическими законами природы... Над его пейзажем светит солнце, несутся облачные пятна, есть людская радость и печаль, есть грехи, преступления и добродетели... И все эти образы, трепещущие жизнью, движением, кипящие человеческими страстями, человеческой мыслью, стремлениями ввысь и глубокими падениями, созданы в полном соответствии с творчеством жизни, их размеры, их окраска, пропорции их взаимного распределения отражают точно и ясно, как экран под прямым зеркалом, взаимоотношения и светотени действительности. И все это отмечено печатью духа, светится внутренним светом необыкновенного воображения и никогда не устающей бодрой мысли.

Но, кроме этой верности, чистоты и прозрачности образов, поразительна еще и ширина творческого за-

хвата, огромность художественного горизонта Толстого. Мы, люди, работающие в нижних слоях той же области, над которой высится и парит Толстой, особенно живо чувствуем почти титаническую силу его художественного подъема. Средний художник считает себя счастливым, если ему удастся выхватить из бесформенного хаоса явлений одну освещенную тропу, в лучшем случае пробить просеку, по которой движется последовательное развитие данного образа, освещая кое-что и по сторонам главной дорожки. Художественный захват Толстого — это не тропа, не просека, не лента дороги. Это огромный, далеко и широко раскинувшийся кругозор, лежащий перед нами во всем своем неизмеримом просторе, с изгибами рек, пятнами лесов, дальними селами. Подойдите ближе в любом месте, и перед вами зашумит многоголосый, живой говор толпы. Еще ближе — и вы видите из нее отдельных людей. И все это живет собственной, полной, настоящей жизнью, кипучей, своеобразной и многообразной...

Размеры статьи и ее назначение не позволяют мне привести для иллюстрации примеры и сравнения. Я позволю себе, однако, одно беглое указание. Золя в своем «Débacle» [1] разработал ту же тему, что и Толстой в «Войне и мире». Золя — крупный художник и мыслитель, однако сравните его картины с картинами Толстого. Вот, например, движение отрядов. У Золя — это «боевые единицы». Вы их видите, слышите гул их движения, наблюдаете действие их в общем столкновении. Но это именно коллективные единицы, которые движутся, точно пятна на плане. В лучшем случае вы разглядите среди них главного героя и отдельные группы, близкие к основной нити рассказа. У Толстого проходящий на параде или идущий в сражение полк — не коллективная единица, а человеческая масса, кишащая отдельными жизнями. Перед вами выступают то и дело множество живых лиц — генералы, офицеры, солдаты, со своими личными особенностями, со своими случайными ощущениями данной минуты,— и когда это изумительное движение пронеслось и исчезло, вы еще чувствуете этот клубок человеческих жизней, прокатившийся в общей массе...

Выражаясь грубо фигурально, можно сказать, что средний художник поднимает в воображении двух,

---

[1] «Разгром» *(фр.).— Ред.*

трех, наконец, десяток-другой лиц. И чем больше расширит он свой захват, тем тусклее становятся образы. Воображение Толстого поднимает сотни и несет их с изумительной легкостью, как могучая река свои караваны и флотилии... В своем «Разгроме» Золя — архитектор, отлично владеющий материалом и распределяющий его, как математик, по закону: необходимо и достаточно. Порой в его строго рассчитанной картине чувствуется чертеж и подстриженная аллейка. Творческое воображение Толстого не знает удержу: поле его фантазии засеяно могучей порослью, буйно разрастающейся за всякие ограды намеченного плана. У него нет главного героя. Его герой целая страна, борющаяся с нашествием врага. В его картине сотни лиц, и каждое, даже случайно, мимоходом выпущенное на арену, тотчас же заявляет о своей яркой *особности*, насильно захватывает ваше внимание для своей собственной личной жизни, не хочет уйти из вашей памяти... И все это вместе растекается вширь, как наводнение, грозя выхлестнуть из рамы с стихийной силой самостоятельного, непокорного ничьему велению явления жизни. При меньшей силе художественного кругозора эта буйная плодовитость воображения могла бы стать роковым недостатком: столпление образов могло бы превратиться в настоящий хаос конкретных явлений, то́ есть потерять значение обобщающего художественного творения. Порой кажется, что еще немного, и художник должен изнемочь под бременем своих образов, как атлет, поднявший чрезмерную тяжесть, и тогда разросшееся творение падет опять в хаос явлений, сольется с беспорядком, из которого пыталось его выхватить художественное творчество. Но Толстому по силам то, под чем упал бы всякий другой. Своим истинно орлиным взглядом он все время обозревает огромное поле своего действия, не теряя из виду ни одного лица в отдельности и не позволяя им закрывать перед собой целое... В конце концов неудержимый напор стихийно возникающих образов введен в границы. В заключении романа вы видите, как буйный разлив вошел в свои берега, грандиозная эпопея заканчивается плавно, величаво и спокойно...

Да, это почти нечеловеческая сила воображения и почти магическая власть над кипящими отраженьями жизни. Можно сказать смело, что по непосредственной силе творческой фантазии, по богатству и яркости художественного материала нет равного Толстому из со-

временных художников. Всемирно известный Ибсен не может и отдаленно сравниться с Толстым в этом отношении: его порой очень глубокая мысль далеко не всегда покрывается слишком для нее скудными образами, и художнику то и дело приходится прибегать к заплатам сухого, отвлеченного и бескровного символизма.

III

Теперь от художественной области, в которой величие Толстого очевидно и неоспоримо, мы переходим к области более спорной, около которой и в настоящую минуту возникают разногласия, вскипают страсти.

Толстой публицист, моралист и мыслитель не всегда был достаточно благодарен Толстому-художнику. А между тем если бы художник не поднялся на высоту, откуда он виден и слышен всему миру, едва ли мир с таким вниманием прислушивался бы к словам мыслителя. И кроме того, Толстой-мыслитель весь и целиком заключен в Толстом-художнике. Здесь все его крупные достоинства и не менее крупные недостатки.

Давно уже отмечено, что в произведениях Толстого-художника нашла отражение вся наша жизнь, начиная от царя и кончая крестьянином. Эти полюсы намечены верно: действительно, в «Войне и мире», например, есть поразительно яркий и реальный образ царя в лице Александра I. Это с одной стороны. На другой — мы имеем почти бессловесных солдата Каратаева и мужика Акима (из «Власти тьмы»). Между этими крайностями располагается множество персонажей — аристократия, деревенские дворяне — много деревенских дворян,— крепостные, дворовые, мужики — много мужиков... Однако есть в этой необыкновенно богатой коллекции и один существенный пробел: вы напрасно станете искать в ней «среднего сословия», интеллигента, человека свободных профессий, горожанина,— будь то чиновник на жаловании, конторщик, бухгалтер, кассир частного банка, ремесленник, заводский рабочий, газетный сотрудник, технолог, инженер, архитектор... Родовитое дворянство в произведениях Толстого подает руку мужику через головы людей среднего состояния, которые в этом богатом собрании персонажей почти отсутствуют или являются только мельком, без существенных особенностей своего положения, своей психологии и быта.

Город для Толстого — это место, где влюбляется Левин, где Стива Облонский видит во сне своих дамочек и рюмочки, куда деревенские ходоки приходят с своими ходатайствами за разоренных Стивой и его собратьями однодеревенцев, куда, наконец, идут на скорую погибель детски беспомощные деревенские парни и девицы. Но горожанина, как такового, и городской жизни, независимой от деревни, с ее особенной самостоятельной ролью в общей жизни великой страны не знает художественное внимание Толстого. В нем всего устойчивее отразились два полюса крепостной России: деревенский дворянин и деревенский мужик. Нашего брата, горожанина-разночинца, чья жизнь вращается между этими полюсами, великий художник не видит, не хочет знать и не желает с нами считаться.

Не знаю, попадалось ли уже это замечание в огромной критической литературе о Толстом. Во всяком случае, оно принадлежит не мне: впервые я слышал его от одного из моих друзей, и оно поразило меня своей меткостью. Разумеется, было бы странно ставить это обстоятельство на счет «недостатков» в художественном творчестве Толстого. Пожалуй, наоборот — оно подчеркивает огромный захват этого творчества: в то время как у других художников мы указываем, что именно, какой угол жизни они изобразили, у Толстого легче отметить то, что он пропустил. Но для Толстого-мыслителя и публициста этот пробел имел очень существенное, почти роковое значение.

Дело именно в том, что Толстой-мыслитель — целиком порождение Толстого-художника. Конечно, Толстой — человек очень образованный, много читавший и много изучавший. Для своих религиозных изысканий он изучал даже древнееврейский язык. Но его публицистические и моральные схемы никогда не истекали из этого изучения, как самостоятельный вывод из накопленных знаний. Наоборот, изучение являлось служебным орудием для готовой схемы, которая рождалась из художественной интуиции.

В комплексе душевных свойств этого замечательного человека есть одна черта, заслуживающая более пристального и обстоятельного анализа. Может быть, я остановлюсь еще на ней в другой раз, а пока отмечу ее лишь общими чертами. В недавно опубликованных господином Чертковым материалах из семейной хроники и переписки Толстых есть одно письмо старшего брата

писателя, а в письме есть характерная фраза: «Левушка все юфанит». В примечаниях к письму говорится, что Юфан был работник в имении Толстых, который очень нравился Льву Николаевичу. Нравился до такой степени, что он подражал его движениям, его манере держать соху и т. д. И это было далеко уже не в детском и даже, кажется, не в юношеском возрасте.

Таких примеров можно было бы привести очень много и из произведений, и из биографии великого писателя. Эта способность увлекаться чужой личностью, вовлекаться, так сказать, в ее сферу составляет парадоксальную, на первый взгляд, но очень заметную черту нравственной физиономии Толстого. И, наверное, этот Юфан ничем особенным не выделялся из ряду. Здесь не нужно ни особенной глубины, ни оригинальности, ни богатства душевного строя. Нужна только *непосредственность* и *цельность*. Солдат Каратаев не умеет связать трех последовательных фраз, Аким закрывает свое туманное миросозерцание магической и почти нечленораздельной формулой: таё-таё. Убогость душевного мира несомненная. Мало слов, мало понятий, мало образов и мало ощущений. Зато эта убогая душевная меблировка расставлена удивительно просто и гармонично: тут нет места разным душевным беспорядкам — вроде столкновения различных противоречивых понятий,— нет места рефлексии и сомнениям. Отсюда спокойная уверенность в своей правоте, отсюда непосредственность и цельность. А этого достаточно, чтобы великий художник, обуреваемый целым миром образов, идей, понятий, которые вечно волнуются, сталкиваются в душе и не позволяют ей окончательно сложиться в каком-нибудь прочном и гармоническом «стиле»,— остановился перед Каратаевым, перед Акимом, перед Юфаном, зачарованный почти до гипноза их простою и убогою цельностью. И в своем увлечении он силою таланта заставит и нас преклоняться перед этой цельностью и верить, что в солдате Каратаеве мерцает какая-то необыкновенная мистическая мудрость, которую не дано разгадать даже гениальному художнику.

Вся многообразная история толстовских душевных переживаний сводится, по моему мнению, к жадному исканию цельности и гармонии духа. Если это возможно только при душевном и умственном обеднении, то — за борт душевное и умственное богатство! Для Толстого наступает период общения с Юфанами, Каратаевыми

и Акимами в «простой народной вере», «у одной чаши», у одного обряда... Вместе со своим Левиным он идет тогда в деревенский храм и с сердечным сокрушением раскрывает перед немудрым деревенским попиком свою гениальную душу. Он вовлечен в душевную сферу Юфанов и Каратаевых, и ему кажется, что он «научился» верить так же бездумно, просто и «правильно», как правильно, «по-юфановски», научился держать соху. Он задул свой диогеновский фонарь и с наслаждением погружается в океан непосредственной веры, без критики, с подавленным анализом в душе.

Но, конечно, это только иллюзия. «Научиться» Акимовой вере нельзя, во-первых, а во-вторых, не стоит, потому именно, что невозможно *научиться непосредственности,* а только она одна и влекла Толстого. Между тем кипучая, богатая красками и мыслью натура художника протестует против обеднения. Наступает кризис. Анализ сух и безрадостен, но ведь он тоже стихия, живущая своей непосредственной жизнью... А «народная вера — глупа» и полна нехристианских суеверий... Гармония исчезает. Период нерассуждающей ортодоксии закончен. Вечный искатель пускается в новый путь.

IV

Толстой говорит (если не ошибаюсь, в «Исповеди»), что в это время он был близок к самоубийству. Но вот, на безрадостном распутии, Толстой-художник протягивает руку помощи растерявшемуся Толстому-мыслителю, и богатая фантазия восстановляет перед ним картину новой душевной непосредственности и гармонии. Он спит и видит сон. Песчаная, выжженная пустыня. Кучка неведомых людей в простых одеждах древности стоит под солнечными лучами и ждет. Сам он стоит вместе с ними, со своим теперешним ощущением духовной жажды, но он одет, как они. Он тоже простой иудей первого века, ожидающий в знойной пустыне слова великого Учителя жизни...

И вот *Он*, этот учитель, всходит на песчаный холм и начинает говорить. Говорит он простые слова евангельского учения, и они тотчас же водворяют свой мир в смятенные и жаждущие души.

Это было. Значит, это прежде всего можно себе представить воображением. А подвижное и яркое вооб-

ражение великого художника к его услугам. *Он сам* стоял у холма, сам *видел* Учителя, сам вместе с другими иудеями первого века испытал очарование этой божественной проповеди. Теперь он сохранит этот душевный строй, в сферу которого кинул его вещий художественный сон, и развернет его перед людьми. И это будет благодатная новая вера Толстого, в сущности старая христианская вера, которую нужно добыть в Евангелии из-под позднейших наслоений, как золото из-под шлака. Толстой читает Евангелие, вдумывается в подлинные тексты вульгаты, изучает древнееврейский язык... Но это изучение — не исследование объективного ученого, готового признать выводы из фактов, каковы бы они ни оказались. Это страстное стремление художника во что бы то ни стало восстановить душевный строй первых христиан и гармонию простой, неусложненной христианской веры, которые он пережил в воображении. В то время, когда на него в вещем сновидении сошло ощущение благодати и покоя, он был иудеем первого века. Ну что ж — он им и останется до конца. Это ему нетрудно: к услугам богатое воображение, придающее сну силу действительности. Это во-первых. А во-вторых, к услугам еще и тот пробел в его художественном кругозоре, о котором мы говорили выше.

Толстой-художник знает, чувствует, видит только два полюса земледельческой России. Его художественный мир — это мир богачей земледельческого строя и его бедных Лазарей. Тут есть и добродетельные Воозы, и бедные Руфи, и неправедные цари, отымающие у поселянина его виноградник, но совсем нет ни самостоятельной городской жизни, ни фабрик, ни заводов, ни капитала, оторванного от труда, ни труда, лишенного не только виноградника, но и собственного крова, ни трестов, ни союзов рабочих, ни политических требований, ни классовой борьбы, ни забастовок... Значит — ничего этого для единственного блага на земле — душевной гармонии — и не нужно. Нужна любовь. Добрый богач Вооз допустил бедную Руфь собирать колосья на своей богатой ниве. Вдовица смиренно подбирала колосья... И бог устроил все ко благу их обоих... Нужна любовь, а не союзы и стачки... Пусть все полюбят друг друга... Не ясно ли, что тогда рай водворится на этой смятенной земле.

Толстой — великий художник, и Толстой же — мыслитель, указывающий человечеству пути к новой

жизни. Не странно ли, что он никогда не пытался написать свою «утопию», то есть изобразить в конкретных, видимых формах будущее общество, построенное на проповедуемых им началах. Мне кажется, что эта видимая странность объясняется довольно просто. Для своего будущего общества Толстой не требует никаких новых общественных форм. Его утопия — частью назади: простой сельский быт, которому остается только проникнуться началами первобытного христианства. Все усложнения и надстройки позднейших веков должны исчезнуть сами собой. Взыскуемый град Толстого по своему устройству ничем не отличался бы от того, что мы видим теперь. Это была бы простая русская деревня, такие же избы, те же бревенчатые стены, той же соломой были бы покрыты крыши, и те же порядки царствовали бы внутри деревенского мира. Только все любили бы друг друга. Поэтому не было бы бедных вдовиц, никто бы не обижал сирот, не грабило бы начальство... Избы были бы просторны и чисты, закрома широки и полны, скотина сильна и сыта, отцы мудры и благосклонны, дети добры и послушны. Фабрик и заводов, университетов и гимназий не было бы вовсе. Не было бы «союзов», не было бы политики, не было бы болезней, не было бы врачей и, уж конечно, не было бы губернаторов, исправников, урядников и вообще «начальства».

Так могло бы быть на этом свете, если бы люди захотели послушаться иудея первого века нашей эры, который сам слышал слова великого Учителя с холма среди песчаной пустыни... Слышал так ясно, хотя бы только в вещем сне!

V

Мне кажется, я не ошибаюсь: в этом *образе*, который Толстой-художник подарил Толстому-мыслителю, и в стремлении мыслителя развернуть в конкретных формах навеянное сном ощущение благодатной душевной гармонии, приобщив к ней всех людей,— в этом весь закон и пророки Толстого-мыслителя и моралиста. Здесь его поразительная временами сила и не менее поразительная слабость.

Сила — в критике нашего строя с точки зрения якобы признаваемых этим строем христианских начал. Слабость — в неумении самому ориентироваться в за-

путанностях этого строя, из которого он желает нам указать выход. Если бы действительно иудей первого века, слышавший живую речь Христа, каким-нибудь чудом очутился теперь среди нас, то очень вероятно, что, ошеломленный сложностью нашей жизни и ее ужасами, он сказал бы нам приблизительно то же, что и Толстой: братья, уйдем отсюда в пустыню, где жизнь проще и добрее, и, когда на холм взойдет великий Учитель, ваша скорбь и ваше смятение стихнет. Увы!— он не знал бы, что этот холм существует уже только в сновидении, что в действительности от него уже не осталось и следа, что по тому месту проложены, быть может, рельсы и поезд несет туда за деньги людей, каждый шаг которых в святой земле должен быть оплачен теми же деньгами... Так как каждый клочок святой земли служит источником алчного дохода...

Когда сам Толстой со своей мечтой, навеянной чудным сновидением, выходит на городскую улицу XX века,— он беспомощен и наивен совершенно в той же степени, как наш предполагаемый выходец из первого века. Иллюстраций сколько угодно — мы возьмем одну из области борьбы великого писателя с деньгами...

Тот, кто в знойной пустыне водворил простыми словами мир в его душу, охваченную отчаянием и смятением, сказал, между прочим, великие слова: «просящему дай» и «если имеешь две одежды, одну отдай нищему». Заповедь простая, которую, по-видимому, нужно только *пожелать* исполнить, а программа исполнения ясна: «иди и раздай имение нищим».

Что же? У Толстого не хватило желания? Как известно, этот пункт является одним из наиболее благодарных для личных нападок на тему притчи о богатом юноше и об игольном ухе. Чужая душа, разумеется, потемки, но мне кажется, что та точка зрения, какую я пытаюсь установить в этой, быть может, слишком беглой и торопливой заметке, исключает в очень значительной степени мелкое зоильство и злорадное торжество при виде «противоречия между словом и делом» в практике этого прямого и искреннего человека.

Дело в том, что наш иудей первого века замечательный психолог и наблюдатель. Было время: он пытался исполнить заповедь. Всем известен эпизод во время переписи, когда Толстой сделал довольно широкую попытку помогать деньгами, и что из этого вышло: вышло не благо. На деньги «простого графа» потянулась (по-

ложим, в Хитровом рынке) дикая алчность, лицемерие, ложь и зависть. И результатами такой упрощенной раздачи явилось не улучшение людей, не благодатные просветы в душах приемлющих, а только сгущенная тьма алчности, пьянства, цинизма.

«Рука дающего не оскудевает». На этом основании «простой» обыватель наменивает каждую субботу копеечек и раздает их в воскресение нищим на паперти приходского храма. Толстой не знает *таких* раздач и такой крохоборной благотворительности. Все или ничего! *Все* — когда из этого проистекает прямо и непосредственно добро в его смысле. Что же значит, что исполнение простой заповеди дало такие странные результаты? Мы, приглядывающиеся к жизненной сутолоке с другой, более современной и более сложной точки зрения, знаем, что и благотворительность в современных условиях требует большого внимания, сложной системы и даже искусства. Но иудей первого века не хочет знать никаких сложностей. От раздачи денег истекало зло. Откуда оно? Очевидно, не от внутреннего побуждения дающего. Алчное тяготение обездоленного к протянутой руке тоже естественно. Зло в самых деньгах, этом изобретении лукавого города. Христос не помогал деньгами, апостолы тоже. Это оттого, что деньги зло. А значит, дающий деньги — дает зло. Деньгами помогать ближнему не следует. Можно помогать только любовью. А уже любовь найдет свои пути и свои способы помощи.

Такова теория, и она установлена прочно. Но вот наступает тяжелый 1891—1892 год. На огромном пространстве России люди — взрослые, женщины, дети — болеют от голода, страдают и умирают. Один «петербургский житель» пишет Толстому письмо, в котором изображает свое положение: он желал бы помочь голодающим, но он малосостоятельный горожанин, живущий на свой городской заработок. Единственная форма помощи ближнему, которая ему доступна,— это ежемесячное отчисление от своего заработка. Но... деньги зло! Что ему делать?

Был ли это действительно простодушный вопрос искреннего толстовца, или это, наоборот, была форма полемики с толстовскими идеями, это неважно. Вопрос был поставлен ребром, и ответ на него, несомненно, имел большое значение для искренних последователей Толстого. Вопрос состоял в том, как заурядному совре-

менному человеку сделать хоть маленькое дело любви и помощи в современных условиях разделения труда и денежного хозяйства.

Л. Н. Толстой ответил на запрос целой статьей, которая, кажется, не была напечатана, но в то время ходила по рукам, литографировалась, читалась в собраниях и всюду оставляла чувство неудовлетворения. Из нее мы, разночинные представители междуполярных общественных слоев — не богатые деревенские помещики и не нищие деревенские пахари — должны были еще раз убедиться, до какой степени и мы сами, и наше положение чужды и Толстому-художнику, и Толстому-моралисту. В статье подтверждалось все-таки, что «деньги зло» и помощь деньгами — не настоящая помощь. Помогать надо любовью. Любовь требует близости. Пусть же господа горожане при наступлении лета едут — «вместо дорогих петербургских дач» — в голодающие деревни. Там непосредственное созерцание умирающих с голоду братьев укажет им, что делать. Вместо холодной и формальной денежной помощи, горожанин «отрежет краюху от собственного хлеба», и это будет делом любви.

Да, только гениальному человеку можно простить такие советы, говорил мне один «горожанин», прочитавший статью... Беда в том, что вопрошатель Толстого едва ли выезжал на дачи. А если выезжал, то ему были доступны только дощатые сооружения в Шувалове, Парголове, Перкиярви, откуда каждый день с портфелем под мышкой он должен ездить на работу в канцелярию, контору или редакцию... «Уехать на дачу» в голодающие губернии!.. Но тогда он немедленно очутится с семьей в положении того же «голодающего», так как у него нет ни богатого поместья, ни мужичьего надела, а только «образование», гонорар, построчная плата... Он продает свой труд за деньги... и отдать он может только деньги, столько-то рублей в месяц. А столько-то рублей — это, по условиям хлебного рынка, столько-то пудов хлеба... То есть столько-то накормленных людей.

Толстой — честь и слава его живому чувству — сам, по-видимому, не удовлетворился своим ответом, отступил от своей схемы, стал принимать денежные пожертвования и менять деньги на хлеб. И он сделал в голодный год большое и важное благотворительное дело...

А затем... Можно было думать, что этот резкий эпизод, это бьющее в глаза противоречие теории с неизбеж-

ной практикой (вред от раздачи денег — деньги зло; необходимость денежной помощи — деньги благо) заставит Толстого остановиться в новом раздумье и что отсюда начнется новое отрицание. Но на этот раз он удержался все-таки в занятой позиции, в атмосфере волшебного сновидения об иудее первого века. Хотя — кто знает — даже и теперь, покончит ли на этом неутомимый искатель, или мы услышим еще раз о новых сомнениях этого вечно бодрого ума... Паломник в страну непосредственности и гармонии духа опять, быть может, возьмет свой страннический посох, чтобы отправиться в новый путь, и самый поздний закат застанет его среди этого неусыпного вечного стремления...[1]

VI

Итак, Толстой-мыслитель — весь в Толстом-художнике, и изъяны его построений почти целиком вытекают из указанного выше пробела в области его художественных наблюдений. Его прекрасная мечта о водворении первых веков христианства может сильно действовать на простые, непосредственные или на уставшие души. Но мы, люди из просмотренного художником междуполярного мира, не можем последовать за ним в эту измечтанную страну. Для этого у нас нет ни достаточно воображения, ни достаточно досуга и, наконец, настроения. Жизнь, усложненная, запутанная современная жизнь с ее условиями обдает нас, междуполярных жителей, бурными вихрями от обоих полюсов. Мы тоже еще недавно верили в близкое царство божие на земле и так же, как Лев Николаевич, признавали формулу: все или ничего. Но суровая история борьбы нескольких поколений напомнила нам старую истину, что «царство божие нудится», что одной проповеди недостаточно даже для воспитания, что формы общественной жизни являются в свою очередь могучими факторами совершенствования личности и что необходимо шаг за шагом разрушать и перестраивать эти формы. В одной из статей Толстого приведены слова Генри Джорджа, которого Лев Николаевич ставит очень

[1] Это писано в 1908 г. Чрезвычайно интересно проследить, как в последние годы жизни еще раз менялись некоторые взгляды Толстого. Символически — картина выдержана до конца. Смерть застала великого искателя в пути...

высоко. «Я знаю,— говорит Генри Джордж,— что предлагаемая мною реформа не водворит еще царства справедливости на земле. Для этого и сами люди должны стать лучше. Но эта реформа *создаст условия*, при которых людям легче совершенствоваться...» В этой совершенно правильной мысли — узел того спора, который разделяет порой так резко настроение Толстого-мыслителя и чтущей великого художника передовой части русского общества. Никто не отрицает, что человек должен стремиться стать и внутренно достойным свободы. Дело только в том, что между внутренней и внешней свободой есть органическая связь и для возможности самой проповеди о внутреннем совершенствовании необходимы лучшие, *более нравственные* формы общественных отношений. И вот почему идет эта тяжкая борьба, которая потребовала уже столько жертв из той именно сферы жизни, которую проглядел Толстой-художник и с которой не желает считаться Толстой-мыслитель и моралист. И потребует еще много. И не для «всего», не для водворения сразу царства божия на земле, которое кажется таким простым, *если бы все* захотели и могли поверить озаренному светлому сну о первом веке христианской эры, а только для того, чтобы ступень за ступенью, ряд за рядом класть основы, на которых будет построен храм будущей свободы. И когда среди этой тяжкой борьбы, порой идущей среди тьмы и тумана, иудей первого века смотрит с пренебрежительной усмешкой или с тяжким упреком на эти усилия, осуждая не только средства, которые разнообразны, но и цели, за которые люди (а теперь уже массы людей) отдают свою жизнь,— то становится понятным чувство ответной горечи, которое являлось временами по адресу Толстого среди передовых слоев борющегося общества и народа... И порой невольно приходит в голову, что только благодаря тому, что Толстой знает, видит, чувствует лишь самые низы и самые высоты социального строя,— ему так легко требовать «все или ничего», так легко отказываться от «односторонних» улучшений, вроде конституционного строя и ограничения законом внешнего произвола во всех его видах. Низы долго страдали и безропотно, смиренно терпели... До высот, особенно до той высоты, на которой стоит гениальный художник,— не может доплеснуть волна никакого утеснения. А нам, людям из неведомой и непризнанной области, нам нужен от времени до времени

хоть глоток свежего воздуха, чтобы не задохнуться в этом царстве гнета и безграничного произвола...

А теперь уже не мы одни, междуполярные жители, но самые низы готовы, по-видимому, отказаться от «внутренней свободы» безропотного и безграничного терпения... И пока будет устроен на земле *рай полной* свободы — они хотели бы раздвинуть и расширить свое теперешнее помещение, сломать ненужные, сгнившие постройки и — главное — почувствовать себя хоть до известной степени хозяевами в собственном доме.

VII

Я пишу не панегирик к юбилейному дню, а стараюсь только дать посильную характеристику гениального художника и крупного, искреннего, смелого человека. Толстой не нуждается в дифирамбах, а характеризовать его правильно, со всеми свойствами его выдающейся личности — значит дать образ, вызывающий восторг и удивление. Без указания же на отмеченные выше черты характеристика была бы не полна...

Но в той же толстовской мечте есть также источник его силы как беспощадного критика современного строя. Мы не можем последовать за Толстым в измечтанную им область. Но искренняя мечта всегда была отличным критерием действительности. Где теперь было бы человечество, если бы по временам действительность не вынуждалась стать перед судом мечты. Притом же нельзя забывать, что простые истины, вынесенные из первого века нашей эры, являются признанными, официально освещенными и закрепленными основами нашего строя. Это та формальная почва, которая является для современного государства источником его показной официальной морали. И в этой области выходец из первого века, со всей своей наивностью и даже благодаря ей, может сказать с большим авторитетом много живого и интересного.

И вот под влиянием своего чудного сновидения, в котором он *сам слышал* слова Учителя,— Толстой смотрит на нашу действительность и в изумлении протирает глаза при виде всего того, с чем когда-то так страстно мечтал примириться. Как? Так это христианство? Как? Это — общество, основанное на заветах Христа!.. Иудей первого века глубоко изумлен, а всякая

изумленная фигура среди сутолоки будничной жизни невольно привлекает общее внимание, возбуждает и заражает...

Отсюда изумительное искусство Толстого говорить общеизвестные истины. Да, именно общеизвестные истины говорить очень трудно, то есть говорить так, чтобы они приобретали свежесть, оригинальность и жизнь, а именно в этом особенно нуждается наша современность. Мы, образованные люди, *знаем* очень много, но в нашей жизни *сделано* очень мало из того, что для нас стало уже избитой, азбучной истиной. Отсюда — многое в нашей современной литературе и, между прочим, стремление к тому, «чего никогда не бывало». У нас — секут мужиков вповалку, иногда женщин и детей и старых почтенных стариков. Это позорно. И это незаконно. И об этом говорилось много раз. И говорилось как о вопиющем и позорном нарушении человеческого права, но... господа губернаторы продолжают свои упражнения давно — и в «мирное время» столь же свободно, как и во время смуты, любой петербургский пшют, очутившийся, благодаря протекции, в роли помпадура, приказывает разложить почтенного старика, который годится ему в прадеды, а в своем деле во сто раз умнее, чем помпадур в своем, и... в воздухе свищет лоза. Мы узнаем это и, если сможем, напечатаем негодующую статью, в стиле которой, однако, звучит скрытое уныние и скука: и погромче нас были витии... Ни для кого это, увы!— не новость.

Но вот в один прекрасный день в конце 80-х годов такой легковесный администратор в Орле отправляется в экспедицию и производит экзекуцию над мужиками. Конечно, все это сойдет ему благополучно... Однако через некоторое время откуда-то налетает вихрь, и карьера орловского помпадура разбита. Что же случилось? Ничего особенного. Только иудей первого века узнал об этом эпизоде и изумленно вскрикнул, что это не похристиански. Но разве мы все, сверху донизу, этого не знали? Разве это не общеизвестная истина? Да. Но Толстой, из глубины своего настроения иудея первого века, сумел сказать эту истину так, что она вновь потрясает не только готовое к негодованию «общество», но и тех, кто терпел, поощрял, даже награждал ретивых помпадуров за такие же мероприятия. Сказал Толстой... Это много. Но еще — сказал «иудей первого века христианской эры»,— а это, пожалуй, еще больше.

И дело, конечно, не в том, что один администратор, легкомысленный и жестокий, потерял карьеру. Придут другие, не менее легкомысленные и жестокие. Это мы знаем лучше и тверже, чем иудей первого века... Но дело в том, что под пером Толстого такие «общеизвестные истины» теряют свою тусклость и избитость, сверкают опять всеми красками жизни, будят новое негодование, тревожат, вновь заставляют искать выхода... И еще: они перестают быть мертвым капиталом, лежавшим на сохранении до лучших времен, а расходятся широко, проникая и захватывая такие слои, где раньше царила тупая непосредственность, жалкая покорность или слепое безразличие.

В такие моменты преграда между Толстым-проповедником и его принципиальными противниками из среды междуполярных жителей рушится. Потому что в его речах слышится глубокая искренность. И когда *он* говорит о непротивлении злу насилием, то он не похож на тех фарисеев, которые обращаются с своей проповедью исключительно к стороне слабейшей. Толстой уже раньше бесстрашно и резко осудил тех, кто обладает властью и силой и кто пытается обосновать эту власть на авторитете христианства и его морали...

И в ту минуту, когда я пишу эти строки, весь образованный мир читает опять одну из «общеизвестных истин» в освещении Толстого: его простые слова на азбучную тему о смертной казни опять потрясают людские сердца... И, конечно, все, что может сделать человеческое слово в прямом смысле и еще более — что оно может сделать косвенно, освещая мрачные бездны нашего порядка,— все это сделает слово гениального мечтателя, которому приснилось однажды, что он слышит в знойной пустыне слова любви и мира из уст самого великого Учителя...

VIII

Есть еще одна сторона в огромной и сложной личности Толстого-писателя, которая заставляет нас, междуполярных жителей, сочувствовать Толстому-мыслителю и восхищаться им даже в тех случаях, когда мы принципиально далеко не во всем с ним согласны: он поднял печатное слово на высоту, недосягаемую для преследования.

Правда, для самого Толстого тут есть источник свое-

образного нравственного страдания. Около двадцати лет назад я, еще молодым человеком, только что вернувшись из отдаленной ссылки, в первый раз посетил Толстого, и первые его слова при этой встрече были:

— Какой вы счастливый: вы пострадали за свои убеждения. Мне бог не посылает этого. *За* меня ссылают. *На* меня не обращают внимания.

Это понятно: запечатлеть свою проповедь жертвой за исповедуемые идеи — стремление всякого проповедника, и Толстой много раз после этого печатно бросал русскому правительству упрек в непоследовательности и неправосудии: почему гонят, сажают в тюрьмы, преследуют тех, кто увлечен его проповедью, и оставляют в покое самого проповедника?

Еще недавно, полемизируя с Толстым, официозный орган «конституционного» министерства отвечал между прочим и на этот упрек. Что делать, говорит «Россия», Толстой — плохой мыслитель, но он же и великий художник. Его проповедь (например, против смертной казни?) очень вредна, но злая судьба создала правительству специальное затруднение в пресечении этого вреда: приходилось бы преследовать великого художника, к которому чувствуешь «невольную нежность», которого необходимо беречь...

Внушить «невольную нежность» людям, защищающим применение смертной казни как повседневное, широкое, бытовое явление,— уже это, если принять à la lettre [1] заявление официоза, является, конечно, огромным нравственным завоеванием. «Другие», не столь официозные, но одинаково во многом настроенные люди такой нежности не испытывают: по всей России идет теперь исступленный поход против великого писателя и против его чествования благодарным русским обществом, а известному кронштадтскому иерею даже приписывали особую молитву, очень напоминающую доклад по департаменту о необходимости скорейшей административной высылки великого писателя за пределы этого мира: он будто бы кощунственно просил у бога скорейшей смерти Толстому. О, как далеко это «христианство» от того учения, которое иудеи первого века слышали на берегах озер и с пустынных холмов [2].

---

[1] Буквально *(фр.).— Ред.*

[2] Впоследствии писали, что сочинение этой молитвы, ходившей по рукам в известных кругах, приписывалось Иоанну Кронштадтскому неправильно.

Да, нежность к великому русскому художнику ретроградных слоев русского общества, потрясаемого простым и могучим словом «плохого мыслителя»,— очень условна. И однако факт остается: Толстого не решились тронуть, хотя никакие запреты не в состоянии остановить распространение его мыслей и его наивно-простых, но ужасных обличений. Толстого это печалит. Мы не можем этому не радоваться.

И не только потому, что нам при всех наших разногласиях дорог этот неугомонный великий старец, но и потому, что в нем мы видим первую победу свободы совести и мысли над нетерпимостью и гонением. Да, он поднял свободное слово на такую высоту, перед которой преследование бессильно.

И это он сделал только внутренней силой своего гения. Великий художник создал это положение смелому мыслителю. Мы не великие художники, и вся остальная литература бредет еще в густой тьме произвола и бесправия. Но впереди, перед нею, возвышаясь светящимся колоссом, стоит над туманами, заволакивающими еще поле русской жизни, могучая фигура, шагнувшая за пределы этой тьмы и этого бесправия. И мы чувствуем с особенной силой, что он все-таки наш, и гордимся, что он достиг этой высоты силою одного только слова. Нас ободряет то, что он вынес свет свободной совести и слова за пределы угнетения. И, глядя на высоко поднятый им факел, мы забываем наши разногласия и шлем восторженный привет этому честному, смелому, часто заблуждавшемуся, но и в самых ошибках глубоко искреннему великому человеку...

1908

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Статья вторая

> Блаженны алчущие и жаждущие правды.

I

Кто-то — если не ошибаюсь, Лессинг — сказал:

«Если бы бог протянул мне в одной руке абсолютное знание, а в другой только стремление к истине и сказал:

выбирай!— я бы тотчас ответил: „Нет, творец! Возьми себе абсолютное знание, вечное и неподвижное, а мне дай святое недовольство и непрерывное, беззаветное стремление“».

Л. Н. Толстой — яркий представитель такого стремления, беспокойного, бескорыстного, неустанного и заразительного.

Формулы, в которые Толстой от времени до времени заключает это свое стремление, как готовую истину и как мораль для поведения, менялись не один раз, как менялись они у его героев — Пьера Безухого, Левина. Если посмотреть на Толстого с этой точки зрения, то весь он — на протяжении своей долгой и гениальной работы — одно зыбкое противоречие.

Вот, например, одна из таких формул:

«Благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передают ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие люди в этих случаях, с *простотой и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор,* пока в душе его *чувство оскорбления и мести* не заменяется чувством *презрения* и жалости...» [1]

Эти слова, в которых чувство «противления» сказалось во всей своей непосредственности и даже крайностях, где даже к побежденному врагу нет другого отношения, кроме жалости, смешанной с презрением... Можно ли поверить, что они написаны той же рукой, которая впоследствии писала другие строки: если бы даже дикие зулусы вторглись в страну, убивая стариков и детей, насилуя жен и дочерей,— и тогда христианин не в праве дать волю «чувству вражды и мести», и тогда он не может силу противопоставить силе...

А между тем это писала действительно одна и та же рука... Этого мало: формула абсолютного непротивления продиктована тем же основным душевным мотивом, из которого вышла жестокая сентенция о благе нерассуждающей вражды и мести...

---

[1] «Война и мир», 7-е полное издание соч., т. VIII, стр. 170.

Этот мотив, единый и никогда не изменявшийся у Толстого,— искание правды, стремление к цельному душевному строю, который дается только глубокой, неразложимой анализом верой в свою истину и непосредственным ее применением к жизни.

II

Тоска по непосредственности и искание веры, дающей цельность душевного строя,— такова основная нота главных героев Толстого-художника, в которых всего полнее отразилась его собственная личность.

Мир раскололся — и трещина прошла по сердцу поэта,— сказал Гейне. Замечательный образ, многое объясняющий в нашем душевном строе. Мир раскололся давно — и одна часть человечества идет по солнечной стороне великой социальной трещины, другая бредет в темноте и тумане. В наше время особенно чувствуется, что трещина приходится по сердцам на одних поэтов, и Толстой с необыкновенной силой таланта и искренности умеет изображать это ощущение душевного разлада людей, оставшихся на солнечной стороне. Вся его жизнь, вся его гениальная работа как художника и мыслителя есть выражение этого душевного разлада, истекающего из сознания великой неправды жизни, и стремление к исцелению в какой-нибудь единой вере, способной примирить противоречия, внести мир и гармонию в смятенные души.

Одно время не только Толстому казалось, что душевная цельность осталась только в простом народе как дар судьбы за тяжкое бремя страдания и труда. Но этот дар стоит всех благ, которые унесли с собой счастливцы, идущие по солнечной стороне жизни. Он драгоценнее даже знания, науки и искусства, потому что в нем заключена цельная всеразрешающая мудрость. Неграмотный солдат Каратаев выше и счастливее образованного Пьера Безухого. И Пьер Безухий старается проникнуть в тайну этой цельной мудрости неграмотного солдата, как сам Толстой стремится постичь мудрость простого народа.

Едва ли случайно великий художник взял для самого значительного из своих произведений эпоху, в кото-

рой непосредственное чувство народа спасло государство в критическую минуту, когда все «рациональные» организованные силы оказались бессильны и несостоятельны. Гениальность Кутузова как полководца Толстой видит лишь в том, что он один понял силу стихийного народного чувства и отдался этому могучему течению, не рассуждая, слепо, с закрытыми глазами. Сам Толстой, как его Кутузов, в этот период тоже был во власти великой стихии. Народ, его непосредственное чувство, его взгляды на мир, его вера — все это, как могучая океанская волна, несло с собой душу художника, диктовало ему жестокие сентенции о «первой попавшейся дубине», о презрении к побежденным. Это цельно, и, значит, в этом закон жизни. Вчитайтесь внимательнее в изумительную эпопею народной войны, и вы найдете там, с удивлением, может быть, с душевным содроганием, почти оправдание убийства пленных... Это делал народ, не знающий душевного разлада, обладающий мудростью цельного, неошибающегося непосредственного чувства, более правильного, чем все расчеты... Значит, в этом правда...

III

Однако человек, который умел так изобразить душевный разлад, муку сомнений и исканий, как их изобразил Толстой в Левине, Безухом, Нехлюдове, не может надолго остаться в таком настроении. В силе народного подъема в эпоху освободительной борьбы с внешним нашествием он нашел *непосредственный* порыв и весь поддался гипнозу этого народного порыва, могучего и цельного, непосредственного и нерассуждающего. Искания этой непосредственности и для себя приводят его к жажде такой же цельности. Но эта цельность — все-таки чужая. А сомнения и душевный разлад Пьера, рефлексии Левина, его падения, ошибки, все новые и новые искания, это — *свое*, родное, органически присущее душе самого Толстого. И по мере того как обаяние великой эпопеи, овладевшей душой писателя, ослабевало, сомнения поднимались снова, анализ начинал подтачивать гипноз «простой веры» Каратаевых... «Власть тьмы», в которой мудрый простой народ изображен на крайних ступенях темноты и порока, наметила новую фазу в эволюции Толстого. Художник оказал-

ся способным дать эту картину. Это значило, что мыслитель освободился от подчинения народному мировоззрению, вышел на новый путь для своих неутомимых поисков.

Нужно бы написать целую книгу, чтобы проследить захватывающую историю этих скитаний великого и беспокойного духа в поисках за исцеляющей гармонией истины. В другом месте я попытаюсь с несколько большей подробностью наметить главные этапы этого пилигримства. Здесь скажу только, что, разложив своим анализом все то, чему поклонялся еще недавно в «простой и цельной народной вере», Толстой не нашел успокоения и убежища во всем современном мире. По собственному признанию в «Исповеди», мир в это время казался ему мертвой пустыней. Ум безрадостен и сух, «народная вера» полна лжи и суеверий... На этом распутье Толстой-художник протянул руку истомленному страннику-мыслителю, и гениальное воображение создало для него мир прекрасной и великой мечты. В эпоху «Войны и мира» перед восхищенным взором Толстого колыхался океан душевной цельности противляющегося и борющегося народа. И он признал эту цельность борьбы законом жизни. Теперь послушная мечта развернула перед ним картину другой цельности, такой же могучей, такой же стихийной и такой же захватывающей. На него повеяло настроением другого народа, который на заре христианства под грохот разваливающегося старого мира готовился завоевать человечество не чувством вражды и мести, а учением любви и кротости... Обаяние этой мечты охватило его, убаюкало беспокойную мысль, унесло на своих волнах в страну непротивления, к душевной ясности христиан первого века... Через тьму столетий до его слуха донесся призыв Христа, и надолго он остается в своей измечтанной стране, призывая мир, мятущийся и страдающий в сетях непримиримых противоречий, в свое мирное убежище...

IV

Таковы противоположные полюсы единого душевного стремления, такова в сухих и общих чертах история этой яркой, великой жизни. Сквозь тьму веков из страны своей мечты великий художник и искренний

мыслитель смотрит орлиным взглядом на противоречия и несовершенства нашей жизни, и это особенное положение делает такой неотразимой его критику нашего строя, считающего себя тоже основанным на христианских началах.

Правда, мы не можем последовать за Толстым в страну его мечты. Но сладость этой мечты мы чувствуем и глубоко ценим искренность его неустанных исканий правды. И, кроме того, мы понимаем, что если мыслитель порой закрывает глаза на то, что между первым веком христианства и нашей современностью залегли бездорожья и туманы девятнадцати столетий, в течение которых родились новые, сложные и непредвиденные условия, то все же отголоски великих истин, прозвучавших тогда для человечества, отдаются порой в голосе художника-мечтателя с такой силой, которая как бы разгоняет туманы веков. На их обаяние отзываются простые сердца, а среди фарисеев великого учения и среди торгующих в храме они порождают смятение и тревогу...

Теперь среди все возрастающего смятения, под мрачными тучами, завесившими наш горизонт, великий художник и смелый искатель правды стоит на величавом закате своей жизни, а вокруг него, проповедующего кротость и непротивление, кипят и волнуются страсти, начиная от восхищения и восторга и кончая темной ненавистью и враждой...

Пройдут еще годы, десятилетия, века... Страсти нашей исторической минуты смолкнут. Быть может, закроется уже и великая трещина, раскалывающая мир на счастливых и обездоленных от рождения; человеческое счастье, человеческое горе и борьба найдут другие, более достойные человека формы, умственные стремления направятся в своем полете к новым целям, теперь недоступным нашему воображению. Но даже и с этого отдаления на рубеже двух давно истекших столетий еще будет видна величавая фигура, в которой, как в символе, воплотились и самый тяжкий разлад, и лучшие стремления нашего темного времени. Это будет символический образ гениального художника, ходившего за мужицким плугом, и российского графа, надевшего мужицкую сермягу...

1908

ТРАГЕДИЯ ВЕЛИКОГО ЮМОРИСТА

Несколько мыслей о Гоголе

I

Кто не помнит конца веселой Сорочинской ярмарки. Свадьба... «От удара смычком музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами... Все неслось, все танцовало...»

Но вот:

«Гром, хохот, песни слышатся все тише и тише, смычок умирает, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо... Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье. В собственном эхе слышит он уже грусть и пустынно и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их... Скучно оставленному! И тяжело, и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему...»

Это написано в 1829 году. Значит, этот крик щемящей тоски вслед за кипучим и бьющим через край весельем вырвался из груди двадцатилетнего юноши!

Таких смен настроения в произведениях Гоголя очень много, и они указывают на глубокую, прирожденную черту темперамента. Именно прирожденную: это было наследство, полученное великим русским юмористом от отца.

Уже биография Василья Афанасьевича Гоголя дает черты таких же смен меланхолии и веселья. Здоровье его с детства было ненадежно. «Васюта, слава богу, по силе своих сил и дарований, успевает,— писал о нем, малолетке, его учитель.— Я его понуждаю к учению, сообразжаяся всегда силам его телесным, которые усматриваются невелики». В одном письме к Д. П. Трощинскому сам Василий Афанасьевич объясняет свое отсутствие на службе в почтамте, где он числился, какими-то тягостными и продолжительными припадками. Отголоски этих жалоб звучали даже в письмах к не-

весте: «Милая Машенька,— слабость моего здоровья наводит страшное воображение, и лютое отчаяние терзает мое сердце» [1].

Во внешних обстоятельствах личной жизни как будто не было никаких причин для такого «лютого отчаяния». Наоборот, судьба щадила хрупкое создание: существование Василья Афанасьевича складывалось спокойно и счастливо. Полюбив Марью Ивановну Косяровскую, он стал ухаживать за нею поэтично и робко. Об этой идиллии сама Марья Ивановна следующим образом рассказывает в своих воспоминаниях:

«Когда я, бывало, гуляю с девушками по реке Пслу, то слышала приятную музыку из-за кустов другого берега. Нетрудно было догадаться, что это был он. Когда я приближалась, то музыка в разных направлениях сопутствовала мне до самого дома...» Бесхитростное ухаживание увенчалось успехом. Василий Афанасьевич женился, имел детей и жил мирною жизнью украинского помещика. Вопросы высшего порядка, по-видимому, не тревожили простую душу. Он был прекрасный рассказчик, гостей умел смешить анекдотами, легко подмечал смешные черты у людей, но смеялся безобидно и благодушно. Легко сочинял стихи, но никогда не брался за это серьезно. Писал на малорусском языке комедии, в которых являлся смешной украинский черт, дьячок в долгополом хитоне, неповоротливый дядько, лукавая молодица и т. д. Это был наивный репертуар первоначального украинского театра. «Шутка и песня для приятного провождения времени,— говорит биограф,— вот все, что мог искать тогдашний писатель в родном быту. И Гоголь-отец очень умело и искусно почерпал из него элементы для своей комедии». В мозгу отца роились, очевидно, те же юмористические образы, с которых сын впоследствии начал свою писательскую карьеру...

Так шла жизнь Василья Афанасьевича Гоголя тихо и безмятежно. «Амуры венчали» его семейное счастие в той самой усадьбе, где под звуки «приятной музыки» зародилась его любовь. Простодушные соседи считали его анекдотистом, рассказчиком, весельчаком. Ни служебное, ни писательское честолюбие не смущали его настроения. Но вместе с тем припадки «странного воображения» и «лютого отчаяния» сменяли веселые шут-

---

[1] П. Е. Щеголев, «Отец Гоголя» («Историч. вестн.», февр. 1902).

ки. Он был страшно мнителен, часто впадал в меланхолию и умер на сорок пятом году. Гоголь писал впоследствии, что отец его умер не от какой-нибудь определенной болезни, а только единственно «от страха смерти».

Этот «страх смерти» Николай Васильевич Гоголь получил от отца как роковое наследство. Вообще в организации и темпераменте сына Гоголь-отец повторился довольно точно, только в сильно увеличенном и более ярком виде. Так маленькая картинка, запертая в ящик волшебного фонаря, светится увеличенная на огромном экране...

Уже с детства сказываются в темпераменте сына те же неровности и противоречия: он бывал то поразительно весел, остроумен, отлично играл на сцене, то впадал в ипохондрию и отчаяние. «Я почитаюсь загадкою для всех,— писал он матери,— никто не разгадал меня совершенно...» «Под видом иногда для других холодным таилось у меня желание кипучей веселости», и часто «в часы задумчивости разгадывал я науку веселой счастливой жизни».

Маленький талант Гоголя-отца был бессознателен. Он употреблял его на увеселение соседей и на украшение праздников вельможного родственника Трощинского. Сын уже с детства ощущает в душе присутствие гениальности, которая должна сделать его жизнь не заурядной жизнью простых «существователей». Но наряду с этим его сторожит и отцовский страх смерти, которая может помешать ему выполнить свое «предназначение». «С самых лет почти непонимания,— пишет Гоголь своему дяде Косяровскому,— я пламенел неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хоть малейшую пользу. Холодный пот проскальзывал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом... Быть в мире и не означить своего существования — это было бы ужасно...»

Впоследствии в своих сочинениях Гоголь дал поразительные описания этого ощущения, и это чуть не единственные места, которые носят явно автобиографический характер.

Читатель, конечно, помнит смерть Пульхерии Ивановны в «Старосветских помещиках», но я все-таки приведу здесь вкратце эту замечательную картину.

У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая почти всегда лежала, свернувшись клубком, у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцами по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкши ее всегда видеть. Афанасий Иванович часто подшучивал над этой привязанностью, находя, что лучше было бы завести собаку. Но Пульхерия Ивановна отвечала:

— Уж молчите, Афанасий Иванович! Вы любите только говорить и больше ничего. Собака нечистоплотна, собака нагадит, собака перебьет все. А кошка — тихое творение. Она никому не сделает зла.

За садом старосветских помещиков находился большой запущенный лес. В этом лесу обитали дикие коты, которых не следует смешивать с котами цивилизованными. Это народ большей частью мрачный, ходят они тощие, худые и мяукают грубым, необработанным голосом. Вообще никакие благородные чувства им не известны. Эти-то дикари сманили у Пульхерии Ивановны ее цивилизованную кошечку, как отряд разнузданных солдат-мародеров сманивает глупую крестьянку...

Прошло три дня, и кошка явилась опять, худая, тощая... Пульхерия Ивановна позвала ее в комнату, накормила, хотела погладить, но... кошка выпрыгнула в окно, и никто ее уже не мог поймать.

Это непонятное поведение баловницы, отдавшей предпочтение голодному дикому существованию перед обеспеченностью и сытым покоем, поражает старушку. Ее воображение, давно привыкшее к простоте и, так сказать, полной прозрачности окружающей жизни в ограниченном круге, не может вместить странного явления, и она решает, что это за нею приходила ее смерть.

Весь день она была скучна... Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так загрустила. Пульхерия Ивановна была безответна или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела и объявила Афанасию Ивановичу, что она скоро умрет. Эта идея укоренялась все сильнее. Через несколько дней она слегла, не могла уже принимать никакой пищи, а затем «после долгого молчания

хотела что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело».

Нужно ли напоминать, что совершенно так же умер и Афанасий Иванович. Однажды он вышел прогуляться по саду. Когда он шел по аллее — ему вдруг показалось, что кто-то позвал его: «Афанасий Иванович!..» Он оборотился, но никого совершенно не было... День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался, а потом решил, что «это его зовет Пульхерия Ивановна». «Он весь покорился этому своему убеждению, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и наконец угас так же, как она, когда уже ничего не осталось, что могло бы поддержать бедное ее пламя...»

Итак, это уже другая смерть от душевного угнетения. Третью мы знаем: Гоголь-отец тоже умер не от какой-нибудь «соматической болезни», а только от страха смерти.

Наконец, в том же рассказе Гоголь говорит уже прямо о себе: «Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, после которого неминуемо следует смерть. Признаюсь, мне всегда был *страшен* этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий настигла меня среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди ясного дня. Я обыкновенно бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню».

Это — не простая работа объективно художественного воображения. Нет, это живое, осязательное ощущение. И замечательно, что оно беспричинно и беспредметно. Оно не вызывается особыми внешними обстоятельствами; наоборот: для него нужно исключительное однообразие существования, полное душевное и внешнее затишье... Ни лист не шелохнется, ни кузнечик не закричит. А внутри сердечная пустыня. И в этой

пустыне, лишенной и других внутренних ощущений, и впечатлений внешнего мира, подымается из бессознательной глубины предчувствие какого-то рокового, бессмысленного, непонятного, *беспричинного,* то есть чуждого душевной организации, расстройства, которое будет давить на мозг и звать непонятными голосами мировой тайны...

В самых ранних юношеских письмах Гоголь выражает убеждение, что жизнь его будет коротка. «Исполнятся ли высокие предначертания? Или неизвестность зароет их в мрачной туче своей?» [1] — спрашивает Гоголь-юноша, еще не выбравший жизненной дороги. «Я дорожу минутами жизни, потому что не думаю, чтобы она была долговечна»,— пишет он В. А. Жуковскому в 1837 году... «Увы! здоровье мое плохо, а гордые замыслы... О, друг, если бы мне на 5 лет еще здоровья...» Это писано в 1838 году, то есть за 14 лет до смерти. Таких мест можно бы цитировать из переписки Гоголя очень много. И все они доказывают, что «страх смерти» сопровождает гениального писателя от юности до ранней могилы...

В прекрасной работе д-ра Баженова («Болезнь и смерть Гоголя», «Русская мысль», февраль 1902 г.) диагноз этой болезни поставлен научно: Гоголь страдал тем, что в психиатрической медицине называют теперь «депрессивным неврозом». Беспричинное душевное угнетение врачи объясняют физиологически тем, что сосуды, питающие корковое вещество мозга, сжимаются, и часть мозга, именно та, от которой зависит настроение, становится обескровленной. Причина, так сказать, чисто механическая. Гоголь по наследству получил этот аппарат несколько испорченным. Отсюда склонность к меланхолии, отсюда частая подавленность и печаль... Доктор Баженов, еще не знавший биографии Гоголя-отца, искал наследственности со стороны матери. Мы теперь знаем, что это ошибка: это была точная копия болезни отца, от которой он умер.

Таково научное, почти механическое объяснение. Механизм подавляет душевное настроение. Да. Но мы знаем, что и душевное настроение в свою очередь может побеждать механизм. Представим себе человека, находящегося в состоянии депрессивного невроза, то есть в беспричинно подавленном настроении, которому по-

---

[1] Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока, I, 89.

чталион приносит письмо с каким-нибудь радостным известием. Это — привет от любимой девушки, или от друга, или известие о победе единомышленников по общественному делу, или новое доказательство дорогой человеку отвлеченной идеи. И вот угнетение исчезает, глаза загораются огнем, в лице — радостное оживление. В этом случае чисто психический душевный мотив, очевидно, победил механическую причину угнетения...

У Гоголя был именно такой почталион, который постоянно доставлял ему подобные известия и помогал бороться с роковым наследием. Этим постоянным источником радости было творчество.

II

У нас есть одно замечательное в этом отношении признание самого Гоголя.

«Причина той веселости, которую заметили в первых моих сочинениях,— пишет он в «Авторской исповеди»,— заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать самого себя, я... выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому выйдет от этого какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставляли смеяться как-то беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости».

Итак, мы видим, что Гоголь бессознательно прибегает к своему таланту для борьбы с угнетением и болезнью. Сначала воображение действует стихийно и безотчетно в направлении непосредственно юмористическом. В августе 1831 года Пушкин писал Воейкову:

«Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами, какая поэзия, какая чувствительность! Мне сказывали, что когда издатель [1] вошел в типографию,

[1] «Издателем» в то время называли автора издаваемой книги.

где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою».

Скоро, однако, тот же Пушкин, обладавший действительно орлиным критическим взглядом, заметил всю сложность гоголевского смеха. «Гоголь — веселый меланхолик»,— определил он темперамент своего младшего товарища, а Белинский первый применил к нему в литературе термин «смех сквозь слезы». Гоголь довольно долго еще не понимал всего значения своего смеха. Видя, что он нравится, заражает, доставляет успех, он давал волю стихийной способности. Даже о самом глубоком из своих произведений он вначале писал Пушкину: «Начал «Мертвых душ». Сюжет... кажется, будет сильно смешон». И его, по-видимому, удивило, что на Пушкина смешной сюжет подействовал иначе.

«Когда я начал читать Пушкину первые главы «Мертвых душ»,— пишет Гоголь в «Авторской исповеди»,— то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении... начал понемногу становиться все сумрачнее... Когда чтение кончилось, он произнес голосом тоски: „Боже, как грустна наша Россия!“»

Вообще, Пушкин первый заставил Гоголя, по его собственному признанию, «взглянуть на дело серьезно», указал глубокое значение его смеха. И после этого ученик даже преувеличил значение сознательного элемента в своем творчестве: о стихийных произведениях своей юности он стал отзываться с пренебрежением. «Я не издам их («Вечеров на хуторе»),— писал он Погодину в 1838 году.— Я даже позабыл, что я — творец этих вечеров. Да обрекутся они неизвестности, пока что-нибудь великое, художническое не изыдет от меня». И не только о «Вечерах», но и о таких произведениях, как «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем», он отзывался впоследствии как о произведениях незрелых, нравящихся только широкому кругу; но истинные ценители (сам автор, Пушкин, Жуковский) не могут не видеть их недостатков.

Это странное пренебрежение к своим молодым произведениям становится, пожалуй, понятным: Гоголь не

мог как будто забыть личного узкослужебного, так сказать санитарного значения своих молодых вдохновений. Почему он должен уважать посыльного, которого сам отправляет за «веселыми известиями», как мы посылаем за порошком хины в аптеку?.. Он чувствует только, что, когда приходит смех, бодрый, веселый и светлый, ему становится легче, темные тучи, нависающие неизвестно откуда над его душевным горизонтом,— рассеиваются. Он его любит, пускает часто в ход и таким образом инстинктивно развивает стихийную способность. Но любить не значит еще уважать...

Но вот Пушкин указывает Гоголю, что его веселый посыльный человек не совсем-то простой. С его приходом меняется настроение не одного автора. Все, кого автор знакомит с ним, не только смеются, а порой восторгаются, и грустят, и негодуют, и умиляются, и затем принимаются обсуждать важные вопросы жизни. Около него вспыхивают новые чувства, новые мысли... Он приводит к своему хозяину самых выдающихся людей того времени. Ему навстречу закипает молодой критический талант Белинского. Пушкин испытывает приступы глубокой печали сознательного гражданина бесправной и рабской страны...

Беззаботный смех, освобождающий от меланхолии, превращается из простого посыльного в благодетельного чародея. Он становится нужным, близким, полезным, интересным для всех... Вся Россия «вперяет в него полные ожидания очи»...

Мы видели, что уже в юности Гоголь с непонятною в заурядном человеке страстностью мечтал «означить чем-нибудь свое существование». Сначала он не связывал этого стремления с литературой и мечтал только о какой-то особенно осмысленной «службе государству»... «Неправосудие, величайшее в свете несчастие, больше всего разрывало его сердце». Теперь работа воображения, доставляющая радость сама по себе, становится средством приносить пользу, «означить свое существование». Он нападет на проявления неправосудия, «собранные в одно место», пронижет их пламенем своего гнева, покроет всенародно раскатами общего смеха...

Это — исполнение мечты, это — элементы великой душевной гармонии. Это — неустающий поток той самой психической силы, которая своим живым напором побеждает враждебные механико-физиологические влияния. Прежде юноша Гоголь для забавы и развлече-

ния пускал в свою душу ручейки весело журчавшего смеха, и они каждый раз прогоняли темную душевную накипь и уныние. Теперь это — могучее течение, выносящее его на вершину общественного признания и славы, дающее надежду на исполнение «великого предназначения». Самое предчувствие этого наполняет его восторгом:

«У ног моих,— пишет он в своем дневнике,— шумит прошедшее. Надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей (хранитель, ангел), мой гений! О, не скрывайся от меня... не отходи от меня весь этот так заманчиво начинающийся для меня год... Я совершу! Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество!» [1]

Это писано в 1834 году, когда, по мнению д-ра Баженова, роковая болезнь уже определилась. Определились, значит, две противоположные силы, вступающие в борьбу в «хрупком составе писателя»: *радость творчества против неблагоприятных органических влияний.*

III

24 июля 1829 года, через полгода с небольшим после приезда в Петербург из Полтавской губернии, Гоголь писал своей матери:

«Маменька, не знаю, какие чувства будут волновать вас при чтении этого письма, но знаю только то, что вы будете неспокойны... Перо дрожит в руке моей... непонятная сила нудит и вместе отталкивает высказать всю глубину истерзанной души».

За этим следует целая страница туманных излияний, после которых Гоголь сообщает матери, что он влюблен.

«Я видел ее... нет, не назову ее... она слишком высока для меня, не только для меня... Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. Лицо, которого поразительное блистание печатлеется в сердце; глаза, быстро пронзающие душу, но их сияния жгучего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков... Нет, это не любовь была... В порыве бешенства и ужаснейшей тоски я жаждал, кипел упиться одним

[1] Сочинения Н. В. Гоголя под ред. Тихонравова, т. I, 114—115.

только взглядом... С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужаснейшее состояние... Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хоть тень покоя в мою истерзанную душу».

Впрочем, вслед за этими риторическими излияниями юный Гоголь высказывает мнение, что необыкновенная женщина послана ему Провидением не напрасно: он не должен пресмыкаться по канцеляриям; настоящий его путь — путь новых наблюдений, новых знаний и опыта. Как указание свыше, Провидение и поставило перед ним эту — не женщину, а «божество, Им созданное, часть Его самого». Ему необходимо было бежать. Куда же? За границу. По этой причине, получив деньги для внесения в опекунский совет и узнав, что возможна отсрочка, он денег не внес, а купил пароходный билет и очутился в Любеке.

Письмо это впоследствии вводило в заблуждение биографов... У Петрарки была Лаура, у Данте — Беатриче, у Гете — Фредерика Брион и г-жа фон Штейн, у Гейне, Пушкина, Лермонтова — целый ряд поэтических женских образов, вдохновлявших воображение и заставлявших сильнее биться сердца... В таинственном божестве, «облеченном слегка в человеческие страсти», взгляда которого «не вынесет ни один из человеков», биографы Гоголя хотели видеть Александру Осиповну Смирнову...

Но Марья Ивановна Гоголь была проницательнее биографов. Она была женщина умная, знала сына и сама любила когда-то своего Василья Афанасьевича. Она помнила, как он играл ей за речкой нежные мелодии и писал любовные письма. Напыщенный, неискренний и холодный, стиль в письме сына не мог обмануть ее: это, очевидно, не любовь к живой женщине, а что-то другое. Что же именно? Просто попытка объяснения того обстоятельства, что опекунские деньги самовольно употреблены на поездку за границу. Зачем? Марья Ивановна знала, что за границу ездят лечиться. Петербург — город соблазнительный. Итак, ее сын поехал лечиться от... дурной болезни.

Как это часто случается с умными и практическими людьми, Марья Ивановна превосходно угадала очень многое. Но вывод сделала грубо ошибочный: ответное письмо матери поразило сына, как громом. «В первый раз в жизни,— писал он 24 сентября 1829 года,— и дай бог, чтобы в последний, я получил такое страшное

письмо». Упрекая мать за ее предположения, он прибавляет: «Вот вам мое признание: одни только гордые помыслы юности, проистекавшие из пламенного желания быть полезным, завлекли меня слишком далеко...» В своем слишком простом объяснении Марья Ивановна действительно ошиблась: за границу увлекала Гоголя не любовь и не болезнь, а писательский инстинкт.

В 1829 году Гоголь был двадцатилетним юношей. Через три года в письме к школьному товарищу А. С. Данилевскому Гоголь прямо признается, что чувства сильной любви он не испытывал, и радуется этому: сильное чувство «превратило бы в прах» его слабый организм. А еще лет десять позже, почти уже перед смертью, больной, огорченный, усталый, он попытался, по-видимому, сделать предложение А. М. Виельгорской, с которой вел знакомство и дружескую переписку без всяких намеков на какое-нибудь более нежное чувство. На предложение последовал отказ, не вызвавший, по-видимому, особого огорчения.

И это все: ни Лауры, ни Беатриче, ни Натальи Гончаровой. Ни семьи, ни профессии, ни даже службы в те времена, когда все на Руси служило, не исключая писателей: Державин был губернатором, И. И. Дмитриев — министром, Карамзин и Жуковский — царедворцы. Даже Пушкин с горечью и нетерпением, но напрасно стремился скинуть придворный мундир и сошел в могилу камер-юнкером. Николай I не хотел понять, что можно быть только Пушкиным и ничем более. Гоголь все-таки остался только Гоголем. «Могу сказать,— писал он в 1836 году В. А. Жуковскому,— что никогда не жертвовал свету своим талантом. Никакое развлечение, никакая страсть не могла овладеть моей душою и отвлечь меня от моей обязанности»... «Не писать для меня значило бы не жить»,— говорил он позже в «Авторской исповеди».

Гоголь был только писателем и не знал ничего другого в жизни. Вся трагедия его короткого, блестящего и многострадального существования была целиком и исключительно трагедией творчества: в нем были его радости, его страдания, с ним связана ранняя гибель...

Тяжелая, запутанная и удручающая трагедия... Перечитать четыре тома его переписки, тщательно собранной В. И. Шенроком,— переписки темной, часто неискренней, как приведенное выше письмо к матери,— значит пережить отраженно настоящую душевную

пытку. Задавшись несколько лет назад этой трудной задачей, я помогал себе особым приемом: прочитав ряд писем за известный период, я обращался затем и к Гоголю-художнику и прочитывал то, что он написал в это же время. Точно светлый луч пронизывал мутную мглу, точно струя свежего воздуха врывалась в больничную палату, и можно было идти дальше темными закулисными путями этой страдальческой души: они получали объяснение, освещение и оправдание.

Каждое произведение Гоголя является не только художественным перлом, но и победой, вырванной у роковой болезни, победой человеческого духа над болезненным предопределением. И эта борьба, и эти победы шли на арене, совершенно расчищенной от всех жизненных условий, которые могли бы усложнить ее. Можно сказать определенно, что это был настоящий поединок гения с роковым недугом, где каждая победа гения отмечалась новым торжеством русской литературы.

IV

Первым замечательным произведением, в котором Гоголь поставил себе (под влиянием Пушкина) определенную общественную задачу, был «Ревизор». «В «Ревизоре»,— пишет он в «Авторской исповеди»,— я решился собрать все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делают в тех местах и тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем».

О первом представлении «Ревизора» мы имеем противоречивые свидетельства современников. Одни говорят о колоссальном успехе: театр дрожал от хохота. Другие считают успех далеко не полным и сомнительным. По свидетельству П. В. Анненкова, высокочиновная и аристократическая публика первого представления недоумевала. «Как будто находя успокоение в том, что дается фарс, большинство зрителей остановилось на этом предположении. Раза два или три раздавался общий смех. Но уже к четвертому акту смех становился робким, пропадал. Аплодисментов почти не было. Напряженное внимание к концу четвертого акта переродилось почти во всеобщее негодование... Общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: это невозможность, клевета, фарс...» В огромном

большинстве печатных отзывов автора упрекали за то, что в его комедии одни отрицательные типы: нет добродетельного человека, на котором могло бы «успокоиться нравственное чувство». Крепостнический строй требовал от автора своего оправдания, а в комедии чувствовалось одно глубокое художественное отрицание.

Во время первого представления «Женитьбы Фигаро» происходило то же. «Французы, как дети,— сказал один из зрителей, глядя на беснующийся против автора театр,— брыкаются, когда их умывают». И, однако, это не помешало комедии Бомарше стать бессмертной истинно национальной сатирой, до сих пор не утратившей своего значения. Такое же веяние бессмертия можно было угадать и в этом все стихающем смехе, и в напряженном внимании, и в недовольстве «избранной публики», которую «умывал Гоголь».

Были люди, которые сразу поняли великое значение «Ревизора» и отдали автору свои симпатии именно за беспощадность его сатиры. Белинский, тогда малоизвестный критик не особенно распространенной «Молвы», написал восторженный отзыв, в котором с чрезвычайной глубиной оценил значение комедии. «Удивительно,— говорил он,— как это никто не замечает того благородного лица, которого требуют и не находят в пьесе. Оно в ней есть. Это смех, очищающий душу». И меньшинство, которого Белинский был выразителем, с сознательным восторгом приветствовало гениального сатирика. Вокруг комедии кипели страстные споры, она давалась при переполненном театре, актеры вырабатывали все яснее бессмертные гоголевские фигуры, их изречения становились стереотипными, как некоторые стихи Грибоедова, и созданные Гоголем образы врастали в понятия... Комедия явно становилась сокровищем русской литературы и русской сцены.

А в это время сам автор чувствовал себя угнетенным и подавленным... неудачей «Ревизора»... Правда, он заметил статью Белинского, и в своем «Театральном разъезде», защищаясь против нападок, он приводит в числе других и мысль Белинского о благородном смехе. Но в глубине его души были недовольство и тоска. В письме к Пушкину Гоголь винит в своем настроении «соотечественников»: «Я устал душою и телом. Клянусь, никто не знает и не видит моих страданий». И в другом: «Еду за границу, там размыкать тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Пи-

сатель современный, писатель комический, писатель нравов должен быть подальше от своей родины». Но в материалах Шенрока приведено письмо к «одному литератору», написанное по поводу первого представления, и в нем Гоголь так изображает свое нравственное состояние: «С самого начала... я уже сидел в театре скучный. О восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех бывших в театре я боялся, и этот судья был я сам. Внутри себя я *слышал упреки и ропот* против своей же пьесы, которые заглушали все другие...»

Итак, «единственный судья» осудил пьесу, вокруг которой закипела борьба старой и новой Руси. В споре друзей и врагов своего гениального произведения Гоголь, после некоторых колебаний, склонился... на сторону врагов [1].

Вскоре после первого представления «Ревизора» Гоголь уезжает за границу. Зачем? Мы видели уже в его письмах, что сам он объясняет это отношением соотечественников, и впоследствии много раз он повторяет этот мотив: «комическому писателю не место на родине».

В действительности, однако, причина была другая. Он увозил с собою начало «Мертвых душ» и для работы над этим величайшим произведением своей жизни вперед уже сосредоточивал все свои жизненные силы. Сознание «недуга» заставляет его быть экономным. Живое, чрезвычайно восприимчивое воображение полно образов. В их разработке и воплощении — задача жизни и средство спасения. На это направляются все усилия гениального человека. Он, по-видимому, совершенно сознательно отстраняет приток разнородных впечатлений, которые, расширяя душу для большей полноты жизни, вместе с тем могли бы ослабить ее сосредоточенную силу. Он рад, что не испытал любви: она взяла бы у него слишком много настроения, нужного для главного дела. Живая, яркая и разнородная реакция общества на его сатиру ему тоже не по силам. За границей он суживает круг новых впечатлений, отдаваясь исключительно обработке художественного материала, вынесенного из отечества. Д. Н. Куликовский в своей работе о Гоголе отмечает, что мимо него за границей проходи-

---

[1] Эту истинно роковую странность отметил еще Белинский в статье о «Переписке с друзьями».

ли захватывающие события и великое движение мысли, совершенно его не задевая. В то время как Пушкин смотрел на современный мир широко и жадно раскрытыми глазами, ловя каждое новое явление и усваивая каждую новую мысль,— Гоголь в своей обширной переписке почти не оставил следов подобной любознательности. Острая от природы, но мало тронутая культурой, мысль его работала в узком круге.

«Боже! какие есть сюжеты!» — то и дело пишет Гоголь своим друзьям и неизменно прибавляет: «Хватит ли силы!..», «Столько еще жизни, чтобы закончить «Мертвые души». Больше не прошу у бога ни часу!». «Ничего не пишу тебе о римских происшествиях, о которых ты меня спрашиваешь,— говорит он в одном из писем к Данилевскому (авг. 1841).— Я уже ничего не вижу перед собою, и во взоре моем нет животрепещущей внимательности новичка. Все, *что мне нужно было,* я забрал и заключил в себе, в глубину души моей...» «Нет, клянусь, грех, сильный грех, тяжкий грех отвлекать меня» [1]. Не ясно ли состояние души, устремившей все свои способности к одной цели и не желающей кидать по сторонам ни одного лишнего, бесцельного взгляда. Зачем хватать на лету новые явления и новые мысли, когда все это кажется лежащим вне точно намеченного круга его жизни? Ослабить напряженность воображения, радостно и страстно созерцающего определяющиеся образы далекой родины — значит сделать вычет в строго рассчитанной экономии сил, от которой зависит выполнение главной задачи жизни и даже продолжение самой жизни.

Во все это время, когда Гоголь, окончательно расставшись с безотчетным творчеством, отдается идее «Мертвых душ», судьба его странным образом вызывает в памяти судьбу Хомы Брута, вернее — историю его всенощных бдений в заколдованной часовне. Бедный философ очертил около себя круг и весь заполнил его сиянием свечей. В этом кругу все свое внимание и все напряжение воли он направляет на чтение священной книги. Эти слова одни способны прогнать страшные порождения враждебного мира...

Такая же тесная часовня для Гоголя — его заграничная жизнь. Сам он в письме к Уварову говорил, что в ней он «обрек себя на уединение», обратив все способ-

---

[1] Письма, т. II, 111 и 100 (последнее к С. Т. Аксакову).

ности на создание «Мертвых душ»... Около него тоже тесный круг, освещенное место во тьме обширного мира. Здесь, точно в светлом луче, роятся перед ним яркие образы, летающие в воображении на крыльях оздоровляющего и защищающего смеха. Это истинные создания дня и света... А по сторонам роились, сгущались и тянулись к нему кошмарные порождения тьмы и страха. И в глубине, скорее угадываемое, чем видимое зрению, неопределенное и страшное, гнездилось чудовище — страх смерти, готовое взглянуть, как Вий, на одинокого подвижника своим мертвящим взглядом. Чтобы защититься от этого враждебного мира, Хома Брут читает священную книгу над гробом зачарованной красавицы... А Гоголь все пишет о России, тоже зачарованной рабством.

И пока работало воображение, пока он мог творить — он жил. А мог он творить, пока ложная мысль не связала крылья его гениального, оздоровляющего и целебного смеха...

V

Все время, пока писались за границей «Мертвые души», здоровье Гоголя подвергалось колебаниям. Уже раньше, в Москве, в 1833 году, Гоголь часто впадал в мрачное настроение. Он был мнителен, нередко считал себя неизлечимо больным, хотя по наружности казался свежим и бодрым. Из-за границы он часто шлет жалобы на свое состояние. «На мозг мой точно надвинулся колпак, который мешает мне думать и туманит мои мысли...» [1] «Голова часто покрыта тяжелым облаком, который (sic) я должен беспрестанно стараться рассеивать» [2]. «Здоровье мое плохо. Занятие самое легкое отяжелевает мою голову. Италия, прекрасная моя ненаглядная Италия продлила мою жизнь, но искоренить совершенно болезнь, деспотически вторгшуюся в состав мой, она не в силах... Что, если я не окончу труда моего?» (Князю Вяземскому, 1838.) «Недуг, который, казалось, было облегчился, теперь усилился вновь... Но я веду свою работу, и она будет окончена» (Погодину,

[1] 1837 г. Письмо Прокоповичу.

[2] А. С. Данилевскому, 16 мая 1838 г. Г. Баженов отмечает здесь определенный симптом, называемый в медицине неврастенической каской.

тогда же). В 1840 году в Вене Гоголь подвергся очень бурному нервному припадку, последовавшему за периодом возбуждения. «Я почувствовал,— писал он впоследствии,— то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ, пролетавший в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительное приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжкую, мучительную печаль, и потом следовали обмороки и столбняк...»[1]

Любопытно, что это течение душевной болезни Гоголя было совершенно независимо от его телесного здоровья или чисто физических недугов. В некоторых позднейших письмах Гоголь очень определенно описывает свои болезненные состояния, при которых, однако, чувствует и голову, и мысли совершенно свежими и поэтому не испытывает никакого душевного угнетения... Можно ли вообще установить неуклонное возрастание душевной болезни в течение того времени, когда создавался первый том «Мертвых душ», то есть в десятилетие 1833—1842 года?

Было бы чрезвычайно интересно проследить подробно с этой точки зрения всю переписку Гоголя, это помогло бы установить связь основной болезни Гоголя с успехом или неудачами его работы. Но уже и то, что мы знаем, позволяет, кажется, отвергнуть неуклонную последовательность в росте болезни: в переписке Гоголя за все эти годы жалобы на состояние здоровья то и дело сменяются нотами удовлетворения и торжества. «„Мертвые души“ текут живо,— пишет он Жуковскому в 1836 году из Парижа,— свежее и бодрее, чем в Вене,— и мне совершенно кажется, как будто я в России. Передо мною все наше: наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы,— словом, вся наша православная Русь. Мне даже смешно, когда подумаю, что я пишу «Мертвых душ» в Париже... Огромно, велико мое творение, и не скоро конец его... Еще восстанут на меня новые сословия и много разных господ... Но что же мне делать? Уже судьба моя враждовать с моими соотечественниками. Терпение! Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом...»

---

[1] Письма Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. II, 148.

В воспоминаниях Н. В. Берга сохранился рассказ самого Гоголя о том, как в бильярдной одного жалкого трактира между Дженцано и Альбано ему удалось при страшном шуме и среди удушливой атмосферы написать за один присест целую главу «Мертвых душ». В. И. Шенрок относит этот факт к 1838 году. В том же 1838 году Гоголь в письме к Погодину опять делает указания на успех своей работы. «Вообще,— говорит В. И. Шенрок,— настроение Гоголя в это время (то есть к концу десятилетия) было самое счастливое. Хандра, временами посещавшая его в Париже и Женеве, была забыта надолго, и порой свое настроение он характеризует словами: „В душе моей небо и рай“». «У меня теперь в Риме мало знакомых, вернее почти никого (Репнины во Флоренции), но никогда я не был так весел, так доволен жизнью...» «...Я не скажу, что я здоров,— сообщает Гоголь в письме к Жуковскому уже в 1841 году.— Нет, здоровье, может быть, еще хуже. Но я *более, нежели здоров*. Я слышу часто чудные минуты, *чудной жизнью живу, внутренней, огромной, заключенной во мне самом,* и никакого блага и здоровья не взял бы».

Не ясно ли, что последние четыре года (1838, 1839, 1840 и 1841-й) не только нельзя считать периодом особенного усиления «депрессивного невроза», но, наоборот, это необычно долгий период сравнительной душевной бодрости и подъема, лишь отчасти нарушаемого болезнью. А если вспомнить вдобавок, что, по словам самого д-ра Баженова, уже в начале 30-х годов душевная болезнь Гоголя вырвала у него целый год жизни, то мы должны будем признать, что какая-то сила ворвалась в развитие болезни, ослабляя ее успехи и совершенно нарушая ее «цикличность».

Какая это сила — совершенно ясно. Именно в эти годы Гоголь заканчивал первый том самого важного из своих созданий — «Мертвые души» — течение которого уже совершенно определилось...

Художественная идея, уже нашедшая свой образ, обладает чем-то вроде собственной органической жизни, движется дальше по собственным законам. Созерцание этого стройного движения — процесс почти стихийный, служащий для творца источником высокого удовлетворения. Не забудем, что, по точному показанию Гоголя, первые его юмористические образы даже рождались в минуты душевного угнетения. Теперь, когда окрепшее воображение гения несется в сильной струе живой ху-

дожественной идеи, его творчество является могучей оздоровляющей силой... Таинственный недуг, все значение которого в вызываемом им душевном угнетении, отступает перед потоком необыкновенного подъема, плавно стремящимся к намеченной цели...

В это время в Гоголе назревали уже идеи «Переписки». В письмах к великосветским друзьям, к «благодатным» Аннам Михайловнам или «благоуханнейшим» Александрам Осиповнам звучали уже странные мысли; слог писем — деланный, искусственный, то напряженно-учительный, то неприятно смиренный и слащавый... А чудное художественное произведение подвигается глава за главой в собственном цельном стиле, точно светлое здание над болотистой и мглистой равниной. И нигде в этом создании не заметно ни малейшей трещины. Гениальный смех совершал над туманами свой неудержимый полет. И ни разу его крыло не сделало неверного или слабого взмаха...

VI

И вот победа одержана: в ноябре 1841 года первая часть «Мертвых душ» была закончена. Гоголь почувствовал себя переполненным какой-то возвышенной радостью и придал ей формы, согласные с укоренявшимися в нем мистическими идеями. «Шлю тебе братский поцелуй,— пишет он Данилевскому,— и молю бога, да снидет на тебя хотя часть той свежести, которою объемлется ныне душа моя, *восторжествовавшая над болезнями хворого тела»* [1].

Он одержал великую победу духа над слепою силою непонятного недуга, он создал великое творение и веяние спасительного гения считает признаком особенной, лично на него направленной, благодати Провидения. Он допускает даже, что теперь эта благодать непосредственно изливается от него на других. «Я думал о тебе,— пишет он больному Языкову месяца за два до окончания «Мертвых душ»,— и мысли мои были светлы...» «Несокрушимая уверенность насчет тебя засела в мою душу... Ничего не в силах я тебе более сказать, как только: «верь словам моим». Есть чудное и непостижимое... Отныне взор твой должен быть светло и бодро

[1] Письма, т. II, 111.

устремлен горе: *для сего была наша встреча...»* [1]. «Теперь самое главное — крепитесь! — советует он художнику Иванову, — идите бодро! Не падайте духом, иначе будет значить, что вы не помните и не любите меня: а *помнящий меня несет силу и крепость в душе»* [2]. По адресу друга своего Данилевского он часто выражается еще решительнее: «Но слушай: теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне властно над тобою мое слово, и горе *кому бы то ни было, не слушающему моего слова...»* «Властью высшего облечено отныне мое слово...» [3] «Если же что в жизни смутит тебя, наведет беспокойство, сумрак на мысли, вспомни обо мне, и при одном уже твоем напоминании *отделится сила в твою душу. Иначе не сильна дружба и вера, обитающая в душе твоей!»* [4] И даже В. А. Жуковского он обнадеживает: «Ждите меня! Много расскажу вам прекрасного. Если вы смущены чем-нибудь и что-нибудь земное и преходящее вас беспокоит, то *будете отныне тверды и светлы верою в грядущее...»* [5]

Экзальтация Гоголя может быть понята и без предположений о религиозной мании: религиозное настроение было ему присуще с детства, и теперь он только облекает в привычные формы переполняющее его благодатное ощущение «победы духа» над угнетением и страхом смерти. Гордый, радостный, уверенный в своей силе, он едет в Петербург с рукописью «Мертвых душ». В ней, по-видимому, нужно было еще кое-что закончить, а затем печатать ее Гоголь думал в Москве. «Да, друг мой, я глубоко счастлив!..— писал он из Рима С. Т. Аксакову,— создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои... Здесь явно видна святая воля бога: подобное внушенье не происходит от человека... О, если бы еще три года с такими свежими минутами...» Теперь ему нужно спокойствие «и самое счастливое, самое веселое, сколько можно, расположение души. Меня теперь нужно беречь и лелеять. Я придумал вот что: пусть за мною приедут Михаил Семенович (Щепкин) и Константин Сергеевич (Аксаков)... Они привезут с со-

---

[1] Письма, т. II, 117, 118 *(курсив мой).*
[2] Ib., 131.
[3] Ib., 110, 111.
[4] Ib., 168. Письмо написано в мае, когда «Мертвые души» вышли уже из печати.
[5] Стр. 169.

бой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но в этой вазе заключено сокровище»[1].

К сожалению, московская цензура не поцеремонилась с «хрупкою вазой», и на родине больного писателя, так боязливо оберегавшего свою душу от заграничных впечатлений, ждали более сильные впечатления русской жизни. Письма этого времени из Москвы — это настоящий стон гения, спустившегося с высот творчества на родную землю и терзаемого властным невежеством и самодурством.

«Как только Голохвастов (исполнявший обязанности президента моск. ценз. комитета) услышал название «Мертвые души»,— писал Гоголь П. А. Плетневу в январе 1842 года,— то закричал голосом древнего римлянина: «Нет, этого я никогда не позволю. Душа бывает бессмертна. Мертвой души не может быть. Автор вооружается против бессмертия!» В силу, наконец, мог взять в толк умный президент, что дело идет о ревизских душах. Как только взял он в толк и взяли в толк, вместе с ним, и другие цензора, что «мертвые» значит ревизские души, произошла еще большая кутерьма. «Нет!— закричал председатель, а с ним и половина цензоров,— этого и подавно нельзя позволить... Это, значит, против крепостного права». На замечание цензора Снегирева, что в книге «о крепостном праве нет и намеков, что даже нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих повестях крепостным людям»,— последовали новые возражения: «Предприятие Чичикова,— стали кричать все,— есть уже уголовное преступление».— «Да, впрочем, и автор не оправдывает его»,— замечает опять Снегирев. «Да, не оправдывает, а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души...» — «Что ни говорите,— сказал молодой цензор Крылов, побывавший недавно за границей,— цена два с полтиной, которую Чичиков дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого; хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это — душа, душа человеческая; она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии, и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет!..» «В одном месте цензуру остановило то обстоятельство,

---

[1] Письма, т. II, стр. 97—99.

что «один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе».— «Да ведь и государь строит в Москве дворец»,— сказал по этому поводу цензор Каченовский. «Тут...— прибавляет Гоголь,— завязался у цензоров разговор единственный в мире и... дело кончилось тем, что рукопись оказалась запрещенной, хотя комитет прочел только два-три места»[1].

«Невероятная глупость» цензурного синклита так поразила Гоголя, что он предположил какую-то особенную, направленную лично против него интригу. «Цензора не все же глупы до такой степени»,— замечает он совершенно справедливо, забывая только, что цензура в целом очень часто бывает глупее своего среднего состава. И это потому, что ее действия определяются не аргументами самых умных из подчиненных (как, например, в данном случае Снегирева), а страхом перед самыми глупыми из власть имущих...

Совершенно понятно, какое действие должно было произвести это бессмысленное запрещение на хрупкую душу писателя. «Принимаюсь за перо писать тебе,— говорит он в письме к В. О. Одоевскому (янв. 1842 г.),— и не в силах... Я очень болен и в силу двигаюсь. Рукопись моя запрещена. Проделка и причина запрещения — все смех и комедия... Но у меня вырывают мое последнее имущество...»[2] «Я был так здоров, когда ехал в Россию, а здесь от всех этих неприятностей стал опять болен такими страшными припадками, каких еще не бывало...»[3] «Припадки, которые было совершенно оставили меня вне России, теперь возвратились»[4]. В письме к М. П. Балабиной, в переписке с которой Гоголь часто прибегал к шутливым формам, он говорит (1842 г.): «Много глупостей, мне самому непонятных, чудится в моей ошеломленной голове. Но что ужасно — в этой голове нет ни одной мысли, и, если вам нужен болван для того, чтобы надевать на него вашу шляпку, я весь теперь к вашим услугам. Вы можете надеть на меня и шляпку, и все, что хотите, и можете с меня сметать пыль, мести у меня щеткой под носом, и я не чихну, даже не фыркну, не пошевелюсь...»[5]

---

[1] Письмо к П. А. Плетневу, 7 янв. 1842 г. См. «Письма Н. В. Гоголя», II, 136—138.
[2] Письма, II, 134, 135.
[3] М. Балабиной, стр. 147, 148.
[4] Языкову, 161.
[5] Ib., 140.

Из письма к министру народного просвещения Уварову видно, что эти цензурные истязания длились целые месяцы: «Милостивый государь, Сергей Семенович,— говорит великий писатель властному министру.— Все мое имущество и состояние заключено в труде моем. Для него я пожертвовал всем, обрек себя на строгую бедность, на глубокое уединение, терпел, переносил, *пересиливал, сколько мог, свои болезненные недуги,* в надежде, что, когда совершу его, отечество не лишит меня куска хлеба и просвещенные соотечественники преклонятся ко мне с участием, оценят посильный дар, который стремится всякий русский принести своей отчизне. Я думал, что получу скорее ободрение от правительства, доселе благородно ободрявшего все благородные порывы, и что же?..

Вот уже пять месяцев меня томят мистификации цензуры, то манящей позволением, то грозящей запрещением, и, наконец, я уже сам не могу понять, в чем дело...» «Подумайте: я не предпринимаю дерзости просить воспомоществования и милости, я прошу правосудия... У меня отнимают мой единственный, мой последний кусок хлеба...» [1]

Всесильный министр, снисходивший с своей высоты до прямой вражды к писателю Пушкину, ничего не ответил на письмо Гоголя. Но через Плетнева автор был извещен, что его рукопись передана цензору Никитенке.

Наконец 9 марта 1842 года на «Мертвых душах» поставлена разрешительная помета. В цензурном пленении оставался еще некоторое время один капитан Копейкин, которому Гоголь вынужден был придать черты «дурного характера» и строптивости, чтобы было видно, что, отправив его из столицы с фельдъегерем, «высшее начальство поступило хорошо».

21 марта 1842 года одно из величайших творений русской литературы появилось в свет, и в умственный обиход читателя вошли навсегда бессмертные фигуры Маниловых, Собакевичей, Коробочек, Ноздревых и Чичиковых, чтобы уже никогда не расставаться с воображением всякого грамотного русского человека...

А автор, в процессе великого создания почти исцелившийся от душевного угнетения («припадки было совершенно оставили меня»), увозил опять за границу свой «хрупкий состав», вновь тяжко израненный рос-

[1] Письма, II, 151, 152.

сийской цензурой, чтобы приняться за новую работу, с которой так тесно была связана его личная судьба. Эта работа была вторая часть «Мертвых душ»...

VII

Здесь критический момент рассматриваемой нами трагедии, ее поворотный пункт... Гоголь, как былинный герой, стоит на распутье перед двумя различными дорогами.

Первую часть своего великого труда он выполнил превосходно. Его книга вся точно отлита из однородного металла, и к концу первого тома (за исключением некоторых страниц) он дошел тем же твердым шагом великого и уверенного художника. Сцена с Ноздревым на балу у губернатора, зловещий проезд по спящим улицам города дребезжащего тарантаса помещицы Коробочки, смятение чиновничьего мира, разговор двух дам, поведение Собакевича при расспросах прокурора о продаже мертвых душ, смерть этого губернского сановника и встреча уезжающего Чичикова с похоронной процессией — все это проникнуто истинно гоголевской силой воображения, а юмор его одновременно звучит и смехом, и небывалой высотой какого-то особенного скорбного раздумья.

Итак, до самого порога дальнейшей своей работы Гоголь принес все ту же силу таланта, и душевное состояние его, временно, правда, ослабленное терзаньями московской цензуры, было лучше, чем при самом начале работы... Появление книги вновь подняло его настроение, и некоторые самоуверенно благодатные письма, приведенные нами выше (напр⟨имер⟩, к Жуковскому), помечены уже маем 1842 года...

Наконец, и в тех обрывках, которые остались нам от второго тома «Мертвых душ», встречаются опять превосходно набросанные фигуры: Петр Петрович Петух, генерал Бетрищев, отчасти предшественник Обломова Тентетников, отчасти также помещик Кашкарев с его бюрократической сельской экономией... Не надо забывать, что это только эскизы и что в окончательной редакции герои первого тома тоже сильно отличались от первоначальных набросков... Павел Иванович Чичиков, заехавший «для познания всякого рода вещей» в новые места и к новым людям и очутившийся в роли устрои-

теля чужого счастия,— сверкает все той же обворожительной разносторонностью и находчивостью. Наконец, новый пейзаж, среди которого знакомый нам тарантас, «в каких ездят холостяки», с кучером Селифаном и лакеем Петрушкой на козлах, появляется опять в пределах нашего зрения,— набросан смелыми, широкими и совершенно новыми чертами...

Философия первого тома в главных своих чертах являлась тоже здоровой философией смеха, признающего свое право и с горечью отмечающего предрассудки общества. Кто не помнит замечательной параллели между сатириком и «лирическим писателем», который прославляет национальные добродетели и льстит национальному самолюбию: «Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высочайшее достоинство человека, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям... Вдвойне завиден прекрасный удел его... далеко и громко разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека... Нет равного ему в силе — он бог! Но не таков удел, другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед глазами и чего не зрят равнодушные очи,— всю страшную тину мелочей, опутавших нашу жизнь... Ему не собрать народных рукоплесканий; ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головой и геройским увлечением... ему не избежать, наконец, современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные создания... отнимет у него сердце и душу и божественное пламя таланта. Ибо не признает современный суд, что *высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением...»*

Трудно яснее выставить «права высокого восторженного смеха» по сравнению с «упоительным куревом» лирической лести. Есть и еще несколько мест, в которых Гоголь высказывает те же мысли. Между прочим, он зло смеется над чисто маниловским спросом на «добродетельного человека» и сознательно дразнит читателя образом своего «героя»:

«Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям... Самая полнота и средние лета Чичикова много повредят ему: полноты ни в каком случае не простят герою, и весьма многие дамы, отворотившись, скажут: «Фи, какой гадкий!» Увы! Все это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека...» «И можно даже сказать почему: потому что пора, наконец, дать отдых добродетельному человеку, потому что праздно вращается на устах слово *добродетельный человек,* потому что обратили в лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая кнутом и всем, чем ни попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет в нем и тени добродетельного человека, а остались только кости да кожа... Нет, пора, наконец, припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!»

Но уже в первом томе рядом с этими взглядами, подсказанными сознанием своего стихийного гения, порой даже в непосредственном соседстве с ними, стоят другие, прямо противоположные взгляды. Так, тотчас же за словами о правах «великого восторженного смеха» следуют такие строки:

«И долго еще определено мне чудною властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадную несущуюся жизнь сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы. И далеко еще то время, когда *иным ключом грозная вьюга вдохновения подымется из облеченной в священный* ужас и блистанье главы и почуют в священном трепете величавый гром *других речей...* В дорогу! В дорогу!»

А вслед за сарказмом по адресу «добродетельного героя» какое-то роковое побуждение диктует Гоголю следующие чисто «лирические» обещания:

«...Но, может быть, в сей же самой повести почуются иные, доселе еще не бранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, *пройдет муж, одаренный божескими доблестями,* или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения. И мертвыми покажутся перед ними все добродетельные люди иных племен, как мертва книга перед живым словом!»

Итак, на одной и той же странице Гоголь дает всенародное обещание послужить тому, над чем тут же так

зло смеется. На пороге новой работы, новой борьбы и, быть может, новой победы в душе великого писателя уже готов роковой разлад между самыми коренными свойствами его таланта и заблудившейся в умственном одиночестве мыслью.

VIII

Есть одно произведение Гоголя, далеко не лучшее в художественном отношении, но чрезвычайно характерное для выяснения некоторых его взглядов на задачи искусства. Оно дает также ключ к уяснению его трагедии как писателя.

Это «Портрет». Написан он еще в 30-х годах, много раз значительно переделывался и появился в окончательном виде в начале 40-х годов, то есть в то самое время, когда Гоголь закончил первую часть «Мертвых душ» и готовился ко второй. Таким образом, мы имеем здесь как бы художественную исповедь Гоголя на пороге новой работы. Это — увы!— те же взгляды, которые мелькали в настроении Гоголя уже во время первого представления «Ревизора», определялись с годами и выразились окончательно в «Портрете» и «Переписке с друзьями».

Талантливый молодой художник получает заказ: написать портрет ростовщика, которого все население Коломны считает колдуном, чем-то даже вроде антихриста. Художник соглашается, но по мере работы чувствует непонятную тяжесть, которая мешает ему воспроизводить интересную натуру. Портрет пугает его самого поразительной правдивостью изображения. В конце концов он бросает свою работу, успев вполне закончить одни глаза; зато эти глаза глядят с полотна, тревожат и не дают покоя. Ростовщик с непонятною страстностью умоляет художника закончить его изображение. От этого зависит его жизнь. В портрете он будет жить мистической жизнью. Теперь ему предстоит жить только наполовину. Художник решительно отказывается, портрет остается незаконченным, и колдун умирает. Но его предсказание исполняется: портрет переходит из рук в руки, принося несчастие и гибель, порождая вокруг себя дурные стремления.

Сознавая, что своей гибельно-правдивой картиной он совершил тяжкий грех, художник удаляется в далекую

пустыню и делается монахом. Узнав, что в мире он был живописцем, настоятель предлагает ему написать запрестольный образ богоматери. Художник отказывается: *слишком реальным и правдивым изображением зла* он осквернил свой талант и теперь не способен к высокому идеальному творчеству, которое одно является целью искусства. Ему нужно предварительно очиститься от этого великого греха. Только после трудных духовных подвигов он приступает к работе и создает чудное святое произведение, после чего и сам являет все признаки святости... Сыну, тоже художнику, который разыскал его незадолго перед смертью, этот святой старец преподает высшую мораль искусства. Для него нет ничего низкого. «Исследуй, изучай все, что ни увидишь, покори все своей кисти. Но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну создания». Задача искусства в примирении... «Для успокоения и *успокоения всех* нисходит в мир высокое создание искусства. Оно не может *поселить ропота* в душу, но звучащей молитвой стремится вечно к богу... Но есть минуты... темные минуты...»

Инок рассказывает сыну о великом преступлении своей кисти, когда он «насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив все, *быть верным природе*. Это не было создание искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже *мятежные чувства*, не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем»... Инок заключает свой рассказ просьбой: если сыну случится увидеть этот роковой портрет, при создании которого он старался быть верным природе без мысли о примирении,— он *должен его уничтожить*.

В этом варианте, который, нужно сказать, сильно попортил первоначальную редакцию «Портрета» в художественном отношении, мы видим настроение Гоголя в самый критический период его жизни. В «Ревизоре» и в «Мертвых душах» он изобразил тогдашнюю Русь, и она взглянула на всех тем же страшным взглядом, едва прикрытым покровом смеха, каким портрет даже сквозь занавес глядел на бедного Чарткова. И эта страшная правда не несла примирения. Наоборот, она будила в современниках «смятение и мятеж»... Он, как его художник-инок, считает это тяжким грехом. Ему тоже предстоит сначала искупить этот грех покаянием, а затем «высоким произведением искусства» примирить

смятенные души своих соотечественников со всем, что он осмеял ранее...

Если же это не удастся, то... он, по завету святого инока, уничтожит собственное произведение.

Таким образом, ко времени работы над вторым томом Гоголь окончательно осудил свои «несовершенные» и грешные произведения, которые могут быть оправданы лишь тогда, когда он сумеет вновь возвеличить Россию в целом. Первая часть «Мертвых душ» должна служить лишь преддверием величественного Пантеона российских добродетелей.

К этому глубокому разладу между органическими склонностями сатирического гения и глубоко ошибочным взглядом на задачи искусства присоединился другой, тоже роковой мотив. «Мысль о службе,— писал Гоголь в «Исповеди»,— никогда меня не покидала». Одно время он мечтал, что для него создадут какую-то особую, небывалую должность «примирителя». Но, во-первых, такой должности по штатам не полагалось, а во-вторых, Гоголь пока еще ничем не доказал, что он может занять эту должность с успехом. Гоголь окончательно покидает мысль о «службе» в обычном значении этого слова и приходит к заключению, что его великий дар сам по себе есть тоже вольная служба. И он стал смотреть на себя как на состоящего уже фактически на этой службе.

Кому? Конечно, государству. Идея «общества» и народа как самостоятельных элементов нации тогда еще не определилась. В начале столетия Павел Петрович считал, что самое слово «общество» выражает понятие крамольное, занесенное с Запада и что его можно уничтожить простым изгнанием из лексикона. В дореформенной России были чиновники, военные, были помещики, которые рассматривались как сорок тысяч деревенских полицмейстеров; был, наконец, простой народ, безгласный, безличный и порабощенный. Начиная снизу, где помещик являлся патриархальным владыкой с неограниченным фактически правом над судьбой крестьян, и доверху — Россия представляла огромное поместье, с верховным патриархом-государем на вершине. Служить этому государству значило, в сущности, состоять «на царской службе». Гоголь и считал поэтому, что со своим художественным гением он должен стать чем-то вроде «писателя Его Императорского Величества».

Служба предполагает, конечно, жалование по праву. И действительно, в 1837 году Гоголь, работавший в Риме над «Мертвыми душами», пишет Жуковскому: «Если бы мне такой пансион, какой дается воспитанникам Академии художеств, живущим в Италии, или хоть такой, какой дается дьячкам, находящимся при нашей церкви... Найдите случай указать как-нибудь государю на мои повести: «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба»... Все недостатки, какими они изобилуют, вовсе неприметны для всех, кроме вас, меня и Пушкина... Если бы их прочел государь. Он же так расположен ко всему, где есть теплые чувства...»

Уже в самом выборе повестей, которые Гоголь предлагает вниманию государя, заметна, кроме некоторого пренебрежения к нему как к ценителю, также и система: царь уже знал «Ревизора» и даже очень верно оценил его силу (известна его историческая фраза, сказанная после первого представления: «Досталось всем, а больше всех мне»). И, однако, служебные права свои Гоголь видит не в «Ревизоре» и даже не в «Мертвых душах», над которыми работал, а в теплых, то есть «примиряющих чувствах». Это условие писательской службы, как мы видели, совпадало со взглядами самого Гоголя, которые, быть может, и выработались отчасти под влиянием представления о службе «государству» в лице такого государя, каким был Николай I.

«Шекспиры и Мольеры,— говорит его инок-художник,— процветали под великодушным покровительством, между тем как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине; истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских...» «Государям *нужно* отличать поэтов, ибо один только *мир и благодатную тишину* низводят они в душу, а не волнение и ропот». Поэтому «ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне. Ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя».

В ноябре того же года Гоголь радостно сообщает, что его обращение услышано, и пять тысяч рублей, жалованные великодушным государем, дадут ему возможность работать полтора года. Через некоторое время по выходе первого тома, когда (вследствие запоздания выхода книги) Гоголь опять чувствовал нужду в деньгах

и среди знакомых возникла мысль о новом обращении к государю,— умный Катенин не советовал Гоголю обращаться к этому источнику. «Тут каждая копейка обратится в алтын»,— говорил он предостерегающе, разумея, конечно, те идейные обязательства, которые заключаются в самом факте обращения. Наоборот, самый близкий Гоголю человек великосветского круга, А. О. Смирнова, горячо рекомендует ему это средство, откровенно подчеркивая его характер. «На эту помощь,— говорит В. И. Шенрок,— Смирнова смотрела как на предоставление Гоголю возможности окончить «Мертвые души» (*в новом направлении)*». «Мне как-то делается за вас страшно,— писала она,— смотрите, не скройте вашего таланта, то есть того, *настоящего*, вам богом данного недаром. Не оставьте нам только первые плоды незрелые или выходки сатирические огорченного (!) ума...» В другой раз она писала еще резче: «Ваши грехи уже тем наказаны, что вас непорядочно ругают и что вы сами чувствуете, *сколько мерзостей вы пером написали*».

Замечательно, что такого же взгляда держался даже... Жуковский, прекраснодушный поэт, плававший в то время в атмосфере великосветского благоволения. Он только защищал перед высшими кругами «добрые намерения» Гоголя [1].

Итак, очевидно, автор «Ревизора» и «Мертвых душ» в глазах влиятельных и высокопоставленных лиц был все еще только творцом незрелых плодов огорченного ума, написавшим до тех пор почти только «мерзости», требующие искупления. Едва ли можно сомневаться, что эти отзывы придворных кругов были отголосками мнений государя. Николай I был человек цельный. Он готов был признать, что гениальные писатели действительно полагаются по штату в благоустроенном государстве как одна из изящных принадлежностей короны. Ввиду этого он приковал Пушкина к придворному этикету и делал подарки Гоголю. Но писатели — народ недисциплинированный. Когда умер Карамзин, царь осыпал щедротами его семью. Жуковский попросил того же для семьи убитого на дуэли Пушкина. Николай ответил, что тут есть разница: «Карамзин умер, как ангел», а Пушкин и жил, и умер строптивцем. Гоголь то-

---

[1] В. И. Шенрок, «Материалы к биографии Гоголя», т. IV, стр. 189 и примечание.

же не совсем годился в бриллианты. Он все только обещает прославить российскую державу, а пока с его произведений глядят страшно правдивые и мрачные глаза рабской и темной страны... И потому, когда Гоголь умер, а Тургенев позволил себе в печатном некрологе назвать его великим писателем, то он был арестован, а затем выслан с фельдъегерем в свое имение.

Но это было впоследствии, а пока гениальный сатирик — впрочем, по собственному вызову и согласно своему теоретическому пониманию искусства — принимал своеобразную командировку в страну примиряющего идеализма с целью принести оттуда новые украшения российской короне и российскому «государству»...

А Пушкин, который «чуть не плакал от горя и злости» на представлении «Ревизора» и в этом горе и в этой злости видел великое значение гоголевского смеха,— был уже в могиле. Его погубила та же великосветская среда, которая теперь убеждала Гоголя отречься от своего смеха, то есть от своего гения и от своей жизни.

IX

В «Исповеди» Гоголь говорит прямо, что в продолжении «Мертвых душ» он имел в виду развить в образах те идеи, которые изложены в переписке с друзьями: «Я имел неосторожность заговорить в ней кое о чем из того, что должно было мне доказать в лице введенных героев повествовательного сочинения» [1]. Поэтому нам остается хоть немного остановиться на идеях этой книги, которую теперь пытаются вновь реабилитировать и которая в действительности сыграла такую печальную роль в гибели гоголевского таланта...

Борьба с индивидуальными пороками и уважение к самым основам рабского строя — такова, несомненно, общая «гражданская» идея этой книги. Поле борьбы — каждая отдельная человеческая душа. Что же касается до основ самого строя, то здесь все должно остаться неприкосновенным. Начальник и подчиненный, раб и помещик должны стать добрыми христианами — в этом и только в этом решение вопроса. Рабская зави-

[1] Сочинения, V, 267.

симость хорошего мужика от превосходного помещика не есть зло и не унижает человеческого достоинства в том и другом.

Правда, даже в той уединенной часовне, в какую Гоголь превратил свою жизнь за границей и куда имели доступ не только явные друзья его «личности», но злейшие враги его таланта,— он не мог не слышать отголосков того, что уже назревало в русской жизни. Атмосфера дореформенной Руси была уже полна смутной тревогой, как это бывает перед грозой, когда на томительно ясном горизонте не видно еще никаких признаков близкой бури, но в воздухе уже разлито беспокойство и напряжение. В «Исповеди» он нашел для этого напряжения очень яркие слова:

«Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным,— говорит он,— все чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, даже не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе... Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении: все ждет какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении, как себя, так и других, делается общею... Всяк чувствует, что он не находится в том именно состóянии своем, в каком должен быть, хотя не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние».

Гоголь, конечно, не может не видеть, что и в общественной, а не только в частной жизни есть много несовершенств, что в ней господствует тот «вихрь возникших запутанностей, которые застенили всех друг от друга и отняли почти у каждого простор делать добро». Видит он также «повсеместное помраченье и всеобщее уклонение всех от духа земли своей», «видит бесчестных взяточников и плутов, продавцов правосудия и грабителей, которые, как вороны, налетели со всех сторон клевать еще живое наше тело»... Он признает даже больше: «во многих местах незаконный порядок обратился почти в законный», а это уже несомненный признак разложения самого государства, делающий понятным возрастание общего недовольства. Но ему кажется, что все это трагедия не общества, задержанного в своем развитии и начинающего сознавать безнравственность существующих форм жизни, а только драма отдельных душ, лично уклонившихся от добродетели.

Отсюда та глубокая трещина в настроении великого художника, которая обнаружилась после первого представления «Ревизора». Гоголя испугало то, что многие

видят в его комедии попытки осмеять не только пороки, но и лиц и даже (о ужас!) самые должности. «„Ревизор“,— писал Гоголь впоследствии В. А. Жуковскому,— был первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, *что, впрочем, не удалось:* в комедии стали видеть желание осмеять *узаконенный порядок вещей и правительственные формы,* тогда как у меня намерение было осмеять только *самоуправное отступление некоторых лиц* от форменного и узаконенного порядка». «Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной того, что меня не поняли».

Такая сатира совершенно не входила в его сознательные планы. В действительности в России все превосходно, и в письме к занимающему видное место (губернатору, мужу А. О. Смирновой-Россет) Гоголь предостерегает его от стремления к каким бы то ни было переменам. По его мнению, «чем более всматриваешься в организм управления губернией, тем более изумляешься мудрости учредителей. Слышно, *что сам бог строил незримо руками государей.* Все полно, достаточно, все устроено именно так, чтобы споспешествовать в добрых действиях, подавая друг другу руку, и останавливать *только на пути к злоупотреблениям...* Всякое нововведение тут ненужная вставка» [1].

На протяжении всей переписки Гоголь развивает эту мысль о совершенстве, неприкосновенности и святости тогдашнего строя (который сам «бог строил руками государей»). Дворянство есть «сословие в истинно русском ядре прекрасное»... «Дворянство есть как бы сосуд, в котором заключено нравственное благородство». Ему предстоит воспитать крестьянское сословие таким образом, чтобы оно стало «образцом этого сословия для всей Европы, потому что теперь не в шутку задумались многие в Европе над древним патриархальным бытом, которого стихии исчезли повсюду, кроме России, и начинают гласно говорить о *преимуществах нашего крестьянского быта,* испытавши бессилие всех установлений и учреждений нынешних для их улучшения» (177). Учреждение должности прокурорской тоже приводит Гоголя в умиление, а глава о «сельском суде и расправе» заключает в себе совет судить всякого двойным судом. Один суд должен быть человеческий, другой же суд

[1] Соч., V, 171.

сделайте божеский (!) «и на нем осудите и правого, и виноватого»... Именно так, как весьма здраво поступила комендантша в повести Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославши поручика рассудить городового солдата с бабою, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такою инструкциею: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи» (154).

Во многих письмах Гоголь прямо иронизирует над «страхами и ужасами России», стоявшей уже у порога катастрофы. «Слышу только о каких-то неизлечимых болезнях,— пишет он «губернаторше» (А. О. Смирновой),— и не знаю, кто чем болен...» «Все мысли твои направлены к тому, чтобы избежать чего-то угрожающего в будущем,— поучает он «близорукого приятеля», мечтающего о каких-то финансовых реформах.— Ты горд, ты самоуверен... Ты думаешь, что все знаешь... Моли бога, чтобы случилась тебе какая-нибудь крупнейшая неприятность (на службе)!..» Она «будет твой истинный избавитель и брат...» [1].

Таким образом, необыкновенно яркая фраза Гоголя о том, что «мир в дороге», является, в сущности, недоразумением. Мир не в дороге, мир должен остаться на месте. В дороге только отдельные пиэтически вздыхающие души, которые должны, однако, заботиться о том, чтобы в своем движении не нарушить как-нибудь предустановленного совершенства существующего строя. Он убежден даже, что самая тревога, которая больше и живее чувствуется именно в рабской России, указывает не на большие грехи русского строя, а лишь на большее совершенство русской души. Вздохи своих знакомых великосветских пиэтистов он принимает за признаки и средства общественного оздоровления. Общее спасение не в отрицании, не в критике, не в его гениальном смехе, не в реформах. Общее спасение в службе существующему строю: «Всяк должен спасать *себя* в самом сердце государства. На корабле своей должности службы должен всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика Небесного. Кто даже и не в службе, должен теперь вступить на службу» (156) [2].

В этой глубокой уверенности Гоголь принимается даже пророчествовать, и в письме к графине С-ой он предсказывает, что еще пройдет десяток лет, и вы уви-

---

[1] Соч., V, 160, 161.
[2] Соч., V, 156.

дите, что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках.

X

Гоголь был удивлен действием, какое произвела на всех читателей неожиданная исповедь... Уже из этого болезненного удивления видно, до какой ужасающей степени дошло его отчуждение от истинного движения умов и душ в среде тогдашнего читающего и мыслящего русского общества.

Теперь, по истечении шести десятков лет, мы уже не можем ошибаться в вопросе, что составляло главную причину замеченного и Гоголем настроения и откуда происходило ощущение, что «мир в дороге». Для нас ясно также, куда пролегала эта дорога: первым ее этапом должно было стать *освобождение крестьян* от рабства, а русского общества — от крепостнических форм жизни; что именно в этой стороне лежала *идеальная* линия тогдашнего движения — это теперь уже не вопрос взглядов или партий; это *объективная историческая истина*, которую не смеют уже оспаривать даже наши Собакевичи и Маниловы.

С большей или меньшей ясностью это чувствовали современники Гоголя, и в эту именно сторону обращались все взгляды, у одних со страхом, у других с надеждой. Государство объявило институт рабства одним из своих устоев... Очевидно, идеальная линия пролегала также через отрицание современного государственного строя...

Идеалы, вообще говоря, достижимы лишь в бесконечности, то есть реально не достижимы. Но идеальное постоянно просачивается в нашу жизнь, откладываясь в общественных формах. Его «предчувствие» веет на небосклоне каждого поколения, как облачный столб перед Израилем в пустыне. Только легендарный столб был поставлен извне. В действительности он слагается из неопределенных общих желаний и предчувствий, из новых, только рождающихся мыслей лучших умов, из задушевных стремлений лучших сердец. И все эти атомы общественного творчества невидимо слагаются в идеальный образ, веющий, как знамя, на умственном горизонте поколений...

Для поколения 40-х годов прошлого века эти идеальные формы были не вполне еще определенны и ясны. Русское общество не имело никаких форм для их проявления. Литература была задавлена гнетом цензуры и по разным причинам облекала свои стремления в туманные метафизические формулы. Положительное определение освободительных идей было невозможно. С тем большею силой они искали отрицательного выражения... Как иудеи в ассирийском плену, молодая русская интеллигенция заботилась об одном: ни словом, ни намеком не присоединяться к преклонению перед идолами чужой, торжествующей веры. *Отрицание* становилось началом почти религиозным...

Оно стало господствующим настроением всего живого и мыслящего в России. Известен, между прочим, такой факт из биографии В. Г. Белинского. Запутавшись в гегелевской философии, он принял формулу о «разумности действительного». Под «действительным» по этой терминологии разумелось все, что веками стихийных процессов вырастало из почвы, слагаясь коллективным разумом народов как бы без вмешательства чисто рациональных процессов и критики. Перед силой этой «действительности» все умствования отдельных людей и протесты отдельных совестей являются детски легкомысленными и преступными... С этой точки зрения республика Северо-Американских Штатов с ее избираемым президентом — есть «призрак». Только монархия, возникшая в тьме стихийно-исторических процессов,— есть реальная личность. «Образ государя есть личность государства», и подданный не может служить отечеству иначе, как служа государю. Само же государство «не имеет причины в нужде и пользе людей: оно есть самоцель, в самом себе находящая причину»[1].

Как видите, это очень близко к идеям «Переписки», но Белинский жил среди постоянного кипения мысли и споров в просыпавшемся и живом обществе. Впоследствии он не мог без глубокого страдания вспомнить об этих своих статьях, и с тем большею страстностью обрушился на «Переписку».

Биографы Белинского отмечают следующий характерный эпизод. Около того времени, когда появились эти статьи о преклонении перед действительностью, ему

---

[1] Сочинения Белинского: «Народ и царь» («Оч. Бородинского сражения Ф. И. Глинки») и «Бородинская годовщина».

хотели как-то представить в одном обществе молодого инженерного офицера. «Это автор статьи о Бородинской годовщине?» — спросил офицер и, получив утвердительный ответ, сухо отказался от знакомства. Белинский, слышавший этот разговор, сам быстро подошел к молодому человеку и горячо пожал ему руку: «Вы благородный человек, я вас уважаю»,— сказал он с обычной своей прямотой. Теперь в молодом инженере он почувствовал единомышленника по своей новой религии, и эта религия было страстное «отрицание действительности».

В 1846 году Ив. С. Аксаков, объезжавший Россию, писал родным о настроении тогдашнего общества: «Имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. «Мы обязаны Белинскому счастьем»,— говорили мне везде молодые, честные люди в провинции». И затем Аксаков прибавляет: «Если вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастьям угнетенных, честного доктора, честного следователя, *который полез бы на борьбу*,— ищите таковых между последователями Белинского...»

И, наверное, впоследствии на столе у каждого такого молодого человека, наряду с портретом автора «Ревизора» и «Мертвых душ», можно было найти письмо Белинского к автору «Переписки». Гоголь сильно ошибался в оценке современности, когда думал, что «молодой восторг» его современников устремлялся только навстречу «лирическому поэту», окуривающему читателя упоительным куревом лести. Нет, всему молодому, восторженно-героическому в тогдашней России был дорог отрицатель-критик и гениальный поэт-сатирик. Молодой России нужен был именно смех Гоголя, беспощадный до конца. От упоительного курева даже гоголевской идеализации она отвернулась с негодованием.

XI

Теперь нам остается проследить до конца печальный последний акт трагедии, связанной со вторым томом великого произведения...

Перед нами опять дорога, опять знакомый тарантас с Петрушкой и Селифаном на козлах. И в тарантасе все та же благополучная фигура Павла Ивановича Чичикова, отправляющегося «для познания всякого рода мест» в новые страны.

И кругом опять все та же бедность и бедность и несовершенства нашей жизни.

Павел Иванович пережил в уездном городе некоторые тревоги, и, кроме того, он имеет основание чувствовать себя несколько обиженным автором, который сообщил в конце первого тома его биографию.

И в самом деле, даже сторонний читатель чувствует, что в этой биографии Гоголь не вполне справедлив к своему герою: после нее так хорошо знакомое лицо Павла Ивановича как будто слегка изменилось, или, вернее, точно кто-то, к большому вреду Павла Ивановича, подменил его послужной список. Из человека умеренной полноты и приятной наружности он превращен в какого-то мрачного злодея: с самой юности он проявляет совершенно исключительную черствость души по отношению к учителю и благодетелю. А затем пускается в самые рискованные, чисто даже уголовные предприятия... Мы знали только, что Павел Иванович где-то и как-то «пострадал за правду». Теперь мы узнаем, что это было в таможенном ведомстве. В этом ведомстве, как и всюду в те времена, царили известные порядки, которые, впрочем, никто не считал предосудительными. Но вдруг, благодаря «несчастной случайности», был назначен на место начальника «человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой». К тому же этот строгий начальник был совершенно бестолков и не знал порядков гражданского управления. «На другой же день он пугнул всех до одного, увидел на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры (настроенные взяточниками), и пошла переборка...» «Чиновники отставлены, дома красивой гражданской архитектуры поступили в казну», одним словом, «все распущено в прах!»

И прежде всех пострадал Чичиков. Пострадал глупо, случайно: «Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику... Иногда,— замечает автор,— просто бывает это без причины». И вот Павел Иванович вылетел со службы. И без сомнения, всякий средний чиновник обычной тогда добродетели, то есть как и Па-

вел Иванович, не очень тонкий, но и не то чтобы очень толстый, с величайшим сочувствием выслушал бы историю о том, как человек пострадал за правду, тем более что затем весь поход закончился бестолково и бесплодно. Так как военный человек был, естественно, совершенный невежда в деле гражданском, то через некоторое время очутился «в руках еще больших мошенников, которых он вдобавок не почитал таковыми и даже хвастался не в шутку тонким уменьем различать способности. Чиновники вдруг постигли дух его и характер, и все, что ни было под его начальством, сделалось страшными гонителями неправды...» И все, конечно, быстро затянулось прежним налетом, как затягивается крыловское болото, в которое шлепнулся с неба владыка-чурбан... Если бы сюда прибавить еще преследование этой добродетельной шайкой тех немногих людей, которые действительно пытались бороться за закон и правду, то перед нами была бы схема, пригодная, пожалуй, и для нынешних дней...

Но автору было почему-то недостаточно этой умеренно плутовской истории для характеристики своего героя, и он привлекает еще историю с каким-то наследством; для нее требуются уже не только подлоги, но и чрезвычайно рискованные переодевания и тому подобные предприятия, как будто уже не вполне свойственные солидному Павлу Ивановичу. И вдобавок, совершив все это, аккуратный Павел Иванович напивается пьян, ссорится в пьяном виде со своим сообщником, называет его поповичем, чем и вызывает со стороны этого сообщника донос.

Итак, Павел Иванович Чичиков — не только злодей, но и пьяница. И это тот самый Чичиков, вполне благопристойный и приличный, который «никогда не позволял в речи непристойного слова и оскорблялся всегда, когда в речах других видел отсутствие должного уважения к чину или званию». Читателю было так приятно «узнать, что он всякие два дня переменял на себе белье, а летом, во время жаров, даже и всякий день». И каждый раз, «когда Петрушка (со своим запахом) приходил раздевать его,— клал себе в нос гвоздичку»... И этот Павел Иванович пьяный пускается в опасную ссору!.. Нет, положительно, это какой-то другой Павел Иванович, а не тот приятный господин, не то чтобы худой, но и не очень полный во всех смыслах, с которым читатель успел уже сжиться с первого момента его появления.

Наконец, почему же непременно подлец? «Зачем быть так строгу к другим? — может он спросить у автора его же собственными словами (из первого тома). — Ведь теперь у нас подлецов не бывает: есть люди благонамеренные и приятные», которые просто стремятся к приобретению. «Зачем он (в самом деле) добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве прожить остаток дней, непрожитое оставить жене, детям, которых намеревался приобрести для блага, для службы отечеству...» [1] Вот для чего он ухищрялся, вот для чего уподобил свою судьбу судну среди волн, вот для чего странствовал, скупая «мертвые души». А это цели вполне благонамеренные. Спросите кого угодно из средних, не то чтоб очень тонких, но и не очень толстых современников Павла Ивановича: разве это злодейство? Ведь он хотел только взять из ломбарда за мертвые души совершенно так, как бы они были живые. Из ломбарда, то есть из казны, то есть, в сущности, ни у кого...

Для знакомого нам Павла Ивановича именно эта серединность во всех смыслах: это приятная округлость форм и манер, это отсутствие углов не только в фигуре, но и в глубинах совести — являлась самой характерной чертой всего облика. Чичикову биографии как будто более шла бы хищная худоба, беспокойные манеры, настороженная алчность, беспокойно-хищные взгляды... И тогда он, пожалуй, казался бы менее страшен... Пушкин, наверное, потому и говорил: «Боже, как грустна наша Россия», что в этой дореформенной России Чичиковы были не злодеи, а просто люди, близкие к среднему бытовому типу. Этот средний калибр Павла Ивановича Чичикова есть, быть может, самая страшная черта того «портрета» тогдашней России, которая так неприятно смотрела со страниц первого тома «Мертвых душ».

Мне кажется, что от всей биографии веет некоторой искусственностью и преднамеренностью: Гоголь как будто принижает Чичикова, чтобы подготовить контраст своих добродетельных героев, с которыми он сведет Павла Ивановича.Чичиков едет теперь от Петра Петровича Петуха к помещику Кашкареву. И при этом случайный спутник Платонов предлагает познакомить его со своим зятем... Это человек истинно замечательный, и Платонов говорит о нем, как о «первом хозяине, какой когда-либо бывал на Руси»: «Он в десять лет с неболь-

---

[1] Сочин., IV, 447.

шим, купивши расстроенное имение, едва дававшее двадцать тысяч, возвел его до того, что теперь получает двести тысяч».

« — А, почтенный человек!— (говорит Павел Иванович).— Вот этакого человека жизнь стоит того, чтобы быть переданной в поучение людям... А как по фамилии?

— Скудронжогло.

— А имя и отчество?

— Константин Федорович.

— Константин Федорович Скудронжогло. Очень приятно познакомиться. Поучительно узнать этакого человека...»

Гоголь не описывает выражение лица Чичикова в эту минуту, но читатель, знакомый с Павлом Ивановичем, видит его и без описания. Глазки «будущего родоначальника» сверкают радостным оживлением, в его лице благоволение. В Константине Федоровиче Скудронжогло он чувствует нечто родственное. Это тоже «приобретатель», только на широкую ногу и вполне добродетельный. А теперь, во втором томе, нельзя уже смеяться над добродетельным человеком. Надо уважать добродетельного человека. Даже более: надо перед добродетельным человеком преклоняться. Добродетельный человек — опора общества. Он не увлекается химерами юности, не мечтает о реформах крепостного строя и смеется над умниками, которые заводят для мужиков богоугодные заведения (391), и над донкихотами, которые открывают для них школы, мешающие мужицким детям заниматься прямым делом... (стр. 392). Он стоит «на прочном основании». И основание это... приобретение.

Скудронжогло — настоящий идеолог приобретения. Почуяв в Чичикове родственную натуру, он с радостью дает ему десять тысяч, без процентов, без поручительства, просто под одну расписку. *«Так был он готов помогать всякому на пути к приобретению!»* [1] — поучительно заключает Гоголь «Переписки». В стиле его, теперь обесцвеченном и искусственном, находятся для добродетельного человека возвышенные обороты. То «сумрачное облако осеняет его чело», когда он видит плохое хозяйство (406), то, наоборот, изображая картину хо-

---

[1] IV, стр. 550. Эта замечательная фраза сохраняется в обеих сохранившихся редакциях.

зяйства хорошего, он «сияет, как царь в день торжественного венчания своего...» (397). И Павел Иванович Чичиков заслушивается его, как пения райской птички.

« — Сладки ваши речи, досточтимый мною Константин Федорович,— говорит он.— Могу сказать, что не встречал во всей России человека, подобного вам по уму!

Скудронжогло улыбнулся.

— Нет, Павел Иванович,— сказал он,— уж если хотите знать умного человека, так у нас действительно есть один, о котором точно можно сказать: умный человек, которого я и подметки не стою...

— Кто это?— с изумлением спросил Чичиков.

— Это наш откупщик Муразов...

— Слышал. Говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия. Десять миллионов, говорят, нажил!

— Какое десять! Перевалило за сорок! *Скоро половина России будет в его руках.*

— Что вы говорите!— вскрикнул Чичиков, оторопев.

— Всенепременно... У кого миллионы, у того радиус велик: что ни захватит, так вдвое и втрое против себя... С ним некому тягаться. Какую цену чему назначит, такая и останется: некому перебить.

— ...Скажите,— (произносит Чичиков, мысль которого «каменела» от страха и благоговения),— ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?..

— Самым безукоризненным путем и самыми безукоризненными средствами... Миллионщику незачем прибегать к кривым путям. Прямой таки дорогой так и ступай и *бери все, что ни есть перед тобою...»*

В этом разговоре, в сущности, выступает единственное различие между Чичиковым первого тома и идеальными героями второго. Это прежде всего размеры приобретения и, во-вторых, его источник: у Павла Ивановича он не безгрешен вообще, а Гоголь еще усиливает это различие, без особенной надобности превращая его из «приобретателя» в злодея.

Скудронжогло *честно* пользуется сознанной тогда уже многими неправдой крепостного строя, а Муразов *честно* наживается на откупах, освобождение от которых Россия через несколько лет приветствовала как вторую эмансипацию.

Но мы помним, что Гоголь в первом томе защищал Павла Ивановича от названия подлец. Он прямо гово-

рил, что справедливее всего назвать его *«хозяин-приобретатель»*. В то время «приобретение» являлось для него *виной всему:* из-за него-то произошли дела, которым свет дает название не очень *чистых,* хотя, как известно, они часто истекают из благонамереннейших побуждений, например семейных. «Такой (в самом деле) чувствительный предмет!..» Из-за него-то «будущий родоначальник, как осторожный кот, покосся только одним глазом,— не идет ли откуда хозяин,— хватает поспешно все, что к нему поближе».

Вообще в первом томе над этим добродетельным понятием витал гениальный смех. Вспомним замечательную сцену в палате, куда Чичиков и Собакевич являются с купчими крепостями на мертвые души. «Крепости произвели, кажется, хорошее действие на председателя, особливо, когда он увидел, что всех покупок было почти на сто тысяч рублей. *Несколько минут он смотрел в глаза Чичикову с выражением почти полного удовольствия* и, наконец, сказал: «Так вот как! Этаким-то образом, Павел Иванович! Так вот вы приобрели!»

— Приобрел,— сказал Чичиков скромно.

— Благое дело! Право, благое дело!

— Да, я вижу, что более благого дела не мог бы предпринять. Как бы то ни было, цель человека все еще не определена, если он не стал, наконец, твердою стопою на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности».

Да, вот что делает грешный смех! Люди совершенно солидные говорят о предмете благонамеренном: о приобретении. Автор точно воспроизводит разговор, лишь пропустив его сквозь какую-то незаметную призму... И над «приобретением» витает невидимо какое-то особенное осуждение. Это суд не уголовный — это суд смеха... Он совершается во имя какого-то идеального представления об истинном достоинстве человека, при сопоставлении с которым одно только, хотя бы и скрепленное казенной печатью, *приобретение* само по себе является смешным и жалким.

Во втором томе этот смех порой опять готов к услугам автора. Когда Павел Иванович предлагает увековечить «жизнеописанием» добродетельного приобретателя-помещика, читателю так и кажется, что смех уже порхает над расцветшей физиономией Чичикова и готов перепорхнуть с нее на фигуру Константина Федоровича Скудронжогло... «Так вот как! Этаким-то образом, Кон-

стантин Федорович! Так вы и приобрели! Рабским трудом?..» — «Приобрел...»

Но бедному смеху нет воли во втором томе: бедный смех лежит со связанными крыльями. Порой, быть может, он пытается напомнить о «так называемых патриотах, которые сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою на счет других» (IV, стр. 276). Или о том, что «миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть кругом себя подлость совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах: многие очень хорошо знают, что ничего не получат от него... но непременно хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть напросятся на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик». Или, наконец, о том, что от собственных добродетельных героев не осталось уже ни костей, ни кожи, а торчит из них одно «приобретение» (хотя бы и «законными средствами»). И тогда гениальный сатирик, обладавший все-таки замечательным критическим чутьем, сжигал в тоске свои рукописи с портретами добродетельных Чичиковых. А пока в раздвоенной душе художника происходила эта борьба художественного гения и заблудившейся мысли, роковой недуг рос на просторе, не сдерживаемый по-прежнему целительным потоком свободного, не связанного ложными идеями, сатирического творчества...

Что Гоголь сжигал также и превосходные страницы, которыми дарил его далеко еще не угасший талант, это подтверждается многими несомненными свидетельствами. И, между прочим, тем, что некоторые главы он читал в обществе. А все, что он решался читать в обществе, всегда было окончательно продумано и сделано образцово.

«До сих пор не могу еще прийти в себя,— писал, например, С. Т. Аксаков сыну Ивану Сергеевичу в 1849 году.— Гоголь прочел нам с Константином вторую главу («Мертвых душ»)... вторая глава несравненно выше первой» [1]. Смирновой Гоголь еще раньше читал отрывки из второго тома, в которых, по ее словам, «юмор был возведен до высшей степени художественности». Некоторые эпизоды были потом восстановлены в передаче лиц, слышавших чтение Гоголя. Особенно подроб-

[1] Материалы, IV, 177.

но излагались сцены у генерала Бетрищева, роман Тентетникова и участие Чичикова в этом романе. С. Т. Аксаков восхищается патетическими сценами, от которых, и по словам Смирновой, захватывало дыхание...

Но и эти главы не избегли общей участи. Гоголь сжег их в разное время. И это понятно: и юмористические, и патетические сцены *были нейтральны*, ничего не вносили в развитие заданной идеи.

XII

Идея же состояла в том, чтобы в крепостнической России найти рычаг, который мог бы вывести ее из тогдашнего ее положения. А так как все зло предполагалось не в порядке, а только в *душах*, то, очевидно, нужен такой рычаг, который, не трогая форм жизни, мог бы чудесным образом сдвинуть с места все русские души, передвинуть в них моральный центр тяжести от зла к добру.

Изобразить в идеальной картине этот переворот и показать в óбразах его возможность — такова именно была задача второго и третьего тома «Мертвых душ». Гоголь мечтал, что он, художник, даст в идее тот опыт, по которому затем пойдет вся Россия. Добродетельные герои вроде Скудронжогло должны служить материалом, указывающим, что в русском народе есть силы, готовые для великого движения...

В интересной работе Алексея Ник. Веселовского указывается на основании вполне убедительных материалов, что все герои первого тома, по мысли Гоголя, должны были исправиться. Чичиков, исчезающий во втором томе, после новой катастрофы, должен был явиться в третьем томе уже преображенным. Энергия Чичикова, избытку которой удивляется Муразов, направляется на служение ближним. Только в таком случае будет понятно (и, прибавим, оправдано с точки зрения примиряющего искусства), что «недаром такой человек избран героем». Рядом с Чичиковым предстояло снова явиться и Плюшкину, под своим ли именем или передав свое страшное прошлое другому лицу, которое должно изгладить былое зло благодеяниями. По крайней мере на это есть любопытнейшее указание в словах самого Гоголя (в письме к Языкову): «О, если бы ты мог

сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, *если доберусь до третьего тома „М. Душ“»* [1].

Если бы вдобавок, как это тоже следует предполагать, исправились и Собакевич, и Манилов, и все чиновники, и вообще все персонажи первого тома, то, мечтал Гоголь, чудесное преображение нарисованного им страшного «портрета» тогдашней России было бы достигнуто и смертный грех его смеха заглажен.

Какая же сила произведет это чудо, откуда придет тот толчок, который повернет весь этот мир Плюшкиных и Коробочек, Маниловых, Собакевичей, Чичиковых и Ноздревых около его оси?

Гоголь «Переписки с друзьями» видит эту силу не «в европейских выдумках» и не «в реформах», но исключительно — в поучении!

К этой мысли Гоголь возвращается на страницах «Переписки» с особенной настойчивостью. «Конечно,— говорит он в письме к П. А. Толстому,— сказать человеку: не крадите, не роскошничайте, не берите взяток, молитесь и давайте милостыню,— теперь ничто... Всякий скажет: да ведь это уж известно». Но Гоголю кажется, что это нужно и можно сказать каким-то особенным образом. Для этого следует «приподнять перед грешником завесу», показать ему все последствия его грехов. Тогда он несомненно исправится. «Нет, человек не бесчувствен, человек подвигнется, если только покажешь ему дело, как оно есть. Теперь он подвигнется еще более, чем когда-либо, потому что природа его размягчена...» «Он, как спасителя, облобызает того, который заставит его обратить взгляд на самого себя...» [2]

Кто же скажет это нужное слово и именно так, как его нужно сказать? Гоголь мучительно ищет людей для этой спасительной проповеди. Церковные проповедники, помещики?.. Да, отвечает Гоголь: «Это относится к церковным проповедникам. То же должен делать и помещик». «Мужика не бей,— советует он одному из своих приятелей-помещиков,— съездить его в рожу еще не большое искусство; это сумеет сделать и становой, и заседатель, и даже староста... Но умей *пронять его хорошенько словом,* ты же на меткие слова мастер» (132).

---

[1] «Вестник Европы», март 1891 г.

[2] «Нужно проездиться по России». Соч., т. V, 110, 111.

Увы! Гоголь-юморист в первом томе уже осмеял эти собственные проекты. Их он вложил тогда в уста Плюшкина:

— Приказные — такие бессовестные,— говорит Плюшкин Чичикову, собираясь совершить не вполне одобрительную сделку.— Прежде, бывало, полтиной меди отделаешься да мешком муки, а теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку прибавь,— такое сребролюбие! Я уж и не знаю, как никто другой не обратит на это вниманья. *Ну, сказал бы ему как-нибудь душеспасительное слово! Ведь словом хоть кого проймешь*. Кто что ни говори, а *против душеспасительного* слова не устоишь...

«Ну, ты-то устоишь»,— подумал тогда умный Павел Иванович.

Но иного выхода Гоголь «Переписки» все-таки не видит и потому обращает свои взоры к начальству. Оно первое должно прибегнуть к спасительному средству: «Очень знаю,— пишет он «занимающему важное место»,— что теперь трудно начальствовать в России: завелись такие лихоимства, которых *истребить нет никаких сил человеческих*. Знаю и то, что образовался другой незаконный ход действий мимо законов государства и обратился почти в законный, так что законы остаются только для вида...» Но «дело примет совсем другой оборот, если покажешь человеку (в данном случае плуту чиновнику), чем он виноват перед самим собою. Тут потрясешь так его всего, что в нем явится вдруг отвага быть другим, и тогда только вы почувствуете, как благородна наша русская порода даже и в плуте...»

В поучении, которое Гоголь диктует знакомому генерал-губернатору, есть совет: «священнику пригрозить архиереем»... Дворянам следует указать на великое дело, которое они могут сделать, «воспитавши сословие крестьян». Вообще, если к поучению приступить с чистой душой, какая была, например, у Карамзина,— «тогда всё тебя выслушает, начиная от царя до последнего нищего в государстве»... (V, 63).

XIII

Мы уже видели, что второй том «Мертвых душ» должен был в «сочинении повествовательном» развить те идеи, которые Гоголь излагал в «Переписке». И дей-

ствительно, мы находим во втором томе всю эту программу в лицах. «Занимающий важное место» сиятельный князь генерал-губернатор приходит в ужас, когда перед ним раскрылась картина страшных злоупотреблений, каким-то неведомым образом сосредоточившихся около приятной фигуры Павла Ивановича Чичикова (наброски второго тома дошли до нас лишь в отрывках). Чичиков окончательно уличен и валяется в ногах у представителя грозной власти.

« — Ваше сиятельство,— говорит он голосом отчаяния.— Я действительно лгал, я не имел ни детей, ни семейства; но вот бог свидетель, я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальства... Но — что за бедственные обстоятельства!.. Вся жизнь, точно судно среди морских волн...

Слезы вдруг хлынули из глаз его, и он повалился в ноги князю так, как был в сюртуке наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете и в чудесно сшитых штанах...» И при этом бедный приобретатель почувствовал удар княжеского сапога «в щеку, в прекрасно выбритый подбородок и зубы».

Злополучное судно приобретательской судьбы опять на мели: Павел Иванович заперт в «промозглом сыром чулане с запахом сапогов и онуч гарнизонных солдат... Не дали даже ему взять шкатулку, где были деньги. Бумаги, крепости на мертвые души — все было в руках чиновников...» Одним словом, Павел Иванович погибает, и над его грешной душой, как в старинных драмах, идет спор темных и светлых сил.

Первым является в темницу добродетельный откупщик Муразов. По-видимому, у него есть какой-то план спасения России при помощи откупных денег, которые дадут возможность командировать по всей стране благотворительных проповедников с особыми поручениями. В Чичикове он заметил необычайную энергию и намерен направить ее на выполнение своих благих намерений. Павлу Ивановичу вначале эта программа новой жизни очень улыбается. Он считает, что, в столь тесных обстоятельствах, ему не остается ничего, кроме добродетели, тем более что она связана с получением обратно шкатулки и нисколько не мешает мечтам об «осуществлении предназначения»: о «бабенке и будущих чичонках» (так ласкательно называл Павел Иванович свою

будущую семью). И вот Павел Иванович дает Муразову торжественное обещание исправиться.

Но не успела закрыться дверь за добродетельным откупщиком, как на сцену является темная сила в лице чиновника Самосвитова.

Этот Самосвитов — тип совершенно новый в чиновничьей коллекции Гоголя. «Добрый малый, отличный товарищ, кутила и продувная бестия, в военное время он наделал бы чудес... Но за неимением военного поприща подвизался на штатском и на место подвигов — пакостил и гадил. С товарищами был хорош, никого не продавал никому и, давши, слово держал. Но высшее над собой начальство считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом и упущением». Дело Чичикова заинтересовало этого своеобразного чиновного анархиста именно возможностью одурачить начальство, и он предлагает Павлу Ивановичу сделку: «Все будем работать за вас, все — ваши слуги. Тридцать пять тысяч на всех — и ничего больше».

Павел Иванович был реалист. Он не мог не чувствовать, что Самосвитов человек живой и его предложение совершенно «реально». Тогда как муразовские добродетельные фантазии — плохая и нежизненная выдумка. Поэтому он тотчас склоняется вновь на сторону порока. И вот «не прошло часу после этого разговора (с Самосвитовым), как к Чичикову принесена была драгоценная его шкатулка: бумаги, деньги, все было в совершенном порядке». Было очевидно, что на слово Самосвитова можно положиться и что «правосудие» непременно останется в дураках...

Между тем Муразов отправляется к негодующему князю и развивает перед ним свою систему борьбы с окружающим злом. Это именно система «Переписки»: он защищает перед генерал-губернатором и чиновников, и Чичикова, убеждая, что «все они люди», что они не так уже виновны и что делу (в котором оказались замешанными все «от губернатора до титулярного советника!») совершенно незачем давать законный ход. Будет гораздо лучше, если генерал-губернатор соберет всех чиновников, исповедается перед ними и... скажет им поучение!..

Грозный представитель власти, напавший на след страшного комплота чиновных воров, как-то очень быстро соглашается с Муразовым. Чичикова просто от-

пускают на все четыре стороны, с его шкатулкой, с его купчими и с его благонамеренными мечтами, а на следующий день в генерал-губернаторском доме происходит торжественная сцена.

«В большом зале собралось все чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника: правители канцелярий и дел, советники, асессоры, Кислоедов, Красноносов, Самосвитов, не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие,— все ожидало с любопытством, не совсем спокойным, выхода князя. Князь вышел ни мрачный, ни ясный: спокойной твердостью был вооружен его шаг и взор. Все чиновное собрание поклонилось, многие в пояс. Ответив легким поклоном, он начал...»

Мы, разумеется, не станем здесь приводить всю эту речь, в которой на страницах второго тома «Мертвых душ» звучат (порой буквально) слова и идеи «Переписки». Князь кается сам («он, может быть, виноват больше всех», «он принял их слишком сурово вначале» и т. д.), а затем, опять по рецепту «Переписки», сильными чертами рисует перед чиновниками положение России, охваченной разложением и неправдой. «Дело в том, что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих, что уже, мимо законного управления, образовалось другое, гораздо сильнейшее всякого законного... Все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. *И никакой правитель,* хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, *не в силах поправить зла,* как ни ограничивай он в действиях чиновников приставлением в надзиратели других чиновников... Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей... Я приглашаю вас ближе рассмотреть свой долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно предоставляется и мы едва...»

. . . .

На этой полуфразе прерываются «Мертвые души». И это очень характерно. Гоголь отлично чувствовал всякую фальшь, всякую надуманность. Критическое чутье подсказало ему, вероятно, что все это мертвые слова, лишенные силы и значения. Может быть, смех Гоголя-сатирика напомнил Гоголю-моралисту саркастическое замечание Павла Ивановича о Плюшкине

(«ну, ты-то устоишь»). Может быть, он вспомнил грозного начальника из первого тома и подумал, что и тут «все чиновники могут превратиться в страшных гонителей неправды», с теми же последствиями; может быть, он увидел, что сам он преклонился перед миллионами Муразова и потому возлагает на него великие надежды... Как бы то ни было, но поучение оборвалось на полуфразе.

Оставалось еще одно последнее средство. Есть большие основания думать, что, попытавшись в своем воображении превратить в проповедников богатых откупщиков и властных генерал-губернаторов, Гоголь обратил свои последние надежды к царю.

В письме «о лиризме русских поэтов», первую (неизвестную нам) редакцию которого почему-то очень строго осудил Жуковский, Гоголь высказывает свои взгляды на это именно значение монарха. «Всё полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословия и звания, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, *скорбя, рыдая, молясь день и ночь* (sic) о страждущем народе своем, государь *приобретет тот всемогущий голос любви,* который один только может внести примирение во все сословия государства».

Но... «чем выше достоинство взятого лица,— пишет Гоголь в «Исповеди»,— тем ощутительнее, тем *осязательнее* нужно выставить его перед читателем. Для этого нужны те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что данное лицо действительно жило»... И вот Гоголь требует у Смирновой самых мелочных подробностей из жизни государя и его семьи, настойчиво прибавляя каждый раз, что это ему «очень нужно». Он устанавливает, при помощи той же Смирновой, какой-то особый полумистический надзор за Николаем Павловичем. «Государя я поручаю вам»,— отдает он ей решительный приказ после какого-то несчастия в царской семье. И Смирнова от времени до времени пишет точные доклады об исполнении этого, как бы служебного, поручения. Невольно приходит на мысль, что дело идет о каких-нибудь «благодатных» влияниях на Николая Павловича (припомним письма Данилевскому: «отделится сила в душу твою»), при помощи которых он «приобретет (в будущем времени — значит, еще не приобрел) всемогущий голос любви», нужный, вероятно, для какого-то потрясающего, центрального, с высоты

трона исходящего, способного загреметь на всю Россию «поучения»...

Впрочем, это, конечно, только предположение, для которого, однако, есть некоторые основания. Во всяком случае, понятно, что никакие «религиозные упражнения», никакие влияния через пиэтисток-фрейлин не в силах были повлиять на Николая Павловича и обратить его в желаемого натурщика хотя бы и для гениального писателя. Со стороны Гоголя было слишком самонадеянно предписывать царю, в своих собственных морально-художественных целях: «скорбеть, *рыдать* и молиться день и ночь», чтобы затем потрясти свой народ поучением во вкусе «Переписки».

Для этого фигура Николая Павловича была, во всяком случае, слишком «реальна».

XIV

«Мертвые души» остались незаконченными. Гоголь не оправдал возлагаемых на него надежд, он «не совершил». Первая часть поэмы, которая, по мысли своего творца, должна была составлять только крыльцо величественного здания, осталась одна. Во второй части все, что Гоголь хотел выставить как идеальное, было мертво. Жили и светились порой со всей силой гения лишь типы чисто отрицательные. Но Гоголь подавлял свой юмор как преступление против искусства и признал себя бессильным закончить дело своей жизни. И его «хрупкий состав» не выдержал этого крушения.

Какое трагическое недоразумение! В сущности, первый том был уже тем величественным в художественном смысле зданием, о котором Гоголь мечтал и которое обещал России, «вперившей в него полные ожидания очи». И если бы он понимал *мыслью* истинное свое назначение, он бы видел, что для «завершения здания» остается сделать не так уж много, во всяком случае не больше, чем уже сделано: быть может, поднять фронтон и покрыть крышу.

В самом деле, каково могло быть «логическое» продолжение «Мертвых душ»? Было бы, разумеется, верхом самонадеянности навязывать великому художнику свои планы для воплощения его идеи. Это пытались сделать в 60-х годах некоторые авторы, имена которых теперь совершенно забыты, как и их попытки. Но самая

идея произведения, достаточно наметившаяся уже в первой части, хотя, быть может, помимо сознания автора, есть общее достояние, и не будет дерзостью попытка угадать ее логическую линию далее того, что сделано самим автором.

В сущности, синтез дореформенной и рабской России — был уже дан. И если бы Гоголь захотел остаться верным до конца своему гениальному смеху, если бы он не истратил силы на отыскание выхода без потрясения основ тогдашней жизни, если бы он признал, что правда не освобождает зло, а, наоборот, убивает его... Если бы он не испугался выводов из своей сатиры и не побоялся осудить не только лица и не только должности, но и самый порядок, сверху донизу пораженный бессилием и маразмом,— то ему оставалось только изобразить свободной кистью сатирика торжество чичиковского идеала.

Мирная помещичья усадьба на новых местах, купленная на деньги из ломбарда. Миловидная хозяйка, не то чтобы худая, но и не очень полная, маленькие Чичиковы, с веселыми, остро и пытливо бегающими отцовскими глазками, рабы, трудящиеся над созиданием благополучия нового помещика, и сам Павел Иванович, который смотрит ясными очами «в глаза всякому почтенному отцу семейства», потому что он «приобрел» и, значит, не даром бременит землю. Таковы общие очертания конца «Мертвых душ», логически продолжающие линию гоголевской сатиры, как ее понимали и друзья, и враги гоголевского таланта. Великое здание было бы завершено последовательно и встало бы пророческим символом страны, зачарованной в безоглядном самодовольстве рабства.

И над этой идиллией, на ее пока безоблачном горизонте чувствовалось бы, может быть, приближение грозовой тучи, которой суждено было потрясти гоголевскую Россию в самых ее основаниях.

Но он испугался «страшной правды»... Под влиянием ложных идей, развившихся в отдалении от жизни, он изменил собственному гению и ослабил полет творческого воображения, направляя его на ложный и органически чуждый ему путь. С этим вместе он подавил в себе всегдашний источник бодрости, помогавший ему бороться с страшным недугом... И «Вий» взглянул на него своим убивающим взглядом.

В мучительных поисках дороги, которая одновременно была бы выходом для него лично и для его несчастной страны, гениальный писатель метался еще девять лет, то опускаясь в низы русской жизни («Образ величавого русского человека в простом народе»), то возносясь к ее вершинам. Умер он в 1852 году (через десять лет по окончании первого тома), не от определенной болезни, а от глубокого и все возраставшего душевного угнетения. «Он пал под бременем взятой на себя невыполнимой задачи»,— писал об этом Сергей Тимофеевич Аксаков. Умер он совершенно так же, как умер его отец, Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович,—«таял, как свечка, сохнул и наконец угас, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать ее жизнь».

А через несколько лет после этого мучительного заключения трагедии великого русского сатирика — грянула историческая катастрофа, доказавшая правильность его художественного диагноза и роковое заблуждение его мысли...

Теперь над тревогой и смятением нашего современного дня встает с новою ясностью величавый и скорбный образ поэта. «Знаю, что память моя после меня будет счастливее меня,— пророчески говорил он в одном из писем к Жуковскому,— и потомки тех же моих современников, быть может, со слезами умиления произнесут примирение моей тени».

О «примирении» давно уже нет речи... Горечь, вызванная идеями «Переписки», очень живая в первые годы,— давно стихла, а скорбный образ поэта, в самой душе которого происходила гибельная борьба старой и новой России,— стоит во всем своем трагическом обаянии. Даже ошибки его мысли, преждевременно погубившие великий талант, становятся только лишней чертой, дополняющей его мучительные искания. Трудно представить себе более возвышенное понимание значения и роли литературы, чем то, которое сказалось так полно — и в великих образах, отвоеванных у роковой болезни, и даже в роковых ошибках его «Переписки».

1909

ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ ГАРШИН

Литературный портрет
(2 февраля 1855 г.— 24 марта 1888 г.)

В октябрьской книжке «Отечественных записок» 1877 года появился рассказ «Четыре дня», подписанный неизвестным тогда именем Вс. Гаршина. Это был эпизод из только что закончившейся русско-турецкой войны. Интеллигентный человек, рядовой, раненный во время стычки с турецким отрядом, падает в кустах обок с убитым им же феллахом. Только на четвертый день его поднимают санитары и уносят в госпиталь. Чувства, мысли, впечатления раненого за эти четыре дня и составляли все содержание небольшого рассказа. Но они были выражены с такой художественной простотой и силой, что никому до тех пор не известное имя молодого автора сразу засверкало над тогдашним литературным горизонтом яркой звездой, привлекавшей с тех пор внимание, надежды и симпатии образованного русского общества.

Всеволод Михайлович Гаршин происходил из старой дворянской семьи. По семейному преданию, родоначальник ее, мурза Горша, вышел из Золотой орды при Иване III. «Дед мой (по отцу),— писал Всеволод Гаршин в своей автобиографии [1],— был человек жестокий, крутой и властный: порол мужиков, пользовался правом primae noctis [2] и обливал кипятком фруктовые деревья непокорных однодворцев». Отец представлял резкую противоположность. Он кончил 1-ю московскую гимназию, слушал два года лекции в Московском университете и, поступив в кирасиры, отличался необычной для николаевской военной среды гуманностью в обращении с солдатами. Дед Гаршина с материнской стороны, отставной моряк Акимов, тоже представлял резкое исключение в тогдашней среде. В 1843 году, когда на юго-востоке России чуть не все население вымирало от голода и цинги, Акимов заложил имение и на занятые деньги привез «из России» большое количество хлеба, которое и раздавал крестьянам, своим и чужим.

Всеволод Гаршин родился (третьим ребенком) в Бахмутском уезде 2 февраля 1855 года. Первые жизненные впечатления дала ему военная среда. «Как

---

[1] Лит. сборник «Красный цветок». Сообщение С. А. Венгерова.
[2] Первой ночи *(лат.).— Ред.*

сквозь сон, помню,— пишет он в той же автобиографической заметке,— полковую обстановку, огромных рыжих коней и огромных людей в латах, белых с голубым колетах и волосатых касках. Вместе с полком мы часто переезжали с места на место». Много смутных воспоминаний осталось от этого времени в памяти ребенка, и, вероятно, впоследствии они послужили фоном для новых впечатлений этого же рода; почти треть рассказов Гаршина посвящена военным темам.

Пятый год своей жизни он отмечает как особенно бурный. Его возили из Старобельска в Харьков, из Харькова в Одессу, оттуда назад в Харьков и Старобельск. «И все это,— отмечает он,— на почтовых зимой, осенью и летом». По-видимому, были и еще какие-то тяжелые обстоятельства, помимо неудобства передвижения. «Еще ребенком,— пишет один из биографов [1],— Всеволоду Михайловичу пришлось пережить многое такое, что выпадает на долю лишь немногих». «Преобладающее на моей физиономии печальное выражение,— писал сам Гаршин,— вероятно, получило свое начало в эту пору».

С пяти до восьмилетнего возраста, живя только с отцом (мать с старшими сыновьями уехала в Петербург), мальчик увлекся чтением книг из отцовской библиотеки. В семь лет он уже прочел «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго. «Перечитав его потом, в 25 лет,— говорит он в автобиографии,— я не нашел ничего нового». Тогда же он познакомился с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Жуковским, а «Что делать?» Чернышевского читал в «Современнике» в то самое время, когда автор сидел в крепости. «Это раннее чтение,— замечает он,— без сомнения, было очень вредно».

В 1863 году мать взяла его тоже в Петербург, где он поступил в 7-ю петербургскую гимназию. Умственные склонности мальчика определились рано. Хорошие отметки он получал за русские сочинения. Математику ненавидел, хотя она давалась ему легко, и очень любил точные науки: естествознание, ботанику, химию, физику. Это отразилось впоследствии на его литературной манере: точность наблюдения и определенность выражения мысли являются характерной чертой Гаршина-писателя. В гимназической журналистике, которая тог-

---

[1] Сборник «Памяти Гаршина». Ст. Я. В. Абрамова.

да процветала, уже обращали на себя внимание фельетоны Гаршина за подписью Агасфер.

Реформа Толстого, превратившая 7-ю гимназию в реальное училище, преградила Гаршину доступ в университет, и потому в 1874 году он поступил в Горный институт. Но техническая деятельность не соответствовала его склонностям, и целью своей жизни он уже сознательно ставит литературу. «Я чувствую,— писал он в 1875 году А. Я. Герду,— что только на этом поприще я буду работать изо всех сил». Литературный успех он считает вопросом жизни и смерти. «Вернуться я уже не могу. Как вечному жиду голос какой-то говорит: «Иди, иди!» — так и мне что-то сует перо в руки и говорит: „Пиши, пиши!“» В 1876 году он уже напечатал в газете «Молва» маленький рассказ («Подлинная история Энского земского собрания» за подписью «Р. Л.») и несколько рецензий в «Новостях» о художественных выставках. Сам он, однако, не придавал никакого значения этим работам и первым настоящим литературным дебютом считал «Четыре дня».

Рассказ этот открывает серию военных рассказов Гаршина.

Как известно, в 1876 году на Балканском полуострове разыгрались крупные политические события. Сначала восстание Сербии против турецкого владычества вызвало широкое проявление славянских симпатий в России. Это был расцвет деятельности аксаковского «Славянского комитета», организовавшего широкий сбор пожертвований и отправлявшего на театр войны отряды добровольцев. До сих пор еще (и это очень странно) нет настоящей сколько-нибудь обстоятельной и беспристрастной истории этого движения, выдвинувшего вперед генерала М. Гр. Черняева, его друга полковника («сербского генерала») В. В. Комарова и целую плеяду других, менее прославившихся имен, историческая оценка которых и теперь еще — дело будущего. Одни считали генерала Черняева русским Гарибальди, другие изображали его выступление как политический фарс или трагикомедию. Несомненно одно — что в этом движении не было настоящей непосредственности и цельности. Подкупали освободительные лозунги, и сначала даже «Отечественные записки» поместили воззвание («На всемирную свечу»), в котором радикальный журнал в приподнятом тоне призывал к пожертвованиям на дело славян все слои русского народа.

«Московские ведомости» говорили о святости освободительного подвига. С другой стороны, Лев Николаевич Толстой (в «Анне Карениной») расхолаживал эти восторги, в «Голосе» Черняев был назван авантюристом, кондотьери, а через некоторое время в «Отечественных записках» появилась одна из злейших сатир Щедрина, в которой, в образе странствующего полководца Редеди, подводились итоги деятельности генералов Черняева, Комарова и Фадеева. Иллюзия единения широких слоев русского народа на почве чужой свободы, за которой, казалось, просвечивают и какие-то свои освободительные перспективы, закончилась скоро. Враждебные элементы русской жизни после освободительной войны, как и до нее, остались на прежних позициях.

Все эти противоречивые мотивы находили живые отклики в молодежи и глубоко ее волновали. Они захватили и Гаршина. В июне 1876 года он писал школьному товарищу и другу Н. С. Дрентельну.

«Пишу я теперь с отчаянием... Работа удовольствия не доставляет. Скорее какое-то желчное, злобное чувство». И затем: «За сообщение новостей из профессорского мира весьма благодарен, хотя, по правде сказать, электрофорная машина Теплова и соединение физического и химического обществ интересует меня меньше, чем то, что турки вырезали 30 тысяч стариков, женщин и ребят». «Дражайший Н. С., пиши, пожалуйста. Если бы ты знал, каково бывает у меня на душе, особенно со времени объявления войны [1]. Если я не заболею это лето, то это будет чудом».

Под влиянием этих чувств, Гаршин задумал поступить добровольцем в сербскую армию, предводимую генералом Черняевым. Это не удалось: Гаршин в то время достиг призывного возраста и, оставив университет, должен был бы отбывать воинскую повинность в России. 17 октября 1876 года турки нанесли мораво-тимокской армии, предводимой Черняевым, решительное поражение, и война должна была считаться конченой. Но вслед за Сербией поднялась Болгария, а затем обстоятельства вынудили Россию к вмешательству.

Теперь желание Гаршина было уже осуществимо, так как он мог поступить вольноопределяющимся в русскую действующую армию. В передовых слоях мо-

[1] Речь, очевидно, идет об объявлении войны Турции Сербией 20 июня 1876 года.

лодежи тот энтузиазм, который еще вызывался началом сербской кампании (когда генерал Черняев, как настоящий Гарибальди, чуть не прокрадывался через границу, вопреки мерам правительства),— теперь угас, а выступление официальной России вызывало двойственное отношение. Один из авторов воспоминаний о Гаршине, г. Павловский, воспроизводит спор его с каким-то молодым человеком [1]. Последний отозвался несочувственно о намерении Гаршина добровольно отправиться на театр военных действий. Его точка зрения состояла в том, что безнравственно помогать одерживать победы, которыми воспользуются для внутреннего порабощения. Гаршин, возражая, выдвинул мотив, который впоследствии повторялся в его военных рассказах:

— Вы, значит, находите безнравственным, что я буду жить жизнью русского солдата и помогать ему в борьбе, где каждый полезен... Неужели будет более нравственно сидеть сложа руки, тогда как этот солдат будет умирать за нас!..

По свидетельству господина Павловского, это был единственный раз, когда он видел Гаршина «возбужденным и почти раздраженным» («он не выдержал, вскочил и в волнении заходил по комнате»). Очевидно, этот спор задевал трагедию целого поколения, быть может еще не законченную и в наши дни. Дело шло, конечно, не о «сидении сложа руки», а о том, нравственно ли примирение с внутренним порабощением, хотя бы временное, хотя бы во имя внешнего освободительного лозунга?.. И не следует ли те же чувства, которые одушевляли Гаршина, обратить на дело борьбы за освобождение собственного народа? Террора тогда еще не было. Был народнический идеализм, стремление «в народ», требовавшее самопожертвования не менее войны и находившее отклики в собственной душе Гаршина. Настроение у споривших было одно, решения разные, и потому каждый чувствовал в выводе другого часть собственной души. Это живое трепетание чуткой совести и мысли делало рассказы Гаршина такими близкими его поколению.

Гаршин пришел к своему решению, почерпнув его в той же народнической формуле. Солдат — тот же народ, только в солдатской шинели. Народ идет на войну, мы обязаны идти с ним. Драматическую сложность

---

[1] Сборник «Красный цветок». «Дебюты В. М. Гаршина».

вносило в эту формулу еще искреннее осуждение самой войны. Война безнравственна и ужасна. Мы обязаны участвовать в ее безнравственности и ужасе.

«12 апреля 1877 года,— говорит Гаршин в своей автобиографии,— я с товарищем (Афанасьевым) готовился к экзамену по химии. Принесли манифест о войне. Наши записки остались открытыми. Мы подали прошение об увольнении из института и уехали в Кишинев, где и поступили рядовыми в 138-й Болховский пехотный полк и через день выступили в поход».

К тому времени Гаршин был юноша двадцати одного года. Портрет, приложенный к 11-му изданию его рассказов (изд. Литерат. фонда), довольно верно передает его черты, но к ним нужно прибавить живое обаяние какой-то ласковой печали, светившейся в глазах. Все знавшие Гаршина единогласно отмечают это обаяние его взгляда, а один (Н. В. Рейнгардт) говорит: «У маленького Гаршина, мне казалось, появлялся иногда меланхолический взгляд женщины, безропотно переносящей свою судьбу...» Отчасти это объяснялось, конечно, зародышем душевной болезни. Уже в 1872 году Гаршин, еще гимназистом, перенес приступ серьезного психического расстройства и был помещен в лечебницу. Страх перед болезнью придавал особую глубину душевным тревогам, сомнениям и внутренней борьбе Гаршина. Окончательно принятое решение, наоборот, вносило успокоение. Этим объясняется та душевная ясность, которая сопровождала Гаршина среди трудностей похода. Даже зрелище первых раненых, которых он увидел около 29 июня под Ковачицей, не нарушило этого душевного равновесия: «Я никогда не ожидал,— писал он с похода И. Е. Малышеву,— чтобы, при моей нервности, я до такой степени спокойно отнесся к сказанным предметам, хотя,— прибавляет он,— трупы мы видели поистине ужасные» [1].

В стычках с турками он участвовал два раза. После первой среди мертвых найден раненый солдат Болховского полка, который пролежал четыре дня с перебитыми ногами, без воды и пищи. При второй стычке (под Аясларом) Гаршин сам был ранен в ногу навылет.

Эти два момента и послужили мотивом для первого рассказа, создавшего славу Гаршина. Он взял положе-

---

[1] «Рассказы». Изд. 11. Стр. 26.

ние неведомого солдата и вставил в эту рамку собственные мысли и чувства.

Жарко. Солнце жжет. Раненый открывает глаза, видит кусты, высокое небо. Перед ним лежит труп убитого им человека. За что он убил его? И кто он? Быть может, и у него тоже есть старая мать? Долго она будет сидеть у дверей своей мазанки да поглядывать на далекий север. Штык вошел ему глубоко в сердце. Вон на мундире большая черная дыра с запекшейся кровью. «И это,— думает раненый,— сделал я!»

Он не хотел этого. Он не хотел зла никому, когда отправлялся на войну. Мысль о том, что ему придется убивать людей, не приходила ему в голову. Он представлял себе только, как он будет подставлять свою грудь под пули. И он пошел, и подставил. Глупец, глупец!..

Такова основа, на которой Гаршиным выписаны психологические узоры рассказа. Все «четыре дня» проходят в этой обстановке: тесный мирок, и в центре его два человека. Один уже погиб, другой погибает и завидует погибшему. Над ними синее небо, то яркое и знойное, то сверкающее далекими звездами. Никаких событий, кроме стихийной жизни природы и мучительных мыслей. Нужно было огромное мастерство, чтобы приковать к этим четырем дням внимание читателей. И Гаршин достиг этого неослабевающим драматизмом своей мысли...

Многие критики Гаршина указывали на толстовское влияние в его военных рассказах. Нет сомнения, что ни один русский писатель не свободен от обаяния гения и манеры Толстого. В данном случае можно, пожалуй, указать даже внешнее совпадение. Князь Андрей (в «Войне и мире»), раненный на поле битвы, также смотрит на синее небо и тоже предается размышлениям. Но даже поверхностного взгляда достаточно, чтобы заметить совершенную самостоятельность гаршинского настроения. Князь Андрей весь уходит в созерцание таинственной синевы, далекой и непроницаемой. Земля для него исчезает, он весь поглощен тайною этой спокойной бесконечности. Все долгое остальное время своей уходящей жизни он чувствует себя все более и более близким к решению вечных вопросов, пока наконец автор не заявляет нам, что его герой все решил и все понял. К сожалению, он умирает, не успев сообщить свое решение даже гениальному автору. Во всяком случае,

эта тайна так бесконечно далека от тревог жизни, что в ней нет уже места вопросам о людских отношениях.

Герой Гаршина тоже смотрит на небо, но строй его мыслей совершенно другой. Небо для него только явление природы, синева, мелькающая меж ветвей и листьев, а вся мучительная работа его мысли вращается в пределах доступного ему мирка, в центре которого лежит и разлагается убитый им человек. Вместо того, чтобы стремиться к бесконечным тайнам, он мучительно разбирается в своем положении: я убил его? за что?

Хорошо это или дурно — но это так. Для Гаршина и его поколения вся психология «проклятых вопросов» сводилась к вопросу о правде или неправде в конечной области людских отношений. Всего вернее, что это не хорошо и не дурно, а просто факт. Человеческая мысль вечно бьется между этими двумя полюсами в своем стремлении к высшей истине и высшей правде...

Есть у Гаршина другой рассказ на ту же тему о войне. Заглавие его «Трус». Он не имел того успеха, как «Четыре дня», но он необыкновенно характеристичен для манеры и взглядов Гаршина. Основной мотив — ужас и неправда войны — развернут здесь по логическому плану, достигающему определенности почти геометрической. И вместе с тем в каждой детали слышится чуткий, почти болезненный трепет. Изображена небольшая группа интеллигентной молодежи: брат и сестра Львовы и двое их знакомых: Кузьма Фомич и лицо, от имени которого ведется рассказ. Он-то и есть «Трус».

«Война решительно не дает мне покоя,— говорит он.— Каждый день уносит сотни людей...» «Пятьдесят мертвых, сто изувеченных на аванпостной стычке считается незначительной вещью... Отчего же катастрофа на тилигульской насыпи заставила кричать о себе всю Россию, а на «аванпостные дела с незначительными потерями» (тоже в несколько десятков человек) никто не обращает внимания...»

Ему тоже придется идти на войну. «Куда же,— спрашивает он себя,— куда же денется твое *я?* Ты всем существом своим протестуешь против войны, а все-таки война заставит тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать»,— оставив мечты о другой работе, о труде любви и правды, к которому готовился...

Внутреннее чувство, не умолкая, протестует против этого противоречия, и за эти рефлексии знакомые счи-

тают его «трусом». Сестра Львова, хорошая девушка, с непосредственным чутьем долга, представляет другой строй тоже гаршинских мыслей. Она готовится идти в сестры милосердия. «Война зло,— соглашается она,— но ведь она неизбежна... Я боюсь, что вы не поймете меня. Вот что: по-моему, война есть общее горе, общее страдание, и уклоняться от нее, может быть, и позволительно, но мне это не нравится».

«Трус» проникается этой мыслью и идет на войну. Он остался бы — устроить это не трудно. Он этого не делает. Его требуют, он идет. «Но пусть, по крайней мере, ему не мешают иметь собственное мнение».

Весь рассказ и есть систематическое развитие отрицательного взгляда на войну. Явная задача, если хотите, его тенденция — оживить в воображении читателя военные реляции, облечь плотью и кровью их цифры.

У Львовых живет квартирант Кузьма Фомич. Человек угрюмый, некрасивый, он влюблен в Марью Петровну. Эта неразделенная любовь является маленькой будничной драмой кружка. Кузьма заболевает: сначала нарыв, потом опасное заражение крови. У Марьи Петровны, под влиянием участия, пробуждается глубокое чувство к Кузьме — любовь или ее иллюзия. Больной узнает об этом, и это делает его счастливым. Болезнь между тем идет своим чередом, и Гаршин с обычной своей точностью описывает ее развитие. «Мы раздели его, сняли повязки и принялись за работу над огромной истерзанной грудью. И когда я направлял струю воды на обнаженные кровавые места, на блестевшую, как перламутр, ключицу, на вену, проходившую через всю рану и лежавшую чисто и свободно, точно это была не рана на живом человеке, а анатомический препарат,— я думал о других ранах...» Здесь, окруженный любящим уходом, умирает один человек от стихийной неожиданности... Там умирают тысячи... «Двенадцать тысяч! Эта цифра... растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их положить плечом к плечу, то составится дорога в восемь верст...» И они «валяются в грязи и собственной крови, ожидая, что вот-вот приедут и добьют или наедут пушки и раздавят, как червяка».

Это — нечто вроде «математического образа»: страдания одного человека, помноженные на цифры военных реляций. И, однако, картина встает в своей суровой реальной обнаженности. Маленький, тесный кружок,

с его рассуждениями и спорами, угрюмый Кузьма, с его неудачливой любовью и болезнью, хорошая русская девушка, заражающая внутренним чувством правды... Сборы на войну, отход поезда с новобранцами, грустная вечерняя толчея на вокзале, появление брата и сестры Львовых, запоздавших на проводы и успевающих лишь крикнуть на прощание: «Кузьма умер!..» А там, впереди, за мутной далью борьба без энтузиазма и смерть не для победы, а для исполнения чуждого сердцу долга. Все это живая еще и для нашего времени страница русской «интеллигентской души».

Рассказ этот (написанный в 1878 г.) отражает, по-видимому, задним числом настроение Гаршина до его решения идти самому на войну. В его изложении — неровном и нервном — слышен отголосок мучительной рефлексии и колебаний. «Трус» так и унес на войну непримиримое противоречие, с которым и погиб. Сам Гаршин нашел примирение, подняв вопрос в некоторую высшую инстанцию. Эта инстанция — народ, участие в его стихийном безрефлективном движении. Куда бы этот поток ни понес его — на убийство или на смерть,— для Гаршина, как и для большинства его сверстников, в стихийно-народных процессах слышалась какая-то почти мистическая правда. Стоит окунуться в этот поток — личная ответственность сразу исчезает в стихийной безответственности народа. А так как именно это мучительное чувство личной ответственности и составляет основной нерв гаршинских настроений, то с вступлением в армию он сразу испытал спокойную душевную ясность, которая отразилась даже по истечении нескольких лет и нескольких болезненных припадков, как только он опять окунулся в воспоминания о том времени. «Воспоминания рядового Иванова» (написанные в 1882 г.) представляют настоящую симфонию. Тон их эпически-печальный, изложение ровное и плавное, описания широки и спокойны.

«Мы миновали кладбище, обходя его вправо. И казалось мне, что оно смотрит на нас сквозь туман в недоумении. «Зачем идти вам, тысячам, *за тысячи верст умирать* на чужих полях, когда можно умереть и здесь, умереть спокойно и лечь под моими деревянными крестами и каменными плитами?.. Останьтесь!

Но мы не остались... Нас влекла неведомая, тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый

отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинуясь не дисциплине, не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неведомому врагу, не страху наказания, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню — самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий.

За кладбищем открылась широкая и глубокая долина, уходившая с глаз в туман. Дождь пошел сильнее. Кое-где, далеко, тучи, раздаваясь, пропускали солнечный луч. Тогда косые и прямые полосы дождя сверкали серебром. По зеленым склонам долины ползли туманы; сквозь них можно было различать длинные вытянувшиеся колонны войск, шедшие впереди нас. Изредка блестели кое-где штыки; орудие, попав в солнечный свет, горело некоторое время яркой звездочкой и меркло. Иногда тучи сдвигались: становилось темнее, дождь шел чаще...»

Такова основная нота этого замечательного рассказа. На широком фоне, задернутом, как дымкой, тихою печалью, развертываются картины массовых передвижений, типы солдат, офицеров, походы, остановки... гул канонады в стороне Дуная... Просто, спокойно, любовно рисует рядовой Иванов своих товарищей солдат, ближайшее начальство — армейских офицеров, с простодушной непосредственностью приглашающих в свою среду «ученого» вольноопределяющегося; с искоркой добродушного юмора изображает самодура генерала «Молодчагу», без надобности, «по-суворовски» ведущего колонну в холодную воду, где люди чуть не тонут, когда в нескольких саженях оказывается удобная переправа. Солдаты разводят костры и, обсохнув, идут дальше, добродушно посмеиваясь: «Вот мы обсушились, сухонькие идем, а Молодчага-то сырой катит...»

Даже для штабс-капитана Венцеля, военного педанта и истязателя солдат, у рядового Иванова находятся примирительные, смягчающие ноты. Однажды, когда этот болезненно-жестокий человек исступленно бьет солдата,— Иванов, нижний чин, хватает его за руку, что могло грозить очень серьезными последствиями. Солдаты грозят убить Венцеля при первой перестрелке. Но перед лицом опасности и смерти Венцель ведет себя с спокойным мужеством, которое возвращает ему уважение и доверие солдат... А после стычки Иванов заста-

ет его рыдающим в своей палатке о потери «своих» пятидесяти двух человек.

Когда, по прочтении этого замечательного рассказа, вспомнишь, что в нем всего пятьдесят четыре странички, то становится просто удивительным, как могла уместиться на таком тесном пространстве такая масса широких картин и значительных впечатлений. И кажется, что над всеми ими можно поставить эпиграф из Некрасова:

Злобою сердце питаться устало.
Много в ней правды, но радости мало.

Здесь в лице Гаршина его поколение (поколение «семидесятников»), отрицавшее все устои тогдашней русской жизни, уставшее от этого отрицания и отчуждения,— на время сливается с общим потоком во имя хотя бы и чужой свободы. Высшей точкой этого настроения является картина царского смотра, когда войска проходят перед Александром II. Описание это, по захватывающему движению и правде, достойно стать рядом с лучшими толстовскими описаниями этого рода.

«Люди шли быстрее и быстрее, шаг становился больше, походка свободнее и тверже. Мне не нужно было приноравливаться к общему такту: усталость прошла. Точно крылья выросли и несли вперед, туда, где уже гремела музыка и раздавалось громовое «ура!». Не помню улиц, по которым мы шли, не помню, был ли народ на этих улицах, смотрел ли на нас; помню только волнение, охватившее душу вместе с сознанием страшной силы массы, к которой принадлежал и которая увлекала меня. Чувствовалось, что для этой массы нет ничего невозможного, что поток, с которым вместе я стремился и которого часть я составлял, не может знать препятствий, что он все сломит, все исковеркает и уничтожит. И всякий думал, что тот, перед которым проносился этот поток, может одним словом, одним движением руки изменить его направление, вернуть назад или снова бросить на страшные преграды, всякий хотел найти в слове этого одного и в движении его руки неведомое, что вело нас на смерть. „Ты ведешь нас,— думал каждый,— тебе мы отдаем свою жизнь; смотри на нас и будь спокоен: мы готовы умереть“».

И царь знал, что они готовы умереть. «Он видел страшные, твердые в своем стремлении ряды людей, почти бегом проходивших перед ним, людей своей бедной

страны, бедно одетых, грубых солдат. Он чуял, что все они шли на смерть, спокойные и свободные от ответственности...»

И среди них, затерянный меж этих серых шинелей, шел человек, который, как рядовой Иванов, еще недавно стал между офицером и истязуемым солдатом, совершив тяжкое нарушение дисциплины, а, как Всеволод Гаршин, через несколько лет ворвется ночью в квартиру всесильного диктатора, чтобы попытаться остановить казнь (об этом ниже). Он «отказался от своего *я*», как герой его рассказа «Трус»; подавил в себе и отрицание войны, и много других отрицаний, отдал все это за минуты слияния с старыми чувствами своего народа, за отдых от тяжкой ответственности, которая тяготила все его поколение... Сквозь призму этого чувства он видит и рисует фигуру Александра II. «Он сидел на сером коне, неподвижно стоявшем и насторожившем уши на музыку и бешеные крики восторга. Вокруг него была пышная свита, но я не помню никого из этого блистательного отряда всадников, кроме одного человека в простом мундире и белой фуражке. Я помню бледное, истомленное лицо,— истомленное сознанием тяжести взятого решения. Я помню, как по его лицу градом катились слезы, падавшие на темное сукно мундира светлыми блестящими каплями; помню судорожное движение руки, державшей повод, и дрожащие губы, говорившие что-то, должно быть, приветствие тысячам молодых погибающих жизней, о которых он плакал. Все это явилось и исчезло, как освещенное на мгновение молнией, когда я, задыхаясь не от бега, а от нечеловеческого яростного восторга, пробежал мимо него...»

Это мгновение, «промелькнувшее и исчезнувшее, точно проблеск молнии», по-видимому, стоит в противоречии с настроением, преобладавшим в гаршинском поколении. Но это именно то исключение, которое только подчеркивает правило. Жизнь вообще не математическая формула. Она полна противоречий, и в Гаршине все эти противоречия его времени бились и трепетали с особенной силой, требуя ответов и решений. Господин А. Васильев, в своих коротеньких воспоминаниях [1], отмечает, между прочим, что Гаршин «благоговел перед Александром II». Возможно, что это чувство возникло

[1] Сборник «Красный цветок», стр. 26.

именно в так ярко описанную Гаршиным минуту смотра. Как страдания Кузьмы он помножил на цифры военных реляций, так же множил теперь свое единичное чувство ответственности. В лице царя он видел человека, на которого легло невыносимое бремя ответственности за всех, кто ценою решимости умереть от нее освободился... Гаршин весь — сын своего времени. Сам непоследовательный, стоявший меж двух враждебных миров, он ненавидел математику, быть может, именно за ее последовательность. Но, говорит он сам, давалась она ему легко. И во всей этой почти идиллической картине ощущается как бы горькое сознание: это недолгое единение на почве борьбы за чужую свободу «мелькнет и исчезнет при коротком блеске» порыва. А математическая последовательность событий, неотвратимая и ненавистная,— ведет и гаршинское поколение, и этого плачущего царя к страшной трагедии 1 марта [1].

. . . .

Время, когда раненый Гаршин вернулся в Петербург, лечился и выздоравливал, было самым спокойным и счастливым в его жизни. Впоследствии, когда, после тяжкого приступа психоза, он прожил два года в имении своего дяди Акимова над бугским лиманом в Херсонской губернии,— он тоже почувствовал себя спокойным и здоровым. Бросившись дяде на шею, он благодарил его за этот отдых и сказал, между прочим, характерную фразу: «Дядя, дядя! Я чувствую, что это прошло. Никаких проклятых вопросов нет». Но там это было после временной бездеятельности. Эти два года были своего рода бегством от проклятых вопросов. Наоборот, поход, рана и возвращение на родину были временем наибольшего напряжения сил. В одном письме Гаршина (к А. Я. Герду) есть очень характерное перечисление человеческих потребностей: наряду с потребностями пить, есть, спать, любить — упоминается также потребность претерпеть [2]. Завещанная нашей многотерпеливой и пассивной историей, потребность эта была сильна во всем гаршинском поколении, и жизнь не отказывала ей в удовлетворении. Одни находили для себя это удовлетворение в отказе от приви-

---

[1] Рассказ написан в 1882 году, через год с небольшим после смерти Александра II. Проводят параллель с соответствующей сценой из «Войны и мира», но и здесь психологический фон глубоко отличен от того, на каком рисуются эпизоды толстовской эпопеи.

[2] «В память Гаршина», стр. 60.

легированного положения, другие — в тюрьмах и ссылке. Гаршин нашел его на время в трудностях похода, в опасностях, разделяемых с солдатами, наконец, в своей ране. Годы, ближайшие к войне — 1878, 1879 и начало 1880,— были также периодом наибольшей литературной производительности Гаршина. «Четыре дня» он написал еще в походе. Затем следовали: «Очень маленький роман», «Происшествие», «Трус», «Встреча», «Художники», «Attalea princeps», «Ночь»...

Один из близких знакомых Гаршина рассказывал пишущему эти строки небольшой литературный эпизод из времени гаршинских дебютов. В отзыве о «Четырех днях» известный критик А. М. Скабичевский, высказавшись о рассказе самым похвальным образом, не признал, однако, за автором художественного таланта. Достоинства рассказа он приписывал тому, что все это непосредственно пережито автором, который таким образом явился лишь, так сказать, репортером своих ощущений. Мы видели, что Гаршин считал вопрос о своей способности к литературной работе вопросом жизни и смерти. Поэтому отзыв критика больно задел его, и это чувство нашло отголосок даже в его автобиографии. Упомянув о «Четырех днях», он прибавляет в скобках: «Скажу, кстати, что сам я ничего подобного никогда не испытывал, так как после раны тотчас был вынесен из огня».

Быть может, под влиянием именно заметки Скабичевского темой следующего значительного рассказа своего Гаршин взял эпизод из жизни проститутки, в котором нельзя было усмотреть субъективных мотивов. «Происшествие» изображает роман простого, незаметного чиновника, влюбившегося в проститутку Надежду Николаевну. Не блестящий, но глубоко чувствующий Иван Иванович Никитин хочет спасти ее, но она не верит ни глубине и устойчивости его чувства, ни своей способности к возрождению. Трагедия кончается самоубийством Ивана Ивановича, что и составляет «происшествие». Рассказ, написанный просто, хотя и несколько эскизно, не вполне удовлетворил автора, и впоследствии он вернулся к той же теме. В этом втором рассказе («Надежда Николаевна») интеллигентная проститутка встречает на своем пути уже не незначительного Ивана Ивановича, а талантливого художника Лопатина, который, задумав написать Шарлотту Корде, ищет натурщицу. Фигура и лицо Надежды Николаевны, с отпечат-

ком трагической судьбы, переживаемой сознательно и глубоко, подходит как нельзя более к его сюжету. Во время сеансов он влюбляется в нее идеалистически чистой любовью. Она тоже поддается этому чувству. Сначала она пытается удалиться, боясь вовлечь любимого человека в роковой круг своей трагической судьбы, но, когда это не удается,— она подчиняется новому чувству беззаветно и цельно. Оба счастливы, вопрос близится к решению, во вкусе 60-х и 70-х годов, на мотив некрасовского:

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди.

Но идиллия разрушается вмешательством человека, тоже влюбленного в Надежду Николаевну. В лице этого Бессонова Гаршин как будто желал излить всю свою «ненависть к математике» с ее последовательностью. Бессонов — журналист, человек положительный, энергичный, живущий по твердо установленным правилам. Познакомившись с Надеждой Николаевной, он тоже испытывает чувство более глубокое, чем он мог думать и чем желал допустить. Но скоро он побеждает себя. «У этого человека,— говорит о нем знающий его художник Гельфрейх,— в голове всё ящики и отделеньица: выдвинет один, прочтет, что там написано, да так и действует. Представился ему вот этот случай. Видит: падшая девушка. Ну, он сейчас к себе в голову. А там у него все по алфавиту; достал, прочел: *они никогда не возвращаются*». Бессонов равнодушно говорит Лопатину: «Неважная особа... на нижней ступеньке человеческой лестницы. Ниже — пропасть, куда она скоро и свалится».

Однако он не соглашается познакомить с нею Лопатина. Когда же тот все-таки знакомится и Бессонов видит, что другой готов сделать для Надежды Николаевны то, что отказался сделать он сам,— он невыразимо страдает. Он скрывает свои чувства под маской спокойствия, «как тот французский рыцарь-священник, который считался неуязвимым только потому, что носил красный плащ, чтобы не видно было крови, лившейся из его ран». В конце концов он является в студию Лопатина, когда там находится Надежда Николаевна, убивает ее выстрелом из револьвера и ранит Лопатина, а последний убивает его самого каким-то художественно-бутафорским копьем.

Рассказ этот, возбудивший большой интерес, как все гаршинские, вызвал также и немало критических замечаний. «В этом произведении,— писал Н. К. Михайловский, очень ценивший Гаршина,— фабула чрезвычайно сложна: тут и неожиданные встречи, и возрождение падшей женщины, и образ Шарлотты Корде, и два убийства, и проч. А между тем мы с некоторым, не совсем приятным недоумением остановились перед этой повестью, несмотря на то, что в ней есть прекрасно написанные фигуры второстепенных действующих лиц (художник Гельфрейх, рисующий только кошек, но достигший в этом роде совершенства, капитан Грум-Скржебицкий, выдающий себя за «бойца Мехова и Опатова», и другие)...» [1]

К недостаткам, бегло отмеченным в цитированном отзыве, нужно прибавить мелодраматический конец, плохо мотивированный для положительного Бессонова, и недорисованность фигуры главной героини. При той душевной значительности, которую автор приписывает этой падшей девушке, трудно представить долгое и пассивное примирение ее с своей участью. И все же приходится констатировать странное действие рассказа: одновременно и чувство неудовлетворенности, и необыкновенная, незабываемая яркость впечатления. Автор не раскрывает нам всю «реальную правду», окружающую падших девушек и так быстро отравляющую женскую душу. Он берет свою Надежду Николаевну лишь в те моменты, когда на нее падает отсвет чувства Лопатина, и когда ее самое перерождает возникающая любовь. В эти моменты он рисует ее хотя односторонне, но правдиво. Идеология 70-х годов была наивна, часто романтична. Ведь и Достоевский свою проститутку нарисовал подвижницей (Соня Мармеладова). В обоих этих образах (безотносительно к силе таланта) — русская литература тех времен робко подходит к страшной проблеме женского падения. Подходит еще издали, как бы в неведении всей реальной правды и сохраняя в памяти идеальные представления о женской натуре. Еще несколько шагов, и эти идеалистические представления разлетятся, как мыльный пузырь. В наше время литература уже сделала эти шаги. Она вскрывает бытовую обстановку проститутки с поразительной, отталкиваю-

---

[1] Из «Дневника читателя». Перепечатано в «Сборнике в память Гаршина».

щей, одуряющей правдивостью. Эти наивные образы 70-х годов стоят к новейшей литературе по этому предмету приблизительно в таком же отношении, как мужики Тургенева или крестьянские дети из «Бежина луга» — к картинам народной жизни вроде, например, решетниковских «Подлиповцев». Однако — есть своя правда и в «Бежином лугу». И порой невольно приходит в голову, что реальный угар, которым веет от новейших изображений проституции,— тоже не вся правда. Для художественного синтеза необходим и элемент того целомудренного идеализма, с каким подходила к этому вопросу литература 60-х и 70-х годов.

Дядя Гаршина, В. С. Акимов, отмечает, что, вследствие напряженной чуткости нервов, Гаршину писать всегда было тяжело. «Он сознался мне,— говорит г. Акимов,— что почти все, что он до сих пор написал,— являлось в то время, когда на него „находило“» [1]. Фаусек говорит, в свою очередь, что Гаршин жил среди какой-то особенной «напряженности духа», «не мог писать спокойно и не волнуясь». Даже его «маленькие рассказы требовали от него напряжения всех душевных сил, и создания его воображения сильно его волновали» [2].

Это делало его произведения глубоко лирическими, налагало на них отпечаток какой-то особенной тревоги. Тон большинства его рассказов держится почти на границе, отделяющей лирическую взволнованность от болезненного аффекта. Он обладал удивительным чувством меры и почти нигде не переходит этой границы, но сдержанность эта, очевидно, стоила ему больших усилий. Он сознавал это как недостаток и стремился найти другую, более спокойную манеру творчества. Можно сказать, что драма Гаршина как писателя состояла именно в стремлении перейти от лирической манеры, которая разрушала его нервы, к эпической: «Хорошо или нехорошо выходило написанное,— говорит он в письме к В. Н. Афанасьеву,— это вопрос посторонний; но что писал я в самом деле одними своими несчастными нервами и что каждая буква стоила мне капли крови,— то это, право, не будет преувеличением» [3]. По поводу критических отзывов о «Надежде Николаевне»

---

[1] Сборник «Красный цветок», стр. 14.
[2] «В память Гаршина», стр. 96 и 97.
[3] «В память Гаршина», стр. 40. Письмо датировано 1 мая 1885 г.

(в общем довольно неблагоприятных) он пишет В. М. Латкину, что отзывы эти его задевают мало, и цитирует: «Ты сам свой высший суд...» «Но дело в том,— продолжает он,— что на этом-то суде я не могу сказать: «доволен». Я чувствую, что мне надо переучиваться сначала. Для меня прошло время страшных отрывочных воплей, каких-то «стихов в прозе», какими я до сих пор занимался: материала у меня довольно, и нужно изображать не свое, а большой внешний мир». С этой именно целью он взялся за «Надежду Николаевну». «Но,— сознается он,— старая манера навязла в перо, и потому-то первая вещь с некоторым действием и *попыткою* ввести в дело несколько лиц решительно не удалась» [1].

Не удалась она и до конца его жизни. И вопрос тут не в рамках и не в ширине захвата (не в попытке ввести в дело побольше лиц). Гаршин сам, кажется, не замечал, что желательный тон, в сущности, ему порой уже давался, и опять-таки это было в военных рассказах. «Четыре дня» поражают спокойной сдержанностью, несмотря на волнующую тему. «Воспоминания рядового» имеют все характерные черты эпоса, не исключая и широты захвата. В 1880 году он писал: «Работа у меня кипит свободно и легко. Я могу всегда начать и всегда остановиться. Это для меня просто новость». Написал он тогда «Денщика и офицера»— произведение, в котором нет и следов «страшных отрывочных воплей». Фигуры прапорщика Стебелькова и его денщика нарисованы в тоне спокойного мягкого юмора, отчасти напоминающего Тургенева. Гаршин задумывал расширить эту жанровую картину, сделав ее началом большого романа («Люди и война»). Но приступ болезни разрушил эти планы. Замечательно, что много раз Гаршин возвращался к мысли уйти опять в военную службу. Ему казалось, вероятно, что там его опять охватит атмосфера спасительной «безответственности», которая раз уже так целительно подействовала на его неприспособленную душу. Но это, конечно, была иллюзия. Во время войны в нравственной атмосфере, которою дышал Гаршин, было удовлетворение «потребности претерпеть». Даже жестокий Венцель становится симпатичным перед торжественным празднеством смерти. Трудно представить себе Гаршина в обычной обстановке ар-

---

[1] «В память Гаршина», стр. 56.

мейской жизни, когда из нее уходит этот возвышающий мотив...

Вообще короткий праздник душевного спокойствия миновал, возврата к нему уже не было... В одном из значительнейших и наиболее определяющих рассказов Гаршина — «Художники» он ставит проблему: искусство и жизнь, и рассказ опять — весь трепет и боль. Фабулы в нем тоже нет. Гаршин принимается за свой сюжет с грубоватой упрощенностью. Это — дневники двух художников, Дедова и Рябинина. Первый — представитель чистого искусства. Второй требует и от искусства ответа на проклятые вопросы. А так как для Гаршина и для его поколения проклятые вопросы заключались в поисках правды человеческих отношений, то Рябинину нужно найти оправдание «социальной» роли искусства. Вопрос становится определенно, ясно, конкретно: что дает искусство тем,

...чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, в науки,
Предаваться страстям и мечтам.

«Чертовски талантливая натура,— пишет о нем Дедов в своем дневнике.— Но я не думаю, чтобы из него вышло что-нибудь серьезное, хотя все молодые художники — его поклонники... Пишет лапти, онучи, полушубки, как будто мы не довольно насмотрелись на них в натуре...» «Иногда засядет и в месяц окончит картину, о которой все кричат, как о чуде, а потом бросит писать даже этюды, ходит мрачный и ни с кем не заговаривает...» Дедов отмечает, что его товарищ принадлежит к числу «странных людей», не могущих найти полного удовлетворения в искусстве и не признающих его самодовлеющего значения. Рябинин, в свою очередь, удивляется художественному самодовольству пейзажиста Дедова, не задающегося никакими вопросами о значении своей работы.

Этим примитивным приемом — параллельная смена двух дневников — Гаршин рисует полярные взгляды на искусство, разделявшие и художников, и мыслящее общество его времени. Но художественный центр тяжести не в этом споре. Вся драма сосредоточена на истории картины, которую пишет Рябинин. Называется она «Глухарь» и изображает рабочего-заклепщика, роль которого — поддерживать грудью и руками молот

с внутренней стороны котла, когда снаружи тяжелыми ударами расплющивают заклепку.

Известна история этого замысла. Гаршин был дружен с покойным художником-передвижником Н. А. Ярошенко. В «Сборнике в память Гаршина» напечатан снимок картины Ярошенко «Кочегар». Сильный, мускулистый человек, с огромными руками и впалой грудью, стоит у самой топки, весь облитый пламенем, спокойно, чуть жмурясь. На лице его нет мысли, во всей фигуре — та закаленность тела, которая дается за счет поглощения высших процессов духа. Много и разных мыслей вызывает этот кочегар. Одна из них: условия такой работы постепенно убивают даже таких богатырей, а более слабых губят неизбежно и быстро.

На Гаршина картина произвела сильное впечатление. Его чуткое воображение, пройдя через разные ассоциации образов, остановилось на «Глухаре».

«Работа совершенно измучила меня,— пишет Рябинин в своем дневнике,— хотя идет успешно. Следовало бы сказать: не *хотя*, а *тем более*, что идет успешно... Вот он сидит передо мною в темном углу котла, скорчившийся в три погибели, одетый в лохмотья, задыхающийся от усталости человек. Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий через круглые дыры, просверленные для заклепок. Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на всклокоченной и закопченной бороде, на жилистых, надорванных руках и на измученной широкой и впалой груди [1]. Постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного Глухаря напрягать все свои силы, чтобы удержаться в невероятной позе...»

«Иногда,— продолжает Рябинин,— я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше от картины, прямо против нее. Я доволен ею: ничто мне так не удавалось, как эта ужасная вещь. Беда только в том, что это довольство не ласкает меня, а мучает. Это — не написанная картина, это — созревшая болезнь. Чем она разрешится — не знаю, но чувствую, что после этой картины мне нечего будет писать».

Этого «Глухаря» показал Рябинину Дедов (он — бывший инженер), как Гаршину показал своего кочега-

[1] Эти черты — точное воспроизведение фигуры ярошенковского «Кочегара».

ра Ярошенко (тоже бывший военный инженер). Конечно, Дедов мог объяснить Рябинину, что «положение глухаря не так уже ужасно. Что за эту работу платят на полтинник в день дороже, поэтому на нее есть много охотников, что удары по груди облегчаются такими-то приемами, хотя... конечно...» Но Рябинины — Гаршины плохо воспринимали эти смягчения. Они брали лишь конечные последствия, обнажая их от всех реалистических компромиссов. Картина для Рябинина становится «созревшей болезнью». Ужас ее в проклятом вопросе: что же даст сама она миру «глухарей» и как на него воздействует?

Рябинин решает этот вопрос отрицательно: никак не воздействует, и, значит, возможность для него, художника Рябинина, «погружаться в искусства, в науки, предаваться страстям и мечтам» за счет этого Глухаря остается неоправданной. Рябинин бросает художество и уходит в учителя. «Но и там он не преуспел»,— прибавляет автор уже от себя.

«Художники» являются, быть может, одним из самых субъективных произведений Гаршина. Как и Рябинина, его мучили проклятые вопросы о правде человеческих отношений, и каждый его рассказ был тоже «созревшей болезнью». Как и Рябинин, Гаршин в конце концов не находил решения... И вот от времени до времени в его работе пробиваются все более пессимистические ноты...

То время (конец 70-х годов) было крайне неблагополучно для философского пессимизма. Мыслящие круги общества были охвачены возраставшим приливом деятельного настроения борьбы и надежды. Решение «проклятых вопросов» казалось (до наивности) легким и близким. А так как все же борьба была трудна, то общество инстинктивно чувствовало потребность в ободряющем и энергичном настроении. За эти ноты оно часто прощало очевидную нехудожественность самых образов и не хотело воспринимать пессимистических мотивов даже в истинно художественном воспроизведении. Большинство своих рассказов Гаршин отдавал в «Отечественные записки». «Attalea princeps» появилась в другом журнале, и говорили, что Щедрин не захотел напечатать ее именно потому, что она «наводит уныние». На фоне общего оптимизма и надежд рассказ этот действительно звучит пророчеством Кассандры. Читателям, конечно, памятна эта маленькая, но полная

грустной прелести картинка. Прекрасная пальма рвется кверху, чтобы разрушить стеклянную крышу теплицы и вырваться на волю. Она призывает соседние растения к дружным усилиям, но тепличная братия отказывается понимать ее. Тогда она предпринимает гордую, одинокую борьбу. Железные прутья рам впиваются в нежные молодые листья, ранят и уродуют их, но молодое дерево упрямо продолжает расти и наконец побеждает. «Лопнула толстая железная полоса, посыпались осколки стекла». Над стеклянным сводом гордо выпрямилась зеленая корона пальмы на вольном просторе. Цель достигнута, но радости нет. «Была глубокая осень. Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал серые клочковатые тучи... Attalea поняла, что для нее все кончено. Она замерзала».

Рассказ написан весною 1879 года. В нем звучит печальное предчувствие, но еще нет последних выводов законченного пессимизма. Гаршин не говорит: «таков удел прекрасного на свете», таковы неизбежные вечные законы, карающие всякие порывы к свету и свободе. Он говорит только: «так бывает» с прекрасными экзотическими растениями в суровых условиях. Та же пальма могла бы расти у себя на родине. И, умирая, она видит сквозь пелену дождя и снега купы елей и сосен, стоящих в своем ненарядном уборе на том самом холоде, который ее убивает...

Нужно заметить, что умом Гаршин разделял со своим поколением нерасположение к пессимистическим обобщениям [1].

Зимой 1879 года он написал рассказ «Ночью». Тогда говорили, что рассказ возник из своеобразного состязания: три молодых писателя решили каждый отдельно написать по рассказу на тему о самоубийстве, и действительно, почти одновременно с гаршинской «Ночью» в журналах появились еще два однородных очерка (оба теперь забыты). Уже это обстоятельство (вперед заданная тема) делает рассказ мало характерным для Гаршина и менее всего дает право искать здесь автобиографию. Написан очерк тоже без присущей Гаршину определенности и ясности, что подало даже повод к литературному недоразумению: Н. К. Михайловский в своем критическом обзоре понял финал рассказа как само-

[1] «Мозги у меня так положительно устроены, что Гартман не соблазнит»,— писал он одному из друзей (Сбор. «Пам. Гаршина», 14).

убийство, Гаршин сделал поправку: его герой не застрелился. Он все-таки решил проклятый вопрос: «нужно отвергнуть себя», связать свое «я» с потоком общей жизни. Это решение вызвало прилив бурного восторга. «Такого восторга он никогда еще не испытал ни от жизненного успеха, ни от женской любви. Восторг этот родился в сердце, вырвался из него, хлынул горячей, широкой волной; разлился по всем членам, на мгновенье согрел и оживил несчастное закоченевшее существо. Тысячи колоколов торжественно зазвонили. Солнце ослепительно вспыхнуло, осветило весь мир и исчезло...» Николай Петрович умер, но смерть произошла не от пули: больное сердце не выдержало бурного прилива жизненной радости.

К таким выводам приходил Гаршин, когда он рассуждал о жизни. «У него была,— говорит В. А. Фаусек,— огромная способность понимать и чувствовать счастье жизни... Все источники радости и наслаждения в человеческой жизни были ему доступны и понятны». Тем не менее когда Гаршин не рассуждает, а творит, пессимистическая нота прорывается у него невольно, как глубокий, но отодвигаемый сознанием фон его настроения. К концу своего пребывания у В. С. Акимова (в 1882 г.) оправившийся от болезни Гаршин написал небольшую сказочку «То, чего не было». На пяти страничках это — квинтэссенция пессимизма. В жаркий июньский день на полянке собралась компания: старый гнедой конь, улитка, навозный жук, несколько мух, ящерица, гусеница и кузнечик. Они рассуждают о доступном им мире, об его пределах, о целях жизни, пока не приходит кучер Антон, чтобы взять гнедого за чуб и отвести в конюшню. Мимоходом, он наступает сапожищем на философствующую компанию и давит ее... Сказку эту он прочитал господину Акимову, конфузясь и затворив все двери. Еще более он смутился, увидев на лице дяди неодобрение. «Он поспешил уверить, что рассказ написан исключительно для детей г. Герда и никогда не будет напечатан; при этом он сам указывал на разные несообразности рассказа и прежде всего на отсутствие мысли». Впоследствии очерк все-таки появился в печати (в журнале «Устои»), и критика встретила его неодобрительно, комментируя именно как продукт пессимистического настроения. Это приводило Гаршина в раздражение. «Господи!— жалуется он в письме к В. А. Фаусеку.— Вот где истинные мизан-

тропы, сэр!.. Клянусь моим свиданием с вами, мне и в голову не приходило, что за этими Антонами и мухами можно угадывать что-нибудь, кроме мух и Антонов» [1].

Между тем впоследствии этот маленький рассказик стал одним из очень популярных очерков Гаршина. И действительно, по своей сжатости и горькому юмору — это жемчужина художественного пессимизма, хотя, как мы видели, сам автор не имел в виду обобщений.

По поводу самоубийства одной знакомой девушки Гаршин писал (18 мая 1883 г.), что, по его мнению, все люди, кроме прочих рубрик, которых множество,— разделяются еще на два разряда: одни обладают хорошим самочувствием, другие — скверным. «Один живет и наслаждается всякими ощущениями: ест он — радуется, на небо смотрит — радуется. Даже низшие физиологические отправления совершает с видимым удовольствием... Словом, для такого человека самый процесс жизни — удовольствие, самосознание — счастье. Вот как Платоша Каратаев. Так уж он устроен, и я не верю ни Толстому, ни кому иному, что такое свойство Платоши зависит от миросозерцания, а не от устройства». «Другие совсем напротив... Когда-нибудь Бернары найдут хвостики самых хвостиков нервов и все это объяснят. Посмотрят под микроскопом и скажут: ну, брат, живи, потому что если тебя даже каждый день сечь станут, то и тогда ты будешь доволен и будешь чувствовать себя великолепно. А другому скажут: плохо твое дело, никогда ты не будешь доволен, лучше заблаговременно помирай. И такой человек помрет... Так умерла и Надя. Ей тоже сладкое казалось горьким» [2].

Сам Гаршин в этом отношении представлял натуру парадоксальную. По всему своему «устройству» он мог и понимать, и откликаться на все радости жизни, но где-то коренился один дефект нервной системы, который, как туча, омрачал настроение угрозой сумасшествия. По-видимому, это было, как и у Гоголя, например, наследственным [3]. Начавшись с гимназического возраста, припадки то прекращались надолго (и тогда Гаршин отличался заразительным веселием и оживлением), то становились чаще. Период военной службы

---

[1] «Пам. Гаршина», стр. 46.

[2] «Памяти Гарш.», стр. 50.

[3] Старший брат Гаршина окончил самоубийством в юношеском возрасте.

и главным образом чувство «безответственности» сделали Гаршина счастливым, спокойным и деятельным. Последующие обстоятельства общественной жизни, наоборот, постоянно обостряли и тревожили его чуткие нервы. Он не был боевой натурой, но он, как рядовой Иванов, чувствовал постоянную потребность стать между двумя враждующими сторонами, а взаимные чувства этих враждующих сторон все обострялись. Время, последовавшее непосредственно за внешней освободительной войной, было временем так называемого «большого процесса» и репрессий, которыми правительство ответило на идеалистически-наивный порыв молодежи «в народ». В гражданскую жизнь страны властно врывалась всесторонняя реакция, и среди передовой молодежи росло настроение, которое вскоре выразилось рядом террористических покушений. Гаршину это настроение было органически чуждо. Как Алексей Толстой, он мог сказать о себе, что он «двух станов не боец». Но и случайным гостем в них он тоже не был. Кто прочитал его «Художников», кто ознакомился с мотивами его добровольчества во время войны — для того не может быть сомнений, что Гаршин глубоко разделял тогдашнее народническое настроение. Ведь и его Рябинин уходит с высот интеллектуальной жизни «в народ». Не трудно угадать, какие условия встретили Рябинина и каково могло быть отношение Гаршина к этим условиям. Но «рядовой Иванов» любит и Венцеля. Гаршину всегда казалось, что трагически запутанные отношения людей, приводящие к борьбе и крови, в сущности являются результатом недоразумения и что есть такое слово (и даже известно, какое слово: любовь), которое можно сказать как-то так вовремя и умело, что все недоразумения рассеются.

1879 год был полон грозового напряжения. Чувствовалась необходимость какого-то нового пути и нового спасительного слова. Александр II решил диктатуру. Она должна была представлять всю силу и грозу власти, обращаясь вместе с тем к лучшим чувствам потрясенного общества. Катков с меткой иронией, хотя и задним числом, назвал ее «диктатурой сердца». Между тем страна нуждалась только в определенном и новом праве.

Все это производило глубокое волнение. Общество ждало чего-то... Чего именно? Одни — железных репрессий, другие — реформ, но и то, и другое могло прий-

ти только извне, неожиданно, случайно, как экстренная милость или невиданная гроза. Назначение диктатора Лорис-Меликова состоялось 12 февраля 1880 года. Через несколько дней (20 февраля) молодой человек по фамилии Млодецкий явился к новому диктатору на прием и выстрелил в него. Военный суд приговорил Млодецкого к смерти.

Гаршин все это время был в возбужденном состоянии и в ночь перед казнью почувствовал потребность, как рядовой Иванов, стать между сильной властью и приговоренным. Сведения об этом эпизоде, к сожалению, очень скудны. Известно, что он добился, чтобы Лорис-Меликова разбудили в три часа ночи, и «стал умолять его на коленях, в слезах, от глубины души, с воплями раздиравшегося на части сердца, о снисхождении к Млодецкому» [1]. Самое содержание разговора осталось тайной. Известно, что заступничество не помогло: диктатуре сердца суждено было все-таки начаться покушением, с одной стороны, казнью — с другой. И характерно, что Гаршин, один тогда во всей легальной России посмевший «схватить за руку» всесильного диктатора (так же, как и его Иванов относительно Венцеля), приходит к реабилитации Лорис-Меликова. «Рано утром,— пишет художник Малышев,— Гаршин пришел в мою комнату страшно взволнованный и, рассказывая о своем посещении, осыпал похвалами своего собеседника и ждал от него великих дел» [2]. В тот же день Гаршина видел также Г. И. Успенский. «Несколько писателей,— говорит он в своей статье,— собрались где-то в Дмитровском переулке, в только что нанятой квартире, не имевшей еще мебели, пустой и холодной, чтобы переговорить о возобновлении старого «Русского богатства». В числе прочих был и Всеволод Михайлович. Его ненормальное, возбужденное состояние обратило на себя общее внимание... Охрипший, с глазами, налитыми кровью и постоянно затопляемыми слезами, он рассказывал ужасную историю (своего визита к диктатору), но не договаривал, прерывал, плакал и бегал в кухню под кран пить воду и мочить голову. На его беду, в ту самую минуту, как он только что наглотался воды, в кухню вошел матрос с мешком на плече и предложил купить рижского бальзама. Гаршин немедленно купил бутыл-

---

[1] Слова в кавычках взяты из статьи Г. И. Успенского.
[2] «Пам. Гаршина», стр. 128.

ку, налил целый стакан бальзама и выпил его, как воду, сам, очевидно, не понимая, что с ним творится. Накануне весь день он был в таком же состоянии и перед тем, как отправиться к Лорис-Меликову, тоже пил вино (которого совсем не пил ранее). После этого он несколько дней страшно страдал, плакал и наконец, совершенно расстроенный, уехал из Петербурга, очутился в Тульской губернии, бродил пешком и верхом на лошади, попал к Толстому в Ясную Поляну. Закончилось это тем, что родные разыскали его и он попал в харьковскую больницу для душевнобольных (т⟨ак⟩ н⟨азываемая⟩ Сабурова дача)».

Это был один из самых тяжелых припадков психоза, потрясший его так сильно, что Гаршину понадобилось целых два года спокойного пребывания вдали от жизненных впечатлений на бугском лимане, чтобы прийти в относительное равновесие.

Художественным плодом этого душевного кризиса явился «Красный цветок». Профессор Сикорский, известный психиатр, называет его классическим в смысле точного изображения самой болезни. Вместе с тем в этой жемчужине гаршинского творчества русская литература получила яркий символ, воплощающий трагедию человеческого духа. Трудно представить себе то отдаленное время, когда этот (по обыкновению, маленький) гаршинский рассказ перестанет волновать и трогать сердца своим глубоко трагическим содержанием и восхищать необыкновенной красотой и простой строгостью изображения. Мы предполагаем, что всем русским читателям знакома эта история бедного безумца, воображающего, что он погибает в борьбе со злом всего мира. С грустной улыбкой автор говорит нам: это был только красный цветок, простой цветок красного мака. Значит — иллюзия. Но около этой иллюзии развернулась в страшно сгущенном виде вся душевная драма самоотвержения и героизма, в которой так ярко проявляется высшая красота человеческого духа...

Гаршин уже ранее, еще здоровый, посещал психиатрическую клинику и с разрешения профессора вместе со студентами присутствовал при демонстрации больных. Впоследствии, сам очутившись в положении больного, он имел случай наблюдать самого себя. Замечательно, что Гаршин превосходно помнил все, что с ним было во время болезни, а некоторые черты рассказа являются прямым отражением личных переживаний. Есть, ка-

жется, большое основание думать, что и центральный мотив — борьба со всем злом мира, воплотившимся в одном образе,— является тоже автобиографической чертой. В. А. Фаусек, посетивший Гаршина на Сабуровой даче, говорит, между прочим: «Мы нашли его в большом саду, принадлежащем больнице. Он встретил нас приветливо, узнал всех троих... и много с нами разговаривал... Он говорил со мною важно и таинственно о каких-то важных своих предприятиях, но трудно было понять что-нибудь в его речах. Он говорил о своих врагах: где-то, за стеной, на которую он робко указывал, жил какой-то принц или князь, его враг, с которым у него должна была быть дуэль. Лицо у него на мгновение вспыхнуло злобой — странное, непривычное для него выражение»[1]. Более чем вероятно, что таинственный принц и преобразился впоследствии в фантастический красный цветок, находившийся тоже за стеной. Случайное упоминание Фаусека о непривычной для Гаршина вражде странно совпадает даже по форме выражения с тем местом гаршинского рассказа, где у больного впервые является идея о цветке как о воплощении всего зла мира.

Когда фельдшер стал искать нового больного, ему указали на конец коридора. Больной стоял, прильнувши лицом к стеклянной садовой двери, и пристально смотрел на цветник. Окликнутый фельдшером, «он повернулся к нему лицом, и фельдшер чуть не отскочил в испуге: столько дикой злобы и ненависти горело у него в глазах»[2]. Ему тоже предстояла смертельная дуэль со злом, живущим за стеной сада. Для него это был цветок, для Гаршина — сказочный принц. Как и в «Attalea princeps», Гаршин в «Красном цветке» не дает законченной пессимистической формулы. Подвиг ли нужно считать безумием, или безумие возвышается до подвига — в том и другом случае мы находимся под обаянием необыкновенной красоты и глубокой печали.

Мы рассмотрели здесь почти все, что является характерным для основных мотивов гаршинского творчества. Нам остается упомянуть о «Встрече», «Медве-

---

[1] Сборник «Пам. Гаршина», стр. 92.
[2] Рассказы, стр. 292.

дях», «Жабе и розе», «Сигнале» и «Гордом Аггее». Все это очерки, порой обладающие большими художественными достоинствами, но по темам или незначительные, или лежащие в стороне от большой дороги гаршинского творчества. «Встреча», где скучно добродетельный человек встречается с циничным, но откровенным и цельным в своей откровенности пороком,— быть может, дает некоторый субъективный, но очень отдаленный и косвенный отзвук гаршинского настроения. Его добродетельный Василий Петрович отрицает умом новое хищническое миросозерцание своего бывшего друга, но у него нет того гневного порыва, который один только мог бы поставить ощутительную грань между враждебными началами. Объективируя эту психическую нейтральность, Гаршин, быть может, рисовал отчасти собственное положение между двумя враждующими мирами. Но, как и в рассказе «Ночью», он сознательно сгущает отрицательные черты характеристики: его Василий Петрович, с своим вялым дидактизмом, полярно противоположен чуткой, болезненной и страдающей рефлексии Гаршина. «Медведи» — превосходно написанная страничка из детских воспоминаний, является, быть может, плодом того искания спокойной литературной манеры, о котором мы говорили выше. «Сказание о гордом Аггее» и «Сигнал» составляют дань тому настроению, которое в 80-х годах было вызвано рядом маленьких толстовских рассказов. В них современные искания смиренно направлялись к старинным сказаниям и прологам, почерпая из этих источников простую элементарную мораль. На этих мотивах можно было порой отдохнуть от сложных и мучительных поисков, но они не задевали самых характерных и болезненных сторон современной жизни. Для Гаршина это могло быть лишь эпизодом, не удовлетворявшим ни его самого, ни аудиторию.

В 1883 году Гаршин женился (на Надежде Михайловне Золотиловой, слушательнице медицинских курсов). Сравнительно нетрудная и недурно оплачиваемая работа (секретарем съезда железных дорог) сняла с него мучительную заботу о заработке, который был необходим, при малой литературной производительности. Все это доставило ему сносные условия существования, но не могло остановить развития внутренней трагедии больной и чуткой души. Жить без литературы он не мог, между тем каждая буква уносила у него каплю

крови. В поисках эпических тем, он обращался к истории и собирал материалы из времен Петра Великого. Строил планы полуфилософского романа, в котором должна была играть роль «наука и новые явления вроде спиритизма». Но среди этих исканий и среди мучительных впечатлений русской жизни 80-х годов роковая болезнь брала свое. Страх перед рецидивами становился мучительнее, припадки чаще. Однажды, среди сборов в путешествие, о котором еще незадолго он мечтал с надеждой, что оно улучшит его состояние, Гаршин вышел на площадку лестницы, спустился несколько вниз и бросился с четвертого этажа. Его подняли и свезли в больницу, где через пять дней он умер (24 марта 1888 года).

Литературное наследство Гаршина очень невелико по объему. Изданные первоначально три небольших томика впоследствии с дополнениями (в виде отчетов о выставках и фельетонов) сведены в один том средних размеров (издание Литературного фонда). Художественные недочеты гаршинских произведений с обычной своей несколько суровой прямотой отметил (в очень, впрочем, сочувственном отзыве) Н. К. Михайловский. Напомнив об известном упреке Тургенева по адресу новых русских писателей-беллетристов (недостаток «выдумки», интересных коллизий и действия), Михайловский говорит:

«До какой степени г. Гаршин бывает иногда слаб по части «выдумки», видно из следующего мелкого, но характерного обстоятельства. Герой первого его рассказа «Четыре дня» носит фамилию Иванов. Герой рассказа «Из воспоминаний рядового» — тоже Иванов. В рассказе «Денщик и офицер» денщика зовут Никитой Ивановым. Герой «Происшествия» называется Иван Иванович Никитин... Есть еще, например, Стебельков, но фамилия эта повторяется в двух рассказах. Имя Василий Петрович (довольно нехитрое имя) фигурирует тоже в двух рассказах...» Повторяется также очень неблагодарный художественный прием: рассказы в форме дневников («Происшествие», «Художники», «Трус», «Надежда Николаевна»). Сила Гаршина не во внешней занимательности действия, а в глубине и интенсивности, с какой он отражал наиболее характерные настроения своего поколения. «В его маленьких рассказах и сказках, иногда в несколько страничек, — говорит Глеб Успенский, — положительно исчерпано все содержа-

ние нашей жизни, в условиях которой пришлось жить и Гаршину, и всем его читателям... Именно все, что давала уму и сердцу наша жизнь... все до последней черты пережито и перечувствовано им самым жгучим чувством и именно потому могло быть высказано только в двух, да еще таких маленьких книжках» [1].

В каждом периоде есть свои специфические мотивы, понятные только данному поколению, которым суждено безвозвратно утонуть в прошлом вместе со своей хронологической датой. И есть другие мотивы, тесно переплетающиеся с глубинами человеческой природы и человеческого духа, которые не отмирают, но переходят в будущее как его органическая составная часть.

Гаршинское время — еще далеко не история. А в произведениях Гаршина основные мотивы этого времени приобрели ту художественную и психологическую законченность, которая обеспечивает им долгое существование в литературе.

1910

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ

I

В феврале 1879 года я робко позвонил у двери, на которой была прибита карточка с надписью: «Николай Константинович Михайловский». В руках у меня была рукопись. Через несколько минут в кабинет, куда меня провела прислуга, вышел из соседней комнаты блондин среднего роста, с буйными русыми волосами и серыми глазами, и у меня что-то стукнуло в груди... «Он!»

Я уже года четыре интересовался статьями Михайловского и любил их. Еще студентом Петровской академии я прочел одну из них и сразу был захвачен: то настроение — романтическое, смутное, которое бродило среди молодежи и звало наше поколение к народу,— находило здесь глубокое реально-научное обоснование.

---

[1] Это писано до выхода посмертной третьей книжки сочинений Гаршина.

И то обстоятельство, что Михайловский перемешивал изложение своей теории с постоянными экскурсиями публициста в самую злободневную современность, придавало его статьям интерес особенно захватывающий. Когда приходила новая книжка «Отеч⟨ественных⟩ записок», я тотчас же жадно кидался на нее. Когда академическая читальня закрывалась, было в обычае давать желающим новые книги журналов с условием, что на следующий день, ко времени открытия читальни, книжка уже будет на столе. Я брал книгу, уходил с нею куда-нибудь в парк, в укромную аллею над прудом и совершенно забывался за чтением Успенского, Щедрина, Михайловского. Чтобы не терять ни одной минуты, я читал на ходу, проходя аллеями парка или по плотине, ведущей на Выселки, а иногда и по дороге в Москву. И теперь, когда я порой перечитываю некоторые страницы сочинений Михайловского, на меня повеет вдруг молодыми годами; я точно слышу шорох деревьев в парке и переживаю поэзию молодой формирующейся мысли.

Михайловскому часто делались упреки, что его изложение для научных трудов слишком разбросанно, пересыпано отступлениями и эпизодическими экскурсиями публициста, а для публицистики — слишком научно. Но в условиях того времени именно этот научно-публицистический прием захватывал, увлекал, давал особенное удовлетворение. Серьезная и живая мысль, вооруженная большой эрудицией, спускалась в среду взволнованных будней, труднодоступных обсуждению. Идея появлялась, начинала определяться и вдруг как будто исчезала в горячей свалке современности. Казалось, что ученый, вовлеченный в эту свалку, совершенно отвлекся от развития своей мысли, всецело отдавшись полемическим схваткам и борьбе минуты. Но — опять новая страничка, порой даже несколько новых строк — и вся эта пестрая сутолока освещается, как зыбь под лучом рефлектора. И каждая частная деталь получает свое место и свое значение. И оказывается, что случайное на первый взгляд — не случайно для Михайловского, что выхваченные из жизни частные эпизоды для него только вехи, указывающие путь его мысли среди спутанных явлений современности. Помню, однажды, читая, кажется, главы «Записок профана», я так был захвачен этим неуклонным развитием мысли, идущей своим путем среди пестрых, живых волнующих

впечатлений дня, что, присев на минутку у дороги на кучу щебня, дочитал статью до конца, не замечая, как спускаются сумерки. Когда я рассказывал товарищам, что вычитал у Михайловского, они сначала не верили, что все это, волновавшее нас запретными для того времени стремлениями, можно так определенно проводить в журнале под строгим наблюдением цензуры.

Щедрин изобрел для этого свой особенный эзоповский язык и приучил к нему читателя. Прием Михайловского был другой. Он очень умеренно пользовался теми условными выражениями, в которые рядилась тогда протестующая русская мысль. Каждая отдельная фраза, каждая глава имела свою простую и ясную законченность. Но в опасных местах основная мысль прерывалась. Михайловский заговаривал о новом предмете, громоздил одну деталь на другую, схватывался с новым противником, в новом как будто поединке. «Опасное» исчезало. Внимание читателя по обязанности сбивалось с пути. Но мысль читателя-друга, настроенная сочувственно на те же запросы, не переставала ловить основной мотив пестрого хора, который в конце концов проявлялся вновь и связывал всю эту пестроту. Оказывалось, что все это были не случайные сепаратные поединки, а строго выдержанный план кампании.

II

Теперь этот человек стоял передо мною. Он, конечно, и не подозревал, что для меня в эту минуту была важна не та рукопись, которуя я принес, и не объяснение по ее поводу. Я сознавал, нет, я ощущал всем существом, что человек, так властно двинувший мою молодую мысль, стоит вот тут, в нескольких шагах, что между нами есть односторонняя связь, которую я ощущаю с необыкновенной силой, а он едва ли о ней догадывался. Там, в студенческой читальне, в накуренной комнате студенческих номеров, в укромном уголке парка, над прудами, на груде придорожного щебня,— он был мой. Я следил за ходом его мысли, разгадывал ее, проникал в ее глубину, порой возражал, сдавался, увлекался, убеждаемый и побежденный.

Здесь передо мной стоял человек среднего роста, изящный, как будто холодновато-деловой и спрашивал:

— Что вам угодно?

Я довольно робко объяснил, что принес рассказ и, зная, что он участвует в редакции «Отечественных записок», прошу прочитать его.

Когда я подымался сюда в четвертый этаж, передо мной взошла на лестницу очень красивая дама и позвонила у той же двери. Я догадался, что это жена Николая Константиновича, что им, вероятно, время завтракать, что для него эта минута не может иметь и тысячной доли того значения, какое имеет для меня,— и очень сконфузился.

Между тем Михайловский просто и вежливо, взяв у меня рукопись и посмотрев заглавие, сказал:

— Беллетристика? Собственно говоря, это надо было отдать в редакцию. Беллетристику читают Щедрин и Плещеев.

Я сконфузился еще больше.

— В таком случае...

— Нет, нет. Я прочту,— торопливо прибавил он,— только не дам окончательного ответа. То есть дам ответ, если рукопись окажется явно негодной. Если же я признаю ее возможной, тогда передам в редакцию.

Я откланялся, Михайловский вежливо проводил меня до своей маленькой, тесной передней и, слегка облокотясь плечом о косяк двери, ждал, пока я, путаясь в рукавах, надевал пальто.

— Простите, пожалуйста,— сказал я, одевшись,— что я доставил вам излишнее затруднение.

— Нет, что ж,— сказал он все так же вежливо.— Это моя обязанность...

Я вышел.

III

Квартира Михайловского была, кажется, в Озерном. Я жил близко, на Песках, но пошел в противоположную сторону, чтобы разобраться в своих впечатлениях. Такой ли он, каким я ждал его увидеть, или не такой.

Я ждал не такого, но и этот глубоко захватил мое воображение...

Лучший портрет Михайловского написан любящей кистью одного из его друзей, Николая Александровича Ярошенко. Таланту художника помогла, очевидно, благодарная натура, и портрет вышел не только луч-

шим портретом Михайловского, но и одним из самых лучших произведений покойного Ярошенко.

Михайловский у него изображен во весь рост стоящим. В руке он держит папиросу. Лицо спокойно, и во всей фигуре разлито характерное для Михайловского выражение отчетливого, стройного и, на первый взгляд, холодного изящества. Волосы и борода седые, и мне кажется, что, поседев, Михайловский стал много красивее.

В то время, когда я его увидел впервые, он был блондин, и особенное внимание привлекали его глаза. Я помню, когда-то А. С. Суворин одно из своих «маленьких писем» посвятил описанию своей встречи с Михайловским на какой-то выставке. Встреча была случайная и мимолетная. Они даже не разговаривали. Михайловский стоял и смотрел на картину, а Суворин почему-то счел нужным остановиться на выражении его глаз. «Что в них? Очень много или ничего?» Письмо Суворина произвело на меня странное впечатление. Неизвестно, зачем написанное, оно не сообщало ничего, кроме факта: видел Михайловского; глаза у него странные. Было очевидно одно: экспансивный и нервный Суворин испытал в ту минуту безотчетное беспокойство и не мог отделаться от этого впечатления, пока не выложил его на бумагу. Но впечатление было бесформенно, и сказать по его поводу Суворину было нечего.

Помню, что и на меня в первую минуту глаза Михайловского произвели тоже особенное впечатление. На вопрос Суворина: «Много в них или ничего?» — я бы ответил без колебаний: в них очень много. В них отражается вся глубина мысли, которая так заманчива в его сочинениях, и угадывается еще что-то — теплее и привлекательнее одной мысли. Но это последнее как будто занавешено. Этот человек не легко допустит постороннего в свое святая святых, даже только в его преддверие.

Впоследствии, когда я сблизился с Михайловским таким, как он изображен на портрете Ярошенко, то есть уже с сильно поседевшими волосами,— для меня эта особенность его взгляда потерялась. Оттого ли, что серые глаза более гармонировали с сединой, или оттого, что передо мной он приподнял завесу сдержанности, но только я ее больше уже не чувствовал.

Чтобы закончить о рукописи, с которой я явился к Михайловскому, скажу, что она так и не попала

в «Отеч⟨ественные⟩ записки». Михайловский, когда я пришел к нему за ответом, встретил меня почти так же сдержанно, но в его глазах мелькнуло что-то вроде интереса к начинающему писателю.

— Я передал вашу рукопись в редакцию. Теперь узнаете о ней уже у Щедрина или Плещеева. Сходить надо в такой-то день и час, в редакцию, угол Литейного и Бассейной...

Ответ меня обрадовал: значит, он признал рукопись не бесспорно плохой... Но больше он не сказал ничего и с той же холодноватой вежливостью смотрел опять, как я надевал пальто.

Когда в назначенный день я пришел в редакцию «Отечеств⟨енных⟩ записок», то застал там целое собрание. В большой комнате сидели сотрудники... Среди них я, очень смущенный, узнал только своего знакомого, Котелянского, рано умершего талантливого писателя. Щедрин, стоя посредине, говорил что-то сурово, лающим голосом, лицо его тоже было суровым, но от того, что он говорил, сотрудники громко смеялись. Когда я смущенно топтался в передней, за мной вошел Михайловский. Он сразу узнал меня и, взяв за руку, подвел к Щедрину.

— Это вот автор того рассказа...— сказал он.

— А!— Щедрин повернулся ко мне и пошел в маленькую комнату через переднюю...

— Рукопись не будет напечатана,— говорил он на ходу,— Алексей Николаевич, вот. Надо вернуть...

Я робко попросил хотя бы короткого отзыва.

— Видите... Оно бы и ничего... Да зелено... зелено очень... Алексей Николаевич...

В это время в переднюю вошла старушка, маленького роста, одетая несколько странно, по моде, вероятно, 40-х годов, кажется, даже в кринолине... Оказалось, что это Зайончковская, известная в то время писательница, подписывавшая свои статьи Крестовский-псевдоним. Она только недавно приехала из провинции. Вся редакция кинулась навстречу старушке, и Щедрин тоже ушел, кивнув мне на ходу:

— Да вот. Зелено еще, зелено. Алексей Николаевич, отдайте...

Плещеев отдал мне рукопись. Я был огорчен и сконфужен.

«Но все-таки Михайловский не признал мой рассказ безусловно плохим»,— утешал я себя, печально плетясь

по Бассейной. И мне приятно было вспомнить, как просто он взял меня, растерявшегося, за руку и подвел к Щедрину.

IV

В тот же год, или годом ранее, мне пришлось побывать в читальне медико-хирургической академии. Большая куча студентов стояла перед каким-то объявлением; его прочитывали, отходили, подходили другие, и несколько раз я услышал фамилию Михайловского.

Я заинтересовался и тоже подошел к объявлению. Это было обращение от имени распорядителей предстоявшего студенческого вечера. Помнится, студенческие вечера возобновлялись, после некоторого перерыва, и обращали на себя сочувственное внимание общества. Теперь распорядители вечера объявляли о сходке: два товарища, развозившие почетные билеты, жаловались, что писатель Михайловский оскорбил их, когда они явились к нему с билетами. Накануне в газетах писали, что такие билеты были поднесены двум видным железнодорожникам и что оба «пожертвовали» за них по 100 рублей. Когда студенты пришли к Михайловскому, то он «принял их странно», и теперь они намерены отдать этот инцидент на суд товарищей.

Сходка состоялась через полчаса. Оскорбленные, стоя на столе, изложили свою жалобу. Она была очень неопределенна. Собственно, ничего прямо оскорбительного им Михайловский не сказал. Он только «держался холодно», спросил, сколько он должен за билет, и когда они ответили, что «билет почетный», то он сказал:

— Но ведь вы принимаете деньги и за почетные билеты.— Он намекал, очевидно, на билеты Кокореву и Полякову...

— Оскорбление, оскорбление!— закричало несколько молодых голосов, но на столе первых ораторов сменил серьезный молодой человек, который сказал, что, по его мнению, следует обсудить не вопрос о поведении писателя, которого мы любим и уважаем, а вопрос о том, что такое наши почетные билеты.

Молодежь шумела. Допрашивали опять депутатов, но те по-прежнему не могли определить, в чем именно состояло оскорбление; они только чувствовали какую-то обиду в манере обращения Михайловского...

Мне вспомнился этот эпизод, когда я шел от Михайловского. Я ясно представил себе этих юношей в его кабинете и то, как он вышел к ним замкнутый, изящный, с этой своей сдержанностью и холодком. Они, конечно, шли к нему с тем же восторженным чувством, как и я, и, вероятно, с тем же смутным признанием своего права на его личность. Здесь они, вероятно, ждали особенно теплой, значительной и симпатичной встречи. Они — молодежь, студенты. Они его читают и любят. Он тоже должен любить их. Между тем всюду, в том числе у крупных железнодорожников, их принимали так заискивающе-ласково. А здесь — вежливый холодок, занавешенный взгляд и деловой вопрос, при котором как-то без удовольствия, даже с оттенком сомнений припоминаются кокоревская и поляковская сторублевки.

Инцидент остался неразрешенным. Михайловскому никакого порицания не выразили, хотя и вопрос о том, что такое «почетный билет», тоже не решили. Молодежь все-таки инстинктивно поняла, что в сдержанной суровости Михайловского было больше уважения, чем в либеральной «ласковости» многих «друзей молодежи».

Впоследствии много раз Михайловский не отступал и перед более резкими конфликтами, когда ему казалось, что молодежь не права. Как-то, уже в «марксистский период», довольно значительная группа молодежи заявила желание участвовать «явочным порядком» на одном литературном банкете. Была такая полоса: молодежь как бы упраздняла значение денежных знаков в известной области: она брала приступом литературные вечера Фонда, занимала проходы, садилась чуть не на колени публики, ломилась в чужие ложи на спектаклях с участием Шаляпина. П. И. Вейнберг в таких случаях выходил из себя, распорядители терялись и деликатничали, вмешивалась полиция. То же было и теперь, пока не вышел Михайловский и резко, категорически не заявил молодым людям, что их требование нелепо. Некоторые юноши опять обиделись, и из взволнованной и самоуверенной кучки вырвалось несколько резкостей. Но большинство быстро подчинилось...

Еще один эпизод этого рода, который, вероятно, помнят многие. Это было в разгар боевого марксизма с его молодой и самоуверенной заносчивостью. Имена гг. Струве и Туган-Барановского произносились как

имена «вождей молодого поколения», сменивших «идеологов народничества». Увлечения доходили до того, что в одной провинциальной газете молодые сотрудники-марксисты договорились до отрицания школы в деревнях (так как это значит вооружать мелкую буржуазию в ее борьбе с пролетариатом). На страницах журналов велась резкая полемика, и в центре ее стоял Михайловский, которого, однако, та же молодежь встречала всякий раз, когда он выступал публично, восторженными рукоплесканиями.

Это показалось наконец несообразностью некоторым вожакам марксизма из студенческой среды. Они решили «дерзнуть» (этот лозунг и тогда уже пользовался популярностью) и резкой демонстрацией выяснить положение. Для этого нужно было на вечере в память певца крестьянства Некрасова освистать «идеолога народничества» Михайловского. Это предприятие стало известно в литературной среде и среди обычных посетителей вечеров Литературного фонда. Друзья Михайловского шли на вечер с некоторой тревогой и с намерением оказать противодействие враждебной демонстрации. В этом, однако, не оказалось никакой надобности. Когда он появился на эстраде, спокойный, с красивой сединой и серьезным взглядом, именно такой, каким его изобразил Ярошенко, и едва успел сказать несколько совсем не эффектных слов о народном поэте — внезапный порыв охватил юных заговорщиков с такой силой, что предполагаемое «дерзновение» обратилось в небывалую овацию.

Одна моя знакомая, сидевшая в том месте, где, недалеко от кафедры, густо столпились студенческие мундиры, рассказывала характерную сцену. Один из организаторов предполагавшейся демонстрации, увидев ее неожиданный оборот, кинулся к этой толпе.

— Что вы делаете? Вы, марксисты, аплодируете Михайловскому? Вы забыли, что было условлено!

Но «марксисты» только отмахивались и с сверкающими глазами, с лицами, на которых виднелось неодолимое увлечение и восторг, продолжали неистово аплодировать.

— Нет, брат, это совершенно невозможно,— ответил один из них организатору, когда наконец вызовы кончились и Михайловский сошел с эстрады.

Дерзновенное предприятие было оставлено навсегда, а во время юбилея Михайловского «марксисты» при-

слали своих представителей, чтобы выразить глубокое уважение суровому, порой гневному, противнику. Молодежь часто не обнаруживает достаточно чуткости, и ее восторги легко добываются прозрачной, подчас даже грубой лестью ее настроению и ее взглядам. В описанном случае она отдавала дань восторга человеку, который никогда, за всю свою жизнь ни одной нотой голоса, ни одной напечатанной строчкой не пытался нарочито привлечь или удержать ее расположение. У него не было соответствующих выражений в лице, не было и таких нот в недостаточно гибком голосе. У него были только те ноты, которыми превосходно выражается суровая правда жизни и пафос неустающей возвышенной мысли. Все находят и долго еще будут находить эти ноты в его сочинениях. Немногим довелось слышать их в живом слове. Но те, перед кем приподымалась завеса его сдержанности, кто мог взглянуть в эту душу в минуты, когда она раскрывалась целиком с ее строгой мыслью и с ее пламенным пафосом,— для тех никогда не изгладится впечатление общения с этим необыкновенным человеком.

Один из его бывших соратников и товарищей, М. А. Протопопов, в заметке, написанной далеко не дружеской рукой и не с теплым чувством, дает, однако, одну отлично подмеченную черту для его портрета. «В начале 80-х годов,— пишет г. Протопопов,— мы шли однажды по Невскому в предобеденное время и весело разговаривали. Вдруг лицо Михайловского приняло такое ледяное выражение, какого я у него не наблюдал раньше, и я увидел, что он слегка приподнял шляпу в ответ на вежливый поклон какого-то вполне приличного господина. «Кто это?» — полюбопытствовал я. «Это Р.»,— неохотно ответил Михайловский, называя фамилию лица, имевшего тогда для «Отечественных записок» очень существенное официальное значение.

Мне,— прибавляет г. Протопопов,— в эту минуту было очень приятно за Михайловского и даже вообще за свою братью литераторов».

И это, конечно, оттого, что г. Протопопову привелось во времена унижения русских людей вообще и русской литературы в особенности увидеть русского человека и русского писателя неподдельно и целостно свободного. Михайловский недаром писал не только о совести, но и о чести, которую считал обязательным атрибутом личности. Сам он был олицетворением личного досто-

инства, и его видимая холодность была своего рода броней, которая служила ему защитой с разных сторон. «В Михайловском,— пишет тот же г. Протопопов,— не было вовсе той рассейской распущенности, которая выражается и в пустяках, как неряшливая небрежность костюма и амикошонская фамильярность манер, и в серьезных делах — как отсутствие регулярности в труде, умеренности в привычках и т. д. Он в высокой степени богат был самообладанием, и я, за все наше более чем четвертьвековое знакомство, не могу представить ни одного случая, когда бы это самообладание вполне его оставило». Да, именно таким является Михайловский при первом знакомстве. Таким глядит он с портрета Н. А. Ярошенка, таким для многих оставался всю жизнь. И только те, перед которыми он приподымал завесу, скрывавшую глубину его интимной личности, знали, сколько за этой суровой внешностью скрывалось теплоты и мягкости и какое в этой суровой душе пылало яркое пламя...

V

Теперь, когда давно смолкли горячие отголоски его борьбы с марксизмом, можно видеть, насколько этот горячий и разносторонний ум был шире и выше той арены, на которой происходили эти схватки. В другой раз я, быть может, попытаюсь также показать, насколько выше и шире он был и того, что в то время конкретно называлось «народничеством». Не надо забывать, что стремительная атака марксизма застигла его как раз в ту минуту, когда он начинал, вернее, продолжал борьбу à outrance [1] с некоторыми очень распространенными течениями в самом народничестве. И если он не довел ее до логического конца, то лишь потому, что должен был повернуть фронт к другому противнику.

Он не создавал себе кумира ни из деревни, ни из мистических особенностей русского народного духа. В одном споре, приведя мнение противника, что если нам суждено услышать настоящее слово, то его скажут только люди деревни и никто другой,— он говорит: если вы хотите ждать, что скажут вам люди деревни, так и ждите, а я и здесь остаюсь «профаном». «У меня на

---

[1] Не на жизнь, а на смерть *(фр.)*.— *Ред.*

столе стоит бюст Белинского, который мне очень дорог, вот шкаф с книгами, за которыми я провел много ночей. Если в мою комнату вломится «русская жизнь со всеми ее бытовыми особенностями» и разобьет бюст Белинского и сожжет мои книги,— я не покорюсь и людям деревни. Я буду драться, если у меня, разумеется, не будут связаны руки. И если бы даже меня осенил дух величайшей кротости и самоотвержения, я все-таки сказал бы по меньшей мере: прости им, боже истины и справедливости, они не знают, что творят! Я все-таки, значит, протестовал бы. Я и сам сумею разбить бюст Белинского и сжечь свои книги, если когда-нибудь дойду до мысли, что их надо бить и жечь. Но пока они мне дороги, я ни для кого ими не поступлюсь. И не только не поступлюсь, а всю душу свою положу на то, чтобы дорогое для меня стало и другим дорого вопреки, если случится, их „бытовым особенностям“» [1].

Михайловский не часто употреблял имя божие и был особенно сдержан в терминологии этого рода, которая теперь в таком, можно сказать, излишнем ходу. Но здесь она совершенно уместна. В этой тираде, исполненной глубокого чувства, которое так редко прорывалось у этого человека и которое, однако, освещало и грело все, что он писал,— слышится истинное религиозное одушевление, а его кабинет с бюстом Белинского и его книгами был действительно его храмом. В этом храме суровый человек, не признававший никаких классовых кумиров, преклонялся лишь перед живой мыслью, искавшей *правды*, то есть познания истины и осуществления справедливости человеческих отношений.

1914

---

[1] Под «бытовыми особенностями» в данной полемике разумелся между прочим уклад деревенской жизни, община и т. д.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий том вошли произведения Короленко, наиболее характерно представляющие его творчество начала XX в. В раздел прозы включены начатый в 1888 г., но радикально переработанный в 1914 г. рассказ «С двух сторон», автобиографические рассказы-очерки «Феодалы», «В Крыму», интересный, но неоконченный рассказ «Братья Мендель».

В начале XX в. Короленко часто обращался к мемуарам. Он был знаком с такими выдающимися современниками, как Л. Толстой, Н. Чернышевский, Г. Успенский, А. Чехов, Н. Михайловский и др. Воспоминания, включенные в том,— важная часть литературного наследия Короленко.

В русскую литературу Короленко вошел и как яркий литературный критик. В его статьях реализовалось стремление соединить психологический анализ личности писателя с историко-литературным и социологическим анализом его творчества.

Особым явлением в творчестве Короленко является его публицистика.

Личность Короленко, его философские, исторические и социально-политические взгляды, его человеческая и гражданская позиция в значительной мере выразились в многочисленных публицистических произведениях и историко-социальных очерках, которые вместе составили бы не менее пяти больших томов. Из всех включенных в этот том публицистических работ писателя лишь одна — «Бытовое явление. Заметки публициста о смертной казни» — включалась в посмертные Собрания сочинений; бóльшая же их часть входила только в Собрание сочинений Короленко 1914 г.

Статья «9 января 1905 года», в которой Короленко предсказывает неминуемость будущих социальных катаклизмов в России и дает глубокую характеристику административно-бюрократической структуры царской России, последний раз публиковалась в однотомнике произведений Короленко 1928 г. Социально-исторический очерк «Легенда о царе и декабристе» также не публиковался в советское время.

Много писал Короленко о национальных проблемах в России,

так как то или иное их решение было для писателя показателем гражданского развития общества. В этот том включены две небольшие статьи, ранее не включавшиеся в посмертные Собрания сочинений,— «„Декларация“ В. С. Соловьева» и «Несколько мыслей о национализме». Они интересны прежде всего потому, что в них Короленко очень четко формулирует и до сих пор не всегда ясно осознаваемую разницу между патриотизмом и национализмом, теоретически и на конкретных примерах опровергая националистические идеи.

Особое место в публицистике Короленко занимают две его самые крупные и во многом итоговые работы — «Земли! Земли!» и «Письма к Луначарскому». В первой из них он исследует развитие революционно-демократических взглядов русской интеллигенции в ее отношении к исконной мечте русского крестьянина о земле. Одна глава этой статьи — «Разговор с Толстым. Максимализм и государственность» — неоднократно издавалась, вся же статья публикуется в СССР впервые. Проблема максимализма и государственности связывает эту статью с написанной в 1920 г. в форме писем большой публицистической работой, названной «Письма к Луначарскому». В максимализме требований большевиков писатель видит одну из причин современного ему положения России. Для Короленко всегда были значимы две точки зрения на социальное развитие общества. Первая — взгляд на общество как на организм, в соответствии с которым не может быть абсолютно нового общества и оно не может возникнуть «сразу», а должно включать в себя то здоровое и жизнеспособное, что было выработано в предыдущие эпохи. При переходе от прошлого к будущему не все подлежит разгрому и уничтожению — эту мысль особо подчеркивает Короленко в «Письмах к Луначарскому». «Вы победили капитализм,— указывает писатель,— но не заметили только, что он соединен еще с производством такими живыми нитями, что, убив его, вы убили также производство». В свою очередь, свобода мысли, собраний, слова и печати, считает Короленко, это не «буржуазные предрассудки», а необходимое орудие будущего. Они — результат долгой и небесплодной борьбы и прогресса, и, отменив их, можно двинуться только назад.

Другая важная для Короленко теория — теория целей и средств. Не отрицая, что целью нового правительства является благо народа, Короленко справедливо пишет, что многое зависит от тех средств, которыми будет оно достигнуто, а «административные расстрелы, введенные в систему и продолжающиеся уже второй год, не принадлежат к их числу». Позднее Луначарский вспоминал их спор о проблеме революционного насилия: «Анатолий Васильевич, вот вы все говорите «вынуждены», «вынуждены»,— но вы вызвали целое море вражды, отгрызаетесь от целой стаи врагов и сами ожесточаетесь. У вас есть палачи, у вас есть люди, которые стали военными для того, чтобы рубить человеческое мясо так же просто, как рубят конину. Вы хотите неклассового общества, общества коммунистического сотрудничества,

для вас человеческая личность должна быть святее, чем для когонибудь другого» (Луначарский А. В. Собр. соч.: В 8 т. М., 1964. Т. 2. С. 402). «Вводя немедленный коммунизм,— указывает Короленко,— очень многие революционеры действительно верили, что коммунизм уже у ворот». «Вы,— настаивает Короленко,— надолго отбили охоту даже от простого социализма, введение которого составляет насущнейшую задачу современности».

Историко-социологический анализ первых послереволюционных лет, предпринятый Короленко в «Письмах к Луначарскому» и в выходящей за рамки любых жанровых определений работе «Земли! Земли!», оказался во многом пророческим, что особенно очевидно современному читателю.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).

Избр. письма — Короленко В. Г. Избранные письма: В 3 т. М., 1932—1936.

Короленко в восп.— В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962.

Письма — Короленко В. Г. Письма. Пб., 1922.

Полн. посм. собр.— Короленко В. Г. Полное посмертное собрание сочинений. Гос. изд-во Украины, 1923—1928.

ПСС (1914) — Короленко В. Г. Полное собрание сочинений: В 9 т. Пг., 1914.

Собр. соч.— Короленко В. Г. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1953—1956.

РАССКАЗЫ

С ДВУХ СТОРОН

Рассказ моего знакомого

Впервые: Рус. богатство. 1888. № 11, 12; подзаголовок: Рассказ о двух настроениях.

Готовя к печати третий том «Очерков и рассказов», Короленко не включил в него «С двух сторон», так объясняя причину этого решения в письме от 16 янв. 1893 г. И. И. Юхневу: «Рассказом «С двух сторон» я сильно недоволен, так как, по некоторым причинам, писал его наскоро и не «доносил». Он нуждается в полной переработке» (Собр. соч. Т. 4. С. 494). Радикально переработал рассказ Короленко в 1914 г. при

подготовке собрания своих сочинений. В частности, был введен новый персонаж — профессор Изборский, прототипом которого послужил К. А. Тимирязев. В музее Короленко в Полтаве хранится книга Тимирязева «Жизнь растения» с такой надписью: «Дорогому, глубокоуважаемому Владимиру Галактионовичу Короленко от сердечно признательного „Изборского“».

С. 9. *«Наше время ниспровергло противоположность между вещественным и нравственным...»* — цитата из книги немецкого философа и естествоиспытателя К. Фохта (К. Фогта; 1817—1895) «Зоологические очерки, или Старое и новое из жизни людей и животных» (СПб., 1864. С. 5).

С. 10. *«Мысль есть выделение мозга...»* — У Фохта так: «...мысль находится почти в таком же отношении к человеческому мозгу, как желчь к печени...» (Фохт К. Физиологические письма. СПб., 1864. С. 335).

С. 26. *...у грота Иванова, стараясь разгадать мрачную драму нечаевского дела...* — 21 янв. 1869 г. в Петровско-Разумовском парке организатором тайного общества «Народная расправа» С. Г. Нечаевым и его соучастниками был убит студент Петровской земледельческой и лесной академии И. И. Иванов, которого Нечаев объявил агентом тайной полиции. «Уголовное деяние задрапировалось в тогу политического... групповая ликвидация Ивана Иванова получила оттенок коллективного причастия жертвенной кровью» (Давыдов Ю. Герман Лопатин и его друзья. М., 1974. С. 33).

С. 49. *Кто-то, кажется Тацит, рассказывает о древних скифах...*— Эти сведения о гиперборейцах сообщает римский писатель и ученый Плиний Старший (23 или 24—79) в «Естественной истории».

С. 71. *Зайцев* В. А. (1842—1882) — публицист и литературный критик, сотрудник журнала «Русское слово», резко полемизировавший с «Современником» и «Отечественными записками».

С. 73. *...скептицизм, доведенный дальше известного предела, становится подлостью...*— В статье «Наша университетская наука» (1863) Писарев писал: «Скептицизм, проведенный в жизнь с неумолимой последовательностью, называется систематической подлостью».

С. 79. *...был изображен гетевский метаморфоз.*— Имеются в виду иллюстрации к трактату Гете «Метаморфоза растений» (1790). В примечании к первой лекции цикла «Жизнь растения» К. А. Тимирязев писал: «На лекции в буквальном смысле развертывалась превосходная (в несколько сажен длиною) картина, принадлежавшая кисти нашего знаменитого писателя В. Г. Короленко, в то время еще бывшего студентом Петровской академии» (Тимирязев К. А. Соч.: В 10 т. М., 1938. Т. 4. С. 50).

ФЕОДАЛЫ

Впервые: Короленко В. К свету. СПб., 1904.

Черновик рассказа под названием «Волшебство» был написан в начале дек. 1900 г. В 1904 г. Короленко вновь возвратился к этой теме, заново переписал рассказ и озаглавил его «Феодалы». В 1913 г., готовя ПСС (1914), Короленко еще раз переработал рассказ, о чем писал жене 30 дек. 1913 г. (см.: Собр. соч. Т. 10. С. 501). В примечаниях к «Феодалам» Н. В. и С. В. Короленко, готовя Собр. соч., приводили неопубликованное письмо Короленко к В. И. Ардатскому, в котором он так писал об этом рассказе: «Я писал не путеводитель и не географическое описание приленского края, а картины нравов... Географическая точность была для меня на втором плане. Мне был важен контраст, а этот контраст между ямами и маленьким узелком приисковой жизни взят точно с натуры. Шушминской волости, например, нет, но писарь одной из волостей Витимского (кажется) округа все-таки написал циркуляр о «нейтралитете», который был напечатан в то время в газетах. Наш ночлег, встреча с главой спиртоносов, величавый заседатель, экспедиция на Лену, для чего Никифоров являлся к заседателю, борьба разных властей, все это подлинные факты, как и временные станки в ямах. Вообще вся бытовая сторона верна, а это и есть „существенное“» (Собр. соч. Т. 1. С. 493—494).

В КРЫМУ

Впервые рассказы «Емельян» и «Рыбалка Нечипор»: Рус. богатство. 1907. № 11, под загл.: Рассказы о встречных людях. В ПСС (1914) под общим загл.: В Крыму. В основу рассказа легли впечатления Короленко от поездки в Крым на лечение в 1889 г., которые он подробно изложил в письмах к жене (см.: Полн. посм. собр. Т. 51. С. 132—163).

БРАТЬЯ МЕНДЕЛЬ

Впервые: Полн. посм. собр. Т. 22.

Рассказ был начат в 1915 г. 12 мая 1916 г. Короленко писал Елпатьевскому: «В ноябре одним духом написал половину повести (три листа), а после этого — смерть Иллариона, поездка на похороны, жаба и т. д.» (Собр. соч. Т. 10. С. 539). Рассказ остался незаконченным. Горький в письме к жене писателя так оценивал это произведение: «XXII том я читал с наслаждением и — с грустью. С грустью не только о том, что нет уже человека, который мог писать такие вещи, как «Талант» и «Братья Мендель», но и о том, что, отдавая свои силы художника борьбе за справедливость и против бытового зверства, он не дописал этих вещей... Превосходно по четкости, по пластике и

мудрой простоте начаты «Братья Мендель». Похоже на старых французских мастеров, как Проспер Мериме...» (Огонек. 1946. № 6. С. 24).

С. 165. *Меламед* — учитель еврейской школы.

Тосефта (тосафот; др.-евр.— дополнение) — сборник толкований Моисеева закона, сходный с Мишной (вторичный закон); содержит преимущественно законодательно-религиозные постановления, не вошедшие в Мишну. Является источником для библейской экзегетики. Экзегетика — раздел богословия, занимающийся трактовкой и толкованием смысла и содержания Библии. Моисеев закон — Пятикнижие Моисеево — христианское и иудейское наименование первых пяти книг Ветхого Завета; Тора.

С. 166. *Треф* — еда, запрещенная Талмудом. Талмуд — свод религиозных трактатов, закрепивших идеологические, культовые и религиозно-правовые представления иудаизма.

Шема, Тефила — наименования вечерней и утренней молитв в иудаизме.

Талес, тфилим — молитвенное облачение.

С. 168. *Агада* — часть Талмуда, где излагается древняя история еврейского народа.

С. 177. *Цадик* (др.-евр.— святой, проповедник) — в хасидизме — глава паствы. По учению хасидизма, цадик — праведный заступник перед богом, ему открыта Книга судеб, он чудотворец и ясновидец. Хасидизм — откровенно мистическое течение в иудаизме.

С. 194. *Амгаарец* — невежда.

С. 196. *«...земля поглотит меня, как Корея».*— Согласно Библии, Корах (Корей) восстал против Моисея и под ним и его сторонниками разверзлась земля.

С. 197. *«Записки еврея»* — эта книга писателя Г. Богрова вышла в Петербурге в 1874 г.

С. 198. *Хусид* (др.-евр.— праведник) — последователь религиозно-мистической секты, возникшей в XVII в.

С. 200. *Апикойрес* — вольнодумец.

ПУБЛИЦИСТИКА

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О НАЦИОНАЛИЗМЕ

Впервые: Рус. богатство. 1901. № 5; без подписи, под загл. «Патриотизм, национализм» и «Лига русского отечества». Статья вошла в 6 т. ПСС (1914), по тексту которого и печатается.

С. 231. *В одной из статей, напечатанных года три назад в «Русском богатстве»...*— Вероятно, Короленко ссылается на статью П. Юш-

кевича «Социологические взгляды Дюрхгейма», в которой автор цитировал отрывок из работы французского социолога, где говорилось, что если улучшение здоровья «отвечает какой-нибудь тенденции, то это значит, что нормальный тип неосуществим» (Рус. богатство. 1898. № 11. С. 108).

С. 233. *...гг. Эстергази, и Гонзов, Буадефров, и Анри Режисов, и Геренов...* — Короленко перечисляет противников пересмотра дела капитана французской армии еврея А. Дрейфуса, лично обвиненного в продаже германскому правительству секретных документов. Действительным шпионом был Эстергази.

С. 234. *...Ланских, Ростовцевых, Милютиных...*— Короленко перечисляет крупнейших деятелей «эпохи освобождения», готовивших и проводивших крестьянскую, военную и судебную реформы 1861—1863 гг.

...полной, по выражению Аксакова, «черной неправды» и «всякой мерзости».— Возможно, Короленко имеет в виду записку К. С. Аксакова «О внутреннем состоянии России», представленную Александру II в 1855 г., в одном из разделов которой Аксаков писал: «Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью... Всеобщее развращение или ослабление нравственных начал в обществе дошло до огромных размеров» (Русь. 1881. № 27).

...с аспирациями умершего легитимизма...— Аспирация (перен.) — стремление, запросы. Легитимизм — возникшая в начале XIX в. во Франции и других странах Западной Европы теория, признающая главным принципом государственного устройства историческое право на власть легитимных («законных») династий.

С. 235. *...Мещерский, написавший в виде приветствия ко дню юбилея г-на Суворина...*— Имеется в виду «Дневник от 28 февраля 1901 года» (день празднования 25-летнего юбилея издательства А. С. Суворина «Новое время»), опубликованный В. П. Мещерским в газете «Гражданин» 4 марта.

С. 236. *Рошфор* В. И. (1830—1913) — французский публицист и политический деятель, противник пересмотра дела Дрейфуса.

С. 237. *«Я только еще начал действовать,— говорил когда-то Лассаль,— и страсть уже кипит в народе».*— Вероятно, Короленко пересказывает здесь эпизод из трагедии немецкого философа-публициста и писателя Ф. Лассаля (1825—1864) «Франц фон Зикинген», главный герой которой говорит в решительную минуту своим соратникам: «...мы не у конца, а у начала дела», на что его секретарь так отвечает ему о настроении народа: «Среди крестьян идет брожение глухое...» (Лассаль Ф. Франц фон Зикинген. СПб., 1873. С. 197, 214).

С. 238. *Охабень* — верхняя длинная одежда с прорехами под рукавами и четырехугольным откидным воротом. *Мурмолка* — ста-

ринная меховая или бархатная шапка с плоской тульей. В народном творчестве считались признаками щегольства.

Сыромятников С. Н. (псевд. *Сигма*, 1864—1937), *Энгельгардт* Н. А. (1867—1942) — сотрудники «Нового времени». *Комаров* В. В. (1838—1907) — с 1883 г. издатель газеты «Свет». Исповедовали и пропагандировали монархические и националистические взгляды.

...как свидетельствует г-н Аф. Васильев...— Здесь и далее Короленко цитирует статью Аф. Васильева «Об исконных творческих началах и о бытовых особенностях русского народа» (С.-Петербургские ведомости. 1901. 15 мая).

С. 241. *...«в то время, как во всех крупнейших государствах Запада...»* — Короленко цитирует статью Нестора (В. П. Святковского) «Беседа с Андре Шерадамом».

9 ЯНВАРЯ 1905 ГОДА

Впервые: Рус. богатство. 1905. № 1. Под назв.: 9 января в Петербурге. Вошла в 6 т. ПСС (1914), по тексту которого и печатается.

По поводу этой статьи Короленко писал жене 27 янв. 1905 г.: «Книжку «Русского богатства» получишь скоро (завтра выходит). В ней увидишь, кроме случайных заметок (все мои),— еще мою же хронику: «9 января в Петербурге». Это моя маленькая удача. До сих пор с трудом пропускали какие бы то ни было комментарии этих событий, но мы решили или печатать со своими объяснениями, или не печатать даже правительственные сообщения. Я писал статью почти на зарез, написал ее в один день (устал, правда, изрядно) и вчера вечером пошел к цензору, почти уверенный, что работа пропала. И вдруг узнаю, что он пропустил, не внося в цензурный комитет, на свою ответственность...» (Избр. письма. Т. 2. С. 227).

С. 244. *22 января мы узнали из газет, что кн. Святополк-Мирский оставил пост министра.... эпохи доверия...*— П. Д. Святополк-Мирский (1857—1914) был назначен на пост министра внутренних дел в августе 1904 г. после убийства В. К. Плеве. При вступлении в должность произнес речь, в которой обещал руководствоваться «искренно благожелательным и искренно доверчивым отношением к общественным и сословным учреждениям и к населению вообще». См.: Ачкасов А. «Повеяло весною...»: Речи г. министра внутренних дел князя П. Д. Святополк-Мирского и толки о них в прессе. М., 1905. С. 27.

...Муравьев оставляет пост министра...— Н. В. Муравьев (1850—1908), министр юстиции с начала 1894 г. В янв. 1905 г. назначен послом в Рим.

С. 245. *...идей, изложенных в указе 12 декабря...*— В «Именном

Высочайшем указе правительствующему Сенату» от 12 дек. 1904 г. высказывалось намерение упорядочить все стороны государственной жизни: утвердить законность, улучшить положение народа, освободить от стеснений печать, действовать в духе веротерпимости.

...*«к надеждам славы и добра»*...— из стих. Пушкина «Стансы» (1826).

С. 247. ...*«в Петербурге, в начале 1904 года...»* — Здесь и далее Короленко цитирует официальное сообщение, опубликованное 10 янв. 1905 г. в «Правительственном вестнике».

...*газеты известного «московского патриота» г-на Грингмута...*— В. А. Грингмут (1851—1907) с 1897 по 1907 г. редактировал монархическую газету «Московские ведомости», был одним из организаторов «Союза русского народа».

С. 248. *Гарун аль-Рашид* (766—804) — халиф из династии Аббасидов, постоянный персонаж арабских сказок.

Газеты дают о нем следующие сведения.— Биографические сведения о Гапоне сообщали следующие газеты: «Новости» от 7 и 17 янв. 1905 г.; «Рус. ведомости» от 9 янв. 1905 г.; «Полтавский вестник» от 12 янв. 1905 г. Во время январских событий Короленко был в Полтаве, многие жители которой хорошо знали Гапона, поэтому возможно, что Короленко для его характеристики пользовался не только газетными сообщениями. Подробные биографические сведения о Гапоне с детства до событий 9 января впервые были изложены в кн.: Симбирский Н. Правда о Гапоне и «9-м января». СПб., 1906. С. 50—64.

С. 251. ...*«рабочей политики» в виде зубатовских организаций...*— С. В. Зубатов (1864—1917), жандармский полковник, начальник Московского охранного отделения, создал ряд рабочих организаций, возглавляемых руководимым им «Советом рабочих». Признавая справедливыми экономические требования рабочих, он доказывал, что царь и правительство законным путем разрешат эти требования, проведя ряд реформ. Члены «Совета рабочих» принимали участие в забастовках, в результате чего Зубатов был арестован и сослан под надзор полиции, а рабочие организации были ликвидированы.

С. 252. ... *князь Мещерский приводил недавно восторженные отзывы... нескольких покойных министров...*— Имеется в виду «Дневник от 21 сентября 1904 года» в газете «Гражданин» (1904. 23 сент.), автором которого был издатель газеты журналист и беллетрист В. П. Мещерский (1839—1914). Эти отзывы Короленко ранее цитировал в статье «Князь Мещерский и покойные министры» (ПСС (1914). Т. 8. С. 310—316).

С. 254. ...*на Шлиссельбургском тракте... у Троицкого моста... у Александровского сада... у Полицейского моста...*— ныне соответственно: проспект Обуховской Обороны, Кировский мост, сад имени Горького, Народный мост в Ленинграде.

«ДЕКЛАРАЦИЯ» В. С. СОЛОВЬЕВА
К истории еврейского вопроса в русской печати

Впервые: Рус. ведомости. 1909. № 20. Вошла в 9 т. ПСС (1914), по тексту которого и печатается. Написана в 1903 г. как отклик на погром евреев в Кишиневе и под загл. «Из переписки с В. С. Соловьевым» послана в «Рус. ведомости», но не была пропущена цензурой.

С. 257. *Пропускаю несколько фраз.*— Пропущены следующие фразы: «...считаю лишним распространяться о том, насколько подпись самого талантливого из наших новейших художественных писателей необходима для полновесности этого заявления. А что вы сочувствуете его содержанию, за это ручаются, между прочим, ваши прекрасные «Павловские очерки», в которых вы так правдиво показали на живом примере всю фальшь антисемитизма» (Избр. письма. Т. 2. С. 16). Три письма В. С. Соловьева к Короленко хранятся в рукописном отделе ГБЛ.

С. 258. *Относительно одной поправки, сделанной его рукой (германское происхождение русского антисемитизма), он сообщил мне, что вписал это по требованию некоторых из подписавших...*— В. С. Соловьев по поводу этого замечания Короленко ответил ему в янв. 1891 г.: «То ваше письмо доставило мне искреннюю радость, и напечатать его было бы очень полезно. Оно произвело самое хорошее впечатление на всех, кому я его читал. Кстати: не понравившееся вам замечание о германском происхождении антисемитизма было вставлено мною по требованию одного из подписавшихся, а я совершенно с вами согласен, что оно было лишнее. Кажется, оно пропущено в английском и немецком переводах, которые напечатаны в Лондоне и Вене». Н. В. Короленко и А. Л. Кривинская так комментируют этот ответ Соловьева: «Приятель В. С. Соловьева, о котором говорится в письме,— ученый еврей при Виленском учебном округе, преподаватель еврейской истории, писатель Файвель Меер Бенцелевич Гец. Соловьев брал у него уроки еврейского языка. В 1891 г. Гец напечатал книгу по еврейскому вопросу — «Слово подсудимому» с предисловием и неизданными письмами В. С. Соловьева, Л. Н. Толстого, П. Н. Чичерина и В. Г. Короленко. Книга эта была конфискована цензурным комитетом» (Избр. письма. Т. 2. С. 17—18).

С. 259. *Иловайский* П. Д. (1832—1920) — историк, публицист, автор учебников, по которым преподавалась история в гимназиях, добился того, чтобы особым циркуляром Главного управления по делам печати коллективный протест, составленный Соловьевым, был запрещен к печати.

С. 260. *В тоне Марата в «Друге народа» или Гебера в «Père Duchesne»...*— Газеты деятелей Великой французской революции

Ж. П. Марата «Друг народа» (1789—1793) и Ж. Р. Эбера «Отец Дюшен» (1791—1794) отличались резкостью тона, непримиримостью позиции, требованиями повсеместных казней «врагов народа».

БЫТОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

Заметки публициста о смертной казни

Впервые: Рус. богатство. 1910. № 3, 4. В этом же году статья опубликована отдельным изданием в Петербурге. В ПСС (1914) не пропущена цензурой. В 1918 г. Короленко внес в статью дополнения и исправления. Документы и материалы о смертной казни, использованные в статье, Короленко собирал с 1899 г.

Прочитав первую половину статьи, Толстой писал Короленко: «Владимир Галактионович. Сейчас прослушал вашу статью о смертной казни и всячески во время чтения старался, но не мог удержать не слезы, а рыдания. Не нахожу слов, чтобы выразить вам мою благодарность и любовь за эту и по выражению, и по мысли, и, главное, по чувству — превосходную статью.

Ее надо перепечатать и распространять в миллионах экземпляров. Никакие думские речи, никакие трактаты, никакие драмы, романы не произведут одной тысячной того благотворного действия, какое должна произвести эта статья.

Она должна произвести это действие потому, что вызывает такое чувство сострадания к тому, что переживали и переживают эти жертвы людского безумия, что невольно прощаешь им, какие бы ни были их дела, и никак не можешь, как ни хочется этого, простить виновников этих ужасов. Рядом с этим чувством вызывает ваша статья еще и недоумение перед самоуверенной слепотой людей, совершающих эти ужасные дела, перед бесцельностью их, так как явно, что все эти глупо-жестокие дела производят, как вы прекрасно показываете это, обратное предполагаемой цели действие; кроме всех этих чувств статья ваша не может не вызвать и еще другого чувства, которое я испытываю в высшей степени,— чувства жалости не к одним убитым, а еще и к тем обманутым, простым, развращаемым людям: сторожам, тюремщикам, палачам, солдатам, которые совершают эти ужасы, не понимая того, что делают.

Радует одно то, что такая статья, как ваша, объединяет многих и многих живых, не развращенных людей одним общим всем идеалом добра и правды, который, что бы ни делали враги его, разгорается все ярче и ярче».

Впервые письмо Толстого было напечатано: Речь. 1910. 18 апр.

С. 265. *Ледницкий* А. Р., *Локоть* Т. В.— члены I Государственной думы от партии кадетов и партии трудовиков.

Леруа-Болье С. А. (1842—1912) — французский публицист и историк, посещавший Россию и писавший о ней.

Родичев Ф. И. (1853—1932) — один из организаторов кадетской партии, член Государственной думы всех созывов.

С. 267. *...ждущих...конфирмации...*— то есть утверждения судебного приговора высшими инстанциями.

С. 306. *Ломтатидзе* В. Б. и *Гегечкори* Е. П.— члены II и III Государственной думы от социал-демократической партии.

С. 311. *«Его судили с беспристрастием,— писал по этому поводу Виктор Гюго...»*— Здесь и далее Короленко цитирует воззвание В. Гюго «Жителям Гернси» (1854) (Из речей и воззваний Виктора Гюго в изгнании. СПб., 1887. С. 30—47).

ЛЕГЕНДА О ЦАРЕ И ДЕКАБРИСТЕ

Страничка из истории освобождения

Впервые: Рус. богатство. 1911. № 2. Вошла в 9 т. Собр соч., по тексту которого и печатается.

С. 315. *Двадцати четырех лет был уже полковником...*— А. Н. Муравьев (1792—1863) получил чин полковника 7 марта 1816 г., то есть в двадцать три года.

...в 1816 году... бросил службу...— Это произошло в 1818 г.

...в 1816 году... основал первое в России тайное общество «Союз благоденствия».— А. Н. Муравьев в 1816 г. основал «Союз спасения», который в 1818 г. был преобразован в «Союз благоденствия».

С. 316. *Потом занимал ту же должность в губернии Таврической.*— Председателем уголовной палаты в Симферополе Муравьев служил с весны 1835 г. по осень 1837 г.

В 1854 году опять поступил на военную службу...— Вновь на военную службу в чине полковника поступил в мае 1851 г.

Муравьев решил опять бросить военную службу...— причиной этого была болезнь Муравьева — резко ухудшившееся зрение.

...Нижний Новгород был осчастливлен вестью о назначении губернатором...— Губернатором Нижнего Новгорода Муравьев был назначен в сентябре 1856 г.

С. 320. *...с его печально знаменитым виленским братом...*— Имеется в виду М. Н. Муравьев (1796—1866), назначенный виленским генерал-губернатором с диктаторскими полномочиями в апр. 1863 г. и жестоко подавивший Польское восстание.

...записки крестьянина... Сорокина.— «Автобиография крестьянина села Павлова Нижегородской губернии Н. П. Сорокина» была опубликована не в «Вестнике Европы», а в «Северном вестнике» (1885. № 1, 2).

С. 327. *...исторический рескрипт на имя Назимова...*— 20 ноября 1857 г. Александром II был дан рескрипт генерал-губернатору северо-западных губерний В. И. Назимову (1802—1874) с предписанием приступить к практической разработке крестьянской реформы.

...писал Муравьев Ланскому...— Донесение Муравьева от 18 дек. 1857 г. бывшему члену «Союза благоденствия», а ныне министру внутренних дел С. С. Ланскому (1787—1862), способствовавшему назначению Муравьева губернатором и покровительствовавшему ему на этом посту, Короленко цитирует по статье А. А. Савельева «Несколько слов о бывшем Нижегородском губернаторе А. Н. Муравьеве» (Рус. старина. 1898. № 6. С. 616).

С. 329. *...стали одним за другим возникать «комитеты».*— Дворянские комитеты, созданные для разработки условий освобождения крестьян, состояли из выборных представителей дворян (по одному от каждого уезда) и двух дворян от губернии по назначению дворянства. Одним из первых таких комитетов был нижегородский, руководил которым предводитель дворянства Н. П. Болтин.

С. 331. *...Муравьев... выступил против Шереметева.*— Об этом см: Снежневский В. Крепостные крестьяне и помещики Нижегородской губернии накануне реформы... // Действия Нижегородской губернской ученой комиссии. Нижний Новгород, 1898. Т. 3. С. 58—80.

С. 332. *«Прошу размыслить о том»,— писал он...*— Речь Муравьева Короленко цитирует по упомянутой выше статье А. А. Савельева (Рус. старина. 1898. № 7. С. 76).

С. 339. *...Речь Александра II в Нижнем Новгороде...*— первоначально опубликована в «С.-Петербургских ведомостях» (1858. 12 сент.) и перепечатана в «Нижегородских губернских ведомостях» (1858. 20 сент.).

С. 345. *... он ушел вовремя.*— О причинах отставки, а также о других фактах, используемых Короленко, см.: Герасимов Ю. И., Думин С. В. Декабрист Александр Николаевич Муравьев // Муравьев А. Н. Сочинения и письма. Иркутск, 1986.

ЗЕМЛИ! ЗЕМЛИ!

Наблюдения, размышления, заметки

Впервые: Голос минувшего. 1922. Кн. 1, 2, без XII — XIV глав. Полностью: Совр. записки. Париж, 1922. Кн. 10, 11, 12; 1923. Кн. 13,— по тексту которых и печатается.

Глава «Разговор с Толстым. Максимализм и государственность» многократно входила в различные издания. Полностью эти очерки в нашей стране публикуются впервые. Работать над ними Короленко начал во второй половине нояб. 1917 г., закончил в сент. 1919 г. 1 дек. 1920 г. Короленко так писал об этом произведении А. Е. Кауфману:

«Кроме того, харьковский Центросоюз принялся печатать мою работу «Земли! Земли!» — составляющую как бы продолжение моей книги «В голодный год». Может быть, и эта работа моя появится вскоре. К сожалению, она была задержана разными обстоятельствами, от автора не зависящими, и жизнь, которая несется теперь с быстротой автомобиля, далеко обогнала и оставила за собой ее публицистическую часть (работа была кончена осенью прошлого года), и теперь эта книга сохраняет только историческое значение» (Собр. соч. Т. 10. С. 585). В архиве Короленко в ЦГАЛИ хранится следующее машинописное «Предисловие автора» к очеркам, датированное 17 мая (н. с.) 1921 г.: «Настоящая моя книга «Земли, земли!» написана три года назад, в то время, когда аграрная революция еще не была закончена. Возможен был поворот и в ту и в другую сторону, то есть и в сторону дальнейшего обострения революции, и в сторону реакции. В этом труде я имел в виду обе возможности одинаково. С одной стороны, мне предстояло напомнить об обстановке всяких признаков разумной аграрной реформы, произведенных царским правительством, и прямо о преступлениях этого правительства, в которых участвовала также «диктатура дворянства». ⟨...⟩ Этим объясняются настойчивые напоминания мои о «голодном годе» и о слепой политике дворянства. С другой стороны, я привожу примеры неразумной жестокости (жестокость всегда неразумна), которая, не ограничиваясь устранением «диктатуры дворянства», посягнула также на землевладение крестьянское свыше известной нормы, что, по моему мнению, погубило наше земледелие и привело хлебородную страну на край непоправимого голода.

Я не считаю себя экономистом и не имею претензии указывать рациональные выходы. Я имел в виду только отметить бытовые явления сначала неразумной политики старого режима, а затем неразумные крайности революции.

Насколько мне удалось это — пусть судит читатель.

Мне приходится отметить еще историю этой книги. Один из моих друзей, Д. О. Ярошевич, к сожалению теперь умерший, предложил мне содействие к изданию через так называемый «Центросоюз». Я согласился. Книга была написана. К сожалению, явились «цензурные соображения», от которых русский писатель не свободен и после революции. Сначала препятствия встретили последние главы, а потом потонула и вся работа. Вот почему я вынужден печатать эту работу (как это было и встарь) „за кордоном“». (Ф. 234. Оп. 1. Ед. хр. 65.)

С. 349. *Первым антихристом был объявлен Л. Н. Толстой, устроивший на собранные деньги много столовых. По этому поводу много злорадствовали в «Гражданине» и «Московских ведомостях».*— В статье «Молва и притча о графе Л. Н. Толстом» П. Шахотин писал: «...граф Толстой среди населения Дайновского уезда слывет антихристом» (Моск. ведомости. 1892. 10 янв.). О благотворительности Тол-

стого, называя ее «благотворительностью с рекламами и на чужие деньги» писали в «Гражданине» (1891. 7, 17 дек.; 1892. 13, 29 янв.).

...книгой под заглавием «В волостных писарях».— Книга Н. М. Астырева (1857—1894) «В волостных писарях. Очерки крестьянского самоуправления» вышла в Москве в 1886 г. Короленко написал рецензию на эту книгу, впервые опубликованную в «Волжском вестнике» (1886. 18 сент.). Биографические сведения об Астыреве, переписка его с Короленко и текст прокламации к крестьянам опубликованы Е. А. Куклиной в кн.: Сибирские страницы жизни и творчества Короленко. Новосибирск, 1987. С. 85—108.

С. 350. *...для новой книги «На таежных прогалинах»...*—Имеется в виду книга Астырева «На таежных прогалинах Сибири. Очерки жизни населения Восточной Сибири» (М., 1891).

С. 352. *...писал он,— (в 1898 г.)...*— Здесь и ниже Короленко цитирует письмо И. Е. Белякова от 10 июля 1898 г., опубликованное в «Рус. богатстве» (1899. № 3. С. 1—14) под заголовком «Переселенец о Сибири».

С. 354. *Читал он чиновника Голубева, Марусина, полковника Надарова...*— П. А. Голубев (1855—1915) — статистик и публицист; С. П. Швецов (С. Марусин) (1858—1930) — исследователь крестьянства; И. П. Надаров (1851— ?) — краевед, исследователь Уссурийского края.

С. 355. *...меня посетил... Крамарж.*— К. Крамарж (1860—1937) — чешский государственный и политический деятель. Был сторонником военной интервенции в Советскую Россию, помогал генералу А. И. Деникину.

С. 356. *Два брата Санниковы...*— См. «Историю моего современника» (Т. 3. Ч. 1. Гл. VI).

С. 357. *Александр II когда-то назвал себя «первым из помещиков».*— Видимо, имеются в виду слова Александра II из речи к представителям дворянских губернских комитетов, произнесенной 4 сент. 1859 г. в Царском Селе: «Я считал себя первым дворянином, когда был еще наследником, я гордился этим, горжусь этим и теперь, и не перестаю считать себя в вашем сословии» (Татищев С. С. Император Александр II, его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1. С. 359—360).

С. 365. *...Деспот-Зенович...*— А. И. Деспот-Зенович (1828—1895) — в 1863—1867 гг. тобольский генерал-губернатор, впоследствии член совета министерства внутренних дел.

С. 368—369. *...«в рабском виде царь небесный исходил, благословляя»...*— цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

С. 369. *...Каблиц (Юзов) и Червинский (П. Ч.).*— И. И. Каблиц (И. Юзов) (1848—1893) — критик и публицист. Сотрудничал в газете «Неделя», журналах «Слово», «Мысль». П. П. Червинский (1849—

1931) — земский статистик. С 1875 по 1880 г. сотрудничал в газете «Неделя», подписывал свои статьи «П. Ч.», «Черниговец».

С. 371. *...он не считал обязательным для себя эти народные взгляды.*— В гл. XVIII «Записок профана» Михайловский писал: «Голос деревни слишком часто противоречит ее собственным интересам, и задача состоит в том, чтобы искренне и честно признав интересы народа своей целью, сохранить в деревне, как она есть, только то, что действительно этим интересам соответствует» (Михайловский Н. К. Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1909. Т. 3. С. 707).

С. 372. *...Пругавин написал целую книгу...*— Речь идет о книге статистика и экономиста В. С. Пругавина (1858—1896) «Русская земельная община в трудах ее местных исследователей» (М., 1888).

С. 373. *...полемика между «Неделей» (Червинский и Каблиц) и Михайловским...*— См. об этом: Успенский Г. И. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л., 1940. Т. 5. С. 430—438, 457—461.

...С. Н. Южаков написал книгу «Вопросы гегемонии», и в ней предсказывал близкую борьбу, которая должна загореться в Европе... ссылался на работы видного народнического экономиста.— Такой книги у Южакова нет. Речь идет о книге «Англо-русская распря» (СПб., 1885), в которой автор пользовался сведениями из работы М. А. Терентьева «Россия и Англия в борьбе за рынки» (СПб., 1876).

С. 375. *Струве был студентом, когда появились его статьи...*— Философ и экономист П. Б. Струве (1870—1944), будучи студентом юридического факультета Петербургского университета, опубликовал статью «Австрийское крестьянство и его бытописатель» (Вестник Европы. 1893. № 6) и книгу «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России» (СПб., 1894).

С. 376. *Россия «должна идти к нему на выучку»...*— Заключительная фраза книги П. Б. Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России»: «Нет, признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму» (СПб., 1894. С. 288).

С. 377. *Оно закрыло последовательно два марксистских журнала.*— В дек. 1897 г. был запрещен журнал «Новое слово» (1894—1897), в июне 1898 г.— «Начало» (1899).

С. 378. *...схематичность марксизма...*— Об этом Короленко писал в статье «О сложности жизни (Из полемики с марксизмом)» (ПСС (1914). Т. 5. С. 340—357).

С. 380. *...«От юных лет напуганный крамолой»...*— цитата из третьего действия трагедии А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» (1864).

С. 381. *Я тогда же записал...*— См.: Полн. посм. собр. Т. 4. С. 282—287.

С. 382. *...отметил я тогда в своей памятной книжке...*— См.: ПСС (1914). Т. 4. С. 111.

С. 384. *Газеты были полны любопытной полемикой между графиней и Синодом.*— Имеется в виду письмо С. А. Толстой к митрополиту Антонию и ответ его, опубликованные сначала в прибавлении к «Церковным ведомостям» (1901. 24 марта), а затем перепечатанные всеми крупными газетами России.

ПИСЬМА К ЛУНАЧАРСКОМУ

Впервые: Совр. записки. Париж, 1922. Кн. 9. В настоящем издании печатаются по машинописной копии с правкой С. В. Короленко, хранящейся в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом) и отличающейся от текста парижского издания некоторыми расхождениями стилистического характера.

О своем последнем крупном публицистическом произведении Короленко так писал 11 окт. 1920 г.: «Письма мои к Луначарскому уже закончены, хотя закончены наспех и кое-как. Теперь опять как будто передышка, но возвращаться на тот же след неохота. И вышло это «взгляд и нечто». Больше для своей собственной совести, чем для чего другого. Я передал их американскому корреспонденту, ничего не имею и против оглашения другим способом. Луначарский говорил, что постарается их напечатать, но со времени их получения молчит. Оно и понятно. Это «взгляд и нечто», но все-таки отрицательные и довольно безнадежные. «Всякий народ заслуживает правительство, которое имеет». Мы заслужили то, которое имеем. В «генералов» я не верю, в Антанту тоже. Мы должны сознать, что только честное сознание неверности того пути, по которому теперь идет Россия, сознание наше, внутреннее, откуда бы оно ни явилось, может спасти нас. Деникинцев я уже видел. Не думаю, что врангелевцы много от них отличаются, хотя этих еще не видел» (Письма В. Г. Короленко к А. Г. Горнфельду. Л., 1924. С. 188—189).

По воспоминаниям В. Д. Бонч-Бруевича, Ленину и Советскому правительству было хорошо известно, что «В. Г. Короленко весьма неодобрительно относится к деятельности представителей Советской власти, считает совершенно ненужным и зловредным решительную борьбу диктатуры пролетариата с эксплуататорскими классами, называя ее «излишней жестокостью». Ленин, продолжает Бонч-Бруевич, говорил: «Надо просить А. В. Луначарского вступить с ним в переписку: ему удобней всего, как комиссару народного просвещения и к тому же писателю. Пусть попытается, как он это отлично умеет, все поподробней рассказать Владимиру Галактионовичу,— по крайней мере, пусть он знает мотивы всего, что совершается» (Короленко в восп. С. 507—508).

Встреча Короленко и Луначарского состоялась 7 июня 1920 г. в Полтаве. Об этой встрече вспоминает дочь Короленко, Софья Владимировна: «...приехал А. В. Луначарский и посетил отца. Они долго разговаривали. Луначарский предложил Короленко писать ему все, что он думает о происходящем, и обещал печатать его «письма» в сопровождении своих ответов. Отец принял это предложение... 19 июня отец отправил первое из «Писем к Луначарскому». Второе «письмо» было отправлено 11 июля. Отец ждал их появления в печати, однако света они не увидели» (Короленко С. В. Книга об отце. Ижевск, 1968. С. 349—350).

В 1923 г., готовя к публикации статьи о Короленко, Луначарский писал: «Считаю нужным выяснить здесь некоторые обстоятельства касательно писем В. Г. Короленко ко мне, писем, которые, благодаря чьей-то некорректности, оказались изданными за границей. Во время пребывания моего в Полтаве в 1920 году я несколько раз виделся с Владимиром Галактионовичем. В результате нашей беседы им предложена была комбинация: он-де пришлет мне несколько писем, в которых откровенно изложит свою точку зрения на происходящие в России события. Я, со своей стороны, по получении писем, поговорив с ЦК партии, удобно ли их печатать, причем за мною оставалось право ответить на них теми аргументами, которые я найду подходящими. Таким образом, письма должны были быть изданы как письма Короленко ко мне с моими ответами. К сожалению, какие-то особенности почты или передачи писем ко мне вообще повели к тому, что я получил лишь первое, второе и четвертое письмо, остальные до меня не дошли. Я два раза просил Короленко дослать мне не дошедшие до меня письма, но никакого ответа на это от него не получил. Затем последовала смерть писателя. Я вновь обратился к семье Короленко, прося дослать мне неполученные письма. Вновь никакого ответа, а затем — появление этих писем за границей без всякого моего ответа на них. Таковы обстоятельства, о которых ходит много неправильных слухов. Отношения между мною и Владимиром Галактионовичем в течение всего моего пребывания в Полтаве были самыми сердечными» (Луначарский А. В. Собр. соч.: В 8 т. М., 1968. Т. 2. С. 134).

Публикация писем Короленко в «Современных записках» (1922. Кн. 9. С. 54) завершалась статьей М. Алданова, в которой он писал следующее: «Что сказать об его шести письмах к Луначарскому, печатаемых в настоящей книге «Современных записок»? Очень незлобливую душу, очень большую веру в силу и спасительность слова нужно было иметь для того, чтобы вступить в подобную переписку с Луначарским. В этих письмах Короленко мы видим облик прекрасного человека, уже стоящего над краем могилы и не желающего уходить из мира со словами ненависти на устах».

С. 443. *...кошмарный эпизод с расстрелами во время Вашего приезда...*— С. В. Короленко пишет об этом: «Не успел Луначарский уйти от нас, как к отцу прибежали с плачем родственники двух арестованных ранее полтавских мукомолов, Аронова и Миркина. Они получили сведения о том, что эти бывшие владельцы мельниц приговорены к расстрелу.

Отец знал, что Луначарский собирался выступить на митинге в городском театре. Он решил отправиться на митинг, чтобы увидеть наркома и просить его о заступничестве перед Чрезвычайной комиссией за приговоренных к смертной казни.

Когда отец обратился к Луначарскому, то от приступа резкой боли в груди и волнения не мог удержать слез. Луначарский был искренно взволнован состоянием отца и дал ему обещание, что Аронов и Миркин не будут казнены ⟨...⟩.

Ночью нарком уехал. Наутро отец узнал, что Аронов и Миркин расстреляны еще до приезда Луначарского. Это известие потрясло Короленко» (Короленко С. В. Книга об отце. С. 349—350).

...еще до получения Вашей записки...— После отъезда Луначарского Короленко получил от него следующую записку: «Дорогой, глубокоуважаемый Владимир Галактионович. Мне ужасно больно, что с заявлением мне опоздали. Я, конечно, сделал бы все, чтобы спасти этих людей уже ради Вас,— но им уже нельзя помочь. Приговор приведен в исполнение еще до моего приезда. Любящий Вас Луначарский» (Вопр. лит. 1970. № 7. С. 37).

С. 444. *...я «сеял не одни розы».*— Короленко цитирует статью Луначарского «Владимир Галактионович Короленко», которая заканчивалась следующими словами: «Пусть останется в стороне. Мы его любим, и чтим, и гордимся его талантом и благородством, столь прекрасным в мирное время ⟨...⟩. Победим, тогда уж, конечно, не попрекнем, но нежно, любовно скажем:

«Отец наш, милый апостол жалости, правды, любви. Не сердись, что свобода и братство добываются насилием и гражданской войною. Теперь дело сделано. ⟨...⟩ Вот теперь — наступает весна красоты, и любви, и правды: твори, отец, учи. Грозное время, когда ты, мягкосердечный, невольно растерялся,— прошло. Потоп схлынул. Вот, голубь с масличною ветвью, иди сажать розы на обновленной земле» (Пламя. 1918. № 15. 11 авг.).

...деле Юсупова... деле Глускера... озверевший Скалон...— Подробно об этих делах и о деятельности Е. Н. Скалона Короленко писал в статьях «Дело Глускера» и «Черты военного правосудия».

С. 445. *...в прошлом году мне пришлось описать в письме к Христ⟨иану⟩ Георг⟨иевичу⟩ Раковскому...*— Х. Г. Раковский (1873—1941) — участник социалистического движения в Болгарии, Румы-

нии, Швейцарии, Франции. Большевик с 1917 г. С 1918 г.— председатель Совнаркома Украины. С 1923 г.— полпред СССР в Англии и Франции. В 1927 г. исключен из партии, в 1936 г. восстановлен. В 1938 г. осужден Военной коллегией Верховного суда СССР, в 1941 г. расстрелян. Реабилитирован в 1988 г. Вероятно, имеется в виду письмо Короленко к Раковскому от 21 апр. 1919 г., в котором, протестуя против расстрелов, он писал: «Я не могу представить себе такого положения, где я мог бы оставаться зрителем таких происшествий и не сделать попытки вмешаться. Теперь писать для печати мне негде. Приходится поневоле говорить о частных случаях, превратиться в ходатая» (Короленко С. В. Книга об отце. С. 328). Подробнее о взаимоотношениях Короленко и Раковского см.: Память: Исторический альманах. Вып. 2. Париж, 1979. С. 412—416.

Письмо второе

С. 447. *В 1893 году я был на всемирной выставке в Чикаго.*— «Дни с 8 по 28 августа отец провел в Чикаго, ежедневно посещая выставку, переходя из одного национального отдела в другой, отмечая свои встречи, наблюдения, заметки в дневниках, записных книжках и письмах домой ⟨...⟩. Отец бывал на митингах рабочих и безработных, слушал Генри Джорджа и других ораторов. Его внимание привлекла фигура Алтгелджа, губернатора штата Иллинойс. Пользуясь своим правом, он помиловал трех анархистов, заявив, что это не милость, а запоздалое правосудие» (Короленко С. В. Десять лет в провинции. Ижевск, 1966. С. 150). Описание митинга безработных и выступавших на нем ораторов частично повторяет записи Короленко в дневнике 1893 г. (см.: Полн. посм. собр. Т. 2. С. 92—93).

С. 449. *Недавно здесь был Энгельс. Он говорил: «Ваш капитал отлично исполняет свою роль...»* — Энгельс посетил США и Канаду в авг.— сент. 1888 г. В одном из писем он назвал Америку «обетованной землей капиталистического производства» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 37. С. 83). Цитируемого Короленко высказывания в работах Энгельса нет. Оно могло быть высказано на одной из встреч с американскими социалистами.

С. 451. *Доброджану*-Геря Константин (1855—1920) — русский политический эмигрант С. Кац, основатель румынской социал-демократической партии, писатель, критик, публицист. Короленко познакомился с ним в 1893 г. в Лондоне, после чего между ними установились неизменные дружеские отношения.

Приезд делегации английских рабочих закончился горьким письмом к ним Ленина...— В «Письме к английским рабочим» от 30 мая 1920 г. (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 124—128) Ленин отмечал, что ряд членов английской делегации «стоит не на точке зрения рабочего класса, а на точке зрения буржуазии».

Письмо третье

С. 452. *...начавшиеся с «бытового явления»...*— См. статью «Бытовое явление» в наст. томе.

С. 455. *...Карлейль говорил, что правительства чаще всего погибают от лжи.*— См.: Карлейль Г. Французская революция. История. СПб., 1907. С. 45.

С. 456. *Мне с товарищами в голодные годы приходилось много бороться в литературе и в собраниях с этой чудовищной ложью.*— См. книгу Короленко «В голодный год» (Собр. соч. Т. 9).

...«самодержавной конституции»...— Имеется в виду Манифест 17 окт. 1905 г., в котором были обещаны «незыблемые основы гражданской свободы, неприкосновенность личности, свобода слова, собраний и союзов».

С. 458. *...аграрной реформы первой Думы...*— Короленко имеет в виду законопроекты конституционных демократов, трудовиков и эсеров, предложенные на обсуждение I Государственной думе (27 апр.—8 июля 1906 г.). При всем различии программ, все партии требовали наделения крестьян государственной землей и отчуждения крестьянам помещичьих земель. Подробно об этих проектах см. в статье «Земли! Земли!» в наст. томе.

Письмо четвертое

С. 460. *...славянофильский миф о нашем «народе-богоносце»...*— Имеется в виду высказывание героя романа Достоевского «Бесы» Шатова, утверждавшего, что «единый народ-богоносец» — русский народ (ч. 2, гл. 1).

С. 461. *...анархист Бакунин написал: «Нам надо войти в союз со всеми ворами и разбойниками русской земли».*— В прокламации 1869 г. «Постановка революционного вопроса» Бакунин, в частности, писал: «Разбойник в России настоящий и единственный революционер ⟨...⟩. В тяжелые промежутки, когда весь крестьянский рабочий мир спит, кажется, сном непробудным, задавленный всею тяжестью Государства, разбойничий мир продолжает свою отчаянную борьбу и борется до тех пор, пока русские села опять не проснутся. А когда оба бунта, разбойничий и крестьянский, сливаются, порождается народная революция» (Бакунин М. Речи и воззвания. СПб., 1906. С. 240).

С. 465. *Ни одна из воюющих сторон без него не обходилась.*— О позиции Махно во время гражданской войны см: Голованов В. Батька Махно, или «Оборотень» гражданской войны // Лит. газета. 1989. 8 февр. С. 13: Аршинов П. История махновского движения. Берлин, 1923; Беленко С. Махно и Полонский // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 4. Париж, 1987. С. 274—297.

С. 472. *После переписки Сегрю и Ленина...*— Имеется в виду «Ответ корреспонденту газеты «Дейли-ньюс» г. Сегрю», написанный Лениным 8 сент. 1920 г. (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 277—278) на телеграмму Сегрю, в которой корреспондент отмечал, что некоторые из западноевропейских социалистов, побывавших в России, выступили с антисоветскими статьями, и просил Ленина объяснить этот факт.

С. 476. *...вроде трагедии Кабе.*— Французский публицист, писатель, идеолог «мирного коммунизма» Э. Кабе (1788—1856), автор социально-философского утопического романа «Путешествие в Икарию», пытался осуществить свои идеи на практике, создав в Америке коммунистическую общину Икарию. Эта попытка окончилась крахом, а члены коммуны возбудили против Кабе судебный процесс, обвиняя его в мошенничестве.

С. 477. *...говорит Ренар...*— Здесь Короленко цитирует французского историка, литератора, участника Парижской Коммуны Ж. Ренара (1847—1930). См.: Ренар Ж. Республика 1848 года (1848—1852). СПб., 1907. С. 206.

СТАТЬИ
ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЯХ

О ГЛЕБЕ ИВАНОВИЧЕ УСПЕНСКОМ

Черты из личных воспоминаний

Впервые: Рус. богатство. 1901. № 5. С небольшими стилистическими исправлениями статья вошла в книгу «Отошедшие». Короленко познакомился с Успенским в конце февраля — начале марта 1887 г. Подробно о впечатлении об этой встрече см.: Полн. посм. собр. Т. 1. С. 59—60. Успенский приезжал в Нижний Новгород в 1887, 1889, 1890 и 1893 гг. Неоднократно встречались они и в Петербурге и Москве.

С. 485. *«Есть люди, подобные монетам...»* — Ко времени написания статьи существовали три перевода романа Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» (Н. Кетчера, М. Бекетовой и К. Бальмонта), но приводимая Короленко цитата в них была переведена иначе. Вероятно, Короленко воспользовался статьей Герцена «Гофман» (1834), в ко-

торой эта цитата почти полностью совпадает с использованной Короленко в качестве эпиграфа. Статья Герцена впервые была напечатана в «Телескопе» (1836. № 10), а затем вошла во второй том Собрания сочинений (Женева, 1876).

С. 486. *...увлечения «устоями»...* — Имеется в виду роман Н. Н. Златовратского «Устои» (1883).

«Мы тоже хотим... Надо и нам» — из второй главы очерка Успенского «Волей-неволей (Отрывки из записок Тяпушкина)», опубликованной в «Отечественных записках» (1884. № 2).

С. 489. *...я получил от него... несколько слов привета и одобрения.* — Короленко вспоминает отзыв Успенского на свой рассказ «Чудная», о котором он узнал в ссылке (Собр. соч. Т. 10. С. 95).

С. 494. *Ломброзо* Ч. (1835—1909) — итальянский судебный психиатр и антрополог, рассматривавший преступления прежде всего как явление биологического порядка.

С. 499. *«Не говори, что молодость сгубила...»* — романс Я. Ф. Пригожего (1840—1920) на стих. Некрасова «Тяжелый крест достался ей на долю» (1855), написанный около 1877 г.

С. 500. *Н. Ф. Анненский* (1843—1912) — журналист, статистик, общественный деятель, близкий друг и соавтор Короленко.

С. 515. *«Живые цифры»* — цикл очерков Успенского (1888).

С. 516. *С. Я. Елпатьевский* (1854—1933) — писатель, врач, член редакции «Русского богатства».

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕРНЫШЕВСКОМ

Впервые: Свободная Россия. Лондон, 1894; с некоторыми уточнениями: Рус. богатство. 1904. № 11. В отдельное издание воспоминаний о писателях «Отошедшие» (СПб., 1908) в статью также внесены дополнения. Написаны в 1894 г. после встречи с Чернышевским. Об этой встрече Короленко писал П. С. Ивановской 5 апр. 1890 г.: «Месяца за два до этого я и Дуня виделись с ним в Саратове, он принял нас очень радушно, даже сердечно. Дуня виделась с ним, впрочем, только у нас в гостинице, я был еще два раза у него, и мы долго беседовали, перебирая старину» (Короленко В. Г. Письма к П. С. Ивановской. М., 1930. С. 26).

С. 518. *Уже в деле каракозовцев есть упоминание о намерении освободить Чернышевского.* — Подробно об этом см.: Троицкий Н. А. Восемь попыток освобождения Н. Г. Чернышевского // Вопр. истории. 1978. № 7.

С. 519. *...стихотворении А. А. Ольхина «На смерть Мезенцева».* — Имеется в виду стих. А. А. Ольхина (1839—1897) по поводу убийства

С. М. Кравчинским шефа жандармов Н. В. Мезенцева «У гроба» (1878).

С. 520. *Макадам* — смесь щебня и асфальта для мощения улиц.

...каракозовцы и ссыльные по делу о воскресных школах...— Д. В. Каракозов (1840—1866), участник московского тайного общества, созданного его двоюродным братом Н. А. Ишутиным (1840—1879), 4 апр. 1866 г. стрелял в Александра II. Покушение послужило поводом для многих арестов, суду были преданы тридцать четыре человека, многие из которых приговорены к длительным срокам ссылки. Воскресные школы, созданные интеллигенцией для ликвидации неграмотности среди простых людей, были закрыты повелением Александра II 10 июня 1862 г., и создано судебное дело о распространении революционных идей среди учеников этих школ.

С. 521. *...говорил мне один интеллигентный поляк...*— См. гл. «Стасик Рыхлинский и история его воспоминаний» в «Истории моего современника».

С. 523. *Один из слушателей (г. Шаганов)...*— Воспоминания В. Н. Шаганова (1839—1902) впервые опубликованы в 1907 г.; см. в кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Саратов, 1959. Т. 2. С. 114.

...мой брат, хорошо знавший покойного...— Знакомству Короленко с Чернышевским способствовал его младший брат Илларион Галактионович, помогавший Чернышевскому при составлении указателя к переведенной им «Всемирной истории» Г. Вебера.

В письме ко мне, вызванном первым изданием этой книги...— Имеется в виду книга «Отошедшие» (СПб., 1908). Письмо Г. А. Лопатина к Короленко от 17 мая 1908 г. впервые опубликовано О. А. Сайкиным (Сов. архивы. 1972. № 3).

С. 526. *...теперь она уже напечатана.*— Очевидно, речь идет о комедии Чернышевского «Мастерица варить кашу», написанной в 1867—1869 гг. и напечатанной в десятом томе собрания сочинений писателя, вышедшем в 1906 г.

Огрызко И. (1826—1890) — издатель польской газеты «Слово» в Петербурге; был близок к кругу Чернышевского. В 1863 г. был уполномоченным польского повстанческого Национального правительства в Петербурге. В 1864 г. арестован, приговорен к смертной казни, замененной двадцатилетней каторгой.

С. 531. *...в последний же год мы с ним немного переписывались.*— Письма Чернышевского к Короленко неизвестны, опубликовано письмо Короленко к Чернышевскому от 30 авг. 1888 г.

С. 535. *...писал он, помнится, Вернадскому.*— Имеется в виду полемика Чернышевского с экономистом И. В. Вернадским в статье «Критика философских предубеждений против общинного владения» (1858).

С. 536. *...Успенский описал, как понемногу «выпрямляется» мужицкая душа...*— Речь идет о рассказе «Урожай» (1886).

С. 538. *...я встретил, кроме его жены и секретаря, еще молодую девушку, племянницу Чернышевского...*— Секретарем Чернышевского в это время был К. М. Федоров (1866—1947), написавший книгу «Н. Г. Чернышевский» (СПб., 1905). М. А. Чернышевская (1862—1942) была не племянницей, а дочерью крестника Н. Г. Чернышевского, которому он дал свою фамилию и отчество.

С. 541. *Эту легенду-аллегорию он слышал... из вторых уже рук...*— Рассказ «Знамение на кровле (По рассказу очевидца)», не публиковавшийся при жизни Чернышевского, см.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1953. Т. 16.

С. 544. *Чернышевского привезли в Росссию летом, а я ехал тем же путем осенью того же года.*— 10 сент. 1884 г. Короленко выезжает из Амги через Киренск, Иркутск, Красноярск, Томск в Нижний Новгород. Чернышевский вернулся из ссылки в 1883 г.

«Мы пеструю столбу караулим...» — эту фразу произносит герой очерка Короленко «Государевы ямщики» (1901) Микеша (Собр. соч. Т. 1. С. 423).

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

Впервые: Рус. богатство. 1904. № 7.

Написана как отклик на смерть Чехова. Об этой статье Короленко так писал Ф. Д. Батюшкову 2 сент. 1904 г.: «Я не вполне доволен заметкой о Чехове. Кажется, сказано правильно, и, пожалуй, индивидуальность Чехова отчасти отразилась в изображении, но все это очень неполно, и я теперь вижу, как и чем нужно дополнить в отдельном издании» (Письма. С. 270). Однако во все следующие издания Короленко вносил лишь отдельные стилистические уточнения. О взаимной переписке писателей и комментариях к ней см. в кн.: А. П. Чехов и В. Г. Короленко. Переписка. М., 1923.

С. 546. *...виньетку эту рисовал брат Антона Павловича...*— Виньетка для сборника «Сказки Мельпомены» была нарисована не Николаем Павловичем Чеховым, а художником и архитектором Ф. О. Шехтелем (1859—1926).

С. 547. *Первый обратил на них внимание Д. В. Григорович... Григорович же устроил издание «Пестрых рассказов», и едва ли не от него узнал о Чехове Суворин...*— Д. В. Григорович действительно один из первых оценил талант Чехова, именно он советовал Суворину читать все, «что... подписано Чехонте» (см. письмо Григоровича Чехову от 25 марта 1886 г.: Слово. Сб. 2. М., 1914. С. 199). Однако издания «Пестрых рассказов» Григорович не устраивал, но, узнав о скором выходе второй книги Чехова, он просил автора поставить на ней настоящее имя, а не псевдоним (Слово. Сб. 2. М., 1914. С. 201).

...было написано из-за границы.— Имеется в виду письмо Григоровича Чехову из Ниццы от 30 дек. 1887 г., копию с которого Чехов послал Короленко 9 янв. 1888 г., сопроводив его следующим замечанием: «Из него вы увидите, что литературная известность и хороший гонорар нисколько не спасают от такой мещанской прозы, как болезни, холод и одиночество: старик кончает жизнь» (А. П. Чехов и В. Г. Короленко. Переписка. М., 1923. С. 27).

С. 548. *С. Н. Южаков* (1849—1910) — философ, публицист, экономист. Короленко написал о нем воспоминания (ПСС (1914). Т. 6.).

С. 549. *«По пути».*— Имеется в виду рассказ Чехова «На пути» (1886).

Ни о ком... из сверстников Михайловский не писал так много, как о Чехове...— Н. К. Михайловским действительно написано большое количество статей о Чехове, основными из которых являются: «Об отцах и детях и о г. Чехове» (1890) и «Кое-что о г. Чехове» (1890).

С. 550. *...оставляет голову клиента недостриженной...*— в рассказах Чехова «Умный дворник» (1883) и «В цирульне» (1883).

С. 552. *«... вокруг меня пахнет степными цветами и травами»...*— О работе над «Степью» Чехов писал А. Н. Плещееву 3 февр. 1888 г.: «Пока писал, я чувствовал, что пахло около меня лесом и степью» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. М., 1975. Т. 2. С. 185).

...отмечали, что «Степь» — это как бы несколько маленьких картинок, вставленных в одну большую раму.— Вероятно, Короленко было известно содержание письма А. Н. Островского Чехову от 4 марта 1888 г. с отзывом о «Степи», в котором автор писал: «...ваш рассказ произвел на меня впечатление большого полотна, зарисованного мелкими картинками...» (см.: Балухатый С. Д. Вокруг «Степи» // А. П. Чехов и наш край. Ростов-на-Дону, 1935. С. 131).

С. 554. *...много писали и говорили о некоторых беспечных выражениях Иванова, например, о фразе: «Друг мой, послушайте моего совета: не женитесь ни на еврейках, ни на психопатках, ни на курсистках».*— Особенно резко отреагировал на эту фразу в статье об «Иванове» Созерцатель (Л. Е. Оболенский). Процитировав ее, он писал: «Хотел ли этим автор сказать, что не нужно жениться на еврейках? Что такие браки не удовлетворяют русских интеллигентов?.. Но разве брак на русской гарантировал бы от охлаждения? И, главное, если что-нибудь подобное имелось в виду у автора, то он ничего не сделал, чтобы пояснить свою мысль» (Созерцатель. Обо всем: «Иванов», драма А. Чехова // Рус. богатство. 1889. № 3. С. 205).

С. 555. *Чехов в переписке несколько раз выражает недовольство этим рассказом.*— О своем недовольстве повестью «Огни» Чехов писал А. Н. Плещееву 9 апр. 1888 г., И. Л. Щеглову — 18 апр. 1888 г. (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. М., 1975. Т. 2. С. 239, 249).

С. 556. *...Михайловский... в статье об Успенском...*— Имеется в виду вступительная статья Н. К. Михайловского 1888 г. «Глеб Иванович Успенский. Литературная характеристика» в кн.: Успенский Г. И. Соч.: В 2 т. СПб., 1889. Т. 1.

С. 557. *...во «врачующем просторе»...*— из стих. Н. А. Некрасова «Тишина» (1856—1857).

С. 558. *...для разговора об одном общем заявлении.*— Речь идет об отказе Короленко и Чехова от звания почетных академиков в связи с неизбранием в члены Академии М. Горького.

Поленца, «Крестьянин».— Роман немецкого писателя Вильгельма фон Поленца (1861—1903) «Крестьянин» вышел на русском языке с предисловием Л. Н. Толстого в 1902 г. в издательстве «Посредник».

Пушкин называл Гоголя «веселым меланхоликом»...— В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833—1834) А. С. Пушкин писал о «великом меланхолике», «имеющем иногда свои минуты веселости». Имя Гоголя здесь названо не было, Пушкин относил эти слова к «одному из своих приятелей».

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

Статья первая

Впервые: Рус. богатство. 1908. № 8.

Написана к 80-летию Толстого. На протяжении всей жизни Короленко испытывал глубокий интерес к личности, творчеству и философии Толстого, о чем свидетельствуют не только его статьи, но и письма, дневники, записные книжки. Подробно об этом см.: Кронрод Е. А. Л. Н. Толстой и В. Г. Короленко / Автореф. дис. ... канд. филолог. наук. Л., 1964. Ее же: Новые материалы об отношении В. Г. Короленко к Л. Н. Толстому // Рус. литература. 1963. № 3.

С. 560. *...епископа Гермогена... утверждавшего... что образы Толстого-художника «красивы, но не действуют благотворно ни на ум, ни на сердце»...*— Короленко имеет в виду речь Гермогена о Толстом, произнесенную 28 июля 1908 г. на собрании Братского союза в Саратове, в которой было сказано: «Толстой имеет крупный писательский талант. Его произведения... поражают читателя грандиозностью картин, красотою образов, изяществом и своеобразностью стиля. Но в то же время — это произведения чисто земные, материальные. Если вынуть из них все красивое, изящное, то в этих произведениях почти ничего не останется, кроме идеи чисто плотской, первобытно-животной...» (Россиянин. Саратов, 1908. № 82. 3 авг.). Гермоген (1858—1918) — церковный деятель, епископ Царицынский, Саратовский и Тобольский.

...Гюи де Мопассан сказал, что каждый художник изображает нам свою «иллюзию мира».— Короленко вспоминает слова Ги де Мопассана из статьи «О романе (Вместо предисловия к роману «Пьер и Жан»)»: «Воспроизвести действительность — значит дать полнейшую иллюзию ее... Великими художниками мы называем тех писателей, которые навязывают человечеству свои иллюзии — иллюзии красоты, иллюзии безобразия, иллюзии истины, иллюзии зла!» (Мопассан Г. Полн. собр. посм. произв. и соч. небеллетристические. СПб., 1907. Доп. Т. 13. С. 416).

С. 562. *Приапическое* — от имени Приап — в др.-греч. мифологии бог плодородия, полей и садов, покровитель чувственных наслаждений.

С кого они портреты пишут?.. — из стих. М. Ю. Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840).

...с Брокена и вальпургиевой ночи...— Вальпургиева ночь в германской средневековой мифологии — ночь с 30 апр. на 1 мая (день святой Вальпургии), время ежегодного «шабаша ведьм», которые слетались на метлах и вилах на гору Броккен и собирались с другой нечистью вокруг сатаны.

С. 566. *В недавно опубликованных господином Чертковым материалах из семейной хроники и переписки Толстых...*— Книга, которую имеет в виду Короленко, «Лев Николаевич Толстой. Биография. Т. 1. По неизданным материалам» (М., 1906) написана не В. Г. Чертковым, а П. И. Бирюковым. Приведенная Короленко ниже цитата не из письма старшего брата Толстого, а из «Моих воспоминаний 1848—1889 гг.» А. Фета (М., 1890), содержащих и рассказ Николая Николаевича Толстого о своем брате Льве: «Понравилось Левочке, как работник Юфан растопыривает руки при пахоте. И вот Юфан для него эмблема сельской силы, вроде Микулы Селяниновича. Он сам, широко расставляя локти, берется за соху и юфанствует» (С. 340). В. Г. Чертков (1854—1936) — земский деятель, основатель издательства «Посредник», близкий друг Толстого.

С. 568. *Он спит и видит сон. Песчаная, выжженная пустыня. Кучка неведомых людей в простых одеждах древности...*— Сон, завершающий «Исповедь» Толстого, иной.

С. 570. *...закон и пророки...*— названия священных книг у евреев.

С. 571. *Всем известен эпизод во время переписи, когда Толстой сделал довольно широкую попытку помогать деньгами...*— Имеется в виду московская перепись населения 1882 г., в которой Толстой лично участвовал.

С. 573. *Л. Н. Толстой ответил на запрос целой статьей...*— Сходные мысли высказаны Толстым в статье «О голоде» (1891).

С. 574—575. *В одной из статей Толстого приведены слова Генри Джорджа... «Я знаю... что предлагаемая мною реформа...»* — Цитату из статьи Генри Джорджа «Что такое единый налог и почему

мы добиваемся его?», не совсем точно переданную Короленко, Толстой привел в своей статье «К рабочему народу» (1902). Генри Джордж (1839—1897) — американский экономист, публицист. Выдвигал идею «единого земельного налога» как средства обеспечения всеобщего достатка и «социального мира».

С. 577. *...стремление к тому, «чего никогда не бывало»* — неточная цитата из стихотворения З. Гиппиус «Песня» (1893).

...легковесный администратор в Орле отправляется в экспедицию и производит экзекуцию над мужиками.— Речь идет об орловском губернаторе Неклюдове, расправу которого над крестьянами Толстой изобразил в трактате «Царство божие внутри вас...» (1890—1893).

С. 578. *...его простые слова на азбучную тему о смертной казни...*— Имеется в виду статья Толстого «Не могу молчать» (1908), написанная в связи с казнью двадцати крестьян.

С. 579. *Что делать, говорит «Россия», Толстой — плохой мыслитель, но он же и великий художник.*— Короленко имеет в виду статью С. Н. Сыромятникова «Книги и жизнь», опубликованную в петербургской газете «Россия» от 6 июля 1908 г.

...известному кронштадтскому иерею...— Иоанн Кронштадтский (1829—1908) — протоиерей Андреевского собора в Кронштадте.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Статья вторая

Впервые: Рус. ведомости. 1908. 28 авг.

В статье Короленко частично использовал свою заметку «Юбилей Толстого» (Рус. богатство. 1898. № 9).

С. 580. *«Блаженны алчущие и жаждущие правды».*— Евангелие от Матф. (V, 6).

Кто-то — если не ошибаюсь, Лессинг — сказал: «Если бы бог протянул мне в одной руке абсолютное знание, а в другой только стремление к истине и сказал: выбирай!..» — Вероятно, Короленко читал книгу Ф. Меринга «Легенда о Лессинге» (СПб., 1907), переведенную на русский язык А. Луначарским. В 70-е гг. XVIII в. Лессинг опубликовал «Фрагменты неизвестного» (автором их был Реймарус), в которой содержалась критика Библии. По поводу книги разгорелась полемика. Именно во время спора вокруг «Фрагментов», пишет Меринг, Лессинг и произнес свои глубокие слова: «Не действительное или мнимое обладание истиной ценно для человека, а то искреннее старание, которое прилагает последний, чтобы достигнуть ее, ибо не обладание, а исследование истины развивает силы человека, а в этом-то и лежит залог его постоянного совершенствования. Обладание делает человека спокойным, ленивым, гордым; и если бы Господь, имея одесную себя

всю истину, а ошую только постоянное растущее стремление к этой истине — хотя бы с условием, что последствиями его являются постоянные, вечные заблуждения,— обратился ко мне со словами: «Выбирай!» — я смиренно пал бы ниц, сказав: „Отец, дай мне стремление, ибо только Ты достоин обладать самой истиной“» (С. 407).

ТРАГЕДИЯ ВЕЛИКОГО ЮМОРИСТА

Несколько мыслей о Гоголе

Впервые: Рус. богатство. 1909. № 4, 5, под загл.: Трагедия писателя.

После серьезной переработки вошла во 2 т. ПСС (1914). О работе над сочинениями Гоголя Короленко писал Ф. О. Батюшкову еще в 1902 г. (Собр. соч. Т. 10. С. 330).

С. 588. *«Я почитаюсь загадкою для всех...»* — не совсем точная цитата из письма Гоголя к матери от 1 марта 1828 г. Письма Гоголя Короленко цитирует по кн.: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя: В 4 т. М., 1892—1898; Письма Гоголя: В 4 т./Под ред. В. Шенрока. СПб., 1901.

С. 592. *В августе 1831 года Пушкин писал Воейкову...*— Этот отзыв А. С. Пушкина о «Вечерах на хуторе близ Диканьки» в форме «Письма к издателю „Литературных прибавлений к Русскому инвалиду“» (А. Ф. Воейкову) был напечатан в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» за 1831 г. (3 окт.).

С. 593. *«Гоголь — веселый меланхолик»...*— См. примеч. к с. 558.

...Белинский первый применил...— Имеется в виду статья Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835).

С. 598. *«Как будто находя успокоение в том, что дается фарс...»* — цитата из статьи П. В. Анненкова «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года» (Анненков П. В. Литературные воспоминания. СПб., 1909. С. 29).

С. 599. *Белинский... написал восторженный отзыв...*— Имеется в виду статья Белинского «Московские записки» (Молва. 1836. № 8).

«Удивительно,— говорил он,— как это никто не замечает того благородного лица...» — В отзывах Белинского о «Ревизоре» подобных слов нет. Короленко приводит неточную цитату из пьесы Гоголя «Театральный разъезд после представления новой комедии», в заключительном монологе которой Автор пьесы говорит: «Странно: мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо был — смех» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Л., 1949. Т. 5. С. 169).

С. 600. *Д. Н. Куликовский в своей работе о Гоголе отмечает...*— Имеется в виду глава «Гоголь как ум» в книге Д. Н. Овсянико-Куликовского «Н. В. Гоголь» (М., 1902).

С. 604. *В воспоминаниях Н. В. Берга сохранился рассказ самого Гоголя...*— Имеются в виду «Воспоминания о Н. В. Гоголе» Н. В. Берга, которые полностью были опубликованы в журнале «Русская старина» (1872. № 1).

С. 623. *Биографы Белинского отмечают следующий характерный эпизод.*— Этот эпизод рассказан в XXV главе «Былого и дум» А. И. Герцена.

С. 626. *...как затягивается крыловское болото, в которое шлепнулся с неба владыка-чурбан...*— Имеется в виду басня И. А. Крылова «Лягушки, просящие царя» (1808).

С. 632. *В интересной работе Алексея Ник. Веселовского...*— Имеется в виду статья А. Н. Веселовского «„Мертвые души" — главы из этюда о Гоголе» (Вестник Европы. 1891. № 3).

ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ ГАРШИН

Литературный портрет

(2 февраля 1855 г.—24 марта 1888 г.)

Впервые: История русской литературы XIX века / Под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского: В 5 т. СПб., 1910. Т. 4.

В «Литературной заметке» (Волжский вестник. 1888. 11 окт.), посвященной Гаршину, Короленко писал о его творчестве: «Может быть, я совершенно ошибаюсь, но мне кажется, что вся история Гаршина действительно может быть прослежена именно с этой точки зрения — борьбы яркого светлого таланта с смертельно-мрачным мировоззрением. И «Алый цветок» является моментом перелома в этом затмении. В то время как затемненное светило кидает уже слабое и неверное освещение на окружающие предметы — само оно еще горит, и с поразительной ясностью на нем выступает то мрачное пятно, которое скоро поглотит его. И мы с ужасом видим, как весь блеск таланта уходит на освещение смертельного недуга. Вот, мне кажется, причина того страстного, захватывающего интереса, с каким читался этот рассказ. Тут Гаршин-литератор весь, тут вся его история, тут срединная точка его литературной карьеры. Затем мрак становится гуще, еще несколько брызгов слабеющего света — и нет его, этого чарующего таланта» (В. Г. Короленко о литературе. М., 1957. С. 16).

В письме к С. Я. Надсону от 20 дек. 1886 г. Гаршин так оценил первые произведения Короленко: «Читали Вы Короленка? Напишите мне о нем что-нибудь. Я ставлю его ужасно высоко и люблю нежно его творчество» (Г а р ш и н В. М. Полн. собр. соч.: В 3 т. М.; Л., 1934. Т. 3. С. 375).

С. 642. *Феллах* — в арабских странах: земледелец, крестьянин. Мурза — титул феодальной знати у татар.

С. 644. *Реформа Толстого...*— Д. А. Толстой (1823—1889), назначенный министром народного просвещения в 1866 г., представил проект, по которому в гимназиях была изменена программа обучения, а выпускникам реальных гимназий закрывался доступ в университет.

Герд А. Я. (1841—1888) — автор учебников по естествознанию и методике его преподавания в начальной и средней школе.

...аксаковского «Славянского комитета»... — «Славянский комитет» был создан публицистом и общественным деятелем И. С. Аксаковым (1823—1886) в 1877 г.

С. 645. *Кондотьери* (перен.) — человек, готовый ради выгод выступить за любую из воюющих сторон.

...одна из злейших сатир Щедрина, в которой, в образе странствующего полководца Редеди...— Описание «подвигов» «странствующего полководца Полкана Самсоновича Редеди» дано в XIII главе «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина (1877—1888).

С. 647. *...говорит Гаршин в своей автобиографии...*— Автобиография Гаршина, написанная для «Истории новейшей русской литературы» С. А. Венгерова в конце 1884 г., впервые была опубликована в сб. «Красный цветок» (СПб., 1889).

...а один (Н. В. Рейнгардт) говорит...— Короленко цитирует воспоминания Н. В. Рейнгардта «Две встречи» (Красный цветок. С. 56—57).

С. 656. *В отзыве о «Четырех днях» известный критик А. М. Скабичевский...*— Упоминаемый Короленко отзыв принадлежит не А. М. Скабичевскому, а В. Буренину, который в статье «Литературные очерки» писал об этом рассказе: «Автор, очевидно, только правдиво описывает то, что он испытал, что он вынес лично... Весь талант автора и все его искусство состоят только в том, что он точно и верно воспроизводит свои психические ощущения, точно и верно раскрывает факты выдержанной им физической и нравственной агонии» (Новое время. 1877. 4 нояб.).

Корде Ш. (1768—1793) — заколола кинжалом одного из вождей Великой французской революции Марата, за что и была казнена.

С. 663. *...появилась в другом журнале...*— в «Русском богатстве» (1880. № 11).

С. 664. *...три молодых писателя решили каждый отдельно написать по рассказу на тему о самоубийстве...*— Имеются в виду «День итога» М. Н. Альбова (Слово. 1879. № 1—2) и рассказ М. Белинского (И. И. Ясинского) «Ночь» (Слово. 1880. № 6). Слух о состязании молодых писателей — легенда. Ясинский утверждал, что не опубликовал бы своего рассказа, зная о рассказе Гаршина. Объясняя это совпадение, он писал: «...бывает, что современники улавливают одно и то же

явление, одну и ту же ноту жизни» (Ясинский И. И. Всеволод Гаршин. Опыт характеристики // Гаршин В. М. Полн. собр. соч. СПб., 1910. С. 515).

Н. К. Михайловский в своем критическом обзоре...— Имеется в виду статья Михайловского о Гаршине в ежемесячном обзоре «Дневник читателя» (Сев. вестник. 1885. № 4).

С. 665. *...Гаршин сделал поправку...*— Об этой поправке писал Михайловский в «Дневнике читателя» (Сев. вестник. 1886. № 2).

С. 666. *Бернар* К. (1813—1878) — французский естествоиспытатель, утверждавший, что все явления душевной жизни человека обусловлены материальными причинами, в основе которых лежат физико-химические процессы.

С. 667. *Катков... назвал ее «диктатурой сердца».*— Это выражение впервые было употреблено М. Т. Лорис-Меликовым в передовой статье газеты «Голос» (1880. 16 февр.).

С. 669. *Профессор Сикорский... называет его классическим...*— Имеется в виду статья И. А. Сикорского (1845—1918) «„Красный цветок", рассказ Всев. Гаршина» (Памяти В. М. Гаршина. СПб., 1889).

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ

Впервые: Рус. богатство. 1914. № 1.

Написана к 10-летию со дня смерти Михайловского.

С. 673. *В руках у меня была рукопись.*— Имеется в виду первый рассказ Короленко «Эпизоды из жизни искателя». См. первый том наст. издания.

Еще студентом Петровской академии...— В московской Петровской земледельческой и лесной академии Короленко учился в 1874—1876 гг.

С. 676. *Песками* неофициально называли Рождественскую часть Петербурга (район от Старо-Невского проспекта до Смольного монастыря).

Лучший портрет Михайловского написан... Ярошенко.— Портрет Михайловского, написанный Н. А. Ярошенко в 1893 г., в 1919 г. был передан вдовой художника в Полтавский художественный музей. После немецкой оккупации портрет исчез, местонахождение его неизвестно.

С. 677. *...А. С. Суворин одно из своих «маленьких писем»...*— «Маленькие письма» по различным вопросам Суворин публиковал в «Новом времени» с 1876 по 1909 г.

С. 680. *...литературные вечера Фонда...*— «Литературный фонд» — неофициальное название «Общества для пособия нуж-

дающимся литераторам и ученым». Учреждено в 1859 г. в Петербурге.

П. И. Вейнберг (1830—1908) — поэт, переводчик, литературовед, в последние годы жизни был председателем «Литературного фонда».

С. 682. *«В начале 80-х годов,— пишет г. Протопопов...»* — Здесь и далее Короленко цитирует статью критика и публициста М. А. Протопопова (1848—1918) «Н. К. Михайловский» (Беседа. 1904. № 3. С. 284, 285). Откликом на воспоминания Протопопова была рецензия Короленко «Г-н Протопопов о Михайловском» (Рус. богатство. 1904. № 5).

С. 683—684. *«У меня на столе стоит бюст Белинского...»* — Короленко приводит цитату из «Записок профана» Михайловского (Михайловский Н. К. Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1909. Т. 3. С. 692).

Б. Аверин, Е. Павлова

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

ПУБЛИЦИСТИКА

СТАТЬИ
ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЯХ

Короленко В.
К 68 Собрание сочинений: В 5 т./Редколл. Г. Бялый, Г. Иванов, В. Туниманов. Т. 3: Рассказы, 1903—1915; Публицистика; Статьи; Воспоминания о писателях/Сост., подгот. текста Б. Аверина; Примеч. Б. Аверина, Е. Павловой.— Л.: Худож. лит., 1990.—720 с., ил.
ISBN 5-280-00946—6 (Т. 3)
ISBN 5-280-00850-8

В том включены рассказы 1903—1915 гг. «С двух сторон», «Братья Мендель» и др., публицистические работы «Несколько мыслей о национализме», «Легенда о царе и декабристе», «Земли! Земли!», «Письма к Луначарскому» и др., большинство из которых впервые публикуются в советское время в составе собрания сочинений, а также статьи и воспоминания о писателях.

К $\frac{4702010106\text{-}057}{028(01)\text{-}90}$ подписное ББК 84.Р1

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО

Собрание сочинений
в пяти томах

Том третий

Составитель
Борис Валентинович Аверин

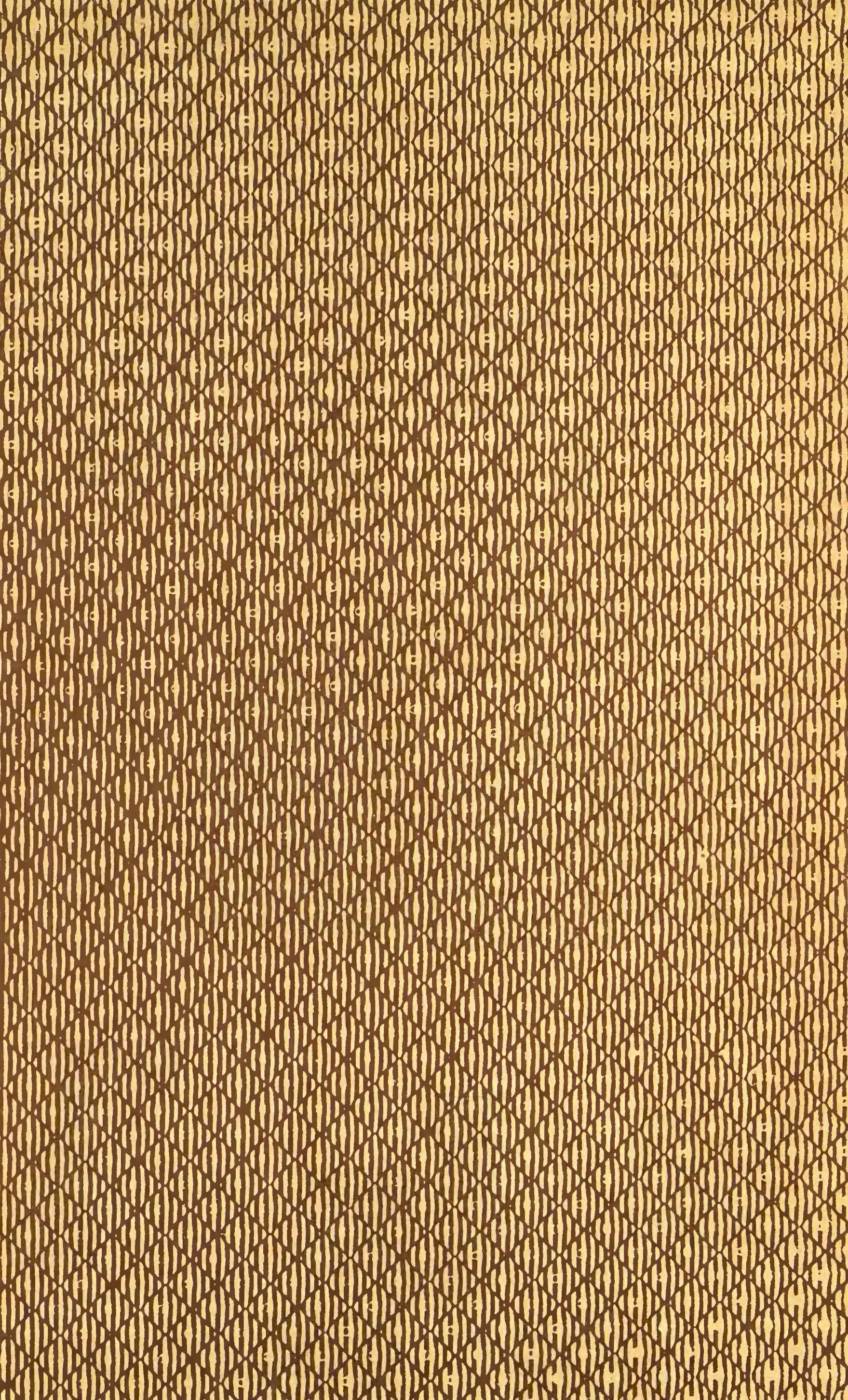
Редактор *Т. Степашова*
Художественный редактор *В. Лужин*
Технический редактор *М. Шафрова*
Корректор *М. Зимина*

ИБ № 5655

Сдано в набор 29.03.89. Подписано в печать 07.12.89. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Усл. печ. л. 37,80. Усл. кр.-отт. 38,22. Уч.-изд. л. 39,82. Тираж 200 000 экз. Изд. № ЛI-243. Заказ 63. Цена 3 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.



3 р. 60 к.